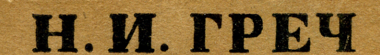
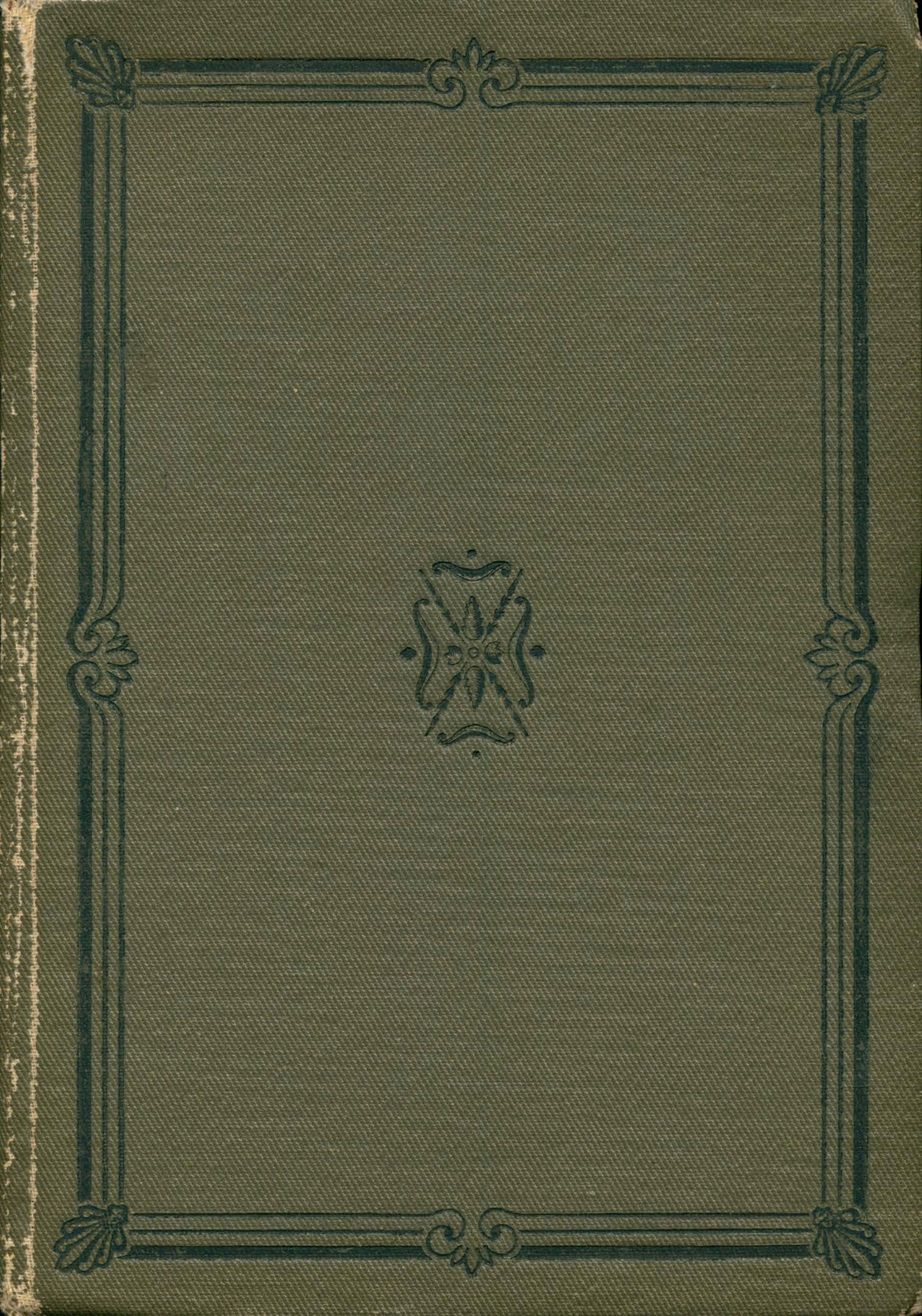
Н. И. ГРЕЧ



ЗАПИСКИ О МОЕЙ ЖИЗНИ

ACADEMIA





П А М Я Т Н И К И

Л И Т Е Р А Т У Р Н О Г О

Б Ы Т А

ЗАПИСКИ О МОЕЙ ЖИЗНИ

Н. И. ГРЕЧА

«A C A D E M I A»

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

MCMXXX



Н. И. ГРЕЧ

ЗАПИСКИ О МОЕЙ ЖИЗНИ

ТЕКСТ ПО РУКОПИСИ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
И С КОММЕНТАРИЯМИ
ИВАНОВА-РАЗУМНИКА
И Д. М. ПИНЕСА

«ACADEMIA»
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
MCMXXX

ПЕРЕПЛЕТ
И СУПЕР-ОБЛОЖКА ПО РИСУНКАМ
ХУД. А. А. УШИНА

Ленинградский Областлит № 38991
Отпечатано в госуд. типографии
им. Евг. Соколовой, Ленинград,
пр. Красн. Командиров, 29,
в колич. 5070 экз., 20 л.
Заказ № 261

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Записки о моей жизни» Н. И. Греча печатались отрывками в исторических журналах 60-х и 70-х годов, а потом были целиком напечатаны отдельно (1886 г., издание А. С. Суворина), но с большими пробелами и цензурными купюрами: целые абзацы, иногда страницы, были заменены в этом издании рядом точек. В Публичной Библиотеке и в Пушкинском Доме Академии Наук сохранились — первая часть подлинной рукописи Греча и проредактированная им в конце жизни полная копия «Записок»; рукописи эти позволяют восстановить в настоящем издании все бывшие раньше пробелы и в то же время притти к некоторым небезынтересным выводам.

Оказывается, что Греч, политическая и общественная физиономия которого достаточно известна, Греч — убежденный консерватор, Греч — многолетний сподвижник Булгарина, добровольный агент Николаевских жандармов, пламенный патриот, верноподданный русский немец, поклонник и апологет Николая I, — этот самый Греч в своих «Записках» дал, быть может сам того не желая, беспощадный памфлет на дом Романовых. Десятки страниц о Павле I, Александре I, цесаревиче Константине и других августейших особах настолько беспощадны и красочны, что все подобные места недаром были в свое время изъяты из текста исторических журналов и заменены обильными точками в отдельном издании 1886 г. А. С. Суворин напечатал

тогда же кроме этого подцензурного издания еще и десять экземпляров с полным текстом без всяких цензурных пробелов и точек (экземпляры эти, напечатанные Сувориным для себя и немногих друзей, представляют теперь большую библиографическую редкость), — но даже и в этих экземплярах текст не был полным, ибо ряд мест «Записок» Греча представлял собою в те времена явно недопустимое crimen laesae majestatis («оскорбление величества»),

Сохранившиеся рукописи позволили нам впервые дать в настоящем издании полный текст «Записок». Но редакторская работа не могла ограничиться этим, так как при изучении рукописей оказалось, что в прежнем издании «Записок» весь материал их совершенно произвольно был втиснут в рамки цельной книги, подразделенной на главы. В действительности все эти воспоминания Греча состоят из трех, хотя и тесно связанных по содержанию, но совершенно обособленных по форме отделов. Первый отдел — «Записки о моей жизни», разделенные на две части, вторую из которых Греч только начал — и не дописал; это — автобиография Греча, доведенная им только до начала его литературной деятельности. Второй отдел — «Воспоминания старика», самая ценная часть записок, тоже в двух частях, первая из которых посвящена характеристике царствования Александра I, а вторая — декабристам, очень многих из которых Греч знал лично. Наконец, третий отдел — статьи и экскурсы «воспоминательного» характера, тесно связанные с текстом двух предыдущих отделов и «Записок о моей жизни» и «Воспоминаний старика», во многом дополняющие оба эти отдела. Ко всему этому надо прибавить «Примечания» Греча, выделенные им самим в особые небольшие заметки, разрастающиеся иногда до размера статей.

Так построены в рукописи воспоминания Греча — именно так построена и настоящая книга; более подробное изложение истории написания и построения всех этих воспоминаний дано нами в комментариях после текста (от загружающих авторский текст редакторских подстрочных примечаний удалось почти совсем отказаться). Работу установления текста согласно рукописям и авторизованной копии произвел Д. М. Пинес; ему же принадлежат комментарии к отделу «Воспоминания старика» и к статьям, связанным с этим отделом («Дело Госнера» и примечания Греча после текста).

Все это касается построения и редактирования настоящей книги; что же касается самого содержания воспоминаний, то, каковы бы ни были моральные свойства Греча (заставляющие относиться с крайней осторожностью ко многим его утверждениям и проверять их на каждом шагу), приходится признать, что записки его, особенно в части быто-описательной и исторической, сохраняют до настоящего времени большой интерес. Исторические рассуждения его не имеют никакой цены, но факты, сообщаемые им — часто драгоценны и не один раз уже были использованы историками. Вообще записки Греча, захватывающие собою историю, в том числе и литературную, почти целого столетия, представляют богатый литературный, исторический и бытовой материал, с которым читатели нашего времени познакомятся с большим интересом, особенно если иметь в виду, что без цензурных купюр записки эти появляются впервые.

В заключение пользуемся случаем принести искреннюю благодарность сотрудникам Публичной Библиотеки — И. А. Бычкову, М. Я. Майхровской, Н. В. Пигулевской, А. Н. Римскому-Корсакову, М. Г. Худякову

и сотрудникам Пушкинского Дома — И. А. Кубасову, Н. В. Измайлову, М. Д. Беляеву, П. Е. Рейнботу, Б. И. Коплану, А. А. Достоевскому, Н. А. Пыпину, Е. П. Населенко, В. Б. Врасской, П. И. Зиссерману, С. А. Пересе.енкову, С. П. Шестерикову, Е. А. Милютиной, С. А. Коплан-Шахматовой, З. В. Пушкаревой и Н. А. Васильевой. Их постоянное любезное содействие во многом облегчило продолжительную работу над редактированием и комментированием настоящей книги.

P. S. Уже после того, как «Записки о моей жизни» Греча были сданы в печать, выяснилось, что, в виду чрезмерного объема, книга не может быть напечатана полностью. Пришлось пожертвовать частью материала, правда, очень незначительной. В интересах читателей и самого издания, сокращения сделаны лишь в той части текста, где словоохотливый Греч слишком подробно разрисовывал свое «родословное древо» и нагромождал мало любопытные — в историческом или бытовом отношении — эпизоды.

Выпущенные страницы целиком напечатаны в изд. 1886 г. (А. Суворина), — в рукописях Публичной Библиотеки и Пушкинского Дома дополнений или вариантов к ним нет. Места пропусков помечены знаком [....] и перечислены в конце книги, с указанием пропущенных страниц по изд. 1886 года.

Н. И. ГРЕЧ И ЕГО «ЗАПИСКИ»

I

Если бы издать полное собрание сочинений Н. И. Греча, то получились бы не те пять небольших частей, которые напечатаны им самим в 1838 г., и не те три томика, которые издал Смирдин двадцатью годами позднее, а мы имели бы обширное собрание, которое вряд ли уместится и в двадцать томов. И все это было уже совершенно забыто в те годы, когда Греч доживал последние дни своей жизни; тем более прочно это забыто теперь. А когда-то Греч стоял в самых первых рядах русской литературы и имел успех во всех областях ее, за какие ни брался. С критическими статьями его считались все писатели; путевые заметки его при поездке во Францию в 1817 г. обратили на себя всеобщее внимание и читались во всех кругах образованного общества; основанный им в 1812 г. журнал «Сын Отечества» в течение целого десятилетия стоял во главе русской журналистики и был по тому времени действительно прекрасным и живым журналом. Эта эпоха расцвета жизни и литературного творчества Греча продолжалась до 1825 г.; но уже пятью годами раньше в жизни его наметился надлом; мало по малу Греч стал скользить по наклонной плоскости к тем болотам, к тем литературным низинам, в которых он барахтался последние сорок лет своей литературной жизни, которые запачкали его имя

и заставили забыть его литературную деятельность быть может скорее, чем она того заслуживала. Лишь одно произведение его прочно вошло в русскую литературу: это «Записки о моей жизни», до сих пор сохраняющие значение первоклассного исторического и историко-литературного материала, несмотря на тот совершенно определенный реакционный угол зрения, под которым Греч смотрел на прошлое и самого себя, и всего русского общества. Но эта точка зрения «Записок», писавшихся Гречем в глубокой старости, определялась всей его предшествовавшей жизнью; не познакомившись с последней хотя бы самым беглым образом, нельзя понять и той почвы, на которой выросли его «Записки».

II

О своем происхождении, семье, детстве и юности — сам Греч подробно рассказывает в первой части своих воспоминаний. Воспоминания эти, писавшиеся им на склоне лет, были задуманы очень широко, но смерть оборвала их почти на самом начале. Много десятков раз в воспоминаниях этих встречается одна и та же фраза в разнообразных вариациях: «об этом я еще буду подробно говорить впоследствии». И почти ни одно из таких обещаний не оказалось выполненным: последовательно развертывавшиеся воспоминания Греча были доведены им лишь до двадцатого года его жизни, или, с некоторой натяжкой, до 1812 г. Воспоминания о последующих годах даны вразброс, в форме эпизодических статей и набросков. А между тем только с 1812 г. и началась настоящая литературная деятельность Греча, поставившая его почти на два десятилетия во главе русской литературы.

Вскоре после смерти Греча в 1867 г. на заседании Общества любителей российской словесности М. Н. Лонгинов прочел свои «Воспоминания о Грече» (они сохранились и в рукописи, находящейся ныне в Пушкинском Доме, № 23.066. CLXVI. 6. 6). В статье этой Лонгинов сильно воспользовался той биографией Греча, которую дал Булгарин в 1838 г. в своем рекламном предисловии к собранию сочинений Греча; но кое-что Лонгинов внес и из своих личных воспоминаний. Говоря о годах своего детства, о двадцатых и тридцатых годах XIX века, Лонгинов вспоминает: «в то время Греча в Петербурге знали все от мала до велика». И несколько дальше: «известность Греча, не только литературная, но и просто личная, была почти всеобщая».

Если продолжить хронологическую нить, оборванную в воспоминаниях Греча на эпохе, примыкающей к отечественной войне, то надо будет указать, что начало известности Греча было положено еще в 1807 — 1809 гг., когда он, вместе со Шредером и Делакруа, издавал крайне либеральный по тому времени исторический и политический журнал «Гений времен». Издатели вынуждены были прекратить свой журнал по цензурным причинам, или, по их собственному заявлению, «по непредвиденным обстоятельствам, применение коих не состояло во власти издателей». Тогда Греч и Шредер пробуют издавать более невинный журнал без политического отдела — «Журнал новейших путешествий» (1809 — 1810 г.), еще годом позднее — «Исторический, статистический и географический журнал, или современную историю света» (1811 г.). О журналах этих сохранилась довольно большая литература; в виде примера можно указать на упоминание о первом из них в «Записках» С. П. Жихарева (М. 1890).

Но все это было только подготовлением молодого Греча к настоящей журнальной деятельности. В те времена трудно было пробить себе дорогу без просвещенных меценатов: по указанию Лонгинова, «в 1806 г. на Греча обратил внимание Н. М. Муравьев; он выхлопотал ему за какой-то перевод подарок от государя. В 1807 г., поощренный этим Греч уже был издателем журнала «Гений времен», а в 1809 г. издал первые грамматические труды свои»... В 1812 г. таким же меценатом явился для него гр. С. С. Уваров (впоследствии его враг), благодаря которому Гречу удалось основать свой собственный журнал, как он об этом и рассказывает в своих воспоминаниях, в статье «Начало Сына Отечества». К этому времени Греч перезнакомился на почве литературы со всеми крупными писателями той эпохи. Из второстепенных можно назвать Востокова, Д. Языкова, А. Измайлова, П. Никольского, Милонова, Остолопова и других. С 1812 г. кроме них в «Сыне Отечества» стали работать и крупнейшие из тогдашних писателей — Державин, Карамзин, Жуковский, Батюшков, Гнедич, кн. Вяземский, Василий Пушкин. Всем этим Греч был обязан просвещенному меценату того времени, А. Н. Оленину, который заметил молодого Греча еще на школьной скамье, познакомил с избранным литературным обществом, устроил его на службу и дал возможность пойти по литературной дороге. Нельзя сказать, чтобы Греч отплатил благодарностью своему меценату: твердо став на ноги, он стал изощрять свое остроумие над человеком, давшим ему возможность пробить житейскую и литературную дорогу. В кабинете Греча висел портрет Оленина с каламбурной подписью, сделанной Гречем: «O, le nain!» (О, карлик!) Греч не уставал издеваться над смешной надписью, составленной Олениным для постамента

двух сфинксов, стоящих против Академии Художеств, начинавшейся словами «сии два огромные сфинкса...». Благодарность не была в числе добродетелей Греча; для красного словца он готов был не пощадить ни матери, ни отца, что и доказал в целом ряде мест своих воспоминаний.

Но как бы то ни было — к 1812 г. Греч уже твердо стал на ноги, стал издателем самостоятельного журнала, который он сумел сделать лучшим из журналов того времени. Началось блестящее время деятельности Греча, совпадающее с блестящей эпохой его «Сына Отечества»: время это, когда Греч был глашатаем молодого либерального поколения, продолжалось до 1820 г. Сначала Греч был сторонником литературно-реакционной «Беседы» и кружка шишковистов, но вскоре перенес свои симпатии к кругам, близким к «Арзамасу»: один из передовых арзамасцев того времени, Дашков, вскоре стал сотрудником «Сына Отечества» (Вигель «Записки» М. 1892, т. III, стр. 152 и т. IV, стр. 173). В 1818 г. Греч уже стал действительным членом Общества любителей российской словесности (см. «Труды О.Л.Р.С.» т. XII, стр. 40 и «Словарь членов О.Л.Р.С.» М. 1911, стр. 90). В это же время Греч был уже настолько близок с «Арзамасом», что «Сын Отечества» мог считаться почти что органом этого течения (см. «Остафьевский архив» т. I, стр. 208, — письмо кн. П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 30 марта 1818 г.). Благожелательный отзыв о Грече мы находим в это время и в переписке Карамзина (см. «Письма Карамзина к И. И. Дмитриеву», Спб. 1886, письмо Карамзина от 18 июля 1816 г.).

Но мало того, что Греч был в то время рупором передовых направлений русской литературы, — он кроме того стоял и в рядах наиболее передовой части

общественности тех годов. Из рукописных записок Михайловского-Данилевского мы знаем, что Греч в эти годы был масоном и состоял в ложе «Избранного Михаила» («Русская Старина» 1912 г. № 3, стр. 529 и Шильдер «Александр I», т. IV, стр. 252). По сообщению знаменитого впоследствии художника, гр. Ф. П. Толстого (приводимому в «Воспоминаниях» Т. П. Пассек, «Русская Старина» 1878 г. № 2, стр. 211 — 214) в ложе «Избранного Михаила» мастером был гр. Толстой, «оратором» — Ф. Н. Глинка, секретарем — Греч, казначеем — первой гильдии купец Н. И. Кусов, ряд упоминаний о котором мы находим в воспоминаниях Греча. Эта ложа «Избранного Михаила» принимала деятельное участие в устройстве ланкастерских школ, сыгравших такую большую роль в дальнейшей судьбе Греча.

Борьба с литературно-реакционным «шишковизмом», близость к кругам «Арзамаса», либеральное масонство, организация ланкастерских школ, знакомство с либеральными, а впоследствии и революционными кругами будущих декабристов — вот круг деятельности и знакомств Греча в первое десятилетие его «Сына Отечества». В те годы Греч пользовался славой либерала, чуть ли не «красного», а журнал его был самым либеральным органом журналистики той эпохи. Много лет спустя Вигель, сильно преувеличивая, вспоминал про «Сына Отечества» первой четверти XIX века: это были -- «жиденькие книжки, исполненные выразительных, даже бешенных статей» (op. cit., т. IV, стр. 80). Это конечно слишком сильно сказано, но современники именно так относились в те годы к Гречу и его журналу. И. П. Давыдов, только что познакомившись с Гречем, писал Прокоповичу-Антонскому 9 января 1819 года: «чего бы ни написал Греч, кажется,

если бы хоть на 24 часа позволена была свобода тиснения!» («Русский Архив» 1889, т. III, стр. 548).

И действительно, перечитывая теперь этот журнал, издававшийся сто лет тому назад, находишь не мало статей настолько «либеральных», что они объясняют собой те отзывы о журнале, которые только что были приведены. Укажу для примера на немногие статьи— статью А. Куницына «О конституции» («Сын Отечества» 1818 г., т. XLV, стр. 201—211), статью В. Н. Каразина «О истинной и ложной любви к отечеству» (1818, т. XLIX, стр. 193—221), ряд рецензий на книгу Н. Тургенева «Опыт теории налогов« (1818 г.), многочисленные, чаще всего анонимные статьи самого Греча. Намеренно останавливаюсь на 1818 годе, потому что это был один из последних годов гречевского либерализма: начиная с 1820 года жизненный и литературный путь его резко изменился.

Во всяком случае — все эти годы, а по инерции и в течение всех двадцатых годов, Греч занимал одно из первых мест в русской журналистике и публицистике той эпохи. Вот характерное доказательство. В начале 1830 года И. В. Киреевский напечатал в альманахе «Денница» прошумевшую статью «Обозрение русской словесности за 1829 год», в которой разделил русскую литературу первых тридцати лет XIX века на три периода, возглавляемых именами Карамзина, Жуковского и Пушкина. Ксенофонт Полевой, хотя и враждебно относившийся тогда к Пушкину, но в то же время вовсе не имевший оснований быть в дружеских отношениях с Гречем, написал возражение Киреевскому, отказываясь признать Жуковского и Пушкина главарями литературных направлений и ставя на их место непосредственно за Карамзиным — Греча: «сей умный, образованный, изящный Писатель оказал

Словесности нашей услуги важные... В течение десяти лет, Греч почти один оживлял журнальную и критическую часть нашей Литтературы»... («Московский Телеграф» 1830 г., т. XXI; историю разразившейся по этому случаю полемики см. у Н. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. III, стр. 53—55). По отношению к Жуковскому и Пушкину мнение Кс. Полевого было, конечно, совершенно неверно, но в то же самое время оно было совершенно верно, поскольку касалось роли и значения Греча в критике и журналистике эпохи расцвета «Сына Отечества». Быть может дальнейшая житейская и литературная судьба Греча была бы совсем иной, если бы не случилось в его жизни фатального перелома, падающего на 1820 год.

III

Бунт Семеновского полка в 1820 году — вот первое событие, тесно связанное с судьбою Греча и бесповоротно надломившее его. Второе событие, случившееся в том же году с Гречем — событие мелкое и ничтожное, но определившее собою всю дальнейшую жизнь и литературную работу Греча: с ним познакомился Булгарин, ставший с этого времени на целые тридцать лет его ближайшим другом, соиздателем его журналов и газет, тем ядром, которое Греч, как каторжник, почти до конца жизни влачил прикованным цепью к своей ноге (образ самого же Греча). События не равноценные по своему значению, но сыгравшие одинаково губительную роль в дальнейшем направлении всей деятельности Греча.

Семеновская история, в которую Греч был замешан одной своей близостью к ланкастерским военным школам, смертельно испугала его и сделала из «отъ-

явленного либерала» самого трусливого консерватора, если не реакционера, униженно поддакивавшего потом всем мероприятиям правительства и всей политике каторжного режима Николая I. Сам Греч в своих воспоминаниях говорит о том, что до этой семеновской истории он был «отъявленным либералом, напитавшись этого духа в краткое время пребывания во Франции (в 1817 г.). Да и кто из тогдашних молодых людей был на стороне реакции? Все тянули песню конституционную»... А через две страницы после этого, рассказывая о том, почему и как он перестал быть либералом, Греч отмечает в примечании: «Особенно образумила меня семеновская история, доказав мне, что можно попасть в беду без всякой вины».

Пять лет, прошедшие между семеновской историей и восстанием декабристов, были ознаменованы для Греча все возраставшим приспособленчеством к требованиям правительства; сам он достаточно ярко рассказал об этом в своих «Воспоминаниях старика». Личная дружба со многими из будущих декабристов не мешала росту его консервативных идей, основная мудрость которых заключалась в применении к своим поступкам бескрылой пословицы «против рожна не попрешь». Предателем и доносчиком Греч не был, но уже твердо занял ту политическую позицию, которую с этих пор защищал в течение тридцати лет в своей газете. «При начатии «Северной Пчелы» (в январе 1825 г.), — вспоминал он впоследствии, — я уже вытрезвился от либеральных идей волею и неволею, и удерживал сарматские порывы Булгарина. За это ему доставалось от либералов. Рылеев, раздраженный верноподданническими выходками газеты, сказал однажды Булгарину: когда случится революция, мы тебе на «Северной Пчеле» голову отрубим».

Лиха беда начало: с 1825 года Греч быстро покатился, под руку с Булгариным, по наклонной плоскости душевного падения. На другой же день после восстания 14 декабря 1825 года он пишет и подает по начальству верноподданническую записку о причинах восстания, которое и впоследствии, через тридцать лет, называл не иначе, как «гнусным и пагубным взрывом». Положение обязывает: став в позу бескорыстного и верного сторонника самодержавия, надо было до конца и последовательно выдержать и все то, к чему эта поза обязывала. Отсюда — униженные поклоны Греча главарям жандармов, Дубельту и Бенкендорфу, отсюда и раболепное преклонение пред Николаем I, сказавшееся даже и в этих воспоминаниях Греча, написанных уже после смерти Николая. Оправдывая его, он тем самым оправдывал самого себя. «Николай Павлович строг и взыскателен, но благороден и откровенен... Он отнял у высшей полиции все злобное, коварное, мстительное. Дай бог ему много лет царствовать», — писал Греч в 1851 году еще при жизни этого неблагородного и неоткровенного монарха, придавшего тайной полиции характер злобный, коварный и мстительный. После смерти его, когда даже самые верноподданные люди прозрели все то зло, которое нанес Николай I своей системой России, затормозив на тридцать лет ее развитие, Греч все же продолжал считать, что «тень эта существует только для современников. При свете беспристрастной истории она исчезнет, и Николай станет на ряду самых знаменитых и доблестных царей в истории». Ясно: Гречу надо было оправдать самого себя.

Такая же эволюция, как известно, происходила в конце двадцатых и начале тридцатых годов и с Пушкиным, который сперва тоже поверил благородству

и откровенности Николая I. Известно также, как жестоко поплатился Пушкин за свою доверчивость; но он не печатал при своей жизни похвальных стихов Николаю I (стансы «Друзьям» 1828 года), не старался всюду, где только можно, восхвалять благородство и великодушие царя. Греч в этом отношении не может итти в сравнение с Пушкиным: искреннюю доверчивость последнего он заменил раболепством, ввел это раболепство в систему и построил на нем свое житейское благополучие, причем в своих похвалах перебарщивал так сильно, что вызывал тошноту в самых верноподданных людях. В относящихся к концу тридцатых и началу сороковых годов «Записках» гр. М. Д. Бутурлина есть между прочим такая запись: «В Английском клубе я познакомился с Н. И. Гречем. Там, за обедом, он был, так сказать, гуслями, соловьем: заслушиваемся, бывало его. В одном только отношении разговор его делался приторным, а именно в неразборчивости и утрировке его восхищения всем тем, что говорил и делал государь... Разве только к царскому чиханию не применялось опошлевшее восклицание: какой-де государь у нас молодец!» («Русский Архив» 1901 г., т. III, стр. 442).

Царь не оставался неблагодарным к верноподданному лакейству. В архиве Греча (рукописное отделение ПД) сохранилось следующее письмо к Гречу Бенкендорфа, написанное на бланке: «Шеф жандармов, командующий императорскою главною квартирою. Отделение II. В С.-Петербурге». («Января 21 дня 1837. № 393»). Так как это письмо до сих пор не было нигде напечатано и в то же время крайне характерно, то в виду краткости его, можно привести его целиком:

«Милостивый государь Николай Иванович! Я имел счастие обратить всемилостивейшее внимание его императорского величества на многолетние полезные

труды Ваши и благонамеренное направление литературных сочинений, Вами издаваемых, и, вместе с тем, всеподданнейше доводил до высочайшего сведения о постоянном усердии Вашем, готовности к составлению и изданию поручаемых Вам от меня статей и о той пользе, какую приносят Ваши занятия. Государь император, удостоив с благоволением принять таковое всеподданнейшее мое представление, высочайше повелеть мне соизволил: объявить Вам особенное монаршее удовольствие за полезные Ваши труды. Причем его величество изволит надеяться, что и на предбудущее время Вы, с тем же усердием, будете продолжать занятия Ваши, тесно соединенные и с пользами просвещения, и с намерениями правительства. С особенным удовольствием сообщая Вам, милостивый государь, таковой высочайший отзыв его императорского величества, с совершенным уважением и преданностию имею честь быть Вашим, милостивый государь, покорнейшим слугой — Граф Бенкендорф».

Слишком долго было бы перечислять те «услуги», которые Греч оказывал в течение четверти века после 1825 года жандармам и III отделению: недаром сам Бенкендорф говорит об усердии Греча, о составлении и издании поручаемых ему жандармами статей. Как Греч выступал в иностранной печати в защиту Николая I от прошумевшей тогда книги маркиза де-Кюстина «La Russie en 1839» (P. 1843), как напечатал свою брошюру в Германии и во Франции, какое позорное впечатление произвела эта брошюра, какая характерная переписка возникла по этому поводу между Гречем и III отделением — обо всем этом незачем рассказывать здесь подробно, но достаточно отослать читателей к комментариям в конце настоящего тома. Неудивительно, что после такого отнюдь не героического

эпизода, А. И. Тургенев писал 5 (17) сентября 1843 г. из Парижа кн. Вяземскому: «на улице встретил Греча. Сперва не вспомнил, кто он и оттого подал руку» ... («Остафьевский архив» т. IV, стр. 268). Неудивительно, что во время этого пребывания Греча в Париже, кто-то заказал его визитные карточки с припиской на них «éspion de Sa Majesté Imperiale» (шпион его императорского величества) и развез эти карточки по всем парижским знакомым Греча («Записки графа М. Д. Бутурлина», «Русский Архив» 1901 г., т. III, стр. 413). Неудивительно, что все подвиги Греча, как добровольного агента III отделения, тогда же снискали ему определенную и весьма нелестную репутацию, закрепленную тогда же в известной, ходившей по рукам сатирической пародии Н. И. Куликова под заглавием «Братья журналисты», в которой автор заставлял Булгарина рассказывать про Греча:

Он в Петербурге всех стыдился
И путешествовать пустился;
Сюда статейки присылал,
В них русским льстил, чужих ругал,
Но тем не выиграл у трона,
Лишь за границею стяжал
Он имя русского шпиона...

По указанию самого автора, Н. И. Куликова, сатирическая пародия эта на «Братьев разбойников» Пушкина, была написана им в 1843 году («Русская Старина» 1881 г. № 8, стр. 621 и 1885 г., № 2, стр 472; «Русский Архив» 1884 г., т. I, стр. 237. Об Н. И. Куликове см. воспоминания А. И. Шуберт «Моя жизнь», Л. 1929).

Достаточно этих беглых указаний, чтобы видеть, насколько ясно была обрисована литературная и об-

щественная физиономия Греча для его современников эпохи тридцатых и сороковых годов. О роковом значении для Греча дружбы Булгарина не говорю здесь совсем, как о факте достаточно освещенном историей литературы, да к тому же подтверждаемом и самим Гречем в его воспоминаниях. Первую и ядовитую характеристику этой дружбы дал Пушкин в знаменитых своих статьях 1830 года «Торжество дружбы, или оправданный Александр Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем». Заканчивая последнюю статью превосходной биографией Булгарина под заглавием «Настоящий Выжигин», Пушкин десятую главу этого историко-нравственно-сатирического романа озаглавливает «Встреча Выжигина с Высухиным», имея в виду под Высухиным — Греча, что почему-то до сих пор не было отмечено пушкинистами. [1] Встреча эта дала богатые и обильные плоды, о которых Пушкин язвительно говорит в этих двух своих статьях. Герцен в статье 1843 года «Ум хорошо, а два лучше» тоже останавливается на этом «открытом конкубинате» Греча с Булгариным. «Нет ни одного человека в Москве, который бы умел врознь понять Минина и Пожарского, так, как нет ни одного человека в Петербурге, который бы умел понять врознь Булгарина и Греча, — хотя бы один жил для

[1] Пушкинисты оставили вообще без всяких комментариев этот отрывок Пушкина — «Настоящий Выжигин», быть может вследствие еще недостаточной изученности биографии Булгарина. Здесь можно указать между прочим, что глава XIII «Настоящего Выжигина», озаглавленная «Свадьба Выжигина. Бедный племянничик! Ай да дядюшка!», — явно имеет в виду рассказанную Гречем в воспоминаниях историю об инциденте между Булгариным и его племянником Искрицким.

удовольствия и нравственных наблюдений в Париже, а другой для нравственных наблюдений и для удовольствия в Дерпте». Подчеркивая здесь дважды «наблюдение», Герцен разумеется метит в доносительную и шпионскую роль Булгарина и Греча, в которой тогда все были уверены.

Все это с достаточной ясностью показывает, как относились к Гречу лучшие представители литературы и общественности тридцатых и сороковых годов. Он не вполне заслужил такое отношение, он все же не был Булгариным, но дружба с последним действительно оказалась каторжным ядром на его литературной репутации. Под жестокой характеристикой, данной Гречу Белинским в его письме к Боткину от 30 декабря 1840 года, подписались бы все живые силы русской общественности и литературы той эпохи: «О, Боткин, если бы ты знал хоть приблизительно, что такое Греч: ведь это апотеоз расейской действительности, это литературный Ванька-Каин, это человек, способный зарезать отца родного и потом плакать публично над его гробом, способный вывести на площадь родную дочь и торговать ею (еслиб литературные рессурсы кончились и других не было), это грязь, подлость, предательство, фискальство, принявшие человеческий образ»...

Да, Греч мог бы сказать самому себе: tu l'a voulu, George Dandin! Никто не тянул его в объятия Булгарина — кроме денежных интересов. В жадном отстаивании их Греч доходил до таких крайностей, что даже сам Булгарин — подумать только об этом! — упрекал его в слишком открытом высказывании заветного своего желания: «даржан, даржан!»

Вот в какое болото понемногу скатился Греч после своего душевного надлома в 1820 году и после начала

своего знакомства с Булгариным. Раболепство перед правительством с одной стороны, литературное торгашество с другой — вот к чему пришел былой «отъявленный либерал» александровских времен. Скажи мне с кем ты знаком, и я скажу тебе, кто ты — говорит известная поговорка. Ее можно видоизменить и так: скажи мне, кто твой герой, и я скажу тебе, кто ты. Греч был «знаком» с Булгариным, а его «героем» был — Николай I. Этого более чем достаточно для полной его характеристики.

IV

Если когда-нибудь Греч дождется биографа и подробного исследователя литературной своей деятельности, то в биографии и исследовании этом подробно будет рассказано о литературных работах Греча в течение целых шестидесяти лет его писательства. Здесь достаточно отметить главные этапы. Еще в 1812 году Греч издал литературную хрестоматию («Избранные места из русских сочинений и переводов»), выдержавшую с тех пор и до середины XIX века целый ряд изданий. В 1822 году Греч выпустил в свет замечательный для того времени «Опыт краткой истории русской литературы»; «эту книгу Лонгинов в 1867 году считал «и теперь еще настольной». В 1827 году появилась на свет «Пространная русская грамматика» Греча (с рекламным предисловием Булгарина), сыгравшая свою роль в дальнейшем развитии научного изучения языка. Эта «Пространная русская грамматика» 1827 года была переработана им тремя годами позднее в краткий учебник грамматики, доставивший ему громадные доходы. Позднейшие отзывы специалистов о грамматических трудах Греча (начиная с отзыва

Востокова, напечатанного М. Сухомлиновым в его «Истории российской Академии» т. VII, стр. 341—351)— крайне отрицательны; но это не мешало грамматике Греча оказать в свое время значительное практическое влияние, следы которого чувствуются и до сих пор.

В 1830 году Греч напечатал свой роман «Поездка в Германию» (посвятив его Булгарину), а в 1834 г. второй и последний свой роман, в то время сильно прошумевший — «Черную женщину». [1] Романы Греча были в свое время «занимательным чтением» и, как всякое занимательное чтение, были забыты через несколько лет после своего появления. И в этой области Гречу не суждено было оставить по себе заметный литературный след.

Журнальная и газетная деятельность, которой Греч отдавал главное свое время — тоже пропала бесследно для последующих литературных поколений. Только специалисты по истории журналистики первой половины XIX века знают, что в 1829 — 1831 гг. Греч редактировал «Журнал министерства внутренних дел», что в 1834 — 1835 гг. он был одним из редакторов возникшей тогда «Библиотеки для чтения», но не ужился с главным ее редактором, Сенковским, что в 1834—1836 гг. он возглавлял редакцию «Энциклопедического Лексикона» (о чем впрочем сам он подробно рассказывает в своих воспоминаниях), что с 1837 года он редактировал «Военно-энциклопедический лексикон», за первый

[1] Современным писателям не мешало бы познакомиться с этим романом, хотя бы для того, чтобы убедиться, что излюбленные внешние фокусы, вроде смещения временных плоскостей — фокусы весьма престарелые, которые даже Греч заимствовал уже из литературы XVIII века.

том которого получил в 1837 году пожалование брилиантовым перстнем, что в 1841 году он стоял во главе журнала «Русский Вестник». Громадный труд, вложенный Гречем во всю журнальную и словарную работу— пропал бесследно в ворохах печатной бумаги, которую читают теперь только историки литературы той эпохи, не находя в бесчисленных писаниях Греча этих десятилетий ничего такого, что могло бы выдвинуть его имя из ряда посредственностей, работавших вместе с ним.

Греч принимал ближайшее участие в выработке устава о цензуре 1828 года; в рукописях Публичной Библиотеки сохранился черновой проект этого устава с надписью: «Устав о цензуре, высочайше утвержденный 22 апреля 1828 года, составленный коллежским советником Гречем и потом рассмотренный и исправленный товарищем министра внутренних дел, тайным советником Д. В. Дашковым». Но и в этой области чиновнической службы Гречу не удалось создать ничего заметного, как и в областях научной и литературной. Годы расцвета его деятельности (1812 — 1825) — давно прошли; пришлось отступить во вторые и третьи ряды литературы. Этому способствовала и та напряженная газетная работа, которую Греч вел в течение тридцати пяти лет в «Северной Пчеле», размениваясь на мелочи. Но именно эта его работа заслуживает пристального внимания будущего историка журналистики; когда-нибудь еще будут переизданы те в высшей степени интересные «воспоминательные» очерки Греча, которые он печатал и за своей подписью, и псевдонимно в этой своей газете в течение ряда десятилетий. Два примера: в №№ 231 — 233 «Северной Пчелы» 1838 года напечатаны интересные путевые письма под заглавием «Знаменитости парижские»; в 1857 — 1858 гг. он печатал в этой своей газете еще более интерес-

ные воспоминания о ряде деятелей русской литературы и культуры начала XIX века («Северная Пчела» №№ 108, 119, 125, 131, 137, 147, 159, 189 и др.). Но это относится как раз к области тех воспоминаний, которым одним только и было суждено спасти имя Греча от окончательного забвения.

В пятидесятых годах имя Греча стояло уже на задворках русской литературы. Рассказывающая про эту эпоху А. И. Шуберт вспоминает, что Греч «был как бы во главе, дирижировал старческим синклитом» — самых второстепенных и третьестепенных деятелей русской литературы; среди них она называет В. И. Панаева, М. А. Маркова, Н. А. Майкова, Ф. Н. Глинку, П. Н. Арапова и ряд других (А. И. Шуберт «Моя жизнь», Л. 1929, стр. 170 — 172). В этом обществе отживших старичков Греч блистал своим остроумием, о котором впрочем единогласно говорит целый ряд самых разнообразных свидетелей (см. воспоминания Н. Терпигорева, «Русская Старина» 1870 г. № 4, стр. 92; воспоминания кн. Н. Голицына «Русская Старина» 1890 г. № 6, стр. 706; «Записки Кс. Полевого», стр. 240 и 268; записки Карлгоф-Драшусовой «Жизнь прожить не поле перейти», «Русский Вестник» 1881 г. № 10, стр. 714, и мн. др.). Стоило ли посвящать литературе всю свою жизнь, чтобы перейти в память потомства лишь как бонмотисту и остроумцу второй руки, в то время как десятки томов, написанных за целые полвека, осуждены на пыльное забвение!

Полувековой юбилей Греча, отпразднованный с официальной помпой 27 декабря 1854 года, был лишь наглядным подтверждением того факта, что подлинная литература и общественность стоят далеко от Греча и игнорируют его существование. История этого юбилея хорошо рассказана в письме П. А. Плетнева

к кн. П. А. Вяземскому от 6 января 1855 года. «С Гречем произошла вот какая история. Уже года три он хлопотал, чтобы его друзья отпраздновали 50-летний юбилей литературной его жизни. Нынешней осенью удалось ему склонить Я. И. Ростовцева войти через государя наследника с докладом к его величеству о дозволении праздновать этот юбилей Гречу... Соизволение воспоследовало. Напечатали приглашение участвовать в этом деле денежными приношениями и брали с рыла не менее 25 р. серебром»... Далее Плетнев рассказывает, как сам Греч, с распорядителями юбилейного вечера, посещал сановных лиц (например, министра народного просвещения Норова), убеждая их присутствовать на юбилейном обеде. На последнем блистала отсутствием почти вся литература; но не было зато и Булгарина, страшно обидевшегося на то, что в виду ссоры с Гречем (о которой последний подробно рассказывает в своих воспоминаниях) он был устранен от всякого участия в празднике (см. почтительно-наглое письмо Булгарина к генералу Я. И. Ростовцеву, напечатанное в «Древней и новой России» 1876 г., т. I, стр. 98; ответ Я. И. Ростовцева на это письмо — в «Русской Старине» 1901 г. № 2, стр. 386). Но отсутствие Булгарина не искупало собою полного отсутствия всей передовой русской литературы. Наука, в лице представителей Академии Наук, блистала таким же отсутствием. Билеты на юбилей принудительно распространялись в военных кругах, находившихся под начальством генерала Ростовцева. Этот позорно отпразднованный юбилей увековечен в брошюре Кс. Полевого «Юбилей пятидесятилетней литературной деятельности Николая Ивановича Греча 27 декабря 1854» (Спб. 1855); в конце брошюры приложен «алфавитный список особ, изъявивших желание участвовать в юби-

лее»: одно ознакомление с этим перечнем является худшим обвинительным приговором всей полувековой деятельности Греча — и не столько по тем именам, которые находятся в этом перечне, сколько по тем, какие в нем отсутствуют. Но даже этот печальный юбилей доставил Гречу некоторое удовлетворение: его еще помнили. Через десять лет он не мог бы даже и этого сказать о себе: он был заживо похоронен и забыт.

V

Что же делал Греч в эти последние десять лет жизни? Писал воспоминания. Им суждено было остаться единственным его литературным трудом, заслуженно избежавшим забвения и твердо вошедшим в избранную мемуарную литературу.

Греч начал писать «Записки о моей жизни» еще в 1849 году, писал до конца 1851 года, затем снова вернулся к ним в 1852 году, и, после большого перерыва, принялся за их продолжение в 1861 году, но так и не закончил, доведя рассказ лишь до начала своей литературной деятельности. В годы перерыва между двумя частями своих записок он написал законченные и цельные «Воспоминания старика» об эпохе царствования Александра I и о декабристах. Написанные в 1857—1858 гг. воспоминания эти до сих пор являются ценнейшим материалом, из которого обильно черпают все исследователи эпохи и личностей декабристов. Ненависть Греча к «гнусному взрыву» 14 декабря 1825 года заставляет с крайней осторожностью относиться к ряду приводимых им фактов; но надо сказать, что в воспоминаниях этих Гречу удалось сохранить достаточную объективность: о своих идейных врагах, декабристах он почти всюду отзывается в высшей степени сочув-

ственно. Конечно, сообщаемые им сведения нуждаются в целом ряде поправок и дополнений, изредка — опровержений, но при всем этом воспоминания его остаются тем ценным материалом, мимо которого не может пройти ни один из историков александровской эпохи.

Закончив «Воспоминания старика» и недописав «Записки о моей жизни», Греч стал писать в самые последние годы своей жизни (1861 — 1866) ряд отдельных статей и экскурсов мемуарного характера, теснейшим образом примыкающих к его воспоминаниям и запискам. Все это собранное вместе составляет объемистый том воспоминаний Греча, в настоящее время впервые издаваемый по рукописям с восстановлением многочисленных цензурных купюр. Если бы Греч мог знать, что̀ именно останется от него в литературе — он усердно стал бы писать ценные свои воспоминания, не разбрасываясь на мелкую публицистику, которая так и погибла вместе с ним. Но и в последние годы своей жизни (он умер 12 января 1867 года восьмидесятилетним стариком) он отвлекался от своих воспоминаний рядом трудных для такого глубокого старика работ: так например, в начале 60-х годов он усердно помогал Далю в работе последнего над знаменитым «Толковым Словарем» (см. об этом «Московские Ведомости» 1863 г. № 156 и Н. Барсуков «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. XXI, стр. 272 — 274). Раньше, в эпоху расцвета своих сил, он отдавал все свое время «Северной Пчеле»; кроме того он был большим любителем «невинного препровождения времени» — где-нибудь в Английском клубе или на своих литературных журфиксах (см. об этом В. П. Бурнашев «Четверги у Греча», «Заря» 1871 г. № 4 и «Памятники новой русской истории», т. II, Спб. 1872. О семейной жизни Греча можно найти интересные детали в воспомина-

ниях М. Ф. Каменской, «Исторический Вестник» 1894 г. № 3, стр. 604—608). Все это вместе взятое — семья, Английский клуб, журфиксы, «Северная Пчела», а в последние годы жизни старость и дряхлость — не позволили Гречу закончить и закруглить тот единственный литературный труд, который пережил его самого и явился действительно ценным вкладом в мемуарную литературу XIX века. Целый ряд фактов, которые Греч не успел записать в своих воспоминаниях — погиб вместе с ним; а чего бы стоила, например, хотя бы одна его статья о Пушкине, которого он не только достаточно близко знал, но и о котором он знал многое такое, что теперь неизвестно ни одному из пушкинистов. В своей ответной речи на юбилейном обеде 27 декабря 1854 года Греч сказал между прочим: «я знал лично Державина, Дмитриева, Карамзина, Жуковского, Крылова, Грибоедова, Пушкина, Гнедича, Загоскина, Полевого, с некоторыми из них был в приязни и в дружбе»... Но ни об одном из них не успел он рассказать в своих воспоминаниях: в ненаписанной части их мы лишились гораздо большего, чем получили в написанной. Но и того, что Гречу удалось записать, оказалось достаточным, чтобы спасти его имя от забвения.

В альбом баснописца А. Е. Измайлова Греч в эпоху своего расцвета, в начале двадцатых годов, нарисовал свой портрет в виде рыцаря с пером в руке вместо меча, — и подписал под этим рисунком:

Я рыцарь перышка, и перышко мой меч:
Меч веки проживет, с ним проживет и Греч.

(«Русский Архив» 1885 г., т. I, стр. 446.) Перо Греча было, как мы знаем, крайне разнообразно: это было перо и публициста, и романиста, и ученого — и все

эти перья истлели и превратились во прах. Осталось одно перо — перо автора бытовых, литературных и исторических мемуаров, которое действительно позволило Гречу, если и не «веки прожить», то во всяком случае дожить до нашего времени.

Иванов-Разумник.

1929.

ЗАПИСКИ О МОЕЙ ЖИЗНИ



Н. И. Греч.
(Из собрания Пушкинского Дома)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

13 мая 1849.

Несколько раз сбирался я писать записки о виденном и слышанном мною в жизни, как по советам других, так и по собственному влечению. Раза два и принимался, но не имел силы продолжать. Самый длинный из сих опытов начал я в 1821 году, именно 21 мая, но написал не более пяти страниц, и остановился. Я прочитал их Булгарину: они ему очень понравились, и он поощрял меня продолжать, но я, сам не зная почему, не мог решиться. Теперь думаю я, что эта нерешительность произошла от чувств тогдашней моей молодости: впечатления были свежи, но не глубоки; мнения решительны, но односторонни; опыт тяжелою своею рукою еще не подавил тогда души кипучей и отважной; не охолодил студеною водою мечтаний самолюбия и самонадеянности. К тому же многие из существенных лиц биографической моей драмы были живы: следовало бы писать портреты, а не воспоминания; приходилось бы пожать руку иному, а чрез полчаса, прижать всего его, только не к сердцу. Я написал потом несколько отрывков из моих воспоминаний: письмо к графу Толстому, в первой книжке «Новоселья» (1833), другую статью

в «Новогоднике» Кукольника (1839), о начале «Сына Отечества», в №№ 28 и 29 «Северной Пчелы» 1839 года.[1] Эти статьи, кажется, были не без достоинства: доказательством тому были с одной стороны внимание к ним бо́льшей, благонамеренной публики; с другой безусловная брань враждебных мне журналов.

Возобновляю на шестьдесят втором году жизни безуспешно начатое на тридцать четвертом. Двадцать восемь лет и десять дней—почти размер поколения человеческого! Авось либо теперь буду счастливее. Какая цель моих записок? Оставить моим детям, внучатам, друзьям и приятелям воспоминания о жизни не слишком разнообразной, не богатой важными происшествиями, но довольно замечательной в кругу, который был ее поприщем. Постараюсь писать как можно проще, без всяких затей, прикрас и авторских требований. Буду писать обо всем, что видел, слышал, испытал, о делах важных и о безделицах. Постараюсь об одном, чтоб в моих записках было сколь можно более правды. Безусловной правды не обещаю, и обещать не могу: она не далась никакому человеку в этой жизни страданий, искушений, разочарований; довольно того, если он желает и старается быть правдивым. Буду щадить своих ближних, сколько возможно, но пощада эта будет ограниченная. Слабости людей, невольные их прегрешения, свойственные всякому человеку,—имеют право на умолчание их; но пороки гласные и вредные, подлость,

[1] См. вторую часть настоящего издания «Записок».

коварство, злоба, лицемерие, неблагодарность, мстительность должны быть изобличены и тем самым наказаны. Мне возразят: об умерших должно говорить только... Только правду! прерву я вашу речь. Выставляя и карая порок, чту и возвышаю добродетель. Не один нынешний или будущий мерзавец (а на таковых всегда и везде большой урожай), читая описание душевных качеств и дел подобного себе во время оно, призадумается, и может быть сделает одною подлостью менее. Довольно будет и этой пользы от моих записок. Если б следовало говорить о людях, по смерти их, только добро, то оставалось бы или не писать истории, или сжечь все исторические книги. В этом случае является достойное внимания преимущество людей мелких и слабых пред великими и сильными. Умрет мелкий негодяй; его похоронят с тою же молитвою, как доброго человека: упокой, господи, душу усопшего раба твоего!— и потом забудут. Брань на него при жизни, обращается по смерти в безмолвие, а иногда и в похвалу с пожеланием ему царства небесного. Другое достается на долю царей и великих мира сего. При жизни их хвалят, им удивляются, раболепствуют, не только писать и говорить, даже думать дурно о них не смеют. Но едва лишь они сойдут с позорища, является неумолимая история, и разит их обоюдуострым мечом своим. Над могилою простого человека легкий зеленый холмик; труп вельможи тяготит мраморная гробница. И не одна история терзает их память. Ближайшее потомство чернит их, как бы желая нынешнею

неблагодарностью загладить вчерашнюю свою подлость... [1] Всего лучше в этом отношении писателям, артистам и т. п. творцам: при жизни судят о них по самому плохому из их творений, по смерти по самому лучшему. Кто, например, теперь бранит стихи графа Хвостова, и кто не отдает справедливости единственному четверостишию Рубана!

Не пора ли мне приступить к делу. Вижу, что мне идет седьмой десяток: старость болтлива!

Итак — с богом!

Род мой происходит из Германии, а именно, сколько мне известно, из Богемии. В Вене жил и умер знаменитый в свое время католический проповедник, доктор богословия, профессор университета, бенедиктинец Адриан Греч, род. в 1753 году. Некоторые отрасли пресловутого рода занесены были и за Рейн: в Крейцнахе жил бедный ремесленник этого прозвища, но я, к сожалению моему, в 1845 г. бывши там, не нашел уже его в живых.

В половине XVII столетия несколько тысяч семейств протестантских, преследуемых католическими изуверами, бежали, бо́льшею частию, в северную Германию и в Пруссию. В числе их был и прапрадед мой. Кто он был мне неизвестно. Булгарин отрыл в какой-то

[1] *Здесь в копии ПД позднейшая вставка Греча:*

Это было написано в 1849 году и блистательно оправдалось в 1855, по кончине Николая I. Облагодетельствованные, возвеличенные им люди восстали на него бессовестно и бесстыдно.

старинной польской метрике, что король польский Стефан Баторий даровал чеху Гречу дворянское достоинство за услуги, оказанные Польше, но был ли этот чех из наших предков, не знаю. Сомневаюсь даже, ибо, в случае действительного облагорожения его фамилии, он непременно прибавил бы, в Германии, к своей фамилии частичку ф о н, а такой прибавки ни в одном из наших фамильных актов не значится. Если мне удастся побывать в Стокгольме, я справлюсь об этом обстоятельстве в тамошнем архиве, где хранятся именно свидетельства о дворянских родах Польши. Всего ближе поведет к открытию фамильный герб, о котором упомяну ниже.

В фамилии нашей сохранилось темное предание, что уже прадед мой жил в России, но выехал оттуда обратно в Пруссию. Достоверно знаем только, что сын выходца из Богемии, Михаил Греч, в 1696 году был камерным советником в прусской службе и умер в Кенигсберге, около 1725 года, в крайней бедности. Дед мой Иван Михайлович (Iohann Ernst), родившийся в Кенигсберге 19 октября 1709 года, с самых молодых лет чувствовал страстную охоту к наукам и особенно любил поэзию. Он учился сначала в Кенигсбергской, а потом в Данцигской гимназии, с большими успехами. При всяком достопамятном случае брался он за лиру и воспевал счастие или несчастие своих знакомцев и благодетелей, особенно членов Данцигской ратуши. Они обратили внимание на благонравного и красноречивого юношу, и поместили его, в 1732 году, на городскую

стипендию студента в Лейпцигском университете. Там приобрел он особенную благосклонность знаменитого историка Маскова и помогал ему в сочинении немецкой его истории. Масков рекомендовал его в репетиторы к знаменитым молодым людям, учившимся в Лейпциге. Несколько времени провел он и в Марбурге. В обоих городах познакомился он с русскими студентами, и стал заниматься русским языком, как будто предчувствуя свое будущее назначение. Действительно судьба неожиданно переселила его в Россию. Находившийся при курляндской герцогине Анне Ивановне, знаменитый Бирон желал иметь при себе секретаря, который бы имел основательные познания в истории и образе правления Польши, с которою тесно связано было Курляндское герцогство, и поручил русскому посланнику в Варшаве, графу Кайзерлингу, отыскать ему способного к такой должности человека. Кайзерлинг обратился с этим поручением к Маскову, и он рекомендовал моего деда. Иван Греч прибыл в тридцатых годах в Митаву. Герцог принял его благосклонно, но вскоре увидел, что имеет дело с действительно ученым человеком и что секретарское место ему не прилично. Он дал Гречу место профессора в Митавской гимназии. Чрез несколько лет, когда надлежало устроить верхние классы в Сухопутном кадетском корпусе (учрежденном в 1732 г.), главный начальник корпуса граф Миних спросил у Бирона, не может ли он рекомендовать ему хорошего профессора. Бирон назвал Греча, вызвал его из Митавы и представил графу.

В начале 1738 года магистр философии Iohann Ernst Gretsch, переименованный Иваном Михайловичем Гречем, поступил профессором истории и нравоучения, и так называемых humaniorum, в верхние классы Сухопутного Шляхетского Кадетского Корпуса, называвшиеся тогда Рыцарскою Академиею [. . . .]

В этой должности дед мой прослужил около двадцати лет и 22 мая 1757 года был назначен директором учебной части (инспектором классов) корпуса, с производством в чин юстицрата 5 класса. Сверх сей должности был он лектором при великой княгине Екатерине Алексеевне, выбирал книги для ее библиотеки, и преподавал ей историю и политику. Блистательные успехи ученицы дают его познаниям и способностям самый лестный атестат. Достойно замечания, что он в то же время пользовался вниманием и милостью великого князя Петра Федоровича, бывшего главным директором корпуса: это свидетельствует о его благоразумии и уменьи жить в свете. Дед мой несколько лет страдал головокружением, сопровождаемым обмороками, и 4 марта 1760 года, на экзамене в корпусе, в присутствии великого князя, поражен был апоплектическим ударом. Он упал без памяти на пол. Великий князь поднял его, посадил в кресла, и как в нем были еще знаки жизни, приказал бережно отнести домой, в квартиру его в 1-й линии. Тогда протекала между Кадетскою и 1-ю линиями канавка, и против дома, в котором жил И. М. Греч, был пешеходный мостик, но такой узкий, что нельзя было пронести кресел. Вели-

кий князь, увидев это из окна, приказал сломать перила по сторонам мостика, чтоб пронести больного. Потом мостик этот починили, и он с тех пор до упразднения своего вместе с канавкою, слыл Гречевым. Бедный дед мой томился на одре болезни до осени, и скончался 13 сентября того же года. Из сочинений его известны мне печатные немецкие стихи, написанные им в Митаве в 1738 году по случаю переселения одного патриция, покровителя его, в новый дом. В этих стихах назван он профессором митавской гимназии; это противоречит другим известиям о его службе. Кажется, он, по вызову Бирона, прибыл не прямо в Петербург, а сначала был определен в Митаве, и там сделался известен своею ученостью. Сверх того сочинил он книгу: «Политическая География, сочиненная в Сухопутном Шляхетном корпусе. СПБ. 1758, в типографии Корпуса». Книга эта издана на русском языке, но вероятно написана по-немецки, и переведена кем-нибудь из его помощников.

Из учеников его я знал генерал-прокурора Александра Андреевича Беклешова, тайного советника Карла Федоровича Модераха и знаменитого нашего актера Дмитревского: все они хранили о нем благодарную память [....]

Третий из известных мне учеников, как я сказал, был Дмитревский. Я познакомился с ним у Гнедича и, имея надобность в сведениях о началах русского театра (для моей истории литературы), отправился к почтенному старцу (это было летом в 1821 году). Дмитревский жил тогда у сына своего, служившего



И. А. Дмитревский
(Неоконченный портрет худ. О. Кипренского)

в почтамте. Я нашел его за утренним завтраком: он сидел на лежанке и ел салакушку. Тогда он был уже совершенно слеп, и когда я объявил ему кто я, и зачем пришел, он сообщил мне все нужные сведения, и наконец спросил, не родня ли я профессору Гречу. Я сказал: точно, я внук ему, и просил И. А. [Дмитревского] дать мне какое-нибудь понятие о моем деде. Дм[итревский] отвечал мне, что учился у него, с товарищами своими, по средам, всеобщей истории; что дед мой был человек высокого роста, важный, глубокомысленный, строгий.

Никогда не забуду этой беседы с осьмидесятилетним Дмитревским: в голосе его было что-то торжественное, трагическое; голова его дрожала от старости, но была удивительно прекрасна. У Н. И. Гнедича был несравненный портрет его, слегка набросанный Кипренским: не знаю, куда он девался... Впоследствии узнал я, что у покойного деда моего, на дому, учился историческим и политическим наукам знаменитый впоследствии государственный муж, граф Яков Ефимович Сиверс (умерший в 1808 г.), благоволивший отцу моему, вероятно, в благодарность за уроки деда [....]

Дед мой, около 1740 года, женился на купеческой дочери Катерине Мартыновне Паули, бывшей каммер-юнгферою у какой-то герцогини, вероятно у Курляндской. Она была женщина кроткая и добрая, но ума не дального: она привила к роду Гречеву какое-то педантство, какую-то ограниченность взглядов, качества изглаженные в некоторых его отраслях

новыми прививками. Скончалась она в семидесятых годах. У ней были две сестры, Елена и Анна. Елена была замужем за прапорщиком Копорского полка Гуром Арбузовым [. . . .]

Анна Мартыновна Паули была дева чувствительная и анекдотическая. Она помолвлена была, в молодости своей, с немцем, аптекарем, человеком весьма хорошим. Вдруг подвернулся к ней какой-то французик: тара-бара, бон-жур, коман-ву порте ву? Она изволила в него влюбиться, и однажды, сидя с женихом своим, нежным аптекарем, у открытого окна (в доме на берегу Мойки), попросила у него шутя обручального кольца, и когда он согласился, бросила кольцо, с своим кольцом, в реку. Аптекарь изумился, испугался, просил ее одуматься. Она не согласилась, разбранила его, утверждая, что от него несет ревенем и ассафетидою, принудила уйти и объявила домашним, что выходит за француза. Назначен был день свадьбы. Невесту разрядили, готовились ехать к венцу. Вдруг, вместо жениха, явился католический священник, и объявил, что жених венчаться не может, потому что в тот самый день приехала к нему законная жена из Франции.

Огорченная досадным происшествием, пристыженная пред всеми родными и знакомыми, решилась она оставить Петербург и поехала с одним богатым помещиком в отдаленную провинцию для воспитания его детей. Дворянин вздумал обратить молодую и, как гласит предание, хорошенькую лютераночку в православие, стал ее уговаривать, убеждать, стращать:

ничто не помогало. Раздраженный неожиданным упрямством, он наконец объявил ей, что уморит ее с голоду, повел в пустой погреб и замкнул. Она просидела в темном погребу несколько дней без пищи, и уже готовилась к голодной смерти. Вдруг отворились двери ее темницы. Жена мучителя ее пришла освободить ее, и рассказала, что муж ее, отправившись на охоту, упал с лошади, ушибся смертельно, и пред концом объявил, что это несчастие конечно есть кара божия за терзание бедной немки, сказал, где запер ее, просил освободить несчастную и скончался. Анна Мартыновна воротилась в Петербург и неоднократно езжала в Москву к бывшему жениху своему, который, между тем, женился на другой и жил припеваючи. Ей не было суждено умереть обыкновенною смертью. По кончине сестры своей, моей бабки, она не хотела жить с племянниками, наняла себе квартиру на Васильевском Острову и гостила по родным и домашним. В одно утро нашли ее дома убитою; все ее имущество было расхищено; в разных местах комнаты, особенно подле шкапов и сундуков, видны были следы крови. Вероятно злодеи терзали ее, чтобы она показала им мнимое свое богатство. Жизнь и кончина Анны Мартыновны были самою романтическою легендою в нашем семействе.

Бабушка моя получила от императора Петра III тысячу рублей пенсии, которую оставила за нею и Екатерина II. Сыновьям повелено было производить сию пенсию до повышения в офицерский чин, дочерям — до за-

мужества. Сверх того пользовалась она по смерть казенною квартирою в корпусе [....]

Дед мой, чувствуя ослабление сил своих от возобновлявшихся часто припадков головокружения, принужден был искать себе помощника, и обратился с просьбою к приятелям и корреспондентам своим в Лейпциге о присылке ему надежного человека. 17 сентября 1760 года вошел в квартиру его молодой человек и спросил по-немецки, может ли видеть господина юстиц-рата. А деда моего в этот день хоронили. Оказалось, что этот молодой человек (тогда ему было двадцать шесть лет) магистр философии Христиан Безак, родом из Лузации, один из отличнейших молодых доцентов Лейпцига, рекомендован моему деду, и лишь только прибыл на корабле из Любека. Начальство корпуса тотчас приняло его на место умершего, и как холостому, отвело ему половину квартиры покойного, оставив другую его вдове. Безак, чрез несколько лет, женился на тетке моей, Анне Ивановне. Он был человек необыкновенных достоинств, умный, ученый, кроткий нравом и строгий только к самому себе, добросовестный в исполнении своих обязанностей, приятный в обращении. Немногие оставшиеся ученики его воспоминают о нем с искреннею благодарностью. Вскоре по прибытии в Россию, он выучился русскому языку, и впоследствии написал книгу: Краткое введение в бытописание Всероссийской Империи (СПБ. 1785 г.). На немецком языке напечатал он несколько философских диссертаций. Важнейшие труды его остались в рукописях. Сын

его хотел издать их, но развлекаемый службою и делами, не успел. Один из его учеников, кажется, князь Путятин, напечатал в двадцатых годах в Дрездене, где он жил, его уроки философии, на французском языке, не указав источника. Безак умер летом 1800 года, прослужив без малого сорок лет в одной должности[....]

Отец мой Иван Иванович (Iohann Ernst) родился 31 июля 1754 года. Лишившись отца в малолетстве, он был воспитан в доме своей матери, сколько могу заключить из его характера и основных понятий, весьма не педагогическом. Предрассудки, причуды, нелепые поверья и предания бестолковой немецкой старины, приправленные приметами русских и чухонских кухарок, составляли атмосферу, в которой возникли и выросли дети этого семейства. Старшие сыновья, повидимому, сбросили с себя эту кору в корпусе. В остальных превратное воспитание несколько умерялось влиянием Безака, но не довольно: оно отразилось и в родном его сыне. Женская партия имеет большое влияние на воспитание детей. Умный муж, занятый службою и другими делами, не может перевесить тяжести, налагаемой на весы глупыми и злыми бабами, которые считают самих себя умными и добродетельными. Отец мой сначала учился под руководством Безака, к которому сохранил до конца его жизни сыновнюю привязанность и благодарность, и лет тринадцати отдан был в единственную тогда порядочную школу в С. Петербурге, Петровскую, учрежденную в 1762 году знаменитым географом Бюшингом,

в то время пастором лютеранской церкви св. Петра. Главным своим образованием обязан он был старшему учителю, доктору Фаусту, который, по странному стечению обстоятельств, был чрез пятнадцать лет учителем матушки моей в Киеве. В 1769 году произнес он на публичном экзамене латинскую речь, и поступил на службу писцом в комиссию о составлении проекта нового уложения: почерк у него был прекрасный. Потом он служил в канцелярии генерал-прокурора князя Вяземского, состоявшей из трех чиновников: старшим был Александр Васильевич Храповицкий; младшими — Иван Иванович Хмельницкий и отец мой. Он отличался по службе умом и деятельностью, и был употреблен во многих важных делах. В 1775 году он был в командировке в Москве, при комиссии, судившей Пугачева и его товарищей; а в 1777 году посылали его с важными поручениями (по финансовой части) в Гамбург и Амстердам, в 1789 г. дважды в Генуу. Достойно замечания, что он долгое время служил в чине канцеляриста, для того, чтобы не лишиться пенсии после отца, прекращавшейся с офицерским чином. В чужие края он ездил в чине армии поручика. Вдруг из канцеляристов он был произведен прямо в титулярные советники. Это обстоятельство повредило ему впоследствии: он не мог получить следовавшей ему пенсии, не прослужив урочного времени в обер-офицерском чине. В начале осьмидесятых годов переведен он был секретарем в Экспедицию о государственных доходах, дослужился до надворных совет-

ников, но, повздорив с управляющим, Василием Михайловичем Хлебниковым (который его впрочем искренно любил и впоследствии делал ему добро), вышел в 1792 г. в отставку. Обстоятельства этой отставки будут мною описаны впоследствии. В 1794 году поступил он вновь на службу секретарем в 3-й Департамент Сената: в 1798 г. определен был обер-секретарем во временной апелляционный департамент. В сентябре 1800 г. отставлен от службы без всякой причины.[1] Скончался, после тяжкой болезни, 5-го марта 1803 года. Он был человек умный, по тогдашнему времени весьма образованный, светский, притом честный и добродушный, но рьяность и неровность его характера и самые странные капризы причиняли несчастие и его и тех, кто его окружали. Сердце имел он самое доброе, но буйная голова одолевала благие его внушения, и к тому присоединялось упрямство. С сестрами своими он ссорился беспрерывно, но люди умные и твердые могли владеть им: так, например, он уважал шурина своего, Александра Яковлевича, и слушался его охотно, несмотря на то, что тот был гораздо моложе его. Хозяин он был самый плохой, и когда имел в кармане копейку, думал, что ей исхода не будет: в этом он остался не без наследников. Подчиненные любили и уважали его. Многие, облагодетельствованные им, после его смерти являлись к матушке, 24-го ноября, для поздравления ее с именинами. В 1831 году

[1] В то время раскасирован был весь этот департамент сената за решение какого-то процесса вопреки просьбы какой-то родственницы Кутайсова. (*Н. Г.*)

имел я дело в Сенате. Обер-секретари, бывшие при отце моем писцами, старались всячески услужить и помочь мне.[1]

23-го августа 1786 года женился он на моей матери, девице Катерине Яковлевне Фрейгольд. При этом имени, священном и незабвенном, уныние возникает в моем сердце, и глаза наполняются слезами любви, благодарности и благоговения. Если во мне было что-либо хорошее, если я прожил в свете не даром, если принес пользу моим ближним, — всем этим обязан я провидению, сподобившему меня родиться от такой матери, которой и дети мои, а чрез них и внуки, обязаны своим умственным и нравственным образованием. Для последних она божество невидимое. В истории фамилии матери моей несравненно более поэзии, нежели в отцовской. Начну издалека, доколе восходят семейные предания.

В начале XVIII века у прусского генерала фон-Зауэрбрей фон-Зауэрбрунн (Sauerbrey von Sauerbrunn) была хорошенькая дочка, обращавшая на себя внимание всех любителей изящного. Полк его стоял в каком-то неважном городке. Все холостые молодые люди хороших фамилий, все сыновья богатых помещиков, все полковые офицеры дивизии вздыхали кто по красавице, кто по приданому, кто по важным связям, но красавица была равнодушна ко всем баронам и фонам, обратив нежный взор свой на молодого полкового пастора

[1] В этом месте на полях рукописи ПБ пометка, стертая в копии ПД: 2 сент. 1849.

Филиппа Фрейгольда (Freyhold). Наперстный крест на зеленой ленте (отличительный знак армейских пасторов в Пруссии) был для нее привлекательнее Черного Орла; кусок ржаного хлеба с милым сердцу предпочтительнее роскоши в браке с постылым... Вы смеетесь, читатели мои? вы сомневаетесь в истине этого описания, читательницы? Могу вас уверить, что это сущая правда, но правда XVIII века. Теперь не то. Разумеется, что под черным кафтаном сердце вторило сердцу в тесной шнуровке, но не было надежды получить согласие родителей. Пастор и генеральская дочка решились втайне обвенчаться и бежать. Обвенчались, но бежать куда? Разумеется, nach Russland! Они счастливо ускользнули от преследований и прибыли в Москву. Там Фрейгольд получил место пастора, и впоследствии был генерал-суперинтендентом. Более не знаю о них ничего. Слыхал потом, что при одном ужасном пожаре в Москве они лишились всего своего имущества, и полунагие с детьми сидели на курившихся развалинах. Вероятно, что пастор помирился впоследствии с своим тестем, потому что пользовался вниманием и покровительсвом сильных людей, и что дворянское звание его жены не было выпущено из виду.

Сын их, Яков Фрейгольд (род. в 1728 году, ум. 16-го дек. 1786 г.[1]), был принят в Сухопутный Кадетский Корпус, получил там хорошее, по тогдашнему времени, образование, и выпущен

[1] В рукописи Греча (ПБ) сперва стояло: «умер — дек. 1787»; ниже дана другая дата — 17 дек. 1786 г. (см. стр. 71).

был в Елецкий пехотный полк. В корпусе подружился он с графом Петром Александровичем Румянцовым, и когда граф, по связям своим и происхождению (тайная история XVIII века гласит, и очень правдоподобно, что он был сын Петра Великого), вышел в чины, он вспомнил о корпусном своем товарище, вызвал его из армии и определил к себе адьютантом. Фрейгольд служил с ним в Семилетнюю войну, но не до конца: в сражении при Цорндорфе (25/14 авг. 1858) он был ранен двумя пулями, одною в ногу, другою в голову, упал навзничь, ударился об пень и переломил себе крестец. Он остался жив, но страдал всю жизнь, особенно под конец: чрез тридцать лет еще вынимали у него косточки из черепа. Получив облегчение от ран, Фрейгольд, бывший тогда в чине маиора, приехал для окончания лечения своего, в Петербург. От императрицы Елисаветы Петровны скрывали число убитых и раненых на этой войне, и никто из последних не смел пред нею показываться. Под этим условием, позволили жить Фрейгольду в Петербурге. Он прятался целую зиму, но весною не мог не погреться на солнышке, пробрался в Летний сад и сел на скамью. Вдруг услышал он: «идет государыня!» вскочил, схватился за костыли, хотел бежать, и не мог. Императрица завидела его, ласково подозвала к себе и спросила с участием, кто он, где ранен и т. д. Узнав же, что он адъютант Румянцова, пригласила к обеду и раз навсегда на все придворные собрания. Осчастливленный сын немецкого пастора, получивший в публике название хромого

м а и о р а, воспользовался царскою милостью, за которою последовало и благоволение всех знатных и придворных (вероятно с поговоркою: il gagne à être connu),[1] сделался светским человеком, стал разъезжать по первым домам и играть в карты очень счастливо. Тогда играли в азартные игры не только в частных домах, но и на придворных балах и маскарадах. Это продолжалось и в первые годы царствования Екатерины II. Однажды, в придворном маскараде, Фрейгольд держал банк. Подходит женская маска, одетая очень просто и не очень опрятно, и ставит на карту серебряный рубль. Банкомет возразил сухо: «Нельзя ставить меньше червонца». Маска, не говоря ни слова, указала на изображение государыни на рубле. «К ней всякое почтение, — сказал Фрейгольд, поцеловавши портрет, — но на ставку этого мало». Маска вдруг вскричала: «va banque!» Банкомет рассердился, бросил в нее колодою карт, которую держал в руке, и, подавая другой рубль, сказал с досадою: «Лучше купи себе новые перчатки вместо этих дырявых». Маска захохотала и отошла. На другой день Фрейгольд узнал, что это была Екатерина. «Хорош ваш хромой маиор! сказала она одному из царедворцев: — чуть не приколотил меня!» И маиор после этого вошел в большую моду. В 1764 году он женился... Позвольте еще воспользоваться правом с к о б о к.

В то время жил-был бригадир Михайло Иванович Шне (Schnee), комендант крепости Кеке-

[1] При знакомстве — он выигрывает.

гольма. Он женат был на красавице польке Терезе Ивановне, урожденной Шенгоф, дочери польского генерала, бывшего комендантом в Лемберге. Моя прабабушка,[1] умершая в 1802 году лет девяноста от роду, оставила по себе память в фамильных преданиях. Ребенком она сиживала на коленях у Карла XII и у Петра Великого, и чуть ли не была крестницею последнего. Ее назначали в монахини, как вторую дочь; но, по веселости и резвости нрава, она от того всячески отрекалась, и наконец, вместо ее, постриглась старшая сестра, чувствовавшая склонность к отшельнической жизни. Тереза, при веселом характере, одарена была вторым зрением: нередко предчувствовала и предвидела, что случится. Однажды умер в Лемберге какой-то генерал. Сбираясь на похороны, Тереза стояла перед зеркалом и забавлялась гримасами и кривляньями. Вдруг, видит, стоит позади ее бледная, высокая фигура, в зеленом халате, и строго грозит ей пальцем. Тереза обернулась — нет никого; ей так причудилось. Но каков был ее испуг, когда она в тот же вечер увидела в гробу эту самую неизвестную ей дотоле фигуру в зеленом халате! У нее было еще несколько таких похождений, которых не помню. Она вышла за капитана Шне, который дослужился в браке до бригадирского чина. У нее были сыновья, которых я не знал, и три дочери — Катерина, Мария и Христина, все красавицы [....]

Третья девица Шне, Христина Михайловна (род. 7-го апр. 1747 г.) вышла по семнадцатому

[1] Тереза Ивановна Шне.

году за Якова Филипповича Фрейгольда, известного вам хромого маиора. Она, как гласит предание, была необыкновенная красавица, что видно было по чертам лица ее и в старости. Она была одарена большим природным умом и наследовала хитрость, общий удел всех дщерей праматери нашей Евы. Родившись и получив воспитание в Кексгольме, она не могла приобресть больших познаний, говорила только по-русски и по-немецки; писала с умом и красноречием, с наблюдением всех форм, но без всякой орфографии. Счастье, что ова не умела говорить по-французски: тогда не было бы конца ее подвигам, а так она спотыкалась, к благу рода человеческого, на первом бонжуре. Девицею играла она на домашних театрах, в Петербурге, с Меллисино, Шуваловым и т. д., в трагедиях Сумарокова, и приводила в восторг всю публику. В преклонных летах твердила она еще тирады из «Синава и Трувора», в которых было все, кроме смыслу, например: «Лишенный вольностей, надежды и покою, пролей, о государь, кровь винну пред тобою». Вышедши замуж, в 1764 г., она, как и все змейки, сбросила с себя блестящую девичью шкурку и заставила своего мужа чувствовать всю тягость брака. Властолюбием, упрямством, прихотливостью, злостью, она имела бедственное влияние на судьбу всех ее родных, и особенно детей. Я старался схватить некоторые черты ее характера в лице Алевтины Михайловны (в «Черной Женщине»), но, признаюсь, далеко отстал от оригинала. Сверх этого несносного нрава, который делал ее бичем и страшилищем всех

приближенных, были в ней и другие слабости, неприятные особенно мужу. О них долго сохранялось предание и в прозе, и в стихах. У ней было человек шесть детей; из них достигли до совершенных лет: Александр (род. 7 сент. 1767), Катерина (род. 29 июня 1769) и Елисавета (род. 21 апр. 1777).

Яков Филиппович Фрейгольд, покинув военную службу за ранами, оставался при фельдмаршале графе Румянцове, которого главная квартира до начатия турецкой войны (1769) была в Глухове; потом был определен начальником Скарбовой канцелярии (Казенной Палаты) в Глухове, и при учреждении наместничества переведен в Киев экономии директором. Все дети родились в Глухове. Христина Михайловна любила из них только вторую дочь, а старших ненавидела и гнала, вероятно, потому, что они возрастом своим напоминали и о ее летах. Лишь только подрос Александр, его отдали в Инженерный кадетский (ныне 2-й) корпус. В корпусе был он большим шалуном и особенно преследовал кадета Аракчеева, который уже в детстве надоедал всем и каждому. Исполнителем приговоров кадетского суда над благонравным впоследствии другом Настасьи, был Костенецкий, Василий Григорьевич, известный своею физическою силою и разными, впоследствии, причудами († 1831) [. . . .]

Сорок пять лет прошло со времени кончины Александра Яковлевича (4 авг. 1804 г.), и я еще теперь не могу вспомнить о нем без сердечного волнения. Он был красавец собою, добрый, благородный, умный, рисовальщик, певец, актер, мате-

матик и воин. Если б он получил образование ученое, если б, по крайней мере, учился не в Инженерном, а в Сухопутном корпусе, то сделался бы примечательным человеком, какое бы поприще ни избрал. Главная слабость его, как и почти всех членов фамилии нашей, была излишняя любовь к прекрасному полу. Я слышал рассказы о многих его авантюрах. Непостижимая ненависть матери преследовала его до могилы в точном смысле сего слова: при положении тела его в гроб, она прочла над ним, для формы, благословение, а потом осыпала лицо его негашеною известью, чтобы оно скорее истлело. Он сносил ее несправедливости и обиды с истинно-христианским смирением, иногда выходил из себя, но никогда не забывался. Я обязан ему многим и по гроб не забуду его. Читатели сих строк видели, что я по всем линиям происходил от немецких корней. Он научил меня быть русским, потому что сам был истинно русский человек, душою и сердцем. Если ты, незабвенный мой благодетель, видишь, что происходит в мире, тобою оставленном, прими слезу, орошающую слабеющие мои ресницы в сие мгновение, данью неизгладимого благоговения к твоей памяти! [1]

Елисавета Яковлевна Фрейгольд, младшая сестра, была женщина умная, любезная, добрая, но наследовала несколько женского притворства своей родительницы. Она вышла замуж (5 февраля 1800) за барона Карла Федоровича Клодта

[1] Здесь рукою Н. Греча приписано в скобках: «7 октября 1850 г., 23 марта 1861 г., 5 октября 1861 г.», — очевидно даты дней, в которые он написал, а потом перечитывал и исправлял эти страницы своих записок.

фон-Юргенсбурга, скончавшегося генерал-маиором и начальником штаба Сибирского корпуса, в 1823 году. Он был человек образованный, умный и благородный [....]. Она оставила несколько человек детей. Старший из сыновей, генерал-маиор Владимир Карлович, второй — знаменитый скульптор Петр Карлович.

Катерина Яковлевна Фрейгольд родилась за пять недель до рождения Наполеона Бонапарте, а именно 29 июня 1769 года, как я сказал, в Глухове. Рождение ее, по преданию, возвещено было пушечною пальбою, но о поводах к пальбе толки различествуют. Одни говорят, что палили по случаю тезоименитства наследника престола Павла Петровича. Другие утверждают, что пальба произведена была по приказанию фельдмаршала графа Румянцова, по случаю разрешения от бремени жены друга его, полковника Фрейгольда. Повод к этой клевете был очень понятный. Христина Михайловна была писаная красавица, а герой Задунайский славился победами не на над одними пруссаками и турками. Живые тому доказательства остались в Умянцовых, Тет-Румянцовых и т. п., которые рождались в главной его квартире. Катерина Яковлевна, как продолжают злоязычники, ни мало не походила на Фрейгольдов: у них был фамильный, длинный нос, как отвислая губа у австрийской династии, а носик ее был небольшой, благообразный, нежный. Говорят даже, что она смахивала жестоко на покойного графа Сергия Петровича, сына фельдмаршала. В 1812 году граф С. П. [Румянцов], пригласив меня к себе, просил, чтоб я согласился давать уроки дочери его, девице Ка-



П. А. Румянцев-Задунайский
(Из собрания Публичной Библиотеки)

гульской (нынешней княгине Варваре Сергеевне Голицыной). Я не мог принять его предложения, потому что слишком был занят редакциею «Сына Отечества», и рекомендовал ему преемника моего в Петровской школе, А. И. Булановского. Граф, при этом случае, тщательно допрашивался о моем роде и племени. Я рассказал ему все, что знал, и упомянул, что дед мой, Фрейгольд, служил при его отце, и пользовался его милостями. Граф улыбнулся, хотел что-то сказать, но удержался. Очень видно было, что ему совестно стало объявить внуку о пруэсах его почтенной бабушки. Катерина Яковлевна о том не догадывалась и не знала вовсе до кончины отца и до своего замужества. Супруг ее, человек не самый деликатный, в частые периоды размолвки своей с тещею, не щадил старухи и говорил все, что знал о ней и чего не знал. Жена, изумленная, огорченная мыслию, что почтенный, добрый Фрейгольд не отец ей, сначала не верила, потом сердилась и плакала, но в зрелых летах и под конец жизни признавалась, что, припоминая разные обстоятельства младенческих и девических лет, должна признаться в правдоподобии этих догадок. Замечательно, что мать не любила, можно сказать, ненавидела ее. Я замечал неоднократно, что женщины не терпят детей, которые напоминают им о минувших слабостях, а любят уродов, прижитых с постылым, но законным мужем и преследуют милых, любезных детей, плод страсти и преступления. Напротив того, они любят детей своих любовников, прижитых с другими женщинами, их соперницами. «Какой прекрасный ре-

бенок! — говорят они про себя: — он конечно думал обо мне в ту минуту!» Еще одна приурочка. Христина Михайловна кончила тем, что поссорила мужа своего с графом. Фрейгольд имел место, которое в то время обогатило бы всякого, но, по необыкновенной честности, не нажил ничего, и вышел из службы чист и беден. Его представили к пенсиону. Государыня отвечала, что он конечно сберег что-нибудь из своих экстраординарных доходов. Ей доложили, что он формально ничего не имеет. «Или он дурак, — отвечала она, — или честнейший человек, и в обоих случаях имеет надобность в пособии», и подписала указ. Слух о его крайности дошел до Румянцова: он прислал бывшему своему товарищу значительную, по тогдашнему времени, сумму с надписью: «Tribut der Freundchaft» (Дань дружбы). Известно, что граф П. А. Румянцов, воспитанный в чужих краях, говорил и писал на иностранных языках гораздо лучше нежели по-русски.

Как бы то ни было, Катерина Яковлевна Фрейгольд, внука ли она немецкого пастора, или кого-нибудь повыше, была существо необыкновенное. Она не была записною красавицею, но привлекательна и мила до крайности. Рот небольшой, волосы светлорусые, прекрасные голубые глаза, правильное лицо, игра вокруг маленького ротика, приятнейшая улыбка, тонкая талия, стройная осанка, руки нежненькие, ножки точеные, очаровательный звук голоса — были отличительными чертами ее наружности. Прибавьте к тому ум светлый, пылкое воображение, любовь к изящным искусствам, добрейшее сердце, самый

кроткий нрав и неподдельное благочестие. Качества души и сердца сохранила она до кончины и еще удивительную осанку: на осьмом десятке держалась прямо, и не имела ни одного седого волоса. Она получила хорошее, по времени, воспитание: знала языки немецкий и французский в совершенстве. По-италиянски она говорила в детстве, и потом забыла. Она страстно любила литературу, и беспрерывно читала, но со вкусом и разбором. Читанное передавала, чрез долгое время, с удивительною отчетливостью. За два дня до кончины читала она молитвенник свой и, почувствовав отягощение, вложила закладку, закрыла книгу, легла и более не вставала. Не взыщите с меня, любезные дети, что я так много о ней распространился; я мог бы исписать целые стопы бумаги, и не высказал бы всего, что чувствую и вспоминаю при ее имени. Повторяю и еще сто раз повторять буду: если во мне было что хорошее, если я не без пользы для ближних прошел поприще жизни, я этим был обязан несравненной моей матери. Но, по слабости и высокомерию молодых лет, я не слушал всех ее уроков... Матушка моя выросла в Киеве, в кругу отборном и образованном. Помню из рассказов ее имена Андрея Степановича Милорадовича (отца графа Михаила Андреевича), обер-коменданта Кохиуса, Александра Федоровича Башилова. Безбородко и Завадовский были секретарями Румянцова, под начальством моего деда, и частенько являлись в его передней с бумагами. Еще нередко вспоминала она об италиянском графе Капуани, старичке забавнике и шуте, который учил ее музыке и италиянскому

языку, и называл: «mein Engel Amour!»[1] Искреннею приятельницею ее была девица Анна Семеновна Алферова, вышедшая потом за князя Дашкова [....]

Отец мой, увидев будущую жену свою на тринадцатом году от ее рождения, задумал уже на ней жениться; между тем он повздорил с ее тетушкою Катериною Михайловною, которая дотоле его очень жаловала, но теперь на него прогневалась, и не без причины. Он принужден был оставить ее дом, но не оставлял надежды. В 1786 году Яков Филиппович Фрейгольд, изнуренный болезнями и трудами, вышел в отставку и переселился в Петербург. Отец мой познакомился с ним и вскоре пришел в милость у Христины Михайловны, которая горела желанием сбыть с рук взрослую дочь. Он посватался и получил обещание матери. Умирающего отца убаюкали радостною вестью, что Катенька будет хорошо пристроена, а Катеньке объявили, что она должна выйти за Ивана Ивановича. Объявление это ее сразило. Она уважала И. И., как человека умного и честного, но не могла любить его, и особенно не расположена была к нему за ссору его с Катериною Михайловною. Матери ее это было на руку: насолить сестре своей, хотя бы это стоило счастья ее дочери. И все это прикрывалось громкими фразами о материнской нежности и христианском долге устроить судьбу своей дочери. Отец мой был влюблен смертельно, и в пылу страсти не видал, что нет счастья без взаимной любви. Бедственное заблуждение! 23 августа 1786 года их обвен-

[1] Мой ангел Амур.

чали, по лютеранскому обряду, не в церкви, а на дому. Утром того же дня матушка еще надеялась, что дело это как-нибудь переделается. но в десять часов мать объявила ей, что ее обвенчают после обеда. Она лишилась чувств. но ее оттерли, и после обеда пастор Рейнбог обвенчал их. Матушка не могла стоять на ногах: должно было, при венчании, поставить новобрачных к стене. Сестры моего отца, бывшие при том, не могли скрыть своего сожаления и негодования. Они потом горько выговаривали отцу моему, что он решился воспользоваться властью бессовестной матери. чтобы обладать дочерью. Брак этот не был счастлив.

Отец мой с честностью и природным умом, с школьным образованием и навыком к службе, соединял понятия, предрассудки, привычки. внушенные ему нелепым бабьим воспитанием, был отнюдь не зол, а напротив любил делать добро и помогать ближним, но при том своенравен, упрям, вспыльчив и не очень разборчив в выражениях своего гнева. В нем являлась олицетворенная проза: изящные искусства, музыка, живопись, поэзия для него не существовали. Он, думаю, по выходе из школы не читал ни одной книги. Перед концом жизни, матушка случайно прочла ему какую-то повесть; он восхитился ею до крайности и просил, чтоб она чаще радовала его чтением. Но самое тяжелое свойство в нем было—капризы. Вдруг, бывало, от какой-нибудь безделицы, надуется, перестанет говорить с кем бы то ни было, и по целым неделям не выходит из кабинета, а потом вдруг развеселится, также без причины, и сде-

лается уже слишком любезным и угодливым. Нас, детей, он или баловал без меры, или терзал без вины. И с ним должно было жить это неземное, поэтическое, ангельское существо! Ангельское — в точном смысле этого слова: матушка сделала все в мире для исполнения своих обязанностей. Муж это видел, чувствовал, признавал, и вдруг оскорблял, обижал жену самым чувствительным образом, а потом, образумившись, просил прощения, и разными угождениями старался задобрить обиженную.

Можно рассудить после этого, долго ли он оставался в мире с своею тещею. Месяца через два после свадьбы, он обедал один у сестры своей Веры Ивановны. В тот день был у ней немецкий осенний праздник: резали капусту (это северное собирание винограда описал я в моем романе: «Поездка в Германию»). Сестра пеняла ему, что он приехал один, и после обеда послали за матушкою карету с запискою, в которой муж приглашал ее на семейный вечер. Матушка получила записку эту, когда была у Христины Михайловны (они жили не в далеком расстоянии между собою), показала ее своей матери, и на вопрос ее: «неужели ты поедешь»? отвечала: «муж мой желает этого», и отправивилась. На другой день после обеда, Христина Михайловна явилась к нам. Отец мой, увидев, что она идет, отложил в сторону свою трубку, встретил ее и поцеловал у ней руку. «Я пришла к вам, — сказала Хр[истина] М[ихайловна], задыхаясь от злобы: — чтоб объясниться и требовать удовлетворения. Для того ли выдала я за вас дочь мою, чтобы она резала капусту у ваших

сестер?» Отец мой остолбенел. Матушка старалась образумить фурию, уверяя, что капуста вовсе дело постороннее, что ее пригласили в семейный круг, где она провела вечер с удовольствием. Хр[истина] М[ихайловна] стала браниться еще более, но видя, что ее слова не действуют, замахнулась на дочь свою. Тут лопнуло терпение моего отца: он удержал руку беснующейся, и с словами — «марш, мадам!» вывел ее в переднюю и захлопнул двери. Можно вообразить себе ужасное положение жены! Чрез несколько времени произошло примирение, при чем, как и всегда бывало впоследствии, ссора была приписана недоразумению. На этот раз отец мой был прав совершенно, но иногда отплачивал своей теще слишком жестоко.

Вскоре по выходе в замужество моей матери, скончался отец ее, Яков Филиппович Фрейгольд (17 дек. 1786 г.). Этот печальный случай ознаменован был удивительным вещим сном матушки, которая действительно одарена была каким-то шотландским вторым зрением. Она провела целый день у больного отца, читала ему книгу, подавала ему лекарство, радовалась облегчению его страданий и оставила его поздно вечером. Ночью снится ей, что она видит отца на том же болезненном одре. Подле него стоят жена, сын, и младшая дочь; перед ним на столике три чашки. Он берет одну и велит выпить ее сыну; другую выпивает дочь. Взяв третью чашку, больной оглядывается. «Где же другая дочь моя, где Катенька?» — «Она дома, — возражает жена: — она не очень здорова и, как я думаю, беременна. Дай, я выпью за нее». — «Нет! —

сказал он: у меня есть сын. Выпей, Александр, эту чашку, за мать и за младенца». Сын исполнил это приказание; больной опустился на подушку и закрыл глаза. Матушка в ужасе проснулась. Было три часа. Движение ее разбудило мужа: «Что с тобою?» — «Ничего, так что-то пригрезилось». Он вскоре захрапел вновь, а она долго не могла заснуть. Он, по обыкновению своему, встал рано, не будя ее, и отправился к должности. Подкрепив силы свои утренним сном, она проснулась, оделась и села за чай с золовкою, которая жила или гостила у них. Вспомнив виденный ею сон, она пересказала его Елене Ивановне [Греч]. — «Катерина Яковлевна, — спросила изумленная Елена Ив[ановна], выпустив из рук чайник: — да кто это мог сказать вам, что батюшка ваш скончался?» За этим последовала сцена, которую всяк вообразить себе может. Довольно того, что Я. Ф. Фрейгольд действительно умер ровно в три часа. Чувствуя приближение кончины, он велел позвать жену и детей, благословил их и требовал, чтобы послали за старшею дочерью. Христина Михайловна возразила ему, что Катенька нездорова, объявила, что она чувствует себя беременною, и бралась передать ей благословение отца. — «Нет! — сказал он (точно так, как в сновидении), — у меня есть сын. Подойди, Александр, и прими благословение для сестры и для ее младенца!» Александр Яковлевич Фрейгольд свято исполнил это поручение, был другом и руководителем этого младенца, но, к несчастью, не довольно долго.

Матушка часто имела и вещие сновидения, и необыкновенные предчувствия. Расскажу слу-

чай ничтожный, но не менее того замечательный, бывший уже на седьмом десятке ее жизни. Воротились с дачи осенью в город. Она спросила у горничной теплых башмаков, а та не знала, куда заложила их весною. Долго искали напрасно по всем углам. Вот матушка однажды заснула после обеда: ей чудится, что она подходит к шкапу, сделанному в заколоченных дверях, видит высокую круглую корзинку (какие употребляются для бутылей); в корзинке доверху разный хлам; она вынимает все и на дне находит свои теплые башмаки. Проснувшись, видит она, что в той комнате сидит дочь ее, Катерина Ивановна, и, боясь насмешки, не говорит о своем видении, но лишь только К[атерина] И[вановна] вышла, она встала с постели, отперла шкап, нашла корзину и в ней, под тряпками и обломками, искомые башмаки! — «Prodigious!» воскликнул бы при этом Доминик Самсон (в «Гюи-Меннеринге», В. Скотта). Не раз еще придется мне говорить о матушке, благодетельнице моей и всего моего рода, без которой не знаю что было бы из меня и из всех нас. В фамилии Гречей был какой-то зародыш своенравия и упрямства, который в умных называли твердостью характера, а в прочих — злобою и жестокостью. Пример умного упрямства старшей линии представляла тетушка Елена Ивановна; образец другого — Вера Ивановна. Отец мой был в средине: действовал вообще умно, а по внушению капризов — очень глупо. Упрямство это в разных отливах разделялось и братьями моими, Александром и Павлом, и сестрою Катериною Ивановною. О себе не знаю что сказать: я, кажется, вовсе

не упрям, но зато вспыльчив до крайности, и в минуты страсти не помню что говорю и делаю. Этот элемент упрямства и капризов выразился по женской линии: Павел Христианович Безак был несносен своим своенравием; бо̀льшая часть сыновей его наследовали это свойство, вредящее самому лучшему сердцу и светлому уму... Признаюсь, что если во мне этого было менее нежели в других, я тем обязан моей матери.

Довольно толковал я о моей знаменитой династии. Пора приступить к самому себе.[1]

Я родился во вторник, 3/14 августа 1787 года, в десятом часу до полудня. В этот день церковь празднует память преподобного Исаакия. Когда, по совершении родов, довольно благополучных, при произведении на свет первенца, отец мой вышел в залу, он нашел в ней сторожа своей экспедиции, Исака, с тарелкою, на которой лежали три хлебца.

— Имею честь поздравить ваше высокоблагородие, я именинник; примите, батюшка, хлеб-соль.

— Да что это ты принес три хлеба?

— Да как же, батюшка? Один для вашей милости, другой для Катерины Яковлевны.

— А третий?

— Для того, кого бог даст!

— Он уже дал его,—сказал отец мой, тронутый этим случаем, одарил Исака, понес хлеб в спальню и сказал матушке: «Вот, Катенька,

[1] После этого в рукописи ПБ вписано между строками: Глава вторая, но дальнейшего разделения на главы нет, как нет его и в копии ПД.

и хлеб нашему Николаю. Видно, бог его не оставит без хлеба!»

Местом моего рождения был деревянный дом Колачевой, на Сергиевской улице. Помню этот дом потому, что в нем впоследствии жила бабушка Христина Михайловна, и матушка не раз говорила мне, что я там родился. Она хотела кормить меня сама, но занемогла и должна была отказаться от этого услаждения материнского сердца: мне наняли кормилицу, женщину здоровую, но придерживающуюся чарочки. Дивлюсь после этого, что я не пьяница. Меня окрестили.[1] Вероятно, батюшка был в то время в войне с бабушкою, потому что она не была моею восприемницею. Крестным отцом был муж тетки моей, Веры Ивановны, полковник Петр Иванович Штебер, а восприемницею дочь его Анна Петровна. Крестный отец, вместо подарка, привез на крестины паспорт, по которому я, определенный капралом Конной Гвардии, отпускался в домовый отпуск до окончания наук. Теперь обычай этот может казаться странным, но в то время был понятным и справедливым. Чрез несколько лет получил бы я чин вахмистра, а потом был бы выпущен из полка в армию капитаном, а в гражданскую службу титулярным советником. Таких малолетных капралов и сержантов считалось в гвардии до десяти тысяч. Император Павел приказал взрослым из них явиться на службу, а прочих, в том числе и меня, исключил. Дельно!

[1] Здесь и в рукописи ПБ и в копии ПД — пропуск очевидно для даты, так и не вставленной.

В 1789 г. 21 марта родился брат мой Александр. Вскоре потом отец мой съездил курьером в Италию, именно в Генуу, для исполнения займа, заключенного нашим правительством с тамошними банкирами. Расскажу любопытный эпизод из его жизни. Когда он, за несколько лет пред тем был в Голландии, познакомился он с одним прелюбезным италианцем, полковником Пеллегрини, который путешествовал с своею женою, и заметив, что хозяин гостиницы намерен обмануть отца моего, неопытного молодого иностранца, предупредил его. Это обстоятельство сблизило их; они были неразлучны; расставаясь, Пеллегрини подарил отцу моему трость с золотым набалдашником, взяв с него слово, что он посетит его, в поместье его близ Генуи, если б ему случилось быть в Италии. Приехав в Генуу, отец мой стал осведомляться, где именно поместье полковника Пеллегрини. Ему дали адрес и спросили, почему он его знает: — «Я видался с ним за десять лет пред сим в Голландии». — «Это невозможно, — отвечали ему: — полковник Пеллегрини ослеп за тридцать лет пред сим, и с тех пор не выезжал из своей деревни. Вероятно, кто-нибудь назвался его именем». Человек, давший это известие, говорил так определительно, что отец мой не счел за нужное удостоверяться лично в истине его слов. Что же? Вскоре потом вышло в свет описание жизни и подвигов Калиостро, и оказалось, что он странствовал под именем полковника Пеллегрини.

Странное было тогда время. Просвещение распространялось повсюду, а между тем веро-

вание в алхимию, в призывание духов, в предсказания, в ворожбу занимали серьозно людей умных и образованных. Расскажу еще анекдот. У отца моего был добрый приятель, некто Штольц, служивший при театре, и нередко снабжавший матушку билетами на ложи. У него была сестра, помнится, Елисавета Петровна, старая, высокая, сухая, но умная и решительная дева, знаменитая в свое время ворожея. Не имея долго известий о муже, матушка начала было беспокоиться и попросила Елисавету Петровну поворожить ей. Елисавета Петровна, разложив карты, в ту же минуту сказала:

— Не тревожьтесь: Иван Иванович здоров, и приедет сегодня.

Матушка засмеялась.

— Не верите, Катерина Яковлевна? — возразила ворожея. — Я останусь у вас, чтоб быть свидетельницею его приезда.

Они поужинали, и готовясь итти спать, матушка стала смеяться над ее предсказанием.

— Не смейтесь, К[атерина] Я[ковлевна], еще день не прошел: только половина двенадцатого.

В эту самую минуту послышался конский топот, стук колес и звон колокольчика. Дорожная повозка остановилась у крыльца. Они выбежали навстречу — это был их путешественник!

Елисавета Петровна Штольц уже в утробе матери испытала целый роман. Отец ее был портной и жил с женою, где-то в глуши, в Коломне, в улице, несовсем еще застроенной. По смерти одного родственника в Москве, ему досталось наследство. Жена умершего стала защищать свои права, и портной Штольц принужден

был сам ехать в Москву. Это было зимою в пятидесятых годах.[1] Беременная жена осталась одна с молодым его племянником и с крепостным человеком. В то время отпустила она свою кухарку и наняла в работницы молодую матросскую жену. В самый первый день ухватки, речи и ответы этой бабы возбудили ее досаду и она решилась отпустить ее на другой же день. Вечером были у нее гости. Провожая их, она увидела, что племянник и слуга спят в прихожей, облокотясь на стол, хотела разбудить их, но не могла. — «Их теперь хоть ножом режь, — сказала служанка, — не добудишься». Это замечание поразило ее. Гости ушли. Мадам Штольц отправилась в спальню и, объявив работнице, что она должна лечь с нею в одной комнате, легла в постель и начала читать библию. В то время вспомнила она, что у нее есть пистолет, порох и пули, отправилась в другую комнату, зарядила пистолет и, воротясь, положила его на ночной столик. Вдруг слышит она, что на улице раздаются шаги; снег хрустит под лаптями и сапогами, и баба, приподнявшись, крадется к ней.

— Куда ты? Ложись!

— Матушка, выпустите меня, крайняя нужда!

— Оставайся! нужду исправишь и здесь.

— Ах, матушка, что вы!

В это время хозяйка увидела у ней за пазухою кухонный нож.

— Это что? на что у тебя нож?

— Лучину колоть, матушка!

[1] Восемнадцатого века.

Хозяйка решилась ее выпустить и тотчас заперла за нею двери. Слышит, отворяется дверь с надворья в кухню, входят какие-то люди, приближаются к дверям спальни и требуют, чтобы их отворили. Хозяйка не отвечает. Начинают стучаться в дверь, усиливаются ее выломить и, не успев в том, уходят с угрозами и ругательствами. В кухне утихло, но голоса раздаются на улице; слышно, что подставляют лестницу к окну, кто-то влез и стал бить стекла в окошке. Хозяйка, взяв пистолет, встала с постели в углу, прицелившись в окно. Стекло вылетело. Разбойник, перекрестясь и сказав: «благослови, господи», просунул голову. В то самое мгновение раздался выстрел, и разбойник с раздробленным черепом упал навзничь с лестницы. Прочие разбежались. Мадам Штольц, запихнув отверстие в окне подушкою, стала ждать что будет. Выстрел разбудил соседей. Сбежались испуганные и любопытные. Подняли разбойника; он был еще жив и объявил имена своих соумышленников. Но она не отворяла дверей до приезда полицмейстера. Племянник и слуга приведены были в чувство: злодейка опоила их чем-то в квасу, и если-бы их оставили еще несколько времени в этом опьянении, они лишились бы жизни. Императрица Елисавета Петровна, узнав о храбром подвиге портнихи, пожелала ее видеть, обласкала ее и, узнав о причине поездки мужа ее в Москву, приказала оказать ему в его иске всякое пособие. У ребенка же, которым была портниха беременна, была она восприемницею. Ребенок этот был знаменитая ворожея Елисавета Петровна, которую помню хорошо.

О детстве своем знаю я немного. Самое замечательное приключение со мною было следующее: когда мне было года полтора от роду, я, играя на полу, хотел встать, оступился и упал с ужасным криком — непонятно, как вывихнул я себе правую ногу. Призваны были лучшие хирурги и костоправы. Ногу вправили, но не совершенно: она осталась навек вывороченною, и до сих пор я чувствую, что она слабее левой. От этого я не мог танцовать, но ходить мог и могу без устали очень долго, только на горы взбираться я не мастер. Говорят, что я с первых лет своей жизни оказывал большую понятливость и любознательность. [. . . .]

Чтению начал учить меня добрый Александр Григорьевич Парадовский 3 августа 1792 года, лишь только мне исполнилось пять лет. Буква «у» была первою, которую я узнал. Читать выучился я очень скоро, потому что это интересовало мой умишко и детское воображение. Начал и писать, но это шло не так хорошо: тут нужны были физические приемы, положение руки, держание пера, и я никак не мог к тому привыкнуть. Меня не принуждали, и я теперь держу перо, как шестилетний мальчик, и пишу прескверно, неровно и нечетко. Сколько раз впоследствии жалел я и раскаивался, что не умею писать четко и красиво! Это большое пособие в жизни и службе. Выучившись читать, старался я прочитать всевозможное: ярлык на бутылке вина, клок афишки, все возбуждало мое любопытство. Это продолжается и поныне: не могу видеть ничего печатного, чтоб не прочесть. Враг чистописания, я начал, на первых порах, упо-

треблять грамоту на сочинение, и первою написанною мной фразою были слова: «Беги, Николай, в избушку!» Почему я именно написал это, не знаю, но, написавши, радовался от души. Матушка питала эту любознательность рассказами басен и повестей; заставляла меня читать по-русски, по-немецки и по-французски, но отнюдь не принуждала. Жаль! и я был слишком снисходителен к своим детям. Отец мой забавлялся нами: то ласкал, то бранил нас, но ничему не учил, предоставляя это грамотной и начитанной жене своей. Слух о страсти моей к чтению распространился по всей фамилии, и самый грамотный представитель ее, Павел Хр[истианович] Безак, подарил мне несколько детских книг, и сверх того получил я переведенное им «Описание Санктпетербурга», проф. Георги, которое много способствовало к возбуждению детского моего любопытства и во многом его удовлетворило. В конце 1793 г. отец мой купил мне календарь на 1794 г. (за 30 к. медью): это было основание моих политических и статистических познаний. Я читал его так часто, что затвердил имена всех владетельных особ в Европе. Отец мой очень этим любовался, и не раз, толкуя бывало с приятелями о политике, обращался ко мне с вопросом, например: «Как, бишь, Николя, зовут нынешнего датского короля? — «Христиан Седьмой!» — восклицал я с удовольствием и гордостью. Я читал внимательно перечень политических известий и, странное дело, досадовал, когда находил торжество французов, и радовался успехам союзников.

Первые политические воспоминания мои относятся к Шведской войне, или по крайней мере к ее последствиям.[1] Помню, как сквозь сон, грохот и треск, раздавшиеся в городе, когда взлетела на воздух пороховая лаборатория на Выборгской стороне; чиненные бомбы и гранаты поднимались и лопались в воздухе. Однажды подавая отцу моему умываться (это было 31 марта 1794 г.), услышал я пушечные выстрелы. Рукомойник задрожал у меня в руках, и я со страхом вскричал: «Шведы или лаборатория!» — «Ни то, ни другое, — сказал отец мой, смеючись: — палят потому, что прошла Нева».

Еще помню одно политическое событие. Шел процесс несчастного Людовика XVI. Мне был тогда шестой год от роду, и я не мог понять, в чем дело. Вдруг приходит к нам однажды вечером Александр Григорьевич Парадовский и говорит: «ну, матушка, Катерина Яковлевна! Злодеи французы королю своему голову так отчесали!» Матушка горько заплакала, с нею сделалось дурно. «Отчесали, — думал я, — видно гребнем.» На другой день нянька стала расчесывать мне волосы и как-то задела неосторожно. «Что ты, нянюшка, — сказал я: — да ты мне этак голову отчешешь, как французскому королю».

Чрез несколько дней после того явился к нам квартальный надзиратель, как теперь вижу, человек высокого роста, в тогдашнем губернском

[1] После этих слов в рукописи ПБ – две страницы анекдотов о Екатерине II, зачеркнутые самим Гречем и перенесенные им в другое место «Записок» (см. ниже стр. 126 — 133).

мундире (светлосинем, с черными бархатными лацканами). Батюшки не было дома. Матушка приняла его. В то время приказано было отыскать всех французских подданных в России и привести их к присяге королю Людовику XVII. Так как фамилия наша оканчивалась не на ов или ин, то и следовало узнать, какого мы племени. Матушка рассказала полицейскому офицеру всю генеалогию обеих линий, Гречевой и Фрейгольдовой и, объявив, что в жилах наших течет кровь, смешанная из немецкой, богемской, польской, убедила, что в ней нет ни капли французской.

За неимением воспоминаний о самом себе, напишу здесь несколько портретов тогдашних наших знакомых [....]

Династия Безак.

О родоначальнике Христиане Безаке говорил я выше. У него был сын Павел Христианович, родившийся 28 сентября 1769 г. Отец приложил все старание свое о воспитании сына, но не мог внушить ему своей кротости и смирения. Павел Христианович был одарен необыкновенными способностями: умом быстрым, необыкновенною памятью, примерным трудолюбием и редкою способностью к делам. К сожалению, эти блистательные качества затемнялись в нем большим тщеславием и такою же страстью к приобретению: то и другое в нем спорило, но тщеславие одерживало верх. От этой борьбы происходила шаткость его характера, неровность обращения и удивительное в умном человеке неуменье обращаться с людьми: к людям честным и надежным питал он очень

часто недоверие и подозрительность, и в то же время слепо предавался льстецам и негодяям, ласкавшим его слабую сторону. Он не был зол в сердце, но как бы стыдился быть добрым. Странная смесь добра и зла, упрямства и слабости, ума и безрассудства! Отец поместил его в корпус не кадетом и не пансионером, а вольным слушателем в чине сержанта Преображенского полка, но как тогда в классы ходили не в мундирах, то он, из экономии, и не шил сыну мундира. Отец мой подарил молодому человеку полную обмундировку, и за это, равно как и за другие родственные услуги, П. Хр. [Безак] питал к нему уважение и дружбу и, несмотря на причуды дяди, делал ему всякое добро. В корпусе, между товарищами и сверстниками, он не имел друзей и впоследствии не был знаком ни с одним из них: видно, они его не любили. По производстве в офицеры, он оставался в корпусе, и я помню еще в 1794 г., как он, на ученье кадет в саду корпуса, командовал взводом и равнял рядовых шпагою. Это был день важный в моей жизни, и я о нем упомяну впоследствии. В 1797 г. Безак перешел в Сенат секретарем в Герольдию, а потом в 1 департамент, и обратил на себя внимание своего начальства трудолюбием, умом и искусством изложения дел, как на письме, так и изустно. Старики сенаторы радовались, когда очередь доклада была за Безаком, и неудивительно. В канцелярии Сената было в то время мало людей, светски образованных: появление человека умного, просвещенного, красноречивого изумило всех. Императору Павлу Безак сделался

известным в Москве, куда был отправлен на коронацию с 1 департаментом Сената. Он был в числе сенатских секретарей, которые разъезжали с эскортом по городу и возглашали о предстоящем торжестве. Павел встретился с таким разъездом на перекрестке. Безак прочитал прокламацию смелым, громким голосом, ударяя на слова: державнейшего, великого государя императора и т. п. Это понравилось государю: он приказал узнать и записать имя молодого чтеца и с тех пор был всегда к нему благосклонен. Открылось место правителя канцелярии в новосоставленной комиссии опекунства иностранцев. Безак был помещен. Вскоре переведен он был правителем в канцелярию генерал-прокурора, в чине коллежского советника, в 1800 г. В то время генерал-прокурор был род верховного визиря: ему подчинены были юстиция, полиция и финансы. Во всех прочих ведомствах были прокуроры, ему подчиненные. Безака стало на эту должность. У него были два экспедитора: ст[атские] советники Сперанский и Клементий Гаврилович Голиков, преданный бессмертию Ильиным, в лице подьячего Клима Гавриловича Поборина, в драме его: «Великодушие или рекрутский набор».

Расскажу анекдот, который покажет, как делались тогда важные дела и составлялись законы. Однажды, во время пребывания двора в Гатчине, генерал-прокурор (Петр Хрисанфович Обольянинов), воротясь от императора с докладом, объявил Безаку, что государь скучает, за невозможностью маневрировать в дурную осеннюю погоду, и желал бы иметь какое-либо

занятие по делам гражданским. «Чтоб было завтра!» прибавил Обольянинов строгим голосом. Положительный Безак не знал что̀ делать, пришел в канцелярию и сообщил свое горе Сперанскому. Этот тотчас нашел средство помочь беде.

— Нет ли здесь какой-нибудь библиотеки? — спросил он у одного придворного служителя.

— Есть, сударь какая-то куча книг на чердаке, оставшихся еще после светлейшего князя Григория Григорьевича Орлова.

— Веди меня туда! — сказал Сперанский, отыскал на чердаке какие-то старые французские книги и в остальной день и в следующую ночь написал набело: «Коммерческий устав Российской Империи». Обольянинов прочитал его императору. Павел подмахнул: «Быть по сему», и наградил всю канцелярию. Разумеется, что этот устав не был приведен в действие, даже не был опубликован. Обнародовали только присоединенный к нему штат Коммерц-коллегии (15 сент. 1800 г.)

Павел учил войска, выдумывал новые формы, подписывал всякие законы и постановления, только бы они противоречили Екатерининым, сажал под арест, ссылал в Сибирь, производил в генералы, дарил души сотнями и тысячами и воображал, что он властвует! Ужасное время! Я был тогда ребенком, в том возрасте, когда все кажется нам в розовом цвете, когда живешь годы, о которых потом вспоминаешь с удовольствием, с сожалением, что они прошли, а не могу и теперь, в старости, вспомнить без страха и злобы о тогдашнем тиранстве, когда самый

честный и благородный человек подвергался ежедневно, без всякой вины, лишению чести, жизни, даже телесному наказанию, когда владычествовали злодеи и мерзавцы, и всякий квартальный был тираном своего округа. Буду еще не раз иметь случай говорить об этом царствовании ужаса, не уступавшем Робеспьерову. Хорошо теперь заочно хвалить времена Павла! Пожили бы при нем, так вспомнили бы.

Безак был один из немногих людей, которые удержались на месте по смерти Павла. Вот что он рассказывал.[1] 11 марта 1801 г. приехал он к Обольянинову, жившему тогда на Мойке, на углу Почтамского переулка, в доме нынешнем Карамзина. В передней встретил он Зубовых, князя Платона и графа Валериана: они надевали шубы и ехали домой. — «Il est temps, mon frère», сказал Валериан. «Je le crois aussi», отвечал Платон.[2] Они вышли и поехали — в собрание заговорщиков. Сигнал к тому подан был пробитием зари четвертью часа ранее обыкновенного, по приказанию военного губернатора Палена, сообщенному плац-маиором Иваном Саввичем Горголи, нынешним верноподданным и святошею. Безак вошел в гостиную. За несколькими столами играли в карты разные баре и вельможи. Он подошел к Обольянинову и подал ему бумагу с словами: «Известная вашему высокопревосходительству бумага, полученная от князя Александра Борисовича Кура-

[1] *Первоначально было:* Вот как он рассказывал эту катастрофу.

[2] «Брат, пора». — «И я того же мнения»

кина»! — «А! знаю!» — сказал Обольянинов, взял бумагу, положил ее под подсвечник на столе и, вынув из-за пазухи другую отдал Безаку со словами: «тотчас же исполнить!»

Что-ж было в этих бумагах? В первой — здесь скажем в скобках, что последние роды императрицы Марии Феодоровны (великим князем Мих[аилом] Пав[ловичем]) были очень трудны, и медики объявили, что она едва ли перенесет другие, если б ей случилось обеременеть. Павел и прежде не строго держался супружеской верности; теперь охотно отказался от брачного ложа. Патентованною его фавориткою была княгиня Анна Петровна Гагарина, урожденная княжна Лопухина, прозванная Благодать[1]. Этого было ему мало для удовлетворения физических потребностей. Решили промыслить ему любовниц нижнего этажа, и выбрали двух молодых, хорошеньких прачек с Придворного Прачешного Двора. Вскоре они забрюхатели. И вот князь Куракин препроводил к Обольянинову бумагу, в которой говорилось, что император призвал его, князя Александра княж Борисова сына Куракина к себе, объявил ему, что такие-то девы носят плоды трудов его, что таковые плоды имеют называться графами Мусиными-Юрьевыми, иметь по стольку-то тысяч душ, такой-то герб, такие-то права и пр. На случай рождения девочек также постановлялось чем

[1] Некоторые тогдашние лица говорили, что это была любовь чисто платоническая. Что-то не верится. Вот последняя любовь Екатерины была действительно платоническая с Платоном Зубовым. (*Н. Г.*)

им быть и слыть. Разумеется, что все это кануло на дно.[1]

В другой был написан новый титул императора, с прибавлением: Царь Грузинский. Безак отправился с ним в сенатскую типографию, взял двух наборщиков и печатников в особую комнату, приставил к ней военный караул, велел набрать титул, прочитал сам корректуру, велел выправить, сжег корректурные листы, приказал оттиснуть три экземпляра и разобрать набор. Затем запечатал он оттиски и, надписав: «в собственные комнаты Е[го] И[мператорского] В[еличества]», отправил с фельдъегерем к дежурному камердинеру, с приказанием разложить их на письменном столе государя так, чтоб они бросились ему в глаза, лишь только он поутру подойдет к столу. Было уже поздно, когда операция кончилась. Безак воротился домой и лег спать с женою, когда была она беременна старшим его сыном Александром, нынешним генерал-адъютантом и генерал-губернатором оренбургским.

[1] Я случайно узнал впоследствии одну из этих мыльных весталок. Она вышла замуж за белорусского дворянина Вакара, которому за то дали чин, место и пр. Племянник его, Феликс Делабинский, учившийся со мною в Юнкерском Институте, водил меня к нему. Он был обыкновенный низкопоклонный поляк, а она женщина простая и тихая. В то время, как я знал ее, мне была известна ее этимология. Что сталось с нею и с детьми ее потом, не знаю. Вероятно графы Мусины-Юрьевы служили и служат, под именем Вакаров, где-нибудь в провинции. Не от них ли артиллерийский генерал Вакар: он сильно смахивает на Павла. *(Н. Г.)*

В первом часу входит в комнату горничная девушка и будит его: приехал-де генерал Рязанов. Безак вскочил и хотел одеваться. Рязанов (обер-прокурор 1-го департамента) закричал сквозь двери: «Сусанна Яковлевна, позвольте мне войти к вам: дело преважное, мешкать нельзя». С сими словами вошел он в комнату, приблизился к постели и с низким поклоном сказал:

— Имею честь поздравить с новым императором Александром Павловичем.

— Как! что̀! ах! — возопили и муж, и жена.

— Как и что̀, узнаете после, — продолжал Рязанов, — а теперь извольте ехать к государю: он вас требует.

Безак накинул халат и вскочил с постели.

— Эй, чесаться!

— Какое тут чесаться: надевайте мундир и спешите. Я довезу вас до дворца.

Безак надел красный мальтийский мундир и поехал.

— Да что генерал-прокурор?

— Он под арестом: я исправляю его должность.

Тут рассказал Рязанов всю историю в главных чертах. Приехали в Зимний дворец, совершенно освещенный, и вошли в аванзалу, наполненную народом, т. е. народом придворным, в числе которых было несколько человек весьма навеселе.

— Herzens Bruder! — закричал Пален Безаку: — wie kommst du her? [1]

[1] Сердечный друг! как ты здесь?

— Государь приказал мне явиться.

— Так ступай. Да присягал ли ты?

— Нет еще.

— Вот тебе присяжный лист.

Акт был рукописный. Все важнейшие сановники подписали его. Осторожный Безак не мог не прочитать и сказал Палену, отдавая лист:

— Я его не подписываю. В нем нет существенной статьи по генеральному регламенту.

— А какой?

— «И высочайшего престола его наследнику, который от его величества назначен будет».

— Правда, — отвечал Пален: — а мы все подписали. Хороши же мы!

Он отнес в кабинет, и государь собственноручно вписал пропущенные слова между строками. Безак, подписав присягу, вошел в комнату государя. Александр I, бледный, с красными на лице пятнами, с опухшими от слез глазами, ходил в раздумье по комнате.

— Сколько у вас неисполненных именных указов? — спросил он.

— Два, — отвечал Безак, — состоявшиеся вчера о том и том-то.

— Сколько на лицо сенаторов?

— Столько-то.

— Привезите мне список их. Я поручил должность генерал-прокурора обер-прокурору Рязанову. Так ли я сделал?

— Рязанов обер-прокурор 1-го департамента, но старший по чину Оленин, обер-прокурор 3-го департамента.

— Так объявите ему, чтобы он принял должность. Поезжайте скорее за списком.

Безак отправился в канцелярию генерал-прокурора, но дом окружен был целою ротою Семеновского полка, и его не хотели впустить. С трудом объяснил он, что идет в канцелярию по высочайшему устному повелению нового государя...

Чрез несколько дней прибыл в Петербург Александр Андреевич Беклешов и вступил в должность генерал-прокурора. Он был воспитан в Сухопутном корпусе, знал Безака, уважал отца его, и Павел Христианович остался при нем во всей силе. При всем уме своем, он не имел одного необходимого качества в жизни — ровности в характере и уменья обращаться с людьми: был то учтив, то груб, то горд, то снисходителен по внушению минутного каприза, приобрел уважение многих, но ничьей искренней дружбы и любви, надоедал тяжестью своего характера, оскорблял высокомерием и составил себе легион врагов, не сделав, сколько мне известно, формального зла никому и сделав добро многим. Его обнесли хищником, грабителем, взяточником, выдумывали на него всякие скандалезные анекдоты. Между тем, он исполнял свои обязанности в точности, умно, догадливо, и снискал благоволение своих начальников, которые, сблизившись с ним, души в нем не слышали. Брать-то он, конечно, брал, ибо одним жалованьем не мог бы не только составить себе состояния, но и жить, как он жил, но низостей и несправедливостей никогда не делал. В то время брали все, и в этом не было ничего предосудительного, по общему мнению. Теперь берут также и больше, да не говорят о том.

В сентябре 1802 года последовало учреждение министерств, мера полезная и благодетельная, но так как она нарушала многие личные выгоды, искореняла старинные злоупотребления, оскорбляла господствовавшие издавна предрассудки, то и была встречена общим порицанием и ропотом. Беклешов, приверженец старины, вышел в отставку; с ним и Безак, не имевший опоры у новых министров. Безак поселился в Киеве, в доме, подаренном ему Беклешовым, занимался коммерческими делами с польскими панами, играл с ними в карты, любезничал с польками, к досаде своей жены. Вдруг объявлено было учреждение милиции (в конце 1806 г.), и Безак был избран на одно из важнейших в ней мест. Главным начальником ее назначен был генерал-фельдмаршал князь Александр Александрович Прозоровский, имевший тогда от роду семьдесят четыре года, дряхлый, беспамятный. Он взял к себе помощником статского советника Безака, который вскоре сделался главным начальником штаба и всего, что̀ относилось к службе. Видя, что дела идут скоро и исправно, князь полагался на него совершенно. В 1808 году Прозоровский был назначен главнокомандующим дунайскою армиею, действовавшею против турок, и Безак остался его правою рукою. Тогда время было критическое, затруднительное. Наполеон соглашался, на словах, на уступку нам Молдавии и Валахии, а между тем предписывал своему послу в Константинополе препятствовать и заключению мира, и уступке нам княжеств. В нашей главной квартире знали об этом и доносили в Петербург,

но тогдашний канцлер граф Румянцов, опутанный Наполеоном, не хотел тому верить и уверял, что все это выдумка английских агентов. Безак успел перехватить депеши Талейрана, выкрал (при помощи убитого в 1813 г. маиора графа Мусина-Пушкина) секретную инструкцию у французского консула Леду (в Бухаресте). Румянцов возненавидел Безака, который раздавал александровские ленты, а сам получил два раза бриллиантовые знаки к Анне 2-й степени, чтоб не дать ему чего повыше. Чин д[ействительного] ст[атского] сов[етника] получил он во время пребывания Румянцова на конгрессе в Фридрихсгаме.

В августе 1809 г. умер Прозоровский, и на место его поступил князь Багратион, друг и приятель Безака, который при нем еще более усилился. Все части военного управления и гражданское ведомство княжества лежали на его ответе, и все шло как нельзя лучше. Князь Багратион занимался только исключительно ведением войны. У него было не более 19.000 войска, и он действовал очень успешно, надеясь в следующем году, пополнив армию, усилить и успехи. Наступала осень. Надлежало перейти обратно на левый берег Дуная, но в Петербурге требовали, чтоб армия непременно зимовала на правом берегу. Багратион не мог этого исполнить и впал в немилость. К падению его споспешествовали Милорадович, Ланжерон и другие, с которыми он не ладил. Они не могли прямо охуждать Багратиона, известного и государю, и России, и сваливали всю вину на Безака, заставлявшего их, александровских ка-

валеров, стоять по часам в своей передней, между тем как он пировал и любезничал с молодыми вельможами, Воронцовым, Бенкендорфом и другими. К начатию похода 1810 года, сформирована была армия в 160.000 человек; но в марте, на место Багратиона, главнокомандующим назначен был граф Каменский. Отпуская его, государь сказал, что в армии находится любимец Багратиона, Безак, которого должно выслать оттуда до приезда нового главнокомандующего, чтоб Безак не успел опутать и его, как Прозоровского и Багратиона. И действительно, Каменский, остановившись в Яссах, послал одного из своих адъютантов в Бухарест, где царствовал Безак над главною квартирою, сидя в богатой диванной на турецких коврах. «Янтарь в устах его дымился». Докладывают, приехал адъютант главнокомандующего. — «Проси». — Входит молодой маиор с георгиевским крестом.

— Кто вы, сударь? — спрашивает Безак, не двигаясь с места.

— Маиор Закревский, адъютант главнокомандующего графа Каменского.

— Что вам, сударь, угодно?

— Я пришел, чтобы принять у вашего превосходительства канцелярию и дела.

— Если вы, м[илостивый] г[осударь], имеете понятие о порядке службы, вам должно знать, что мне с вами иметь дело вовсе неприлично.

С этими словами он позвонил. Вошел секретарь его Саражинович. [1]

[1] Павел Григорьевич Саражинович, бывший потом правителем канцелярии генерал-губернатора графа

— Позовите Омельяненку [1] и Сорокунского. [2] Явились.

— Сдайте все дела этому господину офицеру.

— Позвольте доложить, ваше превосходительство, — сказал Закревский, — что главнокомандующий требует сдать бумаги и суммы в двадцать четыре часа.

— А, так я могу еще командовать здесь целые сутки. Знайте же, господа, если вы не сдадите дел в два часа, я вас предам военному суду. Саражинович! скажите жене, что я сегодня же отправляюсь в Петербург, да велите изготовить экипажи и все что нужно.

Ланжерона, в Одессе, а наконец директором Департамента врачебных заготовлений Министерства внутренних дел, умер в СПБ в 1848 г. от холеры, в отставке и крайней бедности. (*Н. Г.*)

[1] Омельяненко, бывший впоследствии губернатором и тайным советником. (*Н. Г.*)

[2] Акинфий Иванович Сорокунский, в 1806 г., был мелким чиновником в Дубосарской Почтовой конторе. Он послал в Москву к приятелю своему голову сахару с отправившеюся туда эстафетою. За это государственное преступление был он судим и отрешен от службы, с тем, чтобы его никуда не определять. Безак, проходя с армиею кн. Прозоровского чрез Дубосары, приискивал в штат свой писцов, и главнокомандующий, по силе данной ему власти, определил к себе Сорокунского, о котором все жители Дубосар отзывались с выгодной стороны. При первом представлении к награде, сняли с него опалу, потом произвели в следующий чин. Он оказался человеком способным и благородным. Умер в звании бессарабского гражданского губернатора и был оплакиваем всею областью. К Безаку сохранил он душевное почтение и благодарность. (*Н. Г.*)

— К вашему превосходительству еще прислан кто-то, — сказал Саражинович.

— Кто это?

— Надворный советник Блудов, — отвечал Саражинович: — он прислан для принятия дел по дипломатической части.

— С этим господином я и вовсе говорить не хочу. Саражинович, сдай ему дела! Прощайте, господин офицер. А вы, господа, исполните мои приказания в точности.

Омельяненко и Сорокунский исполнили приказанное им sans phrases, но Саражинович жестоко подтрунил над приемщиком. Блудов прибыл в Молдавию с Каменским из Карамзинского теплого гнезда, чувствительным птенцом, напутствуемый томными стихами Жуковского. Из первых его слов Саражинович увидел, что новоприезжий не имеет понятия о делах и о порядке службы, и порядочно подурачил его, толкуя, что̀ входящие и исходящие бумаги, что̀ отпуски и заголовки. Блудов обиделся насмешками подьячего, но скрыл свою досаду. Чрез двадцать два года, тайный советник Дмитрий Николаевич Блудов вступал в должность министра внутренних дел и вдруг, в числе своих директоров, увидел Саражиновича. Блудов, человек добрый и благородный, но irritabile genus vatum, [1] и чем менее писатель известен, тем более он дорожит собою. Он не обижал Саражиновича, был с ним учтив, хотя и холоден. Но вдруг возникла ошибка по части Саражиновича: в подрядах на поставку лекарств выставлена была не та сумма, которую

[1] Гневливо племя поэтов (стих Горация).

выставить следовало. Пошел суд. Блудов не отягчал вины его, но и не вступался. Саражинович лишился места и пропитания. Он жил в крайности, и наконец, по приглашению сына моего, в 1847 году читал корректуру «Северной Пчелы», получая за лист по рублю. Умер от холеры в 1848 году.

Воротимся к Безаку. Прожив года два в Киеве, он прибыл со всем своим семейством в Петербург и обратился к старому приятелю и подчиненному своему, Сперанскому, который был тогда в апогее славы и силы. В то время занимались преобразованием Сената. Предполагалось из 1-го департамента составить Правительствующий Сенат, с особыми правами, в Петербурге. Прочие департаменты намеревались разместить, под именем Судебного Сената, по важнейшим городам губернским. Я сам читал печатные проекты этих преобразований, не состоявшихся по встретившимся тогда препятствиям. В Правительствующем Сенате полагались статс-секретари, и одно из этих мест Сперанский обещал Безаку. Они долго занимались этим делом. Безак приходил к Сперанскому по вечерам и работал с ним до глубокой ночи. 19-го марта 1812 г. приходит он к нему и видит на дворе карету министра полиции Балашова, кибитку с тройкою лошадей и несколько полицейских. Безак догадался, что̀ случилось, поспешно ушел домой и на другой день узнал, что Сперанский и Магницкий сосланы, — неизвестно за что и куда. Опасаясь той же участи, он целый месяц носил в бумажнике две тысячи рублей, чтобы, в случае нужды, не остаться без денег. Но буря

миновала. Он остался невредим, но лишился надежды получить место. Зажил он в Петербурге барином, имел большое семейство и, принадлежа к числу людей, которые, имея хороший достаток, беспрерывно боятся умереть с голоду, впал в большое недоумение [....] .Он скончался в Петербурге 10-го июля 1831 г. в первую холеру, запрятав неизвестно куда свои деньги, документы и т. п., которых, как можно было заключить из слов его, было на 600 т. р. асс. [....]

О Павле Христиановиче Безаке должен я еще прибавить, что он, по возвращении из Киева в Петербург, примкнул было к сильной тогда партии богомолов и гернгутеров, при посредстве старого своего приятеля, Карла Ив[ановича] Габлица, но не успел добиться ничего. Он переводил проповеди полукатолического пастора Линдля; помогал Александру Максимовичу Брискорну в издании толкований на Новый Завет Госнера, за что̀ порядочно поплатился, как видно будет впоследствии.

Фамилия Шванебах.

Не знаю точно, откуда она происходит. Кажется, прямо из Германии. Отец двоих Шванебахов был щирый немец. Христиан Федорович и Антон Федорович Шванебахи воспитаны были во 2-м (Инженерном) кадетском корпусе и познакомились в нашем доме чрез дядю Александра Яковлевича [Фрейгольда]. Христиан Федорович Шванебах, человек сериозный и умный, служил по инженерной части и занимался формированием инженерной команды, причем у него как-то вырос прекрасный каменный дом. Женат он был на русской девице, Варваре Ивановне

Пашковской. Она была в молодости красавицею и сохранила самую приятную наружность до старости. С матушкою моею она была в самой тесной дружбе. Мужа своего она любила страстно и при одном припадке его ревности чуть не лишила себя жизни [....] Она скончалась в сороковых годах, во время моего пребывания за границею. Не знаю, исполнена ли была ее просьба — быть похоронена на иноверческом кладбище подле мужа. Митрополит Серафим положил резолюцию: «Что̀ она врет! Я и старее ее, а умирать не думаю».

Антон Федорович Шванебах, служивший в артиллерии, был женат на дочери биржевого маклера Шпальдинга. Шванебах был человек приятный, веселый и любимый всеми; жил у тестя своего, которого все считали человеком достаточным и честным. В 1795-м году у Шванебаха крестили сына. Батюшка и матушка были на крестинах, данных очень пышно; они, как и все гости, были обижены дерзким обращением и спесью кассира Заемного банка Кельберга и жены его, осыпанной кружевами и бриллиантами. Кельберг грубил всем и каждому. Батюшка сказал Антону Федоровичу: «Ну, братец, если ты станешь принимать и впредь таких наглецов, то меня не зови». Шванебах извинился тем, что принимает Кельберга из уважения к своему тестю, который имеет с ним дела. На другой день утром батюшка получает записку от Шванебаха: «Приезжайте, ради бога, поскорее: тесть мой опасно занемог». Батюшка поспешил к ним. Входит в комнату, здоровается с Шванебахом и видит, что идет

к нему навстречу Шпальдинг, причесаный, как тогда водилось, в утреннем сертуке. «Верно, он с ума сошел! — подумал б[атюшка]: — лезет целоваться; не откусил бы он мне носу». Этого не случилось, но Шпальдинг, поздоровавшись с ним, сказал ему:

— Вообразите, Кельберг бежал в эту ночь с женою.

— Да мне до того какое дело! — вскричал отец мой: — чорт его побери и с нею.

— Но вы знаете, что он кассир Заемного банка, и у меня с ним были денежные дела. Что мне посоветуете сделать?

— Советую вам отправиться сию минуту к полицмейстеру и объявить все, что знаете, — проговорил отец мой, взял за руку Шванебаха и вывел в переднюю.

— Увольте меня, Антон Федорович, от подавания советов вашему тестю: дело это плохое и пахнет Сибирью. Ему я не помогу, а себя могу сгубить.

С сим словом он вышел из дому. Кельберга с женою поймали. Оказалось, что в кассе недостает важных сумм. Куда они девались? Кельберг давал их Шпальдингу, а тот действовал ими на бирже. Поднялось ужасное дело. Многие лица были в нем замешаны. Кончилось оно уже при императоре Павле: Кельберга, его жену, Шпальдинга лишили прав состояния и честного имени, ошельмовали публично и сослали в Сибирь. Менее виновных наказали легче, а недостающую в кассе сумму взыскали со всех чиновников банка, с виноватых и с правых и всех отставили от службы. Вот

тогдашнее правосудие! Это дело, разумеется, наделало много шуму. В день исполнения казни, когда все наше семейство сидело за ужином и толковало об этом странном событии, батюшка сказал: «Ну, теперь это дело кончено, и я расскажу вам, в какой я был беде. Слушайте. За несколько месяцев пред сим (это было еще при Екатерине), приглашает меня к себе генерал-прокурор (граф Самойлов), приводит в свой кабинет, где в то время был управляющий тайною канцеляриею Макаров, и говорит:

— В таком-то месяце вы советовали жене одного государственного преступника искать пособия у какого-то господина, живущего на Петербургской стороне и имеющего орден. Спрашиваю вас, именем государыни, кто этот господин? Подумайте и отвечайте.

Я начал ломать себе голову и называть всех знакомых мне кавалеров, живущих на Петербургской стороне.

— Петр Иванович Мелиссино?

— Нет!

— Алексей Иванович Корсаков?

— Нет!

— Более не знаю там никого, ваше сиятельство!

— Постарайтесь вспомнить. Оставайтесь здесь в кабинете. Я еду к государыне и возвращусь через час. Если вы до того времени не вспомните, то отдам вас на руки его превосходительства!

С сими словами указал он на Макарова, вышел с ним и замкнул за собою кабинет. Я остался в недоумении и страхе. Совесть моя

была чиста, но память изменяла. Вижу часовая стрелка приближается к роковой минуте. Вдруг раздался в воротах стук кареты графа. Это подействовало на меня как громовый удар, и в ту же секунду вспомнил я все дело, сел за стол и стал писать. Отворилась дверь, и вошел граф.

— Ну что же, г. Греч!

— Вспомнил, вспомнил!—закричал я:— дайте дописать.

Граф оставил меня. Я написал, что знал, вышел к графу в другую комнату и подал ему записку. Прочитав ее, он сказал: «Хорошо. Узнаю, правда ли, и потом дам вам знать. Извольте итти». С тех пор я ждал каждый день, что меня призовут к суду и допросу, но ныне все кончилось, и я могу сообщить вам мой страх и теперешнее успокоение. Записка же моя была следующего содержания: «Жена находящегося под судом биржевого маклера Шпальдинга, которого я знаю по приязни с зятем его, артиллерии капитаном Шванебахом, приезжала ко мне тогда-то и, объявив, что дело ее мужа поступило в Сенат, умоляла меня помочь ему, так как я служу в Сенате. Я объявил ей, что это дело не по тому департаменту, в котором я служу. — А по которому?— спросила она. — По первому. — А кто оное производит?—Обер-секретарь и кавалер Иван Иванович Богаевский, живущий на Петербургской стороне в своем доме».

— Вот вам, дети, урок! — сказал мой отец:— как должно быть осторожным в делах судебных. Сообщение простого адреса показалось призна-

ком преступления и, если б я не вспомнил, в чем дело, то подвергся бы розыску в тайной канцелярии.

Тайная канцелярия! ужасное слово, ужасное дело! Если бы Александр Первый не сделал ничего во всю свою жизнь, кроме уничтожения тайной канцелярии, и тогда имя его было бы бессмертно и благословляемо. Люди не ангелы и чертей между ними много, следственно, полиция, и строгая полиция, необходима и для государства и для всех честных людей, но действия ее должны быть справедливы, разборчивы, должны внушать доверенность людям честным и невинным. В последние годы царствования Александрова опять было зашевелилась старая застеночная политика, но, слава богу, ныне не то. Николай Павлович строг и взыскателен, но благороден и откровенен. Употребляя таких людей, как граф Бенкендорф, граф Орлов, Максим Яковлевич фон-Фок, Леонтий Васильевич Дубельт, он отнял у высшей полиции все злобное, коварное, мстительное. Дай бог ему много лет здравствовать! [....]

Фамилия Брискорн.

Родоначальником ее придворный аптекарь Максим Брискорн. Детей у него было как склянок в аптеке, и все они процвели и распространились. Так как они были в дружбе с моим отцом, а некоторые из них и на меня имели непосредственное влияние, то я и опишу всю эту фамилию. Иван Максимович был финляндский помещик, человек очень добрый и умный, часто приезжал к отцу моему с своего геймата,

расхваливал тамошнюю свою жизнь и советовал нам туда переселиться. Карл Максимович был прокурором в Риге; Яков Максимович вице-губернатором в Митаве, а потом в Тифлисе; жена племянника его, В. И. Фрейганга, описала его кончину в изданном ею путешествии на Кавказ. Максим Максимович (отец нынешнего тайного советника Максима Максимовича) был в военной службе и в начале царствования Павла служил майором в Перновском гарнизоне. Жена его, лифляндка, связала из доморощенной овечьей шерсти пару перчаток и послала их при немецком письме к императору Павлу, прося его употребить эти варежки в холодную погоду на вахтпараде. Это наивное предложение понравилось Павлу. Он приказал послать ей богатые серьги из кабинета при письме на немецком языке. Оказалось, что ни один из статс-секретарей его не знал немецкого языка; вытребовали для этого чиновника из Иностранной коллегии, и прислан был колл[ежский] сов[етник] Федор Максимович Брискорн.

Воспитание его сопряжено с любопытным эпизодом. Пред вступлением в первый брак императора Павла, дали ему для посвящения его в таинства Гименея какую-то деву. Ученик оказал успехи, и учительница обрюхатела. Родился сын. Его, не знаю почему, прозвали Семеном Ивановичем Великим и воспитали рачительно. Когда минуло ему лет восемь, его поместили в лучшее тогда петербургское училище, Петровскую школу, с приказанием дать ему наилучшее воспитание, и чтоб он не догадался о причине сего предпочтения, дали ему в то-

варищи детей неважных лиц; с ним наравне обучались: Яков Александрович Дружинин, сын придворного камердинера; Федор Максимович Брискорн, сын придворного аптекаря; Григорий Иванович Вилламов, сын умершего инспектора классов Петровской школы;[1] Христиан Иванович Миллер, сын портного, и Илья Карлович Вестман, не знаю чей сын. По окончании курса наук в школе, государыня Екатерина II повелела поместить молодых людей в Иностранную коллегию, только одного из них, Дружинина,[2] взяла секретарем при своей собственной комнате. Великий объявил, что желает служить во флоте, поступил, для окончания наук, в Морской кадетский корпус, был выпущен мичманом, получил чин лейтенанта и сбирался итти с капитаном Муловским в кругосветную экспедицию. Вдруг (в 1793 г.) заболел и умер в Кронштадте. В Записках Храповицкого сказано: «Получено известие о смерти Сенюшки Великого». Когда он был еще в Петровской школе, напечатан был перевод его с немецким подлинником, под заглавием: «Обидаг, восточная повесть, переведенная Семеном Великим, прилежным к наукам юношею».

Андрей Андреевич Жандр, в детстве своем видал Великого в Кронштадте, где тот катал ребенка на шлюпке, сидя у руля...[3]

[1] Примечание Греча о Вилламове — см. ниже.
[2] Примечание Греча о Дружинине — см. ниже.
[3] Вся эта история о Семене Великом и его товарищах еще раз изложена Гречем во второй половине воспоминаний (см. ниже последнее примечание на стр. 315).

Обратимся к Брискорнам. Последний из совоспитанников Великого был Федор Максимович Брискорн: он, наравне с другими, поступил в Иностранную коллегию, был секретарем посольства в Голландии и, как я сказал выше, попал в секретари к императору Павлу. Государь иногда жестоко журил его, но однажды, в жару благоволения, подарил ему богатое поместье в Курляндии. При вступлении на престол императора Александра, Брискорн был назначен сенатором. Он был человек умный и дельный, но притом странный, скрытный, недоверчивый, мнительный и имел одного друга, некоего надворного советника Кнорре. Это был человек тоже умный, но хитрый, лиса в медвежьей шкуре, словом большой плут. Брискорн жаловался ему однажды, что получает мало дохода с пожалованного ему курляндского имения, в соразмерности с капиталом, которого оно стоит. «Послушайтесь моего совета,—сказал Кнорре:—продайте это имение и употребите капитал на извороты: я знаю людей, и верных людей, которые дадут десять процентов и более. А между тем стерегите, не продается ли где имение в России по дешевой цене. Вы его купите и будете иметь вдвое более дохода против курляндского». Брискорн послушался; продал имение, а деньги отдал другу Кнорре, чтоб пустить их в оборот. Между тем приглянулось ему наше родовое поместье Пятая Гора, которое бабушка непременно хотела сбыть с рук, и он, согласившись в цене (155 т. р. асс.), дал 15 т. р. в задаток. Родственники его давно негодовали на тесную связь его с Кнорре,

и один из его зятевей, ст[атский] сов[етник] Федор Федорович Шауфус, долго следив за подвигами и проделками Кнорре, объявил Брискорну, что друг его обманывает. Брискорн перепугался и вместо того, чтоб обследовать дело осторожно, накинулся на Кнорре и стал требовать у него своих денег. Кнорре не оробел: оскорбленный этою недоверчивостью, он объявил, что у него денег никаких нет, ибо он действительно не давал Брискорну росписок в получении их. Брискорн поднял тревогу, обратился к государю и просил, чтоб дело рассмотрели. Кнорре был схвачен и объявил, что сенатор Брискорн употреблял его агентом для лихоимства, отдачею денег взаймы за большие сверхзаконные проценты, и вместо денег представил векселя разных промотавшихся, несостоятельных лиц. Его стали судить, но и господин сенатор был обвинен в ростовщичестве и лихоимстве. Брискорн получил часть своих денег с большим трудом и, войдя в спор с вдовою Струковою, на которую имел претензию, для решения дела, женился на ней. Две его дочери замужем за бар. Мейендорфом и за Алексеем Ираклиевичем Левшиным. Брискорн умер около 1824 г., в именье жены своей, которая, говорят, соорудила над его прахом великолепную церковь.

Младший из Брискорнов был Александр Максимович. Он лежал в оспе, когда хотели привить ее великому князю Александру Павловичу. У него взяли из руки материю для прививки, и, когда великий князь благополучно перенес болезнь (тогда была оспа не коровья,

а натуральная: ужасная, смертельная), мальчика записали в Инженерный корпус, хотя он был и не фон [....]

Обращаюсь вновь к самому себе и напишу несколько воспоминаний о детстве моем, не в хронологическом порядке, ибо, право, теперь не помню, что прежде чего происходило.

У матушки моей была приятельница Катерина Игнатьевна Кудлай, у которой три сына Николай, Дмитрий и Иван были придворными певчими, а дочь, от первого брака, Аксинья Никитична, замужем за коллежским ассесором Костенским, служившим при Царскосельской ассигнационной бумажной фабрике. Матушка с нами переселилась на лето в Царское Село и жила у них. Дом, в котором они жили, каменный, в два этажа, на берегу пруда, подле бумажной фабрики, еще существует. В моем романе: «Поездка в Германию» описал я чувства, которые волновали меня, когда я, лет через двадцать, вновь вошел в этот дом. В тогдашнее время переселялись на лето в Царское Село из экономии. Съестные припасы из царской кухни продавались за бесценок. Батюшка часто навещал нас и иногда приходил из Петербурга пешком, куря неоцененную свою трубку. Я помню это пребывание в Царском Селе, как сквозь сон. Помню устроенную для игры маленьких великих князей беседку, обитую внутри сукном на вате, чтоб дети не могли ушибиться. Не раз играл я там с братом Александром [....]

Важною эпохою в пробуждении моего ума и воображения было первое посещение театра, в конце 1794 года. Давали на деревянном театре, бывшем на Царицыном лугу, русскую комедию: «Поскорей, пока люди не проведали», и за нею балет: «Арлекин, покровительствуемый феею». Это зрелище произвело на меня сильное действие: возродило в душе моей мир мечтаний и фантазии. Только при фейерверке, которым оканчивался балет, я спрятался под скамью ложи. Второю виденною мною пиесою была комедия же: «Честное слово», в которой понравилась мне сцена, как охотник в лесу развязывает узел, стелет на земле салфетку, вынимает нож, вилку и дорожный запас и начинает завтракать. Эту сцену повторял я неоднократно сам. Потом видел я «Начальное представление Олега», великолепную драму, сочиненную Екатериною II, бывал несколько раз в итальянской опере и теперь еще очень хорошо помню певцов Ненчини (друга тетки Булгарина), Мандини, певиц Сапоренти и Гаспарина; помню представление «Севильского Цирюльника», с музыкою Паизиелло, очень помню романс Альмавивы, удержанный и в опере Россини; видел французскую оперетку: «Les deux petits savoyards», помню арию: «Sachez, que Jeannette». Все это питало мое воображение, переселяло меня в мир чудесный, небывалый и возбуждало любовь и страсть к музыке и литературе. К упомянутым выше сего книгам, занимавшим меня в детстве, должен с благодарностью прибавить «Детскую Библиотеку Кампе», переведенную Шишковым: я вы-

учил ее наизусть, но должен сказать, к чести моего детского чутья: я чувствовал неравенство слога в разных ее частях и заключал, что она написана не одним, а многими. Иногда прислушивался я, когда Парадовский, чтец искусный и умный, читал матушке моей поэмы и романы, переведенные на русский язык: «Иосифа Битобе», перев. Фон-Визина, «Бианку Капелло» и повести Мейснера, пер. Подшивалова. В это время проявилась во мне охота и способность рассказывать и импровизировать. Я имел дар возбуждать внимание сверстников своими рассказами. Об этом узнал я очень поздно. Однажды, в 1814 году, в полной приемной зале военного генерал-губернатора Вязмитинова, рассказывал я о каком-то происшествии тогдашней войны, кажется, об обстоятельствах покорения Парижа. Все слушали меня с напряженным вниманием. По окончании рассказа, подошел ко мне один полковник и сказал: «Не знаю кто вы, но вы должны быть Николаша Греч: тому назад двадцать лет вы рассказывали точно так». — «А вы — Костенька Васильев», возразил я ему. Точно, это был Константин....[1] Васильев, внук Кострецовой, хозяйки дома у Симиона, где мы жили.

Матушка видела мою внимательность, радовалась ей и всячески старалась удовлетворить моей жажде к познаниям. Лучше было бы отдать меня в какую-нибудь хорошую школу, например, Петровскую, но это не сбылось. Батюшка, замечая мою охоту к ученью, также

[1] Многоточие на месте забытого Гречем отчества.

радовался этому, соглашался, что нужно дать мне надлежащее обучение, но все отлагал до нового года, до святой, до сентября, опять до нового года, и т. д.

Когда дела отца моего поправились вступлением в службу, жизнь в доме нашем сделалась приятною и веселою. Добрые приятели у нас обедали, играли в карты, танцовали [....] Близкими нам приятелями были А. М. Брискорн и Егор Астафьевич Брюммер, друг и товарищ дядюшки Александра Яковлевича [Фрейгольда], любимый им, могу сказать, страстно [....] Не кончив еще польского похода, в 1794 г., Александр Яковлевич прибыл в Петербург и остановился в доме моего отца, в отдельной квартире, которая принадлежала к нашей. Он занялся мною и стал учить меня тому, что знал сам — арифметике, по старым своим корпусным тетрадям. Он толковал мне правила математические ясно и основательно. Я учился охотно и с успехом, но не мог пристраститься к точным наукам. Все бы читать что-нибудь и составлять самому. Действительно, у меня занятия сочинениями предупредили грамоту. Величайшим удовольствием моим было, проснувшись рано утром, рассказывать брату Александру не минувшие, а будущие приключения наши. Мы служили с ним то в статской, то в военной службе, воевали, страдали от ран, получали награды, возвышались чинами; я женился на Анне Ивановне Нордберг, а он на другой красавице, и т. д. Он слушал меня с восторгом и иногда смягчал или усиливал вымышляемые мною удары судьбы, но вообще им покорялся.

Он был очень резв и не любил занятий, но слушанье этих сказок его укрощало. Видя, что я расположен сочинять, он вызывал меня словами: давай говорить, которые, впоследствии, от частого употребления, превратились в звуки дауэги... Скудное, одностороннее воспитание, скажете вы, но оно не мешало свободному развитию понятий, не стесняло их формами. Неужели полезнее было бы склонять mensa, mensae? Не должно однако думать, чтобы Александр Яковлевич [Фрейгольд] был только сухой математик: нет, он любил чтение книг, и сам писал очень умно, хотя и не совсем правильно. Если б он получил порядочное, классическое образование, то непременно сделался бы хорошим литератором. Он писал и стихи в шуточном и сатирическом роде, но они оставались в тесном кругу его друзей. Однажды, при возвращении друга его Брюммера из какой-то командировки, прождав его целый день, он вышел из терпения и написал экспромт на рябого своего друга:

Скверна Брюммерова рожа,
Никуда она не гожа,
Словно, словно как рогожа
И на дьявола похожа.
Вся источена червями
Иль царапана ногтями;
Сердясь морщит он бровями,
Что изрыт он так свиньями.
Это шутка, всеконечно,
Ты, приятель, это знай,
И от любящих сердечно
Ты хвалу днесь принимай.
Хоть наружностью ты скверен,
Но душа в тебе добра;

Ты друзьям своим всем верен,
Никому не сделал зла.
Чти, приятель, добродетель,
Так как должно ее чтить:
Добрых дел твоих свидетель
Не оставит наградить.

Стихи эти теперь кажутся очень плохими; они и тогда были не слишком хороши, но я не мог не привести их: всякая строчка, всякое слово, напоминающие мне о благородном, незабвенном Александре Яковлевиче для меня неоцененны. Жаль, что я не помню стихов его на курьезную коллекцию бывшего впоследствии вотчимом его, Ивана Егоровича Фока:

Как комодик свой откроет
И бумажки все разроет,
Сколько, сколько там вещей,
Молотков разных, клещей.
Там старинные антики,
Хоть ценою не велики, и т. д.

«Подумаешь и посравнишь век нынешний и век минувший! Свежо предание, а верится с трудом». Ныне не поверят, как отправлялась военная служба

в тот громкий славою Екатерини век!

Александр Яковлевич [Фрейгольд] раза два в месяц ходил в караул, на арсенальную гауптвахту. Этот день был для нас, детей, праздником. Утром дядюшка надевал мундир, красный с черными бархатными отворотами и отправлялся на службу. Обеденное кушанье носили к нему на гауптвахту, а после обеда вся фамилия с гостями, какие случались, отправлялась

к нему на вечер. Он принимал гостей в утреннем сертуке, похожем на халат, в красных сафьянных сапогах. Раскрывались ломберные столы, и бостон вступал в свои права. Николай Михайлович Кудлай приносил скрипку и играл в антрактах; братья его пели стихи Державина на свадьбу великого князя Александра Павловича:

Амуру вздумалось Психею
Резвяся поймать,
и пр.

За круглым столом маменька разливала чай, а мы бегали по комнате и резвились. В девятом часу являлся сержант, рапортовал, что все обстоит благополучно и получал приказание бить зорю. Часу в одиннадцатом подавали холодный ужин, потом гости расходились, и деньщик стлал постель караульному офицеру.

Солдатами помыкали офицеры, как крепостными людьми, и наряжали их в частную службу. У нас случилась покража. Что-ж? В продолжение целой зимы из роты Александра Яковлевича [Фрейгольда] наряжали к нам на каждую ночь двоих часовых. Солдаты были очень рады этой службе: их кормили и поили вдоволь и, под предлогом охранения дома, они спали преспокойно всю ночь. Нам, детям, этот постой был очень приятен: мы заставляли солдат рассказывать о походах и слушали их со вниманием и восторгом. В числе их случались и барабанщики: от них мы выучились мастерски бить в барабан, и я однажды изумил до чрезвычайности детей моих, ударив дробь на барабане с большим искусством. Они не по-

дозревали во мне этого военного художества и не так бы удивились, если б я заговорил по-китайски.

Дома для нас праздничным днем была середа. И почему? Батюшка в этот день обыкновенно обедал не дома, а у некоей мадам Михельц, богатой, умной, образованной вдовы немецкого купца, жившей в довольстве и добре на Невском проспекте, в доме Петровской церкви. Она собирала у себя по средам хорошую компанию, преимущественно мужчин, подчивала их хорошим обедом и находила удовольствие в их беседе. Все старались ей угождать, прислушивались к ее желаниям и т. п., особенно по той причине, что она, не имея ни детей, ни других родственников, давала знать, что раздаст после смерти свое имение своим приятелям и знакомым. Она скончалась в исходе девяностых годов, распределив действительно всем своим середовым гостям имение свое по ровной части, так что каждому досталось понемногу. Наследство разделили не вскоре после смерти, потому что должно было списываться с чужими краями. Доля моего отца была ему выплачена в 1802 г., когда он был в крайности, и это обрадовало матушку и всех нас. Нрав моего отца был так неровен, что мы считали тот день счастливым, когда обедали без него. Матушка была строже его, но она была справедлива и всегда одна и та же: мы и любили ее больше, и боялись. Его же только опасались.

На осьмом году от рождения испытал я первое сильное горе: в феврале 1795 г. умер брат мой Павел, на пятом году жизни, как по-

лагают, вследствие застуды бывшей на нем оспы. Все мы были до крайности огорчены его потерею. До сих пор не могу я сносить запаху мускуса, которым пахло последнее данное ему лекарство. В искренней печали моей я написал на этот случай стихи, без меры, без грамматического толку, но с рифмами и — с чувством, которое глубоко тронуло матушку... Не понимаю, как отец мой не употребил всех средств, чтоб дать мне воспитание литературное. Меня все в доме звали профессором, но отнюдь не в похвалу, а в насмешку, разумея под этими словами тяжелого педанта, горбатого и безобразного.

Некоторые тогдашние связи и примеры имели неблагоприятное влияние на нравственность нашу. У сестры Кати была няня, офицерская вдова, обедавшая с нами за столом, Пелагея Тихоновна Верещагина. С нею жил у нас и сын ее, детина лет двадцати, служивший в Экспедиции о доходах, человек очень шаткой нравственности и вредный своим образом жизни. Еще невыгодно было для нас обращение с негодным мальчишкою, сыном жившего в одном с нами доме булочника. Впрочем, трудно уберечь мальчиков от дурных знакомств, да и может быть было бы бесполезно: обращение с людьми разных характеров заставляет узнавать людей и развивает понятие об общежитии. Люди, которые обходятся только с честными и благородными людьми, становятся односторонними и привыкают считать всех людей или ангелами или чертями [....]

25 мая [1796 г.] все наше семейство отправилось на острова. Помню Каменный Остров с ка-

менною тонею, сад Строганова... Мы прошли на Черную Речку. Ныне там ряд великолепных и изящных домов. Тогда это была простая деревня, к тому еще до половины выгоревшая. Мы расположились в одном крестьянском доме, чтоб напиться чаю. Хозяйка предложила отдать его нам внаймы. «А что цена?» спросил батюшка. — «Двадцать пять рублей, сударь, ни копейки менее», — отвечала она. Ей дали в задаток пять рублей, и чрез неделю мы переехали. Кроме нас, никого не жило в деревне. Все помещались в одной избе. Кухня устроена была на берегу в яме, обведенной рогожами на шестах. Скудно, бедно, неловко, а весело. Этот год кажется мне самым счастливым в моем детстве. Дядюшка Александр Яковлевич [Фрейгольд] приезжал к нам частенько и привозил других гостей. Мы ходили гулять по окрестностям, катались на яликах, причем я выучился мастерски действовать веслом. В воскресенье бывала музыка в саду Строганова. Туда стекалась многочисленная публика. Сам старик, граф Александр Сергеевич [Строганов], сидел с своею компаниею на крыльце и любовался картиною движущегося народа. Батюшка служил секретарем департамента, в котором он [Строганов] был сенатором, следственно, был ему знаком; к тому он пользовался большим с его стороны благоволением. Граф крестил сестру Лизу и брата Павла (меньшого). Граф жаловался однажды, что ни один из посетителей не вздумает пить чай на пригорке, за озером, перед его домом. Батюшка сделал ему это удовольствие: в одно воскресенье при-

несли туда столик, самовар и чайный прибор, и мы расположились на пригорке.

В саду не было ни кофейни, ни трактира. Графские люди продавали все съестное и питейное, и очень дешево, потому что запасались провизиею из графских кладовых. В одной стороне сада устроена была галлерея для танцев; в ней играла музыка. Вокруг ее разбиты были палатки, в которых можно было иметь кушанье и напитки. Раз проходили мы мимо графа, сидевшего на крыльце.

— Что твои немцы, — спросил он у батюшки, — веселятся ли?

— Нет, в[аше] с[иятельство], ждут вас, чтоб открыть бал.

И почтенный старичок сам отправился в галлерею, велел играть польский и, подняв первую немку, пошел танцовать с нею. За ним последовали прочие, и бал закипел.

В последние годы жизни Екатерины уже не было тех празднеств, турниров и т. п., которыми блистали первые годы, когда все еще веселье было большое и искреннее. Однажды государыня приказала князю Зубову привесть к ней графа Строганова. Он отправился на большом катере с пушками, аттаковал его дачу, сделал десант. Граф [Строганов] отпаливался своими пушками, наконец спустил флаг, был взят в плен и отвезен во дворец. Строганов, Нарышкин и т. д. были представителями забав аристократии благородной и чувствующей свое достоинство. Но Безбородки, Завадовские, Храповицкие и проч[ие] выскочки тешились не самым приличным образом. Безбородко был то

же, что ныне бык Врончено, только в большом размере. Каждую субботу после обеда, надевал он синий сертук, круглую шляпу, брал трость с золотым набалдашником и клал сто рублей в карман. Вооруженный таким образом, посещал он самые неблагопристойные дома. Зимою по воскресеньям бывал он всегда в маскарадах у Лиона (в нынешнем энгельгардтовом доме, где магазин русских изделий) и проводил время среди прелестниц часов до пяти утра. В восемь часов его будили, окачивали холодною водою, одевали, причесывали, и полусонный он ездил во дворец с докладом, но, пред входом в кабинет государыни, стряхивал с себя ветхого человека и становился умным, серьозным, дельным министром. Однажды государыня прислала за ним из Царского Села. Гонец застал его среди пламенной оргии. Безбородко приказал пустить себе кровь из обеих рук, протрезвился и отправился. Государыня спросила у него: готова ли такая-то бумага.— «Готова, в[аше] в[еличество]»,— отвечал он и, вынув из-за пазухи другую какую-то бумагу, прочитал чего требовала государыня. «Хорошо,— сказала она:—только мне хотелось бы пройти самой эту бумагу с пером. Подай ее!» Он упал на колени и признался в обмане.

Наконец государыне надоела эта гениальная Lüderlichkeit,[1] и она очень деликатно дала графу Б[езбородко] почувствовать, что он стареет, что ему трудно рано вставать, и просила его присылать к ней, вместо себя, кого-нибудь

[1] Распущенность.

из своих секретарей. Граф выбрал колл. сов. Дмитрия Прокофьевича Трощинского. Он ездил с докладами к государыне и вскоре заслужил ее благоволение. Она пожаловала ему (в этом чине) второго Владимира под предлогом, что не привыкла работать с секретарем без звезды, и потом, узнав, что он небогат, пожаловала ему три тысячи душ. Трощинский был человек умный, сметливый, трудолюбивый и очень добрый. Наружность его была самая приятная. Он сгубил себя связью с какою-то гадкою бабою, известною под именем Матрешки, на которой впоследствии женился. Тогдашние министры были не ангелы: высокомерны, не очень доступны, иногда пристрастны, во в них было более добродушия и простоты, более человеколюбия и снисхождения к слабостям людским. В то время не было этих монархических Робеспиеров, которые готовы, на основании законов, казнить отца родного, только бы не прослыть человеком слабым и подкупным. Они хотят быть справедливыми, но справедлив один бог, а мы, люди, должны быть терпеливы и снисходительны.

Другие новоиспеченные вельможи были таковы же: Завадовский был пьяница и умер (в янв. 1812), вспомнив старинку, как говорили, с старым другом своим, князем Лопухиным. Храповицкий, человек большого ума и дарований, был большой гуляка. Однажды приехал в Петербург какой-то степняк по делам своим и, имея письмо к Храповицкому от одного важного человека в провинции, отправился к нему, но не застал дома. Оттуда по-

ехал он на Крестовский остров, вошел в трактир и, видя накрытый стол, сел и велел подавать обедать. Прислужник, полагая, что он принадлежит к компании, заказавшей обед, исполнил его требование. В это время вошла эта компания и расположилась за столом. Один из ее членов, увидев чужого и заметив по его приемам, что он приезжий провинциал, стал над ним подтрунивать. Странник сначала отшучивался, но потом, когда нападения усилились, стал браниться, а наконец отвечал за дерзость. пощечиною. Завязалась драка, из которой степной герой вышел победителем, оставив под глазами краснорожих своих супостатов багровые следы своей храбрости. Выспавшись на другой день, он поспешил поранее отправиться к Храповицкому. «Барин дома, — сказали ему, — но не очень здоров и никого не принимает». Приезжий приказал однако доложить о себе и сказать, что привез письмо от такого лица, которому Хр[аповицкий] ни в чем не откажет. И, действительно, он был потом принят. Его ввели в спальню, завешенную со всех сторон. Приблизившись к постели, он с низким поклоном отдал письмо и прибавил комплимент от себя, но, лишь только раздались звуки его голоса, Хр[аповицкий] сказал ему:

— Ваш голос мне что-то знаком. Я вас видел, а где не помню.

— Быть не может, — отвечал тот, — чтоб я имел это счастие. Я только вчера приехал в Петербург.

— Нет, точно я вас знаю, — сказал Хр[аповицкий] и велел поднять стору.

Степняк взглянул на него и обмер: это был тот самый человек, которого он приколотил накануне. Храповицкий, позабавившись его смущением, подал ему руку и сказал: «Ну полно, помиримся. Сделаю для вас что̀ могу, а кто старое помянет, тому глаз вон». Он не только сделал все что мог для посетителя, но и принимал его с тех пор как друга...

Все это рассказываю я вам на лугу перед домом гр. Строганова. Жизнь на Черной Речке до того понравилась всему нашему семейству, что отец мой решился провести там и следующий год: наняли другой, просторный дом с садиком; пристроили к нему галлерею; подле соорудили кухню и, в ожидании будущих благ, отправились осенью в город...

L'homme propose.[1] 6-го ноября скончалась Екатерина, воцарился Павел, и не только наш дом на Черной Речке, и весь Петербург и вся Россия опрокинулись вверх дном. Кроме того, что надлежало быть всегда наготове в городе, должно было для проезда чрез воздвигнутые тогда шлагбаумы, предъявлять паспорт; впоследствии всяк, кто выезжал за город, обязан был трижды публиковаться в газетах, как отъезжающий за границу. Это называлось порядком и благоустройством.

Кончиною Екатерины прекратился славный, счастливый век России, но и этот век был не без пятен, не без страданий общих и частных. Главною помехою совершенному успеху царствования Екатерины была несправедливость и

[1] Человек предполагает.

противозаконность, вступления ее на престол. Венец царский принадлежал ее сыну. Она должна была тяжким трудом, великими услугами и пожертвованиями, действиями, противными ее сердцу и нраву, искупать то, что цари законные имеют без труда. Между тем, может быть, эта самая необходимость и была отчасти пружиною великих и блистательных дел ее. Мне кажется, что она, успев во многом, ошиблась в одном: она жила слишком долго. Умри она по совершении двадцатипятилетия царствования ее, в начале 1787 года, тогда не имели бы мы второй войны турецкой, войны шведской, может быть, не последовало бы окончательного раздела Польши, вредного и пагубного России. Сын ее вступил бы на престол не на 43-м, а на 32-м году от рождения, еще не совершенно раздраженный и выведенный из терпения ее любимцами. Но — судьбы божии неисповедимы. [1] Не хочу писать здесь историю Екатерины, упомяну о некоторых чертах ее жизни и характера, не всем известных. Царствование ее было не только славное и громкое; оно было вполне народное. Немецкая принцесса... Позвольте здесь ввести достойный

[1] Это написано в 1851 году, за четыре года до кончины императора Николая Павловича, и заключает в себе что-то пророческое: умри Николай в 1850 году, он не дожил бы до пагубной войны с французами и англичанами, которая прекратила жизнь его и набросила на его царствование мрачную тень. Но тень эта существует только для современников. При свете беспристрастной истории она исчезнет, и Николай станет на ряду самых знаменитых и доблестных царей в истории. (*Н. Г.*)

внимания эпизод. Эта немецкая принцесса происходила от русской крови. Отец ее, принц Ангальт-Цербстский, был комендантом в Штеттине (как впоследствии и отец Марии Феодоровны), и жил с женою в разладе. Она (ур. принцесса Гольстинская) проводила большую часть времени за границею, в забавах и в развлечениях всякого рода. Во время пребывания ее в Париже, в 1728 году, сделался ей известным молодой человек, бывший при русском посольстве, Иван Иванович Бецкий, сын пленника в Швеции князя Трубецкого, прекрасный собою, умный, образованный. Вскоре по принятии его в число гостей княгини Ангальт-Цербстской, она отправилась к своему мужу в Штеттин, и там 21 апреля 1729, разрешилась от бремени принцессою Софиею Августою: в святом крещении Екатерина Алексеевна. Связь Бецкого с княгинею Ангальт-Цербстской была всем известна.

Екатерина II была очень похожа лицом на Бецкого (ссылаюсь на прекрасный его портрет, выгравированный Радигом). Государыня обращалась с ним как с отцом, поручила ему все благотворительные и воспитательные заведения. Он основал воспитательные домы, Смольный Монастырь, был президентом Академии Художеств и т. п. Воспитанницы первых выпусков Смольного Монастыря, набитые ученостью, вовсе не знали света и забавляли публику своими наивностями, спрашивая, например: где то дерево, на котором ростет белый хлеб? По этому случаю сочинены были к портрету Бецкого вирши:

Иван Иваныч Бецкий
Человек немецкий,
Носил мундир шведский,
Воспитатель детский,
В двенадцать лет
Выпустил в свет
Шестьдесят кур,
Набитых дур.

Известно, что он дожил до глубокой старости. Екатерина была при нем в последние минуты его жизни.

Продолжаю: немецкая принцесса, прибывши в Россию, вела жизнь незавидную, но умела победить все препятствия. Граф Николай Петрович Румянцов, бывший при ней статс-секретарем и докладывавший ежедневно по делам иностранной политики, рассказал мне о ней следующий анекдот: «Дивятся все, — сказала она однажды, — каким образом я, бедная немецкая принцесса, так скоро обрусела и приобрела внимание и доверенность русских. Приписывают это глубокому уму и долгому изучению моего положения. Совсем нет! Я этим обязана русским старушкам. Не поверишь, Ник[олай] П[етрович], какое влияние они имеют при всяком дворе. Я приехала в Россию, страну мне вовсе неизвестную, не зная что меня там ожидает. Муж мой не терпел меня и сам не мог внушить мне ни любви, ни уважения. Тетка, Елисавета Петровна, обходилась со мною довольно ласково, но чуждалась сблизиться со мною и мало мне доверяла. Все глядели на меня с досадою и даже с презрением. Дочь прусского генерал-майора сбирается быть российскою императрицею. Однажды, в большом



И. И. Бецкий

доме, в многолюдном обществе, когда речь зашла обо мне, стали меня осмеивать, унижать, только что не бранить. Вдруг бабушка хозяина, современница Петра Великого, за меня вступилась, стала уверять, что при дворе еще не бывало подобной мне принцессы, и что я предназначена судьбою составить счастие и славу России. Все приутихли, все безусловно согласились со старушкою, и с тех пор ни одно оскорбительное слово не было произнесено на мой счет в этом доме. Я заметила это обстоятельство и вознамерилась им воспользоваться. И в торжественных собраниях и на простых сходбищах и вечеринках, я подходила к старушкам, садилась подле них, спрашивала о их здоровье, советовала, какие употреблять им средства в случае болезни, терпеливо слушала бесконечные их рассказы о их юных летах, о нынешней скуке, о ветренности молодых людей; сама спрашивала их совета в разных делах и потом искренно их благодарила. Я знала, как зовут их мосек, болонок, попугаев, дур; знала, когда которая из этих барынь именинница. В этот день являлся к ней мой камердинер, поздравлял ее от моего имени и подносил цветы и плоды из ораниенбаумских оранжерей. Не прошло двух лет, как самая жаркая хвала моему уму и сердцу послышалась со всех сторон и разнеслась по всей России. Самым простым и невинным образом составила я себе громкую славу и, когда зашла речь о занятии русского престола, очутилось на моей стороне значительное большинство».—В другой раз, говорил Николай Петрович, государыня, подписав, в веселом расположении духа, несколько подне-

сенных ей бумаг, одну за другою, спросила у него:

— Как ты думаешь, Н[иколай] П[етрович], трудное ли дело управлять людьми?

— Думаю, государыня, что труднее этого дела нет на свете.

— И! пустое,—возразила она:—для этого нужно наблюдать два, три правила, не больше.

— Согласен, в[аше] в[еличество], но эти правила составляют достояние и тайну великих и гениальных людей.

— Нимало. Эти правила довольно известны. Хочешь ли, я сообщу их тебе?

— Как не хотеть, в[аше] в[еличество]!

— Слушай же: первое правило—делать так, чтоб люди думали, будто они сами именно хотят этого...

— Довольно, государыня,—сказал тонкий царедворец:—если успею употребить это правило на деле, мне прочие уже ненужны.

И действительно Екатерина умела употреблять это правило в совершенстве. Вся Россия уверена была, что императрица, во всех своих делах, только исполняет желание народа.

Сообщу еще два истинные случая из ее царствования.

В девяностых годах произошла в одном петербургском трактире драка между армейскими офицерами и мастеровыми, причем несколько последних были изувечены и один убит. Произвели следствие и суд. По мнению всех инстанций, трое из подсудимых были виноваты кругом, а один в меньшей степени. На докладе Сената государыня смягчила наказание, к которому при-



Екатерина II
(Из собрания Публичной Библиотеки)

суждены были три первые, но приговор над последним приказала исполнить. Генерал-прокурор, полагая, что эта резолюция положена по ошибке, доложил о том государыне и получил в ответ: «Нет, я не ошиблась. Трое не так виновны, а последний злодей». Его сослали в Сибирь. Лет через двадцать обратился он к императору Александру Павловичу с просьбою о облегчении судьбы его. Дело пересмотрели в Совете, донесли государю, что люди, более виновные, давно получили прощение, и испрашивали помилования остальному. Государь согласился. Помилованный прибыл в Петербург и с жаром благодарил государственного секретаря А. Н. Оленина за его предстательство. И что-ж! Чрез полгода он оказался сущим извергом и опять был сослан в Сибирь. Екатерина, из производства дела, увидела, что трое виновников поступали в жару гнева и страсти, а этот действовал хладнокровно. Это ускользнуло из виду всех следователей и судей.

Теперь другой анекдот. Один повытчик 1-го Департамента Сената, запечатывая и надписывая пакеты с высочайшими подписными указами, рвал в то же время негодные бумаги и в рассеянности разорвал один подписной указ. Это считалось в то время преступлением уголовным и государственным. Что-ж! Он переписал изорванный указ вновь, нанял извозчика, отправился в Царское Село и остановился в аллее, по которой государыня обыкновенно гуляла по вечерам. Завидев ее, он бросился на колени и вскричал:

— Матушка государыня! спасите меня!

Она подошла к нему и выслушала рассказ о его несчастии.

— Вот, ваше величество,—сказал он,—изорванный указ, а вот и вновь переписанный. Потрудитесь подписать, а то обер-секретарь меня сгубит.

— Да как и чем подписать?—спросила она в недоумении.

— Вот перо и чернила,—сказал он, вынимая склянку:—вот на этой скамейке.

Государыня исполнила его просьбу. Он поцеловал полу ее платья и ударился бежать к своему извозчику.

Чрез несколько дней, при докладе генерал-прокурора кн. Вяземского, Екатерина спросила у него:

— Есть ли в канцелярии 1-го Департамента чиновник такой - то?

— Есть, ваше величество.

— Что он за человек?

— Честный и прилежный, но как он сделался известным вашему величеству?

Она рассказала о случившемся.

— Ах, он негодяй, дерзкий!—закричал князь, —да как он смел! Вот я его!

— Не горячись,—возразила Екатерина,—и не делай ему ничего; не показывай даже, что знаешь об этом. Ты не поверишь, как меня порадовала и утешила доверенность этого человека: он трепетал пред обер-секретарем, а на меня надеялся! Любовь и доверие народа мне всего дороже!

Большою помехою славе Екатерины и совершению ее великих планов была любовь ее к красивым мужчинам. Масон («Memoires secrets sur la Russie») сохранил нам имена этих

баловней счастия. Теперь это кажется безнравственным и едва возможным, а тогда находили такой образ жизни весьма обыкновенным и не требующим извинения. Притом, Екатерина умела и слабости свои облекать изяществом и величием. Не менее того Россия страдала от ее фаворитов, и еще более от тех людей, которых вывели эти фавориты. По артиллерии, например, был у князя Зубова правитель канцелярии Овечкин, который делал величайшие несправедливости и мерзости. Особенно теснил он заведывавшего постройками по артиллерийскому ведомству вотчима матушкина, Ивана Егоровича Фока, который был человек не дальний, но честный и бескорыстный. При вступлении на престол Павла, Овечкин был предан суду за разные злоупотребления, и Фок был в числе членов комиссии, судившей его. Узнав об этом назначении, Овечкин сказал: «Члены комиссии были мною облагодетельствованы, но они подлецы, и я от них ничего не ожидаю. Ивана Егоровича я обижал, но он человек благородный: на него вся моя надежда». И, действительно, он употреблял все средства, чтоб спасти прежнего своего гонителя, но это было невозможно: злоупотребления были слишком велики и очевидны, да и свыше велено было осудить. Овечкина разжаловали в солдаты. Многие другие подобные злоупотребители власти были изобличены и наказаны, но самые хитрые уцелели и еще усилились.

Сообщаю (здесь в прибавлении) мало известную записку об этой перемене, сочиненную графом Ф. В. Ростопчиным:

Последний день царствования Екатерины и первый царствования Павла. [1]

Я помню этот день очень хорошо. Батюшка приехал, по обыкновению, из Сената к обеду часу в третьем и, вошедши в гостиную, где были матушка и все домашние, сказал с поклоном: «Поздравляю с новым императором Павлом. Государыня скончалась». Все изумились и начали расспрашивать, как это было. Я бросился в детскую и сообщил весть эту Пелагее Тихоновне: «И, батинька, Николай Иванович,—отвечала она:—с утра знаем, да боимся говорить. Ведь и фалеторы приутихли». Должно знать, что в те времена мальчики-форейторы кричали *пади* с громким продолжительным визгом и старались выказать этим свое молодечество. С этого дня они утихли, и варварская мода более не возобновлялась. Батюшка рассказывал о присяге в Сенате и о глубокой печали, в которую погружены были сенаторы гр. Александр Сергеевич Строганов и Петр Александрович Соймонов. «Нельзя было удержаться от слез,—говорил он,—видя искреннюю горесть этих почтенных людей. Признаюсь, я старался сдерживать свои чувства, чтоб их не приписали лицемерию». Эти господа имели повод к слезам. С Екатериною закатилось для них блистательное и благотворное солнце XVIII века. Наступил век штиблет, кос и т. п. воинских украшений; век безотчетного самовластия, варварства и произвола. В первые минуты нового царствования

[1] В прибавлениях к воспоминаниям Греча этой записки Ростопчина не оказалось; см. комментарии.

заговорили было о благих намерениях государя, повторяли его счастливые, утешительные слова: изъявляли надежду, что долговременный опыт и размышление научили его науке царствовать; но вскоре все это исчезло, и истина явилась во всей своей, на этот случай неприятной, наготе. Дня чрез три собрались у нас военные, дядюшка Александр Яковлевич [Фрейгольд], Шванебах и др. Стали рассказывать о новой военной церемонии, называемой вахтпарадом, о гнусном Аракчееве, о Котлубицком, о Капцевиче, о Куприянове и о других гатчинских уродах, появившихся в свите государя в своих каррикатурных прусских костюмах, которые долженствовали сделаться мундирами всей русской армии, смеялись над нелепым вон (heraus), которое должно было вытеснить прекрасное русское: к ружью! Разумеется, к этому примешивали выдумки и пуфы. Вот маленький пример. Все офицеры должны были носить камышевые трости с костяным набалдашником. У дядюшкиной трости отскочила верхняя крышка набалдашника. Он вздумал приклеить ее сургучом.

Вдруг входит к нему немецкий педант, инженер-маиор Зеге-фон-Лауренберг, и спрашивает, не новая ли эта форма. «Точно,—отвечал дядюшка:—вышел приказ, сняв верхушки с набалдашников, наполнить пустоту их сургучом и сверху отпечатать на нем свой герб, и когда, при представлении государю или другому начальнику, он спросит у офицера: из дворян ли вы, следует, не говоря ни слова, поднять трость и показать свой герб». И этому верили! Натурально верили потому, что иные действитель-

ные предписания были еще нелепее этого. Помню, какое сильное действие произведено было в военной публике арестованием двух офицеров за какую-то неисправность во фронте. Дотоле подвергались аресту только отъявленные негодяи и преступники закона. Арестованные были в отчаянии и хотели застрелиться со стыда. Для них арест был то же, как если б ныне раздели офицера пред фронтом и высекли. Эти нелепости и оскорбление в безделицах заглушили и действительное добро нового царствования. Приведу пример материальный. В арсеналах стоят еще, вероятно, громоздкие пушки Екатерининских времен на уродливых красных лафетах. При самом начале царствования Павла и пушки, и лафеты получили новую форму, сделались легче и поворотливее прежних. Старые артиллеристы, в том числе люди умные и сведущие в своем деле, возопили против нововведения. Как-де отменять пушки, которыми громили врагов на берегах Кагула и Рымника! Это-де святотатство. Самый громкий ропот, смешанный с презрительным смехом, раздался, когда вздумали стрелять из пушек в цель! Этого-де не видано и не слыхано! Между тем это было первым шагом к преобразованию и усовершению нашей артиллерии, пред которою пушки времен очаковских и покоренья Крыма ничтожны и бессильны.

Скажу несколько слов об императоре Павле. Злоба и ненависть, возбужденные не столько несправедливостью его, сколько мелкими притеснениями и требованиями, преследуют его и за гробом и заставляют выдумывать на него



Павел I

(Из собрания Публичной Библиотеки)

всякие нелепости. Так, например, вздумали утверждать, что он не сын Екатерины, а подкидыш. Несправедливость этого можно доказать физическими доводами. Все согласны в том, что граф Бобринский был действительно сын Екатерины. Подите к графу Алексею Алексеевичу Бобринскому, и посмотрите на портрет его отца. Вылитый Павел Первый. Еще доказательство, также с левой стороны: у Бобринского был побочный сын, по прозвищу Райко;[1] он разительно похож на императора Александра, и это неудивительно: он ему двоюродный брат. Нелюбовь Екатерины к Павлу отнюдь не доказывает, чтоб он был не сын ей. Я уже говорил выше о замеченной мною нелюбви матерей к детям, которые своим существованием напоминают им утехи юных лет. И так по батюшке Павел не Петрович, ибо известно, что Петр III был, что называется в просторечии курей, неспособный к сожитию или по крайней мере к произведению плода, хотя он впоследствии и имел любовниц. Екатерина, сделавшись великою княгинею, долго была на деле княжною. Масон говорит, что первым, по времени, другом ее сердца, был Сергий Солтыков,

[1] Г. Райко, умный, образованный человек, служил в одном из полков гвардейской кавалерии, вышел в отставку, отправился в Грецию к графу Каподистрия, вступил в тамошнюю службу и командовал артиллериею. По кончине графа, воротился в Россию. За вступление в иностранную службу он обязан был служить на Кавказе и повиновался безропотно. Выслужив урочное время в Нижегородском Драгунском Полку, вышел в отставку, поселился в полуденной России и умер за несколько лет пред сим. (*Н. Г.*)

и что Павел был его сын. Может статься. Солтыков удален был от двора еще при Елисавете Петровне, и жил в своих деревнях до кончины своей, последовавшей в 1807 году. Я знал племянника его Сергия Васильевича Солтыкова, человека богатого и доброго, большого библиомана (он проводил целое утро в книжном магазине Сен-Флорана и Беллизара, надоедая и хозяевам и покупщикам своею болтовнею), который наследовал имение своего дяди. Дочь его пожалована была во фрейлины в 1826 году, и когда явилась, во время коронации Николая Павловича в Москве, на бале, обратила на себя общее внимание медалпоном, в котором вделан был редкий и известный по истории искусства камей, исчезнувший из придворной коллекции в сороковых годах XVIII века: он достался ей от покойного дяди. Как он ему достался, догадаться не трудно. [1]

Павел I был воспитан рачительно, под попечительством графа Н. И. Панина: это видим из любопытных Записок Порошина, но из этого же источника явствует, что нравственная сторона была притом пренебрежена совершенно: одиннадцатилетнего отрока поощряли к страсти его к фрейлине Чоглоковой. Хорошо ли это? Из тех же записок видно доброе сердце Павла, виден ум его и способности, но в то же время проглядывает нрав его, горячий, вспыльчивый, упрямый, вздорный. И этого человека лишили

[1] Рассказ Греча о Салтыкове, Бобринском и Райко вторично изложен им в дальнейшей части записок (см. стр. 315).

принадлежавшего ему трона; до сорокалетнего возраста держали его в удалении и заперти; детей отнимали у него вскоре по рождении их и воспитывали отдельно. Сама Екатерина осмеяла его страсть к вахтпарадной службе в комедии «Горе-Богатырь». Удивительно ли, что он сделался таковым, как был. Должно еще благодарить бога, что он не был хуже. [1]

Сообщу историю двух супружеств его, почерпнутую мною из достоверного источника. В 1765 году приезжал в Россию посол датского двора, барон Ашац-фон-Ассебург, прусский подданный, для решения дела о наследстве гольстинском, которое принадлежало Павлу I. Известно, что это дело кончено было к обоюдному удовольствию трактатом между Россиею и Даниею в 1773 году. Ассебург воротился в Данию еще ранее этого времени, нашел там владычество временщика Струэнзее, не согласился ему повиноваться, вышел из датской службы и поселился в своем родовом поместье. Екатерина, заметившая ум и способности Ассебурга в производстве дела о Гольстинии, велела узнать, не желает ли он вступить в ее службу, и когда он с радостью принял это предложение, она объявила, что жалует ему чин тайного советника

[1] Бывший английским послом при Екатерине II Гаррис (лорд Мальмесбюри) говорит, что главною слабостью Павла была трусость. Этим объясняется многое: и самое покорство его Екатерине и безмолвие пред ее фаворитами, и подозрительность и жестокость его по вступлении на престол; он [нрзбр] и тираны [нрзбр], (Людовик XI, Иван IV Грозный) были отчаянные трусы и терзали людей, чтоб устранить их от покушений против престола. (*Н. Г.*)

и назначает соответственное с тем содержание, но желает, чтоб это поступление его в русскую службу оставалось до времени в секрете. В то же время поручила она ему предпринять путешествие по Германии, высмотреть тамошние дворы и найти невесту великому князю. Ассебург принял и исполнил это поручение. Чрез несколько времени донес он государыне, что из всех немецких принцесс нашел он достойными сего избрания только трех сестер принцесс Гессен-Дармштадтских, особенно среднюю из них. Между тем изъявил он сожаление, что государыня торопится бракосочетанием сына: в Штеттине видел он дочь тамошнего коменданта, герцога Виртембергского, Софию, которая красотою, умом и образованием достойна была бы этого сана, но она слишком молода: ей только четырнадцатый год от роду. По донесению Ассебурга, три Дармштадтские принцессы были приглашены приехать в Петербург, и одна из них, под именем Наталии Алексеевны, сделалась великою княгинею. Брак совершен был с торжеством невиданным и неслыханным, но он не был счастлив: великая княгиня скончалась в родах. Носятся темные слухи о том, будто Екатерина извела ее из ревности и боясь ее ума и характера, будто великая княгиня была в преступных связях с камергером великого князя графом (впоследствии князь) Андреем Кирилловичем Разумовским. Не знаю, есть ли основание этим преданиям и думаю, что они приближаются к тем выдумкам, которые возникают при кончине всякой высокой особы.

Павел был неутешен, и Екатерина решилась скорее женить его вторично. Вспомнив о принцессе Софии, проживавшей в Штеттине, она отнеслась прямо к другу и союзнику своему Фридриху II, с просьбою совета и содействия.

Он дал, в Сан-Суси, под каким-то предлогом, придворный бал, на котором раз в жизни был в башмаках, и пригласил штеттинского коменданта с женою и дочерью, которая между тем помолвлена была с принцем Гессен-Дармштадтским. На бале беседовал он долго с принцессою; потом поговорил с принцем и обратившись к одному из своих генералов, сказал: «Der Kerl ist ein Narr; sie muss Kaiserin von Russland werden». [1] Говорят, что принц, услышав это решение, горько разревелся. Фридрих написал государыне, что невеста достойна ее сына, и просил прислать к нему молодого человека. Екатерина отправила цесаревича в Берлин с многочисленною и блистательною свитою. Первым его ассистентом был Румянцов, увенчанный свежими лаврами турецкой войны. Фридрих принял Павла с большим уважением и в честь фельдмаршалу представил в маневрах кагульскую битву. В румянцовском Музее есть картина, представляющая эти маневры. Фридрих II в синем прусском мундире, с андреевскою лентою; великий князь в белом мундире генерал-адмирала и в ленте Черного Орла, а Румянцов в тогдашнем артиллерийском мундире, красном с черным воротником и лацканами.

[1] Малый глуп; она должна стать русской императрицей.

Все они изображены верхом. Эти маневры знаменуют начало незавидного для России периода. Павел пристрастился там не к гению Фридриха, не к победам и славе его, а к фрунту, к косам, к пуклям, ботфортам и прочим мелочам военной или штиблетной службы (Kamaschendienst, как говорят немцы), и в этом остался не без преемников.

В начале 1816 года нынешний король Виртембергский, бывший тогда кронпринцем и женихом великой княжны Екатерины Павловны, обедал с императорскою фамилиею. Речь зашла о Фридрихе II. Все наперерыв хвалили и превозносили его. Кронпринц вообще соглашался, но прибавил: «Жаль только, что он слишком был пристрастен к пустякам солдатской формы. От этого все последовавшие государи сделались капралами!» Эти слова произвели самое неприятное действие. Александр [I] не показал этого в ту минуту, но с тех пор крайне охладел к принцу. Слова эти были тем разительнее, что принц, как известно, был сам умный и искусный полководец.

В Павле эта страсть доходила до крайних пределов смешного. Малейшая ошибка против формы, слишком короткая коса, кривая пукля и т. п. возбуждали его гнев и подвергали виновного строжайшему взысканию. Но у нас где строгое, там и смешное. Павел приказал всем статским чиновникам ходить в мундирах, в ботфортах со шпорами. Однажды встречается он с каким-то регистратором, который ботфорты надел, а о шпорах не позаботился. Павел подозвал его и спросил:

Что, судырь, нужно при ботфортах?

— Вакса, — отвечал регистратор.

— Дурак, судырь, нужны шпоры. Пошел!

На этот раз выговор этим и ограничился, но могло бы быть гораздо хуже. Я сказал, что статские должны были ходить в мундирах. Должно знать, что фраки были запрещены: носили мундир или французский кафтан, какие видим ныне на театральных маркизах. Жесточайшую войну объявил император круглым шляпам, оставив их только при крестьянском и купеческом костюме. И дети носили треугольные шляпы, косы, пукли, башмаки с пряжками. Это, конечно, безделицы, но они терзали и раздражали людей больше всякого притеснения. Обременительно еще было предписание едущим в карете, при встрече особ императорской фамилии, останавливаться и выходить из кареты. Частенько дамы принуждены были ступать прямо в грязь. В случае неисполнения, карету и лошадей отбирали в казну, а лакеев, кучеров, форрейторов, наказав телесно, отдавали в солдаты. К стыду тогдашних придворных и сановников должно знать, что они, при исполнении, не смягчали, а усиливали требования и наказания. Однажды император, стоя у окна, увидел идущего мимо Зимнего дворца пьяного мужика и сказал, без всякого умысла или приказания: «Вот [1] идет мимо царского дома, и шапки не ломает!» Лишь только узнали об этом замечании государя, последовало приказание: всем едущим и идущим мимо дворца снимать

[1] *Первоначально было:* Вот скотина!

шапки. Пока государь жил в Зимнем дворце, должно было снимать шляпу при выходе на Адмиралтейскую площадь с Вознесенской и Гороховой улиц. Ни мороз, ни дождь не освобождали от этого. Кучера, правя лошадьми, обыкновенно брали шляпу или шапку в зубы. Переехав в Михайловский замок, т. е. незадолго до своей кончины, Павел заметил, что все идущие мимо дворца снимают шляпы, и спросил о причине такой учтивости. — «По высочайшему в[ашего] в[еличества] повелению», — отвечали ему.—«Никогда я этого не приказывал!»—вскричал он с гневом и приказал отменить новый обычай. Это было так же трудно, как и ввести его. Полицейские офицеры стояли на углах улиц, ведущих к Михайловскому замку, и убедительнейше просили прохожих не снимать шляп, а простой народ били за это выражение верноподданнического почтения.

Можно наполнить целые томы описанием тогдашних порядков и приказаний. Люди, которые в царствование Екатерины не только не оказывали уважения к Павлу, но и с умыслом его оскорбляли, сделались теперь, разумеется, подлейшими его рабами. Таков был в особенности тогдашний генерал-губернатор петербургский Николай Петрович Архаров, выставленный и в записке Растопчина с действительной своей стороны. Он служил несколько лет обер-полицмейстером и отличился расторопностью, сметливостью, угодливостью и подлостью. Всячески старался он узнать все желания и причуды Павла, предупреждал выражение его воли, преувеличивал его при исполнении.

Имя его будет жить в списке извергов, вредящих государям более самых отъявленных революционеров, лишая их любви и доверенности народной, Бирона, Аракчеева, Клейнмихеля. Но усердие и сгубило его. Павел вскоре заметил истинную пружину его действий и уже в 1797 году исключил его из службы. Достойным его помощником был полицмейстер Чулков, выслужившийся такими же деяниями из сдаточных.

Когда Павел, при вступлении на престол, ввел безобразную форму мундиров и т. п., один бывший адъютант князя Зубова, Копьев, [1] послан был с какими-то приказаниями в Москву. Раздраженный переменою судьбы, он вздумал посмеяться над новою формою: сшил себе, перед отъездом, мундир с длинными, широкими полами, привязал шпагу к поясу сзади, подвязал косу до колен, взбил себе преогромные пукли, надел уродливую треугольную шляпу с широким золотым галуном и перчатки с крагами, доходившими до локтя. В этом костюме явился он в Москве и уверял всех, что такова действительно новая форма. Император, узнав о том, приказал привезти его в Петербург и представить к нему в кабинет. «Хорош! мил! — сказал он, увидев этот шутовской наряд: — в солдаты его!» — Приказание было исполнено.

[1] Алексей Данилович Копьев, автор комедии: «Лебедянская ярмарка», был очень умен и особенно остер, но большой циник в словах и поступках. Никто не уважал его. Он умер лет за десять пред сим. В последнее время жизни занимался он торгами и подрядами и отличался скупостью и неопрятностью. *(Н. Г.)*

Копьеву в тот же день забрили лоб и зачислили его в один из армейских полков, стоявших в Петербурге. Чулков, прежде того нередко стаивавший у него в передней, вздумал над ним потешиться, призвал его к себе, осыпал ругательствами и насмешками и наконец сказал:

— Да говорят, братец, что ты пишешь стихи?

— Точно так, писывал в былое время, ваше высокородие!

— Так напиши теперь мне похвальную оду, слышишь ли! Вот перо и бумага!

— Слушаю в[аше] в[ысокородие]! — отвечал Копьев, подошел к столу и написал: «Отец твой чулок; мать твоя тряпица, а ты сам что за птица!»

Не знаю, что сказал и сделал Чулков, только эти стихи мигом разнеслись по городу. Чулков пал вместе с Архаровым, за непомерное вздорожание сена в Петербурге, вследствие его глупых распоряжений. На общее их падение была сделана карикатура: Архаров был представлен лежащим в гробе, выкрашенном новою краскою полицейских будок (черною и белою полосою); вокруг него стояли свечи в новомодных уличных фонарях. У ног стоял Чулков и утирал глаза сеном. Архаров, с исключением из службы, сослан был в свои поместья, а в 1800 г. получил позволение жить в Москве, где и умер, в начале 1814 г., сопровождаемый до гроба общим презрением. Достойный внук его, [1]

[1] Побочный сын незаконной дочери Ник. П. Архарова с какою-то француженкою. Эта дочка продолжала

Андрей Александрович Краевский поставил ему монумент на 248 стр. III тома «Энциклопедического Лексикона». С Николаем Петровичем не должно смешивать брата его, Ивана Петровича († 1815 г.), человека доброго и благородного, отца Александры Ивановны Васильчиковой и деда писателя графа [В. А.] Соллогуба.

Мало ли что предписывалось и исполнялось в то время! Так например, предписано было не употреблять некоторых слов, напр., говорить и писать государство вместо отечество; мещанин вм[есто] гражданин; исключить вместо выключить. Вдруг запретили вальсовать или, как сказано в предписании полиции, употребление пляски, называемой вальсеном. Вошло было в дамскую моду носить на поясе и чрез плечо разноцветные ленты, вышитые кружками из блесток. Вдруг последовало запрещение носить их, ибо-де они похожи на орденские.

Можно вообразить, какова была ценсура! Нынешняя Шихматовская глупа, но тогдашняя была уродлива и сопровождалась жестокостью. Особенно отличался рижский ценсор Туманский, кажется, Федор Осипович, о котором

ремесло своей матери и, произведя на свет великого издателя «Отечественных Записок», сама не знала, чей он сын, ибо имела, при редакции его, много сотрудников. Один белорусский подлец, по фамилии Краевский, дал ему свою фамилию за благосклонность матушки. Она вышла потом за другого подлеца, какого-то маиора фон-дер-Палена и, лишившись носа в какой-то кампании с Венерою, завела в Москве девичий пансион (Historique). (*Н. Г.*)

я буду говорить впоследствии. Один сельский пастор в Лифляндии, Зейдер, содержавший лет за десять до того немецкую библиотеку для чтения, просил, чрез газеты, бывших своих подписчиков, чтоб они возвратили ему находящиеся у них книги, и между прочим повести Лафонтена: «Die Gewalt der Liebe».[1] Туманский донес императору, что такой-то пастор, как явствует из газет, содержит публичную библиотеку для чтения, а о ней правительству неизвестно. Зейдера привезли в Петербург и предали уголовному суду, как государственного преступника. Палате оставалось только прибрать наказание, а именно приговорить его к кнуту и к каторге. Это и было исполнено. Только генерал-губернатор гр. Пален приказал, привязав преступника к столбу, бить кнутом не по спине его, а по столбу. При Александре [I] Зейдер был возвращен из Сибири и получил пенсию. Императрица Мария Феодоровна определила его приходским пастором в Гатчине. Я знал его там в двадцатых годах. Он был человек кроткий и тихий и, кажется, под конец, попивал. Запьешь при таких воспоминаниях!

Кончилось тем, что все иностранные книги были запрещены к привозу без изъятия. И поделом! А к чему это послужило? Продолжили ли эти стеснительные меры на один день несчастную жизнь Павла? Согласен, что есть книги, которых распространения правительство допускать не должно и не смеет, но их число не

[1] «Сила любви».

велико, да и те следует запрещать, удерживать без шуму, а то они найдут себе путь в Россию в бо̀льшем числе, нежели если бы были позволены. Запрещенный плод вкуснее и приманчивее всякого другого. Некоторая свобода тиснения бывает очень полезна правительству, показывая ему, кто его враги и друзья. Таким образом, гнусные «Отечественные Записки», до 1848 г., могли служить лучшим телеграфом к обнаружению, что за люди Белинский, Достоевский, Герцен (Искандер), Долгорукий и т. п.; публика это видела; молодежь с жадностью впивала в себя яд неверия и неуважения к святыне и власти. Один фанфарон Уваров не видал и не знал ничего. Когда разразилась февральская революция (1848), тогда только хватились. Я не называю Краевского в числе людей опасных: он возбуждал молодых людей и распространял вредные учения вовсе не с революционным намерением, при всем радикализме своего образа мыслей, он употреблял несчастных вралей орудиями к своему обогащению, видя, что публика падка на смелые вещи. Сам же он конечно охотно потянул бы за веревку, если б их стали вешать.

Опять дигресия, — виноват! Сию минуту прочитал я брошюру скота Герцена, Искандера (Sur le développement des idées révolutionnaires en Russie), [1] и подивился бессовестности, с какою он предает нашему правительству секреты своей партии, оправдывает все меры, которые приняты против его друзей и собратий, и до-

[1] «О развитии революционных идей в России».

носит на Московский университет в распросранении зловредного учения в России. Возможно ли вообразить подобную гнусность! Вот люди, которые жалуются на государя и хотят переделать Россию!

Я пишу не историю того времени и не историю моей жизни, а только воспоминания и замечания. Потому и считаю не излишним сообщать подробности, может быть, мелочные, но которые не пропадут таким образом совершенно. Нельзя вообразить, как сумасбродно Павел воевал внутри России. Вдруг нажалует тьму народа полковниками, генералами всех сортов, а чрез полгода всех, без просьбы, уволит в отставку; такой участи подвергся вотчим матушки, Иван Егорович фон-Фок. Он в два года с половиною выскочил из маиоров в генерал-маиоры, а потом был всемилостивейше уволен с мундиром. Видя, что число отставных в Петербурге усиливается, император вдруг велел выслать всех их из города, если они не имели недвижимости, процесса и т. п. Теперь легко это написать, а каково было тогда! Однажды едем мы, с семейством, ночью, от тетушки Елисаветы Яковлевны: дорогою встречаются обозы легковых извозчиков. Что̀-бы это значило? Один извозчик нечаянно задавил кого-то. По донесении о том государю, последовал приказ: выслать из города всех извозчиков. Потом их воротили, видя крайнюю в них необходимость, но запретили дрожки, а велели им иметь коляски. Нет спора, что запрещение этого гнусного экипажа было бы очень полезно, но не вдруг, не в один день. Что̀ сделали извозчики?

Сняв подушку с дрожек, навязали на них сверху сани — вот-де и коляска!

Павел обожал Генриха IV и старался подражать ему, удачно ли, пусть скажет история. У него были и прекрасные Габриели, хотя он вообще любил и уважал свою супругу. Первою, по времени, была Катерина Ивановна Нелидова, тетушка нынешней Варвары Аркадьевны, но главною и блистательною явилась Анна Петровна Лопухина. Милости всякого рода посыпались на ее отца и всю фамилию. Он был пожалован светлейшим князем, получил место генерал-прокурора, правда, не надолго. Ее выдали замуж за князя Павла Гавриловича Гагарина; [1] выстроили для нее великолепный дом на Дворцовой набережной. Догадавшись, что имя Анна значит по гречески благодать, назвали им самый большой корабль русского флота; Благодать и Анна красовались на гре-

[1] Князь П. Г. Гагарин был человек тихий, добрый, в молодости пописывал стишки и женился из протекции. По смерти Анны Петровны, он надписал на ее гробнице: «Супруге моей и благодетельнице». Уж хоть бы промолчал. Он оставался генерал-адъютантом при Александре [I] и был военным посланником при Наполеоне, в 1809 году; в 1810 г. и последующих служил директором одного из департаментов Военного министерства, а потом вышел в отставку и поселился в поместье своем, на берегу Невы, насупротив Рыбацкой слободы, с любовницею своею, бывшею танцовщицею Спиридоновою, окруженною стаей гнусных собак. Не знаю, что сделалось с его имением. Дом, доставшийся ему после жены, загорелся в 1809 г.. во время пребывания здесь прусского короля и королевы. Сгорел верхний этаж, и он построил, вместо его, нынешнюю безобразную галлерею. (*Н. Г.*)

надерских шапках и на корабельных флагах. Но должно отдать справедливость княгине Анне Петровне: она не употребляла своей власти во зло, а делала добра, сколько могла, уклоняясь от осрамительного прославления ее особы и имени. Некоторые лица, достойные доверия, уверяют, что любовь к ней Павла была чисто платоническая.

Фаворитизм Кутайсова был еще удивительнее, хотя и имел пример в брадобрее Лудовика XI. Пленный турченок мало-по-малу сделался обер-шталмейстером, графом, Андреевским кавалером и не переставал брить государя. Наскучив однажды этим ремеслом, он стал утверждать, что у него дрожит рука, и рекомендовал, вместо себя, одного гвардейского фельдшера, очень искусного в этом деле и исправлявшего свою должность у многих генералов. Но — таков был взгляд Павла, что у бедного унтер-офицера, со страху, бритва вывалилась из руки, и он не мог приступить к делу. «Иван! — закричал император: — брей ты!» Иван, сняв Андреевскую ленту, засучил рукава и, вздохнув, принялся за прежнее ремесло. Кутайсову обязан своим счастием другой гриб, не турецкий, а шотландский. Джемс Виллие прибыл в Россию в звании подлекаря и определился в Семеновский полк баталионным врачем. Он успел оказать важную медицинско-секретную услугу шефу полка, Александру Павловичу, который обещал ему свое покровительство, но не мог ничего в то время сделать. Вдруг Кутайсов заболел нарывом в горле. Его лечили первые придворные медики, но не смели сделать операции надрезом нарыва и ждали дей-

ствия натуры, а боль между тем усиливалась. По ночам дежурили у него полковые лекаря. Виллие явился в свою очередь и за ужином порядочно выпил даровой мадеры, сел в кресло у постели и заснул. Среди ночи сильное храпение разбудило его. Он подошел к больному и видит, что тот задыхается. Не думая долго, он вынул ланцет, и царап по нарыву. Гной брызнул из раны; больной мгновенно почувствовал облегчение и пришел в себя. Пьяный Виллие спас его. Можно вообразить радость императора Павла: Виллие пошел в гору, был принят ко двору и сделался любимцем Александра. Предвидя ожидающую его фортуну, он выучился латинскому языку и по-секрету прошел курс медицины и хирургии. Смелость, быстрый взгляд и верность руки много способствовали его успехам. Дальнейшее поприще его известно: он сделался лейб-медиком и любимцем Александра и, может быть, своею отважностью и самонадеянностью был причиною его преждевременной кончины. Он был начальником военно-медицинской части в России и во многом ее поднял, возбудил в русских врачах чувство собственного достоинства и даровал им права, обеспечивавшие их от притеснений военных начальств. Он проложил путь многим людям с талантами, как скоро они ему покорялись и льстили. Всех непокорных, кто бы они ни были, преследовал он и терзал всячески. Эгоизм и скупость его невероятны. Богатый и бездетный, он брал ежедневно по две восковые свечи из дворца, следовавшие дежурному лейб-медику, и во всем поступал по этой мерке. Ему теперь (в сент.

1851) более осьмидесяти лет, и он проживет еще долго. [1]

Воротимся к Кутайсову. По смерти Павла, поселился он в Москве и умер в 1834 году. Сын его Павел Иванович был человек добрый и ординарный: он умер сенатором в 1840 году. Младший сын его, бывший 16-ти лет полковником артиллерии, убит в чине генерал-маиора, при Бородине. Он был человек гениальный и благородный. Россия много в нем потеряла.

Самым знаменитым из любимцев Павла был граф Алексей Андреевич Аракчеев. Так как я бывал с ним в сношениях и знал его коротко, то буду говорить о нем в своем месте.

При всей тягости ига, которое лежало на России в царствование Павла, нельзя сказать, чтоб он умел заглушить голос общего мнения. Приверженцы его, приближенные, подлецы, хвалили все дела его и самые жестокие; оптимисты старались его извинять и оправдывать, ухватывались за всякое обстоятельство, самое ничтожное, чтоб возвысить его добродетели и прикрыть пороки, но большинство народа, масса, его ненавидела, и редко кто скрывал эти чувства.

Все твердили надпись Карамзина к Исакиевскому Собору:

[1] Умер 1854 года. Обойдя бедных своих родственников, он завещал все свое огромное состояние в русскую казну, по медицинской части. Ему воздвигли за то монумент пред зданием Медико-хирургической Академии в С. Петербурге, а родные его в Шотландии томятся в нищете. Но есть высший суд на небе! (*Н. Г.*)

Сей храм есть памятник двум царствиям приличный:
Фундамент мраморный, а верх его кирпичный. [1]

Все знали наизусть пародию Марина (Сергея Никифоровича, † 1814) оды Ломоносова:

О ты, что в горести напрасно
На службу ропщешь, офицер!
Кричишь и сердишься ужасно,
Что ты давно не кавалер!
Внемли, что Царь к тебе вещает:
Он гласом сборы прерывает,
Он в правой держит эспонтон.
Смотри, в каких штиблетах он. [2]

Это наблюдение должно-б было научить всякое правительство, что лучшая оборона от бранных и обидных сочинений — не цензура, а благоустроенное, справедливое, кроткое правление. В. М. Головнин, во время пребывания своего в Мексике (в последние годы испанского там владычества), спросил у одного тамошнего консула, много ли Испания имеет врагов в Мексике.— «Довольно, — отвечал консул: — и вы их можете узнать по наружности: у кого здесь нос над ртом, тот враг Испании». Так было и в России при Павле.

Мы все еще, по порядку повествования, в начале царствования Павла. Это время было ознаменовано некоторыми подвигами ума и благо-

[1] Эту надпись переделали в конце царствования Александра:

Сей храм трех царств изображенье:
Гранит, кирпич и разоренье. (*Н. Г.*)

[2] Постараюсь поместить всю эту оду в прибавлениях. (*Н Г.*).

родства, составлявшими основу характера Павла. Он почтил память отца своего Петра III, которого, под тем предлогом, что он умер некоронованный, погребли не в [Петропавловской] крепости, а в Невском монастыре. Павел отправился туда, велел вскрыть склеп, в котором погребен был несчастный император, и оросил его останки горькими слезами. Говорят, что тела не было вовсе: оно истлело; остались только некоторые части одежды. Эти останки были вынуты из склепа и поставлены в другой гроб, царски украшенный. Сначала отвезли гроб со всею подобающею церемониею в Зимний дворец и поставили на катафалке подле тела Екатерины II. Я видел шествие это из окна квартиры мадам Михелис, в доме Петровской церкви. Гвардия стояла по обеим сторонам Невского проспекта. Между великанами гренадерами, в изящных светлозеленых мундирах с великолепными касками, теснились переведенные в гвардию мелкие гатчинские солдаты в смешном наряде пруссаков Семилетней войны. Но общее внимание обращено было на трех человек, несших концы покрова — это были: граф Алексей Орлов, князь Барятинский и Пассек, убийцы Петра! Мщение справедливое и благородное: они занимали места, подобающие первым лицам империи и притом выставлены были у позорного столба, с печатью отвержения на челе.

Потом видел я оба гроба на одном катафалке: видел и шествие обоих гробов по Миллионной и по наведенному на этот случай мосту от Мраморного дворца в крепость. Достойны замечания надписи на гробницах: Император

Петр III родился 16-го февраля 1728 года, погребен 18-го декабря 1796. Екатерина II родилась 21-го апреля 1729 г., погребена 18-го декабря 1796. Подумаешь, говорит один писатель, что эти супруги провели всю жизнь вместе на троне, умерли и погребены в один день. Пожалуй, это скажут будущие историки, истолковывая уцелевшие надписи на неизвестном т о г д а русском языке! Это в истории бывает частенько.

Этими воспоминаниями виденного принимаюсь вновь за нить моей собственной жизни. Мне было от роду десятый год, брату Александру осьмой; надлежало подумать сериозно о нашем воспитании. Батюшка, к большому моему, впоследствии, сожалению, оставил мысль отдать меня в Петровскую школу, где я мог бы приобресть основательные первоначальные сведения, привыкнуть к труду и порядку. Вместо того, по совету, кажется, г-на Дорезона, приятеля его, он вздумал взять французского гувернера из многочисленных эмигрантов, наводнивших тогда Россию. И действительно взяли человека средних лет monsieur Delagarde, умного, любезного, образованного, но неопытного и несведущего в деле воспитания и обучения. Он одевался и пудрился со вкусом, называл меня monsieur Nicolas и заставлял читать из азбуки, поправляя произношение. Тем уроки оканчивались. Механическое чтение надоедало мне. На третьей странице я начинал зевать и закрывал книгу. Мусие Делагард не противоречил, и урок тем кончался. Его любили в доме за любезность и веселость: он с утра до вечера играл на фор-

тепиане и распевал французские арии. Особенно любил он одну: «O Richard, o mon roi!» Вскоре однако увидели, что такое ученье не ведет ни к чему. У него с батюшкою была крупная экспликация, но вскоре потом он заболел от простуды и умер. Грустно и теперь вспомнить, как бедный француз умирал на чужбине. Вместо его был взят другой француз, monsieur de Morencourt, уже обжившийся в России, тяжелый, ленивый, любитель чарочки и порядочный невежда. Все уроки ограничивались механическим чтением и письмом; о языке и грамматике ни слова. Он как-то повздорил с батюшкою и получил увольнение. Уроки дядюшки Александра Яковлевича [Фрейгольда] также прекратились. Только занимался нами Дмитрий Михайлович Кудлай, также не весьма грамотный, но по крайней мере добрый и усердный к делу, с неразвращенною нравственностью. Матушка делала что̀ могла, но она могла немного, притом же я выростал из гаремного воспитания, и следовало заняться мною сериознее.

Упомяну здесь о некоторых эпизодах. В 1797 г. прибыл к нам из Кронштадта доктор Карл Иванович Борн [....] Он очень любил и уважал мою матушку, и первый заметил мои дарования: понятливость, воображение, счастливую память. Забавляясь беседой со мною на ломаном русском языке, он спрашивал у матушки, что̀ она делала тогда, когда была беременна мною. — «Спала очень много», — отвечала она. — «Вот и причина ума этого мальчика, — говорил он: — вы спали, ум ваш покоился и беспрепятственно действовал на плод вашего чрева». С тех пор

он беспрерывно посылал спать жену свою, когда она была беременна [....]

Мы жили в доме Быкова, на Литейной. Это было очень неудобно. Батюшка должен был ездить каждый день в Сенат и нередко попадался навстречу императору. Вот уж подлинно можно было сказать: «близ царя, близ смерти!» В мае 1798 г. нанял он дом барона Людвига, в нынешней Ново-Исаакиевской улице, принадлежавший потом Коростовцову.[1] Тогда на месте нынешних Конногвардейских казарм простиралась пред этим домом площадь до самого Крюкова канала, теперь засыпанного [с устроенным над ним бульваром]. Дом этот был тогда в один этаж с погребом, в котором помещалась кухня. Часть его, выходившая на Почтамтскую улицу, занимаема была извозчичьим двором. Главным достоинством этого дома был сад, разведенный на том месте, где теперь американская[2] церковь. Уцелели еще два три клена, под которыми я играл в детстве с братом и сестрою. И, действительно, один этот сад оставил во мне приятное впечатление о тогдашнем времени. Оно было тяжело вообще и в частности. Бестолковое, тиранское правление Павла тяготело над Россиею: надлежало остерегаться не преступления, не нарушения законов, не ошибки какой-либо, а только несчастия, слепого случая: тогда жили точно с таким чувством, как впоследствии во времена холеры. Прожили день — и слава богу. На дворе у нас нанимал квартиру квартальный

[1] В настоящее время д. № 14 по той же улице.
[2] В рукописи ПБ и копии ПД: британская.

комиссар (так назывались тогда помощники надзирателей) 14-го класса Сатаров, сын бывшего сторожа в Экспедиции о расходах. Он был тираном и страшилищем всего дома: его слушались со страхом и трепетом; от него убегали, как от самого Павла. Донос такого мерзавца, самый несправедливый и нелепый, мог иметь гибельные последствия. Впрочем доставалось и им, полицейским. В 1798 году, в жестокое зимнее время, Павел совершал тризну или панихиду по тесте своем, герцоге Виртембергском. Служба происходила в католической церкви. Вдоль Невского проспекта стояла фронтом вся гвардия. Мы смотрели церемонию из квартиры нюренбергского купца Себастиана Гешта, выходившей на площадку пред церковью. В ожидании окончания службы в церкви, Павел разъезжал верхом, надуваясь и пыхтя по своему обычаю. Великие князья Александр и Константин, как теперь их вижу, в семеновском и измайловском мундирах, бегали на морозе пред церковью, стараясь согреться. Один полицейский офицер стоял на краю площадки, во фронте. Вдруг подали сигнал. Все поспешили к местам. Раздались музыка, ружейные выстрелы, пушечная пальба. Потом войска прошли церемониальным маршем. Все утихло; площадь опустела. Один только этот полицейский стоял на месте. К нему подошел другой, коснулся его, и он упал на снег: несчастный замерз!

Домашние обстоятельства также не были утешительны. Состояние наше поправилось. У нас бывали обеды, вечера; иногда ездили в театр, но истинного удовольствия и отрады

не было от переменчивого характера батюшки, от его капризов. Матушка удивляет меня, когда я теперь о ней подумаю. Одно ласковое слово со стороны мужа — два дня спокойствия — и она оживала, была весела, принимала участие в удовольствиях [....]. У нас часто бывали Измайловского полка граф Егор Карлович Сиверс, [1] артиллерийский офицер Василий Григорьевич Костенецкий, прославившийся впоследствии своими странностями, плац-маиор Бреверн и мн. др.

[1] Сиверс получил графское достоинство при Павле, в лице дяди его, ученика моего деда, знаменитого генерал-губернатора, начальника путей сообщения, бывшего посланником в Польше, Якова Ефимовича († 1808). Павел дал ему графство и, узнав потом, что у него только дочери (за Гюнцелем и Икскулем), распространил графский титул на его братьев, Петра и Карла. Егор Карлович бывал у нас еще пажом и за отличие был выпущен из камер-пажей в поручики Измайловского полка. При вступлении на престол Александра, он вышел в отставку полковником, поехал в Дерпт, а потом в Геттинген, чтоб кончить свое образование, и, воротившись, поступил в службу по инженерной части, был командиром пионерных полков, а потом директором Главного Инженерного Училища († 1827). О нем буду говорить впоследствии, когда допишусь до того. Он был человек не глупый, честный, благородный, но ужасный педант и мелочен до крайности. Я замечал неоднократно, что довершение учения в зрелые лета редко приносит пользу существенную: оно набивает память, но не укрепляет рассудка, а это главное. Ребенок, юноша, усваивают себе преподаваемые им предметы, переваривают их в своей голове и потом действуют ими, как благоприобретенною собственностью. Люди взрослые всегда остаются чуждыми существу изучаемого дела и теряются в подробностях Представлю со временем еще несколько тому примеров. (*Н. Г.*)

В то ужасное время и самые невинные удовольствия приправлялись страхом и горечью. Однажды, у нас, после танцев, ужинали человек двенадцать. Вдруг послышался звонок, и в столовую комнату вошел плац-маиор Бреверн. Один из сидевших за столом молодых офицеров, не знавший, что Бреверн вхож у нас в доме, смутился и побледнел. Бреверн заметил это и вздумал позабавиться: не здороваясь ни с кем, подошел прямо к нему и, потрепав его по спине, сказал: «Не угодно ли, сударь, пожаловать со мною!» Офицер едва не упал в обморок. Матушка, догадавшись в чем дело, с негодованием обратилась к Бреверну и просила его оставить в ее доме глупые шутки. Он расхохотался, и дело кончилось общим смехом. С тех пор почувствовал я отвращение к таким глупым мистификациям и сам никогда не позволял их себе. Еще ненавистнее мне, когда кому-либо сообщат приятную новость и, обрадовав его, потом объявят: неправда, этого не было: я только пошутил! Глупо и бессовестно!

От этих эпизодов обращусь вновь к самому себе. Батюшка все откладывал помещение нас в какое-либо училище. Причиною тому была беспечность его и — недостаток средств. Следовало для этого одеть и снарядить нас вполне, и внести деньги за пансион вперед, а от доходов его, за исключением содержания дома, оставалось очень немного. К счастью моему, рекомендовали ему одного частного учителя, Якова Михайловича Бородкина, который получил воспитание в Сухопутном Корпусе; он был в нем гимназистом, т. е. воспитанником из недворян,

готовившихся в учительскую должность. Поверят ли, что этому русскому человеку обязан я немногими сведениями о грамматике французской, о которой, при учителях-французах, и в помине не было! Он притом учил нас и рисовать. Я сначала оказал было хорошие успехи в рисовании, но оно мне вскоре надоело: словесность одна занимала мой ум и воображение. Я читал все что только мог найти. Самым приятным чтением того времени был для меня Жиль-Блаз в старинном переводе. Из этой книги почерпнул я много понятия о свете и людях; но несмотря на то, вообще был в свете и с людьми, во всю мою жизнь, в разладе. Французский язык знал я очень плохо. Немецкий слышал в доме чаще, и к тому матушка заставляла меня читать вслух немецкие книги. Однажды, в каком-то немецком сборнике, нашел я описание солнечной системы, солнца, планет, неподвижных звезд. Это меня чрезвычайно заняло, и я, для лучшего впечатления этих предметов в памяти, вздумал перевести всю статью на русский язык. Батюшка, видя, что я пишу что-то со вниманием, спросил, что я делаю. «Перевожу с немецкого», отвечал я. Он не сказал ни слова, но позвал матушку. Она стала за мною и начала читать подлинник, а потом перевод. Это ее восхитило. Со слезами на глазах (помню это очень живо) сказала батюшке: Il traduit très bien. [1] Он улыбнулся и похвалил меня. Тем это и кончилось. Все усилия матушки к доставлению мне бо̀льших средств образования были

[1] «Он переводит очень хорошо».

напрасны. Мне на роду было написано оставаться самоучкою. Литературные познания моего учителя, Дмитрия Михайловича Кудлая, франта и модника, были очень ограничены. Он читал с восторгом Бедную Лизу и любил везде ставить тире, в подражание модному тогда Карамзину. Величайшим его старанием было обвертывать себе шею бесконечною косынкою: это была последняя парижская мода, наистрожайше запрещенная нашим правительством: если б он попался на глаза Павлу, сидеть бы ему в крепости. Батюшка крепко журил его за эти толстые галстухи, боясь, что и сам попадется за него в ответ, но ничто не помогало. Он ходил как страждущий жабою. Уроки его были ничтожные, и я ничему у него не научился; напротив, сам чутьем поправлял его ошибки. Большим препятствием к образованию моих врожденных способностей было то, что в нашем семействе и кругу не было ни одного литератора, ни одного классически образованного человека. Я не имел склонности ни к военной, ни к гражданской службе. Какая-то непонятная сила влекла меня к грамоте и литературе. На блистательных генералов и офицеров смотрел я равнодушно. И звезды вельмож не действовали на меня. На крестинах сестры Лизаньки были у нас сенаторы граф Александр Сергеевич Строганов и Петр Александрович Соймонов. Я смотрел на них с любопытством, но довольно равнодушно. Зато с каким благоговением глядел я на первого виденного мною в жизни писателя: это был Федор Осипович Туманский, автор «Истории Петра Великого» и издатель

«Российского Магазина». Не знаю, зачем-то он приезжал к отцу моему. Оба они разговаривали, ходя по зале. Я глядел на Туманского, не спуская глаз. «Вот писатель, сочинитель,— думал я:—что он вымыслит, напишет, напечатает, то читает вся Россия. Умрет он, и его имя будут с благодарностью вспоминать поздние потомки». И Павла Христиановича Безака уважал я более всех, именно за то, что он занимался литературою. Еще достойна любопытства страсть моя к книгопечатанию. С детства я разрезывал афишки и другие печатные листы и из отдельных букв складывал слова и речи. В конце 1799 года приехал в Петербург какой-то англичанин и стал продавать типографские буквы, с принадлежащими к ним снадобьями, для пометки белья. Батюшка купил у него такой ящичек и подарил мне. Я был в восторге. Англичанин, заметив это, предложил купить у него ручную типографию, то есть несколько сот букв, с ручными тисками, с маленькими мацами и т. п. У батюшки в то время случились деньги, и он подарил мне эту типографию. Англичанин выучил меня набирать и печатать. Но буквы были французские. Что-ж? Я взял Треязычную книгу (повести, басни и т. п., на русском, немецком и французском языках) и стал печатать под заглавием: «Petites Historiettes. St.-Petersbourg, 1799, chez N. Gretsch». [1] В то время выходила замуж тетушка Елисавета Яковлевна. Старик Буше, по просьбе батюшки, промыслил мне поздравительные стихи следующего содержания:

[1] «Небольшие рассказы. Петербург, 1799, у Н. Греча».

Il est donc vrai: ma tante se marie.
Quel compliment, cette tante chérie,
Attendrait-elle de son jeune neveu?
Pour le bien faire il sait encore trop peu.
Mais tout ce que je puise dans mon âme joyeuse,
Je le fais en formant le voeu:
Qu'elle m'aime toujours et qu'elle soit heureuse. [1]

Я напечатал их чистенько и поднес не как сочинитель, а как типографщик! Типография моя вскоре остановилась. Буквы засорились, а я не знал, как их вычистить. Посещая лекции в Академии Наук, заходил я нередко в типографию академическую, с любопытством смотрел на набор, выправку и печатание и думал: ах, кабы мне иметь такую типографию и печатать, что̀ хочу. Припомню при этом слова Гете: Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle. [2] Так, но нет того чувства, которое волнует и радует нашу юношескую душу. Впрочем бог устроил мудро, что не все наши юношеские желания и не тотчас исполняются. Человек, избалованный удачами и счастьем в юности, привыкает к исполнению всех его желаний, притупляет чувства удовлетворением их и в зрелые лета не умеет равнодушно снести несчастия, не умеет пользоваться тем, что есть. Неудачи, нужда, лишения лучшая школа для обра-

[1] Так значит это правда, моя тетка выходит замуж. Какого поздравления ждала бы эта дорогая тетка от своего молодого племянника? Чтобы поздравить как следует, он еще слишком мало знает. Но все, что я могу почерпнуть в моей радостной душе, я выражаю в желании, чтобы она всегда меня любила и была счастлива.

[2] Чего желаешь в юности, то изобильно имеешь в старости.

зования характера и души человека. Уж если терпеть, так терпеть в молодые лета, когда надежда радует и подкрепляет человека. На старости же и без того будут страдания, с нею неразлучные, как, например, ужаснейшее из всех — потеря милых нашему сердцу. Для этого нужно закалить душу мелкими страданиями и лишениями молодых лет.

Важною для меня эпохою был 1799 год — кампания Суворова в Италии. Должно знать, что Суворов пользовался до того времени славою искусного и храброго генерала, но большая часть утверждали, что он может бить турок и поляков, а с французами не сладит. Матушка ненавидела его за варварства в Измаиле и Праге и выставляла пред ним своего героя Румянцова. Другой порицатель его был человек умный, благородный, образованный, но большой чудак, некто Алерт (Ahlert), бывший некогда купцом, но оставивший торговлю по каким-то причудам. Он купил себе польское дворянство и был прозван Алерт-де-Венгоржевский. Ahl (угорь) по-польски называется wengorz (венгорж) [. . . .]

Родители мои любили и уважали его. Алерт, как и все порядочные люди, порицал и ненавидел правление Павла и в досаде своей нередко переходил за границы. Таким образом предсказывал он неминуемую беду нашей армии в борьбе с французами, пред которыми падали воинства и царства. Во мне, с самых детских лет был врожденный патриотисм и оптимисм: я досадовал и горевал в душе, слыша такие толки и предсказания. Вообразите, после этого, восторг мой, когда раздался гром побед Суворова в Италии!

Я с жадностью читал реляции и газеты и торжествовал при Кассано, Требии и Нови. Критики и порицатели умолкали и только говорили: счастье его, что молодой генерал — как бишь его? — да, Бонапарте, в Египте, а то бы досталось Суворову. Да лих не досталось, думал я: а хотя б и этот разбойник вступил с ним в бой, наш Суворов победил бы его непременно.

Наступила осень, и с нею стали приходить тяжелые, грустные известия о жалком и бедственном окончании войны, начатой так блистательно. С досады я перестал читать газеты и не знал, что делается в свете. Весною 1800 года прибыл в Петербург Суворов больной, умирающий. Он остановился в доме племянника своего, т. е. женатого на его племяннице, княжне Горчаковой, графа Хвостова, на Крюковом канале, насупротив Никольской колокольни. 6-го мая он скончался.

Не помню с кем, помнится с батюшкою, поехал я в карете, чтоб проститься с покойником, но мы не могли добраться до его дома. Все улицы были загромождены экипажами и народом. Не правительство, а Россия оплакивала Суворова. Известно, что подлецы и завистники обнесли его у Павла. Приехав в Петербург, он хотел видеть государя, но не имел сил ехать во дворец и просил, чтоб император удостоил его посещением. Раздраженный Павел послал, вместо себя — кого? гнусного турка Кутайсова. Суворов сильно этим обиделся. Доложили, что приехал кто-то от государя. «Просите», сказал Суворов, не имевший силы встать, принял его, лежа в постеле. Кутайсов вошел в красном

мальтийском мундире с голубою лентою чрез плечо.

— Кто вы, сударь?—спросил у него С[уворов].

— Граф Кутайсов.

— Граф Кутайсов? Кутайсов? Не слыхал. Есть граф Панин, граф Воронцов, граф Строганов, а о графе Кутайсове я не слыхал. Да что вы такое по службе?

— Обер-шталмейстер.

— А прежде чем были?

— Обер-егермейстером.

— А прежде?

Кутайсов запнулся.

— Да говорите же!

— Камердинером.

— То есть, вы чесали и брили своего господина.

— То... Точно так-с.

— Прошка!—закричал Суворов знаменитому своему камердинеру Прокофию: — ступай сюда, мерзавец! Вот посмотри на этого господина в красном кафтане с голубою лентою. Он был такой же холоп, фершел, как и ты, да он турка, так он не пьяница! Вот видишь куда залетел! И к Суворову его посылают. А ты, скотина, вечно пьян, и толку из тебя не будет. Возьми с него пример, и ты будешь большим барином.

Кутайсов вышел от Суворова сам не свой и, воротясь, доложил императору, что князь в беспамятстве и без умолку бредит.

Я видел похороны Суворова из дома на Невском проспекте, принадлежавшего потом Д. Е. Бенардаки. [1] Перед ним несли двадцать

[1] В настоящее время д. № 86.

орденов: ныне, я думаю, их больше у доброго Ивана Матвеевича Толстого, бывшего в свите наследника [Александра Николаевича] на путешествии его в 1840 году, а тогда это было отличие неслыханное. За гробом шли три жалкие гарнизонные баталиона. Гвардии не наряжали, под предлогом усталости солдат после парада. Зато народ всех сословий наполнял все улицы, по которым везли его тело, и воздавал честь великому гению России. И в Павле доброе начало наконец взяло верх. Он выехал верхом на Невский проспект и остановился на углу императорской библиотеки. Кортеж шел по Большой Садовой. По приближении гроба, император снял шляпу, перекрестился и заплакал.

Бог да судит тех, которые в этом добром, благородном человеке заглушили начала благости и зажгли буйные страсти!

О несчастном окончании голландской экспедиции узнали мы по тому, что главнокомандующий генерал Герман и другие генералы, взятые в плен французами, были исключены из службы, а об окончании кампании швейцарской носились одни темные слухи. С прекращением побед кончилась и страсть моя к политике.

1800 год был для меня и для всего нашего семейства самый грустный. Финансовые дела отца моего приходили все более и более в расстройство. Тщетно матушка убеждала его посократить расходы. Он обещал и тут же изменял слову. Наступал день ее рождения, 29 июня. Как не попировать? Но слово было дано. Что-ж? Он выдумал, что будто Буше дает этот обед. В то время было перемирие с бабушкою Хри-

стиною Михайловною. Она обедала у нас в пребольшой компании. В конце обеда Буше провозгласил ее тост: «Милостивая государыня! За тридцать один год пред сим»... Она прервала его речь: «Мне было семнадцать лет от роду!» А матушка была третьим из детей ее. Этот обед был последним в нашем доме.

В Сенате было решено какое-то дело, в котором участвовала родственница Кутайсова или какого-то другого урода. По жалобе ее отрешили от службы всех сенаторов того департамента и производителей дела. Отец мой был в том числе. Это случилось 16 сентября 1800 г. Помню, как вчера, с каким удивительным равнодушием перенес он это несчастие. Принесли пакет из канцелярии департамента; я принял его от куриера и подал батюшке, стоявшему с трубкою подле окна в сад. Он, распечатав, прочитал и сказал: «Хорошо!» потом опять устремил глаза в зелень и, не изменяясь в лице, только стал курить сильнее. С того дня все пошло под гору[....]

Обучение наше остановилось совершенно. В 1800 году посещал я публичные лекции Академии Наук. Императрица Екатерина II пожаловала Академии капитал в 30.000 р.; из процентов его выдавалась награда четырем академикам (NB. из русских), которые читали летом публичные лекции о разных предметах в залах Академии и в кунсткамере. В 1800 году читали: Гурьев высшую математику; Захаров химию; Севергин минералогию, а Озерецковский зоологию и ботанику. Я не мог понимать лекции Гурьева, не имев достаточных для того

приготовительных познаний, но тем ревностнее следил за другими, особенно за лекциями Озерецковского, который говорил грубо, не разбирая выражений, но умно, ясно и увлекательно. В числе слушателей его были многие морские и горные офицеры. Я был самым младшим из посетителей, но вскоре обратил на себя внимание академика исправным посещением лекций и постоянным вниманием. Вынув из шкапа чучело животного, он заставлял меня держать его и объяснял признаки. Однажды объяснял он свойства птицы щурка и никак не мог вспомнить, как она называется по-французски. Я поглядел на надпись на подножке и сказал будто от себя, и с некоторым сомнением: — «Кажется, guépier». — «Точно так, — вскричал Озерецковский: — ай да молодец!» С тех пор внимание его ко мне еще увеличилось. С чувством искренней благодарности воспоминаю я об этих лекциях, доставивших мне случай к развитию моих понятий и к приобретению основательных сведений о некоторых предметах. Чрез несколько лет скажу, как помогли мне эти уроки на экзамене. Может быть, что нынешняя Академия Наук блистательнее и славнее; но тогдашняя была, бесспорно, полезнее. Подле знаменитых иностранцев, — Эйлера, Эпинуса, Палласа, Шуберта, Ловица и т. д., были в ней русские: Румовский, Лепехин, Озерецковский, Севергин, Иноходцев, Захаров, Котельников, Протасов, Зуев, Кононов, Севастьянов. Правда, что не все из этих русских были люди великие и гениальные, многие из них были люди невысокой нравственности, т. е. просто пьяницы; но они

трудились и действовали для России, и о них можно сказать с Крыловым:

По мне так лучше пей,
Да дело разумей.

Первое место в числе их занимал Озерецковский: человек умный, основательно ученый, но вздорный, злоязычный, сквернослов и горький пьяница. О них ходило в то время множество анекдотов. Однажды все члены Академии были на свадьбе у одного из своих товарищей: это было летом, на Васильевском Острову. Часу в шестом утра шли они домой, гурьбою, в шитых мундирах и орденах и дорогою присели на помост канавки, чтоб отдохнуть и перевести дух. В это время лавочник отворял свою лавочку.

— Братцы!—сказал Озерецковский:—зайдем в лавочку и напьемся огуречного рассолу; славное дело после попойки.

Вся академия согласилась с ним и отправилась за нектаром.

— Лавочник!—закричал Озерецковский:—подавай рассолу огуречного!

— Извольте, ваши превосходительствы и сиятельствы!—отвечал лавочник и, кланяясь, поднес рассолу в ковше. Напились, отрыгались ученые.

— Хорош у тебя рассол, собака!—сказал Озерецковский:—ну что же мы тебе должны?

— Ничего, ваши сиятельствы!

— Как ничего!

— Да так, ваши превосходительствы! ведь и с нашим братом это случается.

Один из членов Академии, Лев Васильевич Ваксель, воротившись из Англии, задал попойку товарищам. Это было в глубокую осень, когда уже выпадал снег. Жил он где-то за Владимирскою. Часу в третьем ночи, гости его, сбираясь домой, потребовали, чтоб он достал им извозчиков. Послали искать их; не нашли ни одного.

— Ну, вези как хочешь, собака немец! — сказал Озерецковский.

— Да у меня, Николай Яковлевич, одна лошадь да обшевни.

— Уместимся как-нибудь; вели закладывать, а мы выпьем еще по маленькой, на подковку лошадей!

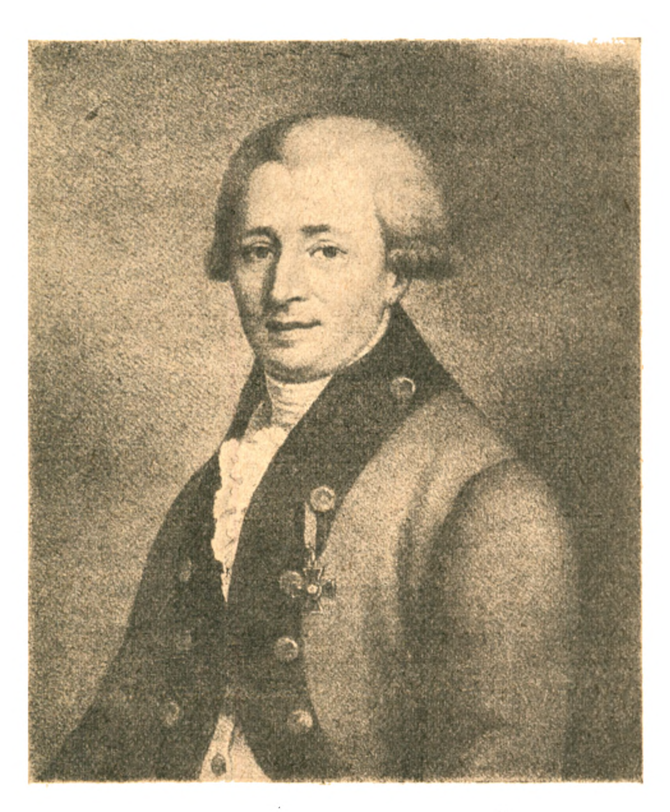
— И то дело,—сказал хозяин и велел подать свежую миску пуншу.

Гости посоловели; пошли сначала упреки и понасердки, потом примирения, лобзания и слезы. Миска осушена. Докладывают, что экипаж готов. Гостей снесли одного за другим, уложили в обшевни и наказали кучеру свезти господ легонько на Васильевский остров, в дом Академии, постучаться у дверей каждого и вызвать человека с фонарем, чтобы он отыскал своего барина и снес в постель. Приказание было исполнено в точности. Семерых кучер сдал в академическом доме, а восьмого свез в его собственный дом в 3-й линии, и когда человек вынул его превосходительство, кучер сказал:

— Ну, слава богу, всех сдал счетом.

— Как всех?—спросил вернувшийся слуга: — да там никак еще один.

Академик Н. Я. Озерецковский



Академик Н. Я. Озерецковский

— Что ты, — сказал кучер: — я принял счетом восемь человек.

— Нет, ей-ей, там есть еще один.

— Одолжи, брат, фонарика; посмотрим, так ли.

Слуга поднес фонарь, и кучер увидел на дне обшевней девятого — это был сам хозяин Вааксель; он улегся с своими друзьями. — «Ну этого знаю куда везти», заметил кучер и поплелся домой. Еще много носилось в свете анекдотов о членах Академии. Они куликали не одни: к ученым присоединялись и исполнительные члены Комитета Правления Академии. В числе их был некто Василий Иванович Емс, происхождения английского, родившийся в Архангельске; он говорил городским наречием, как гребец, пил напропалую, ругался, как подлейший извозчик, и участвовал с друзьями своими в самых развратных оргиях. Мне случилось видеть их на обеде, который давала ежегодно Почтамтская Газетная Экспедиция Комитету Академии за какую-то уступку при подписке на Академическую газету. Экспедициею управлял тогда ст. сов. Иван Васильевич Мейсман, человек добрый и любезный, служивший сам прежде того в Комитете Академии. И меня приглашали на этот обед, как издателя журнала, от которого кормилась Экспедиция. Обед этот происходил обыкновенно в ресторации Луи, насупротив Адмиралтейства, и оканчивался жестоким пьянством, а иногда и дракою. Емс был первым во всех этих мерзостях. В пример скажу, что он однажды, после обеда, спросил у своих товарищей: «Ну, господа, куда теперь поедем:

в театр или к кому-нибудь?»[1] Неудивительно, что Емс существовал в моих мыслях, как самый гнусный и низкий человек. Однажды, в начале 1817 года, мне случилась какая-то надобность до типографии Академии Наук, которою он управлял. Я отправился к нему поутру в десять часов, в квартиру его, на Васильевском острову, в доме лютеранской церкви св. Екатерины. Я думал, что мне укажут куда-нибудь на чердак, в подвал, или, по крайней мере, на задний двор. Нет! он жил в нижнем этаже. У дверей колокольчик. Я позвонил. Отворили двери, и явилась чистенькая служанка.

— Здесь ли живет В[асилий] И[ванович]? — спросил я.

— Здесь, сударь, пожалуйте.

Она сняла с меня шубу и, по чистым, хорошо убранным комнатам, провела в кабинет. Там, пред письменным столом, сидел в креслах, в парадном шлафроке, Василий Иванович Емс. Все вокруг его было чисто и порядочно. Увидев меня и вспомнив, где и как мы встречались с ним дотоле; он смутился было, но вскоре оправился и принял меня очень учтиво. Между тем, как мы разговаривали, вошла в комнату жена его, дородная, миловидная англичанка, и, поклонившись мне учтиво, спросила у него о чем-то по-английски. Он отвечал ей тихо и ласково, и она вышла. Кончив дело свое, я откланялся. Он проводил меня до передней. Мимоходом видел я дочерей его, хорошеньких, скромных, чисто одетых. Это зрелище изумило меня:

[1] *Первоначально было:* или к девкам.

неужели этот опрятный, благообразный отец прекрасного семейства, и пьяница, развратник, сквернослов, Емс — одна и та же особа? Точно так. Дома он был порядочный англичанин: с приятелями — грубый и развратный мужик архангелогородский. На одной из пьяных пирушек поражен он был параличем. Его свезли домой. Из неблагопристойных выражений его в разговоре с призванным к нему врачем, из разодранной и загрязненной его одежды, дочери увидели его гнусное положение и догадались, что это случается с ним не в первый раз. Он вскоре потом умер, а одна из дочерей его, с отчаяния, сошла с ума!

Повторяю, что эти пьяницы были гораздо общеполезнее нынешних чопорных всезнаек. Озерецковский и Севергин написали «Естественную Историю», в семи томах, изданную на счет казны в 1789—1790 годах, которая доныне сохраняет свое достоинство. Озерецковский писал слогом тяжелым и грубым (в чем свидетельствует его перевод Саллюстия), но знал языки основательно и обогатил терминологию естественной истории. В 1800 году он продолжал свои лекции до глубокой осени, потому что из академической конторы не выдавали ему должной за то платы, а мне это было на-руку.

В последние годы своей жизни Озерецковский забавлялся разными причудами. У него был племянник в гимназии. Однажды Оз[ерецковский] увидел у него казенный синий клетчатый носовой платок, от которого у него посинел нос. Он дал ему другой платок, а этот повесил между редкостями в кунсткамере с яр-

лыком: «Платок спб. гимназии, в попечительство Уварова и директорство Тимковского!» Наконец он впал в совершенное расслабление. Грешно Уварову, что он, при праздновании столетия Академии в 1826 году, не дал ему жалкой звезды Станислава за прежние его великие заслуги. Он вскоре потом умер. Память его достойна жить в летописях русской науки. Тогда был иной век: и Петр Великий и Ломоносов жили не по нынешнему.

Праздное время, а его у меня было довольно, употреблял я на чтение книг исключительно русских, потому что я не понимал достаточно языков иностранных. Их доставлял мне один подчиненный батюшки, Николай Иевлевич Скобычев, сохранивший к начальнику своему благодарность и по смерти его. Ежегодно, 24 ноября, являлся он с поздравлением к матушке. Я потерял его из виду в конце двадцатых годов. Я любил музыку, охотно слушал игру на инструментах и пение, может быть, оттого, что в детстве много водился с певчими. Решено было учить меня играть на скрипке. За это взялся Николай Михайлович Кудлай, мастер своего дела, ученик знаменитого Скиати (отца известной учительницы на фортепиане, госпожи Мейер). Учение это продолжалось месяца три и кончилось ничем. Мне надоели экзерциции без всякой мелодии. Я немедленно хотел наслаждаться плодами учения и, не видя их, соскучился и, водя смычком по струнам, думал об ином, но и это кратковременное занятие музыкою принесло мне пользу: я познакомился с главными основаниями нотного письма, узнал

размер нот, место каждого тона, что такое такт, ключ и т. д. Это мне было полезно впоследствии, когда я занимался переводом опер.

Все это отрывочное и непостоянное образование прекратилось совершенно по удалении матушки в деревню и по переселении нашем из дома Людвига на Фурштадтскую. Батюшка выходил со двора поутру рано за своими делами и возвращался домой, и то не всегда, к обеду. Иногда обедывали мы у тетушки Елисаветы Яковлевны. Все время проводили мы почти в совершенной праздности, с крепостными нашими людьми[....]

Батюшка привез с собою из Италии молоденького мальчика Франческо, но он оставался у нас недолго и перешел к известному италиянскому импрессарио Казаси. После того приятель батюшки, Кретов, прислал к нему из Москвы, в подарок, молодого мальчика, по имени Афанасья. Это был человек сметливый, проворный, услужливый, добрый и довольно трезвый, но имел несчастную страсть к игре. В то время существовали в трактирах и харчевнях азартные игры, называвшиеся фортунками. Кажется, в них катали шариками в отверстия, как на китайских биллиардах. Афанасий пристрастился к этой забаве и проигрывал все, что мог. Пошлют разменять синюю бумажку. Нейдет домой часа два. Потом явится бледный, расстроенный: «виноват, как-то обронил». Можно вообразить, как это сердило батюшку, огорчало матушку, особенно когда финансы домашние были в плохом состоянии. А впрочем Афанасий был слуга преисправный. Дядюшка Александр Яковлевич

[Фрейгольд] любил этого человека и утверждал, что он шалит оттого, что батюшка обращается с ним слишком строго. — «Строго? — спросил батюшка: — так возьми его себе, любезный друг: я дарю его тебе; напляшешься с ним». Александр Яковлевич отвечал, что подарка не принимает, а берет к себе Афанасья в услужение, чтоб доказать справедливость своего мнения. Вскоре потом уехал он с Павлом Ив. Мерлиным в Москву и взял Афанасья с собою. Вот пишет из Москвы: «Афанасий чудо человек: честен, исправен, трезв и т. п.» Вдруг похвалы умолкли. Что-ж случилось? После годичной честной и беспорочной службы Афанасия, дядюшка и Мерлин отправились куда-то зимою на бал, взяв с собою героя моего рассказа. Часу в третьем ночью выходят в переднюю, кличут Афанасья, нет его; ищут шуб, и их нет. Оказалось, что верный слуга забрал шубы своих господ и еще сколько мог захватить, отправился в трактир и проиграл их. Афоньку воротили и отдали в солдаты. Это было в начале 1807 г. Он попал в один из армейских полков, стоявших в Петербурге, помнится, в Кексгольмский, или, как его звали, Кемзольский. После 1814 г. явился он ко мне унтер-офицером, с Георгиевским крестом и медалями, и рассказывал о славных своих подвигах. Потом лет чрез пять пришел опять, но уже простым солдатом и без знаков отличия. Его разжаловали, как он сам говорил за то, что полковой писарь выскоблил что-то в его бумагах, для доставления ему скорейшего производства, но, вероятно, за новый раздор его с фортуною. В начале сороковых годов явился

он вновь ко мне отставным, дряхлым инвалидом. Иван Никитич Скобелев, по просьбе моей, поместил его в Чесменскую богадельню, где он и умер в 1842 г. Я должен был почтить память человека, который пекся обо мне в младенчестве моем. Литературный монумент поставил я Афанасью Силантьеву в «Черной женщине».

По смерти Крейца остались у него крепостные люди, родом эстлянцы. Две женщины, Мари с сыном Эвертом, и Кадри с двумя дочерьми. Батюшка приобрел их покупкою; но они служили нам неохотно, надеявшись, что по смерти Крейца их отпустят на волю. Они беспрерывно жаловались на горькую свою судьбу и повиновались только по принуждению. У отца моего не было никаких письменных видов на обладание ими: по кончине его, я объявил, что, по малолетству своему, не знаю, кому именно принадлежат эти люди, и таким образом сделались они свободными, получая виды на жительство от полиции. Ныне [1851 г.] нельзя было бы этого сделать, хотя и облегчены способы к освобождению людей из крепостного состояния. Потом я потерял их из виду.

И вот компания, в которой мы находились с братом Александром! Нужду терпели мы порядочную, чаю не пили, а довольствовались сбитнем. Я не жалуюсь на эту бедность, на горький опыт молодых лет. Чего не перенесешь в молодости, в надежде будущих благ! Я приобрел этими лишениями независимость в жизненных делах. Обедать или не обедать, напиться чаю или холодной воды, для меня все равно, по крайней мере было так, когда я был помо-

ложе. Зато и радовался я всякому счастливому случаю, доставлявшему мне какое-либо удобство и наслаждение. Лишение было для меня в обыкновенном порядке вещей; сытость и наслаждение — наградою, не всегдашнею. Оттого я доныне не пренебрегаю благами земными, не пресыщен ими, и благодарю бога за все, что он ни пошлет мне. Зато я и более сострадаю бедным, зная, каково терпеть голод, стужу, унижение, неразлучные с бедностью.

Среди этого быта раздался над головами у нас громовый удар — смерть императора Павла, — но не устрашил нас, а напротив оживил, возвестив, что воздух очистится от мглы и задхлости,[1] которыми был преисполнен в течение слишком четырех лет. 11 марта пришли мы вечером домой от тетушки Елисаветы Яковлевны. На Фурштатской, насупротив Аннинской кирки, жила сестра генерал-прокурора Обольянинова. У ворот стояло, как и всякий вечер, множество экипажей. На другой день, часу в десятом утра, разбудили нас с братом громкие слова слуги:

— А молодые господа спят и не знают, что делается в свете.

— Что такое? — спросил я, протирая глаза.

— Да у нас, Николай Иванович, новый государь. Император Павел Петрович приказал долго жить!

— Да как ты это узнал?

— Барин, по обычаю, встал в шестом часу и куда-то отправился. Вдруг воротился он по-

[1] *В рукописи ПБ*: тяжести.

спешно чрез полчаса и сказал: «Когда проснутся дети, скажи им, что государь умер». С этими словами он опять пошел со двора.

Мы с братом просидели весь день дома, а вечером пошли к Елисавете Яковлевне. Там было несколько человек гостей: они разговаривали об этом происшествии в полголоса. «Это что?» — спросил я у бабушки. Помню она сказала мне по-французски: «C'est vrai il a été assassiné».[1] О обстоятельствах этого случая толки были разные. Часов в десять приехал старик барон [Клодт], отец Карла Федоровича, усердный вестовщик, и все бросились к нему с вопросами, как было дело. Он отравлен, говорил один. — Его задушили, возражал другой. «Я знаю подробности, — отвечал барон: — было и то и другое: он скушал чего-то за ужином, и ночью почувствовал резь в животе, встал с постели и послал за лейб-медиком. «Bums war Pahlen da, Bums war Zuboff da; eins, zwey, drey, todt war todt» — —[2] Достойно замечания, с какою быстротою распространяются известия важные и неожиданные. Заговорщики, т. е. Пален и пр., приступая к подвигу, разослали приказание по заставам — никого не впускать в город. Полагают, что они хотели удержать за шлагбаумом графа Аракчеева, за которым послал император Павел. По всем дорогам остановились обозы, шедшие в город с припасами, и послужили проводниками живому телеграфу. Казус произошел в первом часу ночи, а в третьем часу разбудили

[1] Это правда, он убит.

[2] Бац — тут Пален, бац — тут Зубов; раз, два, три — и мертвый был мертв.

с известием о том дядюшку Александра Яковлевича [Фрейгольда] в Пятой Горе, в семидесяти верстах от Петербурга, куда не могли поспевать ранее десяти часов, особенно в тогдашнюю весеннюю распутицу.

Изумления, радости, восторга, возбужденных этим, впрочем бедственным, гнусным и постыдным происшествием, изобразить невозможно. Россия вздохнула свободно. Никто не думал притворяться. Справедливо сказал Карамзин в своей записке о состоянии России: «Кто был несчастнее Павла! Слезы о кончине его лились только в его семействе». Не только на словах, но и на письме, в печати, особенно в стихотворениях выражали радостные чувства освобождения от его тиранства. Карамзин, в оде своей на восшествие Александра I, сказал:

Сердца дышать Тобой готовы:
Надеждой дух наш оживлен.
Так милыя весны явленье
С собой приносит нам забвенье
Всех мрачных ужасов зимы.

Державин выражается еще яснее; у него является Екатерина и говорит русским, что они терпели по заслугам, не послушавшись совета ее, взять в цари внука ее, а не сына. Стихотворения Державина представляют любопытную картину поэтического флюгарства. Он хвалил и Екатерину, и Павла, и Александра! Последняя хвала, при вступлении на престол А[лександра] П[авловича] была достойна замечания тем, что Державин при этой перемене пал с вершины честей: он лишился места государствен-

ного казначея. Государь пожаловал ему за эту оду перстень в пять тысяч рублей. Державин подписал в то время под портретом Александра:

Се вид величия и ангельской души:
Ах, если б вкруг него все были хороши!

Князь Платон Зубов отвечал на это:

Конечно, нам Державина не надо:
Паршивая овца и все испортит стадо.

А чрез полтора года эта паршивая овца или паршивый баран был назначен министром юстиции. Комедия!

Не стану распространяться о подробностях этого ужасного происшествия: они описываемы были несколько раз. Тело покойного императора было выставлено в длинной проходной комнате, ногами к окнам. Едва войдешь в дверь, указывали на другую с увещанием: «извольте проходить». Я раз десять, от нечего делать, ходил в Михайловский замок и мог видеть только подошвы его ботфортов и поля широкой шляпы, надвинутой ему на лоб. В том году светлое воскресенье было очень рано, 24 марта, и Павла похоронили накануне: по обеим сторонам улиц, где везли его тело, стояли войска, но в беспорядке, с большими интервалами. И солдаты и народ непритворно выражали свою радость....

Вступление на престол императора Александра было самое благодатное: он прекратил царство ужаса, уничтожил тайную канцелярию, восстановил права Сената, дворянства и — человечества, отменил строгую и разумеется нелепую

и бестолковую цензуру. Россия отдохнула. Но образ вступления на престол оставил в душе Александра невыносимую тяжесть, с которою он пошел в могилу. Он был кроток и нежен душою, чтил и уважал все права, все связи семейные и гражданские, а на него пало подозрение в ужаснейшем преступлении — отцеубийстве. Всем известно, что он был совершенно чист в этом отношении. Причуды и действия Павла доходили до сумасшествия: финансы были расстроены, интересы народного богатства, движения торговли и промышленности в нестерпимом стеснении, невинность и честность в ежедневной опасности; злоба, коварство долго имели пред собою широкое поле и действовали неослабно. После ожесточенной ненависти к Франции, он восчувствовал нежнейшую дружбу к Бонапарту, и готовил свою гвардию быть авангардом французских полчищ для завоевания Индии, т. е. вел ее на верную гибель, без малейшей пользы даже в случае самого блистательного успеха. Составился заговор для спасения России отрешением[1] Павла. Участники его обратились к Александру и, представив все бедствия, терзающие Россию и угрожающие ей в будущем, вынудили его согласие на низложение императора, но с клятвенным обещанием щадить его жизнь и личность. Вышло не то, и вероятно против общей воли участников, говорят от неистовства пьяного гр. Николая Александровича Зубова... Неизгладимая грусть залегла в сердце Александра. На прекрасном

[1] *Первоначально было:* отравлением.

лице его проявлялась она морщинами между бровями.

Александр был задачею для современников: едва ли будет он разгадан и потомством. Природа одарила его добрым сердцем, светлым умом, но не дала ему самостоятельности характера, и слабость эта, по странному противоречию, превращалась в упрямство. Он был добр, но притом злопамятен; не казнил людей, а преследовал их медленно со всеми наружными знаками благоволения и милости: о нем говорили, что он употреблял кнут на вате. Скрытность и притворство внушены были ему — и кем? воспитателем его Лагарпом. Умный и строгий республиканец ненавидел сильных и знатных; с негодованием видел, как, при вступлении его в должность воспитателя будущего императора, вся эта подлая русская знать начала ему кланяться, как все пред ним раболепствовало и пресмыкалось. «Видишь ли этих подлецов? — говорил он Александру: — не верь им, но старайся казаться к ним благосклонным, осыпай их крестами, звездами и презрением. Найди друга вне этой сферы, и ты будешь счастлив». Уроки эти принесли плоды. Сохранилось письмо Александра к графу Виктору Павловичу Кочубею, бывшему тогда в Константинополе, писанное в начале 1796 года. Александр жалуется на свое положение, выражает все свое презрение к царедворцам того времени и говорит, что ужасается мысли царствовать над такими подлецами, что он охотно отказался бы от наследства престола, чтоб жить где-нибудь в глуши с своею женою. И он чрез пять лет сделался государем,

и он выбрал себе друга, и этот друг был — гнусный Аракчеев. История этого временщика любопытна и поучительна. Я знал его довольно коротко и со временем опишу в точности. Александр видел в нем одного из тех, которые неповинны были в смерти Павла, видел человека, по наружности бескорыстного, преданного безусловно, и сделал его козлищем, на которого падали все грехи, все проклятия народа.

Я сказал, что смерть Павла отравила всю жизнь Александра: тень отца, в смерти которого он не был виноват, преследовала его повсюду. Малейший намек на нее выводил его из себя. За такой намек Наполеон поплатился ему троном и жизнию. Это изложу впоследствии, а теперь расскажу анекдот, не всем известный. Когда, после сражения при Кульме, приведен был к Александру взятый в плен французский генерал Вандам, обагривший руки свои кровию невинных жертв наполеонова деспотизма, император сказал ему об этом несколько жестоких слов. Вандам отвечал ему дерзко: «Но я не убивал своего отца!» Можно вообразить себе терзание Александра. Он не мог излить справедливого негодования на безоружного пленника, и велел отправить его в Россию. Его привезли в Москву, где он, как и все пленные французские офицеры высших чинов, жил на свободе. Глупая московская публика, забыв, что видит пред собою одного из палачей и зажигателей Москвы, приглашала его на обеды, на балы. Государь, узнав о том, крайне прогневался, велел сослать Вандама далее, кажется, в Вятку, а москвичам сказать, что они поступали безрассудно и непри-

стойно. Ни труды государственные, ни военные подвиги, ни самая блистательная слава не могли изгладить в памяти Александра воспоминаний о 12 числе марта 1801 г. Всех виновных этого гнусного дела мало-по-малу удалили от двора и из столицы. Из них только один, Бенингсен, играл впоследствии важную роль, благодаря своим воинским талантам.[1]

[1] Последним памятником этой катастрофы остался Иван Савич Горголи, нынешний действительный тайный советник, сенатор и святоша. В молодости своей, служа в гвардии, он был образцом рыцаря и франта. Никто так не бился на шпагах, никто так не играл в мячи, никто не одевался с таким вкусом, как он. Ему теперь [1851] за семьдесят лет, а он в этих упражнениях одолеет хоть кого. Он первый начал носить высокие тугие галстухи (на щетине), прозванные по нем горголиями. В 1800 г. он был плац-майором и состоял в полной команде графа Палена, следственно должен был ему повиноваться и исполнять его приказания беспрекословно. По этой причине его от двора и из города не удаляли, а держали в черном теле: он был лет пятнадцать полковником. В 1808 г. посылали его с каким-то поручением к Наполеону, бывшему тогда в Байонне, и, по приезде оттуда, его назначили с.-петербургским обер-полицмейстером. Он от природы добрый и на месте этом зла не делал; только давал много воли своим подчиненным, видя в каждом квартальном и его помощнике офицера. Ну уж офицеры! В 1823 г. сменил его пьяный Гладков, о котором придется мне говорить в свое время. Горголи, пользуясь славою отличного полицейского, был употреблен в начале царствования Николая Павловича для исследования злоупотреблений в Кронштадте, и, по глупости своей, наделал много зла. Потом поступил он, как и следовало, в сенаторы. Свидетельством невежества его может служить, что он в 1826 г. спрашивал у меня, какова история Карамзина, которой не случалось ему читать. (*Н. Г.*)

Талызин умер, в мае 1801 г., объевшись устриц. На памятнике его, в Невском монастыре, начертано было: «с христианскою трезвостью живот свой скончавшего». Потом заменили это слово твердостью, но очень неискусно.

Пален отставлен был, кажется, за грубость, сказанную им императрице Марии Феодоровне. Он удалился в курляндское свое поместье, названное им «Милостью Павла» (Paulsgnade), и умер слишком осьмидесяти лет, сохранив всю бодрость своего ума. Говорят, что в 1812 г. хотели было назначить его главнокомандующим армиею против Наполеона.

Князь Платон Зубов удалился в свои поместья в Саксонии. Валериан [Зубов] оставался на незавидном месте директора 2-го кадетского корпуса, который при нем падал все более и более, оставшись на попечении невежды Клейнмихеля. Адъютант Палена, Франц Иванович Тиран, за неосторожные речи был сослан в оренбургский гарнизон. Говорят, что не он, а только шарф его был употреблен в этом злодейском случае. Он женился на дочери знаменитого трактирщика Демута, ссорился с женою, жил то в Петербурге, то в Париже, где я видел его в последний раз в 1845 г. — дурак был не последний, но во всех формах светского человека и либерала.

Довольно об этом ужасном, гнусном и постыдном для России событии. Прошло с того времени пятьдесят лет, а страшно об нем вспомнить. Мы ужасаемся, воображая явление частного смертоубийства. Свирепый, необразован-

ный, дикий человек вкрадывается в хижину своего врага, убивает его беззащитного и грабит. Картина отвратительная! А как сравнить с нею зрелище этого адского цареубийства! Особы высшего, образованного круга, воспитанные по указаниям философии и религии, знакомые с правами и обязанностями естественными и положительными, прокрадываются, как тати, в спальную храмину ближнего своего, человека, царя (для многих из них он был и благодетелем), осыпают его оскорблениями и предают мучительной смерти. Россия этого не хотела и не требовала. Зато и прошатались они всю жизнь свою как Каины, с печатью отвержения на челе...

Я сказал уже, что вступление на престол Александра приветствуемо было, как самое счастливое и вожделенное событие. И в сане наследника престола был он любимцем и кумиром русского народа. Молодой, красавец, кроткий, любезный, благотворительный цесаревич привлекал к себе все сердца и царствовал в России еще до вступления своего на престол. Опыт этот имел вредное влияние на характер его, мнительный и недоверчивый. Видев любовь народа к наследнику престола мимо царя, он сам убоялся участи отца своего и не дозволял, чтоб кто-либо из лиц его семейства, разумеется, мужеского пола, мог быть известен народу с хорошей стороны. По этой причине не объявлял он, кто будет его наследником, и не дозволял этому наследнику являться народу в истинном своем свете. Мы не знали великого князя Николая Павловича, или, лучше сказать, знали его с дур-

ной стороны, видели в нем человека честного, строгого в исполнении своих обязанностей, но одностороннего, скрытного, взыскательного в безделицах, совсем не то, что оказалось впоследствии. Если б знали, что он наследник престола, если б знали качества его души и сердца, не было бы постыдного возмущения 14-го декабря, имевшего для России бедственные последствия. Ненависть к великому князю Николаю Павловичу была так велика, что ему предпочли бестолкового, взбалмошного Константина. Когда, утром 14-го декабря, на ектенье у обедни в церкви Симеона и Анны, провозгласили императора Николая, многие люди, и образованные и простые, со страхом выбежали из храма. В замену того, как просто, благородно, умно обращение императора Николая с своим наследником...

Александр, вступив на престол, удалил Кутайсова, Обольянинова и других царедворцев и призвал государственных мужей, пользовавшихся общей доверенностью; из них первые были Беклешов и Васильев; приказал пересмотреть все судебные приговоры и подобные дела прежнего царствования: возвратил невинно пострадавшим свободу, имущество, честь. Не могу выразить тех чувств любви и благоговения, которые внушали Александр и Елисавета, тогда еще соединенные узами любви и верности супружеской. В делах внешних водворился мир; раскрылись гавани и моря для внешней торговли. Избытки России потекли за границу. Прекратилась жестокая и глупая ценсура. Заговорила русская литература, дотоле немая и заклепанная. Служба военная освободилась от прусского пе-

дантства.[1] Одежда офицеров и солдат сделалась благородною и изящною. Сначала исчезла пудра: вскоре обрезали и косы. При дворе явился посланник Бонапарта, красавец Дюрок, которому было суждено чрез 12 лет пасть от русского ядра, и. прическа на подобие римской вошла в моду под названием à la Duroc. Появились вновь круглые шляпы, фраки (принимавшие вначале разные забавные формы и цвета) и т. п. Немецкая упряжь с шорами осталась за придворными и архиерейскими экипажами. Светская публика помчалась на ямских. Лишь только миновал придворный траур, закипели забавы всякого рода: вечеринки, балы, танцовальные и музыкальные собрания. В Петербурге возобновился французский театр поступлением на него двух сестер: Филис-Андриё и Филис-Бертен, Дюкруа, Деглиньи и др.[2] Года чрез два возобно-

[1] Павел перенял не тогдашнюю прусскую форму, а бывшую при Фридрихе II. Приезжавшие в Петербург прусские офицеры смеялись над нашим военным костюмом и утверждали, что у них никто так не ходит. (*Н. Г.*)

[2] Французский театр процветал и при Павле, несмотря на все его предубеждения против тогдашней Франции. Особенно отличалась мадам Шевалье, рожденная Пуаро (сестра танцовщика Огюста). Муж ее был балетмейстером и получил по этому месту чин коллежского асессора. Она занимала первые амплуа в операх и блистала своею игрою и пением. Главное же в том, что она была любовницею Кутайсова и делала из него, что хотела. К ней прибегали за протекциею и получали ее за надлежащую плату. И старик барон Клодт просил ее о пособии. Муж ее сидел в передней и докладывал о приходящих. Она принимала их как королева. Одно слово ее Кутайсову, записочка Кутайсова к генерал-прокурору или к другому сановнику,

вилась италиянская опера, в которой отличались мадам Каневасси-Гарние, Ненчини (друг танты

и дело решалось в пользу щедрого дателя. Достоверное предание гласит, что этим темным каналом Зубовы испросили себе позволение приехать в Петербург (и были определены директорами 1-го и 2-го кадетских корпусов): чрез год отплатили они и Павлу, и Кутайсову, и предстательнице своей. Мадам Шевалье, вскоре по вступлении на престол Александра, выехала за границу, с дочкою, прижитою с Кутайсовым, и с того времени не выходила на сцену. Я увидел ее случайно в 1817 г., не зная, кто она. С троюродным братом моим И. К. Борном заехал я на пути из Швейцарии в Висбаден, где жила знакомая нам (по Эмсу) премилая дама, госпожа Гризар (мать нынешнего славного композитора). Мы отыскали гостиницу (Zur Rose), где она остановилась, и вошли в ее комнату; у дверей ее в корридоре стоял лакей с салопами, и на вопрос чей он, сказал — какое-то общее армейское французское прозвище. У госпожи Гризар нашли мы двух дам, одну пожилую, другую молоденькую. После первых приветствий и излияния радости, госпожа Гризар извинилась перед старшею дамою в том, что так гласно здоровается при ней и сказала: «Вот те двое русских, с которыми мы с сестрою познакомились в Эмсе и о которых я с вами говорила». Мы поклонились им, и завязался общий разговор. Ужинать пошли за общим столом. Я сел с одной стороны, между госпожею Гризар и пожилою дамою, а Борн поместился насупротив, с молодою, и вскоре разговорился с нею о музыке. Я сказал ему что-то по-русски. Соседка моя сказала, улыбнувшись:

— Мне приятно слышать звуки вашего языка.

— Так вы бывали в России?

— Была, и дочь моя родилась в Петербурге.

Тут я обратился с русским вопросом к дочери, но она посмотрела на меня, не понимая, что̀ я говорю.

— Дочь моя, — сказала дама, — выехала из России на первом году от роду и следствено не может знать по-русски, а я что̀ знала, то забыла.

Потом начала она расспрашивать меня о России, о некоторых лицах, о французском театре и т. п. Я отве-

Булгарина), Ронкони (отец нынешнего), Паскуа и мн. др. Оживилась и немецкая труппа. Русская обогатилась новыми талантами Самойлова, Черниковой, впоследствии его жены, Семеновой и др. Петербург проснулся от тягостного сна и наслаждался свежим бытием. То же можно сказать и обо всей России. Блистательнейшим проявлением радости и надежд России было коронование Александра (15-го сент.), преданное бессмертию, в русской литературе, речью митрополита Платона.

чал ей, не догадываясь, но и не смел спросить, кто она. На лице ее видны были признаки красоты необыкновенной: умная улыбка, прекрасные глаза, приятный голос, беленькие ручки — все говорило в ее пользу. У дочери же ее был орлиный нос и восточный облик лица, как у турчанки. Отужинали и пошли в комнаты госпожи Гризар. Незнакомка с дочерью отправилась домой. «Кто эта дама?» — спросил я с нетерпением. — «Сама не знаю, — отвечала г-жа Гризар: — я познакомилась с нею, как с землячкою, на прогулках и за общим столом. Женщина она умная и очень приятная. Только сегодня она меня изумила. Я зашла к ней, чтоб пойти вместе на воды. Заметив, что я одета слишком легко по холодному времени, она предложила мне надеть шаль, выдвинула ящик комода, и я увидела в нем коллекцию драгоценнейших шалей на миллионы: она должна быть знатнейшая дама. Не знаю, как ее зовут...» — «Мадам Шевалье», — сказал я. — «Не знаю, — отвечала м-м Гризар: — а вы почем это знаете?» — «Мне сказал это лакей ее, стоявший у ваших дверей». И в ту же минуту догадался я, что это должна быть недавняя владычица России! Я сообщил мое открытие приятельнице моей и рассказал похождения героини. Мы должны были отправиться далее в четыре часа утра, и я не мог продолжать начатого знакомства, очень интересного. Брат ее сказывал мне впоследствии, что она постриглась и вела строгую жизнь в одном дрезденском монастыре. (*Н. Г.*)

С этого времени началась служебная и политическая жизнь двух лиц, весьма различных между собою. Николай Николаевич Новосильцев, тогдашний первый любимец императора Александра, просил начальство московского университета дать ему, на время пребывания его в Москве, какого-нибудь студента в писцы. К нему прикомандировали белорусского поповича Федора Вронченко, нынешнего графа, министра финансов, действительного тайного советника и Андреевского кавалера, о нем непременно буду говорить впоследствии. Другой был Александр Иванович Чернышев, нынешний светлейший князь и председатель государственного совета. Ему было тогда лет четырнадцать от роду. Как сын сенатора, был он на одном из балов, данных государю, и в одном экоссезе очутился в паре, стоявшей подле танцовавшего Александра. Веселая и приятная его физиономия приглянулась государю. Он стал расспрашивать юношу о разных дамах, бывших на бале, о их свойствах, слабостях и т. п. Юноша отвечал умно, смело и забавно, и очень понравился. На другой день государь велел спросить у отца, чего бы он желал для своего сына. «Определить его офицером в гвардию, если будет милость в[ашего] в[еличества]», — отвечал отец. — «Этого нельзя сделать, — возразил государь. — Жалую его в камер-пажи». Через полгода Чернышев был выпущен в офицеры в Кавалергардский полк. Он отличился храбростью при Аустерлице и при Фридланде и получил ордена Владимирский и Георгиевский.

Государь всегда отличал его. В 1808 году отправил он его курьером к послу нашему

в Париже, графу Петру Александровичу Толстому с депешами и изустными приказаниями. Чернышев прибыл в Париж во вторник. Принимая депеши, граф [Толстой] сказал ему, чтоб он до воскресенья, приемного дня у Наполеона, не выходил со двора. Молодому шалуну было очень досадно это затворничество в Париже. Вдруг является адъютант Наполеона и объявляет, что император, узнав о прибытии чрезвычайного курьера из Петербурга, просит графа [Толстого] завтра же привести его в Тюлиери. Чернышев ожил. Наполеон, увидев на нем военные ордена, сказал: — «А, вы один из недавних моих врагов! Где вы заслужили эти кресты?» Чернышев отвечал: — «При Аустерлице и Фридланде». Тут Наполеон начал толковать об этих сражениях по своим бюллетеням и критиковать действия наших генералов. Юный поручик, забыв, что говорит с первым полководцем в мире, начал спорить и опровергать его показания. Стоявший за Наполеоном Толстой напрасно подавал ему знаки, чтоб он умерил свой жар. Чернышев, не замечая этого, продолжал отстаивать честь русской армии и принудил Наполеона с ним согласиться. Эта смелость и самоуверенность солдата понравилась Наполеону, и он с тех пор видимо отличал Чернышева. Он находился при Наполеоне и в австрийской кампании 1809 года. Известно, что австрийцы одержали верх над французами при Асперне и отбросили их за Дунай. Наполеон сам едва не попался в плен. Конвой его сабельными ударами очищал ему дорогу среди толпы бегущих французов. Сев в лодку, он заметил, что нет Чернышева и велел

отыскать его. Ему доложили, что некогда медлить и должно отчалить. «Нет, нет! — возразил он: — что скажут, когда взят будет в плен находившийся при мне офицер русского императора». Чернышев был найден и вместе с Наполеоном перевезен на правый берег Дуная. Поутру, на другой день, Наполеон пригласил его к себе и просил съездить в Вену и узнать о расположении тамошних умов: пред вами-де, русским офицером, скрываться не будут. Чернышев отправился и нашел, что Вена в восторге и ликует о нежданной и неслыханной победе.

— Ну что говорят в Вене? — спросил его, по возвращении, Наполеон с нетерпением.

— Говорят, в[аше] в[еличество], что вам помешал одержать победу генерал Дунай.

Действительно разлитие Дуная очень помогло австрийцам.

— Прекрасная мысль! — воскликнул Наполеон: — Бертье, внесите это в бюллетень. Послушайте, Чернышев, австрийцы именно раструбят свою победу, и до вашего императора могут дойти разные ложные слухи. Сделайте одолжение, напишите к нему как было, сущую правду. Подите к Маре: там вам удобно будет заняться.

Нечего было делать! Чернышев отправился в избу статс-секретаря Маре (это было в деревне Энцерсдорфе) и нашел, что его там ждали. Сначала думал он написать по-русски, но рассудил, что этим он огорчит Наполеона, который впрочем может при помощи какого-нибудь поляка разобрать его писанье. Итак он сел за стол и написал полную и совершенно справедливую ре-

ляцию; только закончил ее следующими словами: «Словом, государь, французская армия была так разбита, что она теперь не существовала бы, если бы австрийскою командовал Наполеон». Запечатав пакет своею печатью, отдал он его статс-секретарю. Часа через два Наполеон пригласил его к обеду и был к нему отменно ласков: видно он прочитал письмо, и лесть ему понравилась. Это слышал я из уст самого князя [Чернышева] в 1835 году. Последовавшие приключения его в Париже расскажу со временем — по иным источникам.

Александр, вступив на престол, окружил себя людьми достойными, в числе которых первое место занимали Александр Андреевич Беклешов и Алексей Иванович Васильев. Первый был назначен генерал-прокурором, последний государственным казначеем, т. е. министром финансов. Быв еще великим князем, Александр окружил себя молодыми людьми отличных дарований. Они были граф Павел Александрович Строганов, Николай Николаевич Новосильцев, князь Адам Адамович Чарторыжский и др. Они, и по вступлении его на престол, остались его друзьями и советниками. Когда подумаешь, как непредвиденна и различна была судьба этих трех лиц! Особенно они занимались с ним изучением политической экономии, и плоды трудов своих печатали в «С.Петербургском Журнале», которого редакторами были Александр Федосеевич Бестужев (отец Бестужевых — 14 декабря 1825) и Иван Петрович Пнин, о котором буду говорить впоследствии. Этот журнал издавался только в течение одного 1798 года.

Александр, желая облегчить сношения свои с министрами и другими лицами, не жил летом в Царском Селе, а поселился на Каменном Острову, где принимал их регулярно и занимался неослабно, но нежная и кроткая душа его не могла долго выносить тогдашней тяжелой службы. К нему привозили большие кипы дел. Надлежало помыслить о сокращении его работ, об упрощении дел вообще, и оттого возникла мысль об учреждении министерств. Дотоле правление делилось между тремя департаментами: иностранных дел, военно-сухопутным и морским и генерал-прокурором. Последний был точно верховный визирь: ему подчинены были: юстиция, полиция и финансы, да и во всех прочих департаментах имел он прокуроров. Не постигаю, как могли тогда итти дела, особенно, когда вспомню, сколько чиновников составляли канцелярию генерал-прокурора. Теперь погрузились мы в противную крайность: до учреждения министерств, например, все медицинские дела заведывались медицинскою коллегиею, в которой президентом был достойный Алексей Иванович Васильев. Ныне разделена она на несколько разных департаментов, с тысячами чиновников. Управление медицинскою частию по армии и флоту производилось одним столом, в котором столоначальником был Андрей Константинович Крыжановский. Теперь этот стол раздвинулся на два многочисленные департамента. Более всего выиграли оттого бумажные фабрики.

В первые годы царствования Александра два происшествия нарушили обыкновенный порядок и господствовавшую в то время тишину. Первое.

Один молодой офицер Семеновского полка, Шубин, вздумал выслужиться и получить награду за открытие небывалого заговора. Однажды летом, в вечернюю пору раздался пистолетный выстрел в одной из куртин Летнего Сада. Бросились на выстрел и нашли лежащего на траве молодого офицера, обагренного кровию; у него прострелена была левая рука выше локтя; подле него лежал пистолет. Его подняли, привезли домой, перевязали. На допросе о том, кем и за что он ранен, Шубин отвечал, что давно уже приглашают его, безыменным письмом, вступить в тайное общество, имеющее целию убить государя, но что он пренебрегал этими приглашениями. Вчера подошел к нему в Летнем Саду неизвестный человек в шинели, повторил эти приглашения, и когда Шубин решительно отказался от вступления в заговор, выстрелил в него из пистолета, который держал под шинелью, и скрылся. Стали искать этого человека, объявили, что за раскрытие его дадут большую сумму: никто не являлся, и все розыски были напрасны. Наконец открылось, что Шубин выдумал всю эту историю и сыграл комедию, чтоб получить награду за верность к государю. Его лишили чинов и сослали на жительство в Сибирь. Другое происшествие было гораздо гнуснее. В Петербурге жила молодая вдова португальского консула Араужо, и жила немножко блудно. Однажды поехала она в гости к придворной повивальной бабушке, Моренгейм, жившей в Мраморном дворце, принадлежавшем великому князю Константину Павловичу, осталась там необыкновенно долго и, воротясь домой

в самом расстроенном положении, вскоре умерла. Разнеслись слухи, что она как-то ошибкою попала на половину великого князя, и что он с помощью приятелей своих, адъютантов и офицеров поступил[1] самым злодейским образом. Слух об этом был так громок и повсеместен, что правительство, публичным объявлением, приглашало всякого, кто имеет точные сведения о образе смерти вдовы Араужо, довести о том до сведения правительства. Разумеется, никто не явился.

Цесаревич Константин Павлович вообще представлял собою разительную противоположность Александру: он был суров, груб, дерзок, вспыльчив, не любил никаких полезных занятий, но притом был прямодушен, незлопамятлив и очень добр к приближенным. Однажды сказал он одному из своих любимцев, помнится, графу Миниху:

— Как ты думаешь, что бы я сделал, лишь только бы вступил на престол?

Миних гадал то и другое.

— Все не то: повесил бы одного человека.

— И кого?

— Графа Николая Ивановича Салтыкова за то, что он воспитал нас такими болванами.

Константин отличался от Александра и на войне. Александр был храбр и неустрашим, хладнокровен и рассудителен в деле. Не знаю, как вел себя Константин в италийском походе: есть слухи, что он отличался тогда не только храбростью, но и величайшим самоотвержением.

[1] *Первоначально было:* изнасильничал ее.

Впоследствии же времени он храбрился только до первого выстрела неприятельского, но, почуяв запах пороху, исчезал до конца сражения. Величайшею заслугою его было отречение от престола, свидетельствующее и о благоразумии его. Бог знает, куда бы затащил он Россию. Дай ему бог за это царствие небесное! — Мерилом его ума и понятий, впрочем, может служить то, что по его мнению, следовало бы запретить русскую историю Карамзина.

Первые годы царствования Александра, как я уже говорил, были самые счастливые и благодатные. Вообще царствование его может делиться на следующие периоды: 1) от вступления на престол до Аустерлица. 2) От Аустерлица до Фридланда. 3) От Тильзита до начала Отечественной войны. 4) От начала Отечественной войны до Троппауского конгресса (1821) и 5) от Троппауского конгресса до кончины его. В эти периоды характер и действия его изменялись чувствительным образом. С 1801 до 1805 года было царствование тишины, мира, кротости и благодати. В это время последовали многие важные и благодетельные государственные постановления, о которых я буду пространно говорить впоследствии. Россия была совершенно спокойна и счастлива. Литература воскресла от благотворных лучей свободы. Все веселилось и танцовало. Государь не участвовал в шумных удовольствиях, но допускал и поощрял их. Но никто еще не угодил на людей, род гнусный и неблагодарный! Смирение, бережливость, снисходительность Александра наскучили людям, которые недовольны ничем на-

стоящим, и или выхваливают прошедшее, или теряются в мечтаниях и планах о будущем. В то время ходила по рукам сатирическая басня: «Орлица, Турухтан и Тетерев». Начиналась она следующими стихами:

Орлица
Царица
Над стаей птиц была,

и прославилась умом, победою, щедростью и пр. По смерти ее, птицы, находя, что Орлица слишком добра была, выбрали в цари злого и бестолкового Турухтана (морской петушок, tringa pugnax, большой драчун). Он до того в короткое время измучил птиц, что они решились сбыть его с рук, и

Убили Турухтана,
Избавились тирана.

Выбрали третьего: тетерева (Александр был несколько крепок на ухо). Вот как он был описан:

....Тетерев глухой
Не царствует, корпит над скопленной добычей,
Любимцы ж царство разоряют,
Невинность гнут в дугу, срамцов обогащают.
Их гнусной завистью кто по миру пошел.
. . . .
Идет все на коварстве
И сущий стал разврат во всем зверином царстве.
Чего ж и ожидать от птицы столь безумной?
Ваш выбор безрассудный
Вам, птицы, дал урок таков,
Не выбирать ни злых, ни глупых петухов.

В салате и перец нужен! Александр был слишком кроток, и твердость характера заменял, в первые годы, лаской и снисхождением. Это слишком хорошо для поганого рода человеческого. Вот люблю нашего Николая! Милует, так милует, а как хватит, так по неволе запоют: боже, царя храни! Правда, прямота, откровенность составляют, по мне, величие всякого человека, особенно царя. Что тут хитрить, когда можно велеть и приударить. Порицания не ограничивались такими стихами. Помню, в конце 1804 г. обедал я однажды у Федора Максимовича Брискорна, который угощал Петра Степановича Молчанова, бывшего тогда в малых чинах (помнится, чуть ли не коллежским ассесором) и занимавшего важное место. Брискорн, по своему процессу, имел в нем надобность и угостил его щедро. Обедали только четверо:[1] Брискорн, Молчанов, наложница Федора Максимовича, Анна Исааковна, о которой буду говорить в свое время, и я, бедный семнадцатилетний юноша, снискивавший себе пропитание уроками в темном пансионе и переписыванием бумаг Брискорна. Хозяин был в числе недовольных правительством, и неудивительно, что отзывался о нем неблагоприятно, но Молчанов был в большом ходу. Поразобрав все тогдашние дела, он решил, что Россия падает, и Молчанов сказал: «Прочтите в Наказе Екатерины статью о приметах падения государств: вы все эти приметы найдете в нынешнем нашем положении». Брискорн придакнул с удовольствием.

[1] *Первоначально было:* генералы.

Я затвердил эти слова. Но вот прошло почти пятьдесят лет с того времени, а Россия все еще держится на ногах и идет вперед. Любопытно было бы узнать, так ли говорил, так ли думал Молчанов, когда впоследствии был статс-секретарем Александра. Впрочем он был человек умный и благородный и сделался жертвою зависти своих недоброжелателей и глупой, мнимой справедливости бестолкового князя Дмитрия Ив[ановича] Лобанова-Ростовского.

Вообще очень любопытно и поучительно сравнивать произведения ума человека не старого, не знатного, с его образом мыслей и выражений, когда он состареется и выйдет в люди. Таким образом кто подумает, что Александр Семенович Шишков, которого мы привыкли считать аристократом, и отнюдь не фрондером или либералом, в 1801 или 1802 году, написал стихи на тогдашних министров в виде послания к Александру Семеновичу Хвостову. Они начинались следующими:

Реши, Хвостов, задачу.
Я шел гулять на дачу.

Он описывает всех тогдашних министров и царедворцев самыми резкими чертами; о Чарторыжском говорит: «Вот Monsieur Bobo! В руке massue d'Hercule»[1] (тогдашняя мода). Хвостов отвечал ему новыми колкостями на людей, дерзнувших без его позволения занять первые места в государстве, и заключал свои стихи замечанием, что умный человек

Считает дурака за тучу
И радуется как пройдет.

[1] Вот господин Бобо. В руке палица Геркулеса.

Тогдашние люди скучали спокойствием, довольством, счастием, словом, бесились с жиру. Вскоре миновали эти дни покоя и тишины. Поднялся ветер, забушевала буря, разразилась гроза. Тогда вспомнили о прежнем времени, да поздно было. Странно, подумаешь, какая судьба ожидает людей в свете. Где любимцы Александровы, эти либералы и герои начала XIX века, отказывавшиеся от наружных почестей, чтоб придать себе более важности: Новосильцев имел в петлице Владимирский крест, Чарторыжский Анну на шее, а сами раздавали Александровские и Владимирские ленты! Чарторыжский, лишенный чинов и дворянства, влачит ветхую жизнь среди Парижа, потеряв и там все сочувствие к его делу. Новосильцев достиг всех орденов наших, был председателем Государственного Совета, и под конец спился: за несколько месяцев до кончины своей, плясал он пьяный бычка в английском клубе. Граф Павел Александрович Строганов жил и умер с честью.

Оканчиваю здесь первую часть моих Записок не политическим событием, а переменою в моей жизни — вступлением в публичное училище, что̀ составило для меня важную эпоху, богатую уроками и последствиями.

7 ноября 1851 года.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Я уже имел случай говорить о расстройстве, причиненном в нашем доме отставкою батюшки. Матушка отправилась с сестрами моими и с младшим братом, Павлом, в Пятую Гору, к тетке своей Катерине Михайловне, а батюшка со мною и братом Александром переехал в дом Крузе, на Фурштатской улице; это было в октябре 1800 г. Смерть императора Павла разрушила все надежды отца моего на скорое помещение к должности: ратгаузы, предполагавшиеся по губернским городам, не состоялись. Других видов не было. К тому же он поразмолвил с П. Х. Безаком, у которого слуга, не знавши господского дяди, заставил его дожидаться в передней. К чести Безака должен сказать, что он воспользовался первым случаем, чтобы объясниться и помириться с ним. Все предположения о помещении меня в Петровскую школу, а потом в московский университет рушились. Батюшка решился определить меня в юнкерскую школу при сенате, а брата Александра — во второй кадетский корпус. В мае 1801 года, снабженные рекомендациею Безака, отправились мы к А. Н. Оленину.

Здесь не лишним будет сообщить краткую, но верную историю этого учебного заведения,

Юнкерская школа учреждена была 14 января 1797 г., для образования чиновников для служения по сенату. Для этого возобновлен был старинный чин коллегии юнкера (граф А. И. Васильев начал свою службу с этого чина). Эти юнкера считались в 14 классе, но производимы были прямо в титулярные советники. Во время пребывания их в школе назывались они титулярными юнкерами, состоя в 14 классе. Числом их было в школе пятьдесят, но не воспрещалось принимать и сверхкомплектных. Юнкерская школа помещалась близ Пяти углов, в особом доме, насупротив Коммерческого училища, по Загородному проспекту. Предметами обучения были, кроме правоведения, преподававшегося в высшем классе, языки русский и немецкий, арифметика, геометрия, геодезия и алгебра, история и география всеобщая и русская и закон божий; французскому языку не учили, по причине развращения нравственности во Франции: так сказано в уставе медицинского училища. Латинский язык называли лекарским, неприличным дворянству! Директором школы назначен был обер-прокурор Осип Петрович Козодавлев. По неимению других учебных заведений, эта школа скоро наполнилась, и как ученики были вольноприходящие, то принимали и сверх числа, положенного штата. Учение шло успешно и удовлетворительно. Вдруг постигла ее неожиданная беда. Император Павел изъявил однажды досаду, что в военную службу поступает слишком мало дворян, и спросил у какого-то придворного: куда девались все наши недоросли?

— Известно куда, — отвечал царедворец в намерении повредить тогдашнему генерал-прокурору, князю Лопухину: — все в Юнкерской школе при Сенате.

— Да сколько их там? — спросил Павел.

— Четыре тысячи пятьсот человек, — отвечал правдолюбец.

Император вспылил и приказал всех сверхкомплектных юнкеров отправить унтер-офицерами в армейские полки.[1] Их было всего сто двадцать пять. Козодавлев в смущении приехал в школу, собрал всех юнкеров, прочитал имена остающихся пятидесяти, а всех прочих отправил при отношении в Военную Коллегию. Их разослали по полкам; некоторых в Сибирь и даже в Камчатку. Все они погибли при тогдашней тяжелой службе. Последним оставался знаменитый игрою в карты и на биллиарде Савва Михайлович Мартынов. Этим нанесен был Юнкерской школе смертельный удар. Она упала в существе своем и в общем мнении. Число учеников ее никогда не доходило до комплекта. Горя желанием учиться чему-нибудь, я с самого ее учреждения помышлял, как бы попасть туда.

В начале мая 1801 года, как сказано выше, отец мой отправился со мною к тогдашнему директору ее А. Н. Оленину. Я шел туда с детским восторгом, не помышляя о том, что от этого визита зависела вся будущая судьба и жизнь моя. А. Н. [Оленин] жил тогда в собственном доме своем у Обухова моста, отде-

[1] Эти подробности слышал я из уст самого князя Лопухина на экзамене в школе. *(Н. Г.)*



А. Н. Оленин

(Из собрания Публичной Библиотеки)

ленном ему из имения тещи его, знаменитой тиранки Агафоклеи Александровны Полторацкой. Он выстроил себе посреди двора отдельный флигель с италиянскими окнами, странный и неуклюжий. Взбираться к нему должно было по тесной каменной лестнице с забегами (теперь все это перестроено). Мы нашли его, как я находил его потом в течение сорока лет, за большим письменным столом в кабинете, заваленном бумагами, книгами, рисунками, бюстами и пр. Он был тогда лет сорока, низенький, худой, с большим острым носом, учтивый, приветливый человек. Странно подумать, как нравы и обычаи изменяются сами собой. Он был не более как действительный статский советник, а отец мой коллежский советник, летами старее его. Подав Оленину прошение с поклоном, он стоял во время чтения вытянувшись и, глядя ему в лицо, выжидал приказаний. У меня глаза разбежались от множества книг и картин, и я начал вертеться во все стороны. Отец удержал меня, взглянув с укором и гневом. Оленин прочитав бумагу, отвечал, что исполнит просьбу. Батюшка поклонился, повернулся как солдат и вышел из комнаты мерными шагами. Дорогою он пожурил меня за мое беспокойство и невнимание к важному лицу, пред которым мы стояли. Еще должен я заметить один обычай тех времен: нельзя было войти в комнату с тросточкою; ее обыкновенно оставляли в передней. Лет за тридцать пред сим было иначе: в гостиную иначе не входили как с тросточкою. Еще одно: в XVIII веке редко кто носил перчатки, и я до сих пор не могу к ним при-

выкнуть. И многие старики их терпеть не могут: таким был Яков Александрович Дружинин. Типом старинных франтов до своей кончины (лет в девяносто) оставался бывший директор Царскосельского лицея Егор Антонович Энгельгардт. Я помнил его лет сорока пяти: он ходил всегда в светло-синем двубортном фраке с золотыми пуговицами и с стоячим бархатным воротником, в черных шелковых чулках и в башмаках с пряжками. Осенью и зимою надевал он сверх этой обуви штиблеты. Жилет, галстух — все как в XVIII столетии: он хвалился этим постоянством как бы спартанскою добродетелью. И, в самом деле, он был постоянен, все тот же иезуит и штукарь. Говорил беспрестанно о чести и праводушии, брал по-немецки, т. е. по-немногу, и преимущественно профитировал под благовидными предлогами. Ссылаюсь на лицеистов его времени.

Недели через две после визита у Оленина, отец мой сам отвез меня в Юнкерскую школу и, не застав дома инспектора, сдал одному из учителей, именно Борису Ивановичу Иваницкому. Сообщу характеристику лиц, составлявших штаб Юнкерской школы. Директор А. Н. Оленин. Впоследствии я полюбил его искренно и был ему душевно предан, но здесь должно сказать, что он был преплохой директор, посещал школу только на экзаменах, да и то на час, не более, и очень мало о нас заботился. За то мы его не знали почти вовсе и не имели к нему никакого чувства любви и уважения! Полагаю, что и он не любил нашего училища по каким-то отношениям и неприятностям. Инспектором

классов был Михаил Никитич Цветков, человек добрый, умный, ученый и образованный, один из лучших студентов Московского университета, но большой чудак, к которому нельзя было примениться. Обыкновенно он говорил мало, и о мыслях его надлежало догадываться; иногда же разговорится так, что и духу не переводит. Оставив службу по школе, он перешел в Министерство Внутренних дел и, считаясь в канцелярии министра, участвовал в издании «Северной Почты». Дослужившись до чина статского советника, он умер скоропостижно от апоплексического удара (в июне 1813 г.) на Крестовском острове. В тот день он собирался обедать у меня и вероятно шел на Карповку, где я жил тогда в доме Крокизиуса, по левую сторону от Каменноостровского проспекта.

Школа состояла из четырех классов. Учителем русской грамматики, арифметики и катехизиса в младшем классе был Григорий Федорович Оралов, человек не дальний, простой, но знаток своего дела, трудолюбивый, усердный и предобродушный. Во втором классе русский язык и словесность преподавал Борис Иванович Иваницкий, воспитанник учительской семинарии, молодой человек лет двадцати пяти, очень хорошо образованный, знающий и одаренный благородным вкусом. Современем скажу — сколько я ему обязан. По упразднении нашего института, поступил он в горное ведомство и с начальником своим Дерябиным уехал на Урал. В этой службе протекла вся жизнь его: сыновья его — горные инженеры, и дочери вышли за горных офицеров. Последние годы своей

жизни провел он в Барнауле на Колыванских заводах. В третьем классе преподавал логику и красноречие Павел Петрович Острогорский, человек неглупый, умевший красно говорить и внушивший ученикам уважение и необходимый страх. Мы его очень боялись, хоть он не был суров, ни даже строг. Острогорский в молодости своей вздумал быть писателем и напечатал в 1790 году книгу в двух томах под заглавием: «Феатр чрезвычайных происшествий истекающего века открыт и представлен очам света. Т. П. О.»[1] Книга эта составлена была из разных пустых анекдотов, рассказанных варварским и напыщенным слогом. Карамзин отделал ее по заслугам в «Московском Журнале»: несмотря на то, она в 1793 году вышла вторым тиснением. Острогорский никогда не говорил о ней. Мы вздумали было представить ему в числе школьных работ выписки из этой книги и просить его мнения о них, но побоялись. Предметы математические преподавал добрый и почтенный Демьян Гаврилович Слонецкий. Всеобщей истории и географии учил человек предостойный, Павел Ефимович Холщевников. Мы были ему обязаны многим. Он был умен, говорил хорошо, знал наизусть все имена, места и случаи и объяснял толково и дельно. В 1813 году он приезжал в Петербург из провинции, где служил дотоле, и обедал у меня с Иваницким. С тех пор я потерял его из виду.

Немецкому языку обучал человек, о котором я до конца моей жизни буду вспоминать с лю-

[1] Т. П. О. — Трудами Павла Острогорского.

бовью и благодарностью: Павел Христианович Шлейснер (Schleusner). Он был происхождением из Данцига, где родился около 1760 года, учился в тамошней гимназии с большим успехом, но не мог довершить своего образования университетским. Родители его обеднели и отдали его в мастерство к переплетчику. Он занимался этим мастерством добросовестно, но каждую свободную минуту улучал, чтобы читать книги, учиться, обогащаться сведениями. Не знаю, каким образом он попал в Россию. Памятно, что он был вызван братом своим доктором медицины, искусным и известным врачем. В конце восьмидесятых годов был он, при тогдашнем блистательном немецком театре театральным поэтом (Theaterdichter), т. е. сокращал слишком длинные пиесы и трудные роли, писал сам куплеты и стихи для декламирования в торжественные дни и т. п. В то же время был он членом масонской ложи и сделался известен тогдашнему гроссмейстеру этого ордена, Ивану Перфильевичу Елагину. По смерти Елагина (22 сент. 1796 г.) братья-масоны готовились совершить над ним торжественную тризну. Устроили великолепные траурные декорации в ложе, сочинили стихи для пения, речи для произнесения и занимались репетициею траурного торжества. Вдруг вошел в залу частный пристав и объявил высочайшее повеление о закрытии всех масонских лож в России. Они открыты были потом, лет через пятнадцать и опять закрыты в 1822 году. Об этом скажу в своем месте. Шлейснер сделался известным с лучшей стороны, как умом и познаниями, так

особенно и благородством своей души. Он издал тогда роман в диалогах «Sobach, der glückliche Vater», во вкусе тогдашней чувствительной, добродетельной, домашней жизни. Ему предложили место гувернера при детях генерала Корсакова, и он принял это предложение с охотою[....]

Много способствовал образованию ума и характера молодого Шлейснера бывший в доме Корсакова гувернером швейцарец Петр Монтандр (Montendre), человек, как я слышал, необыкновенных познаний и достоинств[....]

Кончив воспитание молодых Корсаковых, Шлейснер (в 1797 или 1798 г.) вступил в службу цензором. Должно знать, что была в то время цензура! Сущая испанская инквизиция. Не говорю о том, что запрещали и марали книги: преследовали и наказывали книгопродавцев, как злодеев и революционеров, за малейшее нарушение формы: я говорил о варварском поступке с пастором Зейдером. Таких случаев было несколько. Шлейснер со своей стороны, делал, что мог, для спасения несчастных. Однажды донесли полиции, что книгопродавец Бува (Bouvat) продает вредные книги. Его схватили и привели покамест в цензуру. Бедняк сидел в передней, среди полицейских, дрожал и плакал. Шлейснера послали осмотреть его книжную лавку. Когда он проходил в передней, Бува сказал ему трепещущим голосом: — «Меня сошлют в Сибирь! Спасите!» — «Будьте покойны!» отвечал Шлейснер. Прибыв в лавку, он разглядел все книги в присутствии частного пристава, и объявил, что в числе их нет непозволительных. Вдруг заметил он на верхней полке «Путе-

шествие Кокса по России», строго запрещенное, встал на ступеньки лестницы и столкнул, будто ошибкою, все томы его с полки: они упали за шкап, где их нельзя было бы отыскать. По донесению его, Бува выпустили. Коцебу, в известной своей книге «Достопамятнейший год моей жизни», говори что в рукописной его тетради, взятой у него при арестовании его на границе и препровожденной в цензуру, была одна строка, заключавшая в себе смелое суждение об императоре Павле. Когда, по освобождении его, возвратили ему рукопись, он увидел, что эта строка покрыта густыми чернилами. В книге своей он благодарил неизвестного ему спасителя. Спаситель этот был Шлейснер: он читал рукопись у себя на дому. В ней не было ничего предосудительного, кроме этой строки. Шлейснер подозвал свою жену, прочитал ей это место, потом взял линейку и провел по строке широкую полосу. Чтоб оценить вполне важность такого подвига, должно знать, что благородный Шлейснер отваживал в этом случае все свое существование. Потом был он определен учителем немецкого языка в Юнкерскую школу и пробыл в ней до закрытия ее. Не находя хорошей учебной книги для преподавания немецкого языка, он составил прекрасное руководство: «Опыт грамматического руководства в переводх с немецкого языка на российский», напечатанное в 1801 г. на счет казны. Этой книге обязан я познанием немецкого языка и доныне храню ее как святыню.

Шлейснер подавал нам, молодым людям, пример строгого исполнения своих обязанностей.

Другие учителя приходили в класс через четверть часа или и через час после звонка, и еще долго беседовали с товарищами в дежурной комнате, а потом держали нас лишнее время для окончания урока. Шлейснер приходил ровно в десять часов и с ударом двенадцати выходил из класса. Должность свою отправлял он с большим усердием и радовался нашим успехам. Я был его любимцем отчасти и потому, что имел уже понятие о немецком языке. Он в то же время был учителем в Коммерческом училище и, по истечении десятилетнего там служения, вышел в отставку с пенсионом. О. П. Козодавлев, узнавши его в бытность своего директорства Юнкерской школы, поручил ему в 1810 г. издание «Северной Почты» на немецком языке, но она прекратилась через полгода за неимением подписчиков. Шлейснер оставался переводчиком при Министерстве Внутренних Дел до 1830 года: в это время место его понадобилось для молодого графа Кутузова, и Закревский уволил бедного старика. С трудом выхлопотал я для него единовременную награду годовым жалованьем. Он продолжал давать уроки, жена его и дети занялись обучением детей, и они жили очень скудно, но безропотно. Старик под конец жизни ослеп и скончался в 1838 году. Характер и благородство его старался я изобразить в лице Карла Федоровича Миллера (в моем романе: «Поездка в Германию») . . . .

. . . .

Здесь был огромный антракт в составлении моих записок. Думаю, лет пять, если не более.

Возобновляю их 4 октября 1861 года, в день для меня достопамятный. В этот день началось за 49 лет перед сим издание «Сына Отечества», произведшее в направлении и судьбе моей решительную перемену. В этот день, в 1814 г., крещен был мой сын Алексей, а позднее последовала помолвка дочери моей Софии с К. П. Безаком. Начинаю продолжение моих записок не в том духе, в котором их начал и продолжал в прежние годы. Мне семьдесят пятый год. Почти все тогдашние мои современники окончили свою земную жизнь. Буду продолжать начатое покороче прежнего; во-первых, изменяет мне память; во-вторых, не знаю, когда вывалится у меня из руки перо, а будет это скоро. Тяжесть нравственная, душевные заботы — гнетут меня более недугов физических, которые, благодаря бога, не так сильны, как бывают в таких летах. С богом начинаю.

В начале июля [1] явился я в школу. Инспектор принял меня ласково и повел в классы, именно в первый: низший. Шел урок русского языка; по приказанию Цветкова, Г. Ф. Оралов продиктовал мне несколько фраз из какой-то книги. Я написал всю доску. Оказалось, что в написанном мною не было ни одной грамматической ошибки, и знаки препинания расставлены были как следует. Когда я кончил, Оралов обратился к ученикам с сими словами:

[1] В «Воспоминаниях юности» Греч указывает точную дату: 22 мая 1801 г. Нижеследующий рассказ Греч перенес в свои «Записки» из очерка «Воспоминания юности», напечатанного еще в 1839 году; он приведен в дальнейшем тексте (стр. 255 — 256).

— Полюбуйтесь, как он пишет! ни одной ошибки.

Тогда М. Н. Цветков сказал мне:

— Сделайте разбор этим предложениям.

— Что это значит? — спросил я.

— Ну, разберите смысл их.

— Я этого не знаю.

— Как, не знаете? А почему вы пишете — в море, а не в морѣ.

— Потому — отвечал я, — что корабль шел еще тогда в море, а если бы он уже был в морѣ, я написал бы в конце ѣ.

— То есть потому, что это предложный падеж?

— Может быть, — отвечал я: — но мне это неизвестно.

Все изумились: я знал грамматику на деле, а не знал на словах, точно так как Молиеров мещанин в дворянстве, без ведома своего, говорил прозою. — «Нечего делать, — сказал Цветков, — вы останетесь в этом классе, но ненадолго. Экамен будет чрез шесть недель; вы успеете догнать других и перейдете в следующий класс». Так и было; чрез шесть недель был я по экзамену третьим и перешел. Любопытная черта! Читая русские книги, со вниманием, занимаясь сам опытами, я сочинил себе грамматику без технических терминов! Не оттого ли я потом пристрастился к грамматике, что приобрел ее сам без труда, без принуждения, без досады.

В начале 1802 года стал я ходить для слушания лекций закона божия, по лютеранскому исповеданию, к пастору Рейнботу Старшему

(умершему в 1813 году супер-интендентом, т. е. епископом). Лекции эти были самые скудные и жалкие. В огромной зале сидели с одной стороны девицы, с другой — мальчики, в числе последних был некий обер-шталмейстер барон Петр Петрович Фредерикс. Лекция начиналась тем, что один из сыновей пастора, мальчик наших лет, диктовал нам некоторые изречения священного писания. Сам пастор являлся в зале за полчаса до звонка и толковал нам что-нибудь из катехизиса, без последовательности, без старания, без благоговения. Часто прерывал он речь, чтоб пошутить с девицами или подурачить кого-либо из мальчиков, в числе которых были необразованные и дикие сыновья простолюдина. Только в два последние урока говорил он с одушевлением и чувством: разумеется, девочки плакали, ревели. То же было и при всенародной конфирмации, в церкви: мальчики глазели бессмысленно, девочки хныкали и ревели. И какое учение преподавал он нам, детям! Самое ультра-рационалистское. «Почему называем мы, — спрашивал он между прочим, — Иисуса Христа сыном божиим? Потому что учение его было божественное».

От этого не мог я примениться к учению протестантскому и только современем почувствовал всю цену его простоты и духовного величия. Тогда я с бо̀льшим благоговением посещал православные церкви и умилялся церковным пением, которое укоренилось в слухе и в душе моей и доселе трогает меня до слез. Иногда в чужих краях я посещал протестантские церкви, слушал лучших пасторов: Шмельца

в Гамбурге, Кокреля в Париже, но умилялся душою только в православной.

Батюшка переселился с нами ко Владимирской, для того чтобы мне ближе было ходить в школу. Сперва жили мы в . . . . . [1] улице. Летом 1802 года приезжала матушка из Пятой Горы с сестрою моею и братом Павлом. Помню еще, как мы с братом Александром обрадовались их приезду. Идучи, не помню откуда, домой, увидели мы на открытых окнах женские шляпки и догадались, кто приехал. Потом съехали мы в Чернышев переулок, а наконец в . . . . . . [2] улицу, в дом отставного придворного лакея Собольщикова.

Батюшка искал места при помощи Безака, и наконец обещали ему должность вице-президента Юстиц-Коллегии. Указ о том был подписан всеми сенаторами, кроме одного графа Александра Романовича Воронцова. В сентябре 1802 года последовало учреждение министерств и необходимая перемена министров. Беклешов был уволен, а с ним вышел и Безак. Совместник отца моего, помнится Тересберн, успел склонить на свою сторону Воронцова посредством кривого Петра Петровича Новосильцева, которому уступил за это дом свой (ныне графа Орлова-Денисова, на углу Литейного проспекта и Пантелеймонской улицы), и определение было переменено. На место Беклешова поступил Державин, знавший отца моего издавна, и обещал ему помочь. Между тем матушка принуждена

[1] Пропуск в рукописи.
[2] Пропуск в рукописи.

была воротиться в Пятую Гору, по невозможности иметь пропитание у мужа, который кое-как перебивался.

Учение мое в школе шло очень хорошо. Нас учили немногому, но учили добросовестно и основательно. В мае 1802 г. был экзамен, в присутствии генерал-прокурора Александра Андреевича Беклешова. Старший юридический класс экзаменовали драматически. Лучший ученик был председателем, другие — членами гражданской власти. Прочие играли роль секретарей и адвокатов. Рассматривали действительное дело, доставленное из Сената. Беклешов был в восхищении. Должно знать, что председателем в этом классе был умный и честный человек Илья Федорович Тимковский. Потом экзаменовали низшие классы. Меня, как самого бойкого, выдвинули вперед. Я отвечал на все вопросы громко, решительно, с детскою отвагою. Беклешов спросил о моем имени.

— Греч, — сказал ему Оленин.

— Греч? — спросил Беклешов. — Не родня ли ты покойному профессору Кадетского Корпуса?

— Я внук его, — отвечал я.

— Очень хорошо учится — прибавил Оленин.

— Не диво, — отвечал Беклешов: — и отец его хорошо учился.

Когда я пришел домой, рассказал это отцу моему, он прослезился. Давно уже слезы радости и умиления не были ему известны. Беклешов на другой день прислал нам по апельсину и дал каникулы на три месяца. Былые патриархальные времена, вы канули в вечность! Не

знаю, как проведены были эти каникулы моими товарищами, но мне доставили они величайшую пользу. Должно знать, что П. Хр. Безак всячески старался помогать отцу моему, но, по строптивости характера своего дяди, должен был делать это очень осторожно. На одном аукционе батюшка купил когда-то за бесценок два толстых тома in folio исторического словаря. Безак изъявил желание купить его, хотя не имел в нем никакой надобности, и заплатил за него сто рублей. Батюшка отдал мне пятьдесят. На эти деньги брал я в течение трех месяцев уроки русского языка и алгебры у Б. И. Иваницкого, который занимался со мною с девяти часов утра до полудня, ежедневно переводил со мною, задавал мне сочинения, критиковал и поправлял их усердно и строго. Вот этим урокам обязан я многими познаниями и основанием искусства писать по-русски. Алгебра (по Эйлеру) восхитила меня и как дополнение к урокам математики, даваемым мне дядею Александром Яковлевичем, была для меня лучшею логикою. Не могу без искренней, пламенной благодарности вспомнить о Борисе Ивановиче [Иваницком]. Во всю жизнь старался я ему доказать это, и ныне, по кончине его, смотрю с умилением на достойных детей его.

Матушка с сестрами и братом уехали, как я сказал выше, осенью 1802 года, в Пятую Гору. Брат Александр был в корпусе. Я жил один с отцом. В конце декабря, по возвращении от Державина, он сказал мне, что министр принял его очень ласково и обещал в скором времени дать ему место. Это говорил он за

обедом, и когда встал, то почувствовал слабость в ногах. Они распухли до того, что на другой день он не мог обуться и вскоре слег в постель: у него открылась водяная. Его пользовал доктор Нордберг [. . . .], но спасенья не было. Я бросился к бабушке.[1] Она встретила меня высокопарными фразами, застонала, бросилась на колени. Муж ее, добрый Иван Егорович, принял участие в нашем бедственном положении и помогал нам. Не могу без особенного уныния и ужаса вспомнить о том времени. Матушка не могла знать о болезни мужа. Говорили, может быть, о незначительном его нездоровье. Батюшка скончался 5 марта 1803 г.... На нем были долги: сколько и кому он должен, я не знал и просил полицию взять все наличное движимое имущество. Оно было оценено в 41 руб. с копейками и продано с публичного торга. Объявление об этой продаже помещено в «С. Петербургских Ведомостях» № . . . .[2] 1804 г. У нас были крепостные люди: одна женщина с взрослым сыном, другая — с девочками. Они были приобретены от Крейца, но акта на куплю их не было. Я объявил, что не знаю где они, и это была правда. Они жили потом на воле, по паспортам от полиции.

Я поселился у бабушки. Муж ее Иван Егорович служил директором Воспитательного Дома, по деревенской экспедиции, заведывавшей воспитанниками, размещаемыми по деревням, и жил в Воспитательном Доме, на том дворе,

[1] Христина Михайловна Фок.

[2] Пропуск в рукописи.

где гауптвахта, в нижнем этаже. До сих пор не могу проходить мимо без содрогания. Бабушка меня ненавидела, и я принужден был слышать самые оскорбительные отзывы о моем отце. И я выражался о ней не слишком нежно. Оттого происходили столкновения и стычки. Между тем, я сдерживался, боясь огорчить матушку.

Весну 1803 г. провел я в Пятой Горе с большим удовольствием. Между тем, Юнкерская школа была преобразована в Юнкерский институт и переведена на Большую Литейную, в дом, где потом помещалась Комиссия составления законов. Нас поместили на казенное содержание: одели в зеленые сюртуки с черным бархатным воротником: у дворян с красными выпушками, у пансионеров с синими, у разночинцев с желтыми. Было предположение о преобразовании института умножением числа учебных предметов, но все ограничилось тем, что нас стали учить французскому языку. Один бывший гувернер князя Лопухина, мосье Фламманд, преподавал французскую литературу, а только немногие умели у нас читать по-французски.

Плохое учение, да все же что-нибудь осталось. Помню, что я в то время не знал слова cordonnier (сапожник) и думал, что оно значит веревочник.

В мае 1803 г. был экзамен, в присутствии министра юстиции Державина. Между тем, институт выродился: не было уже четвертого класса, в котором преподавалось правоведение. Нас выгнали из главного дома и поме-

стили в надворном здании, а главное занято было Комиссиею составления законов, фантасмагориею, которою известный шарлатан морочил правительство. Расскажу презабавный анекдот. При учреждении нашей школы, на здании ее красовалась надпись золотыми буквами на доске серого мрамора: Юнкерская школа. При переводе в другой дом остались на этой же доске некоторые буквы и вышло: «Юнкерский институт». Когда же дом достался новому учреждению, надлежало переменить и надпись; следовало втиснуть в нее две строки: Комиссия составления законов. Последние два слова не умещались на доске, но как, по предложению Розенкампфа, комиссия должна была кончить задачу свою в три года, то и положили, для сбережения издержек на новую доску, приставить к краям ее по деревянному концу. Так и сделали. Сначала казалась доска как доска, но лет через десять дерево сгнило, отвалилось, упали обе крайние буквы, уцелели слова:

Комиссия
оставления законов.

Эта надпись красовалась несколько лет к забаве проходивших.

Весь институт наш расстроился. Директор А. Н. Оленин, по каким-то неприятностям, или бюрократическим отношениям к высшему начальству, не занимался им вовсе. Инспектором был у нас человек самый тяжелый и самый несносный, барон Федор Иванович фон-Вальденштейн, не знавший грамоты и подписывав-

шийся статский советник. Он получил это место по ходатайству жены своей, бойкой русской бабы, считавшейся роднею Державину, но притом доброй и гостеприимной. Многие мои товарищи, имевшие хорошую протекцию, подали прошение об увольнении из института и получили оное с чином коллегии-юнкеров, хотя не кончили курса, за неимением в институте высшего класса. Отважился и я: пошел к Оленину, подал ему прошение и был уволен с надлежащим чином. Но чин хлеба не дает. Я обратился к родственнику П. Х. Безака, д. ст. сов. Федору Христиановичу Вирсту, заведывавшему тогда статистическим отделением в Министерстве Внутренних Дел, человеку почтенному и доброму, о котором можно было бы сказать: «хороший человек, да жаль что немец». Он занял меня для испытания статистикою Курляндской губернии; потом перевел я записку о китайской статистике, для передачи ее ехавшему послом в Китай графу Ю. А. Головкину. Я делал все, что задавали. Вирст хвалил мою работу, но об определении моем молчал, а на вопрос мой о том отвечал, что это зависит от канцелярии министра. Директором ее был Сперанский, вице-директором Магницкий, а начальником отделения Ф. П. Лубяновский; столоначальником по отделению статистики М. К. Михайлов. Видно было, что они не расположены в Вирсту. Между тем задавались мне на пробу кое-какие работы. Мне это надоело, и я объявил Вирсту, что хочу доучиться в новооткрывшемся тогда Педагогическом институте, что ныне С. Петербургский университет, — чтоб

искать если не счастия, то пропитания по педагогической части, в которой чувствую большое влечение. Вирст похвалил мое намерение. Вообще я чувствую непреодолимое отвращение к бюрократии, к чиновничеству, к этому пошлому тунеядству, называемому гражданскою службою. Во всяком департаменте одолевает меня скука и голод. На юбилее моем, 27 декабря 1854 г., обратился я к действительному тайному советнику Лубяновскому: «ваше высокопревосходительство! вы были начальником отделения в канцелярии министра внутренних дел в то время как я там служил, скажите, случалось ли вам в жизни видеть канцелярского чиновника хуже меня?» Он засмеялся, и его примеру последовали все бывшие за столом.

Откланявшись пресловутому министерству, отправился я в канцелярию Педагогического института, к директору его Ивану Ивановичу Коху, и был записан первым по времени вступления вольным слушателем. Я посещал лекции постоянно и прилежно, но не могу сказать, чтобы много ими воспользовался. Беседы с умными и образованными людьми, чтение хороших книг, собственные размышления и литературные опыты принесли мне более прибыли. Между тем должно было помышлять о насущном хлебе, об одежде и пр. [. . . .] Я решился сделаться учителем, потому что меня влекла к тому и собственная охота. У тетушки Варвары Ивановны познакомился я с Григорием Григорьевичем Бочковым. Этот человек воспитывался в Академии Художест, хотел быть архитектором, но не успел, сделался

любимцем инспектора-француза, проводил у него все время, выучился мастерски говорить по-французски, а впрочем знал очень мало, был гувернером в Анненской школе и сам завел пансион. Я ему понравился моею смелостью и остротами, и он предложил мне место учителя русского языка, географии и истории. Я не давал слова и отправился к матушке с просьбою о дозволении заняться этим ремеслом. Дворянская кровь и в ней заговорила: она колебалась, но видя, что я иначе существовать не могу, дала мне согласие.

1 июля 1804 года дал я первый урок, и с этого времени считаю свою литературную и педагогическую службу. Уроками моими были довольны и содержатель пансиона, и дети, и их родители. В октябре был экзамен, на котором отличились мои ученики. Бочков жил в Кирочной улице, в доме Федора Максимовича Брискорна. Моя смелость и развязность противоречили сухости и педанству других учителей, и успехи учеников обратили на меня внимание Брискорна. Он пригласил меня к себе на другой день и предложил мне заняться у него делами по его процессу, назначив за то по двадцати пяти рублей в месяц. Кто был тогда счастливее меня! Бочков давал мне двадцать рублей, и так имел я в месяц сорок пять рублей, будучи свободен в остальное от уроков и занятий у Брискорна время. Я поспешил сшить себе сюртук серого цвета и заменить им мою прежнюю казенную форму. Остальные деньги — виноват! — употребил я на покупку книг, не думая о завтрашнем дне, и потому беспрестанно бывал в нужде. Да

и Бочков платил неисправно. 1 августа, в счет за прошедший месяц, дал он мне новенькие синенькие бумажки. Не могу описать моего восторга, когда я держал в руках первые деньги, заработанные мною. У Брискорна работал я не долго. Почерк мой оказался неудовлетворительным, а у него не было другой работы, кроме переписки набело. Месяца через три, видя, что не могу быть ему полезным, я сам отказался от его работы, под предлогом других занятий. Мы остались в дружеских отношениях, которые не прекращались до его кончины [....]

Один знакомый мне учитель, не из педагогов, предложил мне летом 1805 года принять приглашение, сделанное ему, на которое он не мог согласиться, — преподавать русский язык в славившемся тогда пансионе госпожи Ришар. Экс-содержательница была не француженка, а уроженка Швейцарии: один ее племянник был адъютантом и любимцем Кутузова; другой служил при почте. Она была замужем за профессором ботаники (которого называли садовником) Ришаром и, быв невестою, лишилась левого глаза: она прогуливалась с женихом своим в санях парою; пристяжная лошадь вышибла ей глаз комом снега. В старости она лишилась употребления ног и не вставала с кресел. У ней были два сына: один в статской службе, женатый на побочной дочери князя Юсупова, другой Иван был отъявленный негодяй, пропал на службе в каком-то гарнизонном полку. Но дочери ее имели лучшую судьбу. Анна Францовна вышла за Клейнмихеля, когда он был только маиором: известно, какую

кариеру он сделал при Павле и Александре. У него был только один сын граф Петр Андреевич и много дочерей. Другая дочь Ришар, Елисавета Францовна, была замужем за Михаилом Александровичем Салтыковым (о котором я говорил в воспоминаниях о времени Александра), бывшим попечителем Казанского университета, потом почетным опекуном в Москве, получившим Александровскую ленту, когда он, от старости и болезни, лишился ума. Его дочь была за писателями Дельвигом и Баратынским.

Мария Христиановна Ришар завела пансион по смерти своего мужа и вскоре приобрела общее уважение. У ней воспитывались пансионерки императрицы Марии Федоровны, которых почему-либо нельзя было поместить в дворянских институтах; например бывшая директриса Мариинского института Прасковья Ивановна Неймановская, до замужества Чепегова, турчанка, взятая в плен в малолетстве. Еще замечательно, что у ней в пансионе каким-то чудом воспитан был нынешний д[ействительный] т[айный] советник Александр Сергеевич Танеев. С отвагою молодости, которой, как пьяному, море по колено, я отправился к М. Хр. Ришар, жившей на Невском проспекте, где ныне помещается Коммерческий суд. Она приняла меня учтиво и ласково, но сказала, что я слишком молод. К счастью моему вошел к ней зять ее М. А. Салтыков, человек умный, образованный, стал меня расспрашивать, почти экзаменовать, и мне удалось понравиться ему своею откровенностью, своими суждениями о тогдашней литературе. Старушка на другой день дала мне знать, что

принимает меня учителем русского языка. По истечении каникул явился я в первый понедельник и был введен в класс Амалиею Ивановною Несберг, сиротою, которую М. Хр. [Ришар] воспитала и выдала замуж за Шредера, бывшего потом гоф-маклером (А. И. Ш[редер] жила впоследствии у Абрама Сергеевича Норова, где я встретился с нею в 1857 году. Она подарила мне портрет общей нашей благодетельницы, сказав, что родные М. Хр. [Ришар] недостойны этой памяти). Тьфу пропасть! у меня голова разболелась. Девицы, числом около двадцати, летами от пятнадцати до семнадцати, одна другой красивее, встали из-за классных столов и присели пред новым учителем, как грации мифологического элизиума. Я принялся за свое дело с усердием, не желая уронить себя в мнении госпожи Ришар, и особенно этих милых вострух. Мария Христиановна полюбила меня искренно и делала мне всякое добро, дала средства обмундироваться как следует и рекомендовала меня Якову Александровичу Дружинину, а он представил меня Ивану Осиповичу Тимковскому, который определил меня чиновником в с.петербургский цензурный комитет (26 июня 1806).

Вступление мое на литературное поприще и первое мое знакомство с литераторами того времени я описал в статье своей «Воспоминания юности». [1]

И родственники мои (только не матушка) и бывшие товарищи досадовали на то, что я избрал несовместное с дворянским звание учителя.

[1] См. ниже.

Юнкерский институт преобразован был в высшее Училище Правоведения. Ко мне приставали, чтобы я вступил в это училище, и когда я объявил, что не хочу, мне возразили, что я, вероятно, боюсь экзамена, которому для вступления туда подвергались, и очень строго, в Педагогическом институте. Это меня взорвало, я ударился об заклад, что выдержу экзамен, и подал просьбу о принятии меня в училище. Мне назначили день экзамена: 23 ноября 1805 г., в одной из аудиторий Педагогического института (там где ныне университет), в семь часов вечера. Места слушателей были расположены амфитеатром. Внизу за круглым столом сидели профессоры Балугианский, Лоди, Кукольник, Тернич и Мартынов. На скамьях гнездились кандидаты. Они были почти все поляки. Я сел дальше, чтоб прислушиваться. Вызывали кандидата, спрашивали его, на каком языке он желает экзаменоваться. Поляки все избирали язык латинский и говорили они очень свободно и правильно; но в науках, в логике, в истории, географии, математике и пр., они были очень слабы. Профессоры ободряли их: «bene, bene, продолжайте». Напрасно. Они оказались слабыми во всех этих предметах. До меня, последнего, дошла очередь в одиннадцатом часу. На вопрос о выборе языка я смело сказал:

— На каком вам угодно.

— Нет, выберите сами.

— Так на русском, — сказал я. Помню все, что у меня спрашивали. Из логики об определении; из истории о Крестовых походах и о Сицилийской вечерне, из географии об острове

Сицилии, из геометрии о Пифагоровой теореме; из физики общие свойства тел; из естественной истории о разделении птиц по Линнею. Я отвечал на все, не запинаясь. Дошли до последней графы: латинский язык. Я хотел было признаться, что очень слаб в нем, но добрый Тернич помог мне: он сказал своим товарищам по-немецки: «Мы обидим его, если станем экзаменовать в латинском языке: он не мог приобресть этих познаний без латыни. Прочие кандидаты говорят по-латыни очень хорошо, а в науках невежды». С ним согласились, и в графе при моем имени явилось благодатное слово optime. Я оказался вторым по экзамену из всех кандидатов. Первым был Иван Мих. Фовицкий. На другой день я подал просьбу с объявлением, что домашние обстоятельства не дозволяют вступить мне в училище. Заклад был выигран.

В статье моей «Воспоминания юности» высказал я, каким образом началось мое литературное поприще. Первым из напечатанных моих трудов были русские синонимы в «Журнале Российской Словестности», издаваемых Н. П. Брусиловым в 1805 году. Кто был счастливее меня, когда я увидел статьи мои напечатанными, да еще с похвальным отзывом редактора. Об участии моем в журнале Варенцова сказано в той же статье, и там помещались только переводы мои. Уже тогда запала во мне мысль о сочинении русской грамматики; я прочитал все сочинения об этом предмете. Особенно помог мне в том умный и знающий учитель француз Гаврила Леонтьевич Лаббе-де-Лонд (Labbé-de-Londes). И он был самоучка. Старший брат его был

в Петербурге карточным фабрикантом, младший остался в Париже, учился в каком-то коллегиуме, когда вспыхнула революция. Идучи однажды по улице, он увидел толпу, которая вышла из предместья, взобрался на бочку и смотрел на неучей. Впереди несли на шесте голову принцессы де-Ламбаль. Несший ее ударил ею по лицу мальчика. Лаббе упал с бочки и ударился бежать к брату в Петербург. Прибежал в Руан, нашел корабль, отправлявшийся в Россию, и умолил капитана взять его с собою. Капитан согласился и привез его в Кронштадт. Тогда не было строгих правил по паспортам, особенно для тринадцатилетнего мальчика. Брат принял его к себе, поместил на чердаке и заставил разрывать карты на фабрике. Но мальчик продолжал учить украдкою, именно грамматику латинскую, прошел французскую, выучился очень хорошо русскому языку и пошел в учители, беспрестанно совершенствуя и распространяя свои познания. Он приходил иногда к нашему гувернеру Делигарду. Потом встретился я с ним где-то, помнится, на даче и разговорился. Он полюбил во мне любознательного молодого человека и пригласил к себе. Я не брал у него уроков, но пользовался его поучительными беседами и узнал многое; он же указал мне превосходную грамматику Сильвестра Де-Саси. В предисловии моем к моей пространной грамматике, я упомянул о нем с искреннею благодарностью.

В 1806 году Шлейснер рекомендовал меня в учители к одной содержательнице пансиона, его родственнице, госпоже Мюссар (Mussard);

и так как это знакомство имело великое влияние на судьбу мою, то я должен распространиться о нем подробно.

Фамилия Мюссар была одною из самых старинных и почтенных в Женеве. Праотец ее переселился туда из Франции в XVI веке, спасаясь от гонения на реформатов. Петр Мюссар (Pierre Mussard) по словам Biographie universelle de Michaud, supplement, tome 75, p. 47, родился в Женеве около 1630 года, был пастором в Лионе, потом в Женеве и прославился там своим учением и богословскими сочинениями. Бель (Bayl) называет его мужем весьма знаменитым (vir admodum illustris). Он умер в 1786 году. Руссо в своей исповеди (Confessions) упоминает о Мюссарах, своих родственниках: один из них был миниатюрный живописец, прозывавшийся tord-gueule, живший в Женеве. Другой, которого Ж. Ж. [Руссо] называет mon compatriote, mon parent et mon ami [1] (Oeuvres complètes de J. J. Rousseau, Paris 1817, chez Belin, tome VI, p. 75, 256), приобрев честною торговлею хорошее состояние, жил в Пасси, близ Парижа, занимался страстно конхилиологиею, собирал вокруг себя общество ученых и образованных людей и любезных женщин. Руссо с чувством рассказывает, как приятно жил у него, и описывает бедственную его кончину: у него сделалась опухоль в желудке, и он умер с голода. Известно, что Женева исстари, как всякая республика, раздираема была патриотами. Отец моего тестя, про-

[1] Мой земляк, мой родственник и мой друг.

фессор Николай Мюссар, в шестидесятых годах XVIII века, был приверженцем партии демократов, спорившей с аристократами, к которым принадлежал родной старший брат. Видя торжество своего противника, Николай Мюссар, надев праздничный плащ и прицепив шпагу, знак отличия гражданина,[1] взяв за руку тринадцатилетнего своего сына Даниила, отправился в ратушу, получил свидетельство в своем звании и со всем своим семейством выехал из пределов республики — куда? Разумеется в Россию. В Петербурге получил он, помнится, по рекомендации Вольтера, должность инспектора классов в Академии Художеств, а жена его поступила инспекторшею в Смольный монастырь. Сына своего, с которым он вышел из Женевы, назначил он тоже в ученое звание, но молодой человек, вероятно по лености, объявил, что хочет быть часовщиком, comme son oncle J. J. Rousseau.[2] Отец не хотел посылать его в Женеву, боясь влияния своего брата-аристократа, а послал к одному приятелю и земляку своему, часовому мастеру, в Берлин, где молодой Мюссар выучился своему делу в совершенстве и, воротясь в Петербург, занялся этим мастерством с большим успехом. Он был очень красив собою и большой любитель прекрасного пола, любил

[1] Никакая дворянская аристократия не дорожит так своим саном, как женевцы званием гражданина (citoyen). Для этого надлежало родиться от фамилии граждан, и именно в стенах Женевы. Прочие жители ее назывались les natifs, les habitants et les bourgeois. Некоторыми ремеслами, например золотых дел и часовым, имели право заниматься только граждане. (*Н. Г.*)

[2] Подобно своему дяде Ж. Ж. Руссо,

увеселения всякого рода, обеды, пикники, карты и особенно был страстен к уженью рыбы. Родственники его, желая, укротить юного весельчака, женили его на молодой, хорошенькой немке, Марии Ивановне Гетц, из которой вскоре возникла глупая и злая баба. С самых первых пор замужества она стала мучить мужа и вскоре ему надоела. Желая отвадить его от частых выходов со двора, она утащила его подвязки. Он ушел без подвязок, которые были почти необходимы при тогдашней форме мужской одежды, и не носил их до конца жизни. Но коммерческие и ремесленные дела его шли хорошо. Он выписывал на несколько тысяч рублей в год хороших карманных часов из Женевы (проходивших в то блаженное время почти непонятною контрабандою) и сбывал их легко. Ходил заводить часы во многие знатные и богатые дома и снискал общую известность. В его магазине происходили сходки между вельможами и дипломатами, под предлогом поверки часов. Безбородко и Кобенцель, Сегюр и Гаррис (лорд Мальмсбюри) посещали его и беседовали между собою в его присутствии, полагаясь на его скромность. Несмотря на беспрерывную его вражду с женою, фамилия его распложалась благополучно. [1]

[1] Здесь прерываются «Записки о моей жизни» Н. И. Греча; по крайней мере продолжения и окончания в рукописях нет.

ВОСПОМИНАНИЯ ЮНОСТИ

Нестору Васильевичу Кукольнику

Вы требуете у меня статьи для вашего «Новогодника», любезный мой поэт. Вы думаете, что нашему брату, если еще не инвалиду, то, по крайней мере, пользующемуся уже правом бессрочного отпуска в литературе, так же легко вымыслить и написать, как вам, юным, мощным витязям! Вам стòит засесть, задуматься, забыться, — и в воображении вашем явится ряд светлых, небывалых, но милых, возможных и понятных призраков, которые, как действием дагерротипа, ложатся стройными очерками на белую бумагу. А мы запоздалые, чтò создадим в камера-обскуре, действительно темной храмине, нашего воображения? В настоящем у нас приметы телесного и умственного ослабления, едва скрываемые самолюбивым утешением: что-де я за старик! Впереди — могила своя; позади — могилы друзей и любезных!

Все, что я ни делаю, о чем ни помышляю, сбивается у меня в воспоминание. Самые романы, которые писал я, состоят из сколков, сохраненных памятью и только наружной рамкою соединенных в одно целое.

Итак, если некоторые воспоминания человека, видевшего в жизни своей довольно инте-

ресных картин и лиц, по вашему мнению, могут быть приятны читателям вашего «Новогодника», я вытащу из груды одну из старинных тетрадок моих, в которых и самые чернила приняли цвет поблекших листьев. Странно читать их ныне! Неужели это я? Неужели это мои мысли, мои ощущения! Как все изменилось! Как теперь это мелко и даже смешно! А как было мило, красно, восхитительно в то золотое время, когда гладкая фраза, счастливый стих и улыбка розовых уст казались первыми благами в мире! (А разве они последние?) Полно, — приступим к делу.

Отрочество и юность мои совпадают с прекраснейшем временем, каким когда либо наслаждался свет: это были первые годы XIX века, первые годы царствования нашего незабвенного Александра. Европа отдохнула от десятилетней, кровопролитной войны. Нации, дотоле расторгнутые враждою, сблизились, познакомились, подружились. Во Франции кормило правления было в руках дивного мужа, которому в то время весь мир беспрекословно приносил дань уважения и хвалы. В Англии жили и красовались Пит, Фокс, Шеридан, Нельсон. Пруссия была счастлива под правлением юного, благолюбивого короля, была счастлива своею прекрасною королевою, недостигнутым и недостижимым образцом женского совершенства и всех добродетелей. Германия восстала после бедствий войны: науки, литература возникли в ней с новою силою; образовались новые школы, новые учения; живы были и Клопшток, и Фосс, и Шиллер, и Гердер. В России все пришло

в счастливое движение. Карамзин издавал «Вестник Европы». С каким нетерпением ожидали мы красненьких книжечек, чрез каждые две недели! С каким восторгом читали, учили их наизуст! И теперь случается мне слышать, из уст сверстников по летам, фразы, заимствованные из «Вестника», который, в чистых русских переводах, сообщал нам мысли и чувства первоклассных писателей того времени. Макаров в «Московском Меркурии» жестоко разил дурных писателей. В «Северном Вестнике» сообщались статьи сериозные о науках, об истории, и т. п. В «Санктпетербургском Вестнике», издававшемся при Министерстве Внутренних Дел, увидели мы образцы слога дидактического и делового, труды графа В. П. Кочубея, М. М. Сперанского и других отличных людей, принятых в новообразованное министерство. Возникло и образовалось Министерство Народного Просвещения, и одним из первых подвигов его был тогдашний благодетельный устав о цензуре.

Карамзин и слог его были тогда предметом удивления и подражания (большею частию неудачного) почти всех молодых писателей. Вдруг вышла книга Шишкова («О старом и новом слоге русского языка») и разделила армию Русской Словесности на два враждебные стана: один под знаменем Карамзина, другой под флагом Шишкова. Приверженцы первого громогласно защищали Карамзина и галлицизмами насмехались над славянщизною; последователи Шишкова предавали проклятию новый слог, грамматику и коротенькие фразы, и только в длинных периодах Ломоносова,

в тяжелых оборотах Елагина искали спасения русскому слову. Первая партия называлась Московскою, последняя Петербургскою, но это не значило, чтоб только в Москве и в Петербурге были последователи той и другой. Вся молодёжь, все дамы, в обоих столицах, ратовали за Карамзина. Должно сказать, что в то время Москва, в литературном отношении, стояла гораздо выше Петербурга. Там было средоточие учености и русской литературы, Московский университет, который давал России отличных государственных чиновников и учителей и чрез них действовал на всю русскую публику. В Москве писали и печатали книги гораздо правильнее, если можно сказать, гораздо народнее, нежели в Петербурге. Москва была театром; Петербург залою театра. Там действовали; у нас судили и имели на то право, потому что платили за вход: в Петербурге расходилось московских книг гораздо более нежели в Москве. И в том отношении Петербургская литература походила на зрителей театра, что выражала свое мнение рукоплесканием и свистом, но сама не производила.

Время, суждение хладнокровное и беспристрастное, и следствия основательного учения объяснили тогдашнюю распрю и примирили враждебные стороны. Москва стояла за с л о г Карамзина; Петербург вооружался за я з ы к русский вообще. Здесь хвалили материал; там возносили искусство художника. Разумеется, что наконец согласились. Карамзин сам был чужд этим толкам и браням. Кончив издание «Вестника Европы» (с 1803 года), он, в течение

пятнадцати лет, не печатал ничего и занимался только своею «Историею». Она удовлетворила многим требованиям (я говорю только в отношении к языку), но — воля ваша! — прежде он писал лучше. И повести его, и «Письма русского путешественника», и статьи «Вестника Европы» написаны слогом приятным, естественным, неотвергавшим прикрас, но и не гонявшимся за красотами. Я несколько раз читал его «Историю Русского Государства»; занимаясь сочинением грамматики, разложил большую часть его периодов, исследовал почти все обороты; находил многое хорошим, прекрасным, правильным, классическим, но вздыхал о «Бедной Лизе»! В слоге его Истории видны принужденность, старание быть красноречивым, насильственное округление периодов: все искусственно, все размеренно, и не то что прежде. Поневоле воскликнешь с Пушкиным:

И, бабушка, затеяла пустое:
Окончи лучше нам Илью Богатыря!

И в это время борьбы старого с новым, проявления невиданных дотоле творений, мыслей и выражений, выходил я в свет жизни и литературы. Отец мой, видя мою страсть к чтению, к сочинениям, к переводам, заметив отвращение к делам приказным, которыми иногда пытались занимать меня, хотел дать мне воспитание ученое и литературное: хотел отдать меня в Петровскую школу, а потом отправить в Московский университет, на попечение одного старого друга и товарища; но беспрестанные развлечения и тяжкие труды по долж-

ности препятствовали ему исполнить это намерение. Он все откладывал, откладывал, — доколе обстоятельства не переменились: он очутился без места, без хлеба; младшего брата отдал во 2 Кадетский корпус, а меня в Юнкерскую школу, которая была учреждена при Сенате, для образования правоведов и канцелярских служителей. Мне был тогда четырнадцатый год. Дотоле занимался я из наук только математическими; имел самые скудные понятия о грамматике французской (сообщенные мне сенатским курьером, гимназистом Сухопутного Корпуса, служившим в департаменте отца моего), но более не знал почти ничего. Взамен учения, я много читал и размышлял. Географию, историю всемирную и русскую изучил без чужой помощи; в литературе знал всех русских писателей не по наслышке, а потому что прочитал их, и не раз. Поверите ли вы, что я знал почти наизуст Ролленову древнюю и римскую историю по переводу Тредиаковского. И теперь, если угодно, расскажу вам все сплетни и раздоры преемников Александра Македонского. Еще слушал я лекции Н. Я. Озерецковского и В. М. Севергина о естественной истории, которые читаны были каждое лето в кунсткамере. Скудное, жалкое образование! скажете вы. Точно скудное, но не жалкое. Из истории собственного своего учения, вывел я несколько полезных уроков. Во-первых, что не нужно обременять слишком молодых людей систематическим учением, так называемым развитием рассудка. Где есть рассудок, там разовьется он сам собою, а где его нет, там не разовьют его ле-

гионы педагогов. Дайте укрепиться физическим и умственным силам и потом занимайте их сериозно. До десяти лет дети больше должны учиться слушая, разглядывая; в это время можно положить основание изучению языков, но только практическим образом. Собственно школьное учение должно начаться позже. Видал я чудесных детей, которые на пятом году от роду рассказывали всю греческую и римскую историю, на шестом сочиняли хрии, на седьмом разрешали уравнения второй степени. Потом встречал я их в свете — чудесными дураками.

Еще вредно — многое знание! Постойте, не гневайтесь! Главное в воспитании есть образование ума и сердца, а не наполнение памяти. Научите юношу правильно мыслить и судить, внушите ему любовь к занятиям, любовь к наукам, к истине, к изящному, и если он одарен от природы понятливостью и памятью — ему довольно этого воспитания. Множество предметов учения, разнообразных и противоречащих, доступных только немногим избранным, утомляет и ум, и память учащихся, затмевает в глазах их существенное мелкими подробностями и исчезает по выходе из училища, как дым, оставляя в душе усталость и отвращение к занятиям. Мне жалко смотреть на экзаменах, как молодые люди терзаются вопросами по всем частям человеческих познаний! И на одну из этих наук едва ли достаточно было бы сил юноши, а он отвечает из двадцати, отвечает двадцати человекам, которые только одним этим предметом и занимаются. И где же в жизни

эти великие гении, которые удивляли нас своими познаниями и талантами перед черною доскою?

Тысячу раз в жизни жалел я, и горько жалел, что учение мое было штучное, мозаичное, что я с великим трудом, в зрелом возрасте должен был приобретать то, что легко мог бы присвоить себе в детстве и юности: жалел, что не знаю т о г о, не дошел до и н о г о. Но все на свете к лучшему; если бы я был ученее по многим частям, то, вероятно, не мог бы уделить всего своего внимания той части, в которой, кажется, не совсем был бесполезен.

Теперь еще странно для меня то, что я позже всего стал заниматься именно тем предметом, которому впоследствии посвятил бо̀льшую часть трудов своих. Как уже выше сказано, я читал многое, с жадностью, вниманием и размышлением; усвоил себе правило языка, понимал требования и указания вкуса и приличия, умел отличить хороший слог от дурного, сам писал безошибочно,—а не имел понятия о собственной грамматике. Услышав, что она необходима при изучении языка, я занялся чтением Грамматики Ломоносова, и вскоре оставил ее: я-де это уже и так знаю!

Когда меня привели в Юнкерскую Школу, надлежало сделать мне экзамен. Инспектор классов, Михайло Никитыч Цветков, продиктовал мне длинный период. Я написал его на черной доске, без ошибки. Приступили к анализу. «Какая это часть речи?» спросил он у меня, показав на первое слово.—«Не знаю», отвечал я простодушно. Он изумился, снова прочитал

написанное мною и остановился на одной строке. «Почему вы написали тут: *в морѣ*, а не *в море*?» — «Если бы корабль шел в море, я бы поставил *е*, а как он уже в морѣ был, то должно было поставить *ѣ*», отвечал я. — «То есть, это предложный падеж», сказал он, стараясь помочь мне. — «Не знаю», повторил я. Нечего было делать: меня, как совершенного невежду в русской грамматике, посадили в нижний класс. Это было 22 мая 1801 года. 1 июля я был первым на экзамене и меня показывали как какое-нибудь диво: «пишет-де правильно и складно, не понимая, что такое грамматика». И это послужило приурочкою к последовавшим моим наблюдениям: не столько форму вещей, сколько материю, существо их должно присвоивать учащимся детям. Обогащенный материалом слова, я вскоре постиг его форму, и этот предмет, сперва для меня чуждый и даже неприятный, сделался любимым моим занятием. В следующем классе узнал я значение, важность и цену всеобщей грамматики из умных, основательных уроков Бориса Ивановича Иваницкого; узнал необходимость теории при изучении языков, слушая уроки незабвенного П. Х. Шлейснера, автора вышедшего в то время Опыта грамматического руководства в переводах с русского языка на немецкий.[1] В то же время увидел я недостаточность наших грамматик в сравнении с иностранными, и несообразность их с выводами грамматики всеобщей;

[1] Этот почтенный человек умер в ноябре 1838 года, в глубокой старости. (*Н. Г.*)

увидел, сколько в них набрано лишнего, постороннего, и сколько не достает своего. С того времени, с пятнадцатого года от рождения, затаилась в душе моей мысль сделать что-нибудь по этому предмету: она осуществилась чрез двадцать пять лет.

В 1803 году последовало преобразование нашего училища: оно было наименовано Юнкерским Институтом и перемещено от Владимирской, где находилось дотоле, на Большую Литейную, в дом, где теперь находится II Отделение собственной канцелярии его императорского величества. Штат училища и учебные предметы были при том увеличены; ученики поступили на казенное содержание, но институт лишился инспектора своего, М. Н. Цветкова, которому был обязан всеми своими успехами. На место его поступил человек добрый, благородный, но он был всю жизнь в военной службе, и уважал науки, как уважали Америку до Колумба. Институт не мог подняться, не мог оказать успехов.[1]

Вскоре главный дом занят был новоустроенною Комиссиею составления законов; нас поместили в тесное здание на дворе, где наши спальни были и классами. Между тем добрые и почтенные наши учители не охладевали в усердии к своим обязанностям: классы шли своим чередом. При преобразовании Института, при даровании его воспитанникам новых прав, круг наш значительно распространился посту-

[1] Весь этот и несколько дальнейших отрывков из статьи 1839 года Греч перенес впоследствии в незаконченную вторую часть своих записок. См. выше стр. 227.

плением новых товарищей, получивших хорошее первоначальное образование. Мы усердно занимались науками и не в одно классное время: доставали русские и иностранные книги, читали их, переводили, испытывали силы собственными сочинениями. Всего более жаждали мы приобресть познания в французском языке: дотоле учились мы только немецкому. Целые ночи просиживали мы за книгами, тетрадями, учили, экзаменовали друг друга. Кто был побогаче, тот покупал книги и снабжал ими своих товарищей. Я, бедный сирота, не имел денег не только на книги, но и на утоление голода, для которого умеренный казенный стол, обрезываемый усердием к службе ретивого эконома, был слишком неудовлетворителен. Но эта самая бедность послужила мне в пользу: я переводил за богатых товарищей; для других, более совестных, приискивал слова в лексиконе; иным исправлял их работы. Чашка чая с грошевою булкой были наградою за перевод страницы или за приискание двадцати слов. Этому же юношескому аппетиту обязан я важным и полезным в жизни уроком. Достаточные и досужие товарищи мои частенько, разумеется украдкой от начальства, поигрывали в карты и особенно любили метать банк. Один из них выиграл несколько рублей. Это меня разохотило: у меня было всего капитала одна медная полтина, на которую я надеялся иметь в течение двадцати пяти дней по грошевой булке на завтрак. Демон игры искусил меня: я начал ставить мои грошевики; чрез полчаса проигрался дочиста и должен был в течение двадцати пяти

дней довольствоваться казенным завтраком, очень неудовлетворительным. Это совершенно излечило меня от страсти к игре: и теперь, всякий раз, когда увижу карты, чувствую что-то похожее на голод пятнадцатилетнего мальчика.

Вдруг представился мне удобный случай распространить, усовершить свои познания, удовлетворить влечению моему к наукам. Летом 1803 года открылись публичные лекции в новоучрежденном Педагогическом Институте. Я бросился к тогдашнему директору оного, Ивану Ивановичу Коху, и мое имя впервые вписано было в реестр вольных слушателей. Ваш почтенный родитель,[1] М. А. Балугьянский, П. Д. Лоди, Тернич, И. И. Мартынов, преподавали там науки исторические, политические и словесные. Я посещал лекции прилежно, записывал слышанное и толковал о том с товарищами, и, когда чрез два года пришлось выдержать экзамен в этом институте, оказалось, что я ходил туда не даром.

Впрочем я все еще оставался в Юнкерском Институте. Страсть к словесности обуяла многих из моих сотоварищей. Мы писали, составляли планы, сбирались печатать, издавать и уже сочинили было программу журнала «Хаос». Самый ревностный пиита был у нас Иван Гаврилович Аристов, сын саратовского помещика, дальний мне родственник по деду своему, царицынскому коменданту Цыплятеву, прославившемуся храбрым отражением

[1] В. Кукольник. См. выше стр. 242.

Пугачева. Он был годами тремя старее меня и получил довольно хорошее воспитание: говорил по-французски, понимал по-италиянски и как-то невзначай открыл в себе дар стихотворства, то есть способность низать рифмы. Восхищенные талантом товарища, мы единогласно прозвали его **гением**.

Другой товарищ мой, милый, образованный, прекрасный собою, был **Иван Козьмич Буйницкий**, который испытывал силы свои в прозе и написал историческую повесть «Ермак», в подражание «Марфе Посаднице» Карамзина, которою бредили тогда все молодые люди.

Третий, **Андрей Степанович Милорадович**, очень хорошо воспитанный, притом достаточный, скромный, трудолюбивый: он преимущественно занимался переводами с французского. Долгое время сомневались мы в своих силах и робели выйти на поприще словесности. Аристов решился отведать счастия: не сказав нам ни слова, отправил два стихотворения в «Вестник Европы», издававшийся тогда Поповым и чрез две недели они появились в свет. Этот успех восхитил все наше литературное сословие, и мы стали посылать свои произведения в московские журналы, но, увы! они пропадали без вести! Вдруг, это было в конце 1804 года, Аристов объявил нам, что один его знакомец, человек богатый и щедрый, желая сделать себе имя в литературе, задумал издавать журнал и приглашает к себе нас, юных поклонников муз. В самом деле, вскоре вышло объявление о «**Журнале для пользы**

и удовольствия на 1805 год», и вслед затем вереница неоперенных птенцов парнасских потянулась в Лещиков переулок, славный дотоле своими банями, а ныне превратившийся в Ипокрену. Мы ревностно занялись работами. Буйницкий исправил свою повесть; Аристов написал несколько десятков стихотворений; Милорадович сообщил свои переводы с французского; я переводил с немецкого. Наставником и руководителем нашим был Александр Иванович Л., человек основательно ученый и умный, но автор и стилист очень плохой. Он находил славное удовольствие в занятиях переводами самих безнравственных книг: ему русская литература и мораль обязаны Фобласом, Антенором и «Вредными знакомствами». Между тем, в жизни он был человек кроткий, честный, нравственный, если не принимать в уважение слабости, которой подвержены были почти все наши поэты и прозаики XVIII века. Он читал наши сочинения и переводы, советовал, хвалил, порицал, исправлял. Я был последним в этом обществе; большею частию молчал и слушал. Могу сказать по справедливости и с благодарностью, что эти вечера принесли мне большую пользу. Самолюбивые юноши, напитанные галлицисмами, не соглашались на поправки Л., который ненавидел новую школу и, за насмешливый отзыв Макарова о его переводе Антенора, предавал анафеме все московское; от этого рождались споры, высказывались истины; спорщики в новых распрях забывали прежнее, но, я, посторонний и уединенный, прислушивался, замечал, затверживал.

Отчего такая скромность? спросите вы. Ах, любезный читатель! в эту эпоху кончилось время безотчетного детства, школьного равенства и честного юношеского правосудия! В Институте я был первым почти по всем частям: был отличаем начальниками, учителями, товарищами; говорил решительно и смело, не боясь не только насмешки, но и возражения со стороны мне равных. Внешние, случайные блага не входили еще в счет науки и заслуг. Но тут впервые вошел я в тот странный, вечно движущийся и волнующийся хаос, который называется **светом**, и почувствовал веяние резкого, холодного ветра, от которого сжималось мое сердце, дотоле бившееся радостно при лучах юной, беззаботной жизни! Это было как бы изгнанием из земного рая. Мои товарищи, сбросив с себя институтский мундир, облеклись в изящные фраки Занфтлебена, тогдашнего первого портного; тесный суконный галстук заменился батистовою косынкою; вместо казенной фуражки, украсились они модными легкими шляпами. Мой же весь гардероб состоял из одного серого сертука, а в этом наряде можно ли давать простор своим чувствам и мыслям, можно ли спрашивать, рассуждать, уже не говорю: спорить! Еще одно меня останавливало и стесняло. Новые мои знакомцы свободно говорили по-французски, а я не умел отвечать им, хотя в существе знал язык лучше их. От этого я сделался робок и неуверен в своих силах. Несколько моих статей были отвергнуты ареопагом, отринуты французскими фразами и с насмешливыми взглядами на мой стереотип-

ный наряд. Жестокое испытание! — Нет! сто раз лучше терпеть голод и стужу, нежели презрение людей, хотя б оно вовсе было незаслуженное! Впрочем я должен исключить из этого моих товарищей: они всегда сохраняли дружеское ко мне расположение, но не могли защитить меня от неизбежной судьбы бедности и несветского воспитания.

Разобиженный в душе оскорбительным равнодушием, я решил испытать счастия в другом месте и послал две статьи (это были разборы синонимов) к Николаю Петровичу Брусилову, который тогда издавал «Журнал Русской Словесности». Он не только напечатал их, но и прибавил к ним приветливый отзыв. Кто был счастливее меня! — Варвары! думал я: будет и на моей улице праздник.

По этому случаю познакомился я с Н. П. Брусиловым и находил у него приятное общество, В. М. Федорова, К. Н. Батюшкова, Н. Ф. Остолопова, А. Е. Измайлова, И. П. Пнина. Остановлюсь на последнем. Это был человек, необыкновенно умный, образованный, любезный, кроткий, с большими дарованиями. Все мои сверстники вспоминают о нем с чувством искренней любви и уважения. Он вырос и был воспитан, как сын вельможи. Потом обстоятельства переменились, и он должен был довольствоваться уделом ничтожным. Это оскорбило, изнурило, убило его. Недолго пользовались мы его милою наставительною беседою: он умер в сентябре 1805 года, на тридцать третьем году жизни, к общему искреннему сожалению всех, кто знал его.

В то время, когда я познакомился в этом кругу, наделала много шума в свете комедия князя Шаховского: «Новый Стерн». Все молодые люди, искренние поклонники Карамзина, увидели в злой каррикатуре посягательство на славу их учителя, и еще более на их собственную, и со всех сторон посыпались критики, сатиры, эпиграммы. В это время зародилась в Петербурге оппозиция против приверженцев и поборников славянщизны и старины, развившаяся потом во многих журналах, особенно в «Цветнике» (1810 и 1811 г.) и в «Санктпетербургском Вестнике» (1812 г.).

Между тем все эти литературные неудачи, успехи, радости и печали занимали только мое воображение. Желудок неоднократно напоминал мне, что должно подумать и о нем, а несчастный серый сюртук также докладывал, что вскоре отправится в отставку. Надлежало помышлять о службе. Я отправился к одному дальнему родственнику моему, заведывавшему статистическою частию в Министерстве Внутренних Дел. Он обещал определить меня, и начал занимать работою. Доколе эта работа доставляла пищу уму и воображению, я занимался ею охотно, но лишь только приходилось возиться с донесениями, отношениями, циркулярами, перо выпадало из рук моих; я чувствовал какое-то стеснение в голове и не мог написать порядочно страницы. А в то время можно б было понаучиться гражданской службе в этом Министерстве! Но непреодолимая страсть увлекла меня в литературу. Я отказался от гражданской службы и вступил в учительское звание. До-



Н. И. Греч

стойно замечания, что это восставило против меня многих моих родственников. Как можно дворянину, сыну благородных родителей, племяннику такого-то, внуку такой-то, вступить в должность учителя! Но никто из этих грозных судей не догадался спросить, есть ли у сего благородного юноши целый кафтан, уверен ли он, что завтра будет обедать, и в состоянии ли служить без жалованья, как степной недоросль, кандидат в великие люди! Я приискал место учителя русского языка в пансионе Григорья Григорьевича Бочкова, первого из русских, которые отважились вступить на поприще, предоставленное до того исключительно иностранцам. Никогда не забуду я 1 августа 1804 года! В этот день получил я первые деньги, заслуженные собственным трудом — две синенькие бумажки: кто был тогда богаче меня капиталом, счастливее надеждою!

«Docendo discimus! Уча учимся», говорит латинская пословица. Будучи обязан толковать правила языка другим, я должен был сперва привести их в ясность в своей голове и уже тогда начал составлять свою систему преподавания русского языка, которая впоследствии сделалась основанием моих грамматических трудов.

Через год после того предложили мне место учителя в пансионе девичьем. С беспечностию и отвагою молодых лет, явился я к начальнице пансиона... Здесь я должен остановиться и дать свободу слезам искренней признательности одной из первых моих благодетельниц в жизни. Мария Христиановна Р[ишар], женщина редкого сердца, образованного ума и превосходного характера, приняла меня ласково, но с некоторою,

очень понятною недоверчивостью. «Который вам от роду год?—спросила она». «Девятнадцатый», отвечал я, как бы хвалясь тем, что я еще так молод и уже надеюсь иметь право на учительское место. «Вы очень молоды! — возразила она:—у меня есть девицы, вам ровестницы». При этих словах, я невольно обратил глаза к двери, которая вела в класс. На мое счастье, приехал к ней в это время один ее родственник, человек очень образованный и умный, и вступил со мною в разговор о русской литературе. Я закидал его суждениями, толками, цитатами. Моя беспечная смелость, откровенность и любовь к словесности, ему понравились. Он вступился за невольную мою вину — излишнюю молодость, и я был принят. Через неделю кончились каникулы, и я вошел в класс, чтоб заняться моею должностью. Глаза у меня разбежались. За длинным столом, по обеим сторонам его, сидело около двадцати молодых девиц, одна другой прекраснее, одна другой милее. «Ай, да Грамматика! — думал я, садясь за стол: — у столоначальников канцелярии Министра Внутренних Дел нет и не будет такой милой компании». Самолюбие молодого человека, выставленное на жертву насмешливым вострухам, побудило меня заниматься моим делом, как можно усерднее. Я готовился особо к каждому уроку; брал работы их на дом, и приносил назад с замечаниями и поправками. [1]

[1] Я назвал бы некоторых из них, если б не боялся оскорбить их напоминовением, что они, за тридцать четыре года пред сим, были уже взрослыми девицами. (*Н. Г.*)

Успехи их меня восхищали. Мария Христиановна вскоре увидела, что напрасно боялась моей молодости. Я был скромен и боязлив, и только в разборах поэтов давал волю своему воображению и слову. Почтенная старушка приняла участие в судьбе моей, дала мне средства обзавестись и явиться в свете как должно, и способствовала мне вступить в службу по гражданской части. Ее давно уж нет, но воспоминание о ней так еще свежо и живо в моей памяти, как будто бы я вчера был у нее в классах!..

ВОСПОМИНАНИЯ

Графу Федору Петровичу Толстому

Ты хочешь знать, почтеннейший друг, что̀ более всего занимало меня в жизни; на какой предмет я преимущественно обращал внимание, и почему именно избрал Словесность занятием и целию моих трудов, моей жизни. Признаюсь, мало есть таких предметов в свете, на которые я, в течение жизни моей, не обращал бы внимания: люблю наслаждение Природою; радуюсь, как ребенок, первому вешнему дню; предпочитаю прогулку в прекрасное летнее утро всем удовольствиям блистательного вечера; осенью, не могу дождаться первого мороза, который освежит воздух, и нежные лица красавиц расцветит розами. Люблю цветы и птиц; могу по часам любоваться красивым маком, радуюсь появлению новых узоров в цветнике; с наслаждением гляжу на хозяйство, ласки и раздоры домовитых канареек. Люблю изящные искусства; страстен к музыке и, при звуках гармонии Моцарта, забываюсь, созидая мир невещественный в глубине души моей. Но всего более занимает меня человек, сие, веками неразгаданное, последнее творение рук божиих — сей царь вселенной и раб страстей своих, телом жертва стихий, духом собеседник божества.

Один новейший философ производит все сущее, все живущее на земле от влияния солнца на планету нашу. Действием солнца, в юные дни мира, — говорит он, — когда оно грело и живило сильнее, нежели ныне, под осень истории всемирной, — произведены на хладной и тяжелой толще земли и минералы, и растения, и животные; произведен и человек, крайнее звено земнородных: он приял животную жизнь свою из общего источника земной жизни, нашего солнца; приял ее в высшей, тончайшей, так сказать, против других существ степени; но солнце, средоточие нашего мира, не есть средоточие всемирное: оно обращается вокруг другого солнца, нам невидимого, неподлежащего чувствам, непостижимого уму нашему. Малый луч сего духовного солнца перелился чрез солнце наше на нашу планету и заронил искру в человеке: искра сия есть душа его — искра сия есть способность переноситься в мир умственный и духовный, жить в прошедшем и будущем, познавать бытие верховного существа, постигать собственное свое бессмертие. Душа духовная слита в человеке с душою животного, общею ему с другими земнородными; но душа животная является в нем во всем своем совершенстве, на высшей степени противу всех других движущихся в творениях низшего разряда; душа духовная, выспренняя, есть только малая искра, едва зримый зародыш третьего неба, проблеск алмаза в глыбе гранитной. Животная душа, при самом рождении твари в свет, находится на высшей своей степени, лишь только получила возможность располагать и

действовать своими орудиями; но душа духовная спит в начале существования человека, просыпается мало-по-малу, воспитывается, научается познавать себя, Природу и бога, но всегда остается во младенчестве. Человек носит ее в себе, холит и взращает для другого мира, куда она, по разрушении жизни животной, переселяется для продолжения своего бытия и для конечного усовершенствования. Неравный удел сей искры составляет различие нравственное и умственное между людьми. В одних, слабая искра тонет во мгле жизни животной; в других, искра духовная расторгает узы чувственные, рвет и жжет вериги земные. Но там, где душа сия обретает достойную себя храмину, где она приходит в равновесие с жизнию животною, там проявляется высшее из существ земнородных — зиждитель царств и законодатель, победитель злодеев, просветитель варваров, изыскатель таинств Природы, толкователь судеб божих в бытиях человечества — творец нового мира в изящных искусствах, в музыке, в поэзии.

Душа духовная создала себе оболочку невидимую, тело невещественное; соткала одежду — разноцветнее полос радуги, блистательнее солнцев на синем небе — сотворив язык человеческий. И в этом теле красуется она и растет, играет миром вещественным и органами его вещает о мире духовном. Я посвятил бо̀льшую часть жизни своей на изучение сей стороны человеческой природы, смотрел на язык, сие стройное, согласное в разнообразнейших частях целое, как изыскатель природы веществен-

ной глядит, например, на царство растений: не пренебрегал мелочами, старался доискаться причин и начал разнообразия и уклонений в несметном рое звуков, служащих орудием к изображению чувствований и мыслей человека, и относил все к одному источнику, вечному и безначальному. Многие не хотели понять величия, важности, духовности языкоучения; не соглашались, чтоб глаголы и местоимения, причастия и предлоги вели к чему-либо высшему; но это одни формы, и формы варварские: надлежит вдохнуть в них душу. Так, драгоценнейший гербарий, с редкими произведениями царства растений, в глазах непросвещенного есть кипа сухой травы.

И человек, сей любимец божества в нашем мире, всегда был для меня самым любопытным предметом для наблюдения. В каждом человеке можно найти пищу для созерцательного духа; каждый человек есть малый мир, движущийся вокруг духовного средоточия; но в какой степени возрастает важность сего наблюдения, когда предметом оного бывает человек, необыкновенный между другими людьми, — человек, более противу ближних своих наделенный тою божественною душою, которая дарует ему бессмертие; воспитавший в себе сию небесную искру и употребивший ее на пользу ближних! Земной состав его разрушается, невидимая гостья улетает домой, оставляя на земле благоухание на тысящелетия, как солнце, закатясь за горизонт, долго еще играет лучами своими в атмосфере.

В жизни моей случалось мне видеться, сближаться, беседовать с людьми, которые могут

назваться великими и необыкновенными; случалось быть в тесных, дружеских связях с другими, которые, своими добродетелями, талантами и трудами, оставили по себе нетленные памятники в душах своих современников, которых оплакивают и свои, и чужие, которых потеря в душе друзей незаменима, и в глазах самых врагов их, атеистов нравственности, есть потеря для человечества. Воспоминать о них, воскрешать в мыслях их лик милый и незабвенный, беседовать с ними мечтою, как бывало наяву — есть отрада и услаждение душе; но все ли то можно передать словами, изобразить мертвыми буквами, что̀ живет, дышит и кипит в глубине ее! и не будет ли святотатством касаться грубыми орудиями чувств святыни недосязаемой! Покойтеся в недрах священного воспоминания, души, отлетевшие из сей юдоли, к которым в жизни была привязана моя душа цепью, неразрывною в вечности! Для изображения вас, нет у меня красок, которые были б постижимы чувствам посторонних! Обращусь к тем немногим людям, которым я, наравне с прочими, удивлялся, которые гласными подвигами, трудами и творениями доступны и знакомы образованному человечеству.

Уважение к людям необыкновенным, особенно к писателям, к литераторам, питал я с самого младенчества. Я воображал себе сочинителей книг людьми необыкновенными, и более нежели людьми. Помню, с каким благоговением смотрел я на первого, встретившегося мне русского писателя: то был Федор Осипович Туманский, сочинитель первого тома исто-

рии Петра Великого и издатель разных других исторических книг. Он приезжал к отцу моему по какому-то делу. Они разговаривали, ходя по обширной зале. Я не сводил глаз с Туманского и, притаясь в углу комнаты, повторял про себя: «Вот Писатель! Вот Сочинитель! Что он вымыслит, вычитает, напишет, то читают тысячи людей во всех концах России, и будут читать еще долго после его смерти! И по лицу видно, что он не такой человек, как другие».[1] Я досадовал в душе на отца моего, что он обходился с писателем так же, как и с другими посетителями, учтиво, но, по мнению моему, слишком холодно!

В Юнкерской школе имел я случай видеть другого писателя, который изданиями своими имел большое влияние на образование тогдашней литературы — Василия Сергеевича Подшивалова. Он был в то время директором Коммерческого училища, находившегося неподалеку от Юнкерской школы, и, по дружбе с нашим инспектором, Михайлом Никитичем Цветковым, товарищем его по университету, иногда навещал наши классы. И теперь еще вижу лицо его, спокойное, умное, благородное, доброе! Мы, ученики, боялись в нем строгого судьи; но те из нас, которые надеялись на успехи свои в словесности, с умыслом выставляли пред ним свои тетрадки. Он замечал детскую хитрость, брал тетрадки, просматривал их, хва-

[1] Это место, а также и ряд последующих из своих ранних «Воспоминаний» Греч использовал позднее в «Записках о моей жизни». См. выше стр. 169.

лил хорошее и давал добрые советы. Но непреодолимая моя страсть к авторству и желание сблизиться с великими в литературе людьми нашли полное удовлетворение, когда я в первый раз увидел Державина. Он был тогда (в 1803 г.) министром юстиции и, в сем звании, главным начальником нашего училища. У нас был годовой экзамен. Лучшие из нас были уверены в своих знаниях, и с самонадеянностию ожидали начала испытания. Вдруг услышали: «Министр приехал!» Все бросились по своим местам. Державин, в парадном сенаторском мундире и в ленте, сопровождаемый директором нашим, Алексеем Николаевичем Олениным, вступил в залу. По его желанию, начали экзамен с древней истории. Меня вызвали первого — надлежало показать место и разделение древней Греции. Я знал это, как Отче наш; но подошед к карте, очутившись в двух шагах от Державина, остолбенел, вперил в него глаза и не мог промолвить ни слова. Я не видел ни шитого мундира, ни звезд, ни ленты: я смотрел ему пристально в глаза, и в уме моем с быстротою сонных видений пролетали: Бог, Фелица, Водопад, Рождение Порфирородного.

— Скажите положение и разделение древней Греции, — повторил учитель. Я посмотрел на него бессмысленно и опять обратил глаза на Поэта.

— Древняя Греция, — подсказывали мне шепотом товарищи, — лежала в Европе, между 36-м и 41-м градусом северной широты и 37-м...

— Знаю, — отвечал я тихо и все смотрел на Державина.

Выведенный из терпения, учитель вызвал другого ученика, а я отступил в сторону, ближе к Державину. Директор, зная меня по экзаменам частным, сказал ему что-то обо мне, и Державин обратился ко мне ласково.

— Это что! — спросил он, указав на тетрадку, которую я держал в руке.

— Мои сочинения, — сказал я с откровенным самолюбием юноши и подал ему. Он развернул тетрадку, прочитал несколько стихов (помнится, преглупых) и сказал, отдавая мне:

— Это очень хорошо — продолжайте!

Вообразите себе восторг мой! Державин говорил со мною, Державин читал мои стихи, Державин хвалил их!

Есть быстрые минуты, имеющие влияние на участь, дела и всю жизнь человека. Немногие слова Державина произвели во мне волшебное действие: мне казалось, что он, как первосвященник в храме русской словесности, посвятил меня в ее таинства, и что долг повелевает мне в точности следовать его призыву.

. . . .

Занявшись русскою словестностию, я познакомился с некоторыми тогдашними литераторами; но в тесных связях, в то время, был с немногими. В числе сих немногих должен я наименовать Матвея Васильевича Крюковского, автора известной всем патриотической трагедии «Пожарский». Я познакомился с ним случайно. В 1806 году, поселился я в доме, бывшем генерала Леццано, на Мойке, за Полицейским мостом. Там очутился я посреди разных литератур. В одних сенях со мною жил немец-

кий юрисконсульт и поэт, доктор прав Шмидер. Он был консулентом (адвокатом) при Юстиц-Коллегии, по протестантскому отделению, а в прежние времена служил театральным поэтом при разных германских театрах. В звании консулента он был большой мастер разводить браки: за сто рублей он развел было Филемона и Бавкиду. В должности театрального поэта, он иногда урезывал и сокращал, иногда же пополнял и распространял немецкие пьесы для представления: известно, что чем длиннее список действующих лиц на немецкой афише, тем более стекается зрителей; и что тот немец не веселился в театре, у которого не склякошася кости от заседания в партере с семи часов вечера до часа утра. Сверх того, Шмидер перевел, и очень удачно, несколько французских водевилей. Познакомясь с ним, я хотел было поучиться у него теории драматической поэзии — не тут-то было! Он был искусен в одной практике: пьесы разделял на прибыльные (Kassenstücke) и невыгодные; Шиканедера ставил выше Шиллера; о достоинстве актеров судил по сборам в их бенефисы. Впрочем, и это знакомство было для меня не без пользы: Шмидер разочаровал мою веру вбезошибочность французских трагиков; указал мне сочинения Лессинга и Энгеля и заставил уважать авторов, пренебрегавших правилами трех единств. Но классические авторы Франции имели при мне представителя в другом соседе. Французский трагический актер Деглиньи, о котором, конечно, с удовольствием вспоминают любители театра, жил в нижнем

этаже соседнего дома, окнами в наш сад. Он декламировал с утра до вечера, пред открытым окном, монологи и сцены из лучших французских трагедий. Частенько, спрятавшись за кустом, я прислушивался к его декламации и думал про себя: «Что̀ ни говори Шмидер, а, ей богу, и это прекрасно!»

Шмидер учился у меня русскому языку. В одно утро, в начале нашего знакомства, когда я выбился из сил, толкуя ему что *б*, и что *п* (он называл их пуки и бакой), вошел в его комнату молодой человек, приятной наружности, одетый опрятно и со вкусом — не так, как прочие посетители и клиенты доктора. Он пришел сообщить о неприятности, с ним случившейся. Рукопись перевода его, который стоил ему больших трудов, была отправлена к государю императору в армию и как-то дорогою затерялась.[1] Неизвестный говорил (по-французски) о своем напрасном труде, о несбывшейся надежде, так скромно, мило и умно, что я почувствовал к нему невольное влечение. И Шмидер обошелся с ним учтивее обыкновенного и, по уходе его, объявил мне, что этот молодой человек наш сосед, господин Крюковской, русский литератор, умный и образованный. Я искал случая познакомиться с Крюковским и вскоре успел. Он проводил каждое утро в саду — войдет, бывало, в фуражке, в нанковом сюртучке, в зеленых сапогах, с большим красным платком на шее, и ходит про себя по

[1] Впоследствии она отыскалась. Это был перевод сочинения Геренштванда о политической экономии.

(*Н. Г.*)

аллеям, иногда в безмолвном мечтании, иногда декламируя вполголоса стихи. Я узнал и полюбил его. Никогда не случалось мне видеть (ни прежде, ни после того) человека, который бы так совершенно жил в мире фантазии, который бы так мало дорожил светом, так мало задумывался при каком-либо препятствии — нелитературном. Крюковской воспитан был в Сухопутном (первом) Кадетском Корпусе; говорил по-французски прекрасно, по-немецки очень хорошо; по-русски писал мастерски, но увлекаемый мечтаниями, не мог заниматься ничем основательно. Встав часов в десять поутру, он отправлялся в хорошую погоду в сад, в дурную оставался в своей комнате и забавлялся чтением, размышлением, сочинением стихов; потом одевался и уходил куда-нибудь обедать. В шесть часов возвращался домой, свертывал медный рубль и отправлялся в театр — русский, немецкий или французский. Там он совершенно предавался удовольствию, возбуждаемому сценическими представлениями; забывал все, его окружающее, плакал и смеялся, как в своем кабинете. Нередко, замечал я, сидя подле него в театре, как соседние с нами зрители удивлялись вниманию и чувствительности молодого человека. Особенно заглядывались на него женщины — должно знать, что в то время женщины, и порядочные и прекрасные, не считали неприличным ходить в партер. И он был неравнодушен к такому вниманию. Достойно замечания, что лучшее его произведение, «Пожарский», обязано существованием своим действию двух прекрасных глаз в немецком театре.

Играли драму: «Волшебница Сидония». Отличная актриса Миллер восхищала публику. Крюковской заливался слезами; я вторил ему. Вдруг он как-то посмотрел в сторону, и слезы остановились у него на ресницах. Глаза его встретились с глазами молодой красавицы, сидевшей в ложе первого яруса.

— Видите ли? — спросил он, толкая меня.

— Вижу, — отвечал я равнодушно, — а что?

— Как что! Эти глаза! Кто, кто эта прекрасная девица? Нельзя ли как-нибудь узнать?

— Можно, и очень можно, — отвечал я.

Вскоре нашел я в партере одного из тех людей, которых можно назвать живыми адрес-календарями; он объявил мне, что эта дама есть девица, дочь такого-то чиновника, из немцев, что она в театре бывает редко, но всякое воскресенье в лютеранской церкви, на Литейной, сидит внизу, обыкновенно на шестой скамье. Я сообщил открытие мое Крюковскому. Он воспользовался этим и стал ходить каждое воскресенье в лютеранскую церковь: притаится, бывало, на хорах и глаз не сводит с владычицы своей, а она, бедненькая, и не догадывалась о своей победе. Поэт довольствовался обожанием идеальным!

Сердце, конечно, можно было насытить мечтами, но желудок требовал пищи вещественнейшей. Родные и знакомые Крюковского, у которых он обедывал, жили в середине города, и он не мог поспевать к ним по воскресеньям. Надлежало заводить знакомства на Литейной. Он нашел средство познакомиться

с Александром Семеновичем Шишковым, который жил тогда в своем доме, напротив церкви лютеранской. В беседе с сим почтенным любителем словесности, он заговорил о своих опытах, принес и прочитал ему всю трагедию, едва набросанную; по совету Александра Семеновича, переменил и исправил в ней многое и, при его же посредстве, сделался известным Александру Львовичу Нарышкину. Тогда была война с французами. Русские сердца кипели ревностью отстоять царей и троны Европы. «Димитрий Донской» Озерова имел блистательный успех. Крюковской долго не решался отдать на театр свою трагедию, почитая ее слишком слабою и ничтожною. Убеждения новых знакомцев превозмогли его боязнь. «Пожарского» сыграли в мае 1807 года — и сыграли превосходно. Яковлев, Шушерин, Каратыгин были в ней неподражаемы. Маленького Георгия играл в нем Сосницкий, тогла едва вышедший из младенчества. Успех был совершенный. При поднятии завесы, Крюковской исчез. Когда кончилась трагедия, публика стала единогласно требовать автора. Долго он не являлся. Гром рукоплесканий и восклицания не умолкали. Наконец показался он в директорской ложе. Я не узнал его — так он был бледен и расстроен. Его с трудом доискались в ложе четвертого яруса, где он скрылся при начале спектакля, в твердом уверении, что трагедия его упадет. Я принимал самое усердное участие в пьесе и в самом авторе. В театре не мог я его видеть; блистательное торжество доставило ему множество знакомых, и я не успел пробиться до него

сквозь толпу поздравителей. На другой день, часов в двенадцать, пошел я к нему, чтоб разделить вчерашнюю радость. Вхожу в комнату— нет никого, все пусто; вхожу в другую, та же пустота — нет ни столов, ни зеркал, ни стульев. «Что это значит? — подумал я, — не может статься, чтоб он выехал: вчера провел я у него утро».

— Кто там? — раздался знакомый голос из-за перегодки.

— Я, Матвей Васильевич! Да где вы?

— Извините, еще не вставал. Войдите покамест сюда.

Я прошел за перегородку и увидел моего поэта в постеле. И спальня опустела: в ней были только кровать его и маленький столик.

— Садитесь, пожалуйста, на кровать, — сказал он мне, смеючись. — На сей раз других кресел у меня нет.

Я последовал приглашению, стал поздравлять его со вчерашним успехом, и между нами завязался жаркий разговор о любимом предмете. Крюковской был вне себя от восхищения.

— Что же вы не замечаете преобразования в моей квартире? — спросил он наконец очень весело.

— Вы, видно, съезжаете? — сказал я печально, думая, что лишусь любезного соседа.

— Нет! — отвечал он, — я остаюсь здесь; только освободился от лишних мебелей.

— Как так!

— Я продал их сегодня. Мне надобен новый фрак; я обедаю у Александра Львовича Нарышкина, а костюм мой уже очень поблек.

— Помилуйте, — сказал я: — можно ли так поступать? Вы могли бы занять деньги, до получения платы за вашу трагедию из дирекции.

— Занять! занять! да у кого? Уж мне эта трагедия!

— Но на трагедию вы не можете жаловаться!

— В самом деле? Так потрудитесь вынуть из этого столика бумагу и прочитайте.

Это было извещение начальства Комиссии составления законов, что переводчик Крюковской, за долговременную неявку к должности, исключен из службы.

— Да это ужасно! — сказал я.

— Что делать! — отвечал беспечный поэт. — Я сказался больным, чтобы работать свободнее дома. Чрез несколько времени мне напомнили, что пора выздороветь. Явиться к должности — значило бы признаться, что болезнь моя была выдумана. Я не пошел, и вот последствие!

— Надеюсь, однако, что ваши труды литературные будут хорошо вознаграждены.

— Да! мне поговаривали что-то о деньгах. А главное то, что мне дают даровой билет в партер. Теперь медный рубль не будет у меня оттягивать кармана.

В это время постучались у дверей. — «Entrez!» закричал Крюковской. Явился молодой портной Фанденберген с новою парою платья.

Чрез несколько времени дела моего приятеля поправились. Он получил хорошее вознаграждение за свою трагедию. Государь, приняв ее милостливо, приказал спросить у автора, чем можно было бы его порадовать. Крюковской с робостью отвечал, что он желал бы усовер-

шенствовать свои познания и талант в средоточии драматического искусства, Париже. Желание его было исполнено: ему назначили хорошее содержание и отправили его в Париж. Там он предался всею душою наслаждениям литературы и драматического искусства, изучал великие образцы, готовил себе запас новых идей, но ничего не успел положить на бумагу. К сожалению, он не имел там руководителей, слушателей, друзей. Воля ваша, а талант требует сообщения, требует участия других. Крюковской, пробыв года два в Париже, воротился в Петербург, с чем поехал: с душою, истинно поэтическою, способною постигнуть и передать все прекрасное, но без твердости и решительности в воле и характере. Я уверен, что и «Пожарский» никогда не был бы кончен без случайных, благоприятных обстоятельств. К несчастию, Крюковской, после блистательного успеха своего, познакомился с односторонними судьями драматического искусства, которые под видом благонамеренных советников, преподают молодым писателям правила, стеснительные для гения, убийственные для таланта. Они охуждали в «Пожарском» все те сцены, которые занимательны действием и положением лиц, а хвалили одни стихи — именно то, чем автор не мог похвастаться. Если б Крюковской жил и писал ныне, когда все школьные и закулисные правила оценены надлежащим образом, когда верное изображение природы человека предпочитается размеренным тирадам героев и тиранов — он попал бы на свою стезю. А в то время поэтической нерешительности и литературного

смешения языков, принужден он был беспрерывно бороться с противоречиями. Я редко видал людей с такими пламенными чувствами, с таким высоким и изящным понятием о любви, какие одушевляли Крюковского,—и он написал трагедию, в коей о любви не упоминается. Клопшток, Шиллер, Гёте были его обыкновенным чтением; Шекспир извлекал у него в театре непритворные слезы — а его осудили низать рифмы и трепетать о соблюдении единств, вследствие небывалого указа Аристотелева. Удивительно ли после этого, что вторая трагедия его, «Елисавета, дочь Ярослава», слаба и несвязна!

Он намеревался было написать трагедию: «Сафо», изобразить все наслаждения и мучения любви. Вероятно, героиня поэта уже существовала в его воображении; вероятно, она облечена была всеми красотами поэзии, но прелестный призрак никогда не осуществлялся и улетел с душою поэта.

Крюковской, чрез несколько месяцев по возвращении из Франции, занемог и, после продолжительной болезни, скончался (1811 г.) на тридцатом году от рождения, оставив отечественной публике залогом своего патриотизма и таланта одну трагедию, а в памяти родных, друзей и знавших его — убеждение, что он, при благоприятном направлении своих способностей, мог бы обогатить и прославить русскую словесность.

Готовясь, по обыкновению, поставить под сею статьею месяц и число, я затрепетал не-

вольно: 29 сентября 1832 года. Ровно за шестнадцать лет пред сим, 29 сентября 1816 года, скончался другой русский литератор, искренный друг мой, незабвенный и незаменимый, человек благородный, необыкновенный умом, талантами, образованием — Павел Александрович Никольский. Здесь могу я говорить о нем только как о литераторе. Ты спросишь: что̀ же он сделал важного? чем прославился в свое время? что оставил потомству? — Спросите у юного дуба, сокрушенного бурею, зачем он не раскинул ветвей своих по долине! Спросите у солнца, на восходе помраченного тучами, зачем оно не оживляло земли своими лучами! — Никольский умер двадцати пяти лет от роду.

Он готовился к службе по горной части, учился в Горном Корпусе очень хорошо, но не мог заниматься исключительно науками точными и естественными. Мельпомена улыбнулась ему в час рождения: литература, поэзия, история увлекали воображение и ум юноши. Он оставил горную службу и вступил в гражданскую, посвящая все свои досуги трудам литературным. В пылкие лета юности, когда всякая удачная попытка нам кажется блистательным успехом, когда мы поставляем главную цель занятий словесностию не в том, чтоб писать, а чтобы печатать — молодой Никольский ревностно занялся литературою практическою, участвовал в издании журналов: «Цветник» и «Санктпетербургский вестник», стал издавать «Пантеон русской поэзии», переводил и повести и романы. Дру-

гой, на его месте, продолжал бы эти занятия и оставил бы лет чрез пятьдесят память писателя трудолюбивого и общеполезного. Но Никольскому этого было недовольно: с необыкновенным самоотвержением признался он самому себе, что не имеет еще тех познаний и навыков, которые нужны для истинного литератора; бросил действительные занятия и углубился в учение. Литература древняя и новая, эстетика и теория словесности сделались предметом его учения и изысканий. Смерть положила всему предел. Воспоминание о человеке обыкновенном тускнет в душе нашей по мере удаления от нас времени его кончины. Но утраченные миром люди отличные становятся нам дороже и дороже, по мере того, как мы на пути жизни удаляемся от времени, которое они украшали для нас своим существованием; по мере того, как мы, узнавая людей, убеждаемся, что нет подобного потерянному другу. Словесность наша, в истекшие шестнадцать лет, чувствительно возвысилась и обогатилась не только числом, но и зрелостью производителей и произведений. С каждым днем узнаем мы о новых явлениях в литературе; с каждым днем наши писатели обогащают ее примерами и образцами; но, поверите ли? — все новое, все прекрасное в нынешних произведениях, в нынешних понятиях, кажется мне знакомым и бывалым! Когда вспомню о Никольском, о смелых, здравых и свободных от всякого предрассудка мыслях его в литературе; когда приведу себе на память его суждения о писателях, тогда нам современных, а ныне выслушиваю-

щих приговор потомства: — тогда мне кажется, что нынешние лучи проистекли от искры, таившейся в душе этого необыкновенного юноши. Не знаю, был ли бы он сам производителем, но уверен, что русская литература имела бы в нем ныне своего Джонсона, Лессинга, Шлегеля; что его ясный, критический, беспристрастный ум был бы лучезарным светилом в тусклой храмине нашей словесности.

Неисповедимая судьба человеческая! Писатели, трепетавшие резкого взгляда и насмешливой улыбки Никольского, ныне красуются и тщеславятся, — а он!..

Принц де-Линь, помнится, сказал Великой Екатерине: «Если бы вы родились мужчиною, то, конечно, дослужились бы до фельдмаршалов!» — «Не думаю, — отвечала она: — меня убили бы в унтер-офицерском чине!»

НАЧАЛО «СЫНА ОТЕЧЕСТВА»

... Мы усердно занимались изданием «Санктпетербургского Вестника». Мирные труды наши прерваны были грозою, разразившеюся над Россиею. Многие из членов нашего общества выехали из Петербурга, некоторые вступили в военную службу, в армию, в ополчение. И остальным было не до литературы. Общее чувство опасности, возвышенное ощущение благороднейших движений любви к государю и отечеству волновали все сердца. Но это не был страх. Мы отнюдь не ужаснулись нашествия Наполеонова, ни мало им не изумились. Оно давно уже было предвидено, предсказано и ожидалось со дня на день. Особы, посвященные в тайны кабинетов, утверждали, что вероятно все кончится миролюбиво, что нет никаких ясных примет скорого начатия войны. Но публика судила и видела иначе, видела правду, которой до времени нельзя было возгласить во всеуслышание. Тяжкое время прожили мы от тильзитского мира до разрыва 1812 года! Россия не была покорена врагом, не повиновалась ему формально, но и союз с властолюбивым завоевателем был уже некоторого рода порабощением. Земля наша была свободна, но отяжелел воздух; мы ходили на воле, но не могли дышать. Ненависть к французам возрастала по

часам. А должно сказать, что послы Наполеона, Коленкур и Лористон, усердно содействовали к ее распространению своею гордостью, дерзостью, тем, что называется по-французски arrogance. К довершению горестного нашего чувства, мы видели страдания государя. Он употребил все средства, какие только совместны были с честию его сана и с величием России, для сохранения мира с тем, для которого все трактаты и условия были только предлогами к начатию новых войн, который не знал пределов своему властолюбию и всякую мысль о независимости иных держав считал преступлением. Мы имеем историю политических сношений того времени, написанную Биньоном, умно, красноречиво, искусно. Но справедливо ли? сообразно ли с истиною и с существом дела? Биньон хвалится тем, что основывает свое описание на подлинных дипломатических актах. Это то же, что писать историю войны, основываясь на реляциях. К тому же, лучшие из тогдашних дипломатических бумаг были написаны министром, который утверждал, что слово дано человеку для сокрытия его мыслей. Весть о начатии войны подействовала на всех как живительный дождь после продолжительного зноя: нет нужды, что он и предвещает жестокую бурю. Ждали известия о сражении на границе — его не было. Армии наши начали отступать. Этот образ ведения войны, чуждый нетерпеливому русскому нраву, возбудил общие опасения и даже негодование. Тщетно люди дальновидные утверждали противное. Да так и сдадут Москву! вопили в публике, и едва ли не обвиняли глав-

нокомандующего в измене: он, в безмолвии и сознании собственной совести, понес на себе всю тяжесть общего мнения. Клястицкое сражение оживило сердца радостью и надеждою. Не знаю, какую цену дают этой победе в стратегическом отношении, но в политическом, в нравственном, она имела самые благодетельные последствия, и недаром глас народа нарек графа Витгенштейна спасителем Петрова града. Эта победа показала нам, то есть массе публики, что самый благородный дух и твердая надежда одушевляют нашу армию; что наши воины знают, что делают, и успешно могут состязаться с французами. Эта уверенность много способствовала к поддержанию бодрости и мужества во всех сословиях народа: дело не последнее. И все принимали в том искреннее участие. Некто из охотников польстить и подслужиться заметил тогдашнему военному министру князю Алексею Ивановичу Горчакову, что пожалованием графу Витгенштейну александровской ленты обошли его, старшего. «Ах, если бы меня всегда так обходили!» воскликнул он с благородным чувством справедливости и скромности.

Один бедный чиновник, подгуляв на радости с приятелями по случаю поражения врагов, шел, пошатываясь и попевая, по иллюминованному Адмиралтейскому бульвару. К нему подошел какой-то иностранец и спросил учтиво: «позвольте узнать, по какому случаю город сегодня иллюминован?» Это взорвало нашего патриота. «Ах ты, заморская тварь, изменник, шпион! Вот по какому случаю!» — закричал он

и отвесил нескромному вопрошателю добрую пощечину. Поднялся шум; забияку схватили и представили в часть.

— Как вы смеете драться? — спросил пристав, — и можно ли бить иностранца за то, что он вас спрашивает?

— Виноват, — отвечал подьячий, — но я ударил бы и ваше высокоблагородие, если б вы спросили о причине нынешней иллюминации.

Добрый пристав успокоил немца синенькою бумажкою, а пьяного патриота отпустил с увещанием не слишком увлекаться чувством народной гордости. Многие порицали, в то время, наше правительство, что оно выслало нескольких подозрительных иностранцев, разглашавших вредные вести, но оно поступило в этом случае справедливо и умно, хотя б в острастку оставшимся. Невероятно, с какою скоростью и быстротою разглашались у нас дурные вести. Я посещал в те времена Биргер-клуб, или Гражданское собрание, бывшее в доме Щербакова, насупротив Адмиралтейства. Там собирались чиновники, купцы, художники, ремесленники и тому подобные люди среднего звания, русские и иностранцы, и сообщали друг другу все, что слышали и узнавали. Все они оживлены были искреннею любовью к государю и России, все встречали каждую добрую весть с восторгом и радостными слезами. Но в семье не без урода. В клубе были и приверженцы Бонапарта, французы, эльзасцы, швейцары. Когда мы, бывало, радуемся хорошим вестям и громко их передаем друг другу, они посматривают на нас косо и с злобною на-

смешкою. Радуйтесь, веселитесь! давали они нам знать, а скоро вам карачун будет. Когда ж приходили новости неблагоприятные, а они узнавали, не весть каким путем, гораздо ранее нас, даже иногда ранее правительства, наши супостаты поднимали головы, пили шампанское с безмолвными тостами и смотрели на русских и приверженцев к России с торжеством и презрением. Лишь только получались несомненные известия о торжестве русских, зловещие заморские птицы прятались по углам. На вопрос: всё ли вы в добром здоровье? эти господа отвечали вздохами и оханьем. Я мог бы рассказать много любопытных анекдотов о том времени, но — кто старое помянет, тому глаз вон! Все это было до милостивого манифеста 1814 года.

И между благонамеренными, истинно преданными отечеству людьми господствовали неодинаковые мнения. Некоторые из них считали эту войну обыкновенным решением спора между двумя державами, который мог кончиться для нас, если не с блистательным успехом, то и без важных потерь. Но бо̀льшая часть, не ученая, не теоретическая, не дипломатическая, видела этот исполинский бой в точном его значении, видела, что дело идет о существовании России, что ненасытный властолюбец не успокоится, доколе не сокрушит грозной своей соперницы на суше, чтоб потом, с бо̀льшим усилием, двинуться на морских своих врагов. В этом случае народ совершенно понимал государя, и происшествия оправдали справедливость сего мнения.

Время текло, и вести из армии сменялись одна другою. Взятие Кобрина Тормасовым было светлым лучом в этой бурной мгле. Армии наши соединились в Смоленске, но вскоре оставили и этот древний оплот русского царства. Сердца бились трепетным ожиданием, но не унывали; общая радость, твердая надежда на спасение отечества запылали повсюду, когда назначен был в главнокомандующие армии князь Голенищев-Кутузов, за несколько месяцев до того заключавший достославный мир с турками, в самых затруднительных обстоятельствах. Он отправился к армии, сопровождаемый общими, искренними желаниями.

Но я увлекаюсь общими и важными происшествиями, забывая, что пишу записки о собственной своей жизни, что не только имею право, но и обязан говорить о себе.

Впрочем, удивительно ли, что я в эту эпоху моей жизни забываю о самом себе? Тогда никто себя не помнил. Я принадлежал к числу тех людей, которые, с самого начала этой грозной войны, если не поняли, то внутренним чутьем ощутили ее важность, ее святость; я не помнил, не знал ничего более, кроме того, что нам должно победить или пасть с честию. Семейственные обязанности удержали меня от принятия деятельного участия в великом деле того времени, но все помышления, все движения души и сердца моего были посвящены успеху правоты и чести над неправдою и наглостью. Лекции словесности, в Петровской школе, превратились у меня в уроки истории и политики. Этим я нажил и искренних друзей и за-

клятых врагов: я рубил, что называется, с плеча, не смотря, куда падают удары. Товарищи мои были люди благонамеренные и почтенные, но, по большей части, или иностранцы, или недворянские уроженцы немецких провинций России: они не постигали, что значит ненависть к чужеземному вдадычеству, не постигали, что невозможно присягнуть кому-нибудь, кроме русского императора. Они любили Россию, как мы любим дом, в котором живем несколько лет по найму: в случае пожара станем усердно его отстаивать, но потом спокойно переедем на другую квартиру. [1] Они дивились моему исступлению и сердились на мои выходки, в которых доставалось и Рейнскому союзу.

Участие, которое я принимал в ходе тогдашних дел, имело и личную причину. Брат мой, Александр, служил в армии: он был поручиком в 3-й артиллерийской бригаде полковника Глухова, при которой находился, после потери Смоленска, образ богородицы Смоленской.

8 августа, писал он ко мне: «Сражение при Смоленске было кровопролитное и ужасное. Подле меня убит друг мой, Ольхин. Чувствую, что не переживу другого сражения. Ты спра-

[1] Прошлого года, в Париже, в большой компании, один француз, умный и образованный, спросил меня, точно ли мы любим государя, и отчего происходит эта безусловная любовь к нему, о которой они, французы, не могут составить себе понятия. Я ответил ему: «Мы любим нашего государя, как данного самим богом отца, который сам любит нас искренно и безусловно. Вы же смотрите на вашего короля, как на опекуна, от власти которого, считая себя совершеннолетними, стараетесь освободиться как можно скорее». (*Н. Г.*)

шиваешь, не нужно ли мне чего-нибудь. Пришли, сделай милость, хорошую зрительную трубку, чтоб я мог лучше различать неприятеля и наводить орудия. Умру — но умру, как истинный сын отечества!»

Последним светлым днем того лета был Александров день. Сверстники мои, конечно, вспоминают, что в этот день, который Россия двадцать пять раз праздновала с восторгом и ликованьем, редко бывала дурная погода, несмотря на близость его к сентябрю. В 1812 году, погода стояла самая ясная, летняя. Разряженные толпы двинулись в Невский монастырь за крестным ходом. К обедне приехал государь со всею императорскою фамилиею. В то же время распространилась весть о победе, одержанной при Бородине. Военный министр прочитал донесение главнокомандующего, но немногие могли его расслушать. Печатной реляции еще не было, а изустная молва преувеличила победу, как прежде преувеличивала потери. Многие слышали от верных людей, что в сражении убито сорок тысяч французов, в том числе маршалы Даву и Ней, и взято в плен тридцать тысяч, и т. д. Можно вообразить себе радость и ликованье всей публики! Взоры всех обращались на государя, который молился с искренним благоговением. Хотели прочесть в глазах его радостную новость, и, действительно, замечали, что он казался веселее и спокойнее, нежели в предшествовавшие дни. Громкие, усердные клики сопровождали его, когда он, после завтрака у митрополита, уезжал из лавры. Весь Невский проспект покрыт был гуляющими, праздную-

щими. Все предавались усладительной надежде.

Обнародование реляции на другой день охладило пылкие ожидания, но не совсем их истребило. Затем наступило безмолвие. Небо покрылось темными тучами; какая-то тяжесть налегла на сердца. Грозные вести, как привидения, носились над головами. Никто не смел спросить другого; всяк боялся ответа. Наконец разразилось зловещее облако громовым гласом: Москва взята! Мертвое оцепенение последовало за сим ударом. Помните ли вы это время, мои сверстники! Время тяжелое, мучительное, но высокое, расширявшее душу, воскрилявшее мысль нашу к престолу подателя всех благ, дотоле миловавшего нашу любезную Россию. Чрез две недели после Александрова дня наступил другой царский праздник, день коронования государя (15 сентября). Молебствие было в Казанском соборе. По окончании его, государь вышел с императрицею и цесаревичем Константином Павловичем из церкви и сел с ними в карету. Он был бледен, задумчив, но не смущен; казался печален, но тверд. Площадь была покрыта народом. Карета тихо двинулась. Государь и государыня кланялись в обе стороны с приветливою улыбкою доверия и любви. Народ не произносил тех громких криков, которыми обыкновенно приветствовал в торжественные дни возлюбленного монарха; все, в благоговейном безмолвии пред великою горестью русского царя, низко кланялись ему, не устами, а сердцами и взорами выражая ему свою любовь, преданность и искреннюю надежду, что бог не

оставит своею помощью верного ему русского народа и православного царя...

Изданное тогда объявление об оставлении Москвы написано было с глубоким чувством, написано языком, доступным уму и сердцу русских. Мы видели, что государь не унывает, что он уверен в спасении отечества и самой Европы, что он не скрывает от нас опасности настоящей, а в будущем полагает надежду на правоту своего дела и на милосердие божие. Между тем принимаемы были меры предосторожности. Из С.-Петербурга стали вывозить некоторые институты, драгоценности, архивы... Петербургские газеты и «Северная Почта» сделались единственным чтением нашим; но это были газеты сериозные, оффициальные, в которых нельзя было разыграться вволю, а дурные вести так и томили нас со всех сторон. Злодеи наши торжествовали. Сердце у меня кипело. Что бы, думал я, теперь затеять русский журнал, в котором бы чувства, помыслы и надежды России нашли верный отголосок, который бы, словами чести и правды, заставил молчать глупцов и злонамеренных! Но как за это взяться? Я был тогда бедным учителем в Петровской школе, имел еще два неважные места; всего в год на тысячу двести рублей с квартирою. Связей и знакомств у меня не было почти никаких. Был у меня один благотворитель, бывший начальник Юнкерского института, в котором я воспитывался, Алексей Николаевич Оленин, но я не смел посещать его, боясь беспокоить его в великом горе, которое его постигло: один из его сыновей, за полгода выпу-

щенных офицерами в Семеновский полк, был при Бородине убит; другой, до беспамятства оконтуженный, также считался между мертвыми. О своем брате не имел я известий; знал только, что он ранен в той же битве.

Около 20 сентября, приехал ко мне тогдашний начальник мой, Иван Осипович Тимковский, человек самый благородный и добрый, которому я многим в жизни обязан, и привез рукописное немецкое сочинение Э. М. Арндта: «Глас Истины», в котором излагалось плачевное состояние Европы и предвещалось скорое ее освобождение. Эта статья написана была совершенно в тогдашнем нашем духе, и для нашего расположения, слогом восторженным и даже немного напыщенным, но нам тогда было не до простоты. «Эту статью, — сказал И[ван О[сиповичь], — сообщил мне Сергий Семенович (Уваров, нынешний министр народного просвещения, тогдашний попечитель Санктпетербургского учебного округа), чтоб я отдал ее кому-нибудь для перевода. Я назвал вас, и его превосходительство просит вас перевесть ее как можно скорее и доставить ему». Я с жадностью бросился за эту работу, просидел над нею ночь; другой день провел в должности и вечером отнес бумагу к Сергию Семеновичу. Иван Осипович был там. Перевод мой, сделанный со всеусердием, в полном чувстве того, что должно было выразить, им понравился. Иван Осипович, бывший цензором, тут же подписал на нем одобрение к печати.

— Но где бы это напечатать? — спросил Сергий Семенович.

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА

Verba animi proferre et vitam impendere vero.

JUVENAL. IV.

1812.

No. I.

Заглавный лист первой книжки журнала «Сын Отечества»

— Напечатать особою книжкою, — сказал Иван Осипович: — политические журналы и даже политические статьи в журналах у нас воспрещены.

— Но теперь обстоятельства переменились, и государь непременно позволит. Если б только найти редактора...

— Его искать недалеко, — прибавил Иван Осипович, посмотрев, на меня.

— Вы соглашаетесь? — спросил Сергий Семенович...

Я отвечал с восторгом, что почту это занятие верховным благом в жизни.

— Надобно бы написать программу.

— Сию же минуту, — сказал я, садясь за стол.

— Как бы назвать журнал?

Слова из письма моего брата мелькнули у меня в уме.

— «Сын Отечества», — произнес я медленно и запинаясь.

— Прекрасно, — сказал Сергий Семенович: — пишите!

Не было трудно написать то, что давно зрело у меня в голове. Сергий Семенович прочитал программу, сделал в ней некоторые перемены и сказал, что доложит министру.

На другой день напечатал я «Глас Истины» и пустил в публику, по скромной цене, по рублю медью. Передняя моя была беспрестанно наполнена покупателями. Но я не думал о денежных барышах. Это приносило мне удовольствие, потому что радовало и утешало моих домашних, которые все еще думали, что придется бежать

из Петербурга. Прошла неделя, и я не слыхал об успехе моего плана. Однажды прихожу домой из классов и вижу, в передней у себя, министерского куриера.

— Пожалуйте к графу Алексею Кирилловичу,[1] — сказал он мне: — пожалуйте сию же минуту: он вас ожидает.

Я поспешил приодеться и отправился к министру. Граф принял меня очень ласково и объявил, что государь изволил утвердить мой проект журнала. Я поклонился.

— Что вы полагаете напечатать в первой книжке? — спросил граф. Я не ожидал этого вопроса и отвечал:

— Журналы начинаются с января; до того времени можно придумать.

— Как! — возразил граф: — я думал, что вы начнете теперь же. Государь, по моим словам, ожидает первой книжки на будущей неделе.

С этими словами посмотрел он на меня в недоумении.

— Если так, — отвечал я: — то книжка будет готова, — и начал вытаскивать из карманов рукописи, с которыми возился в то время с утра до ночи. — Напечатаю «Глас Истины»; потом извлечение из испанских известий; потом вот эти стихи.

— Какие? — спросил граф. Я прочитал их, граф смеялся, слушая их, одобрил все и отпустил меня очень приветливо. Какие были эти стихи? спросите вы. Их сочинил покойный Иван Афа-

[1] Графу А. К. Разумовскому, министру народного просвещения. (*Н. Г.*)

насьевич Кованько, лишь только пришла весть о взятии Москвы. Они оканчивались следующим куплетом:

Побывать в столице слава,
Но умеем мы отмщать:
Знает крепко то Варшава,
И Париж то будет знать.

Эти стихи повлекли с самого начала гонение на «Сына Отечества». Паркетные умники утверждали, что нехорошо хвастать так бесстыдно и хвалиться несбыточными мечтаниями. Они не видели, что не должно хвастать в счастье, а ободрять дух народа в беде можно всеми способами, только не ложью и не обманом. Впрочем, Провидение чрез полтора года оправдало это предвидение русского сердца.

От графа поехал я в бумажную лавку Алексея Алексеевича Заветного и взял в долг бумаги на триста рублей, и потом завернул к содержателю типографии Иоаннесову, с запросом, решается ли он печатать журнал в ожидании будущих благ. Он согласился. Дома нашел я посланного от Алексея Николаевича Оленина, который приглашал меня к себе немедленно. Я отправился и к нему. Он уже знал о позволении государя и сообщил мне разные материалы для «Сына Отечества».

— Да получили ли вы что-нибудь для начатия журнала? — спросил он.

— Не получал, — отвечал я: — да мне и не нужно. Надеюсь, что печатание и бумага окупятся.

— Оно так, — отвечал Алексей Николаевич: — да все же с деньгами начинать лучше. Я постараюсь.

Оттуда поехал я к Сергию Семеновичу Уварову, благодарить его за предстательство, и был принят им с предупредительностию и ласкою, которые совершенно ободряли меня к начатию труда, едва ли бывшего мне по силам. Дотоле бродил я как в чаду, а когда принялся за дело, увидел, что оно не так-то легко; но благосклонное пособие, советы, указания и поощрения почтенных начальников моих уравняли предо мною шероховатый путь скоротечного вестника, и я работал усердно, с уверенностию в важности моего дела и с надеждою на успех. За два дня до выхода в свет первой книжки, получил я уведомление, что государь император, по докладу А. Н. Оленина, который рекомендовал ему меня, как своего воспитанника, пожаловал мне, на первые расходы по изданию, тысячу рублей. Тогда это было для меня важнее, нежели впоследствии десять тысяч.

Вышла первая книжка и была принята публикою с одобрением, какого я не ожидал. Накануне выхода второй книжки, Сергий Семенович прислал за мною и сообщил мне известие об освобождении Москвы. В третьей была напечатана его статья (под заглавием: «Письмо из Тамбова»), в которой предрекалось сооружение колонны во славу государя, с надписью: «Александру I, по взятии Москвы не отчаявшемуся, благодарная Россия».

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРИКА



Н. И. Греч
(из собрания Пушкинского Дома)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Книга барона Корфа о вступлении на престол императора Николая Павловича, по справедливости, возбудила общее любопытство и внимание, описав нам события и сообщив документы, отчасти покрытые мраком неизвестности; но она не вполне удовлетворила ожиданиям публики, ограничиваясь описанием случившегося именно с лицами императорской фамилии, и не вдаваясь в подробности, в описание происшествий отдельных, сопровождавших этот важный и необыкновенный эпизод русской истории. К тому еще автор этой книги, камергер, статс-секретарь, член Государственного совета, следственно человек, связанный обстоятельствами и отношениями, и не мог описывать всего и точно так, как было на самом деле. Желательно, чтоб другие лица, бывшие близкими свидетелями тех событий, передали их беспристрастно, со всех сторон и со всеми подробностями. Нельзя требовать исполнения этого от одного человека. Никто не может быть ни вездесущим, ни всеведущим. Пусть каждый, кто видел или слышал что-либо о случаях того времени, опишет что ему известно: из этих разноцветных камешков составится полная и верная мозаика для потомства. Главное, чтоб говорили правду, ничего не утаивали, не украшая и не прибавляя.

Желая подать тому пример, я напишу все что мне известно о тогдашних событиях и обстоятельствах, которые я видел вблизи, о деятелях того времени

и о действиях их, просто и сколь возможно правдиво, не стесняясь мыслию ни о какой цензуре, не руководствуясь ни пристрастием, ни каким-либо враждебным чувством к кому бы то ни было. Это простые воспоминания, излагаемые безыскусственно, без всякого стеснения какими бы то ни было правилами или системами, долженствующие почерпать цену и важность в истине моих слов и моего прямодушия.

4-го ноября
1857 г.

[Это написал я, когда еще не выходила книга Герцена о 14-м декабря 1825 года. Если в то время, когда написаны были мною эти строки, я считал полезным описать добросовестно и правдиво происшествие того времени, то ныне считаю это священною обязанностью. Гнусный беглец дерзает чернить своею пакостью даже людей достойных и благородных, охуждать (нрзбр) землю и выхвалять наглость, бессовестность, подлость, вероломство и кровожадность. Долг всякого честного человека и гражданина русского, вступиться за правду и смело высказать ее пред светом и потомством.]

4-го августа
1858.

Для точного уразумения причин, свойств и обстоятельств странного заговора и мятежа 1825 года, должно беспристрастно рассмотреть характер и царствование императора Александра Павловича. Воспоминания о нем современников вскоре изгладятся совершенно, и он будет изображаться в истории по разнообразным и противоречивым преданиям и лицемерным документам, в ложном и превратном виде.

Император Александр, рожденный со всеми прекрасными дарами природы, наружными и внутренними, явился в свет в самое для него благоприятное время, когда Россия молила бога о даровании достойного наследника престолу Екатерины. Бог и природа сделали для него все: люди извратили и испортили все, что могли. Известно враждебное, неестественное и пагубное отношение Екатерины к ее наследнику, Павлу. Эта умная, даровитая великая женщина, которой Россия обязана своим устройством (не говорим благоустройством) и просвещением, находилась к сыну своему, как говорят французы, в ложном положении. Она занимала трон России по праву случая и талантов, по убеждению, что она полезна и необходима России, но законное право наследства было на стороне сына, которого она умела держать в почтительном повиновении, не имея возможности внушить ему любовь и доверенность. Неровный, непостоянный характер Павла, при добром сердце и уме необыкновенном, всегда был ему препятствием к точному и благому исполнению обязанностей царских, а долговременная, тягостная подчиненность не только матери, но и любимцам ее, дерзким и наглым, совершенно сбила его с пути и раздражила до крайности. На людей умных находят минуты забвения; на Павла находили минуты добра и здравого смысла. [1]

[1] Действительно в императоре Павле чувство долга и чести нередко одерживало верх над вспыльчивостью и гневом. Вот тому несколько примеров. В 1820 г. Григорий Иванович Вилламов, водя меня по Гатчинскому дворцу, обратил мое внимание на один удиви-

Одним из самых тягостных для него лишений было отчуждение от него детей. Лишь только

тельный бюст Каракаллы и прибавил: «Но еще замечательнее здесь вот эта дверь. У ней, в царствование императора Павла, всегда стоял придворный лакей, чтоб отпирать ее при проходе государя на половину императрицы: это происходило регулярно в шесть часов утра. Раз как-то Павел пришел несколькими минутами ранее; видит: нет лакея, и вспыхнул гневом. Несчастный ушел было в другую комнату, но, услышав шаги, поспешил на свое место. Павел поднял на него палку. Лакей поспешно вынул из кармана часы, поднес императору и сказал:

— Государь! я не виноват. Теперь шесть часов без пяти минут.

— Виноват!—отвечал император, опустил палку и пошел в дверь.

Однажды проезжал он мимо какой-то гауптвахты. Караульный офицер в чем-то ошибся.

— Под арест! — закричал император.

— Прикажите сперва сменить, а потом арестуйте,— сказал офицер.

— Кто ты? — спросил Павел.

— Подпоручик такой-то.

— Здравствуй, поручик!

При одном докладе Ф[едора] М[аксимовича] Брискорна, Павел сказал решительно:

— Хочу, чтобы было так.

— Нельзя, государь!

— Как нельзя! мне нельзя!

— Сперва перемените закон, а потом делайте, как угодно.

— Ты прав, братец, — отвечал император, успокоившись.

В 1800 году, несколько исключенных из службы офицеров, сосланных на жительство в Смоленск, напившись пьяны, вынесли свои мундиры на двор и, при толпе народа, сожгли их. Генерал-губернатором был там Михаил Михайлович Философов, человек необыкновенного ума и характера, отличившийся, в должности

бывало великая княгиня Мария Федоровна разрешится от бремени, ребенок поступал в пол-

посланника при копенгагенском дворе, в странную * эпоху владычества Струэнзе. ** Узнав о безрассудном поступке офицеров, он приказал арестовать их и ждал прибытия Павла, который в то время объезжал западные губернии. Государь, узнав об этом дорогою, прибыл в Смоленск в величайшем раздражении и отправился прямо в собор. При входе во храм, Философов стал в дверях и, протянув руки в обе стороны, не пускал государя.

— Это что? — воскликнул император.

— В священном писании, — возразил Философов твердо и спокойно, — сказано: «Гневный да не входит в дом божий». Павел остановился, подумал и сказал: «Я не гневен, я равнодушен: прощаю всех!»

— Итак, гряди во имя господне! — отвечал Философов, отступил в сторону и низко поклонился. Государь в тот же день пожаловал ему андреевскую ленту.

Бывший при воспитании Павла профессор Эпинус говаривал: «Голова у него умная, но в ней есть какая-то машинка, которая держится на ниточке. Порвется эта ниточка; машинка завернется, и тут конец и уму и рассудку». И то сказать: воспитание его было странное. Из записок Порошина видим, что у него смолоду старались развить страсть к женщинам, и со сведения его матери. (*Н. Г.*) ***

* *Первоначально было*: страшную.

** Говорят, что партия Струэнзе отравила Философова одним питием с Христианом VII. Несчастный король выпил весь стакан и лишился рассудка. Философов, прихлебнув, не допил: у него осталось временное расстройство, не вредившее ни уму, ни чувству его. (*Н. Г.*)

*** В копии (П. Д., т. II, 360) далее рассказывается история о сыне Павла, Семене Великом и его товарищах, уже изложенная Гречем выше со всеми подробностями (стр. 105 — 106), а также и повторяется место об отце Павла, Салтыкове, и примечание о Райко (см. выше стр. 141 — 142).

ное заведывание императрицы. В летнее время великая княгиня приезжала родить в Царское Село, после родов возвращалась в Гатчину или Павловск, а дитя оставалось на попечении бабушки, которая воспитывала внучат по своим видам и понятиям, ни мало не спрашиваясь отца и матери. Не говорю, чтоб Павел мог дать своим детям воспитание лучшее, но они получали воспитание превратное, противоречившее законам природы.

Прекрасный младенец и отрок Александр сделался предметом неусыпных и нежнейших попечений Екатерины. Она составила для него план воспитания, писала и печатала учебные книги, сказки, истории, отыскивала ему лучших наставников. Не надеясь найти для царского сына хороших воспитателей в России (их и теперь в ней нет), она обратилась в чужие края и, по совету известного Гримма, пригласила швейцарца Лагарпа. Выбор был самый несчастный! Лагарп был человек умный, основательно ученый, правдивый, честный, но республиканец в душе и революционер, что доказано действиями его по выезде из России. [1] Такой человек не годился в воспитатели наследнику самодержавного престола, владыке нации, которой большая часть томилась в вековом, законами утвержденном рабстве. Лагарп старался внушить своему питомцу правила чести, добродетели, милосердия и терпимости, но не мог передать ему любви к отечеству, уважения к его нравам, обычаям, законам и основным

[1] Примечание Греча о Лагарпе — см. ниже.

правилам, к народу, необразованному, но богатому всеми стихиями добра и славы. Понятно, что царедворцы завидовали счастливому пришельцу, пользовавшемуся доверенностью царицы, и всячески выражали ему нелюбовь свою, а он платил им глубоким презрением и ненавистью, какие внушал и Александру, стараясь убедить его в той истине, что всегда и везде царедворцы были люди ограниченные, подлые и коварные. [1]

От этого противоречия между уроками наставника и обстановкою молодого принца произошли те неровности, те противоречия, кото-

[1] Доказательство тому, до какой степени Александр не доверял своим приближенным и презирал их, служит следующее происшествие, расказанное мне очевидцем. По вторичном взятии Парижа, в 1815 году, Александр жил там несколько времени, и именно во дворце Элизе, и в свободное время охотно беседовал с герцогом Веллингтоном, раскрывая перед ним все тайны своего сердца. Однажды Веллингтон пригласил к себе на вечер несколько лиц из свиты государевой: Воронцова, Л. В. Васильчикова, гр. Строгонова и н. др. Когда они к нему приехали, адъютант герцога объявил им, что император Александр прислал за ним, и что герцог, надеясь вскоре воротиться, просил подождать его. Действительно, он приехал домой вскоре, извинился пред своими гостями, но в этот вечер был скучен и молчалив более обыкновенного. Видно, что-то тяготило ему душу. Гости, заметив это, стали допытываться о причине. Он долго не хотел отвечать; наконец уступил настояниям любимого им Воронцова и объявил, что Александр изумил и огорчил его при нынешнем свидании: жаловался на свое одиночество, на неимение верного искреннего друга.

— Мне кажется, государь, — сказал ему Веллингтон, — что окружающие вас лица подали вам самые несомненные доказательства своего усердия и вер-

рые встречаем в характере, образе мыслей и действиях Александра. При первом взгляде и особенно, когда он этого хотел, увлекал он всякого, но впоследствии скоро охладевал и переменялся, прикрывая свои истинные чувства личинами прежней дружбы. В случае надобности, он подавлял свои чувства и убеждения, особенно если тщеславие заставляло его возбуждать в людях мнение о постоянстве его расположения к кому-либо. Нет никакого сомнения, что он искренно любил покойную королеву прусскую Луизу (мать Александры Федоровны); но по кончине ее оказывал ее мужу еще более привязанности и уважения, нежели прежде, несомненно желая показать свету, что склонность его к королеве была непорочная и

ности к вашей особе, особенно в течение последних трех лет.

— Нет! — возразил император: — они мне не друзья; они служили России, своему честолюбию и корысти.

Фельдмаршал умолк. Генерал-адъютанты Александра, в досаде и негодовании, залились слезами. Александр жаловался, что не имел друзей, но сам он был ли кому-либо искренним другом? Более всего любил он князя Петра Петровича Долгорукого, но он умер рано, и бог знает что было бы впоследствии. Вот плоды уроков Лагарпа!

Dissimuler c'est regner (Скрытничать — значит царствовать). Так, но тогда и не требуйте любви от других. — В одном английском журнале читал я, что в начале 1812 года в парламенте шла речь о поступлении маркиза Веллеслея, брата Веллингтонова, в русскую службу первым министром, за неимением в ней способных и достойных людей. Интересно было бы отыскать эту статью; она действительно существует.

(Н. Г.)

безкорыстная. Он не отгонял от себя людей, которые ему почему-либо надоели и перестали нравиться. Нет! поцелует бывало — и укажет двери. Усиление знаков его милости было сигналом падения того, к кому они обращались. Накануне отставки графа Кочубея, он сам привез фрейлинский шифр его дочери. Дальновидный царедворец стал вслед затем укладываться в дорогу.

Барон Корф в своей книге передал нам письмо Александра к В. П. Кочубею, написанное им в мае 1796 г. за несколько месяцев до кончины Екатерины. Обнародованием этого письма хотел он доказать давнишнюю наклонность Александра к отречению от престола, но доказал только отвращение его к тогдашнему двору и к России, следствие превратного, бестолкового образования: оно было более блистательное и многостороннее, нежели основательное и прочное. Он выучил многое наизусть, говорил по-французски как дофин, не не умел безошибочно писать по-русски и впоследствии говаривал шутя, что сожалеет о невозможности запретить указом употребление буквы ѣ. В то время, когда ему следовало бы приняться строго за учение, укрепить свой рассудок, распространить круг своих познаний путешествием по России и по чужим краям и прилежным наблюдением бытий человеческих, не ограничиваясь легкими очерками учебной книги, — его женили (на шестнадцатом году). Екатерина спешила насладиться плодом своих трудов и попечений, хотела иметь преемника, любезного ей умом своим и сердцем, ею созданного, ра-

доваться и правнуками. Ранняя женитьба расстроила его во всех отношениях: истощила два прелестные цветка, не дав им развернуться. Это обстоятельство имело влияние, грустное влияние, на всю его жизнь. Он не вкусил счастия родительского и сам увял ранее времени. Смерть Екатерины и вступление на престол Павла изменила порядок и наружность дел, но не характер и мнение Александра. [1] Он

[1] Есть предание, что Екатерина составила завещание, которым, на основании закона, предоставляющего русскому императору избрать и назначить себе преемника, устраняла Павла от царствования и передавала корону старшему его сыну. Говорят, что в секрете был один Безбородко. Он переписывал завещание в двух экземплярах и, по подписанию его Екатериною, скрепил и запечатал: один экземпляр надлежало отправить в Москву, для хранения в Успенском соборе; другой отдать в 1-й департамент Сената. Безбородко отправил пакеты по принадлежности, но в них, вместо завещания, была белая бумага, и, по воцарении Павла, представил ему подлинник. Вероятно, но правда ли это — не знаю. Достойны замечания следующие стихи Державина в оде на вступление на престол Александра:

Стоит (Екатерина) в порфире и вещает,
Сквозь дверь небесну долу зря:
Се небо ныне посылает
Вам внука моего в царя.
Внимать вы прежде не хотели
И презрели мою любовь;
Вы сами от себя терпели, —
Я ныне вас спасаю вновь.

Эти стихи в печати изменены. В подлиннике четвертый стих был:

Назначив внука вам в царя.

Услуга Безбородко Павлу кажется тем вероятнее, что Павел возвел его в княжеское достоинство и по-

был кроткий и покорный сын, в точности исполнял волю отца, смягчал, сколько мог, его строгие, часто несправедливые и нелепые меры, и сделался надеждою, любовью, божеством народа. Все были обворожены его красотою, кротостью, благодушием, вежливостью, снисходительностью. Народ толпился вокруг него, бегал за ним, в его глазах читал упование и отраду. Александр усердно и добросовестно исполнял возложенные на него служебные обязанности, помогал, делал добро офицерам и нижним чинам полков, состоявших под его командою, но не выказывался, не кокетничал. Вокруг него собрались благородные люди: В. П. Кочубей, П. В. Чичагов, М. Н. Муравьев, граф П. А. Строганов, князь А. А. Чарторыжский, Н. Н. Новосильцев, князь П. П. Долгорукий, А. А. Витовтов, М. А. Салтыков.[1] С некоторыми из них он занимался изучением предметов философии, истории, политики, литературы. Плодами трудов его товарищей было издание «С. Петербургского Журнала» (в 1799 году), выходившего под редакциею И. П. Пнина, при помощи Александра Федосеевича Бестужева, отца участников заговора 14 декабря 1825 г.

Свидетельством выставленной нами выше двуличности и переменчивости Александра слу-

дарил ему четырнадцать тысяч душ. Иван Саввич Горголи рассказывал мне еще более, будто бы Екатерина II умерла от отравы, которую поднесли ей стараниями Безбородко. Но это невероятно. Горголи, именно, хотел этим анекдотом оправдаться в роли, которую сам играл 12-го марта 1801 г. (*Н. Г.*)

[1] Примечания Греча о перечисленных здесь лицах— см. ниже.

жит то, что, окружив себя этою блистательною плеядою, он конечно, без ведома их, сблизился в то же время с человеком не глупым, но хитрым, коварным, жестоким, грубым, подлым и необразованным[1] Аракчеевым.[2] Этот бессовестный, но дальновидный варвар успел подметить слабую сторону Александра, неуважение его к людям вообще и недоверчивость к людям высшего образования, и вкрался к нему в милость, но вероятно сам просил его не выказывать своего к нему благоволения слишком явно: он во всю жизнь свою боялся дневного света.

Существование тесной связи Александра с Аракчеевым, в бытность его наследником престола, известно мне по одному неважному обстоятельству: Аракчеев, получив какую-то должность, помнится С. Петербургского коменданта, и чувствуя свою неграмотность, вытребовал себе в писцы лучшего студента Московского университета, обещая сделать его счастие. К нему прислан был Петр Николаевич Шарапов (бывший потом учителем в Коммерческом училище), человек неглупый, кроткий, трудолюбивый и сведущий. Аракчеев обременял его работою, обижал, обходился с ним, как с крепостным человеком. Исключенный из службы по капризу Павла, [Аракчеев] почувствовал сожаление к честному труженику и поручил его покровительству Александра, сказав: «Наследник мне друг, и тебя не оставит». Действительно

[1] *Здесь в копии П. Д. зачеркнуто*: подлым, рабом и хамом.

[2] Примечание Греча об Аракчееве — см. ниже.

Шарапов получил хорошее место: впоследствии сгубила его чарочка.

Аракчеев, заметив в бумагах какого-либо высшего чиновника толк и хороший слог, осведомлялся, кто его секретарь, переводил его к себе, обещал многое, сначала холил и ласкал, а потом начинал оказывать ему холодность и презрение. Так приблизил он к себе почтенного и достойного Василья Романовича Марченка и впоследствии сделал его своим злейшим врагом. Потом вытащил он из провинции простого, неученого, но умного и дельного Сырнева. По окончании ревизии Сибири, выпросил у Сперанского Батенькова, посадил его в Совет военных поселений и потом до того насолил ему, что Батеньков пошел в заговор Рылеева. Между тем Аракчеев хорошо умел отличать подлецов и льстецов. Таким образом втерся к нему бывший потом генерал-провиантмейстером в Варшаве Василий Васильевич Погодин, человек необразованный, но неглупый, сметливый, честолюбивый. Он начал свою карьеру в Министерстве Юстиции, женился на отставной любовнице гр. Шереметьева, сделал себе тем состояние и пошел в люди. Что лучше, думал он, как служить у Аракчеева? втерся к нему, работал неутомимо, кормил и поил Батенькова, чтоб пользоваться его умом, льстил графу, соглашался на все гнуснейшие его меры и, повидимому, обратил на себя милостивое его внимание. Однажды, когда он докладывал, графа вызвали в другую комнату. Погодин воспользовался этою минутою и заглянул в лежавшие на столе формулярные списки, в которых Арак-

чеев] вписывал свои аттестации для поднесения государю. Против своего имени прочитал он «глуп, подл и ленив». И Погодин рассказывал это всем, жалуясь на несправедливость и неблагодарность.

Полагаю, что Александр видел в светских друзьях своих будущих своих помощников пред глазами света, а в Аракчееве готовил цепную собаку, чем он и был во всю свою жизнь. Аракчеев выбрал себе девизом: Без лести предан. Из этого общий голос сделал: Бес лести предан.

Причуды, сумасбродство, тиранство Павла, возрастая ежедневно, достигли высшей степени. Нынешнее поколение не может составить себе о том понятия. Мне смешно, когда толкуют о деспотизме Николая Павловича. Пожили бы вы с его родителем, заговорили бы иное. Все трепетало пред Павлом, особенно люди честные и добрые из его подданных. Почтенные люди, выезжая по утру со двора к должности, прощались с домашними, не зная, где будут обедать, дома или на первой станции по дороге в Сибирь. Павел воображал себя справедливым, а никогда не бывало в России такого неправосудия, как в его время: честных людей гнали и губили, негодяев и мерзавцев возвышали, например: полицмейстером в Петербурге был обанкрутившийся трактирщик Морелли. Первым любимцем его был турченок фершел Кутайсов, граф, шталмейстер и андреевский кавалер. Любовница Кутайсова, французская певица Шевалие, раздавала места, жаловала чинами, решала процессы с публичного торгу. Генерал-

прокурором был раб и палач Обольянинов. Истинные патриоты, Васильев, Беклешов и проч. были в немилости и изгнании. Павел рассорился со всеми своими союзниками и, в сумасбродстве своем, вздумал вызывать на дуэль римского императора Франца II. Он вступил в дружбу с коварным Наполеоном Бонапарте и, забыв все свои дон-кихотства за Бурбонов, выгнал Людовика XVIII с его семейством среди зимы из Митавы [и] признал французскую республику. Мало этого: он согласился с Бонапартом завоевать у англичан Ост-Индию, и уже двинул свои войска в степь. Английский флот, пробившись сквозь Зунд, шел на Кронштадт, тогда очень плохо укрепленный. Дела внутренние были в совершенном расстройстве. При кончине Павла, в Государственном казначействе было всего четырнадцать тысяч рублей деньгами. 1-го мая ни один чиновник не получил бы жалованья. Торговля и промышленность остановились. О науках тогда и помину не было. Взлелеянная Екатериною литература замерзла. В народе господствовало какое-то немое оцепенение. Все предвещало какой-нибудь страшный перелом.

Россия страдала в безмолвии. Некоторые из вельмож стали помышлять о прекращении зла. В числе их был граф Никита Петрович Панин: он первый указал Александру на бедствия и опасности отечества и на необходимость прекратить их. Вдруг Павел за что-то на него разгневался и сослал его в деревню. В 1800 году возвратились в Петербург Платон и Валериан Зубовы, как слышно было, по ходатайству под-

купленной ими мадам Шевалие, и поступили (курам насмех) директорами 1-го и 2-го кадетских корпусов. Но первым зачинщиком и двигателем заговора был человек, которому император вверился совершенно: граф Петр Алексеевич фон-дер-Пален, тогдашний с. петербургский военный губернатор. Он знал переменчивость нрава Павлова, чувствовал шаткость своего положения и решился предупредить удар, особенно узнав, что Павел вздумал воротить бывшего в изгнании Аракчеева. Доверенным лицом Палена был генерал Беннигсен, посланный Павлом командовать какою-то дивизиею вдали от Петербурга. Присоединив к себе еще несколько злоумышленников из генералов и офицеров армии (важнейшим из них был генерал Талызин) Пален составил заговор, возбуждал в то же время подозрения и опасения Павла и, успев даже обратить его недоверчивость на наследника престола, получил тайный приказ арестовать Александра. С этим приказом явился он к наследнику и убедил его спасти отечество низложением человека, помешавшегося в уме. Александр, после продолжительного колебания, дал свое согласие принудить императора к отречению от короны, но с непременным условием щадить отца и не нанести ему никакого зла, никакого оскорбления. Заговорщики обещали ему свято исполнить его волю и конечно сами не имели намерения лишить Павла жизни, но буйные из них (Николай Зубов, князь Яшвиль и т. п.), придавшие себе смелость шампанским, увлеклись злым чувством и умертвили беззащитного своего царя, молившего о пощаде его

жизни, совершили гнусное, ужасное злодеяние. На заре XIX века, люди знатные породою, положением в свете и в государстве, [1] обладавшие всем, что дает человеку право на уважение ближних, что составляет достоинство человека и христианина, прокрались как подлые разбойники, достойные клейма и кнута, в комнату безоружного, спящего человека, отца семейства, и не внемля его мольбам, умертвили его с сатанинским хохотом.

Можно вообразить себе ужас и омерзение Александра, когда он узнал об этом деле. Сначала он не хотел было принимать короны, потом согласился исполнить долг свой, но ужасное сознание участия его в замыслах, имевших такой неожиданный для него, терзательный исход, не изгладилось из его памяти и совести до конца его жизни, не могло быть заглушено ни громом славы, ни рукоплесканиями Европы своему освободителю. У него остались на прекрасном, приветливом лице тяжелые воспоминания этой пагубной ночи в морщинах между бровями, которые появлялись при малейшем душевном движении. Он мог снести все лишения, все страдания, все оскорбления. Только воспоминание о смерти отца, мысль о том, что его могут подозревать в соучастии с убийцами, приводила в исступление. Впоследствии увидим, что Наполеон Бонапарт обязан своим падением оскорблению в нем этого чувства.

Россия приветствовала юного царя, своего любимца, невыразимым восторгом. Первые поэты

[1] *В копии ЦД далее зачеркнуто:* образованные.

того времени славили его вступление на престол. Карамзин, Херасков, Державин, Дмитриев писали восторженные стихи на этот случай. [1]

Александр воспользовался всеми зависящими от него средствами, чтоб прекратить злоупотребления и несправедливость предшествовавшего царствования и поправить что возможно. Тогдашние манифесты (2-го апреля 1801 года) и указы останутся навеки памятниками его любви к правосудию и милосердия. Он возвратил народу права его; он расторг оковы, наложенные на торговлю и промышленность. Накануне бедственной смерти Павла состоялся

[1] Ода Карамзина была выражением искренних чувств всей России, отличаясь не парением, не восторженностью, а умными мыслями и благородными чувствованиями. Ода Державина показывает, до какой степени может закалиться поэзия в душе человека. При вступлении на престол Александра, он лишился места государственного казначея и написал похвальную оду новому государю громкими, звучными, вдохновенными стихами, в которых немилосердно карал его предшественника. В негодовании на новых министров, он подписал под портретом Александра:

Се вид величия и ангельской души!
Ах, еслиб вкруг него все были хороши!

Платон Зубов возразил:

Конечно нам Державина не надо:
Паршивая овца и все испортит стадо.

Из записок Державина можно видеть, какие причины Зубов имел не уважать его. (*Н. Г.*)

В этом примечании Греч повторил место из своих «Записок»; см. выше стр. 191.

указ Коммерц-коллегии вследствие именного указа о запрещении вывоза из русских портов каких-бы то ни было товаров! Возвращены были права Сенату, обуздана тиранская и самовольная полиция, исключенным из службы даны были надлежащие атестаты, позволен выезд заграницу и въезд в Россию, допущен ввоз книг и нот из чужих краев, и наконец уничтожена ужасная Тайная канцелярия, остаток варварской старины и инквизиции. Россия отдохнула и прославила его имя. Он нашел утешение горестному своему чувству во всеобщей к нему любви. Так продолжалось в первые годы его царствования: учреждены были министерства, образовалось Министерство Народного Просвещения, основались университеты и гимназии, издан был либеральный цензурный устав, преобразована Комиссия составления законов; прилагаемы были старания о течении дел гражданских и об искоренении злоупотреблений. Финансы, при старании первого в России министра финансов, графа Васильева, были приведены в порядок; все отрасли государственного управления и быта получили новую жизнь и силу. Нельзя сказать, чтоб все и тогда были довольны настоящим порядком дел. Простая и тихая жизнь государя, его бережливость, его снисхождение к людям, которые того не заслуживали, и главное — внушение зависти и злобы — возбуждали порицания его правления и действий. Эти порицания проявлялись в рукописных стихотворениях. Самое сильное из этих стихотворений было: Орлица, турухтан и тетерев, написанное не помню кем. Орлица это Екате-

рина. Турухтан — Павел, а тетерев — Александр, который в самом деле был крепок на одно ухо. Изобразив мудрость и умное правление орлицы, поэт описывает действия наследника ее турухтана и насильственную смерть его; затем правление Тетерева:

Убили Турухтана,
Избавились тирана.

На место его выбран был — глухой тетерев.

Не царствует, корпит над скопленной добычей,
Любимцы ж царство разоряют,
Невинность гнут в дугу, срамцов обогащают,
Нет честности нигде, идет все на коварстве
И сущий стал разврат во всем орлином царстве.
Ваш выбор безрасудный
Вам, птицы, дал урок таков:
Не выбирать ни злых, ни глупых петухов. [1]

Прекрасное это время, благотворное, кроткое, спокойное, продолжалось до 1805 года. Достойно замечания, что и заря царствования Екатерины II продолжалось лет шесть благотворно для России. Тогда увлекли ее замыслы властолюбия и честолюбия: война турецкая и раздел Польши. Благо и польза России стали на втором плане. Потом возник и у нее Аракчеев, — образцовый варвар Потемкин, и опутал ее как злой паук: он много повредил и ее славе, и благу России.

В 1801 году революционные войны были прекращены заключением мира в Люневилле, между торжествующею Франциею и изнеможен-

[1] Здесь Греч снова повторяет место из первой части «Записок»; см. выше стр. 210.



Александр I

ною неудачными походами Австриею. В 1802 г. подписан был мирный трактат между Франциею и Англиею в Амиене, но не надолго. В 1803 году Англия нарушила мир вследствие многих самовольных поступков Наполеона. Россия была в стороне, но в марте 1804 г. случилось происшествие, изумившее всю Европу. Бонапарт вопреки всем правам и законам велел схватить в Германии жившего там спокойно герцога Ангиенского, потомка Бурбонского дома, привести его в Париж, посадить в тюрьму и расстрелять вследствие беззаконного приговора. Этот поступок преисполнил меру терпения Европы, но Англия не имела средства выразить свое неудовольствие, находясь уже в войне с Франциею. Австрия не могла двинуться от нанесенных ей ран. Пруссия боялась поссориться с Франциею. Возвысил голос один Александр. В звании поруки в сохранении Люневильского мира, он подал протест Регенсбургскому сейму против нарушения нейтралитета Германии. Протест этот был написан в выражениях сильных, но умеренных и вежливых. Бонапарте отвечал дерзко и нагло. Тиер называет ноту Александра неблагоразумною. Нет! это наименование следует дать ответу Наполеона, ибо он стоил ему трона. На жалобу Александра, что принц Бурбонский захвачен был не во Франции, а заграницею, на чужой земле, Наполеон отвечал, что вынужден был к тому интригами Бурбонов, участвовавших в замыслах Жоржа, Пишегрю и других на его жизнь. «На моем месте, — сказал он, — русский император поступил бы точно так. Если б он знал, что убийцы

Павла I-го собирались для исполнения своего замысла на одном переходе от границ России, не поспешил ли бы он схватить их, и сохранить жизнь, ему драгоценную?» Эта кровная обида запала в сердце Александра и поселила в нем неизгладимую ненависть к Наполеону, руководствовавшую всеми его помыслами и делами впоследствии. Принужденный заключить с ним мир в Тильзите, Александр принес в жертву своему долгу и России угрызавшее его чувство, но ни на минуту не терял его и, когда приспело время, отомстил дерзновенному совершенною его гибелью. Вообще Александр был злопамятен и никогда в душе своей не прощал обид, хотя часто, из видов благоразумия и политики, скрывал и подавлял в себе это чувство. [1]

[1] Разительный пример памятозлобия Александра видим в поступках его с бароном Корфом. Генерал-адъютант Федор Карлович Корф, умный, прекрасный, воспитанный, благородный, был одною из блистательнейших звезд плеяды, окружавшей Александра в 1812 году в Вильне. На двадцатом году от роду получил он георгиевский крест из рук Суворова на штурме Праги; командовал в войне 1806—1807 г. Псковским драгунским полком и в начале 1812-го назначен командиром 2-го резервного кавалерийского корпуса. В звании генерал-адъютанта провожал он императора в дрисский лагерь. Александр, увлеченный рассказами шарлатана Пфуля, воображал найти там нечто в роде Кенигштейна и Гибралтара, изумился, увидев невыгодное положение и ничтожность укреплений места, избранного для удержания напора Наполеона. Он отошел в сторону и залился слезами. Корф, не догадываясь об этом излиянии чувств, подошел к Александру. Император опомнился, отер слезы, но с того времени вознегодовал на свидетеля его слабости. Бывший дотоле

Разногласие с Франциею увлекло Александра на поприще политики и войны. Дерзости и захваты Бонапарта вывели Европу из терпения. Все, и самые недальновидные люди, понимали, что при существовании этого человека мир в Европе невозможен. Новый император жил и дышал войною и тревожа, оскорбляя, грабя всех кого мог, утверждал, что все это делает для своей защиты от государств, возбуждаемых против него золотом Англии. Сделаем здесь одно замечание, выведенное нами из всей истории Франции XIX века. За исключением времени царствования Бурбонов обоих линий, особенно старшей, она возвышалась, устроивалась, распространялась, побеждала, торжествовала — обманом и ложью, что продолжается и поныне. Пишу эти строки 9-го ноября 1857 года и утверждаю, что это стереотипное и исключительное орудие Наполеоновской династии сгубит и нынешнего Гришку Отрепьева, называемого Лудовиком-Наполеоном III. Владычество этого племени в Европе есть в ней то же, что преобладание золотушного начала в человеческом теле. Впрочем, французов нельзя угомонить ничем так, как ложью, хвастовством и блеском.

В 1805 году созрел этот нарыв и разразился австрийскою кампанией. Ульм и Аустерлиц

любимец отодвинут был в ряды дюжинных людей. Напрасны были подвиги его храбрости, свидетельства его самоотвержения. Все прочие генералы были ему предпочитаемы. С трудом получил он, по окончании войны 1815 года, александровскую ленту, но не был призываем к лицу государя. Он пережил Александра: скончался в 1826-м году. (*Н. Г.*)

решили судьбу Европы в пользу Наполеона. Оставалась нетронутою Пруссия, но и ее час пробил вскоре. Наполеон, уступив ей не принадлежавший ему Гановер, поссорил ее тем с Англиею и в то же время своими дерзостями и козням принудил ее к вызову, уверяя, что хочет мира. Все одно: l'empire c'est la paix,[1] Прусская кампания 1806 года не имела подобной себе в истории. Это Росбахская битва в пятнадцати местах. Русские не успели подойти во время, но, столкнувшись с Наполеоном, дали ему знать свою храбрость и стойкость при Эйлау. А он наконец взял свое. Победою под Фридландом он доказал, что нам еще рано с ним бороться. Англия помогала нам вяло. Австрия хитрила и мошенничала, как всегда. Александр увидел себя в необходимости склониться на мир и он был заключен в Тильзите. Тиер и другие историки не решили еще, искренен ли был Александр в дружбе, которую при сем случае заключил с Наполеоном. Нет! истинным другом не был он с ним никогда и ни минуты ему не верил. Он, может быть, не хотел с ним войны, может быть, надеялся сначала, что и Наполеон будет с ним откровенен и прямодушен, но этого не было. Рана, нанесенная нотою о герцоге Ангиенском, не заживала. Да и кто мог ужиться с Наполеоном. Он бросался на друга и на недруга, как бешеная собака, и только совершенно рабское подчинение его власти могло, и то ненадолго, удержать его жадность и дерзость в некоторых пределах.

[1] Империя — мир.

Говорят, что Парижский мир постыднее Тильзитского. Нет! нет! Мы в 1856 г. заключили мир, видя, что продолжение войны не может повести к успехам, уступили свое, не взяли чужого. Но тогда мы взяли из рук недавнего врага область (Белостоцкую), отнятую нами у нашего друга и союзника, и этим набросили тень на наше безкорыстие. В оправдание наше говорили, что еслиб мы и не взяли ее, она все же осталась бы за герцогством Варшавским и не была бы оставлена во владении Пруссии. Я полагаю, что Александр взял эту полосу земли в угождение Наполеону и для уверения его в своей дружбе; взял ее с ведома и согласия короля прусского. При заключении Тильзитского мира Александр именно сказал королю и королеве прусским: «Потерпите; мы свое воротим. Он сломит себе шею. Не смотря на все мои демонстрации и наружные действия, в душе я ваш друг и надеюсь доказать вам это на деле».

Тильзитский мир огорчил Россию, но не ослабил ее: напротив того дал ей средства и повод продолжать войну с Турциею и приобрести Финляндию, но для России имел он следствия пагубные, тем что произвел в Александре существенную перемену. С тех пор прекратились или чрезвычайно ослабли благородные его помышления о благе и просвещении России. Он сделался недоверчивее и нелюдимее прежнего. Достойные слуги его были удалены или удалились сами. Граф П. А. Строганов, опасаясь, что его употребят по дипломатической части в сношениях со врагом Европы

и России, перешел в военную службу. Чичагов сдал министерство морское жалкому маркизу Траверсе. Новосильцев прозябал попечителем Петербургского учебного округа, доколе не был (1-го января 1811 г.) сменен фанфароном Уваровым. Князь П. П. Долгорукий, М. Н. Муравьев умерли. Возвысились глупые и недобрые Куракины, неспособный говорун Румянцев, мнимо-справедливый, безтолковый князь Д. И. Лобанов-Ростовский. По смерти графа Васильева (1807 г.) управлял Министерством финансов государственный казначей Федор Александрович Голубцев и, изобличенный неосторожностью секретаря во взятках, уступил место ничтожному графу Гурьеву. С другой стороны, возник Аракчеев во всей красе своей. Александр более и более пренебрегал ненавистными ему внутренними делами, ограничиваясь военными и дипломатическими. Честь, как говорили во время французской революции, удалилась в армию. Войны с турками и со шведами были школою для наших генералов и офицеров.

По дипломатической части Александр наблюдал хитрую и умную политику Людовика XV. Послами и посланниками его в чужих краях были вельможи и знатные баре: князья Куракины, Долгорукие, гр. Головкин, но только для виду, по поверхности; истинными же исполнителями царской воли и поверенными его тайн были — советники и секретари посольств: граф Нессельрод, Анштет, Каподистрия. И государственный канцлер граф Румянцев не знал тайных дум и намерений государя. Он и оба Куракина уверены были в искренней, непоколебимой

дружбе Александра к Наполеону и, уверяя в этом последнего, давали ему в том неоспоримые доказательства. Один Талейран проник истинное свойство тогдашних дел, [1] но, не любя Наполеона, предвидя неизбежное его падение, хотя империя была тогда на высшей степени силы и славы, не выводил его из заблуждения. Политика тогдашняя была не безполезна России, но не оправдывалась законами нравственными. Всякое прикосновение к революции французской

[1] В молодости моей, в 1808 и 1809 годах, давал я уроки русского языка саксонскому посланнику графу Эйнзиделю, прекратившиеся с переводом его в Париж. По заключении мира, он опять прислан был к нашему двору. На одном публичном спектакле, в 1816 году, на котором присутствовали императорская фамилия и весь двор, очутился я в креслах подле моего бывшего ученика и разговорился с ним.

— Не дивитесь ли вы переменам, которые произошли в ваше отсутствие? — спросил я: — кто бы подумал, что эти господа так скоро выскочат? Вот Волконский, вот Чернышев, бывший тогда поручиком, вот Нессельрод.

— Об этом не говорите, — возразил граф: — я имел о нем верное предсказание. Однажды, обедая в Париже у вашего посла, князя Куракина, я очутился подле Талейрана. Куракин врал без милосердия. «Не трудно, князь», сказал я Талейрану, «сладить с такими дипломатами, как эти русские». — «Правда ваша», сказал он: «Куракин ужасный осел, * но вот этот маленький немец (указывая на сидевшего против него Нессельрода) пойдет далеко».

Нессельрод был особенно указан государю бароном Штейном в начале 1812 г., когда безтолковость и недальновидность графа Румянцева всех приводила в отчаяние, — и предсказание Талейрана сбылось вполне. (*Н. Г.*)

* *Первоначально в копии ИД было:* слон.

и ее гнусным исчадиям, наполеонидам, губит и срамит всякую державу, дотоле чистую и благородную. Мы безмолвно согласились на разбойничий набег Наполеона на Испанию и Португалию, не предвидя, что он там расшибет себе лоб; не принимали участия в войне Австрии, поднявшей оружие на притеснителя Европы (1809 г.), и в этом случае были правы, ибо можно было предвидеть, что мы успеха иметь не будем; но вот что нехорошо: Россия, в звании союзницы Франции, двинула, под начальством кн. С. Ф. Голицина, войска свои против Австрии, но действовала слабо и вяло. Французам она не помогла, а австрийцев обидела. Полумеры бессовестные и вредные. Общее мнение России порицало Александра. Наполеон осрамил его, дав ему, из земель, отнятых у Австрии, не именно какую-нибудь область, а четыреста тысяч душ, как бывало у нас цари награждали своих клевретов.

На войну со Швециею надобно смотреть с иной стороны. Правительство наше имело к России обязанность обеспечить северо-западную ее границу. Владения Швеции начинались в небольшом отдалении от Петербурга. Крепости ее владычествовали северными берегами Финского залива. Финляндия, огромная гранитная стена, давила плоскую Ингерманландию. Северная наша столица, в случае войны со Швециею, которая пользовалась бы пособием одной из сильных держав Европы, очутилась бы на краю гибели. [1] В начале царствования Александра

[1] Сообщаю любопытную черту о расположении Александра к его свояку, королю шведскому Густаву IV.

(1802), шведский король Густав IV, приказав выкрасить русскую половину моста на пограничной реке Кюмене шведскими красками (синею и желтою), нарушил тем одну статью Версальского трактата и на жалобы России отвечал

В 1801 году генерал-квартермистром при государе был почтенный и достойный генерал (впоследствии граф) Петр Корнилович Сухтелен, человек весьма умный, учтивый, кроткий в обращении, но тем не менее настойчивый в своих убеждениях. Не знаю, кто из приближенных к государю, Ливен, Волконский что ли, сделал ему неприятность, и вероятно немаловажную, потому что Сухтелен пожаловался государю. Александр старался успокоить его, просил забыть оскорбление, может быть, неумышленно нанесенное, и прибавил: «il faut avoir un peu de philosophie». * Сухтелен не был доволен ответом, но замолчал. Дня чрез два после того, было у государя собрание генералов для обсуждения разных стратегических вопросов, впрочем, в одной теории, ибо о войне тогда не помышляли. Стали говорить, какие границы были бы всего выгоднее для России.

— Что вы думаете об этом, Сухтелен? — спросил император.

Сухтелен встал, не говоря ни слова, взял со стола линейку и на карте России, висевшей пред собранием, провел черту по реке Торнео.

— Полно, полно, — сказал государь: — эта граница нам недоступна. Что скажет свояк мой, король шведский?

— Sire, — отвечал Сухтелен: — il faut avoir un peu de philosophie.

Присутствующие не поняли всего значения этих слов. Александр закусил губы, но так как колкость этого возражения известна была ему одному, не сердился на Сухтелена. (*Н. Г.*)

* Надобно быть отчасти и философом.

высокомерно. Наша армия двинулась к границе, и судьба Финляндии была бы решена тогда же, еслиб Англия не употребила всех своих средств для примирения враждующих. В 1807 году, по заключении Тильзитского мира, король шведский, не понимая ни положения своего, ни обязанностей к соседним державам, опять оскорбил Россию своими сумасбродными требованиями и дерзостями. Александр воспользовался этим случаем и исполнил то, что имели в виду его предшественники, взял Финляндию и обезпечил тем северо-запад России. Хотя это завоевание было очень полезно, но так как оно было сделано против союзника и родственника, то не одобрилось общим мнением в России. При молебствии по взятии Свеаборга в Исакиевском соборе, было в нем очень мало публики, и проходившие по улицам, слыша пушечные выстрелы в крепости, спрашивали, по какому случаю палят. Услышав, что это делается по случаю взятия важнейшей крепости в Финляндии, всяк из них, махнув с досады рукою, в раздумье шел далее. Русский народ чуял, что не там развяжется трагедия, которая готовилась в Европе.

Война на юге не имела таких же счастливых результатов потому, что верный наш союзник Наполеон подстрекал против нас Турцию, между тем как враги наши, англичане, ей помогали. К тому же эта война была ведена довольно безтолково. В 1808 году, когда положено было вести ее сериозно, назначили в главнокомандующие восьмидесятилетнего князя Прозоровского: все его старания клонились к тому, чтоб уме-

реть на правом берегу Дуная. Бог услышал его молитву: он скончался 9-го августа 1809 года. Команду после его принял князь Багратион и молодецки начал кампанию. Александр, в видах западной политики, хотел, чтоб армия осталась зимовать на правом берегу Дуная. Это было невозможно по недостатку там продовольствия. Багратион отказал в том решительно и впал в немилость. В течение зимы он сформировал армию в сто шестьдесят тысяч человек и готовился открыть кампанию. Вдруг на его место был назначен граф Каменский. Кампания 1810 года началась блистательно и кончилась бедственно, несчастным штурмом Рущука, одною из сильнейших неудач, какие претерпела Россия. Граф Каменский был человек храбрый, умный, светский, образованный и отличился в звании дивизионного генерала в шведскую войну, особенно переходом по льду чрез Ботнический залив, но чтоб командовать армиею, у него не стало сил. Он удалился из армии, занемог вскоре и умер (4-го мая 1811, на тридцать пятом году от роду). Кончина молодого блистательного полководца опечалила всю Россию, но нельзя не видеть в этом грустном обстоятельстве милосердия божия. Еслиб Каменский кончил удачно кампанию с турками, он непременно был бы назначен главнокомандующим армиею против французов (в 1812 году), никак не согласился бы на выжидательные и отступательные действия, пошел бы прямо на Наполеона, был бы разбит непременно — и вся новая история России и Европы приняла бы иной вид, а какой — легко можно сказать теперь, по

исходе полувека. Темны и неисповедимы пути божии! От нетерпения молодого русского генерала на берегах Дуная в 1810 году зависела судьба царств и народов!

Не с чего, так с бубен! говорят игроки. Так и при Александре. Некого послать на выручку, так Кутузова. Александр не любил его, по правилу старой русской пословицы: рыбак рыбака далеко в плесе видит, но в важнейших случаях принужден был прибегать к нему, и Кутузов его спасал. Удивительная кампания с турками в 1811 году и заключение Бухарестского мира в 1812, принадлежащие к редким подвигам стратегии и дипломатии, и без 1812 года предали бы имя Кутузова бессмертию и благодарному воспоминанию России.

Выше исчислил я перемену лиц при дворе и в управлении. С лицами переменился и дух правления. Прежняя любовь к законности и просвещению, к либеральным идеям, исчезла. Место ее заступили недоверчивость, скрытность, неуважение к людям достойным, возвышение подлецов и негодяев. Цензура из благородной и снисходительной сделалась строгою, придирчивою. Не учреждалось новых училищ, кроме специальных, т.-е. духовных и медицинских. Лицей был учрежден с особою целью, которая, однако, не знаю почему, была потом выпущена из виду. [1] Государственный Совет преобразован

[1] Говорят, что Александр хотел воспитать в лицее братьев своих Николая и Михаила, наравне с будущими подданными, и что политические обстоятельства помешали ему исполнить это. Невероятно: Николаю в 1811 г., при открытии лицея, был уже шестнадцатый

был по образцу Наполеонова. В законодательстве служил руководством Code Napoléon. Учреждено было Министерство Полиции, под ведением посредственного и слабохарактерного [1] Балашева, у которого правою рукою был фанфарон Санглен. [2] Война с Англиею ведена была вяло с обеих сторон: и Россия, и Англия чувствовали, что не им должно сражаться между собою, а предстояло соединиться для сопротивления общему врагу человечества. Между тем, и эта война тяготила нас. Не было ни кофе, ни виноградного вина в общем употреблении публики: богатые и знатные, конечно, ели и пили, что хотели, но все прочие терпели недостаток в первых потребностях, жаловались, роптали. Больнее всего было унижение России. Бонапарте умышленно прислал послами двух участников в убийстве герцога Ангиенского, Савари и Коленкура. Первый оставался недолго, зато последний играл роль проконсула. Общее мнение, обшее негодование обвиняло Александра, а он сам терпел более всех, принужден был скрывать свои мысли и чувства, видел страдание

год. А мысль, если она была, заслуживает всякого уважения. Лицею (то есть первым выпускам) обязана Россия многими достойными и блистательными людьми *. (*Н. Г.*)

[1] *Первоначально было:* ограниченного умом и знаниями, бессердого.

[2] Примечание Греча о Балашеве (и Санглене) — см. ниже.

* *Первоначально было:* обязана Россия Пушкиным, бароном Корфом и — увы! — князем А. М. Горчаковым.

своего народа и не мог помочь ему. Тяжелое, грустное время! [1] Сколько труда стоило Але-

[1] Расскажу при сем случае анекдот, слышанный мною от очевидца (Ф. И. Ласковского). В начале 1809 года, в пребывание здесь прусского короля и королевы, все знатнейшие государственные и придворные особы давали великолепные балы в честь знаменитых гостей. А. Л. Нарышкин сказал притом о своем бале:» j'ai fait ce que je dois, mais je dois aussi tout ce que j'ai fait». * В числе первых лиц двора был граф А. С. Строганов, враг Наполеона, тогдашнего нашего союзника, удалявшийся от всякого соприкосновения с Коленкуром. На бале у Нарышкина Александр сказал старику: «Ты дашь бал и не будешь дурачиться. Понимаешь!» Граф безмолвно поклонился. Это значило: пригласить и Коленкура. Граф исполнил приказание. Но вот что случилось. Накануне бала приезжает к нему чиновник Министерства Иностранных Дел и привозит записку Коленкура к графу Румянцову с жалобою, что он не приглашен на завтрашний вечер к Строганову. — Посылают за секретарем графским, Ласковским. «Как не приглашен! — сказал Ласковский чиновнику, — его имя стоит первое в списке. Ваши же (министерские) курьеры развозили билеты». Призвать курьеров. Они явились.

— Развезли ли билеты по адресам?

— Развезли, только одного не нашли.

— А кого?

— Дюка де Висанса.

Тут недоразумение объяснилось. Новый титул посла не дошел еще до сведения экзекутора в министерстве. Ласковский отправился с чиновником к Коленкуру и объяснил причину ошибки. Великолепный бал кончился ужином. В одном конце залы был накрыт круглый стол на десять кувертов, по числу царственных особ, удостоивших бал своим посещением. От этого круглого стола тянулись два длинные стола для верноподданных и прочих. Пред самым окончанием танцев

* «Я сделал, что должен был сделать, но зато и должен за все, что сделал».

ксандру уклониться от брачного союза Наполеона с одною из наших великих княжен, а глупые, бессовестные невежды французские (а вслед за ними и некоторые немцы) утверждают, будто Александр раздражен был предпочтением эрцгерцогини австрийской. У народов есть чутье, или второе зрение. Когда Наполеон был в апогее славы, когда весь мир пред ним преклонялся и трепетал, честные и благородные люди в России и в чужих краях предвидели и предчувствовали его падение, как теперь предвидят неминуемое падение его достойного племянника: тот был дневной разбойник, а этот ночной воришка.

Коленкур вошел в столовую, увидел распоряжение, по которому он исключался из общества царских особ, и решился захватить свое место наглостью. Он стал у круглого стола и взялся за стул. Входят гости. Александр в первой паре вел королеву, взглянул, увидел Коленкура, догадался и сказал королеве: «Сегодня позвольте мне не садиться подле вас. Уж и так мне нет покою от моей жены. Буду ходить вокруг стола и ухаживать за всеми». Королева стала, смеючись, возражать. Елисавета Алексеевна, поняв мысль государя, начала играть роль ревнивой жены. Государь не садился и был до крайности любезен со всеми, и особенно с Коленкуром, который согнал его с места и потом жестоко поплатился за свою наглость. Вспомнил ли он об этом вечере, когда он, утром 19-го марта 1814 года, с поручением Наполеона, подъехал верхом к воротам замка Пантен, из которого Александр готовился вступить в Париж? У ворот русский часовой закричал: «Слезай с лошади, с. сын!» И он сошел с коня и, сняв шляпу, потупив голову, прошел с выражением битого французского парихмахера между рядами наших офицеров, которых бывало возмущал своим высокомерием и наглостью. Таким образом вскоре пройдут и Морни, и Валевский, и все эти подлые рабы корсиканских зверей. (Написано 16-го июля 1858 г.) (*Н. Г.*)

Разрыв с Наполеоном, или первые его примеры начались года чрез два после Тильзитского мира. Я упомянул о негодовании Наполеона на вялость, с какою мы помогали ему в 1809 году против Австрии. Он напал бы на нас тогда же, если б не был запутан в Испании: для успешного боя с нами надлежало собраться с силами, что он и сделал. Первым выражением его злобы был отзыв его в Законодательном Собрании в начале 1811 года по случаю издания у нас нового тарифа. Он сказал: «Мелочные (mesquines) меры России не повредят нашим фабрикам». При общем безмолвии, при могильной тишине, господствовавшей в тогдашней политической литературе Европы, эти слова были многозначительны.

Александр предвидел бурю: и все враждебные происшествия и обстоятельства закалили его по природе мягкое сердце, внушили ему твердость и настойчивость, каких мы от него не надеялись и не ожидали, особенно при его тогдашней обстановке. Брат его, Константин, был храбр только в манеже, в сражениях умел найти предлог, чтоб избежать опасности, а в политике был малодушен и недальновиден. К несчастию, он потерял единственного порядочного человека, бывшего при нем, графа Миниха. Жандр, Албрехт, Курута, были люди ниже обыкновенных. Из особ женского пола царской фамилии, Мария Феодоровна была женщина добрая, благотворительная, недальновидная и ограниченная, немка в душе, пропитанная всеми династическими и аристократическими предрассудками. Две женщины были на высоте своего

звания, императрица Елисавета Алексеевна и великая княгиня Екатерина Павловна, бывшая, к счастию, замужем и за благородным человеком. Из приближенных к государю, два человека были достойны его доверенности — граф Кочубей и военный министр Барклай-де-Толли. Кочубей был человек умный, высокообразованный и благородный, но кажется мне, не имел довольно твердости и энергии, не мог совладать с событиями необыкновенными, каковы были события того времени. Я слышал от людей достойных веры, что Александр, в начале 1812 года, не совершенно вверился Кочубею по той причине, что считал его неоткровенным, хитрым, коварным. Странное дело! Кто же из придворных не притворяется, не скрывает своих затаенных мыслей? Александр, сам двуличный и фальшивый, напрасно ждал и требовал прямоты от других. Будь он чистосердечен с Кочубеем, он, конечно, нашел бы в нем отголосок. Барклай был человек возвышенный и чистый, но ограничивался тем, что знал в самом деле: военною частью. К тому он был холоден в обращении и не любим русскими, которые его не понимали и бессовестно порицали. Честь Пушкину, что он прекрасными своими стихами отдал должную справедливость неузнанному и непонятому другу правды и добра. А прочие! Румянцов, Аракчеев, Балашев, князь А. Н. Голицын, граф Гурьев, князь Алексей Ив. Горчаков, Армфельт — одно ничтожество за другим.

В марте 1812 года произошла история со Сперанским. В то время, как я сказал, занимались преобразованием [Государственного] Совета.

И Сенат положено было переделать. Сперанский, в звании государственного секретаря, которое он сочинил сам для себя, работал 17-го марта с Александром до одиннадцати часов вечера. Когда ударил этот час, государь сказал: «Довольно поработали!» встал (кажется, перекрестил Сперанского) и сказал: «Прощай, Михаил Михайлович! Доброй ночи! До свидания». Михаил Михайлович отправился. Выехав из Зимнего дворца, он увидел свет в квартире Магницкого (который жил на Дворцовой площади, в верхнем ярусе дома Кушелева, где ныне здание Главного Штаба) и вздумал к нему заехать. Всходит и видит ужасное расстройство. Все двери настежь. Жена Магницкого (француженка) встречает его в исступлении и объявляет ему, что министр полиции лишь только арестовал ее мужа и отвез неизвестно куда. Сперанский изумился, но догадался в ту же минуту, что подобная участь ожидает и его, утешал несчастную женщину, как мог, обещел ей постараться о ее муже и поехал домой. Он имел время подумать, потому что жил на краю города, на углу Сергиевской и Таврической улицы, насупротив Таврического сада. Въехав на двор, увидел экипаж — Балашева и кибитку тройкой и догадался, в чем дело. Какая причина (не говорю вина) побудила поступить со Сперанским так нечестно? Я думаю, что единственною тому причиною было его плебейское происхождение. Воспитанные французскими гувернерами, баричи не могли перенести мысли, что ими управляет попович, и обвиняли его в делах, которые, по его докладу, решали и утвердили сами. В биографии Штейна утверж-

дается, что Сперанский учреждал тайные общества при помощи Феслера и Розенкампфа: это вздор. Магницкий дело другое, но и он виновен был не в измене, а только в легкомыслии и болтливости. Различие характера и души обоих сосланных оказалось впоследствии во всем своем свете. Ссылка Сперанского принесла свою пользу, обратила на себя внимание и толки публики и отвлекла ее от других важнейших дел. Враги Сперанского торжествовали, но не дай бог никому подобного торжества. Где они? Все умерли, не оставив ни сожаления, ни памяти о себе, а имя Сперанского будет блистать, доколе будут существовать законы в России. На место его государственным секретарем назначен был Шишков, человек неглупый и почтенный, но вовсе не способный ни к каким делам. Движимый теплым чувством любви к отечеству, он написал несколько манифестов, лучшим из них было известие о потере Москвы. Шутники говорили, что, для возбуждения в нем красноречия, должно было сгореть Москве. Это сказал Блудов. По законному возмездию судьбы, пишет он сам теперь манифесты, а они гораздо хуже сочиненных Шишковым. Ни рыба, ни мясо. Средина между бедною «Лизою» и «Марьиною Рощею»; даже не смешно.

Александр, на безлюдье, воспользовался давнишним правилом, которое потом было выговорено и внесено в закон Грибоедовым: «нам без немцев нет спасенья». Первым приближенным к нему советником был генерал Пфуль, преподававший ему в течение двух лет теорию военного искусства. Может быть, что план кампании

1812 года, составленный Пфулем, был нехорош, но Александр, искусным ведением кампании в 1813 и 1814 годах, доказал, что воспользовался уроками умного и знающего тактика. Далее генерал Клаузевиц, Мюфлинг, Вольцоген; но самое благодетельное на него влияние имел бывший прусский министр барон Штейн, человек, какие родятся веками, служивший ему верно, усердно и бескорыстно. Последние четверо оставили по себе записки, могущие служить материалом к тогдашней истории. Не все в них изложено совершенно беспристрастно, но они много объясняют тогдашних обстоятельств. Слава Кутузова, Барклая, Багратиона, Витгенштейна, Платова, Воронцова, Ермолова, Кутайсова, Толля не померкнет от ошибок и недосмотров писателей иностранных, но еще возвысится их беспристрастием. Должно сказать по совести, что если некоторые из сих лиц слишком резко отзываются о наших генералах и государственных людях, они извинительны. У нас господствует нелепое пристрастие к иностранным шарлатанам, актерам, поварам и т. п., но иностранец с умом, талантами и заслугами редко оценяется по достоинству: наши критики выставляют странные и смешные стороны пришельцев, а хорошее и достойное хвалы оставляют в тени. Разумеется, если русский и иностранец равного достоинства, я всегда предпочту русского, но доколе не сошел с ума, не скажу, чтобы какой-нибудь Башуцкий, Арбузов, Мартынов были лучше Беннигсена, Ланжерона или Паулуччи. К тому должно отличать немцев (или германцев) от уроженцев наших Остзейских гу-

берний: это русские подданные, русские дворяне, охотно жертвующие за Россию кровью и жизнью, и если иногда предпочитаются природным русским, то оттого, что домашнее их воспитание было лучше и нравственнее. Они не знают русского языка в совершенстве, и в этом виноваты не они одни: когда наша литература сравняется с немецкою, у них исчезнет преимущественное употребление немецкого языка. А теперь можно ли негодовать на них, что они предпочитают Гёте и Лессинга Гоголю и Щербине?

Я написал эти строки в оправдание Александра: помышляя о спасении России, он искал пособий и средств повсюду и предпочитал иностранцев, говоривших ему правду, своим подданным, которые ему льстили, лгали, интриговали и ссорились между собою. Да и чем лифляндец Барклай менее русский, нежели грузинец Багратион? Скажете: этот православный, но дело идет на войне не о происхождении святого духа! Всякому свое по делам и заслугам. Александр воздвиг памятник своему правосудию и беспристрастию, поставив рядом статуи Кутузова и Барклая. Дело против Наполеона было не русское, а обще-европейское,[1] общее, человеческое, следственно все благородные люди становились в нем земляками и братьями. Италиянцы и немцы, французы (эмигранты) и голландцы, португальцы и англичане, испанцы и шведы — все становились под одно знамя. Исключаю из общего состава турок и поляков: первые не христиане, последние и того хуже.

[1] *Первоначально было:* общественное.

Но я слишком заговорился о постороннем предмете. Мое дело было оправдать Александра в предпочтении иностранцев, и что он не жаловал России и русских, это к сожалению правда. Когда только мог, вырывался из любезного отечества и колесил по Европе. Не даром воспел о нем Рылеев:

Царь наш немец прусский
Носит мундир узкий, —
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь.

Впрочем, отказаться в крайних случаях от совета и участия иностранцев было бы то же, что по внушению патриотизма не давать больному хины, потому что она растет не в России.

Наполеон вторгнулся в Россию. Обстоятельства и последствия этого вторжения известны. Не прошло шести месяцев, как великолепная армия его исчезла, и он в легких санках бежал с Коленкуром, приговаривая: du sublime au ridicule il n'y a souvent qu'un pas.[1] Александр явил в течение этого года твердость, какой от него не ожидали, особенно зная его обстановку. После потери Москвы, возвысились голоса, требовавшие мира. И чьи? Императрицы Марии Феодоровны, Константина Павловича, Аракчеева, Румянцова и некоторых других. Разделяли его убеждение императрица Елисавета Алексеевна, великая княгиня Екатерина Павловна и принцесса Антония Виртембергская (урожденная принцесса Кобургская). Одним из главных его

[1] От великого до смешного — один шаг.

советников и поддержщиков был, как выше сказано, барон Штейн: он понял, что потеря Москвы есть уже освобождение Европы, и нашел сочувствие в государе и в некоторых его приближенных.

Если в 1812 году Александр Павлович явил благородную твердость духа в опытах и бедствиях, в 1813 он снискал славу искусного и прозорливого дипломата. Ему удалось решить задачу, над которою трудились напрасно многие великие люди: он успел соединить, для достижения общей цели, все разрозненные государства Германии; он успел вдохнуть единочувствие и единомыслие в разнонародные войска, составлявшие армию, которая действовала против Наполеона. Должно было соединить в одном лице и кротость, и твердость, и уступчивость, и настойчивость, и ласку, и грозу — все вовремя, все кстати. И в этом он успел совершенно и удивительно. Соединенными силами всей Европы, за исключением Дании, низринута была власть Наполеона в Германии, и он принужден отступить за Рейн с потерею большей части вновь набранной им армии. Но упорный и надменный дух его не упал, не уныл: он все еще надеялся на звезду свою и выдержал тяжелую кампанию 1814 года, которая, дивными соображениями и частными успехами, равнялась с первым его мастерским походом, 1796 года, в Италии. И здесь окончательным решительным и блистательным исходом войны обязана была союзная армия уму и твердости Александра. Без его непрерывных усилий и убеждений, союзники не дерзнули бы пойти на Париж и, может быть,

нашлись бы в необходимости очистить Францию, когда Наполеон стал на сообщениях их с Рейном. Слава благоразумия, доблести и великодушия Александра достигла вшествием его в Париж своего апогея. Едва ли какой-либо государь в мире имел такое торжество. Чрез осьмнадцать месяцев по занятии Наполеоном Москвы, по истреблении сильных и неистовых врагов, вступил он в Париж в челе всей армии, к которой присоединились войска остальной Европы, и подал руку Веллингтону, пришедшему из-за Пиреней, вступил в Париж не при проклятиях и оскорблениях, а при радостных восклицаниях жителей вражеской столицы. Впрочем возгласы и восторги ветреных, легкомысленных французов менее нежели ничего.

Счастие благоприятствовало Александру даже многими потерями. Первая — смерть Кутузова. Думали, что он не мог бы вести войны так успешно: он не ужился бы с немцами, например с Блюхером, и они не согласились бы его слушаться. Вторая — смерть Моро. Если б он остался жив и сопровождал Александра, вся слава досталась бы ему. Таким образом совершилось ровно чрез десять лет возмездие Наполеону за оскорбление Александра упреком в смерти его отца, но замечательно, что и среди побед и грома славы, тень Павла преследовала Александра. Когда взят был в плен Вандамм и приведен к государю, Александр принял его очень ласково, но Вандамм отвечал на учтивость грубостью: тогда государь сказал ему несколько слов на счет злодейских его поступков в Ольденбурге. Дерзкий Вандамм отвечал: «я казнил врагов

моего отечества, но не убивал своего отца». Огорченный Александр сослал его в Москву и узнав потом, что московские дуры за ним бегают, сослал в Вятку. Дерзкие слова произнесены были им, безоружным среди русских: если б он сказал что-нибудь такое Наполеону, тот расстрелял бы его. Великодушие вообще не всегда бывает у места. Почему не взять контрибуции с Парижа за Москву? Французы не кричали бы нам: vive l'Empereur, посердились бы и заплатили. Добро, сделанное им, они тотчас забыли, а пеню чувствовали бы долго, и это было бы им очень здорово. И великодушие, оказанное Наполеону, было излишнее и вредное, что оказалось ровно чрез год.

За обаянием славы вскоре последовало разочарование. Александр посетил на время Петербург, где уклонялся от всяких торжеств и встреч и отправился на Венский конгресс, но победитель и триумфатор на поле брани должен был бороться с гораздо бо́льшими препятствиями в стенах мнимо мирного кабинета. Люди и правительства, освобожденные и спасенные им, сделались его врагами; Англия, окончившая при его помощи продолжительную и изнурительную войну; Австрия, возвратившая при пособии России все потери свои с лихвою; Франция, обязанная ему тем, что не была стерта с карты Европы, — соединились и положили действовать против России. В то самое время, как владыки сих земель изливались в выражениях взаимной дружбы, уважения и благодарности, министры их подписали трактат о противодействии Александру. Этот секретный трактат прислан был

Александру Наполеоном, который, воротясь с острова Эльбы, нашел его на столе в кабинете бежавшего Лудовика XVIII. Появление Наполеона прекратило эти дипломатические ковы и заставило Европу, забыв частные разногласия, возобновить свой союз против демона вражды и кровопролития. Венский конгресс возобновился после Ватерлооской битвы и был кончен к удовольствию некоторых царей и к неудовольствию многих народов. Произошло замечательное явление. Русский император домогался приобретения ненужного, тяжелого и вредного, как ему предсказывали и друзья и враги, и как доказали последствия и ему и его преемнику. Александр впал в большую ошибку. Победа и слава растворили его мягкое сердце, зачерствевшее было в трудах, опасностях и особенно в союзе с Наполеоном: союзы с Бонапартом и его исчадиями всегда были пагубны для держав Европы. В Александре проснулись либеральные идеи, очаровавшие начало его царствования. В 1814 году он побудил Лудовика XVIII дать французам хартии, а на Венском конгрессе хлопотал он о даровании германским державам представительного образа правления. В Вене окружили его поляки, Чарторыский, Костюшко, Огинский и другие, напомнили ему прежние его обещания и исторгли у него честное слово, что он употребит все свои силы, чтоб восстановить Польшу и дать ей конституцию. Европа видела в этом требовании замыслы властолюбия и распространения пределов и увеличения сил России. Австрия и Пруссия опасались влияния этой конституции на свои польские области. Англия

и Франция не хотели, чтоб Россия въехала клином в Европу. Все русские министры восстали против этого, даже бывшие в ее службе иностранцы Штейн, Каподистрио и Поццо ди Борго. Нессельрод впал было в немилость государеву; употреблен был дипломат-писарь Анштет, которому все было нипочем, лишь бы он мог есть страсбургские паштеты. Иностранцы, особенно австрийцы и пруссаки, соглашались и на присоединение Варшавского герцогства к России, только бы в нем не было представительного правления. Александр настоял на своем и, получив герцогство с небольшими уступками соседям, назвал его королевством в Европе и царством в России. Поляки негодовали на это наименование тем более, что полный титул «Царь Польский» поставлен был подле «Сибирского». Русские были огорчены дарованием исконным врагам нашим прав, которых мы сами не имели. Награждены были люди, лезшие на стены Смоленска и грабившие Москву, а защитники России, верные сыны ее, оставлены были без внимания. им заплатили Варяго-Русскими манифестами Шишкова. Александр упрямился в исполнении слова, данного врагам России, окружавшим его польским изменникам, а разве он других слов своих не нарушил? За последнее никто бы не винил его, если б оно было сделано в пользу России. Но как бы он был велик, когда бы, по окончании войны, не взял себе ничего. Как ничего? А слава бескорыстия, великодушия, а успокоение Европы насчет властолюбия и жадности России? Он выиграл бы этим во сто раз более, нежели приобрел заня-

тием гнусной Польши. И к чему он это сделал? Честное слово было только предлогом. Ему хотелось блеснуть в роли конституционного короля, произнесть фанфаронскую речь, а потом играть на Сейме в шахматы, как в парламенте.

Супостаты наши боялись усилить Россию присоединением к ней Польши, а это ее ослабило. Финансы герцогства были расстроены. Россия давала в год несколько миллионов рублей серебром на содержание армии, которая потом сражалась против нее. А нравственное зло! Четыре миллиона изменников, закоренелых врагов наших, сделались русскими гражданами, дворянами: ядовитая жидкость влилась в жилы России. За одно должно благодарить поляков: они вскоре разочаровали Александра и заплатили России по-польски, злом за добро, оправдали предсказания друзей и недрузей наших.

По учреждении царства надлежало избрать наместника. Выбор Александра пал на храброго генерала Зайончека, лишившегося ноги при Бородине. Думали, что поляки будут довольны признанием их храбрости, единственной их добродетели, которую они впрочем разделяют со всеми разбойниками. Не тут-то было! Каждый из магнатов считал одного себя способным и достойным занять первое место в государстве; все они разлетелись по Европе: в Париж, в Лондон, в Берлин, в Вену, везде стали поносить своего благодетеля и злоумышлять против него. В самой Польше свобода тиснения и речи употреблена была на хулы и насмешки над новым правительством (NB. состоявшим из поляков), на брань и клеветы, которых предметом

был неблагоразумный их благодетель. И то сказать: посадили в Варшаву представителем государя и блюстителем законов цесаревича Константина Павловича, который сам не знал и не уважал никаких законов. В одной Варшавской газете разругали актрису (m-lle Phillis), которая ему нравилась. Он послал жандармов — разорить типографию, где печаталась газета. Вот тебе и конституция! Александр успел произнесть знаменитую либеральную речь [1] при открытии сейма и вскоре потом нашелся вынужденным прекратить публичность и гласность прений и ограничить свободу тиснения, которою новые его верноподданные не успели пользоваться. Новые жалобы, новые вопли! Забавнее всего было, что Константин Павлович был убежден в любви к нему поляков и верил им более нежели русским, а между тем оскорблял их и колол булавками. Чашу, наполненную обоими братьями, должен был испить неповинный ни в чем император Николай.

Произнесение речи в Варшаве было высшею точкою восхождения либеральных идей Александра. Он забыл русскую пословицу: «Соловья баснями не кормят», полагая, что поляки удовольствуются его красноречивыми фразами. Увидев свою ошибку, он поворотил оглобли, да было поздно. Произошло смешение языков, смешение понятий, и в чужих краях и дома.

Каково было положение Александра в России? Он никогда не был прилежным работником, предоставляя дела другу своему Аракчееву.

[1] *Первоначально было:* одну шарлатанскую речь.

но с 1812 до 1815 не делал ровно ничего. Это извинялось военными делами и отсутствием. Вот, говорили, война кончилась. Он удосужится, вероятно, и займется, а между тем накопилось дел громады. В «Беседе любителей Российского Слова» было торжественное собрание с музыкою и пением. Хор пел стихи, сочиненные на этот случай Державиным, в которых было сказано: «И хочет благом он заняться своих днесь чад, своих детей». Он и занялся: первым делом было приказание называть первую станцию по Московской дороге не три руки, а четыре руки; вторым положение о ливреях офицерских лакеев, третьим о ношении в какой-то артиллерийской бригаде зеленых брюк вместо белых и пр. Министров не принимал. Все поступавшие к нему жалобы воротил как ненужные. Аракчеев сделался сильнее, нежели когда-нибудь. Публика поворчала, привыкла и перестала, но злой гений России не дремал.

Для объяснения последовавших мыслей и дел Александра должно обратить внимание на религиозное его направление. Не знаем, каково было состояние его верований в молодых его годах, но с 1812 года они получили направление строгое, аскетическое. Говорят, что первым тому виновником был князь Александр Николаевич Голицын:[1] когда по занятии Москвы, все бывшие при дворе впали в уныние, он один сохранял равнодушие и спокойствие. Это не укрылось от взора императора. Не зная, чему приписать такое расположение духа, при общем

[1] Примечание Греча о Голицыне—см. ниже.

унынии, он спросил у князя, где он берет такую твердость. Князь вынул из кармана библию и сказал, что в этой книге почерпнул он уверенность в непременном спасении России. Александр призадумался. В 1813 году, во время перемирия, посетил он гернгутские селения в Силезии (Гнаденберг, Гнаденфрей и пр.); там восхитился он порядком, опрятностью и смирением жителей (Моравских братьев), взял у них несколько книг духовного содержания и погрузился в мистику. Потом сблизился он с помешавшеюся на святости баронессою Криднер, старавшеюся лицемерием старости искупить грешки юных лет. Вот что значило воспитание Александра, основанное на сказочках и на порывах чувствительности. Он век свой прошатался между крайностями. В 1814 году знаменитый впоследствии писатель и министр Виллымен в присутствии Александра во Французской Академии получил приз за похвальное слово Монтескье, был обласкан императором и явился к нему на другой день. В бытность мою в Париже, в 1817 году, рассказывая мне о разговоре своем с императором, он сказал: «До сих пор не могу понять, что хотел мне сказать ваш царь. Речи его были смесью либеральных идей с библиею. Что в них общего?» В самом деле в голове его произошло странное смешение. Он никогда не любил света, его удовольствий и развлечений; никогда не бывал ни в театре, ни в концерте; из искусств любил одну архитектуру, удалялся от беседы с людьми учеными и умными, которых, но своему образованию и уму, мог бы постигать и ценить. По вечерам

ездил пить чай к немецким купчихам, госпожам Бахерахт, Кремер и т. п. порядочным дурам. Читал одни французские романы и выписки из иностранных газет. Видно, он скучал, и после шумной и блистательной славы, все казалось ему безмолвным и мрачным. При дворе составились две партии. С одной стороны граф Аракчеев, окруженный подлыми рабами, в сравнении с которыми сам он был героем добродетели. С другой князь А. Н. Голицын, к которому примыкали Гурьев и другие подобные. Аракчеев не участвовал в духовных помыслах и подвигах Александра, смотря на них издали со скотским благоговением злого пса, еще неуверенного в своих силах, чтоб напасть на врагов своих. Голицын же сделался поверенным души императора, двигателем и орудием его чувств и мыслей. Первым помощником его был служивший дотоле по почтовой части при Козодавлеве Василий Михайлович Попов, человек довольно образованный, знавший иностранные языки и писавший очень порядочно по-русски, но умом ограниченный, суеверный святоша, преданный мистикам. Сподвижником его был директор Почтового Департамента, Николай Дмитриевич Жулковский. Они были люди честные, искренние, убежденные в истине своих верований. К этим впрочем добрым и хорошим людям примкнула толпа изуверов и лицемеров, ища спасение на том свете и благ в нынешнем, шедших по кресту к крестам, чинам и деньгам. Главным орудием их действий и стремлений было издание и распространение библии на всех возможных языках. Дело хорошее и действи-

тельно душеспасительное, но не единое на потребу, ибо зломыслие человеческое превращает и целебное питье в отраву, из слова божия извлекает своими ухищрениями вред и яд. Они вошли в сношение с Лондонским Библейским Обществом: в Россию приехали многие английские миссионеры, Паттерсон, Гендерсон, Пинкертон, и при их руководстве составилось Русское Библейское Общество, которое стало печатать библии на употребительных в России языках и рассылать их. Князь Голицын (в 1817 г.), назначенный министром Народного Просвещения и Духовных Дел, поощрял и награждал ревнителей библии, успел преклонить на свою сторону архиепископа Филарета и других важных духовных особ. Хорошее дело, перевод библии на русский язык, к сожалению не исполнилось, но это можно было сделать в тиши, без шума, без лицемерия и изуверства. Кто не принадлежал к Обществу Библейскому, тому не было хода ни по службе, ни при дворе. Люди благоразумные пробавлялись содействием косвенным или молчанием: таковы были Сперанский, Козодавлев и т. п. Тщеславные шуты, люди без убеждений и совести, старались подыграться под общий тон, но не всегда удачно. Таким образом Уваров, произнесший в 1819 году, при открытии в Спб. Университете кафедры восточных языков, ультра-либеральную речь, за которую впоследствии сам себя посадил бы в крепость, потом стал охать, выворачивать глаза и твердить в своих всенародных речах о необходимости чтения слова божия, но никак не мог подделаться под господствующий тон и с отчая-

ния перешел из Просвещения в Департамент Мануфактуры и при сей верной оказии разорил несколько московских фабрик, мешавших его собственным фабрикам. Вся эта комедия была бы только смешна, если бы она не превратилась в трагедию. К ревнителям библии, глупым и умным, присоединились злодеи и негодяи и употребили во зло слабости и заблуждение государя. Самый злой, коварный и вредный был из них Михаил Леонтьевич Магницкий. По возвращении из ссылки, был он назначен сначала вице-губернатором в Воронеже, потом гражданским губернатором в Симбирске. Заметив, откуда дул ветер, он вздумал им воспользоваться. Не только завел он в Симбирске Библейское Общество и принуждал всех чиновников и дворян вступать в оное членами, но и стал жечь на площади сочинения Вольтера и других подобных писателей XVIII века: он знал их очень хорошо, ибо до ссылки своей был безбожником и кощуном первого класса. Это ауто-да-фе понравилось государю, и хотя для виду порицали в газетах излишнее усердие губернатора, но на деле увидели в нем сильного поборника и верного друга. Он был назначен членом Главного Правления Училищ и попечителем Казанского Университета. Что он там делал, какими негодяями и бездельниками окружил себя, как жестоко, нагло и насмешливо гнал честных и полезных людей, не соглашавшихся быть его клевретами, шпионами и рабами, об этом можно написать несколько томов. Искренним другом и чтителем его был попечитель С. Петербургского Учебного Округа, Дмитрий Павлович



М. Л. Магницкій

Рунич, старавшийся превзойти даже Магницкого[1] в его сатанинских подвигах. Третьим в этом милом совете был директор Педагогического Института,[2] Дмитрий Александрович Кавелин, жалкий и глупый, но тихий лицемер, отец достойного сына профессора Константина Дмитриевича, бывшего наставника наследника престола Николая Александровича. Рунич взялся за С. Петербургский Университет при помощи инспектора университетского пансиона, подлеца Якова Васильевича Толмачева, выкрал тетрадки нескольких студентов, выписал из них казавшиеся предосудительными места, которых сам не понимал, составил из них обвинительный акт, и предал суду университетского совета профессоров Раупаха, Германа, Арсеньева и Галича. Едва ли найдется в летописях инквизиции что-либо подобное! Профессоры эти лишились мест, другие вышли из службы, негодуя и стыдясь служить в таком министерстве. Сообщаем в приложениях подробности этого траги-комического дела.[3] Действовавшие в нем лица сошли со сцены. Жив один Рунич, оставленный женою и детьми, больной, полоумный.

Самое неудачное из наших министерств есть именно Министерство Просвещения. Впрочем, может быть, это так кажется мне, потому что я следил за ним с бо́льшим вниманием, нежели за другими, и имел с ним более сношений.

[1] *Первоначально было:* превзойти гнусного Магницкого.

[2] *Зачеркнуто:* дурак и пустомеля.

[3] О приложениях к «Запискам» Греча — см. ниже в комментариях.

Оно учреждено благою мыслию Александра Павловича в 1802 году. Министром назначен был граф Петр Васильевич Завадовский, человек большого ума, обогащенного познаниями тогдашнего времени, но притом ленивец и пьяница. Он не успел бы ничего сделать, если б не придано было ему в помощь Главное Правление Училищ, в котором заседали М. Н. Муравьев (товарищ министра, попечитель Московского Учебного Округа), Н. Н. Новосильцев (попечитель С. Петербургский), князь Ч[арторыжский] (попечитель Виленский), граф П. А. Строганов, Клингер (попечитель Дерптский), и т. д. Они образовали это министерство; они учредили новые ученые и учебные заведения и возобновили старые, составили благородный цензурный устав и т. п. Но это время было непродолжительно. Политические дела расстроили этот благородный союз и произвели в уме и сердце Александра остуду к предмету, за который он взялся было с жаром пламенного юноши. По смерти Муравьева, занял его место граф Алексей Кириллович Разумовский, человек умный и образованный, но большой барин и ленивец, любитель одной науки ботаники, при которой он допускал необходимость для оной латинского языка. Впоследствии, сделавшись министром Просвещения, он поручил все дела директору своей канцелярии, Ивану Ивановичу Мартынову.

Бывши попечителем, он ненавидел Мартынова и говорил, что желает быть министром единственно для того, чтоб выгнать этого негодного человека. На самом же деле Мартынов сделался у него сильнее, нежели был у Зава-

довского. Когда спросили графа, почему он не держит данного слова, он отвечал: «вы не поверите, как мне приятно, когда этот бывший враг мой докладывает мне стоя и потом засыпает песком, когда я подписываю бумаги». А дела? а польза службы? а просвещение? а Россия? Кто же станет заботиться о таких пустяках.

Уваров, решившийся жениться на устарелой его дочери, сделан был попечителем Спб. Учебного Округа. О нем скажу впоследствии. В 1816 году граф Разумовский был сменен в Министерстве Просвещения князем А. Н. Голицыным. Разумовского подсидел директор лицея, Егор Антонович Энгельгардт, шарлатан, лицемер, хвастун и порядочный скверновец. Он пользовался милостью Александра, к которому успел подольститься под видом прямодушия. В 1816 году по прибытии Александра в Царское Село, он будто невзначай попал ему навстречу в саду и на вопрос государя, что он делает, [ ][1] отвечал, что огорчен выговором министра. Государь полюбопытствовал знать за что. Э[нгельгардт] отвечал: «В декабре прошлого года представлял я министру о необходимости сделать торги на постройку летних панталон воспитанникам и не получил никакого ответа. В январе повторил представление. И тут ответа не было. В марте третье представление и новый отказ. Вот наступил май, и я сшил панталоны без торгов. В октябре наконец получил я разрешение на торги, но тогда донес, что панталоны уже сшиты и изношены. Министр сделал мне строжайший

[1] Здесь не разобрано три слова.

выговор за ослушание пред начальством и за неисполнение приказаний».

Чрез неделю Разумовский был отставлен. И Энгельгардт просидел на месте не долго. Его уходили святоши. Потом он вкрался в милость к Канкрину и сделан был председателем редакции «Земледельческой Газеты». Работу всю отправлял редактор Ст[епан] Мих[айлович] Усов, а Энгельгардт, под предлогом изучения земледелия, выписывал себе на казенный счет журналы о садоводстве. Когда интригант и паук Заблоцкий прибрал в руки Земледельческую Газету, Усова уволили без всего, а Энгельгардту дали полный пенсион. Энгельгардт хвалился своим постоянством: оно состояло в том, что он во всю жизнь ходил в темно-голубом фраке с черным бархатным стоячим воротником и в черных чулках и башмаках. Он умел обморочить не одного умного и образованного человека.

Зная в князе Голицыне человека кроткого, доброго, благонамеренного, многие надеялись от него всяких благ —

Но на счастье прочно
Всяк надежду кинь:
К розе, как нарочно,
Привилась полынь.

Тогдашние происшествия в Европе, неудовольствия Германии на исход Венского конгресса, обманувший надежды немцев, пожертвовавших всем для свержения иноземного ига, в ожидании лучшей будущности; волнения в университетах, умерщвление Коцебу студентом Зандом — все это заставляло призадумываться и

искать средств к успокоению умов и к прекращению беспорядков. Вздумали водворять религию распространением Библии и сочинений Эккартсгаузена и Юнг-Штиллинга. Вошел в моду Лабзин. Попов, Магницкий, Рунич, Кавелин и тому подобные ханжи, лицемеры и плуты завладели Голицыным и его министерством. Главную роль играл при том Магницкий. Ему отдан был на съедение Казанский Университет. Приехав туда и взглянув на профессоров, он тотчас отличил подлецов от порядочных людей: первых приближал к себе, возвышал, представлял к наградам; других преследовал, обижал и выгонял. И в этом поступал он как кровожадные члены Комитета Общественного блага (du salut public) во Франции. Является к нему профессор, толкует с ним, сообщает свои мнения, может быть, приносит жалобы. Магницкий слушает его внимательно, благосклонно. По окончании речи, говорит: «Я имел до вас просьбу и надеюсь, что вы ее исполните». Профессор кланяется. «Вот лист гербовой бумаги, потрудитесь написать прошение об увольнении вас от службы и будьте уверены, что оно вскоре будет исполнено». Студентов заставлял он ходить в церковь как можно чаще; инспектору и профессорам предписано было присматривать, кто из них молится с бо́льшим усердием; по гримасам их, повышал и награждал. Ханжество, лицемерие, а с тем вместе разврат и нечестие дошли там до высшей степени. Особенно отличался подлостями всякого рода профессор Пальмин, поступивший туда из плохих учителей С. Петербургской Гимназии. Когда иезуитский

устав Казанского Университета был введен в Петербургский, казанский ректор Никольский поздравил петербургскую обитель благочестия и просвещения отношением, составленным трудами благочестивого Пальмина. (См. оправд. ст. лит. А.)[1] Эта бумага сделалась известною и возбудила общий смех. Магницкий видел, что его дураки пошли слишком далеко, и обратил свой гнев на Пальмина. Это же обстоятельство подало Магницкому средство или, лучше сказать, предлог расторгнуть связь свою с Голицыным и передаться Аракчееву.

Рунич был ревнителем, поклонником, подражателем и каррикатурою Магницкого. Тот был хитрый и расчетливый плут, насмехался над всем в свете, дурачил кого мог и пользовался слабостями и глупостью людей. Рунич был дурак, хвастун, пустомеля; фанатисм его был не естественный, а прививной: попадись он в руки Рылеева, он был бы повешен вместе с ним. Подражая во всем Магницкого, восхищаясь его Робеспиеровскими подвигами в Казани, Рунич хотел повторить то же с большим блеском и громом в Петербурге. Помощником его был профессор русской словесности Яков Васильевич Толмачев, переведенный в университет из петербургской семинарии за то, что учил грамоте девиц Перовских, побочных дочерей графа Разумовского и пресловутой Марьи Михайловны, бывшей потом генеральшею Ле-

[1] Такой «оправдательной статьи» в приложениях к «запискам» Греча не имеется ни в рукописи ПБ, ни в копии ПД. См. комментарии.



Д. П. Рунич

онтьевою. Толмачев приобрел, то есть выкрал тетрадки студентов. Это мне известно в точности. Брат Бориса Карловича Данзаса, Генрих, умерший в молодых летах, лежал больной неопасною болезнию в лазарете и слышал, как Толмачев подговаривал студентов выдать ему тетрадки их товарищей. На возражения их, он отвечал: «Что их щадить, этих проклятых немцев, всех их надо выгнать. От них житья нет!» На жертву избраны были профессоры Герман, Раупах, Арсеньев и Галич. Герман, ученик знаменитого Шлёцера, в Геттингене, был человек умный и ученый, но тяжелый, ленивый и довольно легкомысленный. Он преподавал в университете Всеобщую Статистику умно и дельно, но поверхностно. Гораздо интереснее и важнее были частные лекции его в обществе молодых офицеров и других любителей наук. По миновании бури, он поступил инспектором классов в Смольном Монастыре и Екатерининском Институте и пользовался до конца жизни своей милостями императрицы Марии Федоровны. Он издал несколько книг о статистике на русском и на немецком языке, не отличающихся внутренним достоинством и написанных поверхностно, но был человек честный и добрый и никогда не замышлял ничего дурного: это требует напряжения и труда, а он любил негу и лень. Умер он в 1838 г.

Эрнст Раупах, впоследствии известный драматический писатель, был гувернером детей кн. П. М. Волконского и, по протекции Уварова, поступил в университет сперва профессором немецкой литературы, а потом всеобщей исто-

рии. Он был протестант и поэт, следственно преподавал свой предмет свободно и не стесняясь узкими взглядами суеверов. Может быть, он был и неосторожен, но никак не был ни революционером, ни безбожником. Лекции его были тем безвреднее что он преподавал на немецком языке, которого девять десятых студентов не понимали, а остальные были протестанты. Полагаю, что он навлек на себя негодование начальства тем, что понимал и презирал тогдашних своих командиров.

Константин Иванович Арсеньев, ученик Германа, человек благородный, честный и кроткий, подпал гневу начальсгва за то, что не согласился жениться на племяннице ректора Зябловского. Какой изверг! Он должен был бы взять пример с известного литератора, переводчика Истории Гиллиса, Алексея Григорьевича Огинского, который, для приобретения протекции, женился на теще Толмачева! Арсеньев, служа в Инженерном Училище, пользовался милостями великого князя Николая Павловича и впоследствии был учителем нынешнего государя Александра Николаевича. В 1848 году, будучи уже тайным советником и членом Совета Министерства Внутренних Дел, он подвергся немилости Николая, по доносу председателя секретной цензуры, Д. П. Бутурлина, за одно выражение в письме, при котором он поднес свою книгу цесаревичу, но этот гнев не имел вредных для А[рсеньева] последствий.

Александр Иванович Галич, человек добрейший, основательно учившийся философии, но слабый и безхарактерный, был игрушкою уче-

ников Петровской школы, в которой он сменил меня, в 1813 году, в звании старшего учителя русского языка. Не умея, при всей своей учености, справиться с высшими классами, он просил перевести его в класс для преподавания чтения, что и было исполнено. Потом получил он место профессора философии в университете. Он написал И с т о р и ю Ф и л о с о ф с к и х С и с т е м, по немецким источникам, варварским и темным слогом. Из этой несчастной книги извлекли материалы к обвинению его. Ему самому приписали чужие мнения, которые он приводил в истории.

Профессоры университета разделились на две стороны—белую и черную. На белой были: Балугиянский, Лодий, Бутырский, Плисов, Шармуа, Деманж, Грефе, Чижов, Соловьев, Вишневский, Ржевский, Радлов и директор училищ Тимковский. На черной: Дегуров, Зябловский, Толмачев, Рогов, Попов и Щеглов. Первые придерживались своего мнения и выражали оное по искреннему убеждению, по долгу правды и чести; последние по зависти, подлости, трусости и желанию выслужиться у гнусного начальства. По составлении Руничем и его клевретами обвинительных пунктов, подсудимым сделаны были допросы в заседаниях университета, 3-го, 4-го и 7-го ноября 1821 г. Сообщаем под лит. В, в оправдательных статьях, подробное и верное описание этих заседаний составленное тогда же профессором Плисовым. [1] Едва ли

[1] Об этой записке Плисова—см. ниже в комментариях.

можно поверить, чтоб нечто подобное могло случиться в 19-м веке, в царствование Александра I! Рукопись Плисова разошлась по рукам. Святоши, узнавши о том, стали его преследовать. Плисов преподавал естественное право в гимназии. Кавелин обещал Руничу сгубить его на тогдашнем экзамене. Сообщаем историю этого экзамена, написанную Плисовым (Опр. ст. лист. С.). [1]

По рассмотрении Руничем учебных тетрадок, донес он о них министру: «Хотя в тетрадках Плисова не найдено ничего предосудительного, но это самое и доказывает, что он человек вредный, ибо, при устном преподавании, мог прибавлять, что ему вздумается». Плисов был уволен от должности. Впоследствии был он директором Департамента Духовных Дел Иностранных Исповеданий по Министерству Внутренних Дел, и отставлен Перовским за то, что не хотел скрепить противозаконной, по его мнению, бумаги. Он умер в звании члена консультации в Министерстве Юстиции.

Дело профессоров кончилось ничем. Герман поступил на службу к императрице Марии Федоровне. Раупах вышел в оставку, уехал в Германию, посвятил себя драматической литературе и приобрел большую известность. Сообщаем в оправдательных статьях его ответ Руничу на обвинения в безбожии. [2]

Арсеньев был определен по Статистическому Отделению в Министерстве Внутренних Дел. Когда Рунич, получив за свои подвиги орден

[1] См. комментарии.
[2] См. комментарии.

св. Владимира 2-й степени, явился к великим князьям, Николай Павлович благодарил его за изгнание Арсеньева, который мог теперь посвятить все свое время Инженерному Училищу, и просил выгнать из университета еще несколько человек подобных, чтоб с пользою употребить их на службу.

Сам Рунич сгубил себя. Надлежало перестроить здание, купленное для Петербургского Университета в Семеновском полку, где ныне Синодальное подворье, на углу Кабинетской улицы. Рунич исходатайствовал согласие министра строить эти здания не с подрядов, а хозяйственным образом, получил миллион триста тысяч рублей асс. по смете, отделал себе квартиру, построил отхожие места и кончил — за недостатком сумм. Его и всех чиновников, прикосновенных к делу, предали следствию и суду и приговорили к взысканию с них недоимки. Но взять было нечего. Рунич детей своих роздал по казенным заведениям, а сам шатался по улицам с владимирскою звездою, отпустив себе усы, горланил, хвастал и жаловался, обедал где случалось и так провел свой век. Наконец впал в болезнь и ребячество. Дм. В. Дашков над ним сжалился и помог ему. Равно ходатайствовал за него и кн. Варшавский.

Достойно замечания, что Магницкий, втянув Рунича в свой круг, потом представлялся, что удерживает его от необдуманных поступков и предсказывал ему худой конец. Замечательно также, что, по падении Голицына, потухла в Руниче и ревность к вере, заставлявшая его делать всякие несправедливости и преследовать людей.

В последний день масленицы 1824 года приходит ко мне от него человек и приглашает к обеду на вторник, уведомляя, что у него будет обедать Сергей Николаевич Глинка. Я изумился и спросил у посланного, не ошибается ли он. —«Во вторник на первой неделе великого поста православные не кушают скоромного, а до постной пищи я не охотник и потому прошу извинить меня нездоровьем».—«Что вы, сударь,— возразил мне с язвительною улыбкой посланный.—Вы говорите о временах прошлых. Нынче у нас мясоед круглый год». Я отправился к Руничу в назначенный день и нашел, что он, видно для возбуждения аппетита, играет с каким-то молодым человеком на биллиарде и в то же время толкует ему литургию Василия Великого. Приехал С. Н. Глинка. Обед был скоромный и беседа отнюдь не великопостная!

Рунич оставался попечителем округа и в министерстве Шишкова, до открытия беспорядков по хозяйственной части, и всячески старался к нему подбиться. На экзамене гимназии, Шишков, утомясь испытанием учеников в каких-то скучных предметах, вздумал посмотреть книги, разложенные на столе перед ним, для раздачи в награду ученикам. Взял одну и развернул: «О старом и новом слоге русского языка»; другую: «Разговор о Словесности»; третью: «Детская Библиотека»—все его собственные сочинения! Он видимо смутился.

Шутники говорили, что потом, когда он, по приглашению попечителя, пришел к нему на завтрак, дети Рунича (а их была куча) запели хором из «Детской Библиотеки»:

Хоть весною и тепленько,
А зимою холодненько и — проч.

И Магницкий не избежал своей участи. Ниже сказано, как он поехал на поклонение в Грузино. Там он всячески льстил и пресмыкался, но вряд ли умел надуть Змея-Горыныча. Аракчеев, употребив его в свою пользу, бросил бы как выжатый лимон. Магницкий, уезжая, поднес Аракчееву описание вещаго сна, будто бы виденного им, когда он ночевал в Грузине: в этом сне видел он дивные вещи в будущем и предсказывал успехи и всякое счастие поборнику православия. Воротясь в Петербург занялся он какими-то планами о преобразовании просвещения и духовной части в России.

27-го ноября 1825 года Магницкий сидел в своем кабинете и сочинял—бог знает что. Входит к нему ренегат, примкнувший к православию, но человек честный, сенатор Матвей Петрович Штер. Магницкий показывает ему с торжеством написанную им бумагу. «Открою глаза государю!—говорит он:—увидит всю мерзость людей!»

— Вы пишете к государю?—спросил Штер.

— К государю, а что?

— Государь скончался.

Магницкий опустился на стул и преклонил голову, закрыв глаза руками. Между тем Штер сообщал ему подробности плачевного события. Чрез несколько минут М[агницкий] вскочил и закричал: «Пишу к императору Константину Павловичу». Единственным делом, которое дозволил себе Николай Павлович, до вступления

своего на престол, была высылка Магницкого. Ему велено было ехать в место служения своего, Казань. Он барахтался несколько времени, но принужден был повиноваться. Вскоре он был уволен от службы, с приказанием жить в Ревеле. Впоследствии жил он в Одессе, где и умер. Все его старания выкарабкаться оттуда были напрасны.

У Магницкого был один сын, хорошенький собою, умный мальчик, служивший в гвардейских гусарах. За какую-то шалость он был выписан из гвардии. Я видел его потом у Ростислава (Феофила Матвеевича Толстого). Он был человек образованный и приятный. Женатый уже, он влюбился в другую замужнюю женщину, сошел с ума и умер. Дочь его незамужняя, дурно воспитанная, упала до степени публичной женщины: «аз есмь господь бог твой, бог ревнитель, отдавый грехи отец на чада до третьяго и четвертого рода ненавидящим меня!» (Исх. XX, 5).

Голицын, Попов и вся эта шутовская компания восхищалась плодами трудов своих. Но —on n'est jamais trahi que par les siens, что значит по-русски: «не выкормя, не выпоя, ворога не узнаешь». Аракчеев издавна, со всею злобою зависти, смотрел на успехи и распространение силы Голицына. Под влиянием его внушений, составилась партия анти-голицынская, ничем не лучше в нравственном отношении: ее составляли петербургский митрополит Серафим, отданный преосвященным митрополитом Московским Платоном из семинаристов в монахи, чтоб спасти его от позорного наказания за какое-то мерзкое преступление; петербургский обер-полицмейстер

пьяный Иван Васильевич Гладков; сестра его, игуменья казанского женского монастыря Назарета, Прасковья Михайловна Нилова, урожденная Бакунина, и еще некоторые особы, собиравшиеся у вдовы Державина. Чрез кого действовать на [Голицына] не знали. Думали, думали, и наконец догадались пощупать Магницкого, не согласится ли святой человек сыграть роль Иуды, изменить своему благодетелю. Между тем В. М. Попов не согласился на [1] предложение Магницкого об исключении из службы казанского профессора Пальмина (величайшего скота), которого он сам недели за две представил к ордену за христианскую его душу, и положение Комитета Министров было уже утверждено государем. К тому Магницкий получил все, чего мог ожидать: аренду, земли, пенсион, единовременное награждение: с чего было ему оставаться у Голицына? Он склонился на предложения благородного Аракчеева и поехал на поклонение в его Мекку (Грузино). Там Иуда Искариотский раскрыл пред Вельзевулом все подробности, все таинства библейского союза, всю нелепость, все ухищрения их: он мог сделать это легко и скоро, ибо сам был в этих проделках главным действующим лицом. Новые друзья условились, как погубить Голицына, и действительно в том успели. Подробности этого дела, известные мне потому, что я был в них если не действующим, то страдательным лицом, будут изложены в примечании.[2] Государя убедили, что Голицын и его

[1] *Зачеркнуто*: одно нелепое.
[2] См. ниже «Дело Госнера».

приверженцы составили заговор против православной церкви, распространяли учение протестанизма и намерены водворить в России безбожие и нечестие. Выкрали для того подлым образом корректуру одной книги, печатавшейся с одобрения цензур князя Голицына, выписали из нее несколько мест и дали им кривой толк. Слабый Александр испугался, отнял у Голицына Министерство Просвещения и Духовных Дел, оставив его только главноначальствующим над Почтовым Департаментом, сменил Александра Ивановича Тургенева, бывшего директором Департамента Духовных Дел, и директора Департамента Просвещения Попова, с преданием последнего уголовному суду. Министром на место Голицына поступил выживший в то время из ума безтолковый Шишков за сочинение нелепого разбора означенной заподозренной книги. Не знаем, что сталось бы с лицами прикосновенными к этому делу, еслиб не умер Александр.

В политическом отношении жизнь и царствование Александра с 1815 года были также беспокойны, неровны и никак не походили на первые лета его владычества, благие и кроткие. Не в одной России, во всех государствах Европы народ был разочарован и обманут. Тонули, топор сулили; вытащили, топорища жаль. Низвержение преобладания Наполеонова произошло при восклицаниях: да здравствует независимость, свобода, благоденствие народов, владычество законов! Все ждали наступления какого-то Астреина века. Венский конгресс показал, что о народах и правах их никто не заботится. Один Александр ратовал, на зло всем и во вред

себе, за безмозглых поляков. Между тем либеральные или, как называл их Александр, законосвободные идеи разлетелись, укоренились, разцвели и принесли плоды во всей Европе. Началось ропотом, кончилось мятежом. В разных местах Германии, в Испании, в Португалии и особенно в Италии, народ, подстрекаемый честолюбцами и поджигателями, восстал на правительство и принудил неограниченных дотоле владык своих надеть цепи конституционного правления, за которым скорыми шагами шли республика и анархия. Государи Европы испугались и стали советываться, как бы усмирить эти волнения и утвердить свои престолы. Александр видел справедливость их опасения и разделял их испуг, но решительно начал действовать против либерализма только после Троппауского конгресса, в которое время вспыхнула вестница судеб, семеновская история.

Как в XVIII веке пребывание французских генералов и офицеров в Северной Америке подало случай занести семена возмущения во Францию, так в начале XIX века наши молодцы заразились либеральными идеями во Франции, поощряемые к тому правилами и мнениями своего законного государя. Общее мнение не баталион: ему не скажешь: весь-гом. Не только офицеры, но и нижние чины гвардии набрались заморского духа: они чувствовали и видели свое превосходство пред иностранными войсками, видели, что те войска при бо̀льшем образовании пользуются бо̀льшими льготами, бо̀льшим уважением, имеют голос в обществе. Это не могло не возбудить в начале просто

их соревнования и желания стать наравне с побежденными. Я был свидетелем обеда, данного в 1816 году гвардейским фельдфебелям и унтерофицерам одним обществом (масонскою ложею). Люди эти вели себя честно, благородно, с чувством своего достоинства; у многих были часы и серебряные табакерки. Некоторые вклеивали в свою речь французские фразы. Одни из посторонних зрителей обеда восхищались этою переменою, другие пожимали плечами. Офицеры делились на две неравные половины. Первые, либералы, состояли из образованных аристократов; это было меньшинство; последние, большинство, были служаки, люди простые и прямые, исполнявшие свою обязанность без всяких требований. Аристократо-либеральные занимались тогдашними делами и кознями Европы, особенно политическими, читали новые книги, толковали о конституциях, мечтали о благе народа, и то же время смотрели с гордостью и презрением на плебейских своих товарищей; в числе последних было не мало Репетиловых, фанфаронов, которые, не имея ни твердого ума, ни основательного образования, повторяли фразы людей с высшими взглядами и восхищались надеждою, что современем Пестель или Сергей Муравьев отдаст им справедливость и введет их в свой круг.

Наконец высшее начальство заметило послабление дисциплины и фронта в войсках гвардейского корпуса и сочло нужным попритянуть возжи. Бригадными командирами 1-й гвардейской дивизии назначены были: первой бригады (полки Преображенский, Семеновский и Егер-

ский) великий князь Михаил Павлович, а второй (полки Лейб-Гренадерский, Павловский и Саперный баталион) Николай Павлович. В Преображенском полку назначили командиром (на место барона Розена) умного и благородного полковника Карла Карловича Пирха, в Семеновском (на место Потемкина) армейского служаку, строгого исполнителя своих обязанностей, Федора Ефимовича Шварца. Этот несчастный выбор был причиною всей беды. Шварца, человека чужого, не аристократа, приняли офицеры с явным презрением, которое вскоре выразилось эпиграммами и насмешками. Брат мой, служивший в Финляндском полку, предсказывал мне, что добра в Семеновском не будет. Он стоял однажды в карауле в семеновском гошпитале. Один баталион учился. Пошел сильный дождь. Офицеры укрылись в корридорах гошпиталя и, несмотря на присутствие солдат, издевались и ругались над полковыми командирами, и как нарочно по-русски. Я сам был свидетелем одной сцены. Потемкин не съезжал еще с квартиры полкового командира, в деревянном доме по Загородному проспекту, насупротив летних палат Обуховской больницы. В палатах загорелось. Солдаты в казармах, завидев дым, поднявшийся в той стороне, все, без приказания, опрометью бросились спасать дом бывшего любимого командира. «Отец наш Яков Алексеевич!—кричали они, — он не то, что этот подлец Шварц».

Офицеры дали прощальный обед Потемкину, произносили тосты, плакали, бранили Шварца (который приглашен не был), и после обеда некоторые из них, разгоряченные шампанским,

подошли к квартире Шварца и громко его ругали.

По званию моему, директора полковых училищ, я познакомился со Шварцем и нашел в нем доброго, простого православного человека, в котором не было и тени немца. Он видел свое ложное положение, горевал о нем, предчувствовал беду и говорил о том, не зная как вывернуться. Презрение к нему офицеров, неуважение и дерзость солдат доходили до высшей степени.

Он нашелся принужденным наказать одного унтер-офицера, и пламя, таившееся под пеплом, вспыхнуло. Одна рота, первая гренадерская, оказала ослушание; ее не могли успокоить добром и отправили в крепость. Весь полк пришел в волнение, требовал возвращения роты, и, когда в том было отказано, равномерно был арестован и отведен в крепость. Всему виновато было начальство. Корпусной командир Васильчиков, впрочем человек благородный, был нездоров, приставил мушку к боку и поручил дело бестолковому царедворцу Бенкендорфу. Все делалось глупо и безрассудно.

На Александра это происшествие произвело сильное и бедственное впечатление по одному особенному обстоятельству. Он находился на конгрессе в Троппау. Лишь только история эта сделалась известною, австрийский посланник Лебцельтерн отправил о ней донесение с курьером к Меттерниху. Васильчиков с своей стороны послал своего адъютанта Чаадаева, но несколькими часами позже, потому что дежурный штаб-офицер, Александр Иванович Казначеев,

племянник Шишкова, не успел так скоро написать красноречивое донесение. Случилось так, что именно в то самое время государь, толкуя с Меттернихом о волнениях Европы, сказал, что она может положиться на верную русскую армию. Меттерних возразил ему: «Государь! в сию минуту готовился я донести вам, что первый полк вашей гвардии взбунтовался. Вот депеша Лебцельтерна». Александр остолбенел как громом пораженный. Чрез несколько часов прибыл Чаадаев, и известие о происшествии подтвердилось. Александр стал доискиваться причин и находил их в заражении войска (а не офицеров) либеральными идеями, и тут, действительно, в числе подозрительных назвал и меня.

Так как незванный летописец русский (в «Полярной Звезде») обнаружил, что имя мое произнесено было в этих важных событиях, то я считаю обязанностью изложить здесь в подробности все обстоятельства, по которым я сделался соприкосновенным к важным делам тогдашнего времени. В первое время пребывания моего в Париже (в 1817 году) прихожу я к состоявшему тогда при графе Воронцове Николаю Александровичу Старынкевичу (впоследствии сенатор в Варшаве), самому умному и любезному человеку, отъявленному либералу. Он сидел за какими-то огромными таблицами, на которых начертана русская азбука, и на вопрос мой: что это значит? отвечал: «это таблицы для обучения чтения, по недавно изобретенной удивительной методе ланкастерской. При пособии ее сотни человек могут без учителя выучиться грамоте в самое короткое время. Эти таблицы составлены для обучения солдат нашего

корпуса в Мобеже». Я стал рассматривать таблицы и нашел, что они составлены с совершенным незнанием свойств русской азбуки, например, между прочим, буква *ж* поставлена была в числе гласных. На замечание мое о том, Старынкевич сказал:

— Да вы не знаете этой методы!

— Так, но знаю русскую азбуку.

— Посвятите меня в ее тайны, — сказал Старынкевич насмешливо, и я написал пред ним разделение русских букв, которые впоследствии изложил в моей грамматике. Он начал спорить. К нему в то время пришел профессор персидского языка, Ланглес.

— Посмотрите, — сказал ему Старынкевич: — вот господин Г[реч] сообщает неизвестную мне доселе систему русской азбуки.

Ланглес полюбопытствовал узнать ее состав и свойства. Я изложил ему истинную систему наших букв, отличительные свойства полугласных, деление гласных на твердые и мягкие; согласных на произносимые разными органами; показал сродство их, слияние и сочетание, изменения обеих букв от присоединения к другим. Ланглес пришел в восхищение, списал мою систему, и тут же предложил мне место профессора русского языка в парижском училище живых восточных языков, которого я, к сожалению, принять не мог. Старынкевич убедился в истине и важности моей системы. По его просьбе, составил я таблицы азбуки, складов и слов для обучения чтения и письму по ланкастерской методе, посещал училище взаимного обучения в Rue St. Jean de Beauvais, ездил с Сергеем

Ивановичем Тургеневым, секретарем графа [Воронцова], в королевскую типографию, чтоб заказать буквы для перепечатания таблиц. Тем занятие мое и кончилось: я не думал, чтоб мне пришлось употребить эти опыты на деле. По приезде в Петербург, посетил я, по постороннему делу, инженер-генерала графа Егора Карловича Сиверса. Мы разговорились, между прочим о методах обучения, и я упомянул о ланкастерской. Граф сказал мне, что ему хотелось бы выписать кого-либо из Франции, для введения этой методы обучения в кантонистских школах. Я объявил ему, что посвящен во все таинства этого учения и могу быть ему полезным. Он очень этому обрадовался и предложил мне вступить членом в Комиссию составления учебных пособий кантонистам поселенных войск, в которой он был председателем. Я был тогда на службе почетным библиотекарем в Императорской Публичной Библиотеке, состоявшей в ведении Министерства Просвещения. По требованию гр. Аракчеева, меня откомандировали в Комиссию, в которой, под председательством гр. Сиверса, были членами генералы Перский (директор 1-го Кадетского Корпуса) и Петров, флигель-адъютант полковник Клейнмихель, священник Герасим Петрович Павский, ст. сов. Иван Осипович Тимковский и я, коллежский ассесор Греч. Я написал руководство к учреждению и действиям училищ, составил таблицы, книги и пр., но вскоре разошелся в мнениях с гр. Сиверсом, который был человек образованный и почтенный, но тяжелый педант и крохобор. Меня уволили с чином надворного советника.

Между тем я вошел в моду. В конце 1818 года начальник штаба гвардейского корпуса, Николай Мартьянович Сипягин, поручил мне заведение центральной школы для обучения солдат гвардейского корпуса. Не могу не сказать здесь несколько слов об этом добром, любезном, умном человеке в частной жизни, храбром на войне, прилежном и деловом в службе, но при том крайне честолюбивом и — придворном, то есть жертвовавшем всем удовлетворению своего тщеславия. Он служил в походах 1812—1815 гг. при графе Милорадовиче, был везде правою его рукою, в звании начальника штаба его отряда. По назначению Милорадовича командиром гвардейского корпуса, Сипягин, сделавшись и здесь начальником штаба, умел оттеснить его и забрать в свои руки всю власть. На пути его стоял генерал Криднер, почему-то возбудивший неудовольствие императора, который однако изъявил желание с ним примириться. Сипягин мешал Криднеру сблизиться с государем, уверяя, что Александр все еще гневается на него. Начальник штаба был на деле корпусным командиром: делал что хотел, переводил офицеров в гвардию по своему усмотрению, раздавал баталионы, полки и проч., но никому не делал зла; напротив, делал добра сколько мог. Между прочим, я обязан ему вечною благодарностью за перевод брата моего в гвардию. Мне лично он не успел сделать ничего, но его дружеское, благородное, доверчивое со мною обращение останется на всю жизнь в благодарном моем воспоминании. Какая разница с преемником его, добрым, но пустым Бенкендорфом!

Школа устроена была в просторных залах новопостроенных казарм Павловского полка, на Царицыном Лугу. Ученики были набраны из всех полков гвардейского и гренадерского корпусов, числом до двух сот пятидесяти. В числе их было несколько грамотных унтер-офицеров, служивших учителями. Начальником школы определен был гвардейского генерального штаба штабс-капитан Иван Григорьевич Бурцов, человек возвышенной души, благороднейшего сердца, большого ума и редкого образования. Он в начале 1819 г. (по падении Сипягина) перешел в южную армию, к полковнику П. Д. Киселеву, назначенному начальником ее штаба; был дружен с некоторыми героями 14-го декабря, но не участвовал в их замыслах и даже не знал о них; в 1824 г. был уже командиром Уфимского полка, но, по открытии заговора, обратил на себя неудовольствие государя и был переведен в другой полк (Мингрельский) младшим штаб-офицером. В 1828 и 1829 годах отличился он своими подвигами в Азиятской Турции, назначен был командиром Херсонского гренадерского полка, произведен был в генералы, но тем и прекратилось его блистательное поприще: он был убит при Байбурте (23-го июня 1829 г.), на тридцать пятом году от рождения. Нет ни малейшего сомнения, что Бурцов, оставшись в живых, сделался бы великим полководцем. Память его дорога для всех, кто имел счастие знать его.

Сказав доброе слово о чужом человеке, позволяю себе написать несколько строк в память человека, мне близкого. Помощником ему назна-

чен был брат мой Павел Иванович, бывший тогда прапорщиком в Финляндском полку. Он был человек не блистательный, не сообщительный, скромный, молчаливый (мой антипод!), ревностный служака и честный солдат. Вся жизнь его была цепью препятствий, и лишь только он вышел на торную дорогу, смерть прекратила дни его. По примеру среднего нашего брата, Александра, убитого потом при Бородине, и Павел хотел служить в артиллерии и поступил во 2-й Кадетский Корпус, но в конце 1812 года от дурного содержания в корпусе жестоко заболел: все его тело покрылось струпьями. Только неусыпным, нежным попечениям нашей доброй, несравненной матери, обязан он был спасением от смерти и восстановлением здоровья. По болезни он был уволен из корпуса, и то с большим трудом, потому что в 1812 году нужны были офицеры, и их выпускали совершенными еще детьми. Когда брат выздоровел, положили быть ему чиновником гражданским, но лишь только он увидел военный мундир на одном сверстнике, родственнике моей жены, то объявил, что никак не может быть статским. Между тем он учился в гимназии и все налегал на математику. Его определили юнкером в гвардейскую артиллерию и года чрез два выпустили в армию подпоручиком. Но и тут не обошлось без затруднения. Когда ему надлежало явиться на смотр к графу Аракчееву, начальнику артиллерии, он как-то натер себе ногу и не мог надеть сапога. Его исключили из списка производимых. К счастию, я знал графа, при посредстве Мишки Шумского, написал к нему о том письмо и требовал моему

брату нового смотра. Граф был особенно в духе, осмотрел брата и аттестовал его.

Выше говорил я, что Сипягин перевел брата в гвардию. Он назначил его было в гвардейскую артиллерию, но так как не дали пятисот рублей правителю канцелярии инспектора артиллерии барона Меллер-Закомельского, Александру Яковлевичу Перрену, то объявлено было, что в артиллерии гвардейской нет вакансии. И так брат мой, оставив артиллерию, поступил в егеря, в Финляндский полк. Перед самым его прибытием в полк, когда уже отдано было в приказе о переводе его, полковой казначей Колокуцкий промотал казенные деньги. Офицеры сложились, чтобы внести их, и Павел лишился значительной части своего жалованья.

Во время наводнения, 7-го ноября 1824 года, стоял он в карауле в Галерной Гавани, в ветхой караульне, построенной на берегу на сваях. Вода поднялась до верху. И караульные и арестанты взобрались на крышу; здание качалось во все стороны. Ежеминутно ждали падения его и неминуемой смерти. Солдаты, любившие своего офицера (он командовал их ротою), хотели спасти его, высадив на одно из судов, которых бурею гнало мимо караульни, сбирались даже спустить его насильно, но он, отбившись от них, объявил, что предоставляет каждому из них спасаться как кто может; сам же сойдет с поста последним. Один солдат действительно спасся таким образом. Смерклось. Вода начала сбывать. Из морских казарм заметили бедствие караульни и отправили на помощь катер (при чем с трудом добились у смотрителя весел: он боялся, что погибнет

казенное добро). Тут опять началась борьба, чтоб офицер ехал первым на катере, который, может быть, потом бы и не мог притти вторично. Брат посадил на катер несколько солдат с арестантами и унтер-офицером и дождался их возвращения, на расшатанном здании караульни. Отправив таким образом всех (шестьдесят нижних чинов и двадцать двух арестантов), он с старшим унтер-офицером поехал последним. Спасены были и все бумаги; пропали только два кивера. Лишь только отвалил катер в последний раз, дом рухнул в воду. Ночевали они в морской казарме, поужинав черствым хлебом, которым поделились с ними добрые моряки. На другой день офицеры Финляндского полка, узнав от спасенного солдата о бедствии, в котором он оставил караул, пошли на то место, где стояла караульня, чтоб отыскать хотя следы несчастных. Им навстречу идет караул с барабанным боем.

За это дивное спасение караула, командир полка, генерал Шеншин, получил второго Владимира, а поручик Греч не удостоился даже изъявления благодарности. Эти Васильчиковы, Бенкендорфы и тому подобные великие люди награждали только своих родных или аристократов, или же по крайней мере лифляндцев, да подлецов, которые у них пресмыкались в передних, а не людей истинно полезных и заслуженных. Так велось издавна; так ведется и доныне. Получали же в Севастополе Георгия на шею не те, которые шли грудью на врага, а спокойно прогуливавшиеся с сигарою по бульвару.

14-го декабря [1825 г.] рота моего брата стояла в карауле, в Зимнем Дворце. Государь

Николай Павлович отрекомендовал его принцу Евгению Виртембергскому, как известного ему, отличного офицера, на которого можно положиться, и тут брат мой узнал, что государь думает, будто он получил Аннинский крест за наводнение, а не за командование школою за пять лет до того! В то время великий князь не был еще их дивизионным командиром. Павел И[ванович] Греч простоял в карауле двое суток, и занимался составлением бланков, при которых перепровождали арестантов в крепость.

В 1827 г., наскучив гарнизонною службою и не успев снискать благоволения Михаила Павловича, перешел он офицером в Пажеский Корпус, но вскоре стосковался по военной службе, и когда, в 1828 г., сказан был поход в Турцию, перепросился на прежнее место. И эта кариера была ему невыгодна. При осаде Варны, стоя по колени в холодной воде, он лишился употребления ног от ревматизма; по взятии крепости, отправлен был с другими больными и ранеными на далматском судне в Одессу: их носило целый месяц по Черному морю и они едва не погибли. Между тем все товарищи брата, участвовавшие в походе, были награждены крестами, а он, командир роты его высочества, обойден был потому, что его считали утонувшим. К тому присоединилось еще одно обстоятельство. В продолжение Турецкой войны наблюдалось правило давать в награду отличившимся офицерам двух действующих баталионов кресты, а не чины, чтоб не обидеть офицеров баталиона, остававшегося в Петербурге. В польскую кам-

панию, в продолжении которой баталион моего брата оставался в Петербурге, это правило было оставлено: штабс-капитаны и поручики, оставившие моего брата капитаном, вернулись полковниками. Он командовал ротою двенадцать лет, и во все это время подвергался замечаниям, придиркам и выговорам великого князя Михаила Павловича, который и уважал его, но поступал так по какому-то странному предубеждению. Наконец он произведен был в полковники и вскоре получил баталион. И тут обошлось не без беды. На маневрах в Гатчине, осенью 1844 года, лошадь его, испугавшись нечаянных выстрелов, упала с ним навзничь на мостовую (на возвышении Коннетабля), и он так сильно ушиб затылок, что лишился памяти. Это было в виду императора Николая Павловича. Его внесли во дворец. Государь и государыня принимали самое жаркое участие в его положении и радовались его выздоровлению. В 1847 г. был он назначен с. петербургским плацмайором и вскоре снискал полное внимание и доверенность государя, уважение начальства города и всех, кто имел с ним дело, был произведен в генерал-маиоры и назначен вторым комендантом. В этой должности он мог удовлетворить влечениям доброго своего сердца, облегчением участи и страданий тех лиц, которые, находясь под военным судом, содержались в ордонансгаузе. 16-го марта 1850 года скончался он скоропостижно. Государь, услышав о его смерти от коменданта, сказал: «Он был достойнейший человек». Эти слова были вырезаны на его надгробном камне на Волковском кладбище. За гробом шли, проливая слезы умп-

ления и благодарности, люди, сидевшие у него под арестом!..

Кто станет укорять человека за многоречие, когда идет дело о его друге? А я говорю здесь о родном брате. Le frère est un ami donné par la nature. [1]

Возвратимся к солдатской школе. Учебною частию заведывал я только сначала: вскоре моя помощь сделалась ненужною. Учение продолжалось с удивительным успехом. В конце второго месяца, солдаты, не знавшие дотоле ни аза, выучились читать с таблиц и по книгам; многие писали уже порядочно. Нельзя вообразить прилежания, рвения, удовольствия с каким они учились: пред ними разверзался новый мир. Сипягин был в восторге. Васильчиков (Л. В.), Бистром (Карл Ив.), Потемкин, Храповицкий и многие другие приезжали смотреть училище и не могли надивиться. Ожидали, что пожалует сам государь. Однажды, вовсе неожиданно, приехал начальник главного штаба князь Волконский, осмотрел школу с явным неудовольствием, сделал несколько замечаний Бурцову за несоблюдение солдатами формы, и уехал. Вскоре за ним прибыл Сипягин и, узнав, что приезжал кн. Волконский (который за полчаса обещал ему поехать в школу на другой день с ним самим), изменился в лице. Это было первым признаком его падения. Второй признак заметили в том, что командир Павловского полка Адам Бистром (недостойный брат Карла Ивановича) велел выкинуть из сарая казарм разные вещи Сипягина, которые там

[1] Брат это — друг, данный природою.

дотоле хранились с благоговением. Падение Сипягина последовало оттого, что государь где-то встретился с Криднером и стал укорять его, что он упрямится и не хочет покориться, сколько ни убеждали его к тому чрез Сипягина. Криднер отвечал и доказал, что Сипягин именно отсоветовал ему обращаться к государю. К тому же Сипягин тяготил своим превосходством корпусного командира Васильчикова. Положили сбыть его с рук, и сбыли: он был назначен командиром 6-ой пехотной дивизии, стоявшей в Ярославле.

Перенес он эту невзгоду с величайшею твердостью и спокойствием. Я был у него на другое утро по напечатании приказа о его перемещении. Он говорил со мною равнодушно, изъявлял только сожаление, что не дождался плодов школы. Призвал к себе гвардейского капельмейстера Дерфельда, заказал ему новые инструменты для 6 полков своей дивизии и просил доставить ему учителей. Товарищи Сипягина, пресмыкавшиеся пред ним накануне, прислали к нему Николая Ивановича Демидова, чтоб посмотреть, как он выглядит. Сипягин принял генерал-лейтенанта, стоя, в сертуке и ночных сапогах, не вынимая изо рта сигары, не прося его садиться, и преравнодушно говорил о новом своем назначении, как будто бы это было повышение. Демидов не знал куда деваться. Да и то сказать, порядочная скотина был покойник! Разграблением Вазы, в шведскую войну, он осрамил себя навеки, но, несмотря на это, был потом — главным начальником военно-учебных заведений! Сипягин уехал в тот же вечер, командовал усердно 6-ю дивизиею, потом 20-ю в Пензе. Там, в 1824 г.,

смотрел ее Александр и восхитился ее совершенством. Между прочим третья шеренга всех полков была выучена артиллерийской службе. Случись, что перебьют в деле прислугу у пушек, строевые солдаты заменят ее мгновенно. Государь возвратил Сипягину прежнюю милость. Он приезжал в Петербург, и я обрадован был его встречею и приемом. Потом он был военным губернатором в Тифлисе, действовал успешно против неприятелей (в Персидскую войну) и умер в 1827 г. от болезни.

Память его не исчезнет в сердцах людей знавших его в частной жизни.

Училище шло своим чередом. Бурцов, оставив службу при гвардейском корпусе, рекомендовал моего брата, как совершенно способного заменить его. Я продолжал свой надзор, но училище утратило часть своего блеска. Новый начальник штаба, граф А. X. Бенкендорф, был человек приятный, образованный, добрый, но равнодушный к делам, выходившим из обыкновенного круга. Между тем назначение школы было достигнуто. В полгода все солдаты в ней выучились грамоте, разумеется, лучше или хуже. 19-го июля 1819 года происходил смотр ее Александром I. Государь приехал, в сопровождении Васильчикова, Бенкендорфа, графа Орлова и нескольких других генералов, был очень весел и доволен, любовался пестротою разнокалиберных мундиров, обласкал меня. Произведен был экзамен и кончился к общему удовольствию. При этом произошел неважный случай, могущий служить прибавлением к истине: большие действия от малых причин. Главным указателем

или монитором в классе был кавалергардский унтер-офицер Горшков, красавец, миловидный собою, умный и проворный. Но и на старуху бывает проруха! Когда брат мой скомандовал к началу упражнений, Горшков сбился и не так повторил команду. Я взглянул на него и покачал головою. Горшков покраснел, улыбнулся и поправился. Это безмолвная перемолвка не ускользнула от внимания Александра, как оказалось впоследствии. Между тем государь очень милостиво благодарил меня за старание о его солдатах (опричниках) и уехал совершенно довольный. Училище ему понравилось, и он приказал учредить по такому же училищу в каждом полку гвардейского корпуса.

Я был назначен директором с 5 тысячами рублей жалованья, за экзамен получил перстень в 3 т. р., брату моему дан орден св. Анны 3-й ст., унтер-офицеры, бывшие мониторами, произведены в 14-й класс, словом все шло как по маслу. Я составил уставы, руководства и учебные таблицы, напечатал их и разослал по армии. Начали учреждаться школы: они были устроены в Преображенском полку,[1] в Московском,[2] в Егерском,[3] в Кавалергардском. В других готовились. Здесь должен я опять сделать отступление.

[1] Начальником этой школы был подпоручик Игнатьев, ныне генерал-от инфантерии, С. Петербургский военный губернатор. (*Н. Г.*)

[2] Начальник поручик барон Б. А. Фредерикс, ныне генерал-лейтенант. (*Н. Г.*)

[3] Поручик Алексей Васильевич Семенов, ныне сенатор. (*Н. Г.*)



Ф. П. Толстой

Введение ланкастерской методы не ограничилось гвардейскими полковыми училищами. В начале 1820 года императрица Мария Федоровна поручила мне, чрез почетного опекуна, Карла Федоровича Модераха, ввести эту методу в классах воспитанников и воспитанниц воспитательных домов Петербургского и Гатчинского: это было исполнено вскоре и с успехом. Потом заведены были существующие поныне училища солдатских дочерей полков гвардии (первое в Семеновском полку, другое в Большой Конюшенной). И здесь успех совершенно оправдал и методу и способ ее приложения. В то же время составил я преимущественно из членов масонской ложи избранного Михаила (графа Ф. П. Толстого, Ф. Н. Глинки, П. Я. фон-Фока, В. И. Григоровича, Н. И. Кусова и н. др.), общество для заведения училища взаимного обучения, и [мы] открыли одну школу (на 360 человек) в доме Шабишева, на углу Вознесенской и Садовой ул. Во всех этих начинаниях был я действующим лицом. Кажется, по естественному порядку вещей, следовало бы Министерству Просвещения воспользоваться моими знаниями и опытностью и употребить меня на пользу народных школ, которые находились тогда и находятся ныне в жалком положении. Вышло противное. Министерство Просвещения (т. е. главный его двигатель Магницкий) возненавидело меня, осмелившегося действовать в пользу общую без его ведома, и положило стереть меня с лица земли. Может быть я сам подал к тому повод явными и громкими своими суждениями об этих лице-

мерах и негодяях. Обстоятельства им благоприятствовали.

Семеновская история изменила и огорчила Александра. Он получил известие о ней в Троппау, как сказано выше. Вместо того, чтоб видеть в этом неповиновении вспышку нетерпения избалованных солдат, которых хотели обратить к прежнему порядку, он вообразил, что это есть проявление революционных замыслов, о существовании которых он давно догадывался. Случилось так еще, что король прусский сообщил ему догадку свою о существовании в Швейцарии центрального комитета для возмущения Европы. Александр спросил у Ч[аадаева], прибывшего из Петербурга с донесением о неприятном происшествии:

— Знаешь ли ты Греча?

— Знаю, в[аше] в[еличество].

— Бывал ли он в Швейцарии?

— Был, сколько знаю, — отвечал Ч[аадаев] по всей справедливости.

— Ну так теперь я вижу, — продолжал государь и прибавил: — боюсь согрешить, а думаю, что Греч имел участие в семеновском бунте.

Эта догадка пришла в Петербург и пала как свежее зерно на удобренную землю. Кто смел противоречить мнению государя о поводах к этим беспорядкам! Действительно должна быть тому причиною революционная мысль, да где она таится? Как где? В полковых школах. А кто занес ее? Разумеется, Греч. Началось с того, что число школ ограничилось существующими; новых не заводили, да и в преж-

них стеснили продолжение уроков, занимая солдат службою. Сколь глубоко вкоренилась в Александре мысль о революционном начале этого дела, явствует из того, что он прогневался на графа Павла Петровича Сухтелена, который сообщил отцу своему (посланнику в Стокгольме) верные сведения о существе этого дела. Отец напечатал их в газетах. Александр думал, что этим хотят прикрыть истину, и во всю жизнь не прощал этого гр. П. П. Сухтелену, одному из достойнейших своих слуг и подданных. К подавлению меня присоединились еще другие обстоятельства и случаи. Известный впоследствии болван и наглец подполковник Лейб-Гренадерского полка, Дмитрий Потапович Шелехов, [1] написал глупые стихи на Семеновский бунт, и особенно на Шварца. Стихи

[1] Шелехов, проживший родовое свое имение разными сельско-хозяйственными спекуляциями, брался за разные средства к поддержанию своего существования и к приобретению известности. Между прочим он читал в Экономическом Обществе лекции о сельском хозяйстве. Около 1850 года он описал царствование императора Павла, выставляя его величайшим царем и человеком, сделавшимся жертвою своей любви к чести и правосудию, и представил его в рукописи Николаю Павловичу. Государь прочитал ее со вниманием, пожертвовав для этого целую ночь, восхищался ее содержанием, произвел Шелехова из [ ] * подполковников в полковники и определил к своей особе, предоставив ему вход к себе во всякое время. К счастию России, Шелехов вскоре умер. Николай в состоянии был сделать его министром внутренних дел и даже просвещения. И в самом деле был не хуже Вронченка и Шихматова. (*Н. Г.*)

* Здесь не разобрано три слова.

эти разошлись по городу в рукописях, без имени сочинителя. Автор был известен, но начальство гвардии хотело его скрыть, и стихи были приписаны мне. «Он не военный, — сказал Бенкендорф, — да и вообще о нем государь нехорошего мнения, так что его щадить!» Непременно хотели приписать мне участие в подговоре солдат к бунту, потому только, что я очень часто бывал в училище солдатских дочерей (состоявшем в Семеновском полку), а это ведь была моя служба. Казначеев, дежурный штаб-офицер в гв[ардейском] штабе (ныне сенатор в Москве), не благоволил ко мне за критику на грамматику российской академии, которою обиделся дядя его, Шишков. Признаюсь, всех лучше обходился со мною Грибовский (библиотекарь и секретарь комитета 18-го августа). Говорят, он доносил на своего благодетеля Глинку, но Глинка был хотя и невинен, но в какой-нибудь связи с либералами, [1] а я был им чужд совершенно, и Грибовский знал это в точности. Но всего замечательнее было, что главные наветы на меня произошли от Воейкова, человека мною призренного и облагодетельствованного, которому я посвящу, в моих записках, особую статью. Он был моим половинщиком в «Сыне Отечества» и старался сжить меня с рук, чтоб завладеть всем журналом, клеветал и доносил на меня и словесно и письменно, и когда это не удалось, советовал мне бежать за границу для уклонения себя от гонений, принимая на себя издание в пользу мо-

[1] *Первоначально было:* заговорщиками,

его семейства. Я был ошеломлен этим предложением, но Булгарин, бывший тогда еще человеком порядочным, открыл мне глаза. Впрочем я переносил тогдашние бури, невзгоды и опасения равнодушно, по той причине, что сердце мое страдало от существенных потерь, и я ожесточился против других ударов судьбы. 12-го декабря 1820 г. умерла любезная моя свояченица Сусанна Даниловна Мюссар, а 11-го января 1821 г. скончался первый друг мой в мире Иван Карлович Борн. Так было и с госнеровскою историею: она разразилась у меня над головою в то самое время, когда скончалась дочь моя Ольга: я глядел на житейскую невзгоду равнодушно.

Однажды в январе 1821 года прислал ко мне граф В. П. Кочубей, тогдашний министр Внутренних Дел, своего камердинера и просил приехать к нему на другой день вечером. У меня бывали частные сношения с графом: я доставлял ему учителей. Приезжаю и нахожу в приемной зале М. Я. фон-Фока, директора Особенной Канцелярии М[инистерства] В[нутренних] Д[ел] (что ныне III Отделение государевой канцелярии). Нас позвали в гостиную. Граф, страдая подагрою, лежал на диване. Мы сели по сторонам. Граф заговорил со мною об учителе русского языка, которого я рекомендовал ему, и который оказался пьяницею. Я обещал ему приискать другого и, думая, что дело кончилось, встал, чтоб откланяться и уйти, тем более, что ф[он]-Фок приехал с портфелем, следственно по делам службы.

— Куда вы это спешите? — сказал граф: — вот не хотите посидеть с больным челове-

ком. — Что вы поделываете? Как идут ваши солдатские школы?

— Очень плохо, в[аше] с[иятельство]: видно полковые командиры боятся, чтоб солдаты не сделались ученее их, и потому ни мало не радеют об успехах школ, уже существующих, и об учреждении новых.

— А как принимают солдаты это обучение? Как они учатся?

— Они принимают это как величайшее благодеяние и учатся с большим усердием.

— И семеновские хорошо учились?

— Семеновские ещё вовсе не учились.

— Почему так? — спросил граф с удивлением.

— Потому что в Семеновском полку и школы не было.

При этом взглянул я на фон-Фока и заметил, что он, переглянувшись с графом, улыбкою выражал подтверждение сказанного мною.

— Почему-ж не было?

— Школы учреждаемы были по возможности и по благоусмотрению полковых командиров, особенно адъютантов. В Семеновском полку материальное устройство классов было кончено, люди назначены, но я в училище не бывал, да и не знал, где именно оно в полку находится. В субботу, 20-го ноября, явился ко мне фельдфебель от полкового адъютанта флигель-адъютанта Бориса Петровича Бибикова, с вопросом, нельзя ли сделать открытие школы в понедельник, 22-го. Я отвечал, что 22-го положено быть открытию школы в Лейб-Гренадерском полку, и потому должно отложить до вторника, 23-го. Между тем случилось в воскре-

сенье, 21-го, известное происшествие, и школа не открывалась.

Граф видимо был доволен моим ответом, и после других ничтожных разговоров я откланялся. Впоследствии я узнал, что это был допрос, произведенный по высочайшему повелению, и что гр. Кочубей, в своем донесении, изложил это дело в истинном его свете и выставил совершенную мою невинность. Какое счастье, что я попался в руки честных и беспристрастных людей! Впрочем мои похождения этим не кончились. Воспользовались выступлением гвардии в поход (в начале 1821 г.) для закрытия училища, с чем вместе прекращалось звание директора. На бумаге о том государь написал своеручно: «А надворного советника Греча не оставить без пропитания». Когда мне объявили о том, я отправился к Л. В. Васильчикову (корпусному командиру) и объявил ему, что считаю себя обиженным, что благодарю государя за внимание, в пропитании не нуждаюсь, но имею все право требовать гласного признания непорочности и безукоризненности моей службы.

— Чего же вы хотите? — спросил Л. В.

— Я дослуживаю последний год в настоящем чине: дайте мне чин коллежского советника, который следует мне и без того чрез четыре месяца за выслугу лет, но упомянув в указе, что это повышение есть награда за верную и усердную мою службу по званию директора полковых школ.

— Справедливо, — отвечал Васильчиков, в котором был один порок, что он был большой

барин и придворный;—постараюсь об этом и надеюсь на успех.

Я сдал свою должность в штабе; гвардия вышла в поход; чин мне не выходил, и я вскоре утешился. Ну стоит ли этим тревожиться! Я и теперь легко переношу эти дрянные неудачи, а тогда! В молодости чего не вытерпишь, а мне был тридцать четвертый год от роду. Что-ж вышло на деле? Васильчиков действительно представил государю и получил согласие дать мне чин, если не надстоит к тому препятствий по службе, а как я был почетным библиотекарем Императорской Публичной Библиотеки, она же имела несчастие состоят в ведомстве Министерства Народного Просвещения, то запрос о неимении препятствий отправлен был из штаба в таковое. Там это отношение попалось в руки Магницкого. Этот гад натешился при сем случае: написал в ответ, что надворный советник Греч не только не достоин награды, но и не может быть терпим на службе, по вредным своим правилам и действиям, по явному сопротивлению воле начальства и дерзким к оному отзывам. А я от роду не имел сношения с этим начальством, и если писал к нему бумаги, то эти бумаги исходили от Управления Общества Училищ Взаимного Обучения и подписывались не мною. В то же время предписано было этому управлению удалить меня от участия в делах его. Последнее было мне известно, но о первом отзыве я не знал. Начальство Штаба, получив его на походе и видя гнусную несправедливость подлого Министерства, пожалело обо мне и не сообщало о том, а я думал, что меня забыли!

Между тем я оставался на службе в Воспитательном Доме и в училищах солдатских дочерей, но золотые дни мои прошли. Со мною обходились внимательно и учтиво, но холодно. Государыня уже не приглашала меня к обедам в Гатчине, реже обращала ко мне речь и т. п. При открытии второго училища солдатских дочерей, в Большой Конюшенной, государыня жестоко сердилась на архитектора, который далеко пошел за смету. На внутреннее устройство классов мне отпустили тысячу рублей. Оно обошлось в семьсот рублей, и остаток представлен был мною по начальству. Для смягчения гнева на архитектора, Гр. И. Вилламов представил государыне мой отчет. Она обрадовалась, оборотилась ко мне ласково и сказала: «я от вас иного и не ожидала». Что-ж, когда меня представили к награде, она отозвалась: «Que voulez-vous que je lui donne? C'est un grand seigneur!» [1] В 1822 году представила она меня однако к Аннинскому ордену второго класса. Вместо того мне вышел чин, уже за год выслуженный мною. Я довел о том до сведения императрицы. Она поручила Вилламову спросить у государя, почему он, утвердив все награды в представлении, переменил одну, назначенную Гречу. «Доложите матушке — отвечал Александр, — что Греч, как мне известно, именно желал награды чином. Я не мог исполнить этого прежде, а теперь воспользовался случаем». Достойная внимания черта характера Александра! Он возъимел на меня подозрение, потом уве-

[1] «Что мне ему дать? Это большой барин!»

рился в невинности моей и желал сделать мне добро, но боялся гадин, пресмыкавшихся вокруг его престола. Душевная моя признательность следует его памяти за могилу! Я служил еще года два по этим заведениям, но, видя, что не могу принести, в новых обстоятельствах, всей пользы, какой ожидали, вышел в отставку с прекрасными аттестатами. Частная школа взаимного обучения, принесшая в свое время много пользы, потом исчезла от недостатка внимания и соревнования.

При этом случае скажу несколько слов о службе моей при императрице Марии Федоровне. Она пригласила меня к учреждению в Воспитательном Доме классов взаимного обучения, чрез почетного опекуна, Карла Федоровича Модераха, и главного надзирателя, А. И. Нейдгардта (брат генерал-адъютанта, командовавшего на Кавказе). Недели чрез две, по начатии классов, (в марте 1820 г.), государыня приехала посмотреть новую методу на девичьей половине. Когда меня представили ей, она заговорила со мною по-французски; я отвечал ей также. Потом попросила меня начать упражнения, и когда я скомандовал: «с м и р н о», изумилась и сказала: «Как вы хорошо говорите по-русски!» Модерах подошел к ней и сказал: «Как г. Гречу не говорить по-русски: его дед был моим профессором в кадетском корпусе, и сам он русский писатель и грамматик». Государыня спросила меня о моем происхождении и, узнав, что оно бо̀льшею частию немецкое, изъявила свое удовольствие. И впоследствии, когда я представлялся ей, когда докладывал ей по делам службы, она изъявляла

ко мне свое благоволение, до того, что однажды сказала окружавшим ее: «вот человек, которого можно было бы употребить при воспитании моего внука» (нынешнего государя). Впоследствии она ко мне охладела, и я приписывал это неудачам моей службы вообще, но чрез несколько времени узнал, что я сделался жертвою придворной интриги. Приближенные ее, узнав о ее отзыве, приведенном мною выше, решились воспрепятствовать исполнению этого предположения, находя вероятно, что человек смелый, открытый, пылкий, независимый не будет хорошим наставником юного царевича. Однажды после обеда в Гатчине (это было осенью 1820 г.), нянька англичанка принесла маленького князя в так называемый арсенал, нижний этаж гатчинского дворца, в котором были столовая государыни и залы вечерних ее собраний. Государыня удалилась. Остались несколько человек, в том числе адъютант великого князя Михаила Павловича (Илья Гаврилович Бибиков) и еще гусарские офицеры. Гр. И. Вилламов нянчил младенца, великую княжну Марию Николаевну. Потом они, и с ними я, окружили великого князька и начали играть с ним. Шевич сказал ему: «Ваше высочество, представьте дядюшку Константина Павловича». Ребенок поднял и сжал носик. Все расхохотались. «Смотрите, — сказал Бибиков няньке: — если он будет похож на этого дядюшку, мы вам свернем шею». Потом говорено было еще многое на этот счет, между прочим смеялись, что ребенок называет снег белыми мухами. Я спросил у няни, каков у него нрав. «Предобрый, — отвечала она: —

он очень жалостлив, и, увидев недавно нищего мальчика, сказал с сожалением: poor boy». [1] У него в руке был кусок кренделя. Я протянул к нему руку и сказал: «пожалуйте: мне!» Он тотчас отдал. «Так вы знаете, — прибавил я, — что значит и good boy (хороший мальчик)».

Из этих невинных слов сплели предлинную сказку, приписали мне все сказанное офицерами, прибавили еще кое-что и донесли всеподданнейше. Засим последовало отчуждение мое, а я и не догадывался о причине. Чрез несколько лет (в 1830 году) на большом обеде у Василия Васильевича Энгельгардта, очутился я за столом подле И. Г. Бибикова. Он рассказывал тут при всех мою придворную мезавантюру, говорил, что его спрашивали об этом случае, что он всячески старался оправдать меня, заверяя, что предосудительные речи произнесены были не мною, и пр., но все было напрасно. В Сангедрине у княгини Ливен положено было удалить опасного человека и исполнено в точности. Главным орудием в том был гофмаршал барон Албедиль, которого все работники и мастеровые называли «барон Обидел».

Мечта о том, что я, может быть, сделаю карьеру при дворе, ласкала меня слегка, но недолго, и я расстался с нею без сожаления, а потом размыслив хорошенько, благословил судьбу, что мимолетная мысль Марии Федоровны не осуществилась. Я не ужился бы никак при дворе, и недели чрез две изгнали бы меня, как из шустер-клуба, mit Skandal (со скан-

[1] Бедный мальчик.

далом). Человек законнорожденный, честный, откровенный, может быть и слишком болтливый, враг подлости, глупости и невежества — не устоял бы на паркете. Довольно того, что я вблизи видел всю эту мишуру и в душе сетовал за царей, окруженных таким народом.

Недели за две до семеновской истории, был я в Гатчине. В этот день являлся я к государыне, но вечером подошел с толпою народа к окнам арсенала, [1] у императрицы было собрание. В большой зале двигались придворные и другие лица. Видно было их хорошо, но не слышно что говорили. Вот ci-devant jeune homme, [2] франт Милорадович, вот вечно улыбающийся Бенкендорф и tutti quanti. [3] Как они вертелись, кланялись, ухмылялись, точно кукольная комедия. Грешен, а подумал: не дай бог какого-нибудь непредвиденного случая, какой-либо беды! Далеко ли уйдут с этими фиглярами! Так и сбылось вскоре.

Между тем, назвав людей, которые мне вредили у Марии Федоровны, поименую и тех, которые благородно за меня вступались. Это были Гр. И. Вилламов, А. К. Шторх, Н. М. Карамзин и И. Ф. Саврасов. С такими заступниками и потеря дела не лишает отрады!

Полк был раскасирован; офицеры его были переведены в армию. Составлен был другой полк из гренадерских баталионов. Но Александру нанесена была глубокая рана. Он сде-

[1] Так назывался нижний ярус Гатчинского дворца по прежнему его назначению. (*Н. Г.*)

[2] Когда-то молодой человек.

[3] И тому подобные.

лался задумчив, печален, подозрителен, еще менее стал верить людям откровенным и благородным, обратив все свое внимание и слух, с одной стороны, ко внушениям Аракчеева и ему подобных, а с другой, к советам мистиков и святош. В таком положении оставался он до конца своей жизни. Тщетно раздираемая дикими тиранами Греция поднимала к нему окровавленные свои руки. Он видел в несчастных жертвах мусульманского изуверства мятежников и якобинцев. Турция приписывала это долготерпение слабости России и действовала с ним дерзко и нагло. Примиритель Европы не хотел воевать.

Присоедините к этим политическим смятениям нравственное и духовное направление Александра, как мы его описали выше, и вы составите себе понятие о положении его души в последние годы его пребывания в здешнем свете. Разочарованный в верованиях своих глубокому библейскому христианству, он обратился не к православию, а к слабой и грязной его стороне, к монахам, глупым и изуверным. Внук Екатерины, ученик Лагарпа, сделался поклонником подлого и нелепого Фотия, принимал у себя глупых [1] безобразных монахов и целовал им руки. Канун отъезда своего в Таганрог провел он в беседе с каким-то полоумным схимником в Александро-Невской Лавре. Окружавшие его гнусные люди, преимущественно Иуда Магницкий, пугали его и заставляли делать несправедливости: они вся-

[1] *Первоначально было:* гнусных.

чески старались очернить в его глазах бывшего Министра Внутренних Дел Кочубея и директора Особой Канцелярии (что ныне III-е Отделение Канцелярии государевой), благороднейшего Максима Яковлевича фон-Фока, донесли, что состоящая в ведении его цензура иностранных книг позволила к продаже богопротивную книгу. Книга это (впрочем, позволенная самим Кочубеем, находившимся во время доноса заграницею) была известный Брокгаузенов «Conversations-Lexicon», в котором учение о богородице изложено было по догматам протестантской церкви. Читавших ее двух цензоров, Лерхе и Гуммеля, посадили в крепость. Это случилось 8-го августа 1825 г., и в тот самый день сгорел Преображенский Собор. Цензоров выпустили накануне отъезда государева; в тот же день призывали фон-Фока в тайную комиссию, собиравшуюся у Аракчеева, и старались выведать, кто одобрил книгу. Фон-Фок отвечал твердо: «Одобрил ее граф Кочубей, но не подписал о том бумаги; я сделал отметку на поле, и один отвечаю». Его отпустили, чего он не ожидал, думая, что будет ночевать в Алексеевском Равелине. Грустное воспоминание! И это происходило в царствование государя доброго, благородного, желавшего счастия своему народу, ревностного христианина!

К этому же времени принадлежит любопытный эпизод из жизни Аракчеева. Александр осматривал, летом 1825 года, новгородские военные поселения и был восхищен этим уродливым произведением его прихоти, которой исполнение мог принять на себя только один

Аракчеев и воспитанник его Клейнмихель. Оставляя поселения, Александр сказал графу: «Любезный Алексей Андреевич! требуй чего хочешь! я ни в чем не откажу тебе». Аракчеев стал на колени и с сатанинским лицемерием сказал: «Прошу одного, государь, позвольте мне поцеловать вашу ручку». Дружеское обнятие было ответом. Оттуда государь приехал в лагерь под Красным Селом, где встретил его весь штаб гвардейского корпуса. Подошли дежурный генерал-адъютант и флигель-адъютант. Последним был Шумский, воспитанник, т. е. побочный сын Аракчеева, прижитый им с подлою бабою Настасьею Федоровною. Шумский был совершенно пьян; он подошел к государю, споткнулся упал и его вырвало. Александр, брезговавший всем, что походило на пьянство и его последствия, был выведен из себя этим последним явлением, обратился к Аракчееву и сказал: «ваша рекомендация, граф, покорнейше благодарю!» и пошел далее. Шумского подняли; он исчез и не появлялся более. Говорят, его увезли в Грузино и там спрятали. Негодование государя не имело следствий, ибо Аракчеев слишком глубоко гнездился в его сердце. Провидение приняло на себя поразить злодея.

Наложница его, как слышно было, беглая матросская жена, была женщина необразованная, грубая, злая, подлая, к тому безобразная, небольшого роста, с хамским лицом и грузным телом. Владычество ее над графом было так сильно, что в народе носился слух, будто она его околдовала каким-то питьем, и когда Александр бывал в Грузине, варила волшебный суп

и для его стола, чтоб внушить ему благоволение и дружбу к графу. Она обходилась со слугами и людьми графа очень дурно — наговаривала на них, подвергала жестоким наказаниям без всякой вины и особенно тиранила женщин и девок. Они вышли из терпения. В отсутствии графа, осматривавшего поселения, вошли ночью (в сентябре 1825) в ее спальню, убили ее, отсекли ей голову, и потом сами объявили о том земскому начальнику. Аракчеев, узнав о том, оцепенел было, а потом впал в бешенство, похоронил ее с почестью, подле могилы, которую заготовил себе в церкви села Грузино и сам сочинил ей надгробную надпись. Он известил государя о постигшем его несчастии и в ответ получил письмо, в котором Александр выражал ему свое соболезнование, уговаривал его и поручал уроду Фотию принять на себя утешение царского друга в постигшем его несчастии. Едва веришь глазам, читая эти письма. Первым движением Аракчеева было отомстить несчастным, увлеченным в преступление невыносимым тиранством. Опасаясь, чтобы при ревизии этого дела в Сенате не открылось некоторых тайн его домашней жизни, он приказал новгородскому гражданскому губернатору Жеребцову, повесть дело так, чтоб оно решено было Уголовною Палатою без переноса в Сенат. Преступников было более девяти (двадцать шесть), и поэтому непременно следовало представить процесс Сенату. Что же сделал подлец губернатор? Разделил подсудимых на три категории, каждую не более девяти человек, составил из одного дела три и ускользнул от ревизии Сената.

Между тем воцарился Николай. Вышел милостивый манифест, по которому смягчались казни, еще не исполненные. Полученного в Новгородском Губернском Правлении манифеста не объявляли и приговор, жестокий, варварский, исполнили. Николай Павлович ужаснулся, но дело было так искусно облечено во все законные формы, что не к чему было придраться. К тому и не хотели срамить памяти государя, лишь только умершего, но чрез пол-года воспользовались безпорядками в Новгородской губернии, при проходе гвардии в Москву на коронацию и выгнали Жеребцова. Аракчеев барахтался еще несколько времени, как утопающий, но его солнце закатилось навеки. Между тем он оставил России наследство, которое она долго будет помнить, умолив Александра дать звание генерал-адъютанта другу и помощнику его Клейнмихелю. Достоин замечания отчет Аракчеева, напечатанный им в Инвалиде в январе 1826 года, в оправдание управления военными поселениями. Превосходнейшее произведение плутовства и наглости! [1]

Вот каковы были последние дни жизни императора Александра, который, своим добрым сердцем, благородством души, умом, образованием, твердостью и упованием на бога в несча-

[1] См. в оправдательных статьях lit Д. Присовокупляем к ним письма Александра к Аракчееву и к Фотию, писанные по сему случаю и отношение Клейнмихеля к Новгородскому Гражданскому губернатору по делу об убийстве Настасьи. (*Н. Г.*)

Этих материалов нет в копии ПД записок Греча; см. комментарии.

стиях и глубоким смирением в дни успехов и славы, достоин был лучшей участи. В цвете лет мужества он скучал жизнию, не находил отрады ни в чем, искал чего-то и не находил, опасался верить честным и умным людям и доверял хитрому льстецу, не дорожил своим саном и между тем ревновал к совместникам. Я говорил выше, как он, быв наследником, внушил общую к себе любовь всей России, как она обрадовалась, когда он вступил на престол. Это воспоминание, отрадное для частного человека, тяготило царя. Он боялся иметь наследника, который заменил бы его в глазах и мыслях народа, как он, конечно без всякого умысла, затмил своего отца. Соперничества Константина Павловича он не боялся: цесаревич не был ни любим, ни уважаем и давно уже говорил, что царствовать не хочет и не будет. Он опасался превосходства Николая и заставлял его играть жалкую и тяжелую роль пустого бригадного и дивизионного командира, начальника инженерной части, не важной в России. Вообразите, каков был бы Николай, с своим благородным, твердым характером, с трудолюбием и любовью к изящному, еслиб его приготовили к трону, хоть бы так, как приготовляли Александра. Но того воспитывала Екатерина Алексеевна, а этого Мария Феодоровна, женщина почтенная и добродетальная, но ограниченная в своих взглядах и суждениях, трудолюбивая и неусыпная нянька и хозяйка, но весьма недальновидная в политике и истории. Немка в душе, как сказано выше. Она окружила великих князей людьми добрыми, но посредственными и бесхарактерными. Еще удиви-

тельно, что они не вышли хуже. Николай принужден был доучиваться, уже женатый, в Берлине. Михаил лишь только сдал последний экзамен, заколотил огромным гвоздем свой шкап с книгами, которого нельзя было назвать библиотекою. Зато великие княжны были образованы и воспитаны тщательно и успешно. Все они принесли честь России, своим родителям и фамилии. От всех отличалась четвертая дочь императора Павла, недаром нареченная Екатериною. Память о ней живет в сердцах виртембергцев, тех самых, которые при жизни на нее жаловались и клеветали. Теперь достойно заступила ее место Ольга Николаевна.

Отчего это превосходство женского пола над мужским? От ненавистного окаянного фрунта, который внесен был в Россию слабоумным Петром III, обожавшим Фридриха II не за его дарования и победы, а за штиблеты, краги, косы, пукли, за ефрейторскую палку. Павел был достойным его преемником и передал эту варварскую страсть своим детям. Александр Павлович искренно полюбил было зятя своего, нынешнего короля Виртембергского, благородного человека и доблестного воина, но эта любовь потухла от одного неосторожного отзыва тогдашнего кронпринца. Это было в начале 1816 года, когда он лишь только женился. За обедом в Зимнем Дворце зашла речь о Фридрихе II. Все наперерыв хвалили его. Кронпринц сказал: «Действительно он был великий полководец и мудрый государь. Вредно было только пристрастие его к фронту. По его примеру все государи Европы сделались фельд-

фебелями». Александр не ответил ни слова, только изменился в лице. Можно вообразить себе смущение всех прочих. С тех пор Александр питал к королю Вильгельму недружелюбие, увеличившееся еще, когда король не согласился на требование деспотическими дворами нарушения законных прав его народа.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Едва ли случалось в мире какое-либо великое бедствие, возникало какое-либо ложное и вредное учение, которое в начале своем не имело хорошого повода, благой мысли. Первое движение ума и совести человеческой почти всегда бывает чистое и доброе: потом прививаются к нему помыслы и страсти, порождаемые невежеством и злыми наклонностями, и из благотворного семени возрастает древо зла и пагубы. Так бывает со всеми революциями и нравственными и политическими. Из христианского усердия возник кровожадный фанатисм католиков; от желания очистить религию от суеверия произошло вольнодумство протестантов; из светлых идей 1789 года — кровавые сцены 1793-го; из восстановления порядка единоначалием Наполеона I — порабощение Европы тяжкому и постыдному игу.

И у нас бедственная и обильная злыми последствиями вспышка 14-го декабря 1825 года имела зерном мысли чистые, намерения добрые. Какой честный человек и истинно просвещенный патриот может равнодушно смотреть на нравственное унижение России, на владычество в ней дикой Татарщины! Государство, обширностью своею не уступающее древней римской монархии, окруженное восемью морями, орошае-



Н. И. Греч
(Из собрания Пушкинского Дома)

мое великолепными реками, одаренное особою неизвестною в других местах силою плодородия, скрепленное единством и плотностью, обитаемое сильным, смышленным, добрым в основании своем народом, — представляет с духовной стороны зрелище грустное и даже отвратительное. Честь, правда, совесть у него почти неизвестны и составляют в душах людей исключение, как в иных странах к исключениям принадлежат пороки. Не крепостное состояние у нас ужасно и отвратительно: оно составляет только особую форму подчиненности и бедности, в которых томится более половины жителей всякого и самого просвещенного государства. У нас злоупотребления срослись с общественным нашим бытом, сделались необходимыми его элементами. Может ли существовать порядок и благоденствие в стране, где из шестидесяти миллионов нельзя набрать осьми умных министров и пятидесяти честных губернаторов, где воровство, грабеж и взятки являются на каждом шагу, где нет правды в судах, порядка в управлении, где честные и добродетельные люди страждут и гибнут от корыстолюбия и бесчеловечия злодеев, где никто не стыдится сообщества и дружбы с негодяями и подлецами, только бы у них были деньги; где ложь, обман, взятки считались делом обыкновенным и ни мало не предосудительным; где женщины не знают добродетелей домашних, не умеют и не хотят воспитывать детей своих и разоряют мужей щегольством и страстию к забавам; где духовенство не знает и не понимает своих обязанностей, ограничиваясь механическим исполнением об-

ряда и поддерживанием суеверия в народе для обогащения своего; где народ коснеет в невежестве и разврате!

Такие печальные размышления возникают в душе особенно при сравнении нравственного и гражданского состояния России с нравственным и гражданским состоянием других стран, где существуют те же человеческие пороки и слабости, но умеряются благоустройством, воспитанием, правосудием и религией. Где бессовестный грабитель вдов и сирот, несправедливый судья, развратный священник наказываются позором общего мнения.[1]

При таком сравнении России с другими государствами рождается в каждой благородной душе вопрос: отчего у нас это так? Нет ли средства искоренить зло, и заменить его добром? Правительство не может желать и терпеть зла, но видно средства его недостаточны, честные люди должны помогать ему. Вот и соберутся ревнители добра, обыкновенно люди молодые, начнут судить и рядить. Давай, поправим это дело. А как? Составим общество для искоренения зла. — Да нам не позволят. — Разумеется не позволят, потому, что вся власть в руках самих виновников зла. Общество должно быть тайное. — Прекрасно! И вот благородные,

[1] Один остроумный человек сказал: «Европа населена тремя коренными племенами [нрзбр] между собою: племя германское (немцы, шведы, датчане, англичане, голландцы) — благоразумное; племя романское (французы, италиянцы, испанцы, португальцы) бешеное, и племя славянское (русские, поляки и пр.) бестолковое». (*Н. Г.*)

пламенные, но неопытные и заносчивые ревнители добра сходятся, набирают членов, назначают президента, секретаря, спорят, толкуют, сделают может быть и добро, но обыкновенно на первых же порах расшибут себе лоб, или еще обыкновеннее, разойдутся в мнениях, рассорятся и обществу конец. Обыкновенно тайные общества распадаются от поступления новых членов, принятых без дальнейшего выбора. Бывает и так, что характер общества совершенно изменяется от влияния вновь поступивших членов, так что свои своих не познают.

Подобный случай произошел у нас. Война 1812 года возвысила мнение русских о самих себе и о своем отечестве. В 1813 году сроднились они мыслию и сердцем с немцами, искавшими независимости, прав и свободы, которых лишил их свирепый завоеватель, гонитель чести, правды, просвещения. Rettung von Tyranenketten![1] пели они с Шиллером. Во Франции русские были свидетелями свержения тяжкого ига с образованной нации, учреждения конституционного правления и торжества либеральных идей. Возвращаются в Россию и что видят? Татарщину XV века! Несправедливости, притеснения, рабство, низость и бесчестие, противоречие всему, что дорого образованному европейцу. У нас присовокупился к тому пример, поданный государем: мы говорили выше о либеральном направлении Александра, но в самодержавных царях эти благородные намерения не бывают продолжительными: деспотичная на-

[1] Освобождение от цепей тирана!

тура, кроющаяся во всяком царе, как и во всяком человеке не самого сильного характера, возьмет свое. Как бы то ни было, наши молодые, пламенные, благородные люди возымели ревностное желание доставить торжество либеральным идеям, под которыми разумеется владычество законов, водворение правды, бескорыстия и честности в судах и в управлении, искоренение вековых злоупотреблений, подтачивающих дерево русского величия и благоденствия народного. Составилось общество,[1] основанное на самых чистых и благородных началах, имевшее целию: распространение просвещения, поддержание правосудия и поощрение промышленности и усиление народного богатства. Это были благонравные дети, игравшие обоюдоострыми кинжалами, сжигавшие фейерверк под пороховыми бочками. Некоторые из них, встретив с самого начала препятствия, убедившись в неисполнимости их мечтательных замыслов, отказались от участия в делах общества; другие оставались в нем, надеясь что-нибудь сделать; иные еще, честолюбивые мечтатели, вздумали воспользоваться таким союзом для удовлетворения своим страстям, для низвержения правительства и для овладения верховною властью во благо народа, говорили они, но на деле для утоления собственной их жадности. К этим сумасбродам присоединилось несколько злодеев, под маскою патриотов, и как зло на свете всегда сильнее добра, последние и одолели. В числе участников было несколько легкомыс-

[1] *Зачеркнуто:* благоденствия

ленных ветренников, которые не смели отстать от других, кричали и храбрились в надежде, что все кончится громкими фанфаронадами, не дойдет до дела. Всего грустнее было то, что заговорщики заманили в свою шайку несколько прекрасных молодых людей, едва вышедших из детского возраста и не понимавших, что заставляют их предпринять.

Таким образом составилось это разнокалиберное скопище. Таким образом подготовились и разыгрались элементы этой нелепой стачки, стоившей многих слез и страданий целым семействам и могшей навлечь на Россию неисчислимые бедствия.

При начале всякого драматического творения исчисляются действующие в нем лица с изложением их характера и с описанием костюмов. Так поступаю и я: исчислю и, сколько могу, опишу каждого из действовавших, то есть только тех, которых или я знал лично, или о ком имел достоверные сведения. [1]

1. Павел Иванович Пестель, полковник и командир Вятского пехотного полка. Достойно замечания, что первенствующим из заговорщиков был сын жестокосердого проконсула, врага всякой свободной идеи, всякого благородного порыва. Отец его, Иван Борисович Пестель, был человек очень умный, хорошо образованный, может быть и честный, но суровый, жестокий, неумолимый. При императоре Павле был он почтдиректором в Петер-

[1] *Дальше зачеркнуто:* Исчислю их по мере их виновности, доказанной решением суда.

бурге, а брат его в той же должности в Москве. Однажды призывают его к императору. Павел в гневе говорит ему: «вы, судырь, должны брать пример с вашего брата. Он удержал одну иностранную газету, в которой было сказано, будто я велел отрезать уши мадам Шевалие, а вы ее выпустили в свет. На что это похоже?» Пестель отвечал, не смутившись: «точно выпустил, государь, именно для того, чтоб обличить иностранных вралей. Каждый вечер публика видит в театре, что у ней уши целы, и, конечно, смеется над нелепою выдумкою». — «Правда! Я виноват. Вот, — сказал Павел (написав несколько слов на лоскутке бумаги об отпуске из кабинета бриллиантовых серег в 6000 р.), — поезжай в кабинет, возьми серьги, отвези к ней и скажи, чтобы она надела их непременно сегодня, когда выйдет на сцену».

Впоследствии Пестель был генерал-губернатором в Сибири и затмил собою подвиги всех проконсулов, Клейва, Гастингса и подобных.[1] Сибирь стонала под жесточайшим игом. Пестель окружил себя злодеями и мошенниками: первым из них был Николай Иванович Трескин, гражданский губернатор иркутский. До сих пор живо в Сибири воспоминание о тех временах. Пестель долго управлял Сибирью из Петербурга, для того чтоб ему не подсидели у двора. Жил он на Фонтанке насупротив Михайловского замка, на одном крыльце с Пукаловою, любовницею Аракчеева, и чрез нее держался у него

[1] *Дальше зачеркнуто*: тиранов.

в милости. Притом он считал себя самым честным и справедливым человеком, гонителем неправды и притеснения. Однажды рассказывал мне сын его Борис Иванович, не спал он целую ночь от негодования на неправосудие людей, видав накануне на немецком театре драму, в которой был выставлен бессовестный судья. Я должен заметить здесь, почему знал Пестеля. У меня был в пансионе (когда я служил старшим учителем в Петровской школе) третий сын его Борис Иванович, мальчик неглупый, но злой нравом: в детстве у него отняли ногу, после какой-то болезни, и это имело влияние на его характер. Отец привез его ко мне (1810 г.) вместе со старшими сыновьями, Павлом и Владимиром, только что возвратившимися из Дрездена, где они видели Наполеона. Я спросил у Павла Ивановича, каков теперь собою Наполеон. «Говорят-де, что потолстел». — Павел Иванович сказал смеючись и указывая на отца, который стоял спиною к нам: «вот точно как батюшка», а старик Пестель был малорослый толстяк. Жена его, урожденная фон-Крок (дочь сочинительницы писем об Италии и Швейцарии, урожденной фон-Диц), была женщина умная и не только образованная, но и ученая. Не знаю, как она уживалась с своим тираном (хотя, впрочем, политические тираны бывают иногда самыми нежными мужьями), но детям своим, особенно старшему Павлу, внушала она высокомерие и непомерное честолюбие, соединявшиеся с хитростью и скрытностью. В нем было нечто иезуитское. Ума он был необыкновенного, поведения безукоризненного. Он и

брат его Владимир воспитывались в Дрездене, под руководством умной и просвещенной бабки. Напрасно станут обвинять иностранное воспитание: отчего же один Павел заразился им, а Владимир остался верноподданным, в день казни брата пожалован был флигель-адъютантом, потом, служил ревностно и наконец был губернатором в Крыму.

Возвращение Павла Пестеля в Россию и поступление его на службу сопровождалось замечательными обстоятельствами. Он был камер-пажем и, по прибытии в Петербург, явился в корпус на выпускной экзамен. Это было в марте 1812 года. До явки его кончен был общий экзамен, и камер-паж Владимир Адлерберг удостоен был первого нумера. Это было в то время очень важно. Первый по экзамену получал чин поручика гвардии и дорогую дорожную шкатулку; второй чин подпоручика; прочие выпускались прапорщиками. Приказано было сделать экзамен Пестелю; оказалось, что он был по наукам и языкам несравненно выше Адлерберга; ему следовал первый приз. Пошли хлопоты и интриги. Мать Адлерберга (начальница Смольного Монастыря) бросилась с просьбою к императрице Марии Феодоровне: «Мой-де сын учился с успехом всему, что преподается в корпусе, получил прилежанием и успехами первое место. Приехал Пестель, и моего Владимира ставят на второе. Да виноват ли он, что его не учили тому, чему учат в Дрездене? Теперь приедет еще какой-нибудь профессор, и ему должны будут уступить наши бедные дети. Где тут справедливость? вступитесь за моего сына».

С другой стороны Пестель, чрез соседку свою Пукалову, искал помощи у верховного визиря. Аракчеев доложил государю, что Адлерберг награжден уже казенным содержанием и обучением, а Пестель не получил от казны ничего, образовался сам собою и на свой счет и потому заслуживает преимущества. Государь отвечал и матушке своей и другу, что поступит по всей справедливости, и, когда кандидаты в герои явились к нему на смотр, сказал им: «Господа, поздравляю вас всех прапорщиками нового гвардейского, Литовского полка» (ныне Московский). Замечательно, что один из состязателей теперь генерал-адъютант, граф, андреевский кавалер, министр — а другой повешен как [1] преступник! Судьбы божии неисповедимы!

Пестель служил усердно и честно, был храбр в сражениях и человеколюбив после боя. В 1814 году он был адъютантом графа Витгенштейна. Его послали с немногими казаками с каким-то поручением в Бар-сюр-Об. Прискакав в городок, Пестель видит на улицах большое смятение. Баварцы вытеснили французов, недавних своих союзников, и грабят немилосердно. Из одного дома несутся раздирающие крики. Пестель входит туда с казаком и видит, что три баварца вытаскивают тюфяк из под умирающей старухи. Она кричит и просит пощады. Пестель стал было уговаривать солдат, чтоб они сжалились над несчастною и когда они отвечали ему ругательствами, то приказал казакам выгнать негодяев нагайками.

[1] *Зачеркнуто*: подлый.

Когда они выбежали на улицу, раздался голос баварского майора, курившего (в халате) трубку в окне второго этажа. «Что это значит? Бьют людей, как собак! Как вы смеете?» Пестель оглянулся и закричал казакам: «Стащить скотину!» Майора стащили и тут же высекли. Грабеж кончился. Баварское начальство жаловалось, но Витгенштейн заметил, чтоб не доводили этого до сведения Александра: тогда было бы еще хуже. Впоследствии Пестель дослужился до полковника и был командиром Вятского полка, стоявшего в Подолии. При начале греческого восстания, его посылали в Молдавию и Валахию, чтоб узнать о причинах и свойстве этого восстания. В донесении своем он сказал, что это то же самое, что освобождение России от татарского ига. Александр принял донесение благосклонно, но грекам, как известно, не помогал. Лица, замыслившие заговор, не могли не принять к себе Пестеля, и он вскоре сделался главным действующим лицом его. Он приехал в Петербург. Я видал его в собраниях масонских лож. Он молчал, и замечал случаи и лица. Роста был невысокого, имел умное, приятное, но сериозное лицо. Особенно отличался он высоким лбом и длинными передними зубами. Умен и зубаст! Участие его в замыслах революции явствует из официальных бумаг. Какая была его цель? Сколько я могу судить, личная, своекорыстная. Он хотел произвесть суматоху и пользуясь ею, завладеть верховною властью в замышленной сумасбродами республике. Достойно замечания, что он составил себе роль, которую чрез четверть века разыграл с успе-

хом другой бунтовщик, Людовик-Наполеон, по тому непреложному закону, что плохая монархия производит республиканцев, а плохая республика тиранов. Достигнув верховной власти, Пестель дал бы несомненно волю своей отцовской крови, сделался бы жесточайшим деспотом. При следствии и суде он вел себя твердо и решительно, но не всегда говорил правду и старался оправдаться во многих уликах, иногда играл разные роли. Есть слух, что пред смертью не хотел исповедываться и причащаться. Это неправда: его не было в списке особ, причащавшихся у православного священника, потому что он был лютеранин. Его приобщал тогдашний пастор (и супер-интендент Рейнбот), живший в то время подле меня, на Черной Речке. В первом часу ночи приехал к нему адъютант генерал-губернатора (чуть ли не нынешний обер-форшнейдер, заведывающий просвещением России), разбудил и просил приехать в крепость для напутствия приговоренных к смерти преступников. Рейнбот, впоследствии, рассказывал мне о последнем своем свидании с Пестелем. Он нашел его не упадшим в духе, но беспокойным и тревожным. После первых слов о поводе к этому свиданию, Пестель начал говорить о своем деле, стал оправдываться, жаловаться на несправедливость суда и приговор, причем беспрестанно хватался за галстух. Рейнбот, выслушав его внимательно, сказал ему: «Теперь вам не до света и не до его мнений: вы должны помышлять о том, что вскоре явитесь пред богом». В дальнейшей беседе П[естель] еще порывался оправдываться, но Р[ейнбот] на-

водил его на предмет своего посещения. Наконец Пестель покорился и исполнил обряд, с благоговением, и просил пастора передать последнее прости его родителям. Вообще он показался Рейнботу неоткровенным иезуитом, даже в эту великую минуту.

2. Кондратий Федорович Рылеев — соучастник Пестеля, но самая резкая ему противоположность. Один был аристократ и метил в цари; другой — человек не важный и сам не знал чего хотел. Рылеев, небогатый дворянин, был воспитан в 1-м кадетском корпусе, показывал с детства большую любознательность, учился довольно хорошо чему учили в корпусе, вел себя порядочно, но был непокорен и дерзок с начальниками, и с намерением подвергался наказаниям: его секли нещадно; он старался выдержать характер, не произносил ни жалоб, ни малейшего стона и, став на ноги, опять начинал грубить офицеру. Он был выпущен в артиллерию, вскоре вышел в отставку и был по выборам дворянства заседателем в Петербургской Уголовной Палате, служил усердно и честно, всячески старался о смягчении судьбы подсудимых, особено простых, беззащитных людей. В то же время был он правителем дел Правления Российско-Американской Компании. Как я слышал от директора компании Ивана Васильевича Прокофьева, он в начале своего служения трудился ревностно и с большою пользою, но потом одурев от либеральных мечтаний, охладел к службе и валил чрезь пень колоду. Поэтического дарования он не имел и писал стихи не гладкие, но замечательные своею

силою и дерзостью. В послании к Вяземскому, написанном будто бы в подражание Персиевой сатире к Рубеллию, напечатанном в «Невском Вестнике», он говорил очень явно об Аракчееве:

Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в высший сан пронырствами злодей,
Ты на меня взирать с презрением дерзаешь,
И в грозном взоре мне свой ярый гнев являешь!
Твоим вниманием не дорожу, подлец!

В одном отношении Рылеев стоит выше своих соучастников. Почти все они, замышляя зло против правительства и лично против государя, находились в его службе, получали чины, ордена, жалованье, денежные и другие награды. Рылеев, замыслив действовать против правительства, перестал пользоваться его пособием и милостями.

В этом отношении могу сообщить любопытный анекдот, характеризующий либералов всех времен и стран. Николай Иванович Тургенев, будучи статс-секретарем государственного совета, пользуясь разными окладами и т. п., толковал громогласно об всех министрах, и особенно истощал все свое красноречие на обличение Аракчеева. В начале 1824 года изъявил он желание ехать заграницу: ему дали чин действительного статского советника, орден Владимира 3-ей степени, и, кажется, тысячу червонцев на проезд. Тургенев обедывал обыкновенно в Английском Клубе и после обеда возвращался домой пешком, но, вскоре уставая

от хромоты, отдыхал на скамье аллеи Невского проспекта. Вечером в апреле (1824) мы шли с Булгариным по проспекту, увидели отдыхающего Тургенева и присели к нему. Булгарин стал рассказывать, как я накануне в большой компании уличал гравера Уткина в лености, и говорил: «ты выгравировал картофельный нос Аракчеева, получил за то пенсию и перестал работать». Булгарин думал, что рассмешит Тургенева, вышло иное; он сказал с некоторою досадою: «с чего взяли, будто у Аракчеева картофельный нос: у него умное русское лицо!» Нас так и обдало кипятком. «Вот наши либералы! — сказали мы в один голос: — дай им на водку, все простят!»

Воротимся к Рылееву. Откуда залезли в его хамскую голову либеральные идеи? Прочие заговорщики воспитаны были заграницею, читали иностранные книги и газеты, а этот неуч, которого мы обыкновенно звали цвибелем, откуда набрался этого вздору? Из книги: «Сокращенная библиотека», составленной для чтения кадет учителем корпуса, даровитым, но пьяным Железниковым, который помещал в ней целиком разные республиканские рассказы, описания, речи, из тогдашних журналов. Утверждают, что мятежники 14 декабря были большею частью лицеисты. Неправда: были два лицеиста, Пущин и Кюхельбекер, да и последний был полоумным. Большею частью были в числе их воспитанники 1-го Кадетского Корпуса, читатели библиотеки Железникова. Заманчивые идеи либерализма, свободы, равенства, республиканских доблестей ослепили молодого

*не*дообразованного человека! Читай он по-французски и по-немецки, не говорю уже по английски, он с ядом нашел бы и противоядие. За улыбающимися обещаниями и светлыми мечтами 1789 года разверзла бы пред ним пасти свои гидра 1793 года! Революции 1830 и 1848 годов имели благие последствия для направления умов в Европе, показав, что за свободою для народов, не понимающих ее и к ней непривыкших, следует своеволие; за своеволием жесточайший деспотизм. Мечтания и обаяния пылкого оптимизма исчезают пред светом истории. Кажется, опыт научил нас, что известный образ правления, как пища человеческая, равно несвойствен всем народам. Нации холодные, рассудительные, притом нравственные и преимущественно прозаически-протестантские, могут жить под правлением рассудка и права, выражающимся формою представительною. Англичане, шведы, датчане, северные германцы (а не глупые австрийцы), северо-американцы под этою формою живут счастливо и успешно. Народы племени романского и славянского к ней неспособны: у них должна царствовать палка, да и палка. Упаси бывало боже, в двадцатых годах возгласить эти пресные математические истины: поднимут тебя на смешки, выставят дураком и, что еще хуже, подлецом, рабом и шпионом! Большинство либеральных умов было так велико, что его решения считались мнением общим, за немногими исключениями; к нему привыкли, как к закону всесильной моды, никто не смел ему противоречить, в нем сомневаться. И в этой толпе олухов и пустоме-

лей вращались лица, замыслившие мятеж и перемену правительства, но так как они говорили также как все, никто не замечал их, и потому неудивительно, что бедный генерал-губернатор гр. Милорадович, в эпоху общего жужжания, не мог отличить мух ядовитых от просто жужжавших и только грязных. К тому же запевалами в этим хоре были аристократы, подававшие тон в высшем обществе. Вот полезли за ними мошки и букашки.

Рылеев был не злоумышленник, не формальный революционер, [1] а фанатик, слабоумный человек, помешавшийся на пункте конституции. Бывало сядет у меня в кабинете и возьмет «Гамбургскую газету», читает, ничего не понимая, строчку за строчкою; дойдет до слова Constitution, вскочит и обратится ко мне: «Сделайте одолжение, Н[иколай] И[ванович], переведите мне, что тут такое. Должно быть очень хорошо!»

Фанатизм силен и заразителен, и потому неудивительно, что пошлый необразованный Рылеев успел увлечь за собою людей, которые были несравненно выше его во всех отношениях, например Александра Бестужева. Однажды шли они вдвоем из заседания Общества Соревнователей Просвещения и Благотворительности и толковали, каким образом может быть направлено это общество к какой-либо высшей, практической цели. Тогда Рылеев открыл Бестужеву о замысле некоторых, по его словам, благородных людей, [2] имеющих целью преобразо-

[1] *Первоначально было*: бунтовщик.

[2] *Первоначально было*: о существовании тайного общества.

вание России, и взял с него слово приступить к этому скопищу. С Николаем Тургеневым Рылеев познакомился у меня, 4 октября 1822 года, на праздновании десятилетия «Сына Отечества». Меня и многих изумило, что надутый аристократ и геттингенский бурш[1] долго беседовал с плебеем и кадетом, который даже не говорил по-французски. Могли ли мы воображать, о чем они толкуют и до чего дойдет бедный цвибель! Рылеев сделался двигателем и душою этого дела, искал, набирал соумышленников, внушал им свои революционные мечтания, писал сатирические и возмутительные стихи.

Сообщу средства, какими эти господа вербовали рекрут, в которых предполагали законный по ним рост. Однажды Рылеев сидел у меня вечером в кабинете один со мною, и толковал о разных неинтересных предметах. Вдруг сказал он:

— Удивительно, как иногда можно очутиться в неприятном положении.

— Точно, — отвечал я, — мало ли что бывает.

— А что по вашему, — спросил он: — было бы вам неприятнее всего?

— Всего неприятнее было бы, — отвечал я, — если бы мне следовало завтра заплатить три тысячи рублей, которые я должен на честное слово, и у меня не было бы ни копейки.

— Это пустое, — сказал Рылеев, — есть случаи гораздо неприятнее.

— А какие, например?

[1] *Первоначально было:* дурак.

— Вот,—сказал он, вперив в меня свои вечнодвижущиеся маленькие глаза.—Если бы вам открыли, что существует заговор против правительства, и пригласили бы в него вступить? А? что бы вы сделали?

— Это решить нетрудно,—отвечал я хладнокровно, и вовсе того не подозревая, что он говорит это с каким-либо намерением: — я поступил бы с приятелем, как советовал граф Растопчин поступать с французским шпионом: за хохол да и на съезжую.

— Возможно ли,—сказал он,—так думать! Подумайте, если бы заговор был составлен для блага и спасения государства, как например, против Павла Первого.

— Нет, Кондратий Федорович,—отвечал я,—заговоры составляются не для блага государства, а для удовлетворения тщеславия или корыстолюбия частных лиц. Пользы они не принесут никакой, кроме горького урока. Что же касается до заговора, какой был против Павла, во первых, участники его князья, графы, адъютанты не оказали бы нам, прочим смертным, великой чести участвовать в их подвиге, а во вторых, я гораздо скорее желал бы быть на месте камер-гусара Саблина, которому заговорщики изрубили голову, когда он закричал Павлу: «Государь! Спасайся!» Неужели как Платон Зубов шататься по свету подобно Каину с клеймом на лбу: цареубийца!

— Да что же вас так привязывает к царям?—спросил он с какою-то досадою.

— Положим,—отвечал я,—что вы ни во что ставите присягу, но между царем и мною

есть взаимное условие: он оберегает меня от внешних врагов и от внутренних разбойников, от пожара, от наводнения, велит мостить и чистить улицы, зажигать фонари, а с меня требует только: сиди тихо! вот я и сижу.

Рылеев не продолжал разговора, обратил речь к чему-то другому и, напившись чаю, уехал. Потом он никогда не проронил о том ни слова.

Другое искушение. Никита Михайлович Муравьев повадился приезжать ко мне по утрам, едучи на службу в Главный Штаб. Приедет, поболтает, и только. Разумеется, разговоры были тогдашние, либеральные. Однажды приехав ко мне, нашел он меня в большой досаде и расстройстве. На вопрос о том, что меня сердит, я отвечал: — «Да вот, посмотрите, как этот дурак ценсор Бируков вымарал из «Сына Отечества» самые невинные вещи, в которых он видит чорт знает что! Да и хорошо наше умное правительство! ценсуру поручает набитым дуракам и подлецам. Ну может ли такой глупый семинарист судить о литературе, о политике? Может ли он быть хорошим, верным подданным? А ему верят, а не верят мне, известному писателю, дворянину, отцу семейства; стану ли я изменять правительству, действовать вопреки его видам? — При этих словах, сказанных без умысла, от глубины души, Муравьев, видимо смутился, тотчас уехал и уже не являлся более.

Третья вербовка была еще оригинальнее. В ноябре 1825 г. за месяц до вспышки, я обедал у Булгарина с Батеньковым и Погодиным.

Батеньков пил досуха, и в конце обеда спросил еще шампанского. Эти господа в последнее время пили непомерно, как бы стараясь тем придать себе духу или выбить что-то из ума и памяти. Булгарин, не желая оскорбить чувство бережливости своей танты, [1] сказал ему: «пойдем ко мне в кабинет и выпьем там на просторе». Встали и пошли. На стол поставили бутылку, наполнили стаканы. Батеньков, развалившийся с трубкой в зубах на диване, духом выпил стакан, крякнул и сказал:

— Ах, как все гадко в России! Житья скоро не будет. Неправда ли, Николай Иванович?

Я отвечал:

— Кому и знать это, если не вам, мизинцу правой руки государевой!

— Нет, — продолжал он, — невтерпеж приходит.

Булгарин испугался этих слов из уст Батенькова.

— Ну полно, — сказал он, — что ты людей морочишь, аракчеевский шпион.

— Молчи, — возразил Б[атеньков]: — я не с тобою говорю. Ты поляк, и чем для нас хуже, тем для вас лучше. Я говорю с Николаем Ивановичем: он сын отечества, и согласится со мною, что все это надо переделать и переменить.

— Да нашли ли вы на то средство? — сказал я, чтоб сказать что-нибудь.

— Нашел! Надобно составить тайное общество, набрать в него сколько найдется честных

[1] См. ниже очерк Греча: «Фаддей Булгарин».

людей в России, прибрать в руки власть и рассадить этих людей по всем местам. Тогда Россия переродится.

Булгарин трусил и показывал мне знаками, чтоб я не соглашался. Батеньков продолжал:

— Конечно, вы, Н[иколай] И[ванович], не откажетесь вступить в такое общество?

— Разумеется, не откажусь.

Булгарин побледнел. Батеньков поднялся, выпустил трубку изо рта.

— В самом деле? — спросил он.

— В самом деле, — отвечал я, — только у меня есть одно маленькое условие.

— Какое?

— Чтоб председателем этого общества был обер-полицмейстер Иван Васильевич Гладкий.

Булгарин восхитился, расхохотался и закричал:

— Ай, да Греч! браво, браво! Председатель Гладкий!

Батеньков возразил с досадою:

— Да вы шутите, Н[иколай] И[ванович]?

— И вы, конечно, шутите, Гаврило Степанович, — отвечал я.

Разговор принял другое направление. Я приписывал эти отзывы Батенькова внушениям паров шампанского, не воображая, чтобы член Совета военных поселений мог в здравом уме говорить такие вещи. Чрез несколько дней после 14-го декабря узнал я, что и он был в этом заговоре. Не приписываю себе никакой заслуги, что не попал сам в эту кутерьму. Меня предохранила от того, во-первых, семеновская история: в ней видел я, как легко было запу-

таться одним словом, одним каким-либо необдуманным шагом. Во-вторых, берегла меня милость божия! Сколько запутано было в это дело людей, виновных столько же, как и я; слышавших дерзкие речи и не донесших о них, потому что считали их пустыми и ничтожными. Так например в донесении следственной комиссии отзыв Якубовича («вы хотите быть головами, господа! Пусть так, но оставьте нам руки») сказан был в моем присутствии. Это было в субботу 26-го ноября, на обеде у директора Американской Компании, Ивана Васильевича Прокофьева. Обедали у него, сколько помню, Ф. Н. Глинка, Батеньков, Якубович, Рылеев, Михаил Кюхельбекер, Александр Бестужев, Штейнгель, Муханов, я и еще несколько человек. Булгарина, помнится, не было. Беседа была шумная, веселая и преприятная. Добрый хлебосол ходил вокруг стола и подливал вина, добываемого за шкуры сивучей и котиков, не догадываясь, кого подчивает. Вдруг Батеньков спросил:

— А где Николай Иванович? (Кусов, тогдашний городской голова). Отвечали: — он остался за Невою (которая только что стала).

— Голова!—сказал Батеньков, — какое славное звание голова! Ну что значит против этого какой-нибудь маиор! Ах, если бы быть головою!

Якубович сказал на это:

— Будьте головами, только нам развяжите руки.

Все мы, непричастные к Удольфским таинствам, приняли эти слова раненого на Кавказе офицера, с повязанною головою, за желание его

подраться с горцами. И сколько таких порывов и намеков промелькнуло у нас мимо ушей!

Какая была цель Рылеева? Он сам ее не знал. Учреждение ли конституционного правления, водворение ли республики; только бы пошуметь, подраться, пролить крови и заслужить статью в газетах, а потом и в истории. Нечего сказать! Завидная слава!

12-го декабря в бывшем у него в квартире предуготовительном собрании заговорщиков, он вынудил у них согласие взбунтовать войска и народ 14-го числа, и потом, при следствии, откровенно признался, что был главным деятелем, и если бы хотел, то мог бы все остановить.

14-го декабря Рылеев сам на площади не сражался, но бегал повсюду, как угорелая кошка, поощрял своих соумышленников, приглашал людей из народу к участию в бунте, причем происходили иногда сцены пресмешные и оригинальные. Когда начала напирать гвардия и впереди ее корпусный командир, генерал Воинов, Рылеев закричал мужикам:

— Что вы стоите, братцы! Бейте их: они ваши злодеи!

— Да чем прикажете?

— Хоть вот этими поленьями, — сказал он, указав на дрова, складенные у забора Исакиевской церкви.

— Помилуйте, ваше благородие, — отвечали ему,—как можно! Дрова-то казенные!

Когда кончилась драка, Рылеев скитался не знаю где, но к вечеру пришел домой. У него собралось несколько героев того дня, между

прочим, барон Штейнгель: они сели за стол и закурили сигары.

Булгарин, жестоко ошеломленный взрывом, о котором он имел темное предчувствие, пришел к нему часов в восемь и нашел честную компанию, преспокойно сидящую за чаем. Рылеев встал, преспокойно отвел его в переднюю и сказал: «Тебе здесь не место. Ты будешь жив, ступай домой. Я погиб! Прости! Не оставляй жены моей и ребенка». Поцеловал он его и выпроводил из дому.

Он не только не устрашался смерти, но и встречал ее с какою-то гордою радостью. Выслушав смертный приговор, он написал к жене своей письмо следующего содержания:

13 июля 1826.

Бог и государь решили участь мою: я должен умереть и умереть смертию позорною. Да будет его святая воля! Мой милый друг, предайся и ты воле всемогущего, и он утешит тебя. За душу мою молись богу: Он услышит твои молитвы. Не ропщи ни на него, ни на государя: это будет безрассудно и грешно. Нам ли постигнуть неисповедимые суды Непостижимого? Я ни разу не возроптал во все время моего заключения и за то дух святый дивно утешал меня. Подивись, мой друг, и в сию самую минуту, когда я занят только тобою и нашею малюткою, я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить тебе. О милый друг, как спасительно быть христианином! Благодарю моего создателя, что он меня просветил и что я умираю во Христе.

Ето дивное спокойствие порукою, что творец не оставит ни тебя, ни нашей малютки. Ради бога не предавайся отчаянию: ищи утешения в религии. Я просил нашего Священника посещать тебя. Слушай советов его и поручи ему молиться о душе моей. Отдай ему одну из золотых табакерок в знак признательности моей или лучше сказать на память, потому что возблагодарить его может только один бог за то благодеяние, которое он оказал мне своими беседами. Ты не оставайся здесь долго, а старайся кончить скорее дела свои и отправься к почтеннейшей матушке. Проси ее, чтобы она простила меня; равно всех родных своих проси о том же. Катерине Ивановне и детям ее кланяйся и скажи, чтобы они не роптали на меня за М. П.;[1] не я его вовлек в общую беду: Он сам это засвидетельствует. Я хотел было просить свидания с тобою; но раздумал, чтоб не расстроить себя. Молю за тебя и Настиньку и за бедную сестру бога, и буду всю ночь молиться. С рассветом будет у меня Священник, мой друг и благодетель, и опять причастит. Настиньку благословляю мысленно нерукотворенным образом спасителя и поручаю всех вас святому покровительству живого бога. Прошу тебя: более всего заботься о воспитании ее. Я желал бы, чтобы она была воспитана при тебе. Старайся перелить в нее христианские чувства — и она будет щастлива не смотря ни на какие превратности в жизни, и когда будет

[1] Мих. Петр. Малютин, сын Катерины Ив., замешанный в восстании декабристов.

иметь мужа, то ощастливит и его, как ты, мой милый, мой добрый и неоцененный друг, щастливила меня в продолжении восьми лет. Могу ли, мой друг, благодарить тебя словами: они не могут выразить чувств моих. Бог тебя наградит за все. Почтеннейшей Прасковье Васильевне моя душевная, искренная, предсмертная благодарность. Прощай! велят одеваться. Да будет Его Святая воля.

Твой истинный друг К. Рылеев.

Не трудно понять, что он разумел под словами Духа Святого и Христа!

Он сделал к письму коротенькую приписку, в которой распоряжался какою-то неважною суммою, будто ехал на дачу.[1] Он был из числа тех трех несчастных, которые сорвались с петли и были повешены вторично. Говорят, он сказал при том: «и в этом неудача!» Можно сказать, что он погиб от несварения в желудке неразжеванной [2] пищи.

5. Сергей Иванович Муравьев-Апостол, сын бывшего в Мадриде русским посланником Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола (человека необыкновенного ума, познаний, учености и талантов), воспитан был в Париже, в Политехническом Училище, служил в Семеновском полку и был во время бунта (в 1820 г.)

[1] Приписка Рылеева была следующего содержания: «У меня осталось здесь 530 р. Может быть, отдадут тебе».

[2] Не разобрано одно слово; в издании 1886 г. напечатано: либеральной пищи.

командиром роты его величества, оказавшей непослушание. Он был любим и уважаем своими солдатами, употреблял все средства, чтоб удержать их, но не успел в том. Его перевели в армию подполковником в Черниговский пехотный полк. Вероятно, что эти неудачи по службе распалили дремавшие в нем страсти. Я видал Сергея Ивановича в доме Алексея Николаевича Оленина: он был не очень сообщителен, но учтив, приветлив и приятен в обращении, разумеется с душком аристократическим. В тесном кругу был он весел и остер. Однажды Оленин жаловался на необразованность нашей публики. В одном публичном чтении в Императорской Библиотеке слетело с верхней галлереи яблоко. «Cela doit vous faire plaisir, — сказал Муравьев, — on a ecouté avec fruit».[1] Нравом он казался очень кроток, и в нем никак нельзя было подозревать того исступленного революционера, того безумного предводителя шайки мятежников (и еще обманутых), каким он явился впоследствии. Общество людей, в обыкновенное время похоже на озеро, гладкое в безветрие. Когда буря всколышет его, поднимутся на поверхность такие уродливые гадины, о существовании которых нельзя было бы и подумать. Конечно, Сергей Муравьев получил идеи и направление от воспитания своего во Франции, но сколько молодых русских, воспитанных там, остались чистыми и верными! По всему видно, что Сергей

[1] «Это должно быть вам приятно. Слушали не без плода».

М[уравьев] действовал решительно, твердо, по внутренним убеждениям, и остался им верен до конца. Он привезен был в петербургскую крепость в конце января. Когда его посадили в каземат, он написал на обороте оловянных тарелок, на которых подавалось кушанье арестантское: «Сергей Муравьев здесь». С тех пор стали давать им посуду глиняную. Отцу позволили посетить его в тюрьме. Старый дипломат огорчился, увидев сына своего в изодранном мундирном сертуке, обрызганном кровью (Сергей М[уравьев] был ранен, когда его взяли), и сказал, что пришлет ему другое платье. — «Не нужно, — отвечал сын, — я умру с пятнами крови, пролитой за благо отечества!» Такое ослепление непостижимо! Несчастные слепцы не видели, что ведут свое отечество на край гибели. Удайся хоть часть их безрассудного, нелепого и глупого замысла, пропала бы Россия, стоявшая при Александре на высокой степени славы и могущества.

Я полагаю, что виною действий Сергея Муравьева был семеновская история. Не случись ее, он преспокойно прослужил бы в гвардии, получил бы полк, или поступил бы в флигельадъютанты, женился бы на богатой барышне и был бы теперь где-нибудь хорошим военным губернатором. Нет сомнения, что начала либерализма были питаемы в нем воспитанием и обучением во Франции, но они заглохли бы в шуме света, высохли бы от лучей царской милости: остался б человек благородный, умный, полезный отечеству. Он командовал в Семеновском полку ротою его величества, кото-

рая любила его как отца. Прибыв благовременно в казармы, он успел было усмирить волнение, но какая-то нелепая весть вновь воспалила солдат. «Ваше высокоблагородие! — кричали они, — не троньте нас, мы идем за своих».

Перевод его в армию, заградив ему путь службы, возбудил ненависть к престолу в высшей степени, беседа с Пестелем и другими поддерживала этот огонь, и Муравьев ринулся в бездну.

Достойно замечания, что одним из первых крикунов-либералов в Южной армии был знаменитый впоследствии начальник Штаба жандармов, Леонтий Васильевич Дубельт. Когда арестовали участников мятежа, все спрашивали: «Что же не берут Дубельта?»

Впрочем, долг справедливости требует сказать, что Дубельт, в последней своей старости, вел себя как честный и благородный человек, если не сделал много добра, то отвратил много зла и старался помочь и пособить всякому, Он был очень полезен при бестактном Бенкендорфе и при добром, умном, но беспечном Орлове. Главным недостатком его было, что он обещал многое, чего не мог исполнить. Еще имели на него большое влияние женские глазки.

Брат Сергея Ивановича, Ипполит, убит был при усмирении мятежа при Белой Церкви. Матвей Иванович, другой брат, человек слабого телосложения, малорослый, тщедушный (тяжело раненый в 1813 г.), как видно, увлекся Сергеем: увидев всю важность своего престу-

пления, он впал в отчаяние и искренно раскаялся. По прощении осужденных за мятеж, он поселился в Москве.

4. Подпоручика Бестужева-Рюмина я не знал, слышал только, что он был нечестивый, бестолковый фанатик, не знавший сам что̀ говорит и делает.

5. Петр Каховский, уроженец Смоленской губернии, сделавшийся мне известным летом в 1825 году, когда он приходил в гости к Кюхельбекеру, жившему у меня во время пребывания семейства моего на даче. Он был человек с виду невзрачный, с ничтожным лицом и оттопырившеюся губою, которая придавала ему вид какой-то дерзости. Образование его было недальнее. Известно, что он был убийцею Милорадовича, полковника Стюрлера и еще ранил одного офицера. Однажды вечером, когда я пил чай с Кюхельбекером, пришел к нему Каховский и между прочим рассказывал о приключениях своего детства. Он был в каком-то пансионе в Москве, в 1812 году, когда вступили туда французы. Пансион разбежался, и Каховский остался где-то на квартире. В этом доме поселились французские офицеры и с мальчиком ходили на добычу. Однажды приобрели они несколько стклянок разного варенья. Должно было откупорить. За это взялся Каховский, но как-то неосторожно засунул палец в горлышко стклянки и не мог его вытащить. Французы смеялись и спрашивали, как он освободит свой палец. «А вот как!» — сказал мальчик и, размахнувшись, разбил стклянку об голову одного француза. Его приколотили за эту дерзость и

выгнали. Это начало обещало многое, и он сдержал обещанное.

6. Князь Сергей Трубецкой, самая жалкая фигура (chevalier de la triste figure) в этом кровавом игрище. Длинный, сухопарый, носастый, женатый на дочери графа Лаваля, образованный по-французски, как все ему подобные, умом ограниченный, сердцем трус и подлец, не знаю, почему он вошел в славу и почет у наших либералов. Как мужики боялись в бунте бросать казенными дровами, так и либералы, проповедывавшие равенство, охотно забирали под свои знамена князей и князьков всякого рода, и Трубецких, и Оболенских, и Щениных, и Шаховских, и Голицыных, и Одоевских, и графов, и баронов. Cela sonne bien![1] Князя Трубецкого все знали за добряка и самого ничтожного человека, и потому именно не могли бы подозревать не только в начальстве над заговорщиками, но и участии с ними. Он и повел себя удивительно. 12-го числа был у Рылеева на сходбище, условился в действиях, но проснувшись на утро 14-го числа, опомнился, струсил, пошел в штаб, присягнул новому государю и спрятался у свояка своего графа Лебцельтерна, австрийского посланника. Когда его схватили и привели к государю, он бросился на колени и завопил: «la vie, Sire!»[2] Государь отвечал с презрением: «Даю тебе жизнь, чтоб она служила тебе стыдом и наказанием.» Он пережил время заточения и живет ныне в полуденной России.

[1] Это звучит хорошо!
[2] «Жизни, государь!»

7. Вильгельм Карлович Кюхельбекер, комическое лицо мелодрамы. Он воспитывался в лицее с Пушкиным, Дельвигом, Корфом и др., успел хорошо в науках и отличался необыкновенным добродушием, безмерным тщеславием, необузданным воображением, которое он называл поэзией, раздражительностью, которую можно было употреблять в хорошую и в дурную сторону. Он был худощав, долговяз, неуклюж, говорил протяжно с немецким акцентом. По выходе из лицея, был он учителем в одной из петербургских гимназий; потом поехал в чужие края секретарем при Александре Львовиче Нарышкине, который было полюбил его, но вскоре принужден был с ним расстаться. В Париже Кюхельбекер свел знакомство с какими-то либеральными литераторами и вздумал читать на французском языке лекцию в Атенее о литературе и политическом состоянии России, наполненную вздорными идеями, которые тогда (1820 г.) были в моде. Часть публики смеялась над ним; другая рукоплескала его выходкам. В конце речи он сделал какое-то размашистое движение рукою, сшиб свечу, стакан с водою, хотел удержать и сам слетел с кафедры. Один седой якобинец слушал его внимательно и поддержал его словами: «Ménagez-vous, jeune homme! Votre patrie a besoin de vous».[1] Нарышкин, узнав об этом, взбесился и выгнал от себя К[юхельбекера], который пропал бы в Париже без помощи благородного Василья Ивановича Туманского (писателя с замечатель-

[1] «Берегите себя, молодой человек! Ваше отечество нуждается в вас».

ным талантом, неизвестно почему оставившего службу и свет); он же помог Кюхельбекеру пробраться в Россию. Здесь он жил то в Москве, то в Петербурге, издавал в Москве с князем Одоевским журнал «Мнемозину», потом участвовал в разных изданиях петербургских. Пушкин любил Кюхельбекера, но жестоко над ним издевался. Жуковский был зван куда-то на вечер и не явился. Когда его спросили, зачем он не был, он отвечал: «Мне что-то нездоровилось уж накануне, к тому пришел Кюхельбекер, и я остался дома». Пушкин написал:

За ужином объелся я,
Да Яков запер дверь оплошно,
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно и тошно.

Кюхельбекер взбесился и вызвал его на дуэль. Пушкин принял вызов. Оба выстрелили, но пистолеты заряжены были клюквою, и дело кончилось ничем. Жаль, что заряд Гекерна был не клюквенный! Кюхельбекер служил в 1824 г. и на Кавказе, где приятелем его был Грибоедов, встретивший его у меня и с первого взгляда принявший его за сумасшедшего. На Кавказе он тотчас наделал глупостей, и Ермолов, называвший его «хлебопекарем», выпроводил чудака. В Петербурге он занимался литературою, и в последнее лето (1825 г.) жил у меня, когда семейство мое было на даче, как я сказал, говоря о Каховском. В сентябре он от меня выехал и поселился в доме Булатова, что ныне Китнера, на углу Почтамтской улицы и Исакиевской площади. В обвинительном акте

сказано, что он приступил к обществу вместе со многими другими; потом, что его приняли после получения известия о смерти Александра, или даже накануне происшествия. В воскресенье 29-го ноября он обедал у меня, был тих, скромен, изъявлял сожаления о смерти государя и прибавлял, улыбаясь: «добрый был человек Александр Павлович; другой царь не так поступил бы со мною».

14-го декабря, когда я, в собрании моего семейства (из посторонних были притом Булгарин, племянник его, генерального штаба подпоручик, Демьян Александрович Искрицкий и маклер Толченов), читал манифест, раздался громкий звон колокольчика в передней, и вошел Кюхельбекер, расстроенный, со взглядом театрального бандита, и, не здороваясь ни с кем, подошел и спросил у меня:

— Qu'est ce que vous lisez là? Je crois que c'est le manifeste?

— Oui, c'est le manifeste. Ecoutez![1] — отвечал я и продолжал чтение.

Когда остановился на одном каком-то пункте, он спросил по-русски:

— А позвольте узнать, от которого числа отречение Константина Павловича?

Я отвечал:

— Я и не видал. Посмотрим: от 26-го ноября.

— От 26-го, — возразил он, — хорошо! прощайте!

[1] — Что вы читаете? кажется манифест?
— Да манифест. Слушайте!

Булгарин, с которым он в то время был на ножах, сказал ему, подавая руку:

— Здравствуйте, Вильгельм Карлович!

Он отвечал: «здравствуйте и прощайте!» С этими словами он ринулся из комнаты. Матушка спросила у меня, что с ним сделалось.

— Ничего, — отвечал я: — вероятно пишет оду на восшествие на престол.

Это было часу в двенадцатом утра. Вскоре потом актер Каратыгин и еще кто-то встретили его идущего в исступлении[1] к Исакиевской площади.

— Слышали ль вы, — спросил один из них: — на Исакиевской площади бунт.

— Знаю, — отвечал К[юхельбекер], — это наше дело.

Подвиг его на площади описан в книге барона Корфа, который однако, щадя школьного своего товарища, не называет его по имени. Он метил пистолетом в великого князя Михаила Павловича, которому был обязан своим воспитанием. Он был его пансионером, до вступления в лицей. Достойно замечания, что люди сметливые и проворные не успели бежать, а взбалмошный и бестолковый хлебопекарь утек из Петербурга и ушел бы за границу, если бы сам не сделал колоссальной глупости.

Когда сделалось известным, что Кюхельбекер бежал, приняты были все средства, чтоб узнать где он и схватить его. И меня при этом тревожили. В самый день 14-го декабря часу в первом ночи, когда все в доме у меня улег-

[1] *Первоначально было:* в азарте.

лись спать, раздался громкий звон колокольчика у дверей. Я вскочил с постели, накинул на себя халат и вышел в гостиную. Двери отворились, и вошел полицмейстер Чихачев, сопровождаемый отрядом Санта-Хермандада,[1] квартальными, жандармами, драгунами и т. п. Не извиняясь в том, что потревожил меня, он сказал мне: «извольте отвечать на эти вопросы», и подал мне бумагу, на которой было написано: «Где живет Кюхельбекер? Где живет Каховский?» При этом имени написано было в скобках: «(у Вознесенского моста, в гостинице Неаполь, в доме Мюссара)». Было еще несколько имен, которых не упомню. Я отвечал:

— Кюхельбекер живет, сколько я знаю, неподалеку отсюда в доме Булатова.[2] У Каховского адрес показан, но верно ли, мне неизвестно. О прочих не знаю.

— Точно ли так? — спросил Чихачев.

— Точно!

— Знаете ли вы кто написал это? Сам государь.

— Хорошо пишет! — сказал я.

Полицмейстер откланялся.

В четверток (17-го декабря) пришел ко мне брат мой, стоявший в карауле в Зимнем Дворце двое суток. Мы пошли с ним пройтись по улицам и около четырех часов подошли обратно к моей квартире (в доме Бремме) на углу Новоисакиевской улицы и Исакиевской площади. Я спросил будет ли он у меня обедать. Брат

[1] «Священная Германдада» — жандармерия испанских королей в XV—XVI вв.

[2] *Дальше зачеркнуто:* (что ныне Киттера).

извинялся тем, что не хочет в нынешнее смутное время оставлять свою роту. Вдруг увидели мы жандарма, который усиливался разобрать прозвание домохозяина на бляхе дома.

— Кого тебе надобно? — спросил я.

— В доме Бремме ищу коллежского советника Греча.

— На что тебе?

— Обер-полицмейстер просит его притти тотчас к нему.

— Я этот Греч, — отвечал я: — ступай и скажи, что я сейчас буду.

С тем вместе сказал я брату: «ты знаешь, куда я иду. Если не ворочусь, отыщи меня и приходи ко мне».

Нанял извозчика, заехал к Булгарину (жившему в Офицерской, в доме Струговщикова, ныне Сольского)[1] и объявил куда еду. Когда я вошел в гостиную обер-полицмейстера, Александра Сергеевича Шульгина, он, хватив полный стаканчик рому, и вероятно с утра не первый, сказал мне довольно учтиво:

— Я должен попросить у вас объяснения по одному делу и прошу вас сказать сущую правду, по долгу чести и присяги.

— И без этого предисловия, во всяком случае скажу вам сущую правду. Что вам угодно знать?

— Знаете ли вы Кюхельбекера?

— Знаю и очень коротко: он жил у меня все нынешнее лето.

[1] В настоящее время д. № 3 по Улице Декабристов (б. Офицерской).

— И вы его узнаете, когда его вам покажут?

— Непременно.

— Итак, пожалуйте.

Он ввел меня в другую комнату. Там поднялся с софы высокий, худощавый, молодой человек.

— Кюхельбекер ли это?

— Нет!

— А кто он?

— Не знаю.

Тогда молодой человек возопил жалким голосом:

— Как это, Николай Иванович, вы не хотите узнать меня. Сколько раз видали меня у Александра Федоровича Воейкова. Я Протасов, племянник Александры Андреевны.

Я вгляделся и вспомнил, что действительно его там видал.

— Довольно, — сказал Шульгин: — нам нет нужды знать, кто он; довольно того, что он не Кюхельбекер.

— В этом я могу вас уверить, — сказал я; — да как вы напали на этого господина?

— Мы ищем Кюхельбекера по сообщенным нам приметам. Вот полиция нашла этого долговязого господина, как он кутил в загородных трактирах, и наложила на него руку. Извините, что я вас обеспокоил.

— Очень рад, что не больше, — отвечал я и попросил скорее отпустить невинного.

Полиция искала Кюхельбекера по его приметам, которые описал Булгарин очень умно и метко. Но в Петербурге Кюхельбекера не было.

Он, не знаю, как пробрался до Варшавы и оттуда легко успел бы уйти заграницу: если б он говорил и имел дело только с поляками и жидами, то вероятно ускользнул бы от поисков, но судьба навела его на русских. Он вошел в одну харчевню или пивную лавочку в Праге (предместье Варшавы) и, увидев пирующих там солдат, подсел с ними, начал беседовать и вздумал ни с чего подчивать их пивом. В этой беседе открылся он весь, как был и как описан в приметах. Один из присутствующих, унтер-офицер гвардии Волынского полка Григорьев, догадался, кто должен быть этот взбалмошный угоститель, и закричал: — «братцы, возьмите его: это Кюхельбекер!» Раба божия схватили, заковали и отправили в Петербург.

Так как главною его виною было, что он метил пистолетом в Михаила Павловича, великий князь просил о пощаде его. Кюхельбекер не был сослан в Сибирь, а сидел несколько лет на гауптвахтах в Финляндии и в западных губерниях. Между прочим содержался он в Динабургской крепости, но ходил на свободе и занимался обучением детей коменданта. Наконец был освобожден, жил у сестры своей (Глинки) в Смоленской губернии и там умер. Великий князь конечно поступил великодушно, испросив облегчение судьбы несчастного, но Кюхельбекер был взбалмошный полупомешанный человек и не мог подлежать суду уголовному (unzurechnungsfähig.[1] Гораздо справедливее и человеколюбивее было бы отправить его на жительство

[1] Невменяем.

в деревню к сестре в самом начале. Виноваты были те, которые взбаламутили слабую голову.

8. Михаил Карлович Кюхельбекер, брат Вильгельма, но мало на него похожий, твердый характером, скромный, хороший морской офицер, правдивый и неуступчивый. Он видел все сумасбродство своего брата и старался его удерживать. «Вообразите, говорил Вильгельм, брат Михайло считает меня дураком». Михаил Кюхельбекер увлечен был в заговор, вероятно, дружбою с Николаем Бестужевым и Торсоном и безропотно подвергался постигшему его жребию. Братья не видались во все продолжение процесса. Когда их вывели из каземата (13-го июля 1826 г.) на гласис Петропавловской крепости для выслушания приговора, а может для отправления в Кронштадт, восторженный Вильгельм, еще размягченный в тюрьме, кинулся к Михаилу со слезами и с высокопарными фразами о покаянии, раскаянии, покорности судьбе, и т. п. Михаил отвечал твердо и спокойно: «я знал, что делал, знал, что произойдет из этого, и безропотно подвергаюсь заслуженному». Когда сосланным в Сибирь предложено было, в напутствие, исполнить долг христианский, покаянием и причащением святых тайн, Вильгельм, приобщившись с глубоким чувством и горькими слезами, просил пастора смягчить затверделое сердце его брата. Михаил встретил пастора учтиво, почтительно, но спокойно и сказал: «не чувствую теперь необходимости приобщаться. Еду в Сибирь по решению правительства, как бывало отправлялся в поход. Не зная за собою никакого греха, думаю, что

могу ехать и так». Он отправился в Сибирь и безмолвно исполнял все, чего от него требовалось. По миновании годов каторги, он перешел на поселение и там познакомился с одною молодою девицею (кажется, дочерью священника), женился на ней и был совершенно счастлив! Что-ж? Чрез несколько лет узнали, что он когда-то крестил с нею ребенка и брак был расторгнут, на основании богопротивного закона о духовном родстве. Что было с ним потом, не знаю. Думаю только: «Должно же непременно быть возмездие на том свете за бедствия, претерпеваемые людьми в нынешнем от варварских законов, вымышленных невежеством, злобою и фанатисмом».

9. Александр Иванович Якубович, капитан знаменитого Нижегородского драгунского полка, был человек умный и образованный, но самый коварный, бессовестный, подлый и зверский из всех участников заговора и мятежа. В молодости служил в гвардии и был сослан на Кавказ за участие в поединке графа А. В. Завадовского с Шереметевым (который в нем был убит). Грибоедов, бывший секундантом Завадовского, отправился туда на службу и, поступив в канцелярию Ермолова, приобрел его уважение и дружбу. Якубович, недовольный Грибоедовым по случаю этой дуэли, вызвал его в Тифлисе и имел зверство умышленно ранить его в правую руку, чтоб лишить Грибоедова удовольствия играть на фортепиане. К счастию, рана была неопасна, и Грибоедов излечившись, мог играть по-прежнему. Якубович храбро сражался с горцами, был ранен в голову и при-

ехал в Петербург летом 1825 года. Он ходил с повязкою на голове, говорил громко, свободно, довольно умно и красноречиво, и вошел в сношения с шайкою Рылеева. В нем заговорщики видели нечто идеальное, возвышенное: это был Дантон новой революции. 23-го ноября был я на именинах Александра Бестужева (в квартире Сомова, в доме Американской Компании). Беседа была приятельская, веселая, живая, но довольно скромная. В одиннадцатом часу приехал из театра Якубович и начал говорить очень дельно о обязанности офицера, отряженного на отдельный пост: он утверждал, что такой офицер не должен связываться словами данной ему инструкции, а обязан действовать по своим соображениям. Собственно либерального и предосудительного не было сказано ни слова: в то время не знали еще о кончине государя. Из донесения следственной комиссии видно, что Якубович собственно не вступал в заговор, но обещал заговорщикам свои услуги. Видно, что он поступал двулично. На площади он подходил к государю и предлагал ему свои услуги, чтоб убедить мятежников сдаться. Государь поручил ему сказать им, что дарует прощение всем, кроме главных зачинщиков. Якубович пошел к ним и, воротясь, донес, что они не соглашаются. Он заговорил еще что-то в полголоса. Государь наклонился, чтоб его выслушать. Вероятно, Якубович имел намерение убить государя, но у него не стало духу к исполнению. Вечером приехал он в дом генерал-губернатора, чтоб узнать, что делает граф Милорадович. В это время ехал к графу, лежавшему в конно-

гвардейских казармах, адъютант его, Александр Павлович Башуцкий. Якубович предложил свезти его в своей карете четверкою. Башуцкий согласился и, войдя в карету, почувствовал, что сел на пистолеты.

— Это что?

— Они заряжены, — сказал Якубович. — Бунтовщики хотели меня убить за то, что я не соглашался войти в заговор с ними.

Якубович является самым гнусным лицом в этом деле. Другие разбойники и убийцы, Каховский, Щепин и т. п. действовали бесчестно, зверски, но с каким-то убеждением, а он играл и словом и делом. Имей он силу, не знаю, что бы вышло. Я слыхал, что и в Сибири оказывал он ту же бессовестность, то же коварство и был наказан, как наказывают каторжников. И такой человек жил и действовал между нами! И мы разделяли с ним трапезу, мы подавали ему руку!

10. Александр Александрович Бестужев, характер совершенно противоположный предъидущему, добрый, откровенный, благородный, преисполненный ума и талантов, красавец собою. Вступление его в эту сатанинскую шайку и содействие его могу приписать только заразительности фанатисма, неудовлетворенному тщеславию и еще фанфаронству благородства. Отец Бестужева, Александр Федосеевич, умерший рано, как я слышал, был человек умный и почтенный: он издал две книги о воспитании военного юношества. Мать была женщина простого звания. Александр Бестужев учился в Горном Кадетском Корпусе и, вступив в военную

службу, был адъютантом главноуправляющего Путями Сообщения, генерала Бетанкура, а потом поступившего в ту же должность герцога Александра Виртембергского, брата императрицы Марии Федоровны. Он влюбился было в прелестную дочь Бетанкура, успел снискать и ее благоволение, но отец не соглашался на брак его. Бестужев впал в уныние и искал развлечений при скучной и безотрадной должности адъютанта докладывать о приходящих и отказывать докучливым. Познакомившись с Рылеевым, который был несравненно ниже его и умом, и дарованиями, и образованием, заразился его нелепыми идеями, вдался в омут, и потом не мог или совестился выпутаться, руководствуясь правилами худо понимаемого благородства; находил, вероятно, удовольствие в хвастовстве и разглагольствиях, и погиб! Вероятно мучило его и желание стать выше, подняться до степени аристократов, игравших роль в обществе. Мало ему было славы и чести в русской литературе, в которой он явился с блистательным успехом и с некоторыми особенностями в мыслях и оборотах, которые один приятель назвал Бестужевскими каплями. Повесть его «Амалат-Бек» и некоторые другие, написанные им под гнетом тяжких обстоятельств, среди тундр якутских или под солдатскою шинелью в ущелиях Кавказа, свидетельствуют о его неотъемлемых, своеобразных талантах, которые, созрев в жизни благоприятной, дали бы ему почетное место в первом ряду русских писателей. Он просил меня из Якутска о присылке ему книг. Дело было щекотливое. Благонаме-

ренные книги глупы или по крайней мере скучны. Других нельзя было отправить. Что же я сделал? Послал ему несколько латинских классиков с переводом en regard и пособия к изучению латинского языка. Он этим воспользовался, и чрез несколько времени стал понимать и читать римлян, которым прежде того вздумал было подражать.

В мятеж действовал он в Московском полку, но не он, а капитан князь Щепин-Ростовский зверски ранил несколько человек из начальников, старавшихся образумить ошеломленных солдат. Потом отправился он на площадь, впереди увлеченного баталиона, размахивая саблею и крича: «Ура Константин! Долой Николая! Извести картофельницу!» (разумея Александру Федоровну). Народ думал, что не офицеры ведут солдат, а солдаты их гонят. Одна дама, увидев его на Исакиевской площади в окно впереди неистовой толпы, открыла форточку и закричала: «Александр Александрович! ступайте сюда. Здесь вас не тронут!» Он был главным действующим лицом на площади и, когда мятежники разбежались, успел уйти и где-то скрыться. На другой день, услышав, что забирают людей невинных, что главные зачинщики стараются слагать вину на других, он явился вечером на гауптвахту Зимнего Дворца и сказал дежурному по карульням полковнику:

— Я Александр Бестужев. Узнав, что меня ищут, явился сам.

Это было произнесено спокойно, просто. Увидев моего брата, бывшего в карауле, он сделал вид, будто его не знает.

— Вяжите его, — сказал солдатам один унтер-офицер.

— Не троньте его,—возразил Василий Алексеевич Перовский, только что назначенный в флигель-адъютанты: — он не взят, а сам явился, — и повел его к государю. Бестужев просто, откровенно и правдиво изложил пред государем все, как было, и умел заслужить внимание прямодушного Николая. Слова Бестужева принимаемы были без малейшего сомнения. Государь спросил у него:

— Скажи правду, участвовали ли в вашем деле журналисты?

— Нет, ваше величество, они не имели о нем ни малейшего понятия.

— Как же это? вы были с ними в беспрестанных сношениях.

— Булгарину мы не могли ввериться. Он поляк и дело России ему чуждо. Греча мы не хотели запутать: он не одного с нами мнения, притом он отец семейства, да еще слишком доверчив и откровенен: тотчас разболтал бы нашу тайну.

Когда допрос кончился и Бестужева повели в крепость, великий князь Михаил Павлович нагнал его на крыльце и спросил убедительно:

— Скажи правду, Бестужев, знали ли Греч и Булгарин о вашем замысле?

— Ваше высочество! — сказал Бестужев, — клянусь всем, если еще могу клясться: они были чужды всему этому делу и понятия о нем не имели.

Вследствие этого, все наветы и доносы были отвергаемы государем и нас не тронули. Долгом

считаю объявить об этом в честь Бестужева и для выражения ему чувств искренней благодарности за могилою. Он видит и слышит меня.

Таков он был и во все продолжение производства дела: говорил прямо и просто сущую правду и, сколько совместно с нею, щадил других. Государь, довольный его откровенностью и правдивостью, обещал ему прощение и сдержал свое слово, но по своему. Его не отсылали на так называемую каторгу, но отправили на жительство в русский Сорренто — Якутск, а оттуда перевели в кавказский корпус солдатом. Бестужев нес службу безропотно и усердно, получил чин унтер-офицера, георгиевский крест, был произведен в прапорщики и погиб в деле с горцами в лесу. Тело его не было найдено. Повышению его по службе и смягчению его судьбы повредила одна история. Он имел любовницу, унтер-офицерскую дочь. Она застрелилась у него в квартире. [1] Обстоятельства этого самоубийства были неясны. Подозревали и обвиняли в умерщвлении ее ревность Бестужева. Дело это известно богу. Нам остается только жалеть от глубины сердца о потере человека, который, при другой обстановке, сделался бы полезным своему отечеству, знаменитым писателем, великим полководцем: может быть, граф Бестужев отстоял бы Севастополь. Бог суди тех сумасбродов и злодеев, которые сгубили достойных иной участи молодых людей и лишили Россию благороднейших сынов! Остался урок потомству, да пользуются ли уроками? Послушайте, что говорят и толкуют ныне! (1859 г.)

[1] *Было:* в палатке.

11. Николай Александрович Бестужев, капитан-лейтенант, старший брат Александра, человек редких качеств ума, рассудка и сердца, искренний мне друг, уступал Александру в блистательных талантах и в пылкости характера, но заменял эти качества другими менее великолепными, но тем не менее достойными обратить на него внимание и уважение людей. Он был воспитан в Морском корпусе и уже гардемарином был в действительном сражении при взятии англичанами 14-го августа 1808 года линейного корабля «Всеволод», бывшего под командою капитана Руднева. Корабль «Всеволод», отрезанный от эскадры впадшего в ребячество престарелого адмирала Ханыкова, был аттакован двумя английскими кораблями: один бил его с носу, другой с боку. Он не сдавался и тогда, когда из тысячи человек экипажа оставалось еще только восемьдесят. Флаг его был не спущен, а сбит неприятельским ядром. Бестужев был на одном из катеров, которые завозили канат.

Я познакомился с ним в 1817 году, отправляясь во Францию на корабле «Не тронь меня», на котором он был лейтенантом. Мы с ним подружились и оставались в неразрывных сношениях до несчастной эпохи 14-го декабря. Бестужев занимался и литературою, писал умно и приятно. В «Сыне Отечества» напечатано любопытное его описание гибели брига «Фальк», взятое Головниным в собрание статей важнейших кораблекрушений. В последнее время находился он при начальнике маяков в Балтийском море вице-адмирале Леонтии Васильевиче Спафарьеве и лично содействовал улучшению этой

части морского управления, но скучал и искал развлечения. Главною его слабостью была страсть к женскому полу, особенно к порядочным замужним женщинам. И в Кронштадте и в Петербурге было у него несколько нежных связей, особенно занимала его одна любовь кронштадтская. И женщины привязывались к нему легко и страстно.

Но как мог человек умный, рассудительный, принять участие в этом сумасбродном, нелепом предприятии? Я могу растолковать его тем только, что Николай Бестужев поступил в заговор позже своих братьев, которых он любил глубоко: он решился разделить с ними ожидавшую их участь и бросился стремглав в бездну. Направлению его ума содействовало еще другое обстоятельство. В 1821 году ходил он, как говорят моряки, на эскадре в Средиземное море и несколько дней пробыл в Гибралтаре. Там видел он, с высоты утеса, как испанцы королевские расстреливали на перешейке взятых ими безоружных либералов, сообщников Риего, расстреливали, как татей и разбойников, сзади. Это зрелище заронило в душу его ненависть к деспотическому испанскому правительству, да русское то чем было виновато? У нас только что кололи аракчеевскими и голицынскими булавками, а кнуты еще были окунуты в святую воду! Но кто проникнет в душу человека, кто постигнет ее движения и порывы?

Сердце наше кладезь мрачный,
Тих, спокоен сверху вид,
А спустись на дно — ужасный
Крокодил на нем лежит.

Николай Бестужев обедал у меня на именинах 6-го декабря с братьями своими, Александром и Павлом. Николай пришел позже, и я сказал ему.

— Пришел, спасибо. А я думал, что ты изменишь!

— Никогда не изменю! — сказал он твердым голосом, взглянув на Александра. А я, олух, еще пожал ему руку.

14-го числа он вывел на площадь Гвардейский Экипаж. В нем было несколько матросов, служивших под командою Бестужева на походе в Средиземное море. «Ребята! знаете ли вы меня? Пойдемте же!» И они пошли. Я видел, как экипаж, мимо конногвардейских казарм, шел бегом на площадь. Впереди бежали в расстегнутых сертуках офицеры и что-то кричали, размахивая саблями. Я не узнал в числе их Бестужева, да и до такой степени был уверен в неучастии его, что, услыхав о делах Александра, сказал с сердечным унынием: «бедный Николай Александрович! Как ему будет жаль брата!»

По прекращении волнения, Николай Бестужев уехал на извозчичьих санях в Кронштадт; переночевав у одной знакомой старушки, он на другой день сбрил себе бакенбарды, подстриг волосы, подрисовал лицо, оделся матросом, и пошел на Толбухин маяк, лежащий на западной оконечности Котлина острова. Там предъявил он командующему унтер-офицеру предписание вице-адмирала Спафарьева о принятии такого-то матроса в команду на маяк.

— Ну, а что ты умеешь делать? — спросил грозный командир.

— А что прикажете, — отвечал Бестужев, прикинувшись совершенным олухом.

— Вот картофель, очисти его.

— Слушаю, сударь, — отвечал он, взял нож и принялся за работу.

Полиция, не находя Бестужева в Петербурге, догадалась, что он в Кронштадте, и туда послано было предписание искать его. Это было поручено одному полицейскому офицеру, который, лично зная Бестужева, заключил, что он конечно отправился на маяк, чтоб оттуда пробраться за границу. Прискакал туда, вошел в казарму и перекликал всех людей. «Вот этот явился сегодня», — сказал унтер-офицер. Полицейский посмотрел на Бестужева и увидел самое дурацкое лицо в мире. Все сомнения исчезли: здесь нет Бестужева: должно искать его в другом месте. Когда полицейский вышел из казарм, провожавший его денщик (бывший прежде того денщиком у Бестужева) сказал ему:

— Ведь новый-то матрос господин Бестужев: я узнал его по следам золотого кольца, которое он всегда носит на мизинце.

Полицейский воротился, подошел к мнимому матросу, который опять принялся за свою работу, ударил его слегка по плечу и сказал.

— Перестаньте притворяться, Николай Александрович, я вас узнал.

— Узнали? — сказал Бестужев, — так поедем.

Военный губернатор отправил его в Петербург под арестом в санях на тройке. Когда приостановились перед гауптвахтою при выезде, он сказал случившимся там офицерам:

— Прощайте, братцы! Еду в Петербург: там ждут меня двенадцать пуль.

Дорогою по заливу, поровнявшись с полыньею, он хотел было выскочить из саней, чтоб броситься в воду, но был удержан. В Петербурге привезли его к Морскому министру фон-Моллеру, который, как все дураки, ненавидел в Бестужеве умного человека; он велел скрутить ему на спине руки и отправить днем по Английской набережной и по Адмиралтейскому бульвару в Зимний Дворец. Один из адъютантов накинул на него шинель. Во дворце развязали ему руки и привели к императору.

— Вы бледны, вы дрожите,—сказал ему государь.

— Ваше величество!—отвечал Бестужев:—я двое суток не спал и ничего не ел.

— Дать ему обедать!—сказал государь.

Бестужева привели в маленькую комнату Эрмитажа (в котором помещался тогда государь по случаю переделки комнат Зимнего Дворца), посадили на диване за стол и подали придворный обед.

— Я не пью красного вина,—сказал он официанту:—подайте белого.

Он преспокойно пообедал, потом приклонился к подушке дивана и крепко заснул. Пробудясь часа через два, встал и сказал:

— Теперь я готов отвечать.

Его привели в прежнюю залу. Там поклонился он Василию Алексеевичу Перовскому, как короткому знакомому, и, увидев нового флигель-адъютанта Алексея Петровича Лазарева, сказал ему:

— Ну, Алешка! теперь перестанешь шалить!

Его ввели в кабинет государя. Он не только отвечал смело и решительно на все вопросы, но и сам начинал говорить: изобразил государю положение России, исчислил неисполненные обещания, несбывшиеся надежды и объяснил поводы и ход замыслов. Государь выслушал его внимательно, и нет сомнения, что не одна истина, дотоле неизвестная, упала в его душу.

Обряд лишения чинов и дворянства был исполнен над флотскими офицерами в Кронштадте, на военном корабле. Их отвезли туда из петербургской крепости ночью (на 13 июля) на арестантском катере. Бестужев спокойно беседовал дорогою с командующим и караульными офицерами, не жаловался, не сетовал на судьбу.

— Я заслужил смерть,—говорил он,—и ожидал ее. Теперь все время, что проживу, будет для меня барышом и подарком. Но вот кого мне жаль—этих бедных юношей (указывая на приговоренных мичманов, спавших крепким сном молодости): они дети и не знали что делали.

Так, Николай Александрович, они дети, но зачем те, которые знали что делают, увлекали детей? Тяжкая ответственность за гибель этих юношей легла на вас, старших, умных, пред их родителями и пред богом! Правительство в этом винить нельзя: оно еще смягчило наказание, по собственному вашему признанию!

В Кронштадте он взошел по трапу на корабль, бодро и свободно, учтиво поклонился собравшейся там комиссии адмиралов и спокойно выслушал чтение приговора.

— Сорвать с него мундир!—закричал один из адмиралов, вероятно, породнившийся с Бестужевым посредством своей супруги.

Два матроса подбежали, чтоб исполнить приказание благонамеренного начальства. Бестужев взглянул на них так, что они остолбенели, снял с себя мундир, сложил его чиннехонько, положил на скамью и стал на колени, по уставу, для переломления над ним шпаги. Когда его привезли назад в Петропавловскую крепость для отправления в ссылку, я пошел к военному генерал-губернатору, добрейшему Павлу Васильевичу Голенищеву-Кутузову, и просил его дать мне свидание с Николаем Бестужевым.

— Родственник ли вы ему? — спросил К[утузов].

— Нет, в[аше] в[ысокопревосходительство].

— Так нельзя.

— Никак нельзя?

— Никак!

— Но позвольте мне проститься с ним хоть письменно: он друг мне.

— Извольте.

Я сел за стол и написал несколько строк, продиктованных мне сердцем. Кутузов сам отдал их Бестужеву и рассказал мне, с каким восторгом несчастный принял этот привет дружбы.

И любовь его не оставляла. Одна дама прислала ему из Кронштадта свой портрет и колоду карт для препровождения времени гранд-пасиансом. Бестужев, мастер на все руки, сберег рыбные кости от своего обеда, повытаскал нитей из наволочки, и из этих припасов, без всякого инструмента, смастерил красивенький

гребешок: не знаю, дошел ли он по адресу. Чрез несколько лет, на танцовальном вечере у П[етра] И[вановича] Рикорда, где было несколько дам из Кронштадта, две молоденькие, хорошенькие девицы, дочери одного адмирала, посматривали на меня с большим вниманием и как бы хотели заговорить со мною, а я этого и не заметил. Им интересен был во мне друг друга их матери... Бестужев скоро нашелся в ссылке, занимаясь чтением, живописью. В первые годы нарисовал он несколько акварельных портретов, в том числе и свой—очень похожий, только по лбу шла глубокая морщина, проведенная страданиями. Потом занялся он механическими работами: придумал какую-то повозку, удобную для того края, и вообще старался быть сколь возможно полезным в своем кругу. Он скончался в 1854 году, не дождавшись своего освобождения. Император Николай Павлович лишал себя большого наслаждения — заключающегося в праве миловать. Караст закон, но закон постановлен людьми, и людьми же исполняется, а люди ошибаются на каждом шагу. Благость же и милосердие исходят от божества и не ошибутся никогда.

12. Михаил Александрович Бестужев, третий брат, человек простой и недальний, был лейтенантом во флоте и перешел потом в Московский полк (полагают, чтоб успешнее содействовать в мятеже); он участвовал в бунте без сознания, что поступает дурно. То же можно сказать и о четвертом, Петре Бестужеве: он был лейтенантом. Наказание сильно подействовало на душу последнего: он

помешался в уме и был отдан матери с тем, чтоб жить у ней в Новгородской губернии, и там умер. Пятый брат, Павел, мальчик живой и умный; воспитанный в Артиллерийском Училище, был во время мятежа в верхнем офицерском классе. Его не удостоили чести принятия в этот гибельный [1] круг, но он пострадал за родство с несчастными. В августе 1826 года во время иллюминации, по случаю коронации, Павел Бестужев проталкивался в толпе народа на Невском проспекте, у Казанского моста, и за что-то поспорил с одним из прохожих, но без всяких последствий. Воейков, смотревший иллюминацию из окна книжного магазина Сленина, бывшего в доме Энгельгардта, где теперь магазин русских изделий, [2] донес полиции, что Бестужев буянил на улице и произносил дерзкие речи: его отправили на Кавказ, где он несколько лет боролся в горах с черкесами, а в Сухум-Кале с убийственною лихорадкою. Он прилежно занимался артиллериею и придумал новые превосходные диоптры для прицела орудий; на отливку их он пожертвовал своим медным чайником. Изобретение его было найдено полезным и он переведен был в бригаду, стоявшую в Москве. Он выслужился и, как я слышал, женился на любезной и богатой девице. Итак уцелел хотя один Бестужев! Что сталось с Михаилом, не знаю.

13. Артамон Захарьевич Муравьев, полковник, командир Ахтырского гусарского

[1] *Первоначально было:* дьявольский.

[2] В настоящее время д. № 30 по б. Невскому проспекту.

полка, брат графини Канкриной, надутое, не весьма умное существо. Я бывал с ним на обедах у Чебышева и коротко его не знаю; только он отнюдь не походил на заговорщика.

14. **Никита Михайлович Муравьев**, сын Михаила Никитича, молодой, благородный, образованный, добрый человек, несколько серьезный и дикий, был офицером Генерального Штаба и находился среди самого омута заговора. Он был мечтателем, фанатиком либерализма. Увидев слишком поздно бездну, в которую ринулся с своими сообщниками, он ужаснулся и искренно раскаялся в своем непростительном заблуждении, которому началом была благородная любовь к отечеству. Достойно замечания, каким образом зародились в нем идеи Запада. Он произведен был в офицеры в 1815 году и находился в штабе князя Волконского при вторичном занятии Парижа. Ему дали квартирный билет в такой-то улице, под нумером таким-то. Муравьев отыскивает дом — огромный, великолепный и, не желая беспокоить жильцов бель-этажа, идет в верхний ярус и предъявляет билет. Его встречают досадою и жалобами:

— Мы люди бедные, живем в тесноте, делиться с вами не можем: подите в бель-этаж к г. Ледюку: [1] 'он живет на просторе, один, и поместит вас гораздо лучше.

Муравьев спускается по крыльцу, звонит у дверей. Отворяют.

— Monsiur Le Duc?

[1] Le duc, т. е. герцог.

— C'est ici, monsieur, entrez,[1] — отвечает лакей и вводит его в комнаты.

Его встречает учтиво человек средних лет, благородной наружности и, увидев билет, говорит:

— Радуюсь, что ко мне на постой назначен русский. Извольте выбрать себе комнату.

Скромный офицер отвечает, что будет доволен всякою.

— Не угодно ли вот эту? — спрашивает господин, отворяя дверь в уютный кабинет с алковом, в котором стояла кровать.

— Очень охотно, — отвечает М[уравьев], — благодарю вас всепокорнейше.

— Да вы с дороги устали, вероятно, проголодались. Позвольте предложить вам завтрак.

— Принимаю с удовольствием.

В ту же минуту накрыли на стол и принесли великолепный завтрак с шампанским и пр. Хозяин радовался аппетиту молодого человека, подчивал его, стараясь угодить ему.

Насытившись, Муравьев встал, поблагодарил и сказал, что должен итти по службе. В передней спросил он у слуги: кто этот господин Ледюк?

— C'est le Duc de Vicence.

— C'est donc monsieur de Caulincourt, ancien ambassadeur en Russie?

— Oui, monsieur! [2]

[1] — Господин Ледюк?
— Здесь, сударь, войдите.

[2] — Это герцог Виченский.
— Следовательно, это г. де-Коленкур, бывший послом в России?
— Да, сударь.

Муравьев поспешил воротиться в гостиную и извинялся пред хозяином, что поступил с ним так cavalièrement.

— Ни мало! — отвечал Коленкур: — хорошо было бы, если б все поступали в земле неприятельской как вы. Я искренно предан вашему государю, в нем одном вижу надежду на спасение Франции; о России сохраняю самое приятное воспоминание и считаю обязанностью служить русским чем могу. Вы одолжите меня, если будете ежедневным моим гостем. Вы найдете у меня общество, в котором не соскучитесь.

Действительно, общество было очень интересное: оно состояло из бонапартистов и революционеров, между прочими приходил очень часто Бенжамен-Констан. Замечательно во Франции постоянное сродство бонапартизма с революциею: синий мундир подбит красным сукном. И нынешний Гришка Отрепьев, принизив Францию самым постыдным и оскорбительным игом, твердит о правилах 1789 года, низвергших династию Бурбонов. В этой интересной компании неопытный молодой человек напитался правилами революции, полюбил республику, возненавидел русское правление. Удивительно ли, что он вступил в союз, составившийся для ниспровержения трона: в слепоте своей он воображал, что идет к блистательной цели.

Поэт Батюшков, двоюродный его брат, будучи всем обязан отцу, нежно любил сыновей. Батюшков состоял в двадцатых годах при посольстве в Неаполе, видел всю ничтожность, всю гнусность революции, и потом содрогался, видя

казни, которым подвергаемы были не одни преступники, но также восторженные мечтатели и легкомысленные говоруны. Воротясь в Россию, он, вероятно, узнал от Никиты М[уравьева] о существовании тайных замыслов; может быть, ему и предложено было вступить в союз... Он ужаснулся и сошел с ума. Вот, по моему мнению, истинная причина расстройства его рассудка. Он возненавидел род Муравьевых, гнушался Никитою, проклинал его мать, называя ее по фамилии отца Колокольцовою... В то время (1822) вышла моя «История Русской Литературы». В ней помещено суждение П. А. Плетнева о творениях Батюшкова, о его поэтическом даровании, суждение самое справедливое и благоприятное. Батюшков нашел в нем не только оскорбление, но и донос, жаловался на Плетнева, называя его, будто по ошибке, Плетаевым. Напрасно все мы (особенно честный, благородный Гнедич), не подозревая, чтоб болезнь его могла усилиться до такой степени, старались его образумить. В последний раз виделся я с ним, встретившись в Большой Морской. Я стал убеждать его, просил, чтоб он поразмыслил о мнении Плетнева. Куда! и слышать не хотел. Мы расстались на углу Исакиевской площади. Он пошел далее на площадь, а я остановился и смотрел вслед за ним с чувством глубокого уныния. И теперь вижу его субтильную фигурку, как он шел, потупив глаза в землю. Ветер поднимал фалды его фрака... Всех лучше ладил с ним кроткий, терпеливый Жуковский, но и тот наконец с грустью в душе, отказался от надежды образумить несчастного

друга. И вот Россия лишилась гениального поэта, благородного человека, полезного гражданина! И сколько еще потеряла она от последствий этого бедственного стечения людей и обстоятельств.

Брат Никиты Муравьева, Александр, корнет Кавалергардского полка, молодой, тихий и недальний человек, удостоен был участия в заговоре и погиб ни за что.

15. Иван Иванович Пущин, один из воспитанников Царскосельского Лицея, первого блистательного выпуска, благородный, милый, добрый молодой челевек, истинный филантроп, покровитель бедных, гонитель неправды. В добродетельных порывах, для благотворения человечеству вступил он на службу, безвозмездно по выборам, в Уголовную Палату, познакомился на беду свою с Рылеевым, увлекся [1] его сумасбродством и фанатисмом и сгубил себя. Он выстрадал слишком тридцать лет в Сибири; был освобожден с прочими, женился и в нынешнем (1859) году умер от болезни в Петербурге. Я не имел случая видеть его по возвращении. Память о его уме, сердце и характере и глубокое сожаление о его несчастии останется навеки в глубине души моей. Брат его, капитан Гвардейского Саперного баталиона, человек тоже хороший и благородный, пострадал также.

16. Николай Иванович Тургенев. Достойна замечания судьба этого семейства. Отец

[1] *Первоначально после этого было*: и погиб. Не знаю, что с ним сталось. Жив ли он или угас в пустынях Сибири или на стремнинах Кавказа. За ним следует уважение и глубокая о нем скорбь всех знавших его.

их, Иван Петрович Тургенев, бывший куратором Московского Университета, друг и товарищ Новикова, поплатился и пострадал за эту дружбу при гонении, воздвигнутом на мартинистов в конце царствования Екатерины II. Сколько можно догадываться, она преследовала в них не вольнодумцев, не якобинцев, а приверженцев наследника своего Павла Петровича. Это явствует и из того, что Павел, человек, конечно, не либеральный, освободил и возвысил всех их, лишь только вступил на престол. У Ивана Петровича были четыре сына: Андрей, Александр, Николай и Сергей. Все они получили основательное и блистательное воспитание, сначала в Московском Университете, потом в Гёттингенском Университете и обещали принести своему отечеству большую пользу своими дарованиями, умом, познаниями и характером. Надежды эти не сбылись. Андрей, товарищ Жуковского, умер в молодых летах: память его осталась в прекрасной элегии, написанной его другом. Прочие трое были в государственной службе и шли вперед очень быстро и счастливо. Каждый из них имел по нескольку мест, и разумеется с хорошим жалованьем: Александр был и директором Департамента Духовных Дел, и статс-секретарем в Государственном Совете, и в Комиссии составления законов: немногое делал сам, прочее заставлял делать других, разъезжал с визитами, по обедам и балам, был человек умный, приятный и очень добродушный, особенно если дело или лицо не касались мнений и интересов партии. А к какой партии он принадлежал? По службе к Голицынской, Анти-Аракчеевской, а по

литературе—к Карамзинской. Свет литературный делился тогда на две, резко обозначенные, партии Шишкова и Карамзина. К первой принадлежали все Кутузовы, Кикин, И. С. Захаров, Хвостов (Александр Семенович), князь Шаховской и вообще большая часть членов Беседы Любителей Русского Слова. К последней—Дмитриев, Блудов, Дашков, Тургенев, Жуковский, Батюшков, В. Л. Пушкин, Вяземский, и т. д. Державин, Крылов, Гнедич держались средины, более склоняясь к последней.

Карамзинолатрия достигла у его чтителей высшей степени: кто только осмеливался сомневаться в непогрешимости их идола, того предавали проклятию и преследовали не только литературно. Гораздо легче было ладить с самим Карамзиным, человеком кротким и благодушным, нежели с его исступленными сеидами. Дух партии их был так силен, что они предавали остракизму достойнейших людей, дерзавших не обожать Карамзина, но и приближали к себе гнусных уродов, подделывавшихся под их тон, как например вора Жихарева, воришку Боголюбова, [1] мужеложника Вигеля, величайшего в мире подлеца Воейкова. Второю собенкою [2] этого круга был Жуковский. Его любили, честили, боготворили. Малейшее сомнение в совершенстве его стихов считалось преступлением. Выгоды Жуковского были выше всего. Павел Александрович Никольский, издавая «Пантеон

[1] О Боголюбове см. ниже отдельный очерк Греча (стр. 566).

[2] По Далю: «сӧбинка -- милый, дорогой, баженый, моленый».

Русской Поэзии», не думал, что может повредить Жуковскому, помещая в «Пантеоне» его стихотворения. Александр Тургенев увидел в этом денежный ущерб для Жуковского, которого сочинения тогда еще не были напечатаны полным собранием, и, однажды заговорив о них с Гнедичем на обеде у графини Строгановой, назвал Никольского вором. Гнедич вступился за Никольского. Вышла побранка, едва не кончившаяся дуэлью. Никольский, узнав о том, перестал печатать в «Пантеоне» сочинения Жуковского; об этом предмете вероятно придется мне говорить со временем. Эти исступленные фанатики требовали не только признания таланта в Карамзине, уважения к нему, но и самого слепого языческого обожания. Кто только осмеливался судить о Карамзине, видеть в его творениях малейшее пятнышко, тот, в их глазах, становился злодеем, извергом, каким-то безбожником. В. Л. Пушкин сказал о приверженцах Шишкова:

И аще смеет кто Карамзина хвалить,
Наш долг, о людие, злодея истребить.

То же можно было сказать о противной партии, переложив только первый стих:

И аще смеет кто Карамзина с у д и т ь.

Приверженцы Карамзина составили особое закрытое литературное общество под названием Арзамаса, в которое принимали людей, поклявшихся в обожании Карамзина и в ненависти к Шишкову. Каждый при вступлении должен был

прочитать похвальное слово, сатиру или что-нибудь подобное в восхваление идола и в унижение противника. Я был всегда ревностным чтителем Карамзина, не по связям и не по духу партии, а по искреннему убеждению; ненавидел Шишкова и его нелепых хвалителей и подражателей, но не налагал на себя обязанности кадить Карамзину безусловно и беспрестанно, и потому не только не был принят в Арзамас, но и сделался предметом негодования и насмешек его членов. Приверженцы же Шишкова злились на меня и преследовали меня за действительную мою оппозицию. Впоследствии роли переменились. Например Блудов, самый исступленный карамзинист, веровавший в «Бедную Лизу», как в Варвару великомученицу, сделался по Министерству Просвещения товарищем Шишкова. Один Дашков остался верен своему призванию. Лет чрез пятнадцать после того, бывши товарищем министра Внутренних Дел, он, при встрече, спросил у меня:

— И вы не обратились к Шишкову?

— Нет, — отвечал я: — остался при прежнем мнении. А вы, Дмитрий Васильевич?

— И я т-т-т-о-же. У меня два в-в-ра-га: Ш-и-ш-шков и т-т-урки, — отвечал он, заикаясь.

Воротимся к Александру Тургеневу. Он был любимцем князя Голицына и служил очень счастливо. Этот добрый, но ветренный и мечтательный человек был в звании директора Департамента Духовных Дел, одним из секретарей Библийского Общества и наружным приверженцем английского мистицизма. (Подробно говорю об этом в статье о деле Госнера.) Жил он

в верхнем этаже казенного дома, занимаемого А. И. Голицыным (на Фонтанке, насупротив Михайловского замка, где ныне живет гр. Адлерберг). Братья Тургеневы были связаны между собою самою нежною любовью и жили вместе: все они были холостые. Сергей Иванович учился, как и прочие, в Московском, а потом в Геттингенском Университете и, по фамильному праву Тургеневых, имел места и получал жалованье по разным ведомствам: он был секретарем при графе М. С. Воронцове, командовавшем корпусом, стоявшим во Франции, а потом, между прочим, состоял при Комиссии Составления Законов. После падения Сперанского (1812) дела в ней шли вяло и безотчетливо. Чиновники — синекюристы, не уважавшие пустого и подлого своего начальника барона Розенкампфа, разделили дела между собою полюбовно, пописывая каждый про себя, что ему вздумается. С[ергей] Тургенев писал проект Уголовного Устава. Однажды, летом 1823 г. на Черной Речке, я застал его за работою и полюбопытствовал посмотреть. Составляя лествицу преступлений и полагаемых за каждое наказаний, он написал: «№ 2. За умысел государственной измены, посягательство на особу государя и т. п. – смертная казнь. № 3. За раскаяние в том ссылка в Сибирь и т. д.», вместо того, чтоб сказать: «в случае раскаяния казнь смягчается». Прочитав эти строки, я сказал ему мое мнение. Он сам рассмеялся и сказал: «да я это только так набросал». А посмотревши на этих господ, бывало, подумаешь: вот великие, государственные люди, поднимают нос, презирают всех, весь род человеческий, кроме Карам-

зина, Орденского Капитула и Государственного Казначейства.

Самым умным и солидным и к тому наиболее знающим был младший Николай, хромой на левую ногу от следствий золотухи. И он учился в Геттингене, и он шел по службе счастливо и быстро, но он заслуживал это добросовестным исполнением своей обязанности, примерною деятельностью и благородным бескорыстием. Он был правителем дел у знаменитого барона Штейна и пользовался его искреннею дружбою и доверенностью, впоследствии помощником статс-секретаря в Государственном Совете. Он имел глубокие познания в финансовой науке (чему доказательством служит его «Опыт теории налогов») и писал по-русски, как ныне конечно никто не пишет. Живя и служа долго в чужих краях, он увлекся очень легко понятиями о законности, о свободе и равенстве людей, и точно помешался на мысли, впрочем справедливой, о необходимости истребления рабства в России[1] и о введении в ней благоустроенного правления. В Совете он был верным последователем благородного, но пылкого мечтателя, графа Николая Семеновича Мордвинова, одного из достойнейших людей, родившихся на небогатой ими русской почве. Не удивительно, что его пригласили ко вступлению в Союз Благоденствия, что он участвовал в его собраниях, трудах и планах, но этот союз прекратился в 1821 году и с тех пор не возобновлялся. Тур-

[1] Он был у меня третьего дня (27-го мая 1859 г.) и говорил точно то, что в 1816 г., когда я видел его впервые. (*Н. Г.*)

генев участвовал в последовавших событиях и делах только сочувствием своим, только выражением своих мнений и желаний, но ни словом, ни делом: обвинение его произошло от легкомыслия, бестолковости и — tranchons le mot — глупости Блудова, который, может быть, увлекся и желанием явить свое беспристрастие беспощадностью к брату бывшего его друга и сопоклонника в храме святого Карамзина. Николай Тургенев был в отсутствии из России с весны 1824 года, следственно не мог участвовать в делах, происходивших в 1825 году, и вообще не мог быть уличен ни в каком преступлении. Брат его, Александр, употреблял все средства к его спасению, и напрасно.

Летом 1826 года (отличавшимся необыкновенною засухою) шел я в светлую полночь по Невскому проспекту. Вижу: идут по другую сторону Александр Тургенев и Блудов, взявшись под руки. Александр смотрит Блудову в лицо с выражением недоумения, боязни и печали. Блудов, в глубоком трауре и в плерезах, размахивает правою рукою и говорит что-то с жаром. Дело кончилось осуждением Николая Т[ургенева] к позорной смертной казни за преступление, которого он не мог сделать. Его обвиняли в словах, произнесенных будто бы им в 1825 г., когда он был в чужих краях. Винили Тургенева за то, что он не явился к суду, когда его приглашали. Я никак не виню его в том. Если бы суд был правильный, благоразумный, справедливый, беспристрастный, гласный, он непременно бы ему подвергся. А кто явится добровольно на шемякин суд? Я порицаю его за из-

дание книги: «La Russie et les Russes». Он имел все право оправдаться пред своими соотечественниками и Европою, но должен был сделать это с простотою и благородством, тоном благородным и приличным. Ему поверили бы вполне. Но он избрал тон дерзкий, бранчивый, отзывавшийся желчью и злобою. Человек правый так оправдываться не должен. Во всем этом plaidoyer[1] не видать ни искры чувства, любви к отечеству, к его страданиям. В нем господствует строгая логика предубеждения, которую другою логикою опровергнуть можно. И притом какая односторонность! Тургенев полагает все спасение России от прекращения крепостного права. Мне кажется, что это одно нам не поможет, и что, при совершенном расстройстве нравственности и недостатке истинной душевной религии, при безнравственности мелких чиновников наших, освобождение диких рабов принесет России полное разорение и неисчислимые бедствия. Пишу эти строки 2 июля 1859 года. Дай бог, чтобы мое предчувствие не сбылось.

Еще одно обстоятельство говорит против Тургенева. Доколе жив был брат его Александр, доколе еще Николай не получил всего своего наследства из России, он молчал, но, получив деньгами все свое фамильное достояние, он заговорил смело. Прощу это всякому, только не либералу. Это я говорю по искренней совести, а не по чему иному. В 1853 году встретился я с Тургеневым в Париже, в Rue de la

[1] Защитительной речи.

Paix, подошел к нему, поздоровался с ним. Он изумился.

— Я думал, — сказал он, — что вы не захотите узнать меня.

— А почему же нет? Я вижу в вас старого знакомца, которого всегда уважал, и бесчестно было бы, еслибы я от вас отрекся.

— А вот Жуковский, — сказал он, — не хотел видеться со мною в Женеве, без высочайшего позволения.

— Жуковский иное дело, — сказал я: — он служил при дворе, при обучении царских детей, следственно обязан был наблюдать отношения, которые меня не связывают.

На другой день пригласил он меня к себе. Я обедал у него два раза в кругу милой семьи и всячески старался образумить насчет императора Николая Павловича. Когда он воротился в Петербург в 1856 году, первый его визит был у меня. И ныньче в 1859 году посетил он меня и упрекал, что я ничего не пишу об освобождении крестьян. Я сказал ему, что считаю это дело важным и необходимым, желаю и надеюсь ему успеха, но писать не стану, потому что не имею об этом предмете достаточных понятий. Кажется, он не был этим очень доволен. Он приехал в Россию, чтоб вступить во владение тремя стами душ, доставшимися ему по наследству. Любопытно знать, откажется ли он от них на основании своих теорий. Жаль, что Россия не пользовалась умом, дарованиями и познаниями этого необыкновенного человека. Он сделался бы превосходным министром финансов или юстиции. А там Врончеенко,

Брок, Панин! Брат его Сергей находился в 1825 году в Дрездене, любезном ему потому, что он был секретарем с[аксонского] генерал-губернатора князя Репнина. Узнав об участи, постигшей брата его, Николая, он сошел с ума и вскоре умер.

Должно отдать полную справедливость благородству брата его Александра. После несчастия, которому подвергся Николай, он вышел в отставку, несмотря ни на какие убеждения и обещания. Александр Иванович отправился в чужие края и занимался там отыскиванием, в архивах и библиотеках, материалов и документов касательно Русской Истории. Он несколько раз приезжал в Россию и умер в Москве, в 1845 г.

Не так поступили другие родственники погибших в этом водовороте, например, графиня Лаваль, теща кн. Трубецкого, давала пиры и балы, между тем как дочь ее изнывала с благородным самоотвержением в Сибири. Эта женщина и жалкий муж ее были в общем презрении у двора и в публике, доколе племянник ее, князь Белосельский, не женился на падчерице графа Бенкендорфа: тогда и они пошли в гору.

Замечательно, каким образом Тургеневы пострадали от закадычных друзей своих. Во-первых засудил Николая Блудов; во-вторых разорил их Жихарев, которому они поручили домы свои. Он заложил их имения, а деньги взял себе. Теперь он, до первого гласного мошенничества, председатель театрального комитета и, с пособием друзей своих, подобных негодяев, Краевского и др., сочиняет Театральный устав. Может ли быть благоустройство в Империи,

где не способности, не ум, не заслуги, не честность дают места, а располагают ими случай, подлость и деньги, где явный мошенник и вор терпимы в обществе и получают награды, а достоинство и заслуга в тени и презрении, потому что гнушаются дышать тлетворным воздухом в передних знатных бар, и будуарах развратных женщин. Все государство сгнило в своих основаниях и, если бог не сотворит чуда, не пошлет ему истинно великого государя, каковы были Петр и Екатерина II, разрушится на мелкие части, оставив потомству урок верный, но бесплодный, как и все уроки истории!

17. Гавриил Степанович Батеньков, сын бедного офицера, служившего в Сибири, воспитывался в I Кадетском Корпусе, учился с большим прилежанием и был выпущен в артиллерию. В 1814 году, на походе во Францию, командовал он в одном сражении двумя орудиями и, окруженный многочисленным французским отрядом, защищался отчаянно, не хотел сдаваться и пал со всею своею командою. В донесении сказано было: «потеряны две пушки, со всею прислугою, от чрезмерной храбрости командовавшего ими офицера Батенькова». Французы, убирая мертвые тела, заметили в одном из них признаки жизни, привели израненного в чувство и отправили в лазарет. Это был Батеньков. Его вылечили и вскоре разменяли. По возвращении в Россию, не чувствуя охоты к гарнизонной службе, ограничивающейся караулами и парадами, Батеньков перешел в ведомство путей сообщения; там охотно приняли хорошего математика. Он принялся за дело усер-

дно и внимательно и вскоре приобрел славу умного, знающего, полезного, но беспокойного человека, титул даваемый всякому, кто не терпит дураков и мошенников. Его не выгнали, а командировали в Иркутск, где он не мог мешать никому, потому что там по части путей сообщений ровно ничего не делают. В 1816 году происходила знаменитая ревизия Сибири. Сперанский был послан туда для исследования злоупотреблений, притеснений и тиранств Пестеля, Трескина и других коршунов, терзавших несколько лет эту несчастную страну, Сперанский очутился там, как в лесу, среди диких зверей и подлых скотов, не знал, на кого положиться, кого избрать себе в сотрудники. В числе представлявшихся ему лиц заметил он инженер-майора путей сообщения, явившегося к нему с прочими чиновниками Иркутской губернии. Молодой человек говорил умно, свободно, без раболепства и показывал совершенное знание тамошнего края и лиц. Сперанский взял его в свою канцелярию и вскоре убедился, что не ошибся. Батеньков понял дело в совершенстве и вскоре сделался правою рукою Сперанского. Он владел пером в высокой степени и написал много проектов и в том числе (замечательно!) устав о ссыльных.

По возвращении Сперанского в Петербург и по представлении им донесений и отчетов своих в Государственный Совет, все знающие люди изумились скорой и тщательной их обработке. Граф Аракчеев, искавший (как я сказал где-то выше, примеч.) людей способных, спрашивал у Сперанского, кто помогал ему, Сперан-

ский назвал Батенькова, и, по просьбе Аракчеева, предложил ему вступить в службу по военным поселениям. Батеньков принял предложение с тем, чтоб ему не давали ни чинов, ни крестов, а только положили хорошее содержание. Его назначили членом Совета Военных Поселений с десятью тысячами рублей (ассигн.) жалованья. Он работал усердно и неутомимо, Аракчеев был им доволен, называл его: мой математик, но мало-по-малу охладел к нему, стал им пренебрегать, обременял работою, не давая никакого поощрения. Батеньков жил в Петербурге у Сперанского (в доме Армянской церкви), занимался науками, например, изъяснением египетских иероглифов и исследованием разных отраслей государственного управления. Однажды прочитал он мне прекрасный проект устройства гражданской и уголовной части, в котором было много ума, начитанности, наблюдательности и ни малейшей собственно политической идеи, которая заставила бы подозревать его в либерализме. Все знали, что он приближен к Аракчееву и пользуется его доверенностью, и потому многие боялись и остерегались его. Видя в нем человека умного, интересного и прямодушного, я обращался с ним просто и находил большое удовольствие в его беседе. Выше описал я сцену, бывшую у меня с ним на обеде у Булгарина. Я принял его слова за шутку или, по крайней мере, за простое предположение без всякого умысла. Но видно он в то уже время сошелся с заговорщиками, но не считал их дела сериозным, потому говорил о их планах откровенно и сво-

бодно, не подозревая их противозаконности и опасности.

26-го ноября 1825 г. обедал я с ним у И. В. Прокофьева и до обеда беседовал. Он сообщил мне, что ему надоело служить у гадины Аракчеева, что он выходит в отставку и хочет посвятить себя наукам, заняв где-нибудь место профессора математики. Все это было сказано просто, равнодушно, без злобы или огорчения. С тех пор до декабрьских дней мы с ним не видались. Я простудился на похоронах графа Милорадовича и слег в постель. Ко мне пришел не помню кто-то из канцелярии Батенькова. Это меня изумило до крайности. «Таким образом, сказал я, доберутся и до графа Аракчеева». Оказалось потом, что Батеньков завербован был в эту пагубную компанию Рылеевым и увлекся своим воображением, нелепою мечтою преобразований в государственном составе.[1] Он думал, что это одни предположения, одна голословная утопия. Он не бывал на сходбищах и суждениях у Рылеева[2] и весь день 12 декабря, когда герои бунта рассуждали об исполнении своих замыслов, просидел в гостях у Александры Ивановны Ростовцовой, матери Якова Ивановича. Его обвинили в законопротивных замыслах и в знании умысла на цареубийство и в приготовлении товарищей к мятежу планами и советами. Судом был он приговорен к вечной ка-

[1] *Первоначально было:* нелепою мечтою стать во главе правления. Подумаешь, к чему самолюбие может увлечь умного человека.

[2] Показание о том в донесении Следственной Комиссии (изд. в Спб.), но тоже ложное. (*Н. Г.*)

торжной работе, но на деле наказан гораздо строже, могу сказать, с бесчеловечием. Его продержали два года в крепости Швартгольме и потом осьмнадцать лет в каземате Петропавловской. До вступления в должность шефа жандармов графа Орлова, не давали ему ни бумаги ни книг. Он видел только тюремщиков, приносивших кушанье, всегда по двое, чтоб кто-нибудь с ним не заговорил. В первые четыре года он несказанно мучился, а потом попривык и в немногие часы, которые проводил на воздухе в маленьком садике, разведенном по распоряжению человеколюбивого М. Я. фон-Фока среди Алексеевского равелина, копался в земле, как-то добыл росток яблони, посадил его в землю и жил до того, что ел с него яблоки.

В 1844 году дали ему газеты. Он бросился на них с жадностью и вдруг прочел в них: Граф Клейнмихель! Изумление его возрасло еще более, когда он на следующей странице увидал министра финансов Вронченко! И в самом деле каково должны итти дела в государстве, где Николай Тургенев в изгнании, Батеньков в ужасной темнице, другие опытные, умные и даровитые люди в Сибири, а Клейнмихель и Вронченко — министры! Диво-ли, что у нас дела идут наперекор уму и совести!

Кто помог Батенькову в его ужасном положении? Комендант Иван Никитич Скобелев, простой русский человек, выслужившийся из солдат, даже не говоривший по-французски. Он при одном случае напомнил государю о бедном Батенькове и наконец добился, что его освободили из крепости и отослали на поселение

в Томскую губернию. В заключении своем он разучился было говорить, хотя и привык мыслить вслух. Он забыл некоторые обыкновенные слова, например таракан! В 1856 году был он прощен вместе с прочими и поселился в Калуге. В нынешнем (1859) году приехал в Петербург, и я имел несказанное удовольствие с ним свидеться. Он сохранил свой ум, прямой и твердый, но сделался тише и молчаливее; о несчастии своем говорит скромно и великодушно и не жалуется, видя во всем неисповедимую волю божию. Не понимаю, как могли поступить с ним так несправедливо и жестоко! Николай Павлович не был жестокосерд. Бенкендорф и Дубельт люди добрые: за что же бедный Батеньков (невинный во всякой земле, кроме Персии, Турции и России) пострадал более других? Недоумеваю, но не могу не сказать: «Цари и мощные люди мира сего! Помыслите, что вы смертны и должны со временем отдать отчет богу!»

Не внемлют! видят и не знают,
Покрыты мраком очеса!

18. Барон Владимир Петрович Штейнгель, воспитанный, сколько мне известно, в Морском Корпусе, был человек умный, образованный, любезный, и несколько лет служил правителем Канцелярии Московского Военного Генерал-Губернатора графа Тормасова, пользовался его доверенностью и, как слышно было, употреблял ее во зло. По смерти графа, был уволен от службы и потом никак не мог добиться определения куда-либо. Он попал в раз-

ряд тех, при имени которых в тайном государевом реестре помечено было: «не давать ходу». Напрасны были все его старания и просьбы, напрасны все ходатайства и представительства. Негодование и беспокойства довели Штейнгеля до отчаяния. Тогда познакомился он с Рылеевым и, узнав о[1] замыслах либералов, пристал к ним; последствием была ссылка в Сибирь. Он выжил время своего заточения и теперь живет в Петербурге, у сына своего, полковника Генерального Штаба, человека, сколько я слышал, хорошего и достойного.

19. Князь Иван Александрович Одоевский, корнет Конной гвардии, молодой мальчик, миловидный, любезный, но видно бесхарактерный и начитавшийся вздорных книг, был вовлечен в Рылеевскую шайку, вероятно сам не зная как, присутствовал 12-го и 13-го декабря на совещаниях у Рылеева и играл там дон-кихотскую роль. 14-го декабря, сменившись с внутреннего караула во дворце, отправился с командою в казармы, присягнул новому государю в полковой церкви, потом переоделся и пошел на площадь. Он ездил, в конце ноября, в Москву и, возвращаясь оттуда, встретился на одной станции с Магницким, ехавшим поневоле в Казань,[2] беседовал с ним и потом рассказывал мне очень забавно об этой встрече. Я не замечал в Одоевском ни малейшей наклонности

[1] *Зачеркнуто:* гнусных тогдашних.

[2] Высылка Магницкого в Казань к его посту попечителя тамошнего университета, была единственным делом, которое позволил себе Николай Павлович во время междуцарствия. (*Н. Г.*)

к тому, что вскоре потом случилось. Дальнейших судеб его не знаю.

20. Князь Евгений Петрович Оболенский, бывший адъютантом почтенного генерала Карла Ивановича Бистрома, молодой человек благородный, умный, образованный, любезный, пылкого характера и добрейшего сердца, увлечен был в омут Рылеевым и погиб. Он выжил срок заточения в Сибири, получил прощение и живет теперь в Калуге. Я не знал его коротко, но встречался с ним в обществах и не мог им налюбоваться. По словам, лиц знающих его, и именно Я. И. Ростовцева, Россия много в нем потеряла.

21. Петр Александрович Муханов, гвардии офицер, образованный и неглупый добряк, любезный в обществе, забавник и шутник, известный в своем кругу под кличкою ротмистра Галла, запутался в тенетах, вероятно и сам того не зная. Доболтался до беды! Он двоюродный брат знаменитого форшнейдера просвещения. Жаль, что не сослали этого: тогда не было бы на каторге русское просвещение.

22. Александр Осипович Корнилович, штабс-капитан Генерального Штаба, добрый, образованный, любезный человек, занимался с успехом литературою и особенно Русскою Военною Историею, участвовал в переводе на русский язык «Истории войны 1812 года» Бутурлина. Издал он также очень хороший альманах, под заглавием Русская Старина и пр. Он попался в эту историю, как кур во щи. У него была страсть знакомиться и бывать

в знатных домах, в кругу блистательной аристократии, у графини Лаваль, у Лебцельтерна (австрийского посланника) и пр. В конце 1825 г., отправился он в полуденную Россию, кажется, для свидания с матерью, и привез во 2-ю армию поклоны от разных лиц в Петербурге и письма Муравьевым, Пестелям и прочим. Там приняли его за участника в либеральных замыслах и дали ему поручения в Петербург. Самолюбие не позволило ему признаться, что он не состоит в сообществе с сиятельными либералами. Он приехал в Петербург утром 12-го декабря и явился прежде всего к Булгарину, который принял «отца Корнилу», как звал его, с радушием и предложил остаться обедать и жить у него в доме. Корнилович отказался необходимостию развезть разные поручения Муравьева и других по знатным домам, обещал приехать вечером, но не сдержал слова и остановился у приятеля своего, Генерального Штаба полковника Галямина. На третий день (14), отправляясь утром со двора, он отдал Галямину письмо на имя своей матери и просил переслать к ней. Поднялась история. Галямин, догадываясь, что Корнилович в толпе, бросил письмо в камин. За это он был переведен в гарнизон, а Корнилович подпал общей участи: в пятом разряде он был приговорен к пятнадцатилетней каторжной работе, но года через три переведен солдатом в кавказский корпус: там успел он службою на деле доказать свои познания и хорошие качества, был отличен начальниками и представлен к производству в офицеры, но умер, не дождавшись того, в Царских Колодцах.

12 декабря Булгарин пришел ко мне и, с большою пощадою моему авторскому самолюбию, сказал, что я жаркою статьею о смерти Александра I повредил «Пчеле» (тогда шла подписка на 1826 год), и что, по словам Корниловича, «toute la seconde armée en est indignée».[1] Я отвечал, что Корнилович судит так по словам какого-либо взбалмошного фанфарона и аристократа, что статья моя понравилась всей русской публике, которую я знаю вполне, а мнениями этих либеральных шутов не дорожу ни мало.

Корнилович был искренним другом Петра Муханова; они жили вместе и вместе погибли!

23. Константин Петрович Торсон, капитан-лейтенант, сериозный, умный и достойный человек, искусный и ученый моряк. Он сделал много полезных перемен и приспособлений в устройстве такелажа военных кораблей, заслуживавших одобрение морского начальства. В 1821 году он был лейтенантом корабля, на котором великий князь Николай Павлович, с супругою, отправился в Пруссию. Он успел обратить на себя внимание великого князя и пошел бы далеко, еслиб не оступился. Вероятно Николай Бестужев пригласил[2] его в ненавистную шайку. Где была у вас совесть, Николай Александрович? Впрочем, эти несчастные слепцы считали свое дело справедливым и святым и, заманивая легкомысленного добряка в свои губительные тенета, думали и говорили,

[1] Вся Вторая армия в негодовании на нее.
[2] *Первоначально было:* заманил.

что, посвященіем в свои тайны, делают ему честь. У Торсона была престарелая мать и предостойная сестра. Государь назначил им в пенсию жалованье, которое получал Торсон. По смерти матери, сестра (Катерина Петровна, высокая, статная девица, умная и миловидная) отправилась в Сибирь, к брату. Не знаю, что сталось с ними. Многие думали, что она там выйдет за Николая Бестужева.

24. Николай Романович Цебриков, поручик гвардии Финляндского полка, жертва случая. Он стоял с баталионом своего полка за городом, кажется, в Гостилицах, и, ничего не зная, приехал 14-го декабря в Петербург, чтоб погулять на праздниках с товарищами полка, стоявшего на Васильевском Острове. Подъехав от Синего моста к Конногвардейскому Манежу и видя толпу народа, он выскочил из саней и спрашивал, что случилось. Вдруг видит бежит мимо манежа на Сенатскую площадь Гвардейский экипаж; впереди офицеры с обнаженными саблями. Цебриков знал многих из них, потому что родной его брат служил в экипаже. Он закричал им: «Куда вас чорт несет, карбонары!» Это подслушал какой-то квартальный и донес, что Цебриков кричал: «В каре против кавалерии!» Обвинение было так ложно и так нелепо, что Цебриков оправдывался в нем пред Следственною Комиссиею с негодованием. Оправдание назвали упрямством и дерзостию: он был причислен к двадцатому (самому легкому) разряду и приговорен к разжалованию в солдаты с выслугою. По внушению взбалмошного Дибича, государь

усилил наказание разжалованием без выслуги и с лишением дворянства. Это было жестоко и противно законам, ненаписанным правда, но существующим повсюду. Верховная власть или утверждает наказание или смягчает его, но никогда не усиливает. Только враг государя мог подать ему сей совет. К тому же Цебриков не был виноват, не подавал дурного примера, не бунтовал, только в негодовании на глупый донос не смирился перед бестолковыми судьями. Цебриков был сослан на Кавказ, служил там тридцать лет, получил солдатский Георгиевский крест, теперь прощен и доживает грустный век в Петербурге.

25. Николай Петрович Репин, штабс-капитан гвардии Финляндского полка. Был человек умный, образованный, кроткий нравом, пользовался уважением своих товарищей, а больше о нем я не знаю, видел его только однажды, у моего брата, в лагере под Красным Селом.

26. Михаил Лунин, подполковник. Вздорный человек, который громогласно проповедывал революции и мятежи. Я видел его часто в доме Екатерины Федоровны Муравьевой. Однажды, за большим обедом, он с младшими гостями (в том числе был и я) сидел за отдельным столом и громко врал напропалую. После обеда подошел к нему Карамзин и с усмешкою просил продолжать. Лунин отвечал новыми вздорами, к забаве и потехе[1] гостей. Думаю, что либералы не удерживали его от

[1] *Зачеркнуто*: нетрезвых.

неблагоразумных и дерзких речей, чтоб обратить на него внимание правительства и прикрыть тех, которые меньше говорили, а больше действовали. Вряд ли этот пустомеля был в заговоре.

27. Иван Александрович Анненков, кавалергардский поручик, интересен по одному романическому эпизоду в его жизни. Он был в связи с какою-то молодою француженкою, Жюстиною, помнится, швеею из модного магазина. За месяц до 14-го декабря, накануне отъезда по каким-то делам в Москву, сидел он у ней вечером в глубоком раздумье. Она спросила у него о причине такого уныния.

— Скучно мне,—сказал он:—у меня нет ни одного друга. Случись со мной какое-либо несчастие, меня все покинут. А теперь ухаживают за мною только потому, что я богат.

— Ошибаешься, друг мой!—сказала Жюстина с жаром:—у тебя есть верный друг—это я!

— Да,—возразил он:—пока я в счастии, а случись со мною что-либо...

— А что такое?

— Если, например, меня лишат всего и сошлют в Сибирь?

— Я тебя не оставлю, поеду с тобой, буду все делить, буду работать за тебя, докажу, что люблю тебя искренно и бескорыстно.

Эти слова тронули Анненкова: он дал ей на другой день запись на 50 т. р., облеченную в законную форму. Разразилась буря. Анненков привезен был из Москвы в Петропавловскую Крепость, осужден на вечную каторгу (по второму разряду), смягченную на двадцать

лет. Лишь только голодные французские авантюристы в Петербурге проведали, что у мамзель Жюстины пятьдесят тысяч рублей приданого, они, по закону: elle gagne à être connue, бросились к ней с жаркими изъявлениями пылкой страсти. Она отринула все предложения, отправилась в Москву, встретила государя на улице, бросилась пред ним на колени и молила о дозволении ехать в Сибирь за Анненковым, чтоб там выйти за него замуж. Просьба ее была принята. Она поехала в Сибирь, обвенчалась с Анненковым и жила с ним в мире и согласии. Сколько времени продолжалась эта связь, живы ли они еще — не знаю, но подвиг французской работницы заслуживает воспоминания и уважения.

28. Другой подвиг самоотвержения женского, но выше, благороднее, святее прежнего, усладил последние годы одного достойного человека, сгубленного сумасбродами и негодяями. Ротмистр Василий Петрович Ивашев, адъютант графа Витгенштейна, сын богатого симбирского помещика, пользовался во Второй армии репутациею самого благородного человека. Он был в дружбе с Пестелем, Муравьевым и другими героями заговора, — знал многое, но[1] не решался донести. И при следствии он постоянно удерживался от всяких показаний на бывших своих товарищей. Жестокая судьба постигла его: он был приговорен (по второму разряду) к вечной каторге и безмолвно подвергся своей участи. До того времени бывал

[1] *Зачеркнуто*: как и многие.

он в отпуску в деревне у замужней сестры своей, Елисаветы Петровны Языковой, которая имела при детях француженку Ледантю, женщину пожилую, с дочерью. Молодая девица почувствовала весьма понятное влечение к блистательному аристократу, молодцу и любезному, но, чувствуя, какое пространство их разделяет, затаила рождающуюся страсть в глубине своего сердца. Вдруг этот гвардейский офицер, будущий генерал, превратился в бедного каторжника, отверженного обществом. Не размышляя долго, она объявила и матери своей, и госпоже Языковой, что намерена разделить участь любимого ею человека, ехать в Сибирь, выйти за него замуж и стараться нежною, благородною любовью смягчить его страдания. Написали к Ивашеву. Он принял предложение с восторгом, потому что и сам питал к этой девице глубокое уважение и сердечную склонность. По испрошении соизволения государя, девица отправилась в Сибирь и обвенчалась с избранным другом. Брак был самый счастливый, но, как всякое счастие в жизни, не долгий. Они имели троих детей. Мать скончалась в родах с последним. Ровно через год, и Ивашев последовал за нею.

У нас, говорят, нет благородных и трогательных предметов для составления романа. А этот случай! Но кстати ли описание таких чувств и дел благости и великодушия в нынешнем омуте литературы нашей, среди картин разврата, нечестия и разгара подлых страстей!

29. Александр Федорович фон-дер-Бриген, полковник Измайловского полка, че-

ловек самый благородный, добрый, умный, воспитанный—сделался невинною жертвою дружеских связей. Он был обвинен в том единственно, что сообщил князю Трубецкому в Киеве о дерзких фанфаронадах Якубовича, который хвастался, что хочет убить Александра I. Кто ж не знал об этих дон-кихотских выходках отъявленного негодяя! В то время жалобы на правительство возглашались громко. Все желали перемены, но, не надеясь на великого князя Константина Павловича и не понимая характера Николая, предавались всяким предположениям и мечтаниям. Если бы сослать всех тех, которые слышали о сумасбродных замыслах и планах того времени, не нашлось бы места в Сибири. Меня первого следовало бы сослать в Нерчинск, а Булгарина, конечно, и далее. Эти вольные разговоры, пение не революционных, а сатирических песен и т. п. было дело очень обыкновенное, и никто не обращал на то внимания. Однажды Булгарин (тогда еще холостой) давал нам ужин. Собралось человек пятнадцать. После шампанского, давай читать стихи, а там и петь Рылеевские песни. Не все были либералы, а все слушали с удовольствием и искренно смеялись. Помню антилиберала Василья Николаевича Берха, как он заливался смехом. Только Булгарин выбегал иногда в другую комнату. На следующий день прихожу к Булгарину и вижу его расстроенным, больным, в большом смущении. Он струсил этой оргии и выбегал, чтоб посмотреть, не взобрался ли на балкон (это было в первом этаже дома) квартальный, чтоб подслушать, что читают и

поют. У него всегда чесалось за ухом при таких случаях: он не столько либеральничал, как принимал сторону поляков. Сверх того, предостерегал его Сенковский.

Фон-дер-Бриген дожил до прощения и прошедшею зимою (1858—1859) приехал в Петербург. Я увидел его у Ф. Н. Глинки и душевно ему обрадовался. Он, разумеется, устарел, но сохранил прежнюю миловидность, кротость и любезность.

Фон-дер-Бриген умер скоропостижно от холеры 27-го июня 1859 г. Он жил у дочери своей, Любови Александровны Гербель. Последние дни жизни были услаждены свиданием с другом его, Николаем Ивановичем Тургеневым.

30. Краснокутский, обер-прокурор Сената, человек добрый и благородный, был знаком с некоторыми из заговорщиков и, вероятно, слышал вздорные их речи. 13-го декабря искал он партии в вист; приехал к князю Трубецкому и, узнав, что он у Рылеева, отправился туда, нашел большую компанию в исступлении, догадался, что они замышляют недоброе, хотел было донести правительству, но одумался, счел предприятия их несбыточными, уехал домой и лег спать. Он попался в осьмой разряд, лишен был дворянства с ссылкою на поселение и умер, сколько я слышал, в Якутске. В последние годы жизни, он лишился употребления ног.

31. Оржицкий, отставной штабс-ротмистр, побочный сын Петра Кирилловича Разумовского, весельчак и большой хлебосол, кормил и поил приятелей своих, не обращая внимания на их

пустые речи, и поплатился за то разжалованием в солдаты, с лишением дворянского достоинства. Он давно возращен в Петербург.

Повторяю, что в этом списке, в этом очерке лиц, участвовавших в происшествиях декабря 1825 года, ограничился я только теми, которых знал лично или по достоверным сведениям. Прочие из преданных суду были офицеры гвардии и армии, моряки и немногие гражданские чиновники, всего сто двадцать пять человек. Пострадали еще некоторые другие, не виновные, но прикосновенные к делу, в том числе Михаил Федорович Орлов, Федор Николаевич Глинка, Демьян Александрович Искрицкий: эти были выписаны из гвардии в армию, или отставлены от службы, или же удалены из столицы, некоторые на службу в губерниях. Сколько именно в числе подсудимых и пострадавших было действительно виновных, известно одному богу: мы же, свидетели этих происшествий, приятели и знакомые многих из сих лиц, знаем, что в числе их много было людей совершенно невинных, погибших от злобных наветов, от гордости и упрямства, с каким они отвечали на несправедливые обвинения, от неосторожности, от случайности. Удивительно еще, как не погибло бо́льшее число жертв, как уцелел пишущий эти строки: спасением своим обязаны они не беспристрастию и справедливости следователей, а праводушию и благородству некоторых подсудимых, которые отстояли их. Эта смесь противоборствующих стихий: добра и зла, ума и глупости, дерзости и трусости, утонченного образования с грубым не-

вежеством, истины с ложью, правды с обманом, сопровождаемая фанфаронством и худо-понимаемым благородством, увлекла в бездну гибели значительное число прекрасных, добрых юношей, подававших самые светлые надежды. Ослепление и самонадеянная спесь коноводов этого бестолково-преступного дела были таковы, что они думали сделать большую честь, оказать истинное участие, даже благодеяние людям, которых допускали в свой круг, в преддверие Сибири, если не на ступени эшафота. Еще замечательно, что бóльшая часть ревнителей свободы и равенства, прав угнетенного народа, сами были гордые аристократы, надутые чувством своей породы, знатности и богатства, смотрели с оскорбительным презрением на людей незнатных и небогатых, которых не видели у себя в передней (с фразой: qu'est ce que c'est que cet homme? On ne le voit nulle part)[1] и в то же время удостоивали своим вниманием, благосклонностью и покровительством отребие человечества. Впрочем, мы видим это сплошь и рядом. Всякий сановник, особливо происходящий от побочной линии знатного дома, смотрит свысока на скромных и достойных тружеников, едва удостоивает их словом и обращает свое нежное и сочувственное внимание на гаеров и шутов. В числе заговорщиков и их сообщников не было ни одного не дворянина, ни одного купца, артиста, ремесленника или выслужившегося офицера и чиновника. Все потомки Рюрика, Гедимина,

1 «Что это за человек? Его не встречаешь нигде».

Чингис-Хана, по крайней мере, бояр и сановников, древних и новых. Это обстоятельство очень важно: оно свидетельствует, что в то время восставали против злоупотреблений и притеснений именно те, которые менее всех от них терпели, что в этом мятеже не было на грош народности, что внушения к этим глупо-кровавым затеям произошли от книг немецких и французских, отчасти плохо и бестолково переводимых, что эти замыслы были чужды русскому уму и сердцу и, в случае успеха, не только не составили бы счастия народа, но подвергли бы его игу, несравненно тягчайшему прежнего, и предали бы всю Россию бедствиям, о каких нельзя составить себе понятия.

Свежо предание, а верится с трудом!

[ПРИМЕЧАНИЯ ГРЕЧА][1]

Виллaмов знаменит в немецкой литературе, как поэт и эллинист. Он восстановил из разных обрывков древние дифирамбы, не дошедшие до нас в целости. В Германии идет поверье, что он умер с голоду. Это неправда: он умер в бедности, в нечистоте, среди ученого и поэтического беспорядка, но не с голоду. Оставшиеся после него дети, сын, Григорий, и дочь, Елисавета, взяты были на попечение пасторами Петровской церкви. Не знаю, по какому случаю Елисавета Ивановна Вилламова получила самое блистательное воспитание. Она была воспитательницею великой княжны Александры Павловны. Екатерина II ее жаловала, а Мария Федоровна ненавидела. Она была замужем за тайн. сов. Сергием Сергиевичем Ланским; овдовев, она вдалась в разные спекуляции и разорилась. Потом занималась она литературою и издавала детские книги на французском языке. Я узнал ее в старости и не мог надивиться ее уму, образованию и любезности.

Григорий Иванович [Вилламов] был человек необыкновенного ума и дарований. Он был

[1] Об этих «Примечаниях Греча», выделенных самим автором в особый отдел, см. ниже в комментариях.

определен в Иностранную коллегию и вскоре отправлен секретарем посольства в Стокгольм. Там женился он на дочери жившего издавна в Швеции русского купца Артемия Семенова [Свербихина]. Жена его была воспитанием и образованием шведка, а по религии православная; он совершенно русский человек и лютеранин. Государыня Мария Федоровна искала себе в 1801 году секретаря. Вилламов в то время случился в Петербурге, был рекомендован государыне, понравился ей, поступил к ней на службу, остался при ее особе до ее кончины, да и после, до своей смерти, заведывал ее учреждениями. Я не знал человека умнее, сметливее, любезнее его. Дарования он имел удивительные, особенно по секретарской должности: он писал правильно и красноречиво по-русски, по-немецки и по-французски, без приготовления, все прямо набело; потом снимали с писаний его отпуски в канцелярии. Почерк у него был прекрасный, и работал он с удивительною легкостью. Однажды, приятели побились с ним об заклад: заставив его в одно и то-же время писать деловую бумагу по-русски, разговаривать по-немецки и петь французский водевиль. В бытность мою в Гатчине (в 1820—21 гг.) видал я образ его жизни. Он помещался в тесной квартире из двух комнат во флигеле дворца: одна комната завалена была бумагами, в другой он спал. Поутру едва могли его добудиться. Государыня каждые четверть часа присылала за ним то камердинера, то скорохода. Слуга его отсылал их словами: «Григ[орий] Ив[анович] почивает», а между тем пы-

тался разбудить его. Наконец, часу в десятом, он вставал, умывался и одевался наскоро, посыпал голову пудрою (к императрице иначе нельзя было являться) и выпивал чашку простывшего скверного придворного кофе, закусывая длинным сухарем, забирал бумаги и уходил к государыне. Проработав у ней часу до первого, возвращался домой, бросал бумаги, надевал сертук (осенью и зимою) и длинные сапоги и уходил бродить по саду и по лесу. Возвращался часу в третьем и садился за работу: в это время он обыкновенно отправлял пустую корреспонденцию государыни с немецкими королевами и принцессами на немецком и на французском языках. Потом отправлялся к обеду императрицы, за которым был душою беседы. После обеда играл с внуком государыни, нынешним цесаревичем [Александром Николаевичем] [1], нянчил Марию Николаевну и уходил домой; до семи часов работал, а в это время, явясь в гостиной, наслаждался и наслаждал беседою. Ужинал весело и, воротившись домой, работал до трех и до четырех часов утра. Во время пребывания государыни (в 1812—15 гг.) в Гатчине и зимою, он писал еще, в заключение ночных трудов, на французском языке «Гатчинскую Газету», наполняя ее всякими умными вздорами и городскими сплетнями, и читал ее государыне после доклада; потом повторял чтение на вечерней беседе. Память у него была удивительная, и вообще преисполнен он был редкими дарованиями. В начале

[1] Нынешним императором. Пишу о 1820 годе. (*Н. Г.*)

1847 года сделался с ним паралич, и он лишился употребления языка. Знаками выразил он желание приобщиться по обряду греческой церкви, что и было исполнено. На другой день он умер и был погребен как православный болярин Григорий. Он всегда изъявлял желание перейти, пред кончиною, в русскую веру, чтоб быть погребенным подле любимой его дочери, Анны Григорьевны Гец. Все дети его люди почтенные и достойные. Один из них был поэт и переводил на русский язык стихотворения деда. Он утонул в Дерпте, где учился.

Яков Александрович Дружинин оставался секретарем при имераторской комнате, не только до кончины императрицы, но и во все царствование императора Павла, который весьма благоволил к нему. Падали вельможи, сменялись министры, начинались войны, заключались мирные трактаты, весь мир переменял несколько раз свое положение — Дружинин оставался на своем месте. Любопытно было сказание его о последнем дне царствования Павла. Окончив дела свои по комнате царской, Дружинин весь день 11-го марта 1801 г. хлопотал по делу какой-то вдовы и приехал домой поздно вечером, утомленный дневною работою. Он уже готовился раздеваться, как ему объявили, что пришел один отставной истопник, служивший при отце его и, заливаясь слезами, объявил, что непременно хочет его видеть. — Верно, пьян?—спросил Я. А. [Дружинин]. — Да, кажется, что так, но никак не отстает, а утверждает, что должен вам объявить

что-то важное,— отвечал слуга. Я. А. вышел в кухню, где сидел истопник, и с досадою спросил его: — Что тебе надо, Васильич? Поди домой, да выспись. — Нет, батюшка Яков Александрович, — сказал тот, рыдая, — не пьян я, а беда большая случилась. Они, судырь, его уходили.— Кого? — Да его, батюшку, императора Павла Петровича. — Что ты, глупый пьяница, врешь! Еще доберешься до беды. — Нет, батюшка, отнюдь не вру. Точно сердечного уходили. — Перестань! — сказал Я. А., дал человеку своему полтинник и велел нанять извозчика, чтоб отвез Васильича домой, а тот все твердил свое.

Дружинин лег спать, встал по обыкновению в пять часов утра, причесался, оделся и поехал в карете во дворец. Подъехав к Михайловскому замку, видит большое стечение войска, слышит шум и беготню и думает что это какие-нибудь маневры. Внизу у крыльца видит знакомца своего, караульного офицера Семеновского полка, Николева, здоровается с ним и идет вверх. Лишь только он хочет войти в двери, двое семеновских часовых ставят перед ним ружья на крест. «Не велено пускать!» Дружинин, вообразив, что это шутка Николева, закричал ему сверху: «Вели же пропустить меня!» — «Пропустить!» сказал Н[иколев], и Дружинин вошел в длинную анфиладу комнат; видит из четвертой комнаты, идет к нему навстречу камердинер государев в глубоком трауре. Тут вспомнил он слова истопника, движение на улице, строгость часовых, и догадался, в чем дело. — Что, Яков Александрович, — сказал камердинер, подошедши к нему: — конечно

вы пришли проститься с телом?— Точно так.— отвечал Дружинин. — Так пойдемте, — сказал камердинер: — царство ему небесное. — Дружинин поступил в канцелярию статс-секретаря Ник. Ник. Новосильцова и был употребляем при многих тогдашних преобразованиях, потом перешел в министерство финансов, был директором канцелярии министра, а потом Мануфактурного департамента. Он был человек очень способный к делам, мастер писать и отписываться, притом до чрезвычайности добр, снисходителен и услужлив. По утрам передняя его была наполнена нищими и — заимодавцами. Его срезала любовь к женскому полу и плоды ее. Граф Канкрин сказал мне о нем однажды: «Я[ков] А[лександрович] добрый и способный человек; шаль только, что у него м н о к о т е т е й». Для поддержания и содержания всего своего исчадия, законного и беззаконного, издерживал он все свои доходы, достаточные для иного; кроме того, принужден был не отказываться от благодарности и занимал деньги где мог. Когда он умер, в той самой комнате, где родился, едва было чем его похоронить. Ко мне он всегда был очень добр, и я никогда его не забуду. Таких людей н ы н ч е немного.

Илья Карлович Вестман служил весь век в Иностранной коллегии и был наконец обер-секретарем ее в чине тайного советника; был человек умный и деловой. Теперь сын его, Владимир Ильич, занимает место отца с честью и уважением.

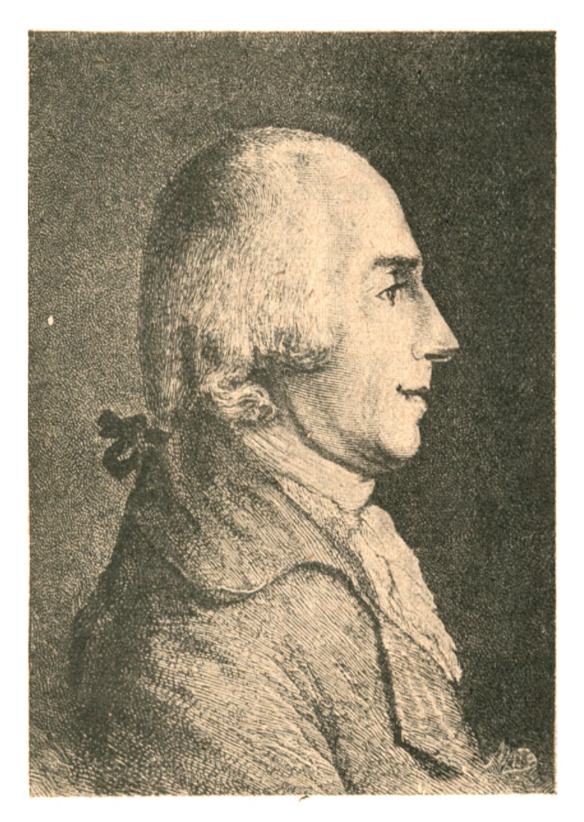
Христиан Иванович Миллер служил при нем и дослужился до чина д. ст. сов. (ум. 1823). Он

был человек честный и добрый, но занимался только чиненьем перьев для государя Александра Павловича. [1]

Фридрих-Цесарь Лагарп (La Harpe) родился от благородной швейцарской фамилии, в Ролле, в 1754 г. Он учился правам в Тюбингенском Университете и несколько времени был адвокатом в Берне. В 1782-м году был приглашен в Петербург и сделался воспитателем великих князей Александра и Константина Павловичей.

Окончив порученное ему дело в 1795 году, он воротился в отечество свое, осыпанный милостями Екатерины II. Потом он жил в Берне и в Париже и деятельно занимался политикою. В Швейцарии был он, в 1798 году, избран в члены Гельветической директории, за что император Павел лишил его чинов и пенсиона. В 1802 году приезжал он в С. Петербург, чтобы поздравить своего воспитанника со вступлением на престол, и впоследствии жил близ Парижа, в Плесси-Пике, занимаясь земледелием и естественными науками. По взятии Парижа, Александр посетил его, пожаловал в чин тайного советника и надел на него андреевскую ленту. На Венском конгрессе он убедил Александра вступиться за кантоны Ваадский и Ар-

[1] В другом месте записок Греча (см. прим. на стр. 315) эта характеристика Миллера заканчивается фразой: «Без его пособия следовательно не обошлось ни одного манифеста, ни одного указа, ни одной записочки к графу Аракчееву или к Марии Антоновне Нарышкиной».



Ф. Ц. Лагарп.

гаусский притесненные бернскою аристократиею. Последние годы свои провел он в Ролле, пользуясь общим вниманием и уважением. Скончался Лагарп 26-го марта 1838 года. Года за два до его смерти, разгласили в газетах, что какой-то книгопродавец купил у него всю корреспонденцию его с Александром и намерен обнародовать ее после его смерти. Это было неприятно императору Николая Павловичу. Было поручено нашему посланнику в Швейцарии, Дмитрию Петровичу Северину, узнать, в чем состояла эта переписка, и, если можно, получить копии с писем Александра I. Северин поехал, под предлогом прогулки, в Ролль, посетил Лагарпа, умел заслужить его уважение и доверенность, но не говорил, зачем приехал. Однажды Лагарп сказал ему:

— Неудивительно, что Александр любил меня, но чем заслужил я внимание императора Николая, который ко мне так милостив? Скажите, сделайте милость, каким образом мог бы я возблагодарить государя или принести ему удовольствие.

— Трудненько, — сказал тонкий дипломат, — порадовать или удивить чем-либо владыку полусвета, но дайте мне срок, подумаю.

Чрез несколько дней говорит он Лагарпу:

— Кажется, я нашел вам средство угодить государю. Он воспитывает своего сына совершенно в духе покойного Александра; для этого отыскивает все материалы и акты царствования покойного императора. Я уверен, что ему очень приятно будет иметь копии с писем, которые, как известно, писал к вам Александр.

— Копии! — вскричал Лагарп: — как смею я послать копии! Пошлю подлинные. Я сам их знаю наизусть, а после моей смерти они могут попасть в нескромные руки.

Собрав рачительно все письма, с копиями своих ответов, Лагарп присовокупил к переписке хронологический и азбучный реестр, переплел ее великолепно и вручил Северину. Государь, обрадовавшись этому подарку, благодарил Лагарпа письменно, а Северину дал орден св. Анны 1-й степени. Письма эти, вероятно, находятся в библиотеке нынешнего государя.

Виктор Павлович Кочубей (впоследствии граф и князь, род. в 1768 г., ум. 3 июля 1834 г.) принадлежит к числу самых замечательных и блистательных людей России в первой половине XIX века. Родной племянник и воспитанник знаменитого князя Безбородко, прекрасный наружностью, умный, высокообразованный, несказанно приятный в обращении, в делах трудолюбивый, сметливый и (сколько можно) справедливый, он вышел в люди очень рано: на двадцать четвертом году от рождения был тайным советником, послом в Константинополе, при императоре Павле был вице-канцлером, получил, в числе многих наград, и графское достоинство, но впоследствии был отставлен. Александр, сблизившийся с ним еще при жизни Екатерины (свидетельством тому служит письмо к нему Александра, напечатанное в книге барона Корфа), советовался с ним при учреждении министерств и дал ему новоучрежденное тогда на самых либеральных основаниях Ми-

нистерство Внутренних Дел. Кочубей образовал эту часть, имея директором своей канцелярии Сперанского; вице-директором был Магницкий, секретарем министра Лубяновский. Между прочими заслугами этого министерства должно считать не последнею исправление и обогащение русского делового слога. Между тем любовь Александра к Кочубею охладела. Нельзя было оставаться и другом Аракчеева, и другом Кочубея. Кочубей оставил Министерство Внутренних Дел в 1809 году. Когда надлежало в 1812 году поручить дельному человеку управление всеми внутренними делами империи, в звании председателя комитета министров, предложили Кочубея. Александр не согласился, говорят, под тем предлогом, что К[очубей] человек коварный, и назначил на это место дряхлого 'графа Н. И. Солтыкова, своего воспитателя.

В 1819 году Кочубей вновь занял место министра Внутренних Дел, но это уже было не то: он не делал зла, старался делать добро, но вообще пень через колоду валил. В 1827 году Николай Павлович назначил его председателем Государственного Совета. Кочубей оставил по себе хорошую память, хотя и не был тем, чем мог бы быть при другой обстановке — и сверху и снизу, а особенно с боку: подле графа Аракчеева не мог существовать с честью и с пользою никакой министр. С ним ладил только иезуит Сперанский. Кочубей был так высок во всех отношениях, что пресмыкавшийся скаред не мог его достигнуть и ужалить: итак взялись за исполнителей его дел, именно за самого бла-

городного из них, — Максима Яковлевича фон-Фока, и сгубили бы его непременно, еслиб не умер Александр. Трудно держать в руках перо, при изображении этой слепоты царей, этой гнусности подлецов, этого бессилия честных людей. Бедная Россия! Бедное человечество!

Павел Васильевич Чичагов, сын знаменитого адмирала Василья Яковлевича, победителя шведов при Ревеле и Выборге в 1790 году, родился в 1762 г., воспитан был в Морском корпусе и находился при отце своем в походе против шведов. В мирное время он служил в английском флоте, долго жил в Англии, женился на дочери моряка Проба и освоился с языком, нравами и обычаями его отечества, сделался совершенным английским аристократом, и при всем том пламенно любил Россию и служил ей усердно и бескорыстно. Характером он был тверд, смел, отважен, честен и правдолюбив, но притом своенравен, горд, имел честолюбие необузданное и высокое мнение о самом себе. Навлекши на себя чем-то немилость императора Павла, он был разжалован из контр-адмиралов в матросы и посажен в крепость, но чувствуя себя чистым и правым, перенес эту невзгоду бесстрашно и хладнокровно. Павел приказал, в своем присутствии, сорвать с него мундир. Он повиновался беспрекословно, но, до снятия мундира, вынул из кармана его бумажник, сказав: «мундир ваш, а деньги мои». Александр назначил его товарищем морского министра, умного и почтенного Н. С. Мордвинова, но Чичагов не мог переносить подчинен-

ности; пользуясь кротостью начальника, он прибрал всю власть в свои руки и вскоре потом сам назначен был министром. Чичагов ревностно занялся преобразованием морской части, старался прекратить злоупотребления, изгонял людей неспособных и вредных, отыскивал и возвышал достойных, старался не об умножении числа кораблей, а о хорошей постройке и исправном вооружении их, старался о снабжении их всеми орудиями и учеными средствами. прилагал попечение о распространении между офицерами, познаний и опытности. Разумеется, что его понимали немногие. Большинство, т. е. невежды, завистники, лентяи и мошенники, поносили и клеветали его, утверждая, что он истребит флот, когда он, вместо шестидесяти неповоротливых и гнилых кораблей, предложил ограничиться двадцатью четырьмя исправными во всех отношениях.

Он выдержал эту пытку не долее 1809 года, вышел в отставку и поехал путешествовать по Европе. На его место поступил слабый и недальновидный маркиз де-Траверсе, окружил себя неспособными людьми и ворами [1] и довел флот до самого жалкого состояния. Тайная летопись говорит притом, что он обязан был милостью Александра глазам хорошенькой гувернантки француженки. Император, проезжая на запад России или за границу, будто невзначай, всегда останавливался в поместье маркиза, Романшине,

[1] Правитель канцелярии его, Папков, женатый на прачке из крепостных девок, был главным из его грабителей. *(Н. Г.)*

и проводил у него несколько дней в рыцарских подвигах. — Маркиз хлопотал только о построении большого числа кораблей, и, спустив на воду, не заботился о них. Линейный корабль «Лейпциг», спущенный на воду в Неве, почему-то опоздал быть отправленным в Кронштадт до наступления зимы, простоял года два пред самым домом министра и сгнил совершенно. В 1821 году Александр продал испанскому королю, для обратного завоевания американских колоний, несколько линейных кораблей. Их привели в Кадикс, и когда должно было освятить их по католическому обряду, прорубили в них пол, и что же? Они оказались совершенно гнилыми. Александр подарил королю, в замен их, несколько н о в ы х фрегатов. При сем случае упомяну о любопытном обстоятельстве. Король испанский, не имея денег на покупку кораблей, предложил Александру уступить ему за несколько линейных кораблей Калифорнию, предвидя, что она вскоре ускользнет у него из рук. Александр отказался, объявив, что не следует пользоваться стесненным положением другого монарха. Подумаешь: как обогатилась бы Россия, еслиб это нелепое бескорыстие не было внушено Александру личным тщеславием. А стесненным положением свояка своего, короля шведского, охотно воспользовался.

Воротимся к Чичагову. Он жил за границею большею частью в Париже и не без занятий: наблюдал за действиями Наполеона и извещал государя обо всем замечательном, что укрывалось от пустого и слабоумного Куракина (кн. Александра Борисовича), бывшего послом в Па-

риже. Есть даже предание, что Чичагов воспрепятствовал одному жестокому оскорблению, которое Бонапарт хотел, пред явным разрывом с Россиею, нанести Александру. Дерзкий выскочка вздумал назначить в придворные дамы к императрице Марии-Луизе несколько природных принцесс Германии и в том числе наследную принцессу Веймарскую, великую княгиню Марию Павловну. Чичагов, узнав, что декрет изготовлен для помещения в «Монитере», отправился к князю Куракину и убеждал его воспротивиться этому унижению российского императорского дома. Князь потерялся и не знал что делать: он смертельно боялся Наполеона. Чичагов решился действовать сам. Не знаю, чрез кого, вероятно, чрез Талейрана, дал он знать Наполеону, что немедленным следствием этой дерзости будет разрыв России с Франциею и заключение союза с Англиею. Наполеон призадумался. Приготовления к истребительной войне с Россиею еще не были кончены, и декрет не состоялся.

Чичагов опять вошел в милость и доверенность у государя, приехал в Петербург и был назначен главнокомандующим Дунайскою армиею, с повелением заключить во что бы то ни стало мир с турками и потом действовать против Франции, чрез Сербию и Боснию, на Италию. Хитрый Кутузов предупредил его, успев подписать Бухарестский мир (16 мая 1812 г.), до приезда Чичагова. План действия на юг был отменен. Чичагов двинулся с армиею в западные области России. Действия его в 1812 году известны, но не вполне и не со всех сторон. Го-

ворят, что он упустил Наполеона из России. Да полно, так ли. Защитники его говорят, что этому виною Кутузов, обманувший Чичагова ложными известиями, чтоб лишить его славы пленения первого полководца в мире. Другие обвиняют Витгенштейна, не хотевшего перейти чрез Дунай на соединение с Чичаговым, которому он тогда, как старшему по службе, должен был бы подчиниться. Дело темное. Между тем все к лучшему. Если бы схватили Наполеона мы не вошли бы в Париж. Чичагов недолго оставался в действительной службе: он оставил армию 3-го февраля 1813 г., отправился за границу и прожил там, в Англии и Франции, до кончины своей, последовавшей в Париже 10-го сентября 1849. В Англии издал он, в свое оправдание, книгу под заглавием «Отступление Наполеона» (Retreat of Napoleon, 1817). В 1834 г. последовал указ о сокращении пятью годами пребывания русских подданных за границею. Чичагов объявил, что не намерен повиноваться этому распоряжению, нарушающему права русского дворянства. Его исключили из службы (по званию члена Государственного Совета) и секвестровали все его имущество. Он остался непреклонен и жил в Париже, в улице Анжу, в уединении, не знаю чем.

Человек благородный, умный, способный — своим строптивым нравом лишил себя счастия быть полезным отечеству, а отечество достойного сына. Впрочем это прпурочка к сказанному мною, что истинному честному и прямодушному человеку ни при каком дворе ужиться не можно.

Михаил Никитич Муравьев (1757—1807), человек добрый, кроткий, благородный, умный, но слабый и бесхарактерный, получил в молодости классическое образование, занимался литературою и преподавал русский язык, правила словесности и русскую историю великим князьям Александру Павловичу и Константину Павловичу. Ученики не принесли большой чести своему учителю: они не умели писать по-русски. По вступлении на престол Александра, Муравьев был сделан статс-секретарем, товарищем министра Просвещения (пьяного, но умного, графа Завадовского) и попечителем Московского Университета. Он много сделал для университета, обновил, оживил его. Он был другом и ходатаем Карамзина и вообще сделал много доброго и хорошего по этой части. Но статс-секретарство его по принятию прошений было плохое. Чиновники его делали, что хотели. Швейцар и слуги Муравьева славились классическою грубостью и дерзостью. Он писал по русски хорошо, но сочинитель, творец был слабый. Изданные по смерти его сочинения были выправлены и прославлены племянником его Батюшковым.

Оба сына его, Никита и Александр, погибли в истории 14-го декабря. Многому была виновата их мать, Катерина Федоровна, рожденная Колокольцова, женщина добрая, но недальновидная, бестолковая и тщеславная.

Граф Павел Александрович Строганов принадлежал к одной из благороднейших фамилий в России. Известно, что Строга-

новы происходят от знаменитого соляного промышленника Аники Строганова, участвовавшего в XVI веке в покорении Сибири. Дети его пользовались несметным достоянием своего отца и передали оное потомству, которое, поступив в дворянство, было в большой чести у двора. Сначала Строгановы получили баронское, а потом и графское достоинство; одна отрасль их оставалась в баронстве до 1826 года. Граф Александр Сергеевич Строганов, в царствование императрицы Елисаветы Петровны, был каммергером и обратил на себя (до какой степени, не знаю) внимание великой княгини Екатерины Алексеевны. Петр III его прогнал от двора, но, при вступлении [на престол] Екатерины, он вновь был принят и пользовался милостями государыни до ее кончины. Он был человек образованный, умный, добрый, благородный и благодетельный, но небрег своими финансами и обременил потомство свое долгами. В царствование Екатерины, в осьмидесятых годах, был он посланником при Версальском дворе и пользовался милостями Лудовика XVI и Марии Антуанеты. В это время принял он в гувернеры к единственному сыну своему, гр. Павлу Александровичу, якобинца Ромма (Romme), который впоследствии погиб, пытаясь восстановить Робеспиеровское правление. Молодой граф пропитан был революционными правилами, но честная, добрая душа его со временем все переработала: он был самым усердным и ревностным русским патриотом. Супруга его была София Владимировна, урожденная княжна Голицына, женщина необыкновенных качеств ума

и сердца. Граф Павел Александрович, по желанию отца, вступил в статскую службу, находился, как я говорил, в числе искренних друзей наследника престола, Александра Павловича, и, по вступлении его на престол, назначен был товарищем министра Внутренних Дел, гр. В. П. Кочубея, и употребляем был в делах дипломатических.

В 1806 году был он с особым поручением в Лондоне и там узнал о постыдном мире, заключенном в Париже несчастным дипломатом Убри. В 1807 году находился он при императоре Александре Павловиче, в звании статс-секретаря, в прусской кампании. Не утерпело ретивое русское сердце: надоело графу проливать чернила там, где земляки его проливали кровь; он выпросил позволение, с небольшим отрядом, сделать поиск против неприятеля, и исполнил дело это с успехом. Государь перевел его в военную службу генерал-майором и назначил к себе генерал-адъютантом. Граф П[авел] А[лександрович] Строганов, как и отец его, был врагом Наполеона и никак не согласился бы служить по дипломатической части в мирное с ним время. Он с честью прослужил кампании 1812, 1813 и 1814 г. При Краоне он имел несчастие лишиться своего единственного сына. Это его убило. Он впал в чахотку, в 1817 году отправился на фрегате в Италию и на пути скончался. Из дочерей его, старшая вышла за флигель-адъютанта барона Сергия Григорьевича Строганова (ныне генерал-адъютант, попечитель наследника Николая Александровича), получившего при этом случае

графское достоинство; вторая за князя Салтыкова; другая за князя Василия Сергеевича Голицына; третью увез граф Ферзен.

Упомяну об одном странном происшествии, случившемся со мною в отношении к фамилии Строгановых. 8-го февраля 1814 года, в пятницу, на маслянице, Алексей Николаевич Оленин пригласил меня на блины. Поутру я имел какое-то дело у генерал-губернатора С. К. Вязьмитинова и когда выходил из его кабинета в приемную, тогдашний обер-полицмейстер И. С. Горголи сказал мне: «Вот пожива «Сыну Отечества»! Сию минуту приехал курьер из главной квартиры, с известием о знаменитой победе». Я подошел к покрытому грязью фельдъегерю; он рассказал мне, что сражение происходило при Бриенне, месте воспитания Наполеона, и что наши и пруссаки порядочно поколотили французов. С этою радостною вестию поспешил я к Оленину. Гостиная его была полна: там были С. С. Уваров, И. М. Муравьев-Апостол, А. И. Тургенев и все служившие при Публичной Библиотеке: Крылов, Лобанов, Ермолаев, Гнедич, и т. д. При входе моем раздались восклицания: «Вот и журналист. Он расскажет нам, что есть нового».—«Точно,—отвечал я:—вот последние известия», и стал рассказывать, что слышал от куриера. Вдруг замечаю, А. Н. Оленин делает мне знаки, чтоб я замолчал. Я кончил мой рассказ как-нибудь и принялся за блины, но, по окончании завтрака, когда разъехались гости, спросил у А. Н. О[ленина], зачем он остановил меня. Он отвечал с прискорбием: «Носится слух, что в этом сражения

в авангарде графа Воронцова, убит молодой Строганов; что еще ужаснее, отцу сказали о том без всякого приготовления, и это его сразило. Вы видели в числе гостей Александра Ивановича Красовского. Этот гнусный вестовщик вхож в доме Строгановых; еслиб он услышал эту новость, он немедленно побежал бы туда, чтоб первому сообщить ее бедной матери». Я сказал, что не слыхал этого от фельдъегеря, и О[ленин] просил меня не говорить о том, что я теперь слышал.

Чрез неделю прихожу к А. Н. О[ленину] и осведомляюсь, правда ли это. «Нет!» отвечает А. Н. «К счастию, это был пустой слух: о молодом графе получено известие неделею позже сражения». И что ж, слух, носившийся в Петербурге осьмого февраля, осуществился двадцать третьего, чрез шестнадцать дней! Шла жестокая битва под Краоном. Авангардом командовал гр. Воронцов, главным корпусом граф Строганов. Вдруг летит мимо Строганова адъютант из авангарда.

— Что! — спрашивает граф: — каково там идет.

— Очень хорошо, ваше превосходительство,— отвечает адъютант, не узнавший графа: дело идет прекрасно. Жаль одного: ядром убило молодого Строганова.

Отец обмер, но чувство долга победило страдание сердца. Он встрепенулся, поскакал и командовал до вечера, но тут силы его оставили: он сдал команду графу Воронцову, а сам удалился с поля сражения.—Каким образом знали или толковали в Петербурге о том, что после-

дует во Франции через шестнадцать дней? Недоумеваю. Конечно случай, но весьма замечательный. Скажу еще о старике графе Александре Сергеевиче [Строганове]. В звании президента Академии Художеств, он отыскивал и поощрял отечественные таланты: при нем образовались Егоров, Шебуев, Варнек, Малиновский-Демут и др. Любимцем его был архитектор Воронихин, из собственных его крепостных людей, учившийся в академии, а потом, на счет графа, в Италии. Воронихин построил Казанский собор, в котором все изваяния, образа и пр., были исполнены русскими. Граф Строганов не мог дождаться окончания. Наконец собор освятили 8-го сентября 1811 года, а чрез неделю он скончался и был отпет в новом храме. При сем случае произнесено было надгробное ему слово иеромонахом Филаретом, что ныне митрополит Московский: оно возбудило общее внимание к таланту юного оратора. Напечатано оно в 1-й книжке «Вестника Европы» на 1812 год. Граф Хвостов довольно хорошо воспел новый собор и удостоился следующей эпиграммы:

Хвостов скропал стихи и, говорят, не худо!
Вот храма нового неслыханное чудо!

Не могу кончить статьи об Александре Сергеевиче Строганове, не упомянув с искреннею благодарностою к его памяти, что он был покровителем и благодетелем моего отца. Он крестил сестру Елизавету и брата Павла, и, когда батюшка лишился места, не оставлял его своими милостями.

Князь Адам Адамович Чарторыжский так известен, что о нем говорить нечего. Скажу только, что он служил в России, в первые годы царствования Александра, честно, усердно и благородно, и много трудился по Министерству Просвещения. Кто станет укорять его, что он взял с Александра I слово восстановить Польшу при первой возможности. Только жаль, что он сделал это для подлых поляков, не достойных ни свободы, ни уважения.

Николай Николаевич Новосильцов, одно из замечательнейших лиц России в первой половине XIX века, родился в 1762 году и получил хорошее образование под руководством и в доме родственника своего, графа А[лександра] С[ергеевича] Строганова; в молодости служил в гвардии, потом в армии, отличился храбростью в шведской и польской войне и сделался известен великому князю Александру Павловичу. В 1796 году вышел в отставку и отправился в Англию, где провел почти все время царствования Павла; возвратился в Россию в 1801 году, был принят с радостью императором Александром Павловичем и сделался доверенным у него лицом; занимался разными поручениями по администрации, юстиции, по делам, относившимся к наукам и художествам; был товарищем министра юстиции, и в то же время президентом Академии Наук и попечителем С.Петербургского учебного округа; принимал самое важное и деятельное участие в благородных подвигах и преобразованиях того времени, особенно по части просвещения

Он, впоследствии, называл это время счастливейшим в своей жизни. Оно было счастливейшим и для всей России: подобного тогдашнему я вспомнить и вообразить не умею. Не думайте, чтоб это суждение происходило от каких-либо счастливых или благоприятных случаев в моей тогдашней жизни. Нет! я был тогда не на розах: лишился отца, жил без матери и семейства, не имел и порядочного сертука, часто терпел голод в полном смысле этого слова; но, вспоминая отрадное время, наступившее по кончине Павла, не могу не чувствовать истинного услаждения. Разумеется, не все было хорошо и тогда, но было лучше, нежели когда-либо, и разве только первые годы царствования Екатерины (1762—1768 г.) могли сравниться с этим периодом. Всего радостнее и отраднее были надежды, но, увы, они не сбылись, или сбылись не в том виде, как ожидали истинные сыны отечества.

В одном Новосильцов сделал тогда вредный для России промах: он взял к себе на службу (по рекомендации Я. А. Дружинина) из студентов московского университета Вронченку, этого гнусного и подлого хама, способствовавшего много ко вреду России в царствование императора Николая. Помню, какой шум негодования и смеха поднялся в Петербурге в 1806 г., тогда Вронченку дали 4-го Владимира; все вопили: можно ли награждать этого подлеца, дубину, развратника? А когда он, впоследствии, получил Александра, Андрея и наконец графское достоинство, никто не дивился. Новосильцов и тогдашние товарищи его выказывали

примерную скромность при всей власти, которою обладали. У Новосильцова был только владимирский крест, с бантом, полученный им за храбрость, оказанную в войне со шведами; у Чарторыжского только аннинский крест 2-й степени, а они раздавали звезды и ленты. Новосильцов употребляем был и по дипломатической части, ездил в Пруссию и в Англию для приготовления союза против Наполеона в 1804 и 1805 годах, и был одним из главнейших деятелей тогдашней благородной коалиции против преобладания Наполеонова.[1] Но блистательные надежды тогдашнего времени не сбылись: прусский поход 1807 года кончился несчастливо и заключен был постыдный мир в Тильзите; признано владычество и преобладание Наполеона; Европа впала в совершенное рабство. Благородные люди государственные, окружавшие Александра, известные враждою к Наполеону и приверженностью к Англии, должны были сойти со сцены: их места заняли нелепые Лобановы (кн. Дмитрий Иванович), Куракины (оба) и преимущественно образован-

[1] Достойно замечания поручение, данное ему Александром в конце 1806 года. Приведенный в отчаяние ошибками своими в выборе генералов, он отправил Новосильцова в главную квартиру армии и поручил ему узнать под рукою, кто из генералов и полковников пользуется в армии, между офицерами и нижними чинами, бо̀льшею славою ума, распорядительности, храбрости. Новосильцов исполнил это и привез императору небольшой список, в котором были имена Барклая, Дохтурова, Сабанеева, Багговута, Коновницына. Это послужило впоследствии мерилом при выборе полководцев. *(Н. Г.)*

ный болван и пустомеля Румянцов (Николай Петрович). Новосильцов прозябал года два попечителем С.Петербургского Учебного Округа, потом вышел в отставку и до 1812 года жил в Вене. Достойно замечания, что пребывание в Лондоне сделало его умным, благородным человеком, другом людей и отечества. В Вене он упал и опошлился до невозможности, и, странное дело, в его положении и звании— начал пить. В 1812 году призван он был опять на службу и употреблен по делам польским и, при образовании Польского Царства, оставался при цесаревиче Константине Павловиче и много содействовал к огорчению поляков и восстановлению их против России, особенно несправедливостью и жестокостью к молодым людям, студентам и другим, которых можно б было образумить мерами кроткими и снисходительными. Куда девались прежняя скромность, прежнее увлечение благородными и либеральными идеями: когда напоминали об этом Новосильцову, он смеялся и говорил, что это были глупости и шалости молодых лет. Зато осыпан он был всеми орденами, чинами, пожалован в графы и т. п. После революции польской, он служил в Петербурге и умер в 1836 году в звании председателя Государственного Совета, пользуясь общим и заслуженным презрением. Занимая уже первую степень в государстве, он на годовом празднике Английского Клуба плясал пьяный трепака пред многочисленным собранием. Зрелище грустное и оскорбительное для друга чести и добродетели! Подлец Старчевский, в своем «Справочном Лексиконе», по-

местил хвалебную о нем статью, заключив ее забавным примечанием, что отличительною чертою характера Новосильцова была неустрашимость, то есть он не страшился ни голоса совести и чести, ни суда потомства!

Князь Петр Петрович Долгорукий (род. 19 дек. 1777 г., ум. 12 дек. 1806 г.), первый любимец Александра, человек большого ума, высокого образования, необыкновенных способностей, был употребляем в делах дипломатических и в битвах кровавых, и везде отличался с самой блистательной стороны. Перед Аустерлицким сражением он был послан к Наполеону для переговоров и раздражил его своею твердостью и благородством. За участие в этой битве он получил золотую шпагу за храбрость и орден Георгия 4 класса. Недолга была жизнь его: он скончался, в С.Петербурге, от болезни, причиненной простудою на поездке по должности. Александр искренно его оплакивал. Но не в пору ли для себя князь умер?—Брат его, князь Михаил Петрович, также достойный человек и храбрый воин, убит в сражении со шведами при Индесальми, 17-го октября 1809 года, на двадцать осьмом году от рождения. 15-го октября пожалован ему был в чине генерал-маиора Александровский орден.

Александр Александрович Виговтов обратил на себя внимание государя своими филантропическими идеями, был назначен начальником некоторых богоугодных заве-

дений, но потом сбился с толку, провел жизнь в каких-то мечтаниях и грезах и исчез в неизвестности.

Михаил Александрович Салтыков, человек умный и хорошо образованный (в Сухопутном кадетском корпусе), был в числе друзей Александра, наследника престола. По воцарении, государь предлагал ему какое-то место, но Салтыков отказался, объявив, что намерен жениться и жить в уединении. Александр пожаловал ему звание каммергера. Салтыков женился, по страсти, на Елизавете Францовне Ришар, родной тетке гр. Клейнмихеля, но жил с нею не очень счастливо. Дочь его вышла замуж за барона Дельвига. Впоследствии Салтыков был попечителем Казанского университета и умер сенатором в Москве в глубокой старости. Причудливостью своею и дурным нравом он заставлял забывать многие свои добрые качества и умер, никем не оплаканный.

Иван Петрович Пнин (род. в 1773 г., ум. 1805 г.), побочный сын князя Н. В. Репнина, получил в детстве отличное воспитание, потом обучался в Артиллерийском и Инженерном корпусе, что ныне 2-й кадетский корпус), служил сперва в артиллерии, потом при новоучрежденном Министерстве Народного Просвещения, издавал «С.Петербургский Вестник», сочинил несколько статей о воспитании и просвещении, написал драму «Велисарий». Из стихотворений его славилась в свое время «Ода на Право-

судие». Он надеялся, что князь Репнин признает его своим сыном, но, узнав по кончине его (в 1801 г.), что он забыл о нем в своем завещании, впал в уныние и зачах. Движимый чувством оказанной ему несправедливости, он написал сочинение: «Вопль невинности, отвергаемый законом», но оно, как и другие его произведения, не напечатаны. Пнин пользовался уважением и любовью всех тогдашних русских писателей. Смерть его глубоко их огорчила.

Граф Алексей Андреевич Аракчеев (род. 1769 г., ум. 1834 г.) происходил от старинной, но бедной фамилии Новгородской губернии. Один из предков его был генералом в армии Миниха, действовавшей в Крыму. Алексей Аракчеев, молодым мальчиком, пришел пешком в Петербург с рекомендательным письмом к митрополиту Гавриилу. Преосвященный, приняв его ласково, подарил ему рублевик и определил в тогдашний Артиллерийский и Инженерный (что ныне 2-й кадетский) корпус. Образование тогда было скудное: лучше всего преподавалась математика, и Аракчеев оказал в ней большие успехи, но уж в детстве оказывал коварство, низость и подлость, доносил на товарищей и кланялся начальникам. За то ненавидели его товарищи, и самый сильный из них, великан Костенецкий, больно колотил его. Видно, в благодарность за его уроки, Аракчеев потом перевел его в гвардию. Непосредственным начальником его был корпусной офицер Андрей Андреевич

Клейнмихель, женившийся на красавице Анне Францовне Ришар, которую очень жаловал генерал Мелиссино, директор корпуса. По выпуске в офицеры, А[ракчеев] оставлен был в корпусе для преподавания кадетам артиллерии, дослужился в 1790 г. до капитанского чина и был взят генералом Мелиссино в адъютанты. В то же время преподавал он математические науки и в частных домах, между прочим, сыновьям гр. Н. И. Солтыкова. В 1792 году великий князь Павел Петрович просил Мелиссино найти ему хорошего офицера для командования батареею при его Гатчинских баталионах, и Мелиссино рекомендовал Аракчеева. Капитан вскоре заслужил внимание великого князя деятельностью по службе, точностью и строгим исполнением всех приказаний, как бы они нелепы и бестолковы ни были; особенно нравилось строгое наблюдение им воинской дисциплины. По вступлении Павла на престол, Аракчеев произведен был в полковники и в генерал-маиоры, получил орден св. Анны 1-й степени, титул барона и две тысячи душ (село Грузино) в Новгородской губернии. Замечательно, что он служил в то время не по артиллерии, а командовал Преображенским полком и был с.петербургским комендантом. В командовании полком обязанность его была истребить в офицерах и нижних чинах дух свободы и уважение к самим себе; он оскорблял офицеров, а у солдат срывал усы с частью губы. Не знаю, излишество или недостаток усердия не понравились Павлу; только Аракчеев в 1798 году был отставлен от службы, но

с чином генерал-лейтенанта. В том же году он опять вошел в милость, был назначен командиром гвардейского артиллерийского баталиона и инспектором всей артиллерии, возведен в графское достоинство, получил александровскую ленту и мальтийский командорский крест. В 1799 году, за какие-то беспорядки в артиллерийских гарнизонах и арсеналах, был вновь отставлен. Говорят, что Павел, недели за две до кончины своей, пригласил его приехать в Петербург и вновь вступить в службу. Пален, узнав о том, ускорил исполнением своего замысла, и притом запретил пускать в город кого бы то ни было. Аракчеев прибыл уже по совершении катастрофы, явился к Александру Павловичу и в слезах повалился к ногам его. Потом очень умно и хитро, будто бы с откровенностью и самоотвержением, дал знать Александру, что еслиб он (Аракчеев) был в то время в Петербурге, Павел сидел бы на престоле. Все это было исполнено с успехом.

Замечательно, что в первые годы царствования Александра Аракчеев стоял в тени, давая другим любимцам износиться, чтоб потом захватить государя вполне. Он особенно стал усиливаться с 1807 года, когда угасли в Александре порывы молодых мечтаний, когда он совершенно разочаровался в людях. В то время Аракчеев принес России существенную пользу преобразованием нашей артиллерии и исполнением многих важных поручений государя. Например в финляндской войне, когда наши генералы не решались пройти по льду на Аландский остров и на шведский берег, ездил

к ним Аракчеев и убедил их исполнить волю государеву.

В Аракчееве была действительно ложка меду и бочка дегтю.

Он придрался к главнокомандующему, графу Буксгевдену, за недочет нескольких пудов пороха и написал ему грубое отношение. На это Буксгевден отвечал сильным письмом, в котором представил разницу между главнокомандующим армиею, которому государь поручает судьбу государства, и ничтожным царедворцем, хотя бы он и назывался военным министром. Этот ответ стоил дорого Буксгевдену, но разошелся в публике, к радости большинства ее. Аракчеев не знал или не думал, чтоб это письмо было известно. Однажды, у себя за столом, говоря со мной о каком-то историке, неучтиво отзывавшемся о Румянцове, он сказал: «да знаете ли вы, что такое главнокомандующий?» и повторил слова врага своего. Я не знал, куда деваться, и боялся смотреть на бывших при том. Еще достойно внимания, что Аракчеев и Балашов видели необходимость удалить Александра из армии в начале 1812 года и достигли цели, заставив Шишкова написать о том государю. Что хорошо, то хорошо.

Аракчеев не был взяточником, но был подлец и пользовался всяким случаем для охранения своего кармана. Он жил в доме 2-й артиллерийский бригады, которой он был шефом, на углу Литейного и Кирочной (деревянный дом этот существует доныне). Государь сказал ему однажды:—«Возьми этот дом себе».—«Благодарю, государь,—отвечал он:—на что мне он?

Пусть остается вашим; на мой век станет». Бескорыстно, неправда ли? Но истинною причиною этого бескорыстия было то, что дом чинили, перекрашивали, топили, освещали на счет бригады, а если б была на нем доска с надписью: «Дом графа Аракчеева»,—эти расходы пали бы на хозяина.

По окончании войны, Александр возымел странную и несчастную мысль: завести военные поселения, для пехоты на севере, для конницы на юге России. Он полагал получать из этих округов и рекрут, с детства уже готовившихся в военную службу, и продовольствие и обмундирование и вооружение их в устроенных в поселениях фабриках и заводах, а остальную часть России освободить от рекрутства и податей на Военное Министерство. Здесь не место излагать невозможность и неисполнимость миллионом людей производить то, что отбывали дотоле с трудом и истощением пятьдесят миллионов. Скажу только об исполнении. Оно возложено было на Аракчеева, и он взялся осуществить бестолковую мечту, грезу. Несколько тысяч душ крестьян превращены были в военные поселяне. Старики названы инвалидами, дети кантонистами, взрослые рядовыми. Вся жизнь их, все занятия, все обычаи поставлены были на военную ногу. Женили их по жеребью, как кому выпадет, учили ружью, одевали, кормили, клали спать по форме. Вместо привольных, хотя и невзрачных, крестьянских изб, возникли красивенькие домики, вовсе неудобные, холодные, в которых жильцы должны были ходить, сидеть, лежать по установленной

форме. Например: «На окошке № 4 полагается занавесь, задергиваемая на то время, когда дети женского пола будут одеваться». Эти учреждения возбудили общий ропот, общие проклятия. Но железная рука Аракчеева, Клейнмихель, сдерживала осчастливенных, по мнению Александра, крестьян в страхе и повиновении. В южных колониях казацкая кровь не вытерпела. Вспыхнуло восстание: оно было потушено кровью и жизнью людей, выведенных из пределов человеческого терпения генерал-маиором Саловым, поступавшим притом с величайшим бесчеловечием. Аракчеев бессовестно обманывал императора, потворствуя его прихоти, уверял его в благоденствии и довольстве солдат, а вспышку приписывал влиянию людей злонамеренных и иностранных эмиссаров. До какой степени простиралось в этом его бесстыдство, он доказал отчетом, поданным им Николаю Павловичу по вступлении его на престол и обнародованным в газетах.

Мы описали в тексте историю посрамления Аракчеева Шумским, смерть Настасьи и последовавшие затем события. Сообщим здесь некоторые подробности. Аракчеев взял к себе Настасью осенью 1796 года, но вскоре потом вступил в законный брак с девицею Хомутовою, благовоспитанною и нежною. Чрез несколько недель брака, жена увидела, к какому гнусному уроду ее приковали, он не понимал благородства и нежности чувств, не любил, не уважал ее, и они вскоре разошлись. Настасья осталась его хозяйкою и тайною советницею. Между тем имел он и фаворитку из высшего

класса, жену бывшего обер-секретаря Синода Варвару Петровну Пукалову, миловидную, умную и образованную женщину, которая, пользуясь своею властью над дикобразом, была посредницею между им и просителями. В одной из тогдашних сатир, в исчислении блаженств, сказано было: «Блажен... через Пукалову кто протекции не искал». Тиран Сибири Пестель жил в одном доме с Пукаловою и чрез нее действовал на друга ее сердца.

В начале связи Аракчеева с Настасьею родился у ней сын Михаил. В детстве был он хорошенький и умный мальчик. Аракчеев воображал, что из него выйдет великий человек, и старался дать ему хорошее воспитание. Он отдал его (в 1809 г.) в Петровскую школу, и именно пенсионером ко мне. По этому случаю познакомился я с Аракчеевым и бывал у него. Медленное, методическое преподавание наук в немецкой школе не понравилось нежному родителю. Не принимая в уважение того, что Мишка его плохо знал первые правила арифметики, он требовал, чтоб его учили геометрии, и когда это оказалось невозможным, он взял его из училища, отдал в какой-то пансион, а потом поместил в Пажеский корпус. Отдавая в школу, он назвал его: Михайла Иванов Лукин, купеческий сын; потом дал ему фамилию Шумский. Мальчик этот был выпущен в гвардию и поступил в флигель-адъютанты, которых число тогда было очень ограниченно. Между тем он сделался совершенным негодяем и горьким пьяницею. После катастрофы, сгубившей почтенных родителей, достойный их сын переведен был в армию

и там спился совершенно. Потом пошел он в монахи и умер в Соловецком монастыре.

Аракчеев похоронил Настасью подле того места, где приготовил могилу для себя, и вырезал на гробе ее следующую надпись, сочиненную им самим:

Здесь погребен двадцати-семилетний друг
Анастасия.
Убиенная села Грузина дворовыми людьми.
Убиена
За нелицемерную и христианскую ее
К Графу любовь.

По смерти Настасьи, Аракчеев рассмотрел ее переписку с разными особами и нашел верные свидетельства ее плутней и взяточничества. Он отправил найденные в наличности подарки к тем особам, от которых они были получены, и, как я слышал, велел перенести труп Настасьи на обыкновенное кладбище.

По увольнении от службы, Аракчеев вздумал отправиться в чужие краи, где незадолго до того был принимаем с уважением, как доверенный человек Александра. Времена переменились: его принимали менее нежели равнодушно. Желая напомнить о своем прежнем величии, он напечатал в Берлине перевод (французский) писем к нему императора Александра. Этот поступок усилил справедливое к нему негодование императора Николая и окончательно прекратил его поприще. Когда он въезжал во Францию, таможня отобрала у него серебряные вещи, предлагая возвратить ему при обратном выезде его из Франции или изломать их и отдать ему. Он избрал последнее, но, когда таможенный

служитель стал разбивать серебряный чайник, пришел в бешенство, бросился на него и схватил за ворот. Сопровождавшие его с трудом уладили дело.

Не находя отрады и развлечения за границею, воротился он в Россию и прожил до конца своей жизни в Грузине. Он все еще считался на службе, но не подавал никакого знака жизни. Все его оставили. Тварь его, Клейнмихель, сделался первым его врагом, и не называл его иначе, как злодеем. Когда в 1831 году вспыхнул бунт в поселенных войсках, он испугался и приехал из Грузина в Новгород. Не знаю, какая скотина был тогда новгородским губернатором (помнится, осел Демпфер). Он приказал объявить графу, что он, присутствием своим в Нове-городе, мутит народ, и велел ему ехать обратно в Грузино. В это время приехал в Новгород, по повелению государя, граф А. Ф. Орлов. Узнав о поступке губернатора, он призвал его к себе, спросил, по какому праву он выгоняет председателя Государственного Совета, когда не смеет без причины выслать из города и отставного солдата, надел александровскую ленту и поехал к падшему вельможе. Аракчеев был приведен в восхищение этим вниманием. «Ваше посещение, граф, — сказал он Орлову, — было для меня тем приятнее, что я никогда не видал вас у себя в передней... Нынешние происшествия огорчительны. Жалею только, что нет здесь Петра Андреевича (Клейнмихеля): он мог бы насладиться зрелищем плодов своих усердных трудов!» Так негодяи сваливали друг на друга вину в этих подвигах!

Аракчеев, в уединении своем, принимал посещение соседних помещиц и каждую уверял, что сделает ее своею наследницею. И в этом отчуждении, в этом унижении против прежней высоты, ему умереть не хотелось. Последние слова его были: «проклятая смерть». Он умер 13 апреля 1834 года, и известие о том пришло в Петербург накануне присяги наследника Александра Николаевича, по наступлении его совершеннолетия. Для распоряжения о погребении его и прочем послан был в Грузино Клейнмихель.

Я был в придворной церкви у обедни и при присяге цесаревича. Любопытно было видеть и слышать чистосердечные отзывы об Аракчееве людей, знавших его коротко. Всех откровеннее и умнее говорил бывший при нем долго Василий Романович Марченко, ненавидевший и презиравший его всеми силами своей души. Некоторые из бывших его клевретов обрадовались его смерти: она их уверила, что он не воротится. Борис Яковлевич Княжнин, бывший командир полка графа Аракчеева, узнав в церкви о кончине его, сказал, перекрестясь: «царство ему небесное! себя успокоил и всех успокоил».

Произнося такой строгий суд над Аракчеевым, мы виним не столько его, сколько Александра, который, наскучив угодливостью и царедворством людей образованных и умных, бросился в объятия этого нравственного урода. Аракчеев был тем, чем создала его природа. Должно отдать ему справедливость: он, как сказано выше, преобразовал (в 1809 г.) нашу артиллерию и прилежно работал в должности военного

министра, до назначения в это звание благородного и добродетельного Барклая. Еще спасибо ему за то, что он обратил внимание Александра на Канкрина, но он сделал это не потому, чтобы постигал достоинства этого необыкновенного человека, а только в пику врагу своему, Гурьеву. Не случись под рукою Канкрина, он рекомендовал бы Андрея Ивановича Абакумова. Ничто так не характеризует подлости духа графа Аракчеева, как отметка в положении, которым прибавлялось жалованье артиллерийским офицерам: «Ротным командирам прибавки не полагается, потому что они пользуются доходами от рот». Конфирмуя это положение, государь не видал, что этим оффициально признают и допускают воровство.

Александр Дмитриевич Балашев, не знаю каким образом сделался доверенным лицом Александра. Он был обер-полицмейстером сперва в Москве, потом в Петербурге, и назначен был министром полиции, при учреждении этого министерства в 1809 году, в подражание Наполеону. Он окружил себя людьми не великого достоинства. В числе их был Лавров, человек неглупый, в делах опытный, но грубый и суровый: он ввел сечение в число полицейских средств над людьми изъятыми от телесного наказания. Балашев спросил его однажды, каков экзекутор в исполнительном департаменте. «Золотой человек! — отвечал Лавров: — приведут арестанта; он разом закричит: штаны долой и ложись на скамью». Лавров был впоследствии сенатором, и не из худых. Начальником

Особенной канцелярии, что ныне III отделение собственной канцелярии е. и. в., был хвастун, негодяй Санглен, побочный сын какого-то Голицына, рожденный в Ревеле, носивший французское имя, и притом — православный! Нахватавшись разных поверхностных знаний, не умея порядочно писать ни на каком языке, он имел искусство ошеломить, озадачить кого угодно своею смелостью и самонадеянностью. Он взялся устроить высшую тайную полицию, набрал шпионов, завел доносы, морочил Балашева разными наветами и выдумками и некоторое время умел пускать пыль в глаза до того, что иногда ездил с докладами прямо к государю. Александр не доверял никому, даже своему министру полиции, и Санглен служил ему соглядатаем. Вечером и ночью посылал за ним по секрету и спрашивал, что делается в министерстве. Triste sort des rois![1] Санглен, разумеется, выдавал своего начальника головою. Но такая служба не может быть продолжительною. Александр вскоре разгадал Санглена и удалил его с кровною обидою. Балашев, узнав о проделках Санглена в Вильне (в мае 1812-го), открыл глаза царю. Александр притворился, что полюбил Санглена как друга, и особенно на одном бале преследовал его своими любезностями, приглашал танцовать, подчивал мороженым и т. п. Санглен, увидев, что наступил его последний час, просил увольнения от должности. Его определили в главную квартиру Барклая, по особым поручениям, но не употребляли. Кутузов, прибыв к армии,

[1] Грустная участь царей!

выгнал его. Получив в 1816 г. пенсион в 4.000 р. асс., он поселился в подмосковной деревне и прожил долго. У него было много детей: сколько я знаю, они сделались негодяями. Балашев сам, сдав управление Министерством Полиции Вязмитинову, оставался в свите государя. и был употребляем по дипломатической части. В 1812 году вел он последние переговоры с Наполеоном. Известен ответ его на вопрос: какой путь ведет на Москву? — «Есть и через Полтаву». По окончании войны был он несколько лет в бездействии, потом плохим генерал-губернатором орловским, тамбовским и рязанским. Умер в безвестности. Как частный человек, может быть, он имел и достоинства. Он был, например, приятелем Карамзина, но в отношении государственном он был более вреден, нежели полезен. Непростительная ссылка Сперанского была отчасти его делом.

Князь Александр Николаевич Голицын (род. 8-го дек. 1773 г., ум. 22-го ноября 1844 г.) был человек доброго сердца, одаренный большим придворным тактом и знанием, чего не должно ему говорить, но ум и рассудок его были весьма тесные. Есть предание, что камер-юнкер Дм. А. Гурьев (впоследствии министр финансов) и он были высланы императором Павлом из города за глупость. Голицын набрался незрелых духовных идей, вероятно, в то время, когда был обер-прокурором в Синоде. Современем они перешли в мистицисм и в учение английских методистов. И этот человек был министром Просвещения и Духовных дел! Его

обстали невежды, фанатики и негодяи, и этот добрый, почтенный человек сделался орудием гонений, преследований, почти злодеяний. Люди ученые, умные, благородные (например, Александр Павлович Куницын) сделались жертвами козней адского союза, который окружал его. Главным противником его был Аракчеев. Князь оказывал к нему презрение и даже никогда не кланялся. Александру это, видно, нравилось по правилу: divide et impera![1]

Князь Голицын делал много добра бедным и страждущим и щедро награждал своих подчиненных, к сожалению, очень часто негодяев. На почте принимали гривенные письма чиновники с звездою Станислава. Любопытное зрелище представляет человек слабохарактерный, управляемый обстоятельствами. С одной стороны, в Министерстве Просвещения и по почтовому ведомству окружали его ханжи и плуты; с другой стороны директором Департамента Духовных Дел был Александр Ив[анович] Тургенев, добрый же человек, но пустой, надутый ветренник, конечно, ничему не веривший. Он жил в верхнем этаже министерского дома, и над кабинетом гонителя наук и просвещения, сочинял либеральную конституцию и беседовал с единомышленным Николаем Тургеневым! Хороша была работа! И в то время, когда составлялись ковы против царя, участники в них, великодушные либералы, позволяли преследовать людей, подозреваемых в свободомыслии, и, скажем более, еще указывали на них, чтобы отвести от себя

[1] Разделяй и властвуй!

взоры тайной полиции. Впрочем, о придворных можно сказать то же, что Крылов говорил об иностранных воспитателях:[1] — «И лучшая змея по мне ни к чорту не годится».

Сообщаю, для характеристики кн. Голицына истинное происшествие, которое касалось меня очень близко. В 1820 году, Жуковский принес ко мне русский перевод одной сказочки Перро, переведенной с французского ученицею его, великою княгинею Александрою Федоровною, и просил, чтоб я напечатал ее в своей типографии в числе десяти экземпляров, но с тем, чтоб эта книжка не была в обыкновенной ценсуре, что он говорил об этом князю Голицыну, и князь, изъявив свое согласие, обещал известить меня оффициально о напечатании ее без обыкновенных формальностей. Великая княгиня хотела по этой книжечке учить читать своего сына. Я напечатал книжечку. Нет извещения от Голицына. Жуковский пишет из Павловска, что в[еликая] к[нягиня] ждет оттисков. Что тут делать? Я повез рукопись к ценсору Тимковскому, и он подписал ее. Вслед за этим послал экземпляры Жуковскому. Вдруг поднялась буря. Голицын, забыв (?) об обещании, данном Жуковскому, написал к военному генерал-губернатору графу Милорадовичу, что в типографии Греча напечатана книга, недозволенная ценсурою, и просил поступить с содержателем типографии на основании законов. Г[раф] потребовал у меня объяснения. Я представил рукопись, одобренную Тимковским, за две недели пред

[1] *Первоначально было:* любезниках.

тем, и сказал, что одобрение не выставлено на заглавном листке по ошибке фактора типографии. Дело тем и кончилось. Хорошо было, что я не положился на словесное позволение министра: было бы мне много хлопот. Добрый Жуковский очень сожалел о неприятности, сделанной мне, и говорил мне, что выговаривал князю [Голицыну], а тот извинился, что запрос (им подписанный) был составлен, без его ведома, в его канцелярии.

По доносам и наговорам Магницкого, я был предметом гонения Министерства Просвещения, а потом предан был суду с его же чиновниками! (См. дело о Госнере).

[В. Ф. БОГОЛЮБОВ]

В числе замечательных лиц, с которыми случай свел меня в жизни, должен я упомянуть о Варфоломее Филипповиче Боголюбове. Он представляет любопытное зрелище, — человека, всеми презираемого, всем известного своими гнусными делами и везде находящего вход, прием и наружное уважение! Таковы милые светские связи. Человек честный, благородный, откровенный, но простой, неумеющий хорошо говорить по-французски, незнакомый с приемами и хитростями большого света, при всех дарованиях и заслугах своих, не добьется и десятой доли того, чем пользуется смелый, бесстыдный и бессовестный негодяй, известный своими порочными наклонностями и делами.

Отец Боголюбова, в последние годы царствования императрицы Екатерины, служил эко-

номом в Смольном монастыре и исполнял свою должность с большим попечением о своем кармане. Когда, по вступлении на престол императора Павла, все воспитательные и богоугодные заведения отданы были в ведомство императрицы Марии Федоровны, и главное над ними начальство было поручено умному, деятельному и строгому графу Якову Ефимовичу Сиверсу, последовала ревизия хозяйственной их части за прежние годы. Боголюбов, видя себе неминуемую беду, решился предать себя смертной казни и вонзил себе в живот кухонный нож. На вопль его домашних, сбежались соседи, пригласили медика и исследовали состояние больного, который терзался в ужасных мучениях. На вопрос одного наследника, есть ли надежда на спасение его жизни, врачи отвечали единогласно:

— Нет никакой.

— Долго ли проживет он в этих мучениях?

— Он умрет, лишь только вынут нож из раны.

— Да кто на это решится?

Тогда девяти или десятилетний сын его, Варфоломей, смело подошел к кровати больного и, бестрепетно вынув нож, прекратил тем и страдания и жизнь своего отца. Дивный пример сыновней любви и самоотвержения!

Мария Федоровна изъявила глубокое сожаление об этом несчастном случае, призрела осиротевшее семейство и поручила юного Варфоломея попечению князя Алексея Борисовича Куракина. Князь исполнил желание государыни, взял юного героя и дал ему воспитание, наравне с своим родным сыном, воспитание светское,

блистательное, и потом определил Боголюбова в Коллегию Иностранных Дел. Он был командирован в Корфу, к генералу Анрепу, познакомился там с Бенкендорфом и другими молодыми людьми первых фамилий; потом был при посольстве в Мадриде и Вене под начальством Дм. П. Татищева. В последнее время числился он при министерстве и жил в Петербурге, имея вход в лучшие дома, и находился в дружеских связах с Тургеневым, Блудовым и другими светскими людьми. Я знал его только потому, что вид л иногда у Тургенева и у Воейкова, но в 1831 году, когда открылась холера, он был назначен попечителем квартала I Адмиралтейской части, в которой частным попечителем был С. С. Уваров, с которым он вошел в тесные связи по родству Уварова с кн. Куракиным. Боголюбов, посещая дома разных обывателей, зашел и ко мне. Мы разговорились с ним и познакомились, не говорю, подружились.

Когда я переехал в свой дом (в июле 1831 г.), он продолжал посещать меня, иногда у нас обедал и забавлял всех своими анекдотами и остротами; только нельзя было остеречься от его пальца. «Плохо лежит, брюхо болит». Он воровал все, что ни попадалось ему под руки. Спальня моя была внизу; кабинет на антресолях. Одеваясь поутру, я оставлял в спальне бумажник.

Однажды пришел ко мне Боголюбов, заглянул в спальню и, видя, что меня там нет, взобрался в кабинет и, посидев около часу, ушел. Я отправился со двора и, переходя чрез мостик на Мойке, встретился с наборщиком, которому за что-то обещал дать на водку, остановил его,

вынул из кармана бумажник, чтоб из бывших в нем пятнадцати рублей, вынуть синенькую. Не тут-то было: бумажник оказался пустым! В другой раз, воротясь домой перед обедом, нахожу, что Боголюбов сидит у меня в зале перед столом, покрытым газетами, и читает одну. Разговорившись с ним, я увидел у него за пазухою в боковом кармане картинку модного журнала и без всякого умысла сказал ему, шутя:

— К какой это даме несете вы моды, услужливый кавалер?

Он побледнел и застегнул фрак, сказав:

— Да, к одной почтенной барыне.

Я поглядел на пачку новых газет: действительно, в ней недоставало модного журнала. До обеда зашел я к матушке, сестре и дочерям и рассказал им штуку Боголюбова. Он остался у нас обедать; сверх того обедал у нас один француз Бонне, разодетый куколкою. Между разговорами я сказал ему: «Как вы можете в нашем климате (это было в глубокую осень) одеваться так легко: и фрак, и жилет у вас на распашку. Долго ли простудиться! Вот посмотрите на этого застегнутого дипломата: как он сохраняется. Подумаешь, что он прячет краденое». Домашние мои были в страхе, что Боголюбов обидится. Но все прошло благополучно.

Однажды, во вторник на первой неделе великого поста (mardi gras), приехал ко мне звать меня к обеду Булгарин и при этом случае взял у меня двести рублей; потом он отправился в Большой Театр и купил там пять билетов по пяти рублей, на вечерний маскарад. Обедали

у него свитский генерал граф Нессельрод (двоюродный брат министра), один польский полковник, Боголюбов и я. Беседа за столом была преприятная. После обеда гости, кроме Боголюбова, тотчас отправились по домам. Булгарин проводил их, в том числе и меня. Боголюбов оставался и, когда воротился Булгарин, простился с ним и ушел также. В комнате, где мы сидели после обеда, было бюро, на которое Булгарин положил свой бумажник. Хвать, все оставшиеся в нем сто семьдесят пять рублей исчезли. Таких случаев знал я, знали все, до тысячи, но никто не успел застать и уличить Боголюбова с поличным. А сколько он утащил у меня книжек! Добро бы украл полные сочинения, а то почти все разрознил. Я говорил выше, что он был знаком и короток с Бенкендорфом. Говорили, что он был его шпионом. Не знаю этого в точности, но эту славу раздавали многим и мне самому, потому и не дерзаю говорить о том положительно. Вспомню только один случай. Однажды, когда Уваров был в Москве, Боголюбов пришел ко мне и прочитал письмо, в котором тогдашний товарищ министра просвещения уведомлял его, старого друга, о разных встречах, о блюдах в Английском клубе, о речах и суждениях некоторых именитых особ.

— Не правда ли, интересно? — спросил у меня Боголюбов.

— И очень, — отвечал я.

— Я читал это письмо генералу (тогда Бенкендорф не был еще графом), и ему оно понравилось.

Оставляю читателя догадываться, кто играл здесь какую роль. Дружба Боголюбова с Бенкендорфом пресеклась трагическою сценою. Однажды Боголюбов приходит к нему, ни о чем не догадываясь, и видит, что его появление произвело на графа сильное впечатление.

— Qu'avez-vous, cher comte?[1] — спрашивает Боголюбов. Бенкендорф подает ему какую-то бумагу и спрашивает:

— Кто писал это?

Это была перлюстрация письма, посланного Боголюбовым к кому-то в Москву: он насмехался в нем над действиями правительства и называл самого Бенкендорфа жалким олухом. Это письмо доставил графу почтдиректор Булгаков, ненавидевший автора. Боголюбов побледнел, задрожал и упал на колени.

— Простите минуту огорчения и заблуждения старому другу!

— Какой ты мне друг? — закричал Бенкендорф. — Ордынский! велите написать в канцелярии отношение к военному генерал-губернатору о высылке этого мерзавца за город.

Боголюбов плакал, рыдал, валялся в ногах и смягчил приговор.

— Убирайся, подлец! — сказал Бенкендорф: — чтоб твоя нога никогда не была у меня!

Боголюбов удалился. Этот случай рассказан был Булгарину Ордынским, секретарем Бенкендорфа.

С Уваровым сохранил он связь до конца своей жизни: видно, между ними были какие-то

[1] Что с вами, дорогой граф?

секреты, но Уваров стыдился этой связи. Однажды Боголюбов застал меня за сочинением одной статьи, помещенной потом в «Пчеле», о начале «Сына Отечества».

— Что же вы ее не печатаете?

— Должно прежде цензуры показать Сергию Семеновичу, — сказал я: — потому что в ней идет речь о нем, а я не сберусь итти к нему.

— Сделайте мне одолжение, Н[иколай] И[ванович], поручите это дело мне: я очень часто бываю у С[ергия] С[еменовича] и непременно исполню ваше желание.

Я, враг всех министерских передних, согласился и отдал ему статью. Чрез неделю добрый и любезный Василий Дмитриевич Комовский, директор Канцелярии министра, привез ко мне эту статью одобренную к напечатанию и, отдавая ее мне, просил именем Уварова, не относиться к нему чрез Боголюбова, а являться лично или передавать чрез канцелярию.

Боголюбов умер в марте 1842 года, после кратковременной болезни, оставив двух сестер, престарелых девиц, без всякого пропитания. Вероятно, Уваров не оставил их. Я спрашивал у домашних Боголюбова, не остались ли после него книги, в числе которых находились многие, взятые им у меня. Мне отвечали: не осталось ничего.

И все это примерло: и Боголюбов, и Бенкендорф, и Уваров! К чему послужило воровство одному, царедворничество другому, тщеславие и властолюбие третьему?

ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ

ДЕЛО ГОСНЕРА

Любопытное дело Госнера могу я описать во всей подробности, потому что сам участвовал в нем — страдательным лицом. Описание мое будет справедливое и беспристрастное, потому, что, по истечении слишком тридцати лет, исчезли в душе моей все неудовольствия и огорчения, претерпенные мною: осталось воспоминание о любопытной драме.

В то время, когда мистицизм, методисм, библисм и тому подобные поветрия проникли в Россию и распространились в ней, как сорная трава на черноземе, приехали сюда два католических священника: Линдль и Госнер. Оба они, не отрекаясь от католицизма, проповедывали чистый мистический протестанисм, говорили южно-немецким наречием, прямо, грубо, с убеждением и с красноречием проповедников средних веков. Линдль проповедывал в Мальтийской церкви, а Госнер в большой католической (св. Екатерины), на Невском проспекте. Католики видели в этих проповедниках предателей и еретиков и проклинали их. Слушателями их были отчасти верующие и убежденные, но не находившие достойной духовной пищи в поучениях пасторов протестантских и православных священников, но большая часть

их ходила на эти поучения из подлой угодливости покровителю их Голицыну и т. п. Магницкий, Рунич, Кавелин, Попов, Пезаровиус (основатель «Инвалида»), Ливен (князь Карл Андреевич), Адеркас (этот скотик жив поныне), директор Петровской школы Шуберт, Серов и т. д. окружали их кафедры, выворачивали глаза, вздыхали, плакали, становились на колени. Желающие знать содержание, направление и слог этих речей, могут прочесть напечатанные тогда, в русском переводе, три проповеди Линдля.

Госнер написал в то время толкования на новый завет на немецком языке. Набожный осел Карл Карлович фон-Поль (впоследствии тайный советник и директор Канцелярии М[инистерства] Вн[утренних] Д[ел] при Блудове), одобрил эти книгу к напечатанию; думаю, он читал ее, стоя на коленях. Другой усердный чтитель Госнера, отставной инженер-генерал-маиор Александр Максимович Брискорн (дядя Максима Максимовича, пострадавшего в деле Политковского), занимавшийся попеременно пуншем и Библиею, вздумал перевесть эти толкования на русский язык; но, получив в Инженерном Корпусе образование безграмотное, споткнулся на первом шагу и нанял для перевода бывшего казанского профессора Яковкина и одного чиновника 5-го класса Трескинского. По окончании перевода первого тома, Брискорн принес рукопись Павлу Христиановичу Безаку (моему двоюродному брату), с которым мы вместе купили и содержали типографию. Безак, как для увеличения доходов



Иоганн Госнер.

типографии, так и из угодливости к партии Голицына, к которой принадлежал друг его Николай Дмитриевич Жулавский, охотно взялся напечатать книгу, но, взглянув на перевод, ужаснулся. Не было ни смыслу, ни толку. Надлежало все исправить. Я обязан был принять участие в этой адской работе. Целые дни проходили у нас в корректурах. Брискорн умер в конце 1823 года. Госнер принял на себя продолжение издания. Василий Михайлович Попов взялся кончить перевод и перевел несколько глав.

Между тем произошла катастрофа, о которой я упоминал выше. Магницкий, предавшись Аракчееву, возгласил, что Голицын покровительствует шайке безбожников и злодеев, которые пытаются сгубить в России христианскую веру, и взялся доказать это книгою Госнера, которая печатается с ведома и позволения Голицына. Для этого нужны были доказательства, должно было выкрасть из типографии книгу или хотя листок ее. «Дайте мне три неважные слова, — сказал какой-то инквизитор: — я найду в них средство сгубить сочинителя». Однажды, в марте 1824 г., явился ко мне некто Платонов, крещеный жид, известный шпион, умевший пробраться и в порядочный дом, например, к князю Салтыкову, и с иезуитскою покорностью просил дать ему хотя бы только прочесть листочек из душеспасительной книги Госнера, печатаемой в моей типографии. Зная этого молодца, я отвечал ему, что во-первых я не смею распоряжаться чужою собственностью, а во-вторых, книга не отпечатана, следственно билета

на выпуск в свет не получено, и я не в праве выпускать ее из типографии. Он стал всячески ублажать меня. Я отвечал сухо, что не дам, и просил его оставить меня в покое. Не успевши у меня, подлецы нашли другой путь. Узнали, что Брискорн давал корректуру для прочтения доктору Христиану Яковлевичу Витту. Некто Степанов, чиновник 5-го класса, прикинулся больным, послал за Виттом, и на вопрос, чем он болен, отвечал: «стражду не телом, а душою. Меня давят тяжкие грехи. Только духовная пища может утолить меня. Вот если б я мог прочитать хоть строчку святого мужа Госнера, я непременно бы выздоровел». Витт, не замечая и не подозревая ничего, отвечал: «в этом случае могу служить вам. У меня есть два листочка этой книги, и я пришлю их вам». — «Благодетель! спаситель!» — отвечал ему Степанов. Получив листки, воспрянул с одра болезни и кинулся к обер-полицмейстеру; тот отдал листки Магницкому. Магницкий на первой же странице нашел богохульство и безбожие и препроводил к Аракчееву. Аракчеев отдал их на рассмотрение Шишкову. Шишков, занимавшийся только корнями славянского языка, не понимавший ни богословия, ни философии, стал разбирать листы. Цитаты и стихи из Библии приведены были не на славянском языке, а в русском переводе. Что ж! храбрый адмирал нашел безбожие и побуждение к мятежу в словах самого Спасителя. Так например из слов: «И не бойтесь убивающих тело, бойтесь могущих убить душу», он вывел, что автор учит не бояться суда царского, и т. п. Критика его оканчивалась сло-

вами: «Читая таковые мерзости, перо из рук моих упадает». Подписали: Александр Шишков, Василий Ланской, тогдашний министр Внутренних Дел, баран, не виноватый ни телом ни душою. Вскоре разнесся в городе слух об этой книге и ее богопротивном содержании. Ко мне приехал правитель Канцелярии Военного Генерал-Губернатора графа Милорадовича, Н. И. Хмельницкий, и спрашивает, одобрена ли цензурою печатаемая у меня книга. Я показал ему одобрение. Прибежал Булгарин и говорит, что надо мною сбирается гроза. Я отвечал, что, действуя по совести и по законам, не боюсь никакой грозы. Да и что мне было до глупых светских и судебных отношений! Меня поразил удар, какого не мог отвратить ни Александр I, ни весь Священный Союз: 24-го апреля 1824, в шесть часов утра умерла моя милая одиннадцатилетняя дочь Ольга; вечером в тот же день родилась другая, Александра. Стечение и борение противоположных чувств заглушало во мне все мои мысли, и я мог бы в то время перенести бестрепетно самые жестокие удары.

В самый этот несчастный для меня день, Платонов (я узнал его по описанию) приходил ко мне в типографию, нашел одного ученика на крыльце и предлагал ему сто рублей за четыре экземпляра листов Госнеровой книги. Мальчик просил его притти на другой день. Он явился и обещал троим ученикам двести рублей за два экземпляра. Они отвечали, что не смеют и не могут сделать этого без ведома фактора. Искуситель удалился. Как сожалел я, что мне не сказали о первом его посещении!

Я захватил бы его при втором пришествии, скрутил бы ему руки, как вору, и повел бы его с дворником моим среди белого дня на съезжую 1-й части, мимо Гладкова и Милорадовича! Я пожаловался письменно Милорадовичу на подкуп моих людей и, разумеется, не получил ответа. К чему были им нужны печатные экземпляры, когда они имели уже корректуру? Они хотели предъявлением этих экземпляров, подтвердить выдуманную и распространенную ими ложь, будто *я* напечатал две тысячи экземпляров и распространил их в публике. И Александр верил этому! 27-го апреля, в воскресенье, после обеда, является ко мне одобривший эту книгу к напечатанию цензор Александр Степанович Бируков, величайший глупец и подлец, и говорит с умильною улыбкою: «Ну, попали мы с вами, Николай Иванович!» — «Что за *мы*? — возразил я: — *вы*, *вы* одни восхищались Госнером; *вы* с Магницким стояли пред ним на коленях; *вы* подписали рукопись со всеми ее нелепостями: *вы* и отвечайте. Я только напечатал то, что вы одобрили, и если б объявил, что не хочу печатать этой книги, Голицын предал бы меня суду, как богохульника и бунтовщика». Бирюков отвечал дерзко: «Да вы бог знает, что прибавили к одобренной мною рукописи. Отдайте мне рукопись!» — «Не отдам!—отвечал я: — она одна мое спасение. Вы исключите теперь из нее что угодно, а я подвергнусь ответу». Он всячески старался убедить меня. Я отвечал, что рукопись у П. Хр. Безака, товарища моего по типографии, и тем отделался от него. На другой день

призвал я переплетчика, заставил его при себе переплесть рукопись, переметил в ней страницы, продел шнурок, и где были сделаны перемены в рукописи цензором, отметил на поле. Изготовил и жду. Во вторник утром приезжал ко мне адъютант графа Милорадовича граф Мантейфель, и просил пожаловать к графу.

Я взял рукопись и приехал, по назначению, оставив ее у кучера. Милорадович встретил меня как-то торжественно и сказав: «qu'il est l'organ de Sa Majesté»,[1] объявил, что государь император, обязанный пещись о благочестии и нравственности своих подданных, требует, чтоб не было печатаемо ничего богопротивного и безнравственного.

— И потому, — сказал он, — спрашиваю вас, как вы смели напечатать книгу, не получив на то билета из цензуры?

Узнав накануне, что таков был в Комитете Министров отзыв кн. Голицына, я отвечал ему:

— Неудивительно, что ваше сиятельство, как человек военный, не знает подробностей цензурного и типографского дела. Странно только, как оно неизвестно министру Просвещения. Цензурный билет выдается из комитета по отпечатании книги и по сличении печатного экземпляра с одобренною рукописью, а печатается книга по такой рукописи без всякого билета. Книга не была еще отпечатана, и потому надобности в билете не настояло.

[1] «Что он орган его величества».

— А рукопись была одобрена?

— Была в[аше] с[иятельство].

Казалось, он сомневался в правде слов моих.

— Можете ли вы представить ее мне?

— Я взял ее с собою, она у моего кучера. Позвольте послать за нею Фогеля (шпиона 1-го класса), которого я видел в передней.

— Извольте.

Принесли рукопись. Граф, увидев, что она продета шнуром за печатью и все листы ее помечены, сказал, улыбаясь:

— Вы приняли все предосторожности.

— Я знал, — отвечал я, — с кем буду иметь дело: эти святоши — люди бессовестные и наглые.

Он посмотрел на меня с удивлением. Видно было, что он почел было меня принадлежащим к шайке Магницкого и подобных.

— Чья эта рука? — спросил он.

— Рука писаря, — отвечал я, — перебелившего перевод покойного Брискорна.

— А это?

— Профессора Яковкина.

— А это?

— 5-го класса Трескинского.

— А это?

— Действительного статского советника Попова, директора Департамента Министерства Просвещения.

— Точно ли?

— Точно, в[аше] с[иятельство].

— Да как цензор мог дозволить все это?

— Цензор не виноват: он не читал рукописи и подписал ее по воле своего начальства, князя Голицына, Рунича, Попова и прочих.

— Чем вы это докажете? — спросил граф.

— А вот чем: вот стих из Библии: «Иисус ходил... исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». В рукописи ошибка: вместо «в людях», написано «в лошадях». Если бы цензор читал ее, то непременно поправил бы эту непростительную описку.

Граф, рассмеявшись, согласился со мною и мы расстались. В донесении своем он совершенно оправдал меня и другого содержателя типографии Края, печатавшего немецкий подлинник. Вообще во всем этом деле граф Милорадович [1] вел себя честно и благородно.

Имея давнишнюю злобу на Безака, который насолил ему в турецкую кампанию 1809 г., когда был директором канцелярии князя Багратиона, Милорадович всячески допытывался, не участвовал ли и он в этом деле. Я отвечал, что я один содержатель типографии, и только должен за нее деньги Безаку.

Комитет Министров решил предать суду за составление этой книги Попова, Яковкина, Трескинского, цензора Бирукова и фон-Поля, содержателей типографий Греча и Края. За двух последних вступились некоторые члены, находя их невинными. Шишков заметил: «если они невинны, то оправдаются по суду». Прекрасное суждение! Прочие с ним согласились. Впоследствии я спрашивал у Канкрина: как он смог

[1] *Далее зачеркнуто:* и только он один.

согласиться с такою гнусностью. Он отвечал мне: «Дело шло о выгодах православия. Нессельрод, Моллер и я, как протестанты, не противились ничему и согласились с большинством». Попов был предан суду в Сенате, Яковкин, Трескинский и оба ценсора в Уголовной Палате, а мы, содержатели типографий, как люди, производящие свободный промысел, в Надворном Суде. Процесс тянулся. Разумеется, что в Сенате, как в верхней инстанции, он был решен прежде нежели в низших присутственных местах. Все сенаторы, отличавшиеся известным своим благородством и независимым мнением, пристали к стороне сильного Аракчеева, все — кроме одного, Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола. Рассмотрев и обсудив дело со вниманием и чистою совестью, он написал свое решительное и основанное на здравом смысле и на законах мнение, в котором доказывал несправедливость обвинения и невинность прикосновенных к делу лиц, особенно Попова, подлежавшего непосредственно суду Сената. По разногласию в департаменте, дело следовало перенести в Общее Собрание. Докладная записка о нем была напечатана и разошлась в публике. Изумление и негодование было всеобщее. Дошло и до государя. Он встревожился и хотел узнать правду, но, не смея сделать этого явно, дал знать Муравьеву под рукою, чтоб он в такое-то утро был в такой-то аллее Каменного Острова, где Александр Павлович часто прогуливался с Елисаветою Николаевною Кусовою, урожденною Тухачевскою, препорядочною полуфранцузскою дурою. В назначенное утро (это было в августе 1825 года)

он встретился будто невзначай с Муравьевым, сел с ним на скамью, стал говорить о Сенáте и спросил, какие важные дела производились у них недавно. Муравьев исчислил их и в том числе назвал дело Попова. Император пожелал узнать подробности, и Муравьев рассказал все откровенно, смело и справедливо. Александр поблагодарил его, но не изъявил своего мнения. Вскоре потом уехал он в Таганрог, где судьба положила предел дням его. Не знаю, какое направление принял бы этот процесс при жизни Александра. По вступлении на престол Николая, рухнулось все это здание, составленное из флигелей Аракчеевского и Голицынского. Царствовать начал российский самодержец, а не добрый наш угодник Запада, спрашивавший: что говорят обо мне в салоне мадам Сталь? как отзовется Шатобриан? Пали и исчезли и протестантские иезуиты, с своими библиями, из которых черкесы делали патроны, и с трактатами, пославшими не одного человека в дом умалишенных. Пали и исчезли Фотий и другие монахи, полуплуты и полудураки! Николай Павлович умер, и его можно хвалить без зазрения совести. Скажу прямо и от души: и он и его внутреннее правление России было лучше Александрова. Александр был чужд и неприступен своему народу; он рисовался и кокетничал, а дела не делал: разумею последние его годы. Вдруг бывало падет на кого-нибудь немилость: не давать ходу! был технический термин этой инквизиции. Явишься к какому-нибудь министру, требуешь если не правосудия, то объяснения, ответа. Нет ответа: пожимают плечами. Наконец добьешься:

«ступайте к графу Алексею Андреевичу». А этот был неприступен, как китайский богдыхан. При Николае поступали иногда крутенько, но скоро и решительно. При каком-либо доносе, промахе или недоразумении, идешь к фон-Фоку или к Дубельту или прямо к Бенкендорфу и к Орлову, объяснишь дело, оправдаешься или получишь замечание; тем и кончится. Как часто Николай просил прощения у особ, обиженных им в пылу гнева или нетерпения! Александр, чувствуя свою вину, усугублял немилость и гонения, чтоб загладить ее. Внешняя политика дело иное. Александр был в ней тем, чем должен быть великий дипломат: un grec du Bas-Empire, contre coquin coquin et demi. [1] Сладил бы он добром с Наполеоном! Надул, столкнул и отмстил. Честный, благородный, чуждый притворства Николай пошел бы на врага и, как рыцарь XIII века со щитом и копьем правды, он встретил бы штуцера Минис. Уже теперь (в июле 1858) начинает заниматься для Николая заря правды. Со временем он явится в истории во всем своем блеске, чести и доблести.

Процесс наш длился до 1828 года по всей форме суда и кончился в Сенате совершенным оправданием подсудимых. Я получил в вознаграждение (22-го янв. 1829 г.) чин статского советника. Этому процессу обязана существованием «Северная Пчела». В 1824 году, видя, что мне нет ходу по Министерству Просвещения, я обратился к Канкрину с просьбой принять меня к себе на службу. Он знал меня и прежде

[1] Византийский грек, двойной плут.



СѢВЕРНАЯ ПЧЕЛА.



№ 1.

Четвертокъ, Января 1го 1825.

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

ЗРѢЛИЩА.

НОВЫЯ КНИГИ.

Снимок с первого номера «Северной Пчелы».

(я имел случай сделать добро его сестре, госпоже Шлютер) и изъявил свое согласие. Вдруг узнали, что я предан суду. Канкрин объявил, что я не могу поступить к нему на службу до оправдания. Что делать? «Сын Отечества» шел вяло. Мы с Булгариным затеяли издание «Северной Пчелы» и начали ее с 1-го января 1825 года.

ИСТОРИЯ ПЕРВОГО ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕКСИКОНА В РОССИИ

В числе любопытных литературных явлений, ознаменовавших тридцатые годы, занимает не последнее место издание и судьба Энциклопедического Лексикона.

Издателем Лексикона был Адольф Александрович Плюшар. Отец его, типографщик Александр Плюшар, сколько могу думать, еврейского происхождения, прибыл в Петербург в 1806 году, из Брауншвейга, где имел типографию в товариществе с известным Фошем (Fauché), агентом Лудовика XVIII, сделавшимся жертвою Бурбонской неблагодарности. Плюшар был вызван в Петербург, для основания порядочной типографии при министерстве иностранных дел, предпринявшем тогда небольшой журнал в осьмушку, под заглавием Journal du Nord, для противодействия французским журналам Наполеона, воевавшего в то время с Россиею. [1]

[1] По заключении Тильзитского мира журнал этот упал и кое-как прозябал до 1812 года; тогда он проснулся, передан был под редакцию г. Фабера, и стал выходить с 1813 г. по три раза в неделю, в четвертку, под заглавием Le Conservateur Impartial. Потом преобразовался он в Journal de St. Pétersbourg и издавался графом де Сансе, сначала по три раза в неделю

Плюшар действительно завел первую в России хорошую типографию, и не без успеха. В 1808—1810 годах перепечатывал он французские романы и т. п. Он был человек легкомысленный, хвастун, но добрый и услужливый. В 1821 году переехал я в третий этаж дома Коссиковского (что был потом Руадзе, а ныне Кононова),[1] в котором Плюшар с своею типографиею занимал второй этаж. Это совместничество не только не мешало ни одному из нас, но и подавало нам случай делать друг другу взаимные услуги. В 1824 году, в ночи с Александрова дня, воры забрались в квартиру Плюшара, жившего летом на даче, разломали железный шкап, где хранились касса и разные драгоценности, и расхитили все, что̀ могли. При исследовании этого дела я оказывал соседу всевозможное пособие и содействие, провожал его на следствиях, служил ему переводчиком и т. п. Признаюсь, в этом случае руководился я и любопытством в психологическом и юридическом отношении. Настоящих воров не нашли. Подозрение пало на прикащика его, эльзазского уроженца. Его посадили в тюрьму, где он выучился делать картонажи, и потом он был осво-

а потом по шести раз. В 1855 году министерство отдало журнал в собственность книгопродавцу Дюфуру, и теперь он издается вызванным из Брюсселя журналистом Капельманом. Журнал этот никогда не мог возвыситься над посредственностью и питался только вырезками из заграничных газет. Всего исправнее был он издаваем при графе Сансе. (*Н. Г.*)

[1] В настоящее время д. № 70 по Загородному проспекту (угол Бронницкой).

божден при коронации Николая I, в 1826 году, по милостивому манифесту.

Это обстоятельство еще больше скрепило хорошие отношения между нами. Дети Плюшара, Адольф и Евгений, воспитывались с моими сыновьями в пансионе Муральта. Евгений Плюшар сделался живописцем. Адольф последовал отцу, учился в Париже у Дидота и, по кончине отца, вступил в обладание его типографиею и книжною при ней лавкою.

В Апреле 1834 года пришел он ко мне (дотоле я не имел с ним никакого дела, и только знал его как человека деятельного и смышленного), сообщил мне о намерении своем издавать Энциклопедический Лексикон по образцу Брокгаузова Conversations-Lexicon и Шницлерова Dictionnaire des gens du mode, и предложил мне быть главным его редактором. Я похвалил его благое предприятие, но от принятия на себя редакции отказался, не имея на то, при издании Пчелы, времени и не считая себя довольно сведущим по разным частям наук, входящих в состав такого лексикона. Плюшар долго убеждал меня и, видя мою непреклонность, просил указать ему способного человека. Я назвал Сенковского, как человека умного, многосторонне ученого, трудолюбивого и сметливого. Плюшар пошел к Сенковскому с моею рекомендацией. Сенковский, чуя, что это предприятие пахнет ненавистными поляку русскими рублями, тотчас согласился на предложение, и тут же написал программу Лексикона, умную и дельную. Надлежало найти сотрудников. Плюшар отправился к известнейшим ученым, литераторам и

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ

ЛЕКСИКОНЪ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

А — АЛМ.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1835.

Заглавный лист «Энциклопедического Лексикона»
Плюшара.

артистам, но почти все они отказали в своем участии, узнав, что главным редактором его будет Сенковский. (Особенно ненавидели его немцы за насмешки его над немецкою философиею и ученостью, за его недобросовестность и шарлатанство.) Плюшар, объявив о своей неудаче Сенковскому, воротился ко мне, убеждая меня не оставлять его и утверждал, что без моего содействия Лексикон не состоится. Не желая, чтоб упало такое важное и полезное предприятие, я согласился; но, избегая участи, подобной неудаче Сенковского, просил, чтобы Плюшар созвал сотрудников, с предоставлением им выбора главного редактора. Местом собрания назначена была просторная в моем доме зала. Собралось сто пять человек; в том числе члены пяти академий, профессоры, литераторы, артисты и пр. Многие спрашивали: кто будет главным редактором? На это отвечали: извольте выбрать. Трое (Пушкин, Зайцевский и Свиньин) объявили, что не станут участвовать в делах собрания, не зная, кто главный редактор, и удалились. Они опасались и не хотели Сенковского. Предложили меня, и я был выбран единогласно.

На меня легла тяжелая работа. Сотрудники разделились по частям: в каждой был особый редактор. Все они составили список статей; список напечатали и роздали сотрудникам. Все это должно было приготовлять, сличать, согласовать, исправлять в слоге и нередко в содержании. Работа кипела. Плюшар предложил мне за первые три тысячи подписчиков восемь тысяч рублей, а за каждую следующую тысячу по тысяче. Я возразил, что лучше будет, если он

за первые три тысячи даст шесть тысяч, а потом за тысячу будет прибавлять по две; потому что сначала ему будет платить труднее, нежели впоследствии. Он принял эту перемену с благодарностью. Сверх того обязался он платить мне особо за мои статьи, по общей цене, за лист оригинальной статьи по двести рублей и за перевод по сту. Увидев в самом начале значительное число подписчиков, я объявил, по выходе первого тома, что не стану брать ничего за собственные свои статьи. Этим приобрел я возможность заменять плохие статьи других, не обременяя издателя двойною платою, за статьи забракованные и за представленные мною. Явился Сенковский. Ему дали за имя его в списке 6.000 р., да за каждую оригинальную статью вдвое против прочих сотрудников: 400 р. вместо 200 р. и за перевод 200 вм. 100 р. [1] Его статьи действительно были очень хороши, умны и оригинальны, но никто не мог проверить, правду ли он пишет. Мы не имели ориенталиста, который мог бы поверять его. Нет сомнения, что Сенковский многое привирал по своему обыкновению. Помощником мне, особенно по наукам военным и математическим, поступил инспектор классов в Павловском корпусе Александр Федорович Шенин, человек очень умный и способный. Он получал по пяти тысяч р. в год, из которых половину платил я из своих доходов, а другую — Плюшар. Шенин учился в Павловском корпусе, но, по совер-

[1] Весь счет на ассигнации; в это время ассигнационный рубль стоил 26 копеек серебром.

шенной косолапости, не мог вступить в военную службу и остался при корпусе сначала библиотекарем, потом инспектором классов. Он пятнадцать раз сряду прослушал курс всех наук, знал в точности свойства и требования корпусного воспитания и обучения. Я. И. Ростовцев потерял в нем самого усердного и полезного сотрудника.

Четыре первые тома вышли в течение 1835 года. Публика приняла издание с одобрением. Подписчиков было, по словам Плюшара, 6.000, а в самом деле вероятно гораздо больше. Я получил за первый год 22.000. Это взволновало Сенковского. В 1836 году вышли еще два тома, но позже назначенных сроков, потому что сотрудники не доставляли статей во время, без милосердия растягивали их (например, арифметика заняла пятьдесят страниц мелкой печати), и величали переводы оригинальными сочинениями. В августе 1836 г. Сенковский, терзаемый завистью, возобновил свои покушения, заготовив в Библиотеке для Чтения невыгодный отзыв о Лексиконе. Плюшар, в типографии которого печаталась Библиотека, прибежал ко мне и объявил о злом намерении С[енковского].

— Я напишу к нему, — сказал я, — и он конечно исключит или переменит статью.

— Нет, — возразил Плюшар, — вы будете писать нежно и учтиво; дайте я напишу.

— Извольте.

Плюшар пошел в другую комнату, написал письмо и принес ко мне. Я изумился. Он говорил Сенковскому как какому-нибудь мальчишке: как-де он осмеливается писать о Лексиконе,

получая даром по 6.000 рубл. в год. «Если вы дерзнете напечатать вашу статью, — говорил Плюшар в заключение, — я разобью станки, которые ее тиснули».

— Что вы делаете? — сказал я ему — Не забудьте, что вы ничтожный иностранец, званием ремесленник, а он профессор, статский советник. Вы наживаете себе злейшего врага.

— Пустое, — отвечал Плюшар: — вы этих поляков не знаете: наплюй им в рожу, и потом дай сто рублей, они вам руки расцелуют.

— Когда так, — отвечал я, — делайте как угодно.

Письмо было отправлено к Сенковскому на дачу. Плюшар был прав. Оно не произвело ни малейшего явного взрыва. На другое утро является ко мне Сенковский и говорит, притворно ухмыляясь:

— Чудаки вы с Плюшаром, приняли мою шутку сериозно. У него привычка подсматривать, что печатается в Библиотеке. Вот я вздумал пошутить над ним, приказал набрать этот отзыв. Я никогда бы его не напечатал.

Эта отговорка, вынужденная трусостью перед ничтожным типографщиком и книгопродавцем, возмутила меня. В следующий четверток, день вечерних у меня собраний, я рассказал эту историю среди всех гостей, в числе которых были поклонники Сенковского. Они донесли ему о моем рассказе, и он поручил им сказать мне, что я никогда не увижу его у меня в доме. Я отвечал им:

— Скажите ему, что я, как Иван Васильевич Грозный князю Курбскому, объявляю Сенков-



О. И. Сенковский.

скому: да я твоей эфиопской рожи и видеть не хочу.

Между тем Сенковский, скрепив гнев свой на оскорбившего его Плюшара, положил в уме отомстить ему жестоко: подавал вид, что не сердится на него, приглашал его к себе на вечера, сажал за карты с звездными кавалерами, давал ему почетное место в танцах с прекрасными дамами, и когда Плюшар совершенно обольстился его любезностью, питомец иезуитов начал обработывать его в свою пользу, изъявлял сожаление, что Плюшар тратит так много денег на Лексикон, уверял его, что исполнит должность главного редактора за половину той суммы, которую он платит Гречу, что должно повытурить всех этим мнимо-ученых, которые стоят больших денег, и заменить их людьми практическими, безвестными и бедными, которые гораздо лучше, под ведением и по указаниям Сенковского, будут работать за ничтожную плату и т. п. Плюшар слушал его, развесив уши, и наконец спросил:

— А как нам сбыть Греча? Он не согласится уступить.

— Разве вы не знаете Греча? — возразил Сенковский. — Затроньте только его самолюбие: он взбесится и все бросит.

Я ничего не знал об этом. 31-го декабря 1835 г., проработав целое утро в типографии Плюшара, чтоб вышел к сроку обширный 4-й том Лексикона, пошел я с ним в мастерскую его сына, живописца. День был сумрачный и туманный. Вижу, при входе нашем, поднимается в тени какая-то фигура, которую можно было

отличить только по сигаре во рту. Вижу, это Сенковский, и говорю ему:

— Здравствуй, Сенковский.

— Здравствуй — отвечал он: — я думал было, что ты, при встрече, бить меня станешь.

— Вот еще, — отвечал я: — ты палок не стоишь.

Оба Плюшара обомлели, вообразив, что выйдет история. Ничего не бывало. Сенковский оскалил зубы и начал говорить о чем-то постороннем. Но коварный не дремал. Козни его против меня начались покушением поссорить меня с Шениным. Ему было сказано, что я отзываюсь о нем дурно, и Шенин дал мне знать, что желает сложить с себя сотрудничество. Я поехал к нему, поговорил с ним, услышал, что̀ ему донесли, и убедил, что это ложь. Он успокоился, и я не считал за нужное доискиваться, кто нас ссорил. Месяца чрез два Шенин поехал, для свидания с матерью своею, на Кавказ. Мне предложили на время его отлучки в помощники одного не важного, но работящего литератора Петра Александровича Корсакова, бывшего в то время цензором. Я согласился и продолжал работу по прежнему. К[орсаков] был несравненно ниже Шенина и, желая заработать побольше денег, заставлял дочерей своих переводить длинные статьи для Лексикона. Собственные его статьи были ничтожны и нелепы; напр.: «Бритвенный прибор состоит из блюдечка с выемкою на краю, из кисточки, мыльца и чашки с кипящею водою». И это было написано для помещения в ученом лексиконе! Разумеется, я такие статьи отбра-

сывал и тем возбуждал досаду автора. Более всего рассердился он, когда я, прочитав переведенную из Dictionnaire des gens du monde его дочерью статью «18-ое Брюмера», заключавшую в себе разные революционные выходки, помарал ее и заменил следующим: «18-ое Брюмера VIII года французской республики (9 ноября н. ст. 1799), день, в который Наполеон Бонапарте был назначен первым консулом (см. Наполеон)».

Между тем случилось следующее происшествие: в конце сентября 1836 г. пригласили меня в III Отделение канцелярии Е. И. В., и объявили, что государь, читая в Чембаре (где он тогда лежал больной от перелома ключицы) пятый том Энциклопедического Лексикона, заметил (в статье о фамилии Бонапарте) предосудительные места, приказал разыскать, кто написал их, и подвергнуть виновного ответственности. Важнейшее из замеченных мест было следующее: (стр. 293 при исчислении детей бывшего короля голландского Лудовика-Наполеона) «Карл-Лудовик Наполеон, родившийся 1808 года, принц мужественный, любезный и кроткий; единственное утешение родителей по смерти старшего своего брата». На поле рукою Государя было написано карандашом: негодяй!

— Кто сочинитель этой статьи? — спросил у меня начальник секретного отделения Лавров.

— Это статья переводная, — отвечал я.

— Откуда переведена? Покажите подлинник.

Я отправился домой, взял том Лексикона Encyclopedie des gens du monde и привез в канцелярию.

— Кто переводил?—спросил начальник отделения.

Я вспомнил, что перевел эту статью или заставил перевесть Иван Петрович Шульгин, ректор С. Петербургского универститета, и что ректор Московского универститета Болдырев недавно пострадал по делу о Телескопе Надеждина, и сказал:

— Право, не помню: у нас переводят и девицы. Но за содержание статей отвечаю я, главный редактор. На которую гауптвахту итти?

Он рассмеялся и сказал:

— Гр. Бенкендорф просил вас только внимательнее смотреть за изданием, и более ничего.

Воротясь домой, нашел я Плюшара: он обедал у меня. Я рассказал приключение в канцелярии и прибавил:

— Вся ответственность лежит на мне, и я не могу сваливать ее ни на кого.

Плюшар промолчал, но чрез несколько минут сказал:

— Шенин воротился.

— Ну, слава богу,—отвечал я,—отвяжусь от этого пустого и вздорного Корсакова. Дело наше пойдет легче и скорее.

И на это Плюшар не сказал ни слова. На другой день получил я от него письмо, в котором он, жалуясь на медленный ход издания и на препятствия, которые я ставлю ему, отвергая готовые статьи, сообщал мне, что Корсаков и Шенин приказали поместить в Лексиконе забракованную мною статью «XVIII Брюмера».

Это меня изумило и оскорбило. Приказали! Какое право имели сотрудники, получавшие из моего кармана половину своего жалованья, приказывать чрез третье лицо, чтоб я подчинился их воле и подвергся ответственности за содержание этой статьи? Зачем ни один из них не явился ко мне лично? Пойти к ним, объясниться, извиняться, оправдываться я считал для себя унизительным. Я не видел истинной цели этих проделок: я думал, что они происходят от корыстолюбия К[орсакова], и что Плюшар ни мало в том не виноват, напротив, становится жертвою чужих прихотей. Я не догадывался, что это была интрига, замышленная Сенковским и приводимая в дело Плюшаром, чтобы, рассердив меня, заставить отказаться от редакции и дать место ляху. Долго думал я, как решить это дело, и наконец положил представить оное на суд родного брата Корсакова, князя М. А. Дундукова-Корсакова, попечителя Спб. учебного округа, председателя Ценсурного Комитета, бывшего моего ученика, человека самого благородного и всегда со мною дружелюбного. Я отнесся к нему письмом, сказав, как был призыван в III-е Отдел., какую получил нотацию, и просил его решить спор между мною и его братом и объявить, можно ли печатать статью, им переведенную. Тогда же уведомил я об этом письме Плюшара. Я надеялся, что он станет благодарить меня за приискание легчайшего средства, чтоб образумить К[орсакова]; но не тут-то было. Плюшар отвечал мне дерзким письмом, в котором осуждал мой поступок, требовал моего примирения с то-

варищами и исполнения их воли, давая знать, что письмо мое к начальнику цензуры было доносом. Вскоре после того приехал ко мне Шенин и спросил в тревоге:

— Что все это значит?

Я спросил у него, читал ли он статью 18-е Брюмера.

— Нет!

— Вот она, посмотрите!

Шенин взглянул на отмеченные мною места и ужаснулся.

— Теперь вы видите, мог ли я согласиться на ее напечатание, особенно после замечания из Чембара? Вместо того, чтобы толковать с вздорным К[орсаковым], я предоставил решение вопроса его брату. Кажется, я не мог выбрать судью беспристрастнее. Растолкуйте это Плюшару, или, лучше, сведите нас обоих у себя, чтоб я объяснил ему все дело.

Шенин убедился моими доводами, но не мог вразумить Плюшара, который отвечал ему, что я кругом виноват, и теперь хочу примириться, что он не соглашается, и т. п. Этот отзыв не огорчил меня. Работа по Лексикону утомляла меня, и если я боролся с К[орсаковым], то единственно в пользу Лексикона, т. е. Плюшара. Итак, я написал к Шенину и напечатал в одном из номеров «Сев. Пчелы», что отказываюсь от всякого участия в этом издании. Многие сотрудники последовали моему примеру. Сенковский торжествовал. Один из самых ревностных моих помощников, бывший моряк Павел Матвеевич Муравьев, был на сходбище новых сотрудников у Плюшара. Главным редактором избран

был Шенин. Сенковский был душею всего дела и конечно тогда же принял бы на себя главную редакцию, еслиб не боялся огласки его козней с моей стороны. Voilà l'amirale qui mène notre vaisseau,[1] сказал Плюшар Муравьеву, подводя его к Сенковскому. Все клевреты заговора кричали, что я изменник и доносчик. Это мнение старался внушить Плюшар и всем знакомым чрез него со мною французам. Только один из них, Талес Курнан, не поверил клеветам, приехал ко мне, разузнал все дело, и после того всегда меня защищал и оправдывал. Корсаков умел уверить своего брата, князя, что я поступил так по прихоти и упрямству, и тот отвечал мне чрез несколько дней письмом следующего содержания под № 2916, 7-го октября 1836 г.

«Милостивый Государь
Николай Иванович!

По предложению моему читана была вчера в Цензурном Комитете статья 18-го Брюмера, назначенная для Энциклопедического Лексикона. Комитет не нашел в ней ничего предосудительного, а я с своей стороны и тех замечаний, кои находились в письме Вашем; при чтении этой статьи цензор Корсаков объявил, что она была представляема им на рассмотрение г. Министру Народного Просвещения и получила уже одобрение Его Высокопревосходительства. По этой причине я почел излишним вносить в Комитет письмо Ваше и даже доводить его до сведения г. Министра, на коего Высочайшим повелением возложено непосредственное наблюдение за изданием Энциклопедического Лексикона.

С совершенным почтением имею честь быть Вашим
Милостивый Государь
покорнейший слуга
Князь Михаил Дондуков-Корсаков».

[1] Вот адмирал, управляющий нашим кораблем.

На это написал я следующий ответ:

«На почтеннейшее письмо Вашего Сиятельства, от 7-го Октября, под № 2916, коим вы благоволите уведомлять меня, что вы не нашли в статье 18-го Брюмера тех замечаний, которые находятся в письме моем к вам от 30 Сентября, честь имею вам ответствовать, что мне не известно, в каком виде статья сия была представлена вам, но что все обозначенные мною места находятся в рукописи сей статьи, бывшей у меня в руках и востребованной у меня обратно, чрез типографию г. Плюшара, П. А. Корсаковым, 3-го сего Октября. Эта рукопись, для вящщего удостоверения, скреплена мною по листам, и места, возбудившие мое сомнение, подчеркнуты красными чернилами. Благоволите справиться. Впрочем, как единственною целью письма моего к Вашему Сиятельству было сложение с меня ответственности, которой я подвергался на основании подписки, данной мною в С. Петербургском Цензурном Комитете 22-го Декабря 1834 года в том, что издатель ответствует наравне с цензором сочинения, а цель сия совершенно достигнута благосклонным объявлением Вашего Сиятельства, то и остается мне только выразить Вам за сие чувствительнейшее мое благодарение и повторить изъявление истинного высокопочитания и совершенной преданности, с каковыми имею честь быть и пр.».

Смелый и насмешливый мой отзыв рассердил доброго князя. Он кончил дело тем, с чего надлежало бы начать: пригласил меня к себе.

— Vous m'avez écrit une drole de lettre, — сказал он.

— Pardon, mon prince, ce n'était qu'une réponse à la vôtre,[1] — отвечал я, и рассказал ему, как было это дело, подкрепляя мои слова привезенными мною бумагами и письмами. Князь увидел истину и особенно негодовал на дерзость Плюшара, что он, в письмах к Шенину, называл его, статского советника, ты. Помирившись со мною совершенно, князь просил меня прекратить в «Северной Пчеле» исчисление сотрудников, отказавшихся от участия в составлении Лексикона, и не печатать ничего об этом деле. Я обещал, но с тем, чтоб и обо мне не позволяли моим противникам печатать по делу Лексикона. Он дал мне слово. Не легко мне было отказаться от нескольких тысяч дохода в год, но я не унывал, чувствуя себя совершенно правым. Написав свое отречение, пошел я проходиться по Невскому Проспекту. Встречается со мною подполковник князь Николай Сергеевич Голицын и завязывает разговор о литературе. Я спросил у него, читал ли он прекрасные стихи Пушкина на Барклая (в «Московск. Наблюдателе», помнится) и на ответ его, что не читал, пошел с ним в книжную лавку Жебелева и прочитал их. Когда мы выходили, Жебелев просил меня остаться на минуту и спросил, сколько напечатано экземпляров моей Грамматики.

— Двенадцать тысяч, — отвечал я.

— Уступите мне десять тысяч, — сказал он, — по рублю двадцати копеек, как уступали Глазунову.

— Изволь!

[1] Что за странное письмо Вы ко мне написали. — Извините, князь, оно лишь служило ответом на Ваше.

— И так, позвольте прийти к вам?

— Приходи!

На другой день явился ко мне Шенин, для принятия дел по редакции. Он начал изъявлением сожаления, что я покидаю дело Лексикона, и объявил, что до Нового года оставляет все доходы за мною. Я поблагодарил его за это предложение и отвечал, что денег за чужие труды не возьму, да и не имею в них надобности, потому что накануне продал десять тысяч экземпляров моей Грамматики за наличные деньги. Он улыбнулся недоверчиво, думая, вероятно, что это хвастовство. В это самое время показался в дверях комнаты Жебелев.

— Стой, — сказал я ему, — отвечай мне. Купил ли ты у меня вчера десять тысяч экземпляров Грамматики?

— Купил.

— Почем?

— По рублю двадцати копеек.

— Что же ты теперь пришел отказываться что ли?

— Помилуйте, я пришел просить, чтоб вы уступили мне и остальные две тысячи. Вот и деньги! — И полез в карман.

— Не нужно, — сказал я:—ты заплатишь мне эти деньги в год, по тысяче по двести рублей в месяц.

Жебелев удалился, очень довольный делом. Шенин смешался немного, но я продолжал разговор, как будто бы ничего ни бывало, и еще с большею вежливостию.

— Я приехал,—сказал мне Шенин,—чтобы получить от вас книги, принадлежащие редакции.

— Какие книги?

— Например Biographie Universelle, Историю Европы Шёлля, Лексикон Естественной Истории...

— Это книги мои,—отвечал я.—Получая значительный доход с Лексикона, я совестился обременять редакцию приобретением книг и покупал их на свои деньги.

— Да эти книги стоят очень дорого, например Biographie Universelle.

— Точно, я заплатил за нее пятьсот рублей и радуюсь, что приобрел такое прекрасное издание.

— В этом случае, — продолжал Шенин, — прошу вас ссудить меня ими.

— Охотно, — отвечал я.

Тем разговор наш кончился. Я отпустил ему 47, 48, 49, 50 и 51-й томы, в которых заключались статьи на буквы V и W. Он возвратил их мне потом, но засаленный переплет их свидетельствует, что ими пользовались в редакции прилежно. Описываю дела как были, отнюдь не сетую на Шенина и не обвиняю его: он был слабым орудием в руках Сенковского и Плюшара. Потом встретились мы с ним в начале 1838 года при открытии нового здания Университета; он просил меня забыть прошедшее. О дальнейшей бедственной судьбе Шенина скажу ниже.

Князь Дондуков сдержал слово. В журналах, подлежащих ведомству Ценсурного Комитета, не было пропущено ни одной статьи против меня; но «С. Петерб. Ведомости» и «Русский Инвалид» состояли под иною ценсурою, и в этих

журналах мои соперники излили на меня в декабре, при выходе в свет 7-го тома Энциклопедического Лексикона, всю желчь свою. Я отвечал им подробно и жестоко в трех последних нумерах «Северной Пчелы» 1836 г., статьею, подписанною псевдонимом. Плюшар ужасно боялся этих статей и постарался, чтобы, по крайней мере, иногородные читатели «Пчелы» их не видали. Он подкупил сторожей, запечатывавших нумера «Северной Пчелы» на почте,[1] чтоб они удержали и истребили все экземпляры последних трех нумеров Пчелы. Подписчики думали, что эти нумера не выходили, и дело осталось в шляпе. Я узнал о том чрез десять месяцев в Киеве, где хотел взглянуть на них.

Забавен был в этом деле эпизод Булгарина. Во время этой революции он был в Дерпте. Когда она кончилась, я описал ему все, что случилось. Он уж давно сердился на участие мое в Лексиконе, которое отвлекало мевя от «Пчелы», и конечно был рад этому случаю; но коварство и бессовестность, с какими напали на меня прежние так называемые друзья, сильно раздражили его. Он написал ко мне жаркое письмо, в котором выражал все свое участие, называл Плюшара Тришаром, Шенина Мошениным, Сенковского дронжковою шляхтою, и грозился отмстить за меня по приезде в Петербург. Плюшар, узнав об этом письме, испугался и обратился за советом и помощью к Сенковскому. Мудрый Аравитянин сказал ему:

[1] Тогда газетная экспедиция не была оффициальным учреждением; в ней работали люди по частному найму. (*Н. Г.*)

— От Греча отделались мы, оскорбив его самолюбие. Булгарина усмирим, погладив его по карману.

Булгарин, воротившись в начале декабря, явился ко мне, изъявил искреннее участие в нанесенных мне обидах и объявил, что разругает и уничтожит моих супостатов. В разгаре ссоры, я, конечно, не отказался бы от его пособия, но с того времени прошло два месяца. Я успокоился и забыл прошлое. Поэтому я просил его оставить это дело без внимания.

— Нет! — вопил он в исступлении: — я отделаю этих господ, как они того заслуживают. Как! Обижать моего друга Греча! Вот я их!

Сказав эти слова, он отправился к Плюшару и начал объяснение своим ломаным французским языком.

— Вы приехали от Греча, — сказал Плюшар хладнокровно: — следственно наполнены его идеями и предубеждены против меня. Потерпите, пожалуйте. Теперь половина второго, — сказал он, вынув часы. — Пожалуйте ко мне в эту пору чрез двадцать четыре часа, и мы обсудим все дело холодно и беспристрастно, а теперь позавтракаем. Эй, подавайте.

Принесли бифстексу, устриц, бутылку шампанского. Булгарин принялся за работу.

— Вот мы с вами дельце сделаем, — сказал Плюшар, — и оба будем в барышах. Уступите мне ваше новое сочинение «Россию».[1] Сколько у вас подписчиков?

[1] Публике известна эта неудачная спекуляция. Булгарин, живя в Дерпте, собирал разные историче-

— Четыре тысячи, — отвечал Булгарин. — А что вы мне дадите?

— Я рассчитал уже, — сказал Плюшар: — даю вам сто двадцать пять тысяч рублей.

У Булгарина выпала вилка из рук.

— Сколько?

— Сто двадцать пять тысяч рублей чистогану. Пишите только.

— Да не ошибаетесь ли вы?

— Нет, повторяю, что уже все рассчитано. Подумайте. Поговорим после.

Такая баттарея сильно поколебала фортецию его дружбы. Вечером приходит он ко мне и говорит смиренно:

— Ты прав, любезный Греч, что лучше и не раскапывать этого дела. Впрочем, так ли виноват Плюшар, как тебе кажется? Ты вспылил, вероятно, по обыкновению, и сам все испортил!

Это меня взорвало.

— Кто просил тебя вмешиваться в это дело?

ские и статистические материалы о России, при помощи профессора Николая Алексеевича Иванова (бывшего потом в Казани и наконец опять в Дерпте) и обливши их мнимо-патриотическим соусом, вздумал издать под заглавием Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношении. Он рассчитал сочинение свое на восемь томов, и открыл подписку по 5 р. ассиг. за том, не требуя денег вперед. Желающих оказалось действительно до четырех тысяч. Сочинение это ограничилось четырьмя томами и оказалось слабою, вялою компиляциею. Булгарин взялся не за свое дело. Когда состоялась сделка его с Плюшаром, Смирдин сказал: «Поляк французу Россию продал». *(Н. Г.)*



Грехопадение первого человека в литературе.
(Карикатура 1837—1838 гг. на Сенковского, Булгарина и Греча).

Оставь меня в покое! Чорт с ними, я и слышать о них не хочу.

— Вот ты и сердишься на меня, mein alter Gretsch!

— Да, и как не сердиться! Ты якшаешься с негодяями и меня туда тащишь.

На другой день Булгарин является в назначенный час на свидание, Плюшар начинает:

— По условию нашему прошли сутки, и теперь извольте спрашивать о деле Греча: я буду отвечать.

— Нет, любезный Плюшар, — говорит Булгарин, — оставим это. Сам Греч не желает, чтоб возобновляли старые дрязги. Займемся Россиею.

Плюшар представил свою смету издания и решительно сказал, что даст обещанную сумму.

Потом Булгарин где-то в компании дурно отозвался о Плюшаре; этот хотел было прервать начатое дело, но, по убеждениям Булгарина, согласился на понижение платы двенадцатью тысячами. Я сказал Булгарину откровенно свое мнение, что Плюшар не может сдержать слова, и что он должен, по крайней мере, заключить с ним письменное условие, с запискою у нотариуса. Булгарин до того на меня рассердился, что даже занемог. Я читал корректуры всех сочинений Булгарина, и «России» также, разумеется, без малейшего вознаграждения. Когда издание перешло к Плюшару, я не хотел продолжать этой работы. Булгарин обиделся и спрашивал о причине. В ответ сказал я ему, что Плюшар в состоянии сказать, будто я состою корректором при его типографии, и он действи-

тельно говорил, что платил мне за корректуру по 25 р. с листа. Зато и вышла «Россия» с ужаснейшими промахами, например вместо слова type было напечатано Гуре (г у р е). Еще забавно, что magister castrorum (начальник лагерей) назван начальником кастротов. Что же вышло? Плюшар разделил все сочинение на двенадцать томов и цену назначил по 25 руб. за четыре тома, со взносом денег вперед, так что все издание обходилось не в 40 р., как назначено было прежде, а в 75 р. Когда вышли первые четыре тома, Булгарин приехал к Плюшару для получения третьей доли из выговоренных 113.000 р. Плюшар предъявил ему счет, из которого оказалось, что платящих подписчиков явилась тысяча с небольшим, что вырученные их подпискою деньги почти все пошли на покупку бумаги, набор, печать, гравирование карт и пр., и что на долю Булгарина остается рублей двести. Каково! Вместо ожидаемых тридцати семи тысяч (третьей доли 113.000 р.) только двести рублей! Я был во время этой катастрофы за границею и не видал расстройства бедного Булгарина. Подсидел ему друг и земляк Осип Иванович! И дело было устроено так, что Булгарин имел надежду приобресть еще что-нибудь продажею остальных экземпляров, и потому не мог разорвать связи с Плюшаром, принимал, подчивал его.

Лексикон продолжался, падая со дня на день. Многие истинно-ученые и полезные люди прекратили свое содействие, особенно потому, что Шенин, не умея говорить ни по-французски, ни по-немецки, должен был ограничиться уча-

стием русских ученых и писателей. Под руководством Шенина вышли с начала 1837 года томы: 8-й, 9-й, 10-й и 11-й. Бедный Шенин изнемог под бременем работ. У него собраны были неразработанные материалы двух томов (12-го и 13-го), и он передал их Сенковскому. Сенковский объявил об этом в апрельской книжке «Библиотеки для Чтения» 1838 года, а в следующей прибавил к тому дополнительное известие, испещренное разными неправдами и нелепостями, возвещая, что главная редакция Энциклопедического Лексикона соединена с редакциею «Библиотеки для Чтения», что 12-й и 13-й томы, составленные прежнею редакциею (Шенина), выйдут в конце мая, а с 14 тома начнет действия свои новая редакция, по новой системе. В Сентябре 1838 г. вышел этот вожделенный 14-й том и доказал всю лживость, бессовестность и небрежность Сенковского. Он был составлен без всякого рачения и наполнен бесчисленными недомолвками, ошибками. Сенковский составил этот том по своей методе, т. е. набрал толпу недоученых и вовсе неученых, неизвестных людей, роздал им статьи немецкого Conversations-Lexicon и велел перевести. Русские статьи (за исключением немногих, доставленных Д. И. Языковым) были написаны неизвестно кем. Я написал при помощи некоторых сотрудников (Н. А. Полевого, С. О. Бурачкова и Н. Горяинова) разбор этой варварской смеси и разослал при «Северной Пчеле». Это заставило Сенковского удалиться от редакции: она перешла к Д. И. Языкову, который кой-как сколотил 15-й и 16-й томы. Между

тем Плюшар промотался, обанкрутился, и все издание остановилось. Когда Сенковский, по истощении сил Шенина, достиг своей цели — прибрать в свои руки главную редакцию Лексикона, он имел наглость написать ко мне письмо на французском языке, с предложением взять вновь на себя редакцию, которую ему предлагают и уверял, что никогда ее не домогался. Я не отвечал ему и поручил Булгарину сказать Сенковскому, что я с ним никакого дела иметь не хочу. Сенковский любил деньги, но удовлетворение самолюбия, тщеславия, мстительности было для него важнее. Он находил свое удовольствие в том, что обижал и унижал Плюшара, сколько мог, ругал его как самого жалкого наборщика, бросал ему в лице корректуры и пр. и не наедине, а именно при людях. Что же? Впоследствии Плюшар приполз к Сенковскому и с ним вместе начал издание «Весельчака», которым этот кончил свое литературное поприще. Он же научил Старчевского, купив право на издание «Сына Отечества», пустить его по дешевой цене, наполняя перепечатками из других журналов и грязными, дерзкими статьями Сенковского. Вследствие ссоры с Старчевским, 12-го февраля 1858 г. Сенковский разослал петербургским журналам объявление на французском языке с жалобою, что Старчевский, обязанный ему успехом своей газеты, не платит денег по условию. Это было за три недели до смерти Сенковского. И у нас не стыдятся превозносить этого жалкого человека, ставить его на степень высокого писателя, даже выше Жуковского!

Плюшар чрез несколько времени, помнится в Николин день 6-го декабря 1838 г., пришел ко мне с поздравлением и только не повалился в ноги, горько плакал и изъявлял свое раскаяние. Он убедился, что я искренно желал ему добра, и что мнимые друзья разорили его и сгубили.

Я сказал уже, что Шенин примирился со мною. Он потом был очень несчастлив. В 1845 году, когда я был за границею, подпал он неудовольствию начальства..... Его уволили от службы за болезнью, но с полным пенсионом. В скором времени он лишился употребления ног и ослеп. В этом бедственном положении прожил он несколько лет, перенося свое горе с удивительною твердостью. Он занимался для Плюшаровых изданий (Живописного Сборника и т. п.) переводом статей, слушая подлинник и диктуя перевод. Тихая смерть кончила жизнь страдальца. Не имею надобности прибавлять, что в бедственном его положении забыты были все наши прежние раздоры...

ЮБИЛЕЙ КРЫЛОВА

В числе замечательных литературных событий, о которых я должен упомянуть для обозначения моего в них участия, находится юбилей Крылова, в феврале 1838 года, которого начало и обстоятельства выставлены были не только в русских, но и в иностранных журналах (именно в «Allg. Zeitung») в превратном виде, для меня обидном и огорчительном. Скажу об этом случае несколько правдивых слов.

Несколько зим сряду некоторые литераторы и артисты собирались по вечерам в среду у Н. В. Кукольника, для проведения времени в дружеской беседе. Хотя в числе собеседников были трое записных гуляк и пьяниц (сам хозяин, К. П. Брюлов и М. И. Глинка), но вообще собрания эти были благопристойные и тихие, при всей свободе литературного разгула. На одном из этих вечеров зашла речь о Крылове и о долговременной его литературной деятельности. Стали считать и нашли, что он трудился на Парнасе долее пятидесяти лет. Тут я предложил отпраздновать его юбилей. Мысль эту приняли с единодушным восторгом. Составили план празднества и назначили членов учредителей комитета. Выбраны были: А. Н. Оленин, граф Мих. Ю. Виельгорский, К. П. Брю-

лов, Кукольник, Карлгоф и я. Я, в ту же минуту, написал программу юбилея. Ее передали бывшему тут же Владиславлеву, адъютанту графа Бенкендорфа, для испрошения высочайшего соизволения. Граф с удовольствием взялся за дело и на другой же день поднес программу государю. Николай Павлович, любивший Крылова, обрадовался этому случаю оказать ему свою милость, пожаловал Крылову вторую степень Станислава со звездою и позволил отпраздновать юбилей по программе. Дело поступило для исполнения в III Отделение Государевой Канцелярии, которое, найдя, что оно подлежит исполнению со стороны Министерства Народного Просвещения, отправило его к Уварову. Что же он сделал? В досаде на то, что не он был избран председателем комитета, он исключил из числа учредителей графа Виельгорского, Брюлова, Кукольника и меня и назначил на место их Жуковского, князя Одоевского и еще кого-то из своих клевретов. Я не знал этого и, слышав только, что государь принял наше предложение с удовольствием, ждал официального о том уведомления. Вдруг, получаю письмо от Жуковского с уведомлением об имеющем быть юбилее и с препровождением пятитесяти билетов для раздачи желающим в нем участвовать. Это меня взбесило. Устранили учредителей юбилея от участия в нем и еще дразнят. Я возвратил билеты Жуковскому при письме, в котором объявил, что не только не берусь раздавать билеты, но и сам не пойду на юбилей. В этом случае я поступил неосмотрительно: мне надлежало бы самому пойти к Жу-

ковскому и с ним объясниться. Булгарин и Полевой (Николай Алексеевич, бывший в то время нашим сотрудником) объявили, что не пойдут и они. Накануне юбилея (во вторник 1 февраля) сидел я во французском театре. Вдруг прибегает Булгарин, вызывает меня в корридор и объявляет, что высшее начальство (т. е. граф Бенкендорф) желает и требует, чтобы мы были на юбилсе непременно, и что он пойдет за билетами к Смирдину, у которого они продавались. Я отвечал, что никакое высшее начальство не может предписать мне, чтоб я в такой-то день обедал, за мои деньги, именно там-то, что я жестоко оскорблен и считаю подлостью итти по приказанию туда, откуда меня выгнали, но объявил, что вместо себя пошлю сына. С этими словами дал я Булгарину пятьдесят рублей, чтоб он взял билет. Между тем новые учредители, узнав о моем отказе, запретили давать нам билеты. Смирдин объявил, что все билеты разобраны. Только Полевой добыл себе билет при посредничестве князя Одоевского. На другой день облекся я в госпитальный халат и написал к Крылову самое дружеское, теплое письмо, с поздравлением и с изъявлением сожаления, что болезнь не дозволяет мне выйти со двора. Когда многочисленная отборная публика собралась на юбилее, многие, зная дружеские мои отношения к Крылову, с удивлением заметили мое отсутствие. Первый, граф А. И. Чернышев спросил у Уварова:

— Что это значит? Я не вижу Греча; почему нет его?

— Не знаю, — отвечал Уваров с досадою.

Потом обратился к нему и Канкрин: «что это значит, Сергей Семенович, что Греча нет на юбилее?» Уваров взбесился и пошел с жалобою к Бенкендорфу, называя неявку мою с Булгариным стачкою и бунтом. Между тем, юбилей прошел благополучно, блистательно, громко, но холодно. Пели очень хорошие куплеты кн. Вяземского. За несколько лет до того, Вяземский, в одном послании своем, воспевал трех баснописцев «Иванов»: Лафонтена, Хемницера и Дмитриева, а слона-то и не заметил; а теперь возгласил: «Здравствуй, дедушка Крылов».

На другой день позвали меня с Булгариным к Дубельту. Леонтий Васильевич объявил нам, что «граф Бенкендорф на нас гневается и что мы, не явившись на юбилей, не могли причинить ему бо̀льшого неудовольствия».

— Извините, ваше превосходительство, — отвечал я: — могли; но не причинили.

— Как так? — спросил он с изумлением.

— Вчера, на юбилее, — продолжал я: — когда встали из-за стола, подвыпивший действительный статский советник Карлгоф подошел к сотруднику нашему, Полевому, и сказал ему: «явился, подлец, когда приказали». Полевой, бесчиновный литератор, проглотил обиду, не сказав ни слова. А если бы Карлгоф сказал это мне, я ответил бы его превосходительству как следовало бы, и сегодня, конечно, одного из нас не было бы уже в живых. Я уклонился от присутствия на юбилее вследствие тяжкой обиды, нанесенной мне Уваровым, исключением меня из числа учредителей празднества, которое придумано и предложено было мною.

— Напишите все это,— сказал Дубельт,— чтоб мы могли отвечать Уварову.

Я сел и тут же набело изложил все дело.

Чрез несколько дней Дубельт, при встрече со мною, сказал мне:

— Уваров просит оставить это дело без дальнейшего следствия.

— Охотно,—сказал я:—ведь не я начинал его.

Воейков напечатал в «Инвалиде», что мы с Булгариным не хотели участвовать в юбилее. Я отвечал в «Пчеле», что мы накануне не могли получить билета. Жуковский, не зная истинного положения дела, возразил, в «Инвалиде», что прислал ко мне билеты за несколько дней и я от них отказался. Я, вследствие обещания, данного Дубельту об оставлении этого дела без последствий, не мог отвечать. Уваров злился на меня жестоко. При открытии нового университетского здания (25 марта 1838 г.) увидел меня Сперанский, подошел ко мне и стал дружелюбно говорить со мною, выражая свое удовольствие, что я в письмах своих из Франции, описывая пребывание мое в замке Валансее, сказал, что Талейран с удовольствием вспоминал о Сперанском, которого он видел в 1808 г. в Эрфурте. Уваров, не видя с кем говорит Сперанский, подошел было к нему, но, увидев меня, изменился в лице и хотел отойти. Я охотно и учтиво уступил ему место.

Чрез несколько времени после этого был я в заседании Академии Наук, при объявлении о назначении Демидовской премии. Входит Уваров. «Ну,— думаю я:— опять он бросит на тебя змеиный взгляд».

Ничуть не бывало. Увидев меня, подошел он ко мне и начал разговаривать со мною очень ласково. Я изумился этому и обрадовался, ибо нашему брату, журналисту, накладно быть не в ладах с министром Просвещения.

На другой день загадка разрешилась. Ко мне приехал директор его канцелярии, почтенный, благородный В. Д. Комовской, и сообщил просьбу Уварова: поместить в «Пчеле», окончательный вывод из прошлогоднего отчета его о Министерстве Просвещения. Я охотно исполнил его желание, и с тех пор, встречаясь со мною, он был учтив и приветлив. С Жуковским объяснился я о деле юбилея не прежде 1843 года, когда посетил его, проезжая чрез Эмс. Это объяснение происходило в присутствии Гоголя. Между тем Жуковский, по случаю того же юбилея, чуть не рассорился с Уваровым. В речи своей на юбилее Жуковский упомянул с теплым участием о Пушкине, которого Уваров ненавидел за стихи его на выздоровление графа Шереметева. Уваров приказал подать к себе из цензуры, в рукописи, все статьи о юбилее и исключил из них слова Жуковского о Пушкине. Жуковский жестоко вознегодовал на это и настоял на том, чтоб речь его (не помню где именно) была напечатана вполне.

Упомяну при этом случае о дальнейших моих сношениях с Уваровым. В 1844 году, живя в Париже, я набросал несколько страниц о средствах к водворению порядка и правосудия в русской администрации и юстиции, полагая главным к тому способом образование дельных

и честных чиновников; вслед затем изложил недостаточность нашего университетского образования и составил план преобразования нашей учебной части. Эта бумага лежала в моем портфеле без употребления и известности. В 1850 г., когда С. А. Кокошкин был назначен попечителем Харьковского Университета, я случайно, в разговоре с ним, упомянул об этой бумаге. Он выпросил ее у меня на время, и я имел неосторожность уступить. Вероятно, он сообщил ее Уварову. Тот воспылал гневом и вооружился против безгласной, никому неизвестной рукописи (в которой впрочем о нем самом упоминается с уважением), вообразил, что она ходит по рукам, что она составлена обществом, в котором участвовали И. П. Шульгин,[1] Булгарин и я, сочинил, при помощи И. И. Давыдова, статью в оправдание наших университетов и напечатал ее в «Современнике» в силу прав министра, без одобрения ее обыкновенною цензурою. С тех пор он жестоко на меня сердился, считал меня личным своим врагом. Когда, в декабре 1852 года, ему дали голубую ленту, я, зная бедственное его физическое и нравственное положение, вследствие претерпенных им неудовольствий, искренно тому порадовался и, встретившись с П. Г. Ободовским[2] на Невском проспекте, объявил ему об этом пожаловании. Ободовский поспешил к Уварову с поздравлением и на вопрос, кто сообщил ему о том, добрый

[1] Иван Петрович Шульгин, профессор истории. (*Н. Г.*)

[2] В то время инспектор классов в Екатерининском Институте в Петербурге. (*Н. Г.*)

Ободовский отвечал, что сообщил ему эту новость я, и притом с большим удовольствием. Уваров этим был очень обрадован и говорил всем, в свидетельство справедливости этой награды: «Вообразите, и Греч тому радуется!» Бедный граф! еслиб он не отчуждал меня от себя, то нашел бы во мне не чиновника, а искреннего друга, в тысячу раз вернее и искреннее тех лиц, которыми он окружил себя, которые ему льстили, угождали, а потом бросили и даже над ним насмехались.

А. Ф. ВОЕЙКОВ

Сохраняя в потомстве память людей честных, благородных и добродетельных, считаю обязанностью моею не оставлять в неизвестности и антиподов их,[1] с которыми случалось мне встречаться в жизни. Пусть увидят [люди],[2] подобные им, что вредные[3] их наклонности и низкие[4] дела не укрываются[5] от дневного света, что [всегда] найдутся люди, которые разоблачат их и выставят [их чувства, помыслы и подвиги] на позор [и урок] потомству. Если [подобные люди, прочитав написанные мною правдивые и беспристрастные строки,][6] сделают хотя одною мерзостью меньше, я награжден за труд мой.

Александр Федорович Воейков, происходил от старинной и почтенной фамилии; пращур его, Воейко Войтягов сын, владетель Терговский, прибыл в 1384 году из Пруссии с полутораста человеками к князю Димитрию Иоанновичу Дон-

[1] В черновой рукописи вместо «антиподов их» было «мерзавцев».

[2] Слов, поставленных в квадратные скобки, нет в черновой рукописи.

[3] Низкие

[4] Подлые

[5] Укроются

[6] Они

скому: принял православие, получил в кормление город Дмитров и был пожалован боярином. Многие его потомки были в больших чинах и обладали богатыми поместьями. Из них особенного внимания достоин генерал-аншеф Федор Матвеевич (род. в 1703, ум. в 1778), бывший в Семилетнюю Войну генерал-губернатором занятой тогда нашими войсками Пруссии, оставил там своим правосудием, благоразумием и кротостью, неизгладимое доныне воспоминание.

Не знаем, в котором колене происходил от него наш герой,[1] родившийся в 1779 году. У него был брат Иван Федорович. Оба они воспитаны[2] в Московском университетском пансионе и потом служили в гвардии. Иван оставался в военной службе до 1820 года, когда я зазнал его. Александр избрал другую карьеру. Замечу здесь, что в прежние годы москвичи держались в Петербурге тесно и усердно помогали друг другу. Знаком по Москве значило — друг, приятель, чуть не родной, [и чего бы он ни делал, во всем помогали ему добрые родичи: все ему сходило с рук].[3] Александр Воейков вышел из службы при императоре Павле, [поселился в Москве,] начал шалить, играть пить и спустил все свои две тысячи душ; шатался[4] среди самого гнусного общества, [ездил по разным губерниям] и как-то заехал в Белев, где жил Жуковский, знакомый с ним по Москве. Воейков имел природное остроумие и

[1] Сокол
[2] Были воспитаны
[3] Особенно в его пакостях
[4] Был

дар писать стихи, знал, [с грехом пополам], французский язык и более ничего. В Белеве[1] втерся [он] в круг Жуковского, который имел удивительную слабость к пустым людям[2], терпел их и[3] помогал им. Талант Воейкова, как и душа его, разведен был желчью. Он писал не эпиграммы, а полные[4] пасквили, и еслиб не одолевала [его] лень, [он] напорол бы целые[5] томы [всяких ругательств на людей честных и почтенных. Всем известен его «Сумасшедший Дом», в котором с большою замысловатостью разные лица размещены по кельям — не по вине и заслугам, а более по расположению к ним автора]. Любимою формою его стихотворений были послания, разделявшиеся, как полосы [полицейских] будок,[6] на белые и черные. Он [в них] или льстил знатным, сильным и богатым, или осыпал бранью людей, которых ненавидел; а он не любил никого в мире, [всего менее тех, кто делал ему добро].

В 1812 году пошел он было в ополчение, но был ли на действительной службе и какие совершил подвиги — неизвестно.[7] Он воротился, по окончании войны, в Россию, в Белев, где готовилось ему неожиданное и незаслуженное счастие. Там жила одна почтенная дама Катерина Афанасьевна Протасова, урожденная Бу-

[1] Отрезвясь кое-как, когда не на что было жить, он занялся литературою. и

[2] Мерзавцам

[3] И даже

[4] Длинные

[5] Пребольшие

[6] На будках

[7] Не знаю



А. Ф. Воейков.

нина, мать Александры Андреевны и Марьи Андреевны. Должно знать, что отец ее, [Андрей Ив.] Бунин, вне[1] брака, прижил[2] Василия Андреевича Жуковского.[3] Жуковский жил у сестры,[4] как сын родной, и весьма естественно влюбился в одну из дочерей ее, Марью Андреевну. Я не знал ее лично, а слышал, что она не была такая красавица, как сестра ее, но также женщина умная, милая и кроткая. Жуковский, на основании [буквы] законов,[5] мог бы вступить в брак с нею; но Катерина Афанасьевна, [боясь греха], не соглашалась[6] [выдать дочь за дядю], и это препятствие к исполнению его единственного желания, к достижению счастия и отрады в жизни внушило ему то глубокое уныние, то безотрадное на земле чувство, которым дышат все его стихотворения. Шиллер был счастливее его.

Марья Андреевна вышла впоследствии замуж за достойного человека, дерптского профессора Мойера, составила его счастие, но сама жила недолго. Александра Андреевна сделалась предметом страсти[7] Воейкова; но смел ли он, ничтожный человек, промотавшийся дворянин, как называл его Милонов, мечтать о счастии — получить ее руку! Что же случилось?

[1] До

[2] Прижил не знаю с кем трех сыновей:

[3] Жуковского, Василия Андреевича Азбукина и (пропуск).

[4] Тетки

[5] Закона

[6] Не согласилась

[7] Скотской страсти

В апреле 1814 года Воейков явился в доме Протасовых в глубоком трауре с плерезами и могильным голосом объявил, что он осиротел в мире, что брат его умер от ран, полученных им при взятии Парижа.

— У меня теперь две тысячи душ, а я — беднейший человек в мире.

Непритворная, как казалось, горесть его, тронула весь женский мир, к которому, по мягкости сердца, принадлежал и Жуковский; но две тысячи душ произвели также сильный эффект. Послышались произносимые [в таких случаях] шепотом фразы: «девушку пристроить; женится переменится», и тому подобные тривиальные аксиомы [нелепого бабьего лексикона].[1] Воейков посватался, и Сашеньку [за него] отдали. День свадьбы (14 июля 1814 года) вырезал он на своей печатке. Едва прошли[2] две недели медового месяца, как явился брат Иван, в опровержение поданного Воейковым в Тульскую Гражданскую Палату прошения: справить и отказать за ним две тысячи [родовых] душ, по кончине брата, падшего за веру и царя. Иван Федорович был [тяжело] ранен[3] в правую руку и, имея надобность в деньгах, написал приказ своему старосте рукою товарища. Староста, не смея верить чужой руке, принес письмо к Александру, и тот воспользовался этим случаем, чтоб жениться на пятнадцати-летней красавице. Что [было] делать? Две тысячи душ

[1] Этого мира (первоначально было: свахина мира)
[2] Еще прошли только
[3] Ранен довольно тяжело

исчезли].[1] Осталась **одна** [только][2] душа — Александра Воейкова. Вот Жуковский написал к Александру Тургеневу: «Спаси и помилуй! найди место Воейкову, нельзя ли на вакансию[3] Андрея Кайсарова?» (убитого при Рейхенбахе). Тургенев привел в движение свою артиллерию, и Воейков был определен ординарным профессором русской словесности в Дерптском Университете. Он был совершенный невежда: на лекциях своих, на которые являлся очень редко, не преподавал ничего, а только читал стихи Жуковского и Батюшкова, приправляя свое чтение насмешками над Хвостовым, Шишковым и пр. Немцам, ненавидящим [трудный] русский язык, это было на руку. Так продолжалось шесть лет, во все время попечительства Клингера, который тоже не любил ни России, ни языка ее. В 1820 году поступил попечителем Дерптского Университета князь Карл Андреевич Ливен. По приезде его в Дерпт, разумеется, явились к нему на общий смотр все профессоры. Он стал принимать их одного за другим и многим из них отдавал какие то бумаги приговаривая: «вот донос на вас». Когда подошел Воейков, князь побледнел и закричал:

— Вон отсюда подлец! Господа, все эти гнусные доносы написаны этим негодяем! Убирайся, мерзавец!

С прочими профессорами князь говорил понемецки; это же приветствие произнес на чистейшем русском языке.

[1] Прекрасные души разлетелись
[2] Гнусная
[3] На вакансию профессора

Воейков опять обратился к Жуковскому и Тургеневу.

«Подлецы немцы, — писал он, — ненавидящие всех русских [и особенно патриотов и честных людей], обнесли меня у Ливена. Как благородный человек (он всегда так величал себя), я не мог снести гласного оскорбления и принужден выйти. Я писал к нему не доносы, а благонамеренные советы».

Стали искать место Воейкову. Жуковский вспомнил, что за четыре года пред тем я предлагал ему [Жуковскому] сотрудничество в «Сыне Отечества», обещая 6.000 руб. в год. Тогда он отказался, имея в виду место у великой княгини, а теперь вздумал предложить мне Воейкова. Приехал ко мне, стал выхвалять дарования [своего друга], его прилежание и т. п., и убеждал взять его в сотрудники, уверяя, что мне будут помогать своими трудами он, [сам] Жуковский, [К. Н.] Батюшков, [князь П. В Вяземский], В. Л. Пушкин, Н. [И.] Тургенев, [Д. Н.] Блудов и все друзья его. Я не знал Воейкова вовсе, но воображал, что профессор должен же быть человек знающий [и грамотный], согласился на предложение. В то же время познакомился я и сблизился с Булгариным, который [тогда] был совсем не тот, что впоследствии. Воейков переселился в Петербург и получил место чиновника особых поручений в Департаменте Духовных Дел, где Александр Тургенев был директором. В то время образовалось [1] Артиллерийское Училище (нынешняя Михайлов-

[1] Составлялось

ская Академия). Зять мой, Андрей Яковлевич Ваксмут [командовавший учебными артиллерийскими ротами], приехал ко мне от директора этого училища, генерала Александра Дмитриевича Засядко, с предложением места инспектора классов, с жалованием в пять тысяч рублей. Я был тогда директором училищ Гвардейского Корпуса, не мог принять другой должности; поблагодарив за внимание предложил взять Воейкова. Засядко, полагаясь на мою рекомендацию, определил Воейкова, который [тотчас же] написал к нему льстивое послание, и за то, при открытии училища, был представлен к ордену. Воейков сыграл при этом случае преловкую штуку. Он пришел к Засядке и с умиленным сердцем говорит:

— Во всем беда![1] Вы, конечно, представите меня к 2-ой степени Анны, а я уж представлен к ней Тургеневым за службу в его департаменте, да еще с бриллиантами. Везде неудачи!

Вот ему и дали 3-го Владимира. Чрез несколько дней[2] после того, приехал я к нему и нашел у него большую компанию — мужскую и дамскую. Он вздумал, по своему, потрунить над мною и сказал во всеуслышание:

— Вот товарищ и друг Николай Иванович, а не может снести, что мне дали 3-го Владимира. С тех пор он перестал носить своего 4-го.

Гости не знали, как принять это [благосклонное] замечание, но я надоумил их, сказав:

[1] Вот какая беда!
[2] Вскоре

— Помилуйте, Александр Федорович, ну, стану ли я завидовать [кому бы то ни было] в незаслуженном кресте?

Все расхохотались.

— Мило, остро! — сказал Воейков: — я сшил себе тетрадку и записываю в ней все острые слова Греча. Напечатаю и обогащусь.

— Вы меня счастливее, — возразил я: — мне с вас поживиться нечем.

Я привел этот случай для того, чтоб показать, до какой степени[1] Воейков был презираем и принужден сносить все насмешки и оскорбления. [В собственной своей гостиной] он не отвечал, но потом отомщал сторицею.

Между тем, Воейков стал заниматься в редакции «Сына Отечества», но ни одно из обещаний Жуковского, ни одно из моих ожиданий не исполнилось. Воейков[2] работал тяжело, лениво. Статьи его были вялы и неинтересны. Он занялся критикою, написал обозрение прежних и тогдашних журналов, [пресыщенное лестью и желчью; составил разбор][3] «Руслана и Людмилы», но так плохо, так неосновательно, что возбудил общее неудовольствие. Для наполнения страниц[4] он прибавлял к своим суждениям длинные выписки из разбираемых стихотворений, составлял ссылки из оглавлений и каталогов. На него полились со всех сторон антикритики, печатавшиеся, большею частью, в самом «Сыне Отечества». Он отвечал дерзко и

[1] Как
[2] Он
[3] Разбирал «Руслана и Людмилу»
[4] Чтобы наполнить более страниц

грубо. Сохраню для потомства один спор его по значительности лица, с которым он завязался.

В гостиной или передней Карамзина, куда Воейков ползал на поклоны, дали ему прекрасную эпитафию младенцу, написанную Батюшковым в Неаполе; она была напечатана в № 35 «Сына Отечества» 1820 г.:

О русский, милый гость из отческой земли!
Молю тебя, заметь сей памятник безвестный:
Здесь матерь и отец надежду погребли;
Здесь я покоюся, младенец их прелестный.
Шепни им от меня:
Не сетуйте, друзья!
Моя завидна скоротечность:
Не знала жизни я, а знаю вечность!

Сообщивший это стихотворение Воейкову вероятно на память, написал в возражение в № 36, следующее письмо к издателю «С[ына] О[течества]»:

«Царское Село, 29 августа 1820 г. В последнем нумере вашего журнала помещена Эпитафия младенцу, которая сочинена в Неаполе моим приятелем Батюшковым, а в Россию привезена мною. Это последнее обстоятельство весьма неважно, но я сообщаю вам об оном потому, что в моем мнении оно дает мне лишнее право, если не сердиться и досадовать, то, по крайней мере, жаловаться, видя, что новое и, несмотря на краткость, прекрасное произведение моего друга является в первый раз русским читателям не в настоящем, и даже, — простите мне за искренность сего выражения, — в обезображенном виде. Грубые ошибки переписчика или типографщика портят всякое сочинение, но еще более стихи, в коих иногда все действие и все достоинство слога зависят от некоторого искусного расположения слов, и следственно разрушаются при малейшей перемене. Сих рушительных перемен или ошибок в эпитафии русского мла-

денца, судя по пространству всей надписи, очень много. Позвольте мне их заметить для вас и для читателей вашего журнала.

«Первые четыре стиха напечатаны исправно; с пятого начинаются беспрерывные погрешности.

Шепни им от меня:
Не сетуйте, друзья!

«Такая рифма и такие стихи едва ли годны для конфектного билета; Батюшков не в состоянии написать подобных; сверх того, он знает, что нет нужды шептать того, что можно и хорошо сказать вслух. В его надгробии младенец говорит просто:

Им молви от меня: не плачьте, о друзья!
Моя завидна скоротечность:
Не знала жизни я,
А знаю вечность.

«Вы видите, милостивый государь мой, что неизвестный посредник между вами и автором, преобразив сначала один, если не хороший, то обыкновенный стих, в два плоские, за то при конце, как будто в вознаграждение, сделал из двух прекрасных стихов один почти дурной:

Не знала жизни я, а знаю вечность.

«Надобно ли замечать, что здесь наш поэт, постигнувший тайны своего искусства, не без намерения, посредством механизма стихов, представил отдельно две великие, но различные выгоды скоротечности умершего младенца. Первая, что он не знал жизни, то есть, бедствий и заблуждений; другая еще важнейшая, что знает вечность, что без испытаний и горя снискал то благо, которое составляет одно — и цель и цену жизни. В самой гармонии сих коротких стихов, заключающих речь из гроба, есть что-то нежное, приятно-унылое, равно приличное мыслям о спокойствии смерти и о тихом счастии невинности в небесах. Но вся сия прелесть исчезает от неудачной и, вероятно, неумышленной поправки в доставленном к вам списке. Расстояние и время производят одинаковое действие, и наш

живой соотечественник, потому только, что живет в отдаленности, осужден разделять участь древних писателей: его стихи, кои равняются в достоинстве с лучшими надписями греческой антологии, уже сделались жертвою беспамятных рапсодов или безграмотных переписчиков. По счастию, не будучи ни Аристархами, ни Вольфами, мы можем исправить сделанное ему зло при самом начале: вы, милостивый государь мой, конечно не откажетесь помочь нам в этом.

«Примите уверение в моем истинном почтении».

На это Воейков, в № 37-м «Сына Отечества», возразил:

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗНАМЕНИТОМУ ЛИТЕРАТОРУ

«Прочитав в 36-й книжке «Сына Отечества» письмо приятеля Батюшкова и друга Батюшкова о надгробной надписи, которую сей приятель и друг нашего славного поэта вывез из Неаполя в Россию (как некогда Солон Илиаду), я чрезвычайно испугался. Опрометью бросился я к некоторым нашим поэтам, удостоивающим меня своего благорасположения, и узнал от них, что ошибка моя не так велика, как сочинитель письма к издателю «Сына Отечества» желает ее выставить, что **им молви** немного стихотворнее слов: **шепни им**; что последний стих, будучи произведен в пятистопные, может быть, выиграл, и что единственная ошибка состоит в разделении стиха:

Им молви от меня: не сетуйте, друзья!

«Сия последняя могла бы почесться важною, если бы первая половина сего стиха не рифмовала со второю. Поэты, приятели мои, видя мое смущение, поспешили приискать несколько подобных рифм в сочинениях нашего Батюшкова, который, несмотря на то, что они не богаты, остается, попрежнему, одним из первоклассных русских поэтов. Вот сии примеры: **мечей, друзей**, часть II, стр. 47; **очей, друзей**, часть II стр. 51; **друзья, края**, часть II, стр. 61; **друзьям, нам**, там же; **друзей, Цирцей**, там же, стр. 79.

«Я не стихотворец; сам не знаю меры содеянного проступка, а поэтам-друзьям своим не совсем доверяю. Дружба может ввесть их в заблуждение, и потому, несмотря на их доводы, не смею совершенно оправдываться; поспешность моя (с какою диктовал я и потом не сверил) исказила бессмертные стихи того поэта, о котором один наш стихотворец справедливо сказал:

А ты, в венце из роз и с прадедовской чашей
Певец веселия и бедствий жизни нашей,
Роскошный Батюшков! пленительный твой дар,
Любви, поэзии, вина и славы жар,
Овидий сладостный, любимец муз Гораций,
Анакреон и ты, вы веруете в граций:
И девы чистые беседуют с тобой
На берегах Невы, под тенью лип густой,
И роза пышная на льду при них алеет,
И обрывать ее косматый мраз не смеет,
И солнце яркое с безоблачных небес
Зимою нежиться зовет в прохладный лес.
У Тасса взял ты жезл Армиды чудотворный,
И гордый наш язык, всегда тебе покорный,
Волшебник! под твоим пером роскошен, жив,
Затейлив, сладостен, и легок, и шутлив,
Рисуя нам любви и муку, и блаженство:
Прелестный, пламенный твой слог есть
совершенство.[1]

«Признавшись в вине моей, мне осталось поблагодарить неподписавшего своего имени сочинителя письма, который, судя по ревности, с какою защищает честь великого писателя, сам должен быть знаменитым поэтом, и, конечно, кроме незабвенной перевозки восьми стихов из Неаполя, оказал важные услуги российской поэзии: он поступил со мною довольно вежливо, и я счастлив, что он, а не другой кто пожурил меня. Я бы мог попасться в руки к одному из тех немилосердных крикунов, которые, будучи больны желчью.

[1] Из поэмы самого Воейкова: «Искусства и Науки», «Вестн. Евр.» 1819 г. [Прим. П. Ефремова в «Русской Старине» 1874 г. (№ 3)].

все предметы видят в желтом цвете, или, что еще хуже, к тем, кои, страдая черною (сплином), то есть охотою видеть все в черном цвете и выуча наизуст Лагарпа, как сорока Якова, перебранили и переценили все русское от поэмы до эпиграммы, хотя сами ни одною запятою не обогатили отечественной словесности. От таких людей брань нестерпима. П. К—в...»

И знаете ли, кто был этот литератор, которого Воейков трактовал так cavalièrement? — Дмитрий Николаевич Блудов... [1]

Этот литературный спор может подать нынешнему и будущим поколениям литературы понятие о том, в каком райском положении невинности и незлобия была тогдашняя наша словесность. Неправильная редакция одного стишка волновала и раздражала писателей. И все это делалось из чистой, бескорыстной любви

[1] Дмитрий Николаевич Блудов, сделавшийся из вздыхателей о плачевной судьбе бедной Лизы государственным сановником и законодателем, советовавшим в манифесте о парижском трактате (1856) подданным русским по заключении мира «обратиться к самым невинным занятиям». Как бы хорошо было, если б он сам оставался всю жизнь при своих невинных занятиях, не [3 слова нрзбр.], не нес вздору в комитете министров и в государственном совете, не сочинял донесения о смутах 14 дек. 1825 г., а читал и пописывал стишки. Когда подумаешь, что он подарил Россию становыми приставами! Блудов человек добрый, честный и благородный, много писал, еле помнит, но сам создать или рассудить ничего не в состоянии. Канкрин, говоря однажды со мною о Блудове, сказал: «он [1 слово нрзбр.], человек приятный и каварит красно (?). Только нет у него здравого смыслу [1 слово нрзбр.] в Совете какое-нибудь предложение, он начнет [2 слова нрзбр.] бранить: это-де глупо, вредно, опасно. А как дело пойдет на голоса, он согласится: принять». (*Н. Г.*)

к словесности; правда, по внушению самолюбия и пристрастия к своей партии, но без всякого расчета на какую-либо выгоду. Но именно с того времени, с 1820 года, возникла в литературе нашей новая эра века не железного, а ассигнационного, продолжающегося ныне в форме[1] кредитных билетов. Особенно содействовали этому два новые писателя — Воейков и антагонист его, Булгарин, имевшие последователями Сенковского[2] и всю[3] братию литературных торгашей и барышников.' Об этом надеюсь написать особую статью, а теперь ворочусь к Воейкову.

Сотрудничество его в «Сыне Отечества» продолжалось с половины 1820 до начала 1822 года. Обещанного им содействия[4] других литераторов [как я сказал выше] не было.[5]

В конце 1820 года занемогла великая княгиня Александра Федоровна и с великим князем отправилась в Берлин. Жуковский поехал с ними, присылал иногда стихи свои, но сериозно не принимал участия в журнале. Друзья его охладели к Воейкову, который успел насолить всем, ибо голос злобы и зависти был в нем сильнее расчета, выгод и пользы. Каким образом, спросят у меня, умел он еще держаться [в свете] при таком образе мыслей, при таких чувствах и поступках? Он обязан был всем [своим] существованием несравненной жене

[1] Виде
[2] Сенковского, Краевского, Старчевского
[3] Всю эту
[4] Обещанное им содействие
[5] Не сбылось.

своей, прекрасной, умной, образованной и добрейшей Александре Андреевне, бывшей его мученицею, сделавшейся жертвою этого человека.[1] Всяк, кто знал ее, кто только приближался к ней, становился ее чтителем и другом. Благородная, братская к ней привязанность Жуковского, преданная бессмертию в посвящении «Светланы», известна всем. Потом первыми гостями ее были Александр Иванович Тургенев и Василий Алексеевич Перовский. Булгарин некоторее время сходил от нее с ума. Между тем, все эти связи были чистые и святые и ограничивались благородною дружбою. Разумеется, в свете толковали не так: поносили ее, клеветали и лгали на нее. Такова судьба всех возвышенных людей среди уродов,[2] с которыми они обречены жить. Женская зависть играла в этом не последнюю роль.

Воейков торговал и промышлял не прелестями, а кротостью своей жены. Например, приедет Александр Тургенев и идет, по обычаю, в ее кабинет. Двери заперты.

— Что это? — спрашивает он у Воейкова.

— Она заперлась, — отвечал Воейков: — плачет.

— Плачет! О чем?

— Как о чем? В доме копейки нет, не на что обедать завтра. Заплачешь с горя.

— Пусти меня к ней.

— Не пущу; дай пятьсот рублей.

— Возьми!

[1] Гнусного изверга.
[2] Уродов, клеветников.

Отпирают дверь кабинета. Тургенев находит Александру Андреевну действительно в слезах, но вследствие[1] огорчений, претерпенных ею от мужа.[2]

Стараясь заводить связи с людьми денежными, но простоватыми, Воейков заметил в передней Департамента Духовных Дел одного купца, который приходил несколько дней сряду.

— Что вам угодно? — спросил он учтиво.

— Мне следует получить плату за дрова, которые я ставил в разные места вашего ведомства, но не знаю, почему мне не выдают их. Казначея не могу допроситься.

Воейков идет в кабинет Тургенева и говорит ему, что, к стыду департамента, казначей притесняет поставщика дров, купца Кривоносова, вероятно, с умыслом принудить его к скидке. Раздраженный[3] Тургенев призывает казначея и с гневом велит ему в ту же минуту удовлетворить купца. Обрадованный этим, Кривоносов является на другой день к Воейкову, благодарит его и спрашивает, чем может послужить ему. Воейков просит только его дружбы и говорит, что готов служить ему, чем может. В то время приступали к перестройке Артиллерийского Училища.

— Вот случай, — сказал[4] Воейков Кривоносову, [которого начал посещать прилежно:] — воспользоваться законною прибылью. Я заседаю в Строительной Комиссии. Председатель ее, гене-

[1] От
[2] Варвара.
[3] Раздраженный этою подлостью
[4] Говорит

рал Засядко, друг мне. [В числе членов находится и Тургенев.] Явитесь только на торги. Вам уступят с удовольствием. Только надобно задобрить казну: она глупа и легко поддается на удочку. Я придумал средство. В училище заводят библиотеку. Пожертвуйте на нее что-нибудь. Вас, во-первых, наградят медалью; во-вторых, не будут мешать[1] вам в торгах. Ручаюсь вам за Засядку и за Тургенева, друзей моих.

— Хорошо, — отвечал Кривоносов: — даю пятнадцать тысяч рублей.

Воейков полетел к Засядке.

— Нашел олуха, ваше превосходительство! — восклицает он: — я убедил купца Кривоносова пожертвовать 15 тыс. руб. на нашу библиотеку, для получения медали.

Засядко, разумеется, принял это известие с благодарностью и сказал:

— Вы доставили нам эту находку, вы ею и распоряжайтесь. Вот вам реестр книг, какие нам нужны преимущественно; на остальную же сумму, изберите книги по вашему благоусмотрению.[2]

Воейков, получив деньги, отправился к книгопродавцу И. В. Сленину, торговавшему французскими и отчасти русскими книгами.

— Иван Васильевич! солнце нам восходит. Начальство Артиллерийского Училища поручило мне составить ему библиотеку. Вот реестр книг, которые необходимы. Прибавьте к тому разных книг учебных, исторических, каких

[1] Не помешают

[2] Остальные вы изберите по вашему благоусмотрению.

угодно, только в переплетах. Цены ставьте, какие хотите. Разумеется, сохраните наружную благовидность.

Сленин понял и исполнил поручение. Требовались книги по военным наукам, обыкновенные и дешевые: он набрал их легко и дешево. На остальную, до 15 т. руб., сумму навалил он кучу книг старых, разрозненных, большей частью, с толкучего рынка, в самом пиитическом беспорядке. Таким образом, в числе томов «Всемирного Путешественника» встречались [томы] «Новейшей Поварихи», «Письмовника», «Сонника»[1] и т. п., а на переплете выставлено: «Всемирный Путешественник», том такой-то. Воейков принял книги и отправил в училище; там расставили их по шкафам, как они стоят, вероятно, и доныне. Деньги Воейков взял себе сполна, а Сленину дал в счет уплаты несколько сот экземпляров непроданных его «Образцовых сочинений в прозе». Впоследствии уплачивал он ему процентами за продажу «Русского Инвалида».

Сленин заикнулся было однажды, что намерен искать уплаты.

— Осмелься,[2] — сказал Воейков, — у меня в кармане твой собственноручный счет: я докажу, что ты безбожно обманул казну своими ценами, и тогда не дадут тебе ни копейки, да еще и под суд упрячут!

Между тем, Кривоносов ждал торгов. Воейков объявил ему, что [предварительно] должно дать обед членам Строительной Комиссии.

[1] «Новейшая Повариха», «Письмовник», «Сонник»
[2] Попробуй

— С радостью, — отозвался Кривоносов: — милости просим. Когда прикажете?

Воейков назначил день и накануне говорит жене в присутствии Тургенева:

— Сашенька! завтра ты должна ехать со мною обедать к купцу Кривоносову.

— Это что за урод? — спрашивает она.

— Не урод, а друг и благодетель мой — отвечает[1] Воейков. — Непременно поезжай; я дал слово.

— А мне можно будет ехать с вами? —спросил Тургенев, желая провести день с Александрою Андреевною.

— Можешь, — отвечал Воейков, — только надень звезду и каммергерский ключ.

Тургенев охотно облекся в свои регалии, и они отправились. Воейков, представляя жену и Тургенева хозяину, сказал ему потом, отведя в сторону:

— Александр Дмитриевич (Засядко) не мог приехать. Очень жалеет. Он приглашен к обеду великим князем Михаилом Павловичем.

Обед и вина были на славу. Тургенев насладился и обедом и беседою Александры Андреевны, не догадываясь, какую роль играет.

Чрез несколько дней начались торги. Явился и Кривоносов со своею медалью [на шее.] Председатель Комиссии, генерал Засядко, узнав, кто он, приказал подать ему стул и рекомендовал его прочим членам Комиссии, как почетного и благонамеренного патриота, обогатившего своими пожертвованиями библиотеку

[1] Сказал

училища. Но тем и кончилось торжество Кривоносова. Торги шли строго и круто, что называется в обрез. Членами Комиссии были доки, понаучившиеся на казенных постройках. Кривоносов вышел из Комиссии, как не солоно хлебал: ни одного и малейшего подряда ему не досталось. Все происходило на законном основании, без малейшего послабления в чью бы то сторону ни было. Вот он идет к Воейкову.

— Что ж вы не приходили в Комиссию?

— Это не мое дело, я служу по учебной части и в хозяйственную не вмешиваюсь.

— А Тургенев разве не член ее? И его не было.

— Вот вы дураки, купцы, всё такие. Тургенев не служит при училище и никого там не не знает.

— Да вы обещали, Александр Федорович.

— Что я обещал? Что тебя примут в Комиссии с отличием. И приняли: сиволапого мужика посадили рядом с генералами. Что же ты думал, что они помогут тебе обмануть и обокрасть казну? За кого ты их принимаешь? Берегись, услышат, что ты их считал за мошенников, худо тебе будет.

Кривоносов умолк, и тем дело кончилось. Впрочем, Воейков стащил с него еще сверх[1] того. По смерти Кривоносова нашли в его бумагах векселя Воейкова на пять тысяч рублей. Воейков отказался от уплаты, потому что векселя были просрочены, и отзываясь, что Кри-

[1] Кроме

воносов был ему друг, подарил эти деньги, а взял[1] векселя так, для проформы!

Вот каков был человек, с которым я имел дело, с которым был в товариществе. Ему мало было шести тысяч рублей, которые он получал даром при издании «Сына Отечества». Он вздумал удалить меня совершенно. Когда случился несчастный бунт в Семеновском полку,[2] он доносил на меня, называл меня виновником мятежа, возбужденного мною посредством полкового училища.[3] Не имев успеха в происках своих, клонившихся к тому, чтоб выгнать меня из города и чтоб он остался полным хозяином «Сына Отечества», он вздумал меня пугать. Приехав ко мне однажды утром, в январе 1821 года, он говорит мне;

— Вам худо. Вы обнесены у государя. Начальство вас предало. Советую вам удалиться. Поезжайте в чужие края и там обождите бурю, а я, между тем, буду заниматься «Сыном Отечества» и стану верно выплачивать доход вашему семейству.

Я сначала остолбенел, но вскоре одумался и сказал:

— Я ни в чем не чувствую себя виноватым. Если меня обвинят, буду просить следствия и суда. Бегство мое будет свидетельством какого-нибудь преступления, а я не сделал ничего и не боюсь ни закона, ни царя.

[1] А Воейков выдал ему

[2] Когда случилась несчастная Семеновская история,

[3] Училища. Я упоминал об этом в статье моей о Семеновской истории.

— Как угодно, — отвечал он: — а я исполнил свой долг, предостерег вас. В случае беды, пеняйте на самого себя.

Булгарин пришел ко мне в тот же день и, узнав,[1] что мне наговорил Воейков, утвердил меня в мнении, что все это мошенничество и козни негодяя, и что я не должен его слушать. История эта прошла со шквалом, как говорят моряки, но товарищество с Воейковым сделалось мне невыносимым. Лишь только приехал из-за границы Жуковский, я обратился к нему, рассказал все, что произошло, и убедительно просил освободить меня от Воейкова.[2] В то время Пезаровиус удалился от [«Русского] Инвалида». Жуковский успел доставить место редактора Воейкову и принудил его отказаться от участия в «Сыне Отечества». Я вздохнул свободно. Разумеется, что Воейков сделался моим отъявленным врагом и всячески нападал на меня.

Забавна была притом одна проделка с ним Булгарина.[3] Воейков, желая показать превосходство «Инвалида» над «Сыном Отечества», выставил в нем, что на «С[ын] О[течества]» 750 подписчиков, а на «Инвалид» — 1700. Булгарин воспользовался этим и подал в Комитет 18 августа прошение об отдаче[4] ему в аренду издания этой газеты, обязуясь платить вдвое против того, сколько получают от Воейкова,

[1] Услыша
[2] Просил, чтобы он освободил меня от негодяя.
[3] Проделка с Булгариным
[4] О назначении

и в обеспечение [исправной уплаты][1] представлял в залог пятьсот душ. Комитет, имея целию умножение доходов с газеты, не мог не принять во внимание этого предложения. Семейство Воейкова пришло в ужас. Жуковский приехал ко мне и просил отклонить беду, угрожающую друзьям его. Я взялся уговорить Булгарина. При этом случае Жуковский сказал мне:

— Скажите Булгарину, что он напрасно думал уязвить меня своею эпиграммою;[2] я во дворец не втирался, не жму руки никому. Но он принес этим большое удовольствие Воейкову, который прочитал мне эпиграмму с невыразимым восторгом.[3]

Дело[4] уладилось. Булгарин взял назад свое прошение, Воейков просил меня сблизить его с бешеным поляком, чтоб[5] покончить все раздоры. Мы поехали с ним к Булгарину. Когда мы вошли в кабинет, Булгарин лежал на диване и читал книгу. Воейков подошел к нему и, подавая палку, сказал:

[1] Этого обязательства

[2] [Вот эта эпиграмма:]

Из савана оделся он в ливрею,
На ленту променял он миртовый венец,
Не подражая больше Грею,
С указкой втерся во дворец.
И что же вышло наконец?
Пред знатными, сгибая шею,
Он руку жмет камер-лакею
Бедный певец!

По отзывам некоторых лиц, это эпиграмма Пушкина, а по другим — Воейкова. (*Н. Г.*)

[3] С неизъяснимым удовольствием.

[4] Дело это

[5] Сблизить их чтоб

— Бейте меня, Фаддей Венедиктович, я заслужил это; только пожалейте жену и детей!

Редкое явление в истории литературы! Впрочем, Воейкову доставалось по спине и натурою. Однажды, обедали у него в Царском Селе Жуковский, Гнедич, Дельвиг и еще несколько человек знакомых. Речь зашла за столом о том, можно ли желать себе возвращения молодости. Мнения были различные. Жуковский сказал, что не желал бы вновь пройти сквозь эти уроки опыта и разочарования в жизни. Воейков возразил:

— Нет! я желал бы помолодеть, чтоб еще раз жениться на Сашеньке... [1]

(Это выражено было самым циническим образом.) Все смутились. Александра Андреевна заплакала. Поспешили встать из-за стола. Мужчины отправились в верхнюю светелку, чтоб покурить, и, по чрезвычайному жару, сняли с себя фраки. Воейков пришел туда тоже и вздумал сказать что-то грубое Жуковскому. Кроткий Жуковский схватил палку и безжалостно избил статского советника и кавалера по обнаженным плечам. А на другой день опять помогал ему, во имя Александры Андреевны.

— Беда наша, — сказал я однажды, — если Александра Андреевна в беременности захочет поесть хрящу из Гречева уха. Приедет Жуковский и станет убеждать: «сделайте одолжение, позвольте отрезать хоть только одно ухо, или даже половину уха; у вас еще останется другое

[1] Жениться на Сашеньке и насладиться сорванием цветка невинности!

[целое], а вместо отрезанного, я вам сделаю наставку из замши. Только бы утолить голод Александры Андреевны.

Обширное поле подвигам Воейкова открылось после 14-го декабря. У него хранилась на всякий случай[1] записка, полученная им в 1820 году, от Булгарина, проигравшего дело свое в сенате:[2]

«Все пропало. Я погиб. Злодеи меня сгубили. Проклинаю день и час, когда я приехал в Россию. Не знаю, что делать и на что решиться, чтобы выпутаться из ужасного моего положения. Ф. Булгарин».

Воейков прибавил к этому только число: 15-го декабря 1825 г. и представил в полицию. Дело [вскоре] объяснилось и не имело последствий. В конце декабря пришел ко мне Владислав Максимович Княжевич и принес письмо, полученное им от неизвестного, в котором изъявлялось удивление, что при арестовании бунтовщиков и злодеев оставили на воле двух, важнейших: Греча и Булгарина. Адрес написан был рукою Воейкова и записка запечатана его печатью, о которой я упоминал выше. Я тогда лежал больной в постеле, послал за Жуковским и, когда он приехал, отдал ему произведение его друга и родственника. Жуковский ужаснулся, поблагодарил меня за пощаду и сказал, что уймет негодяя, но видно не успел.

Недели чрез две Алексей Николаевич Оленин получил письмо из Москвы от тамошнего

[1] У него была
[2] В сенате; следующего содержания:

военного генерал-губернатора, князя Д. В. Голицына, о ругательных письмах и доносах, полученных там многими лицами, между прочим, издателем «Телеграфа» Н. А. Полевым и самим Голицыным. Князь, приведенный в негодование гнусными наветами писем, хотел было послать их прямо к государю, для отыскания и наказания подлых клеветников, но предварительно спросил у Полевого, не знает ли он, чьею рукою они написаны. Полевой отвечал, что это, кажется ему, почерк руки петербургского литератора Олина. Князь вспомнил, что видел этого литератора у А. Н. Оленина, и полагал, что Оленину неприятно будет, что позорят знакомого ему человека. Подозревая, может быть, что в прозвище его сокращено имя отца, как в Бецком, Пнине, Умянцове, и т. п., отправил письма к Оленину, для вразумления молодого (?) смельчака. В этих письмах опять называемы были Греч и Булгарин заговорщиками и бунтовщиками. Оленин, прочитав письмо, сказал с досадою:

— Какое мне дело до Олина? Раз как-то Гнедич привозил его ко мне, а, впрочем, я его не знаю. И что я за полицейский?

В это время вошел в комнату секретарь его, известный археограф и разборщик рукописей, А. Н. Ермолаев. Оленин дал ему письмо и сообщил о своем недоумении.

— Я знаю эту руку, — сказал Ермолаев. — Это рука пьяницы (Иванова, Григорьева, что ли, не знаю), которого мы выгнали из канцелярии.

— Отыскать его, — сказал Оленин.

Чрез час привели пьяного писаря, и он объявил со слезами, что это точно его рука, что он написал двадцать копий этого письма, по пяти рублей за каждую, по требованию Воейкова, и запечатал их, а адресы надписывал уже потом сам сочинитель. И тут дело пошло обычным чередом: послали не за обер-полицмейстером, а за Жуковским. Воейкова пожурили вновь и подвели под милостивый манифест — прекрасных глаз Александры Андреевны.

Таким образом влачил он жизнь[1] свою. Издавал «Инвалид» [«Новости Литературы», «Славянин»] и «Литературные Прибавления», изрыгая в них брань и хулу на все честное, благородное, воскуривал фимиам знатным и богатым. Жена его, изнуренная бедственным своим положением, впала в чахотку и отправилась в Италию. За несколько дней до отъезда, в присутствии Жуковского, попросила она у Воейкова почтовой бумаги.

— Поди ко мне в кабинет, — сказал он: — найдешь на моем письменном столе.

Она пошла и чрез несколько минут воротилась бледная и в слезах, неся в руках бумагу. Это была эпитафия, заблаговременно написанная ее мужем для начертания на ее могиле!

Александра Андреевна умерла в Ницце в июне 1829 года, оставив по себе в душах всех, кто знал ее, неизгладимое воспоминание ее достоинств, добродетелей и страданий.[2]

[1] Подлую и гнусную жизнь.

[2] Их уже не много остается на свете; они встретились с нею в ином мире, где нет ни слез, ни воздыхания, но жизнь бесконечная!

Я несколько лет не видался с Воейковым, встречая его иногда, едущего в дрожках или в санях по улицам на поклоны [и на пакости], как написал о нем Булгарин:

Лишь только занялась заря
И солнце стало над горой,
Воейков едет на разбой:
Сарынь на кичку кинь!

Он раз свалился с дрожек, расшиб себе ногу и охромел, приплюснул нос и носил среди лица[1] пластырь[2] [под черной повязкой]. Булгарин, увидев его впервые под этой печатью, воскликнул стихом Батюшкова:

И трауром покрылся Капитолий![3]

Расскажу последние похождения мои с Воейковым. По смерти[4] Александры Андреевны, вступил он в брак[5] с какою-то девицею Некрасивою [кажется, с кухаркою его],[6] подбился к И. Н. Скобелеву и к Л. В. Дубельту, льстил им и питался крохами от их трапезы.

Осенью 1838 года, давнишний знакомый мой, полковник Лахман, приехав в Петербург,

[1] Хари.

[2] Широкий черный пластырь.

[3] После этого стиха в «Русской Старине» (1874 г., № 3, стр. 639—641) следует описание ареста Греча, Булгарина и Воейкова, дословно перенесенное Гречем в его статью о Булгарине, где его и найдет читатель (см. ниже).

[4] По смерти, а может быть еще при жизни жены.

[5] В нежную связь.

[6] С кухаркою его, и наконец женился на ней.

пригласил меня к себе обедать. Я нашел у него Воейкова еще в жалчайшем против прежнего положении. Я обошелся с ним учтиво, как с старым знакомым, и он пригласил меня к себе на вечер. Нельзя было отговориться. Я поехал к нему с Лахманом и нашел у него Скобелева и еще несколько лиц. Мы провели время за чаем очень приятно, слушая росказни отца-командира. Воейков жил где-то на Литейной, в переулке, в невзрачном деревянном домике. Уходя от него, я не мог не пригласить его к себе. Вот в первый из моих четвергов он является ко мне, садится в кружок с немногими[1] гостями. Пьем чай, беседуем. Вдруг зашла речь о покойном графе Павле Петровиче Сухтелене, одном из честнейших[2] и благороднейших людей в мире. Все принялись хвалить его. Воейков соглашался, что граф был умен и храбр, но прибавил: «он был развратник, человек самой подлой нравственности». Поднялся спор. Все вступаются за Сухтелена. Воейков прямо настаивает на своем. В это время входит в комнату некто Гибаль, проживший несколько лет в Оренбурге, в доме графа, и бывший свидетелем его скоропостижной кончины.[3]

— Александр Богданович! — сказал я: — решите наш спор. Вы коротко знали графа Сухтелена: не правда ли, он был человек чистой нравственности?

— Чистейшей в мире, — отвечал Гибаль. — Мы всячески старались подсмотреть за ним

[1] Некоторыми.
[2] Чистейших.
[3] Смерти.

какую либо слабость и не успели. Он был беспорочен, как агнец.

Воейков смутился этим объяснением, встал. опираясь на костыль, и отправился на утечку. Я пошел за ним чрез биллиардную комнату;[1] Там играл Петр Ильич Юркевич с кем-то, они разговаривали о военных действиях, не помню каких-то.

— Да это напечатано было в реляции! — сказал другой.

— А разве ты не знаешь поговорки, — возразил Юркевич: — «Лжет, как реляция!»

Тут Воейков возвысил свой верноподданнический голос:

— Молодой человек! как вы смеете говорить это? Реляции пишутся и издаются правительством, и кто называет их ложью, тот...

— Молчать шпион! — закричал я: — вон из моего дому!

Воейков разинул было рот, но я подошел к нему и еще громче закричал:

— Вон, [подлец]!

— Иду, иду, — промолвил он и вышел в переднюю.

С тех пор я не видал его.

Он умер 16 июня 1839 года, написав письмо к Л. В. Дубельту о неоставлении жены его: «она-де женщина простая, но благородная в душе».

[1] По биллиардной зале.

ФАДДЕЙ БУЛГАРИН

Замечено и как бы принято в литературе, что бранят писателя, когда он находится в живых, пока он действует на своих современников, на соперников, на врагов. По смерти же выставляют обыкновенно хорошие его стороны, забывают слабости, прощают его ошибки, промахи, даже дела непохвальные. Замечательно, что Булгарину выпала противоположная участь, при жизни, одни его хвалили, другие терпели: третьи ненавидели, многие спорили, бранились с ним, но безусловно его не поносили, разве в ненапечатанных эпиграммах. Видно, боялись его колкого, неумолимого пера. Но по смерти сделался он предметом общей злобы и осмеяния. Люди, которые не годились бы к нему в дворники, ругают и поносят его самым беспощадным, бессовестным образом. В некрологе Календаря на 1860 год напечатан был о Булгарине отнюдь не хвалебный, но довольно беспристрастный отзыв: эта статья подверглась насмешкам и брани. Что могло б быть виною этого явления? Повторяю: мертвого льва уже не боялись собаченки. Исполню долг чести и правды, составив описание его жизни, дел и характера. Волею и неволею был я в продолжение долгого времени в тесных с ним сно-

шениях: буду говорить о нем сущую правду, не скрою темных сторон его жизни и характера, его слабостей и недостатков, но в то же время отдам справедливость тому, что было в нем хорошего, и опровергну клеветы, взведенные на него завистью, злобою и мстительностью. Буду принужден коснуться и некоторых других лиц и постараюсь исполнить возложенную на меня обязанность со всевозможным беспристрастием и пощадою. Буду говорить и о себе сколь можно равнодушнее и правдивее. Впрочем, обстоятельства, в которые я должен входить, известны всем, и, говоря о них явно, я не нарушаю никакой тайны.

Фаддей Венедиктович Булгарин (Thaddeus Bulharyn) родился 24 июня 1789 г. в Виленской или Минской губернии. Отец его, рьяный республиканец, известный в округе своем под именем шального (szalony) Булгарина, в пылу польской революции (1794 г.), убил (не в сражении) русского генерала Воронова и был сослан на жительство в Сибирь. Жена его, сколько могу судить по преданиям, женщина добрая и почтенная, отправилась с сыном своим, Фаддеем, в Петербург и успела поместить его в Сухопутный (что ныне Первый) Кадетский Корпус, который был уже не тем, что под начальством графа Ангальта, но сохранял еще остатки и предания прежнего своего достоинства. Муж ее, Бенедикт, возвращен был на родину императором Павлом и вскоре умер. Вдова его вышла замуж за какого-то Менджинского и имела с ним сына и дочь. Сын служил в русской армии, честно и храбро,



Фаддей Булгарин.
Статуэтка художн. Н. А. Степанова.
(Из собрания Пушкинского Дома.)

был изранен, жил потом в отставке и умер в тридцатых годах. Дочь, Антонина Степановна, была в молодости красавицею. Мать, имея процесс в Сенате, привезла ее с собою в Петербург. Здесь влюбился в нее сенатский секретарь Александр Михайлович Искрицкий и женился на ней. Он имел сыновей Демьяна, Александра и Михаила, о которых пойдет речь впоследствии.

Фаддей, нареченный сим именем при крещении в честь Костюшки, учился в корпусе очень хорошо и смолоду оказывал большие способности. По экзамену следовало бы ему выйти в артиллерию или в генеральный штаб, но цесаревич Константин Павлович, по особому благоволению к полякам, которые потом заплатили ему за это благоволение по-польски, взял его в свой уланский полк, который, вскоре после того, сделан был гвардейским. Булгарин был принят во многих хороших домах Петербурга особенно в польских, и, как и вся тогдашняя молодежь, вел жизнь разгульную и буйную. С полком своим он был в походах 1805, 1806 и 1807 годов и, хотя впоследствии рассказывал мне о своих геройских подвигах, но, по словам тогдашних его сослуживцев, между прочим генерала Иоселиана, храбрость не была в числе его добродетелей: частенько когда наклевывалось сражение, он старался быть дежурным по конюшне. Однако он был сильно ранен в живот при Фридланде и лежал несколько недель в кенигсбергском лазарете. Там свиделся он со многими поляками, служившими в армии Наполеона: они

приглашали его перейти к французам. Булгарин отвечал им: «Теперь было бы бесчестно сделать это. Дайте срок: заключат мир, 1 сентября подам в отставку и прикачу к коханым».

По возвращении гвардии в Петербург, наскучила ему однообразная гарнизонная служба. Он отправлял ее нерадиво и своевольно. Однажды, с дежурства по эскадрону в Стрельне, он махнул, без спросу, в Петербург, чтоб потешиться в публичном маскараде; заехал к одному товарищу, адъютанту цесаревича, жившему в Мраморном дворце, нарядился амуром в трико, накинул на себя форменную шинель, надел уланскую шапку и спускался по задней лестнице. Вдруг увидел пред собою цесаревича.

— Булгарин?

— Точно так, ваше высочество.

— Ты, помнится, сегодня дежуришь, да что ты закрываешься? — вскричал великий князь, сбросил с него шинель и увидел амура с крылышками и колчаном. — Хорош! мил! Ступай за мною.

Сошли с крыльца. Цесаревич посадил его к себе в карету и привез на бал к княгине Четвертинской, взял за руку и ввел в залу, наполненную бо-мондом.

— Полюбуйтесь! — сказал он хозяйке и гостям: — вот дежурный по караулам в Стрельне. Вон, мерзавец! Сию минуту отправляйся к полковому командиру под арест!

Амур, пристыженный, одураченный, удалился при общем хохоте. Дело кончилось аре



Ф. Булгарин.
Карикатура Н. А. Степанова.
(Из собрания Пушкинского Дома.)

стом, но последствия его не прекращались. Цесаревич при всяком случае напоминал шалуну его дерзость и взыскивал с него более чем с других. Измученный и службою, и этим преследованием, Булгарин написал на своего начальника сатиру, начинавшуюся стихами:

Трепещет Стрельна вся, повсюду ужас, страх.
Неужели землетрясенье?
Нет! нет! великий князь ведет нас на ученье.

К поэзии присоединилось еще несколько прозаических немарсовских подвигов, и корнета Булгарина перевели в какой-то армейский драгунский полк (находившийся в войсках, действовавших в Финляндии), выдержав его, помнится, три месяца в кронштадтской крепости. Просидев несколько времени в каземате, он был выпущен добрым комендантом Клугеном и прожил время, остававшееся до освобождения, на квартире у какого-то пьяного мещанина Голяшкина, ухаживал за дочками его и выучился у батюшки разным неблагопристойным, разбойничьим песням, которые впоследствии распевал кстати и некстати.

В Финляндии служил он до окончания войны и потом стоял с своим полком в Ревеле. Во время этой войны удалось ему сделать доброе дело. Известно, что самыми рьяными и злыми врагами русских были в то время финские пасторы: они истребляли наши отряды, перехватывали переписку, отбивали обозы и оружие, словом, действовали, как партизаны. Особенно один сельский пастор отличился проворством и удальством: схватил не-

сколько русских офицеров и выдал шведам, укрывавшимся в его доме. Начальник действовавшего в этой стране русского отряда послал в дом пастора драгун, под командою офицера, и этот офицер был Булгарин. Он сделал быстрый набег на село и окружил церковный дом. Жена пастора укрыла мужа. Булгарин, заметив, где спрятался несчастный, объявил, что возьмет его силою. Жена и дети бросились к ногам его и умоляли о пощаде. Булгарин сжалился, представился, будто не видит искомого, оставил дом и явился к начальнику с донесением: не нашел! Командир побранил его за оплошность, но, может быть, сам был рад, что освободился от необходимости казнить человека, который полагал, что действует по закону и по долгу. Это происшествие сделалось известным в Финляндии и в Швеции. По заключении мира, явилась в Стокгольме гравюра с изображением этого случая с надписью: «Великодушие русского офицера». В бытность Булгарина в Швеции (в 1838 г.), пригласил его к обеду один почтенный и богатый человек. Гостей было множество. Булгарин, севши за стол, увидел пред собою гравированную картину. Все пили с восторгом за его здоровье. Этот анекдот слышал я от Булгарина и от некоторых финляндцев.

В Ревеле Булгарин привел в исполнение свой давнишний замысел. Вышедши в отставку (а может быть, состоя еще на службе), он выехал оттуда с одним французом, графом де-Кенсонна (Quinsonnat), посетил свою мать на пути, прибыл в Варшаву и вступил в один сформированный французами уланский полк

рядовым, как мне сказывал с негодованием двоюродный брат его, граф Тиман, служивший России честно и усердно в гусарах до генеральского чина и ненавидевший гнусную польскую ойчизну. Впрочем нельзя сказать, чтобы Булгарин бежал или предался неприятелю. Россия была тогда с Франциею в дружбе и в союзе. Булгарин был поляк (un mauvais sujet mixte), следственно, переход его не был ни бегством, ни изменою. Об этом скажу несколько слов ниже. Но благородные товарищи Булгарина, подобные графу Тиману, не могли простить ему этой эскапады и отзывались о его поступке откровенно.

Из Варшавы был он отправлен к полку в Испанию, но о жизни и о службе его там я ничего не знаю. В 1812 году находился он в корпусе маршала Удино, действовавшего, в Литве и в Белоруссии, против графа Витгенштейна. Он рассказывал, что однажды напросился участвовать в размене пленных, был он в русском авангарде, видел некоторых старых товарищей, но не был ими узнан и не старался о том; только послал поклоны нескольким знакомцам с русским вахмистром, провожавшим французских парламентеров. Но действительно ли это было так, не могу сказать. Булгарин, как и всем известно, был большой сочинитель. Коротким друзьям своим из либералов поверял за тайну, что на переправе Наполеона чрез Березину при Студянке (деревне, будто бы принадлежавшей его матери), он был одним из тех польских улан, которые по рыхлому льду провели лошадь, несшую полуза-

мерзшего императора французов. В 1813 году он участвовал в сражении при Бауцене. Это достоверно. На одном вечере, не помню у кого именно, Булгарин беседовал об этой битве с Алексеем Алексеевичем Перовским, который в ней был действующим лицом с русской стороны, адъютантом князя Репнина. Булгарин описал это сражение в статье своей: Знакомство с Наполеоном, напечатанной в собрании его сочинений. Впоследствии был он, в сражении при Кульме, в эскадроне польских улан, который пробился сквозь корпус прусского генерала Клейста. В кампанию 1814 года, во Франции, был он взят в плен прусским партизаном Коломбом и отправлен в Пруссию. Тогда случилось с ним происшествие, о котором он не любил говорить. Служивший тогда в одном из кирасирских полков гвардии, товарищ Булгарина по Кадетскому Корпусу, полковник Петр Иванович Кошкуль, едучи впереди своего эскадрона (на пути во Францию, близ берегов Рейна), встретив нескольких французских пленных, которых везли в Пруссию на тележках, не обратил внимания на это зрелище, повторявшееся довольно часто. Когда фура проехала шагов на сто, один вахмистр подскакал к Кошкулю и сказал ему:

— Ваше высокоблагородие! один пленный француз приказал вам поклониться.

— Какой француз? где?

— Вон, там на возу, ваше в[ысокоблагородие].

— Да как ты его понял?

— Он говорит по-русски, как вы и я.



Наполеон и Булгарин.
Карикатура Н. А. Степанова.
(Из собрания Пушкинского Дома.)

Кошкуль пришпорил коня и подскакал к указанному возу.

— Кто говорит здесь по-русски?

Один уланский офицер соскочил с возу и, закрыв лицо руками, сказал:

— Мне совестно смотреть на тебя, Кошкуль! Я Булгарин.

— Булгарин! — воскликнул честный Кошкуль в изумлении: — это ты? Как тебе не стыдно говорить со мною, подлец!

— Теперь не до морали! — возразил Булгарин: — я в крайности; есть нечего. Дай мне взаймы. Заплачу, как честный человек.

Кошкуль бросил ему несколько червонцев и ускакал. Жестоко, но справедливо.

Сам Булгарин сначала рассказывал об этом случае, но потом утверждал, что это неправда, что Кошкуль, на старости лет, не помнил, как были дела, и выдумывал небылицы. Нет, Кошкуль был человек благородный и правдивый и очень хорошо помнил, что говорит.

Заслужил ли Булгарин такую встречу со стороны своего школьного товарища и бывшего сослуживца? Заслужил и не заслужил, с которой стороны взглянешь на дело. Заслужил по суду совести и по общему закону чести: он был русским подданным и дворянином, воспитан в казенном заведении на счет правительства, носил гвардейский мундир и перешел под знамена неприятельские. С другой стороны, он был поляк, и в этом заключается все его оправдание. У поляков своя логика, своя математика, составленная из слияния правил иезуитских с понятиями жидовскими. На-

носить всевозможный вред своему врагу, нападать на него всеми средствами, пользоваться всеми возможными случайностями, чтоб надоесть ему, оскорблять его правдой и неправдою и утешаться мыслью, что цель оправдывает средства. Ложь, обман, лесть, коварство, измена — все эти гнусные средства считаются у них добродетелями, когда только ведут к предположенной цели. Станем ли обвинять лягавую собаку, что она, по внушению своей натуры, гоняется за дичью, а кошку, что она ловит мышей?

Булгарин оправдывается тем, что он передался французам в то время (1810), когда, как выше сказано, Франция была с Россиею в дружбе и в союзе; но что мешало ему, при начале войны 1812 года, не перейти обратно в русскую службу, а удалиться куда-нибудь и остаться нейтральным? Это советовал ему не только закон чести, но и голос благоразумия. От этой измены покрыл он себя бесславием и не мог добиться уважения ни у которой партии.

Пленных привели или, как говорят, пригнали в Россию. Вдруг прекратилась война взятием Парижа и низложением Наполеона: пленных разменяли, и полякам объявили безусловную амнистию. Булгарин, с другими освобожденными поляками, явился в Варшаве к цесаревичу. Константин Павлович принял его ласково и, указав на прежних товарищей его, Жандра, Албрехта и пр. в звездах и лентах, сказал:

— И ты был бы теперь генералом, если б остался у меня.



Константин Павлович и Булгарин.
Карикатура Н. А. Степанова.
(Из собрания Пушкинского Дома.)

Булгарин отвечал:

— Ваше высочество! я служил моему отечеству.

— Хорошо, хорошо! — возразил великий князь: — теперь послужи мне!

Он предложил воротившемуся патриоту любое комендантское место в Царстве Польском, но Булгарин отказался, объявив, что должен ехать к матери и привести в порядок расстроенное свое имение. Он действительно любил и уважал свою мать, и когда, бывало, хотел подкрепить какую-нибудь колоссальную ложь, то клялся при ее жизни сединами матери, а по смерти ее тенью. Он свиделся с нею, но имения не нашел, потому вероятно, что его и не бывало. Между тем возобновил он знакомство с своими родственниками. Дядя его, Павел Булгарин, бывший литовским подконюшим (подлый этот чин был в большом уважении в Польше), полюбив Фаддея за живой характер, за ум и находчивость, поручил ему вести процесс его с родственником графом Тышкевичем и Парчевским, или собственно два процесса: один с Парчевским против Тышкевича, другой с Тышкевичем против Парчевского. Дело шло об осьми тысячах душ. Булгарину за ходатайство обещано было пять процентов, т. е. четыреста душ. Процесс производился в Сенате, и новый ходатай отправился в С. Петербург. Здесь принят он был в доме зятя своего Искрицкого, и не знаю, как попал во французский круг у генералов Базена, Сенновера и пр., читал им свои сочинения, которые кто-то переводил для него на французский язык.

В начале февраля 1820 года явился у меня в кабинете человек лет тридцати, тучный, широкоплечий, толстоносый губан, порядочно одетый, и заговорил со мною по французски: «Excusez, monsieur, si je vous derange...» [1]

Заметив с первого слова, что ему трудно говорить по-французски, я прервал его речь вопросом:

— Говорите ли вы по-русски?

— Говорю-с. Я поляк.

— Итак, к чему толковать по-французски? Скажите мне, пожалуйте, что вам угодно.

Тогда объявил он мне, что пришел по просьбе одного французского литератора г. де-Сен-Мора, человека необыкновенно умного, ученого и благородного, который намерен читать лекции о французской литературе.

— Да какой он партии? — спросил я: — кажется, отъявленный роялист.

— Точно, самый ревностный приверженец законной династии.

— Как же он может быть умным человеком?—сказал я.—Умный легитимист в нынешнее время не поедет из Франции, чтоб искать хлеба за границею. Видно, он олух и не знает, что делать; или так умен, что видит близкое падение своей партии. Вообще в нынешней Франции ум, знания, дарования — на левой стороне.

Мой собеседник захохотал весело.

— Так вот вы какой! А я думал, что вы ревнитель Бурбонов и монархического начала.

[1] «Извините, милостивый государь, если я вас беспокою...»



Булгарин и Греч.
Карикатура Н. А. Степанова.
(Из собрания Пушкинского Дома.)

Мы разговорились и познакомились. Это был Фаддей Булгарин.

Я был в то время отъявленным либералом, напитавшись этого духа в краткое время пребывания моего во Франции (в 1817 г.). Да и кто из тогдашних молодых людей был на стороне реакции? Все тянули песню конституционную, в которой запевалою был император Александр Павлович. Оппозиция Аракчееву, Голицыну и всем этим темным властям была тогда в моде, была делом известным, славою и знаменем тогдашнего юного поколения. Самым либеральным журналом была «Северная Почта», выходившая под ведением Министра Внутренних Дел Козодавлева. Семеновская история еще не навлекала мрачных туч на горизонте светлых идей и мечтаний. Революции греческая, а потом испанская и италиянская, встречали в России, как и везде, ревностных друзей и поборников. Булгарин, как щирый поляк, не мог не разделять этого движения умов. В моем доме он узнал Бестужевых, Рылеева, Грибоедова, Батенькова, Тургеневых и пр.—цвет умной молодежи! Несколько раз должен я напоминать, что Булгарин был в то время отнюдь не тем, чем он сделался впоследствии: был малый умный, любезный, веселый, гостеприимный, способный к дружбе и искавший дружбы людей порядочных. Между тем, по национальной природе своей, он не пренебрегал знакомством и милостью людей знатных и особенно сильных. Умел он сойтись и с гнусным Магницким, и с сумасбродным Руничем, и с глупым Кавелиным, познакомился с лицами, окружавшими Аракчеева, про-

лез и к нему самому. До 1823 года он литературою занимался мало, посвящая все свое время, всю свою деятельность ведению своего процесса. И мне кажется, что занятия этим процессом, сопряженные с уловками и проделками, которые не всегда оправдываются законами чести и долга, имели вредное влияние на развитие его понятий и характера. Для достижения своей цели, он употреблял все возможные средства: с утра до вечера таскался по сенаторским и обер-прокурорским передним, навещал секретарей и стряпчих, кормил и подкупал их, привозил игрушки и лакомства их детям, подарки женам и любовницам. Польская натура нашла в этих маневрах обильную пищу своей низкопоклонности, лести, хвастовству и хлебосольству с определенною целью. Эти подвиги, оправдываемые свойством его занятий, произвели в его уме смешанную теорию правил войны, сутяжничества и литературы. Потеряв возможность продолжать с успехом военную службу, он пошел в стряпчие; видя, что можно приобресть литературою известность, а с нею и состояние, он наконец взялся за нее, руководствуясь на каждом из сих поприщ правилами — достигнуть цели жизни, т. е. удовлетворения тщеславию и любостяжанию. Эта теория не мешала ему притом быть человеком не злым, добрым, сострадательным, благотворительным и в минуту порыва готовым на пожертвование.

Он почитал и уважал добрые стороны в людях, даже те, которых сам не имел. Таким образом постиг он всю благость, все величие души Грибоедова, подружился с ним, был ему



Аракчеев и Булгарин.
Карикатура Н. А. Степанова.
(Из собрания Пушкинского Дома.)

искренно верен до конца жизни, но не знаю, осталась ли бы эта дружба в своей силе, если бы Грибоедов вздумал издавать журнал и тем стал угрожать «Пчеле», то есть увеличению числа ее подписчиков. Признаюсь, если бы я знал, каков Булгарин действительно, то есть каким он сделался в старости, я ни за что не вошел бы с ним в союз. Но эти порывы мне казались простыми вспышками ветренного самолюбия. Я не видел, что в этом скрывалась только исключительная жадность к деньгам, имевшая целию не столько накопление богатства, сколько удовлетворение тщеславию. Фридрих II сказал однажды о поляках: «нет подлости, которой бы не сделал поляк, чтоб добыть сто червонцев, которые он потом выбросит за окно». К тому должно еще прибавить, что человек может исправиться от тех привычек и слабостей, которые привились к нему от ложного воспитания, от дурных обществ и примеров, и т. п., но врожденные свойства его, и хорошие и дурные, с годами крепнут и возрастают. Так было и с Булгариным: в молодости он был любезен, остер, добродушен, обходителен; эти качества исчезали в нем с каждым годом, и с каждым годом увеличивалось в нем чувство зависти, жадности и своекорыстия, заглушая добрые его свойства. Я приписываю странности и причуды Булгарина его воспитанию, обстановке и последовавшим обстоятельствам его жизни, но в самой основе его характера было что-то невольно дикое и зверское. Иногда, вдруг, ни с чего или по самому ничтожному поводу он впадал в какое-то исступление, сердился, бранился, обижал

встречного и поперечного, доходил до бешенства. Когда, бывало, такое исступление овладеет им, он пустит себе кровь, ослабеет и потом войдет в нормальное состояние. Во время таких припадков, он действительно казался сумасшедшим и бешеным, и было бы несправедливо винить его за то: это были припадки болезни нрава, уступавшие механическим средствам, т. е. кровопусканию. Когда я убедился в возрастании недружелюбия, зависти и злобы в Булгарине, надобно было бы расторгнуть нашу связь, но от нее зависело благосостояние моего семейства. Я сносил с терпением все его причуды, подозрения и оскорбления, но нередко выходил из терпения: так, в 1853 году не мог не восстать против него всенародно, вследствие его жалкого и подлого идолопоклонства Контским. Потом поступил он со мною безчестно и открыл всю глубину своей души. Между тем, он впал в болезнь, и я не мог ничего сделать — — —

В то время, как я познакомился с Булгариным, он не доверял еще своему искусству владеть русским языком в литературном отношении, писал деловые бумаги при помощи подьячих, и очень искусно, что̀ видно из выигранного им процесса своего дяди. Между тем, хотелось ему заработать что-нибудь литературною работою. Он вздумал издать «Оды Горация» с комментариями Ежевского и других критиков, но сам он знал по-латыни очень плохо, просто сказать, знал этот язык, как какаянибудь полька, посещающая католическую церковь. Ему помог один мой родственник, и

книжка вышла изрядная. Ежевский и некоторые другие латинисты жаловались на заимствование их примечаний, но Булгарин оправдался тем, что упомянул об этих заимствованиях в своем предисловии. В то время втерся он к Магницкому и Руничу и старался, при их помощи, ввести эту книгу в училища, но обещания их ограничились словами. Книга не раскупалась, и Булгарин решился пожертвовать ее в пользу училищ.

В намерении упрочить свое существование литературными трудами, он обратился к русской и славянской истории. Набрав несколько исторических материалов, стал он издавать «Северный Архив», печатал в нем статьи интересные, но впадал в страшные промахи, особенно по недостаточному знанию иностранных языков, коверкал имена собственные, смешивал события, и если бы издавал теперь, то не избежал бы обличений и насмешек, но в те блаженные времена, когда печатный каждый лист казался нам святым, и не то сходило с рук. Желая придать сухому журналу более интереса для читающей публики, Булгарин вздумал издавать при нем особые листки, под заглавием «Волшебный Фонарь», и тут попал в свою колею. Небольшие, вообще сатирические, картины нравов и исторические очерки понравились публике и поощрили его усердие. Занявшись легкою литературою, он оставил ученую, для которой не имел ни основательных познаний, ни особенного дарования. Я помогал ему усердно, особенно сглаживая слог, который отзывался полонизмами и галли-

цизмами. В 1824 году разразилась надо мною катастрофа Госнера. Канкрин хотел, пред тем, взять меня на службу в Министерство Финансов, но, узнав, что я предан суду, отложил это до моего оправдания. Тогда затеяли мы с Булгариным издание «Северной Пчелы», не прекращая ни «Сына Отечества», ни «Архива». Позволение Министра Просвещения получили мы без труда. Булгарин был знаком с (бывшею потом женою Шишкова) Лобаршевскою и чрез нее втерся к старику. Он даже называл и считал себя ее родственником, доколе Шишков был министром.

При начатии «Северной Пчелы» (в январе 1825 года), я уже вытрезвился от либеральных идей волею и неволею [1] и удерживал сарматские порывы Булгарина. За это ему доставалось от либералов. Рылеев, раздраженный верноподданническими выходками газеты, сказал однажды Булгарину: «когда случится революция, мы тебе на «Северной Пчеле» голову отрубим».

Булгарин, до испытания сил своих в мелкой литературе, вздумал заняться преимущественно русскою историею и выбрал для этого период Самозванцев, при котором мог пользоваться польскими источниками. Героинею его была Марина Мнишек.

В мае 1823 года, происходило публичное чтение Общества Соревнователей Просвещения и Благотворительности.

[1] Особенно образумила меня семеновская история, доказав мне, что можно попасть в беду без всякой вины. (*Н. Г.*)

По болезни президента, Ф. Н. Глинки, председательствовал я, как вице-президент. Читаны были отрывки из биографии фон-Визина, кн. Вяземского, стихи Василия Ив. Туманского и т. п., и, между прочим, отрывки из биографии Марины Мнишек Булгарина. Статья была слабая, плохо написанная: он не читал ее, а мямлил, и падение ее было совершенное. Это рассердило Булгарина и отвадило на несколько лет от русской истории, которую он было считал игрушкою.

При успехе своих повестей и мелких статеек, задумал он своего «Ивана Ивановича Выжигина», писал его долго, рачительно и имел в нем большой успех. Года в два разошлось до семи тысяч экземпляров. Роман этот ныне забыт и находится в пренебрежении, которого не заслужил. Должно вспомнить, что он был, по времени, первым русским романом, и что им началась обличительная наша литература. Многие черты и характеры схвачены в нем удачно и умно. Видя успех «Ивана Выжигина», книгопродавец Алексей Заикин заказал Булгарину «Петра Выжигина», который был несравненно слабее и не принес выгоды. Алексей Заикин умер в холеру 1831 года, не дождавшись окончания издания романа. «Дмитрий Самозванец», по мне, еще слабее, особенно тем, что автор берется изображать чувства любви и нежности. Он знал любовь и знал на практике, но не ту, которую описывают в романах.

В 1836 году затеял он большую спекуляцию, сочинение книги: «Россия в исто-

рическом, географическом и литературном отношении». Сотрудником ему был профессор Н. А. Иванов (сперва бывший в Дерпте, а потом в Казани). Трагикомическая судьба этого издания описана мною в статье об «Энциклопедическом Лексиконе».[1] Последним большим предприятием Булгарина были его «Воспоминания», или «Записки», которых вышло [6] частей.[2] В них много забавного, интересного, но — правду ли он писал? Не всегда. Я не думаю, чтоб он лгал умышленно, но он украшал события и беспрерывно рассказывая их устно, сам привыкал верить, что они случались точно так, как он их рассказывает. Многое, например, что он говорит обо мне, случилось не так, как он пишет. Иное прибавлял он с расчетом и, как говорят ныне, с заднею мыслию. Так, я спросил у него однажды, на что он в [3] томе[3] «Записок», приплел историю о подвигах Наполеона I в Байонне, в 1808 году: они вовсе не идут к делу. Он признался мне, что внес этот эпизод, чтобы сказать о прибытии в Байонну графа А. И. Чернышева курьером от императора Александра Павловича и угодить тем графу, которого просил о переводе свояка его, полковника Руднева, в гвардейский генеральный штаб! Все штуки, все проделки, все интриги! А у него был такой самородный талант, что он мог бы обойтись и без этих средств! Он писал с большою легкостью, что

[1] Эту статью Греча см. выше.
[2] В рукописи ПД — пропуск на месте цифры.
[3] В рукописи ПД — пропуск на месте цифры.

называется с плеча, но легкомыслие его было еще больше. Никогда, бывало, не справится с источником или действительностью какого-либо случая, а пишет, как в голову прийдет. Таким образом он бросился однажды на немцев за то, что они употребляют слово luxuriös, слово неблагопристойное. Совсем нет, по-немецки оно значит просто роскошный и происходит отнюдь не от французского luxure. В другой раз он вздумал утверждать, что немецкий писатель Геллерт жил девять лет в России, всегда любил ее и вспоминал о ней с удовольствием. Геллерт же не выезжал из Лейпцига. Булгарин, вероятно, смешал его с Гердером. Говорю о промахах, которые проскользнули в печати, [1] а сколько исключено и исправлено было в рукописях! Он знал русский язык хорошо, но был очень слаб в грамматике, и, например, никак не мог различить падежей местоимения: ея и ее. Всегда писал: любит ея. И латыни доставалось под пером его, хотя он очень любил латинские цитаты. Так, вместо: sine qua non, он писал: si non qua non, и любил вставлять латинские слова для объяснения русских терминов, как-то: съемок (facsimile) и т. п.

Не могу исчислить всех его изданий: «Эконом» и пр., которые он предпринимал с экономическим расчетом.

Между тем, скажу прямо: он не заслуживал той брани, тех клевет, которыми его осыпали при жизни и осыпают по смерти. Главною

[1] *Было:* в «Пчеле».

тому причиною было, что он ни с кем не умел ужиться, был очень подозрителен и щекотлив и, при первом слове, при первом намеке, бросался на того, кто казался ему противником, со всею силою злобы и мщения. Так, например, произошла его вражда с Н. А. Полевым, продолжавшаяся несколько лет. Полевой начал свой «Телеграф» в одно время с «Пчелою». Уж этого было бы довольно, но он дерзнул упомянуть в своем объявлении, что странно отвергать переводы в журналах, а Булгарин именно говорил об этом в одной из своих программ. Вот и загорелась война. Признаюсь теперь, по истечении пятидесяти лет, что я мог бы в то время остановить Булгарина, но меня забавляла эта брань, к тому же я был товарищем Булгарина и считал обязанностью помогать ему в обороне; да и высокомерный и заносчивый Полевой сам подавал к тому повод. В 1827 году сошлись мы с Полевым на обеде у П. П. Свиньина, объяснились и с тех пор оставались друзьями, но с Булгариным не обходилось без вспышек.

Всего более повредил Булгарину разрыв с благородною партиею нашей литературы: Карамзина, Жуковского, Пушкина. Первый повод к тому подал мерзавец Воейков своими переносами, сплетнями, клеветами. В его биографии сказано о том подробно. Между тем, все могло обойтись без явной войны, и, действительно, несколько лет продолжалась перепалка, но большею частию холостыми зарядами. В статье об «Энциклопедическом Лексиконе» говорил я о споре, поднятом Булгариным

по поводу объявления его о числе подписчиков на «Инвалида» и на «Сына Огечества». [1] С тех пор господствовала на поле бранном тишина, но война разразилась вновь в 1829 г., и поводом к ней было увольнение от «Пчелы» одного сотрудника.

Должно заметить, что мы с Булгариным имели по «Пчеле» разных сотрудников. Мои, по переводам и выпискам из иностранных газет, работали лет по десяти и более. Со всеми расстался я дружелюбно и остался в добрых с ними сношениях. [2] Булгарин брал и отставлял, привлекал и выгонял своих сотрудников беспрерывно и обыкновенно оканчивал дело с ними громким разрывом, сопровождавшимся непримиримою враждою. Он трактовал их, как польский магнат трактует служащих ему шляхтичей: то пирует, кутит, кохается с ними, то обижает их словесно и письменно, как наемников, питающихся от крох его трапезы. В числе этих несчастных илотов был Орест Михайлович Сомов, учившийся в Харьковском Университете. Он знал французский и италиянский языки и очень хорошо писал по-русски, переводил умно и толково и рачительно исполнял всю мелкую работу по газете. Нрава он был доброго и кроткого, че-

[1] Об этом Греч говорит не в статье об «Энциклопедическом Лексиконе», а в статье об А. Ф. Воейкове (см. выше).

[2] Моими сотрудниками были: Н. И. Юханцов (ныне д. ст. сов. по Министерству Финансов), П. Я. фон-Фок (то же), Е. К. Рашет (тайн. сов.), П. П. Безак (ныне генер.-маиор), А. Н. Очкин (ст. сов.). *(Н. Г.)*

ловек честный и благородный, но совершенно недостаточный. По сотрудничеству в «Пчеле» получал он по четыре тысячи рублей (асс.) в год за составление фельетонов, смеси, объявлений о книгах, с коротким обсуждением их и т. д. Он работал у нас года два. Вдруг, в конце 1829 года, Булгарин за что-то прогневался на него и завопил: «Вон Сомыча! вон его!» и, действительно, объявил ему отставку. Лишенный таким образом средств к существованию, Сомов предложил свои услуги барону Дельвигу, который задумал издавать «Литературную Газету», но, по лености и беспечности своей и по непривычке к мелочам редакции, охотно принял его предложение. Вот Булгарин и струсил, видя, что на него поднимется невзгода. Встретясь с Сомовым, в декабре 1929 г., на Невском проспекте, спрашивает:

— Правда ли, Сомыч, что ты пристал к Дельвигу?

— Правда!

— И вы будете меня ругать?

— Держись!

Это слово, как искра, взорвало подкоп в сердце и в голове Фаддея. Воротившись домой, он сел за письменный стол и написал статью на объявление о «Литературной Газете», стал бранить и унижать ее еще до выхода первого нумера. Но этого было для него недовольно. Узнав, что Пушкин намерен помогать Дельвигу своим содействием, он еще более испугался и, не дожидаясь первого выстрела с неприятельской батареи, сам начал атаку, не против Пушкина-писателя, а против

Пушкина-человека. В фельетоне № 30-го «Сев. Пчелы» (1830), выставив, будто бы из английских журналов, двух французских писателей, говорит об одном: «он природный француз, служащий усерднее Бахусу и Плутусу, нежели музам, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины, у которого сердце холодное и немое, существо как устрица, а голова род побрякушки, наполненной гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея, который, подобно исступленным в басне Пильпая, бросающим камни в небеса, бросает рифмами во все священное, чванится пред чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтобы позволили ему нарядиться в шитый кафтан».

В то время Пушкин действительно старался о получении звания камер-юнкера, единственно для того, чтоб возить свою красавицу жену ко двору и в большой свет. Слова фельетона задели его за живое, но напрасно он сердился: этих намеков никто не думал применять к нему; никто, кроме особ, приближенных к нему, не знал о его домогательстве, и я сам, еслиб мне растолковали, что в этой карикатуре Булгарин хотел изобразить Пушкина, никак не согласился бы на помещение ее в «Пчеле». Бедный Пушкин! Он не догадывался, что Булгарин, как зловещий ворон, прокаркнул ему о бедственной судьбе, которая ожидала его на паркете, ибо нет сомнения, что он погиб вследствие досады придворных дураков на то,

что среди их явился человек умный и гениальный. Какого-нибудь Баркова или Пельчинского терпели равнодушно. Поединок Пушкина произошел от интриг некоторых сверстников его по двору. [1] Булгарин, видя, что первый выстрел его не отозвался в обществе, зарядил свое ружье вторично. Однажды, кажется у А. Н. Оленина, Уваров, не любивший Пушкина, гордого и не низкопоклонного, сказал о нем: «что он хвалится своим происхождением от негра Аннибала, которого продали в Кронштадте (Петру Великому) за бутылку рома!» Булгарин, услышав это, не преминул воспользоваться случаем и повторил в «Северной Пчеле» этот отзыв. Сим объясняются стихи Пушкина: «Моя родословная» (Соч. Пушкина, I, 469). Буквы *В. Ф.* значат: Видок Фиглярин, как называл Пушкин Булгарина.

Эта оскорбительная выходка, не вызванная Пушкиным, озлобила его на Булгарина и возбудила негодование во всех литераторах, любивших первостепенного нашего поэта. Она и была причиною той ненависти, той злобы, ко-

[1] Впоследствии узнал я, что подкидные письма, причинившие поединок, писаны были князем Ив. Сер. Гагариным, с намерением подразнить и помучить Пушкина. Несчастный исход дела поразил князя до того, что он расстроился в уме, уехал в чужие края, принял католическую веру и поступил в орден иезуитов. В пребывание мое в Париже (1845—1847 г.) был он послушником монастыря в Монруже и исправлял самые унизительные работы; потом в иезуитском доме (в Rue des Postes) учил грамоте нищих мальчишек. Впоследствии, кажется, повышен был в чине. (*Н. Г.*)

торую питали и питают к Булгарину бо̀льшая часть наших писателей. На меня Пушкин дулся недолго. Он вскоре убедился в моей неприкосновенности к штукам Булгарина и, как казалось, старался сблизиться со мною. Мы раз как-то встретились в книжном магазине Белизара (ныне Дюфура). Он поклонился мне неловко и принужденно, я подошел к нему и сказал, улыбаясь: «Ну, на что это походит, что мы дуемся друг на друга? Точно Борька Федоров с Орестом Сомовым». Он расхохотался и сказал: «Очень хорошо!» (любимая его поговорка, когда он был доволен чем-нибудь). Мы подали друг другу руку, и мир был восстановлен. В конце 1831 года, вознамерившись издавать «Современник», он приезжал ко мне и предлагал мне участие в новом журнале. Я отвечал, что принял бы его предложение с величайшим удовольствием, так не знаю, как освободиться от моего польского пса. Пушкин сам сознался, что это невозможно, и прибавил, смеючись: «Да нельзя ли как-нибудь убить его?» У меня стало бы довольно досуга на это занятие, но Булгарин преогорчил бы жизнь мою, если бы увидел, что журнал Пушкина, при моем содействии, идет не худо, а «Пчелу» я не мог оставить без совершенного себе разорения.

Я не могу писать сплошь о похождениях и действиях Булгарина, потому что они состоят из отдельных явлений и подвигов. Расскажу некоторые, лишь замечательные, эпизоды. В числе их важна история нашего ареста 30 января 1830 года.

В декабре 1829 г. вышел «Юрий Милославский» М. Н. Загоскина и произвел самое выгодное впечатление в нашей публике. Его читали везде, и в гостиных, и в мастерских, в кругах простолюдинов, и при высочайшем дворе, и неудивительно: это был, первый, по времени, истинно-русский роман, не безошибочный, не совершенный, наполненный анахронизмами и несообразностями, историческими и грамматическими промахами, но оригинальный, написанный с каким-то милым простодушием, точно рассказ доброй бабушки о былых временах. Все восхищались «Юрием», прощая его недостатки: досадовал и сердился на него один Булгарин, отпечатывавший последние листы своего «Дмитрия Самозванца». Досада внушена ему была не авторским самолюбием, боявшимся превосходства своего соперника в литературе, а боязнию за коммерческий успех своего нового произведения. Вот он и начал нападать на Загоскина и его сочинения. Самую жестокую статью (в №№ 7—9 «Сев. Пчелы» 1830) написал, по усильной просьбе Булгарина, наш сотрудник А. Н. Очкин. Грамматические и исторические промахи заметил я, многогрешный. Дело обошлось бы без шуму, если бы не вступился за Загоскина Воейков: он нещадно обругал и Булгарина, и всех его сотрудников, обвинив их в несправедливости и зависти. Государь, которому понравился «Юрий Милославский» до того, что он приблизил Загоскина к своей особе, вознегодовал на эту перебранку и велел Бенкендорфу объявить воюющим сторонам, чтоб они прекратили бой.

Бенкендорф передал приказание М. Я. фон-Фоку, а этот нежный, добрый человек смягчил выражение неудовольствия государева, объявив Булгарину, что в этих перебранках не должно звать противников по имени. «Слушаю-с», отвечал Булгарин, сел и написал (напечатанную в 13 № «Пчелы», 30-го января) жаркую отповедь Воейкову, не назвав Загоскина.

В этот день приехал я домой к обеду около четырех часов. Мне подают конверт с официальною надписью: «Его Высокородию Н. И. Гречу, от генерал-адъютанта Бенкендорфа». В нем нашел я официальное приглашение за нумером немедленно явиться к Шефу Жандармов. Недоумевая, о чем идет дело, я отправился к Бенкендорфу. Он встретил меня с важною официальною миною и, отдавая пакет на имя с. петербургского коменданта Башуцкого, сказал:

— Я говорил вам неоднократно, чтоб вы прекратили ваши перебранки. Теперь терпите. Извольте ехать с этою бумагою к коменданту.

— Помилуйте, в[аше] в[ысокопревосходительство], — сказал я: — когда вы мне говорили?

— Не я сам, а Максим Яковлевич от меня, именем государя.

— Да не мне лично.

— Все равно, Булгарину или вам. Вы должны были бы его удерживать.

— Позвольте, — сказал я, — попросить вас — пошлите адъютанта или кого-нибудь другого ко мне в дом с объявлением, что я остался обедать у вас. Обо мне будут беспокоиться.

Домашние мои бог знает что подумают, когда я не ворочусь.

— Извольте, — отвечал добрый Бенкендорф: — это будет исполнено; но вы теперь же извольте ехать.

Я повиновался, поехал в Зимний Дворец, явился к коменданту, подал ему пакет. Башуцкий, привыкший к посланиям сего рода, не сказал мне ни слова, сел за стол и начал писать приказание о посажении меня на гауптвахту.

В это самое время вошел Воейков. Я не видал его давно и ужаснулся, взглянув на него теперь. Он вошел, сгорбясь и прихрамывая (он упал за несколько месяцев с дрожек и крепко ушибся), исхудалый, бледный, с широким черным пластырем, покрывавшим нос и часть щеки. Башуцкий, кончив бумагу, сказал мне:

— Извольте итти с плац-адъютантом, на дворцовую гауптвахту.

— Ваше высокопревосходительство, — сказал я ему: — я здоров и могу просидеть в каком угодно месте. Потрудитесь, пожалуйста, посадить на дворцовую гауптвахту, сухую и теплую, г. Воейкова: вы видите, он слаб и болен. Холод и сквозной ветер могут повредить ему.

— Не беспокойтесь, — отвечал комендант: — я и г. Воейкова посажу в теплое место.

Воейков, изумленный моим предложением, бросился ко мне на шею с восклицанием: «Ah, mon généreux ami, je vous reconnais à cette générosité!».[1]

[1] «Мой великодушный друг, я вас узнаю по этому великодушию!»

Я с трудом удержал его от великодушного облобызания меня и пошел, по корридорам дворца, под присмотром плац-адъютанта. Не знаю, что обратило на себя мое внимание; я остановился и посмотрел в сторону. Офицер, полагая, может быть, что препровождаемый в тюрьму государственный преступник высматривает, как бы улизнуть, сказал мне, впрочем очень учтиво: «Не извольте останавливаться и смотреть по сторонам: вы наш!» Пришли на гауптвахту. В тот день был в ней караул от Преображенского полка, лишь только воротившегося из турецкого похода, и караульным офицером был штабс-капитан князь Несвицкий, с которым видался я в Английском клубе. Прочитав бумагу, закричал он придворному лакею, накрывавшему на стол: «Еще прибор!» и пригласил меня сесть. Тут же нашел я Александра Христиановича Граве и еще несколько знакомых офицеров. Сели за придворный стол, очень хороший, и усладились вином с царского погреба. В приятном обществе, выслушавшем со смехом историю и повод моего заключения, не видал я, как прошло время до вечера. Мне дали в распоряжение вестового: я написал домой о моей катастрофе и просил прислать мне подушку и книг — именно: «Les memoires d'un homme d'Etat». Пришел брат мой, бывший тогда капитан Финляндского полка, и не мог скрыть огорчения, что находит меня под арестом. Я успокоил его изложением всего дела: видно, он думал, что со мною сделалось бог знает что. В девять часов прибыл дежурный по караулам полковник Константин Антонович Шлиппенбах

и, увидев меня арестантом, расхохотался, и в ту же минуту вошел флигель-адъютант с объявлением: «Государь позволяет вам ехать домой». Признаюсь, мне лень была ехать: я было уже расположился провесть ночь на диване с моею подушкою, читая мою книгу. Воротясь домой, где меня ожидали с нетерпением и страхом, я, входя в комнату, запел арию из немецкой оперы «Die Schwestern von Prag»:

Wer niemals in der Wachte war,
Kennt dies Vergnügen nicht. [1]

На другой день пригласил меня к себе Бенкендорф, обошелся со мною очень учтиво, обнял меня и старался утешить и успокоить во вчерашней невзгоде. Я говорил с ним, улыбаясь, и уверял, что ни мало не сетую на государя, потому что не заслужил его немилости. «Неужели можно мне сердиться на архитектора, когда с его строения упадет камень на голову! Мало ли чего бывает в свете!» Этот оборот ему понравился, и он хвалил меня потом пред другими за это равнодушие, прибавляя: c'est que c'est un homme d'esprit! [2] Так дело с моей стороны прекратилось. Впоследствии я узнал, что А. А. Закревский, у которого я был на службе по Министерству Внутренних Дел, услыхав о моем аресте, оделся, чтоб ехать к государю и просить о моем освобождении, но остался, узнав, что я уже выпущен. И В. А. Жу-

[1] Кто никогда не бывал в карауле, не знает этого удовольствия.

[2] Потому что он умный человек!

ковский просил или сбирался просить о том государя.

Воейкова комендант отправил в Старое Адмиралтейство. Булгарин в тот день обедал у И. В. Прокофьева в большой компании. Лишь только он принялся за свежую икру, ему подали послание Бенкендорфа. Он взял конверт, понюхал и сказал шутя сидевшему подле него городскому главе, Н. И. Кусову: «Не крепостью ли пахнет? Я поеду к генералу, но ты, Николай Иванович, береги мою икру. Ворочусь сейчас». Бенкендорфа не было дома, и Булгарину отдали бумагу к коменданту. Башуцкий лег отдохнуть после обеда, и Булгарин дожидался его, голодный, до семи часов. Тогда отправили и его в теплое местечко. Жена его, узнав, что муж ее сидит в Адмиралтействе, отправилась в Старое и спросила у входа:

— Где сидит под арестом сочинитель, что книжки пишет?

Ей сказали:

— Здесь, сударыня, извольте войти!

Она входит в комнату и попадает в объятия — Воейкова.

— Какими судьбами бог принес вас сюда, Елена Ивановна?

— Ах, это не тот! — отвечает она со злобою: — это каналья и мошенник Воейков. Мне надо Булгарина.

— Верно он отправлен в Новое Адмиралтейство,—сказали ей. Она отправилась туда и очутилась в нежных объятиях чувствительного Фаддея.

Это происшествие очень огорчило Булгарина: ему стыдно было, что другие за него попла-

тились, и он выразил свое огорчение Бенкендорфу, называл себя обиженным, обесчещенным, говорил об отчаянии жены и проч. Недели чрез три вышел «Дмитрий Самозванец», и автор его получил в подарок от государя богатый бриллиантовый перстень. В память нашего ареста он подписал под портретом государя: 30 января 1830, и никогда не прощал этого оскорбления. [1]

Булгарина обвиняли во взятках за статьи, он не брал денег, а довольствовался небольшою частичкою выхваляемого товара или дружеским обедом в превознесенной новой гостинице, вовсе не считая этого предосудительным: брал вознаграждение, как берут плату за объявления, печатаемые в газетах. И я брал взятки своего рода: печатая статьи о новоприезжих знаменитых артистах, я приглашал их к себе на вечера, и они тешили своими талантами меня, мою семью, моих приятелей. Когда, в 1845 году, в Бонне, на празднестве, при открытии памятника Бетховену, я вошел, в гостинице Zum goldnen Stern, в общую столовую, бросились ко мне Лист, Серве, Сивори, Дулькен, Блаз с женою и еще некоторые другие артисты, бывавшие в Петербурге, и потом пили за мое здоровье. Это изумило Жюль-Жанена, сидевшего за столом подле меня.

[1] История этого ареста изложена также в очерке Греча о Воейкове (см. выше стр. 661, прим. 3), где заканчивается словами: «Воейков объявил, что с этой поры, не будет ничего писать и печатать против меня. «Государь нас помирил», говорил он» («Русская Старина», 1874, март, стр. 642).

— Как они превозносят русского журналиста! — сказал он: — нам не добиться этой чести!

— Точно так, — возразил Блаз: — в Париже мы подчиваем журналистов, а в Петербурге журналисты нас угощали.

Еще оскорбительнее и несправедливее было обвинение Булгарина в шпионстве. Опишу все случаи и обстоятельства, подавшие повод к этому гнусному обвинению. Я был знаком с директором Особенной Канцелярии Министра Внутренних Дел (что ныне III Отделение Канцелярии государя), Максимом Яковлевичем фон-Фоком, с 1812 года и пользовался его дружбою, и благосклонностью. Он был человек умный, благородный, нежный душою, образованный, в службе честный и справедливый. Ему обязаны государь и Россия многими благими мыслями и делами (с 1825 по 1831 год, в котором он умер 27-го августа, в день покорения Варшавы); Бенкендорф был одолжен ему своею репутациею ума и знания дела. В последние годы царствования Александра, впал он в немилость, по наговорам и козням Магницкого и других негодяев, старавшихся посредством его столкнуть графа Кочубея. Он не был удален от службы, но все дела по секретной части производились у Аракчеева и у военного генерал-губернатора графа Милорадовича. Эта секретная часть, занимаясь пустяками и ничтожными доносами, не понимала ни духа, ни желания публики, и дала совершиться гнусному и пагубному взрыву 14-го декабря 1825 года. На другой день после петербургской вспышки, написал я записку о при-

чинах этого возмущения и между прочим сказал, что тому способствовало удаление многих способных людей, и в том числе М. Я. фон-Фока. Я подал эту бумагу новому военному генерал-губернатору, П. В. Кутузову для поднесения государю; но так как в то время, для секретных дел, составлено было III Отделение Канцелярии е. и. в., то он препроводил туда и эту бумагу. Таким образом она попалась в руки фон-Фоку, который узнал из нее мою искреннюю дружбу и уважение к нему, бывшему тогда в немилости и всеми оставленному. Это сблизило нас еще более и доставило мне случай делать, при посредстве фон-Фока, много добра и еще более предупреждать зла. Булгарин побаивался его, помня за собою многие грешки, впрочем неважные и происходившие от польской дерзости, смешанной с трусостью. Когда, в июне 1826, обнародовано было «Донесение Следственной Комиссии», и оказалось, кто именно и за что обвинен, следственно нельзя было опасаться никаких по этому делу обвинений, я, между разговорами, сказал Булгарину: «Теперь это дело прошлое. Помнишь ли ты разговор наш 14-го декабря, когда мы сходили с крыльца, чтоб ехать в Сенат за манифестом? Ты сказал мне: «Еслиб я знал, что ты умеешь хранить тайну, то сообщил бы тебе секрет». Я отвечал: «не хочу знать твоих глупых секретов». — «Ну, ну, не сердись! Скажу тебе, что Александр Бестужев бежит в эту ночь». На это я возразил: «Так вот твой секрет! Что тут дивного? Бестужев, адъютант герцога Виртембергского, конечно нагрубил или сделал какую-либо неприятность

великому князю (так мы называли тогда Николая Павловича), и теперь струсил. Скажи, пожалуйста, кто тебе тогда открыл это?» Булгарин отвечал, смутившись: «Это мне сказала т а н т а»,[1] и прервал разговор. На другой день, 25-го июня, пришел он ко мне поутру и, нашедши несколько чужих, повел меня в другую комнату и сказал дрожащим голосом с умилительным видом: «Любезный Греч! Понимаю, что ты, как верноподданный государя, обязан доносить ему обо всем, что может быть ему полезно. Но мне, как старому другу, сделай одолжение. если ты, по долгу присяги, донес об нашем разговоре фон-Фоку, признайся откровенно, чтоб я мог принять мои меры».

Я не знал, сметься ли мне или сердиться этому глупому навету, и отвечал: «Если ты думаешь, что я подлец, то я хочу, чтоб ты, по крайней мере, не думал того же о фон-Фоке. Требую, чтоб ты непременно сегодня же поехал со мною к нему и узнал, что это за человек».

Мы действительно отправились на дачу к фон-Фоку, и я представил ему Булгарина с следующими словами: «Вот Булгарин, о котором я доносил вам, что он участвует в заго-

[1] Тетка жены Булгарина, известная в свете и литературе под названием т а н т ы, как говорит Измайлов о дворовой собаке: предобрая, презлая! Имя ее не раз встречалось в эпиграммах на Булгарина, например:

Где Булгарин Фаддей
Не боится когтей
Танты.

(*Н. Г.*)

воре Рылеева и Бестужева». М. Я. фон-Фок принял нас дружески. Булгарин рассыпался в любезностях и остротах и понравился, как хозяину, так и всему семейству; водворился у него в доме и посещал его ежедневно, но не доносил, а выспрашивал и выглядывал, не грозит ли какая-либо беда ему или «Пчеле». Он был представлен фон-Фоком и Бенкендорфу, кланялся, льстил и хвалил по-польски, но никогда не был употребляем по секретным делам и только разве жаловался на обиды, которые претерпевал от Воейкова, Краевского и других журналистов. Он до крайности боялся жандармерии и, завидя издали лошадь с синим чапраком, хватался за шляпу и кланялся. Бенкендорфу понадобился польский секретарь. Фаддей рекомендовал ему друга своего, Леонарда Викентьевича Ордынского, человека честного, на сколько поляк может быть честен. Булгарин полагал, что будет чрез Ордынского еще лучше узнавать, не готовится ли какая напасть на «Пчелу», но ошибся в своем расчете. Ордынский, утвердясь на своем месте, поднял нос пред своим патроном и на вопрос Булгарина: «неужели ты не будешь сообщать мне, если кто-нибудь станет мне угрожать из графского кабинета»? — отвечал с благородною гордостью человека, не имеющего нужды в спрашивающем: «Ничего тебе не скажу, ибо не хочу осрамить твоей рекомендации, и ни в каком случае не нарушу моих обязанностей ни для кого». Булгарин опешил, испугался неожиданной честности своего бывшего друга и клиента и даже стал его бояться. Ордынский не только не

прекращал с ним дружбы, но сблизился с ним еще более, водворился у него в доме и стал хозяйничать и командовать, как у себя. Булгарин не смел пикнуть и предоставил ему делать что угодно. До каких пределов простиралась эта уступчивость, по совести, сказать не могу. Она прекратилась только смертью Ордынского в мае 1852 года. Булгарин почтил память его в «Северной Пчеле» великолепным некрологом. Он имел все причины оплакивать Ордынского, который удерживал его от многих необдуманных и даже неблагородных поступков. Еслиб Ордынский был в живых до 1856 года, не последовало бы тех непростительных подвигов против меня, которыми Булгарин посрамил свою память.

Люди, незнающие дела, обвиняют Булгарина в том, будто бы он донес на родного племянника своего, подпоручика генерального штаба Демьяна Александровича Искрицкого в том, что он был у Рылеева в собрании мятежников 13-го декабря. Это сущая ложь. Искрицкий приходил ко мне 14-го декабря часов в 12 утра; потом остановился под окнами моей квартиры в доме Бремме, на углу Исакиевской площади и Новоисакиевской улицы, и простоял часов до четырех, то есть до сумерек. На третий день приходит ко мне Булгарин и рассказывает, что Искрицкий объявил ему, что накануне мятежа он был у Рылеева, видел некоторых офицеров и других, но в разговорах и суждениях их не участвовал. Булгарин прибавил, что это объявление его сконфузило, потому что у него, может быть, спросят, знает ли он о присут-

ствии Искрицкого у Рылеева: что делать в этом случае? Я отвечал: «Если спросят, то отвечай правду, а пока не спрашивают, молчи». В это время Булгарин был в страшной тревоге и всячески старался допроситься, что происходит в Следственной Комиссии, кто и что отвечает, и т. п. Между тем, брат Демьяна, Александр Искрицкий, бывший тогда юнкером в Артиллерийском Училище, пришел к Булгарину в небытность его дома и попросил его жену отдать ему книгу его, назвавши ее Lenchen, как называли ее до свадьбы, бывшей за четыре месяца пред тем. Вдруг выскочила танта из другой комнаты и закричала: «Мой племянниц нет есть Lenchen. Он есть Frau Capitänin von Boulgarin».[1] Искрицкий отвечал, улыбаясь: «Она все та же наша liebes Lenchen»,[2] и ушел с книгою. Когда Булгарин воротился домой, танта вскинулась на него: «К чему же вы женились на Lenchen, когда ваши племянники трактуют ее, как девку? Сейчас приходил ваш племянник Александр и разругал ее наповал!» Булгарин вспылил, сел за письменный стол и настрочил к Демьяну ужаснейшее письмо, назвав отца его взяточником, а мать (свою сестру) непотребною женщиной, спрашивал, как брат его, Александр, дерзнул разругать благородную женщину, и грозил приколотить всех их. Вскоре затем Демьян явился к Булгарину, у которого сидел тогда в гостях Владислав Максимович Княжевич и, держа в руках письмо, спросил:

[1] Жена капитана фон-Булгарина.
[2] Милая Леночка.

— Кто это написал?

Булгарин, побледневши, отвечал «я!»

— Так вот тебе, подлец! — возразил племянник, ударив его в щеку. Булгарин отвечал тем же. Княжевич поспешил уйти. В ожесточенной драке они приколотили друг друга. Лицо Булгарина покрылось синяками, он сорвал с Искрицкого эполеты и аксельбант, и оба они слетели с лестницы. На другой день явился ко мне Булгарин в синих очках, которые носил после всякого подобного побоища, и объявил: «Беда мне. Я побил вчера подлеца Демьяна и теперь вижу, что я погиб. Он донесет, что я знал о присутствии его в собрании у Рылеева».

Я старался успокоить его, но он был неутешен. Чрез несколько дней встретился с ним Андрей Андреевич Ивановской, чиновник канцелярии Следственной Комиссии, и сказал ему: «Бедный Искрицкий! его возьмут завтра. Доискались, что он был накануне 14-го числа в совете у Рылеева». Булгарин обмер и, воротясь домой, написал Демьяну Александровичу, что имеет сообщить ему о важном деле, и просил его прийти.

Демьян, думая, что случилось что-нибудь с его отцом или матерью, прибежал немедленно. Булгарин, указывая ему на стакан с водою, сказал:

— Смотри, Демьян, осьмой стакан холодной воды пью и не могу утолить огня, который жжет меня. Тебя возьмут завтра.

Демьян Александрович отвечал:

— Покорнейше вас благодарю за донос.

— Нет,—возразил Булгарин, бросившись на колени и сложив пальцы накрест: — клянусь тебе сединами моей матери, я не доносил на тебя.

— Так почему же вы это знаете?

— Узнал случайно,—сказал Фаддей: — но от кого, сказать не смею. Поверь мне, клянусь.

— Дудки! — промолвил Искрицкий и пошел домой.

На другой день явился в чертежной Топографического Депо адъютант Кутузова, полковник Манзей, и спросил у бывших там офицеров.

— Кто из вас господин Искрицкий?

— Я,—отвечал Демьян Александрович: — что вам угодно?

— Пожалуйте со мною.

— Куда? в крепость?

— Точно так!

— Иду.—Прощайте, господа,—сказал он товарищам: — это штуки Булгарина.

Чрез несколько недель приехал в Петербург Александр Михайлович Искрицкий. Булгарин просил меня пойти к нему и объяснить дело. Искрицкий, который был всегда очень хорош со мною, встретил меня с огорчением, но учтиво, и, когда я заговорил о Булгарине, прервал меня словами:

— Ради бога, Николай Иванович, не говорите об этом подлеце, которого я одевал, обувал, кормил, когда он возвратился из плена, нагой, босой и голодный. Не верю никаким доказательствам.

— Итак, отложим это дело до освобождения Демьяна Александровича: он приговорен

к шестимесячному аресту в крепости: это время пройдет скоро, и тогда я докажу вам истину моих слов.

В продолжение ареста, посылал я к отцу французские книги для чтения Демьяну, и он обходился со мною дружески. Наконец, осенью 1826 года, приходит ко мне Булгарин и говорит: «Демьян выпущен и уже дома. Сделай милость, поди туда и уладь наше дело». Я пошел с удовольствием. Демьян лежал на канапе в гостиной. Увидев меня, он вскочил и бросился меня обнимать, благодаря за неоставление его в крепости. И отец и мать благодарили меня со слезами за мое участие. Когда улеглись первые порывы, я сказал молодому человеку:

— Демьян Александрович! Теперь ваша обязанность примирить ваших родных, объяснив, как было дело. Ведь не Булгарин донес на вас.

Демьян покраснел и смутился.

— Помилуйте, Николай Иванович, — сказал отец его: — что вы нас смущаете, говорите о человеке, которого мы все ненавидим и презираем. Сын мой встал из могилы полумертвый, а вы напоминаете ему о подлеце, который его сгубил было.

— Александр Михайлович, — возразил я: — я думал, что принесу вам удовольствие, помирив Булгарина с его роднею, а если вам это неугодно, делайте как хотите. Я не имею в этом никого голоса.

Поговорив еще несколько минут, я отправился к Булгарину и объявил ему о моем неуспехе. Тем дело и кончилось. Демьяна пере-

вели тем же чином в оренбургский гарнизон и, когда открылась война с Персиею, послали на Кавказ. Он служил очень усердно, сражался храбро (при графе П. П. Сухтелене) против неприятеля и, при заступничестве этого благороднейшего человека, конечно, выбрался бы из крайнего положения, но не дожил до того: и умер от болезни в селении Царские Колодцы. Впоследствии узнал я от Сухтелена, что он до конца своей жизни называл Булгарина виновником его несчастия. Это было нехорошо. На него показал в Следственной Комиссии граф Коновницын, а Булгарин только вел себя, как безмозглый поляк, но никогда не думал доносить. Эта клевета чернила Булгарина при жизни, чернит и по смерти. Долгом поставляю протестовать против такой несправедливости. Все произошло от трусости (lacheté) Булгарина, смешанной с дерзостью и необузданностью нрава. Всему источником была гнусная, злая баба (танта), которую сам Булгарин ненавидел в душе своей.

Я сказал выше, что смерть Ордынского отняла у Булгарина последнюю нравственную опору: он перестал бояться строгости Ордынского и предался влечению всех страстей своих.

Теперь расскажу мои последние сношения с ним. В 1838 году, когда мы передавали «Пчелу» Смирдину и брали себе в сотрудники Полевого, составлен был наш бюджет, по которому сын мой, Алексей, получал за сотрудничество в год по три тысячи рублей ассигнациями. Года чрез три Булгарин вздумал отнять у него эти деньги под тем предлогом, что я, живучи за границею, должен платить ему за труды от

себя, а не из общей кассы: он выпустил из виду, что сам проводил бо̀льшую часть года в Дерпте и в Карлове и в это время там не занимался «Пчелою» непосредственно. Прилагаю письмо, которым он заявлял моему сыну свою претензию на эти деньги. Всего грустнее и подлее в этом покушении то, что он старается уверить моего сына, будто я не люблю его так, как любит его он, Булгарин. Сын мой отвечал письмом, которое равномерно прилагаю. [1] Материальным следствием этой переписки было то, что сын мой перестал получать из кассы «Пчелы» по 3 т. р., и я в то же время ассигновал ему из моей частной кассы по 5.000 рублей. Морально же этот ответ моего сына глубоко уязвил Булгарина, и когда я, в 1847 году, сбираясь долее пожить за границею, хотел передать мои дела в «Пчеле» в собственность моему сыну при моей жизни, Булгарин объявил свое согласие, под тем условием, чтоб я за эту передачу заплатил ему, Булгарину, десять тысяч рублей. Разумеется, что после этого передача не состоялась.

К этому принадлежит любопытный эпизод подвигов Булгарина. Он стал сообщать мне разные пустые и нелепые статьи, переводные и оригинальные, сыновей своих Болеслава и Владислава, из коих первый был сущий идиот, и просил печатать в «Пчеле» под их именем. Ему хотелось сделать их сотрудниками.

Чрез несколько времени спрашивает он у нашего письмоводителя Кузнецова:

[1] Письмо это, равно как и письмо Булгарина, в рукописях Греча не находится; см. комментарии.

— Сколько получает Алексей Николаевич за участие в «Пчеле?»

— Сколько? Ничего, — отвечает Кузнецов: — ведь вы у него отняли доход, который он получал.

Фаддей забыл об этом своем подвиге и надеялся заставить меня платить такую же сумму его детям, какую получал мой сын. С этой минуты прекратилось сотрудничество детей его, и он уже не упоминал о их талантах, которые дотоле превозносил до небес.

Теперь следует приступить к последнему, самому интересному и продолжительному акту жизни и подвигов Булгарина и действий его со мною, который дает полное понятие о его нравственном характере и о преобладавших в нем страстях.

В 1840 году, по миновании срока первому нашему контракту, Булгарин начал крепко настаивать на заключении нового и сам написал его вчерне со всякими для меня уступками, например, доход с «Пчелы» полагал он делить не поровну, а мне получать пять тысяч рублей (асс.) более против него; в случае его смерти, я обязывался выплатить его жене и детям в первый год три тысячи, во второй две тысячи, в третий тысячу рублей асс., тем и прекращались все мои обязанности, и «Пчела» поступала в мою исключительную и безусловную собственность. Я не знал, чему приписать такую щедрость, думал, что ему насолила жена или танта, и пр., но, разумеется, охотно согласился. Контракт был заключен во всей форме, подписан нами и явлен у нотариуса. Вскоре, видно, Булгарин раскаялся и однажды с замешательством объявил

мне, что желает еще, чтоб я выделил после его смерти известную сумму на воспитание его детей. Я согласился охотно; он бросился обнимать и целовать меня. Чрез несколько времени, когда пришлось сводить счеты, управляющий наш (Монтандр) объявил мне, что Булгарин велит делить доход поровну, а не так, как положено было в контракте. Я отвечал, что это конечно произошло по ошибке, и при первом случае спросил о том у Булгарина. Он смешался, стал поглядывать в сторону и объявил, что объяснится об этом со мною после. Я не возражал, и тем дело кончилось.

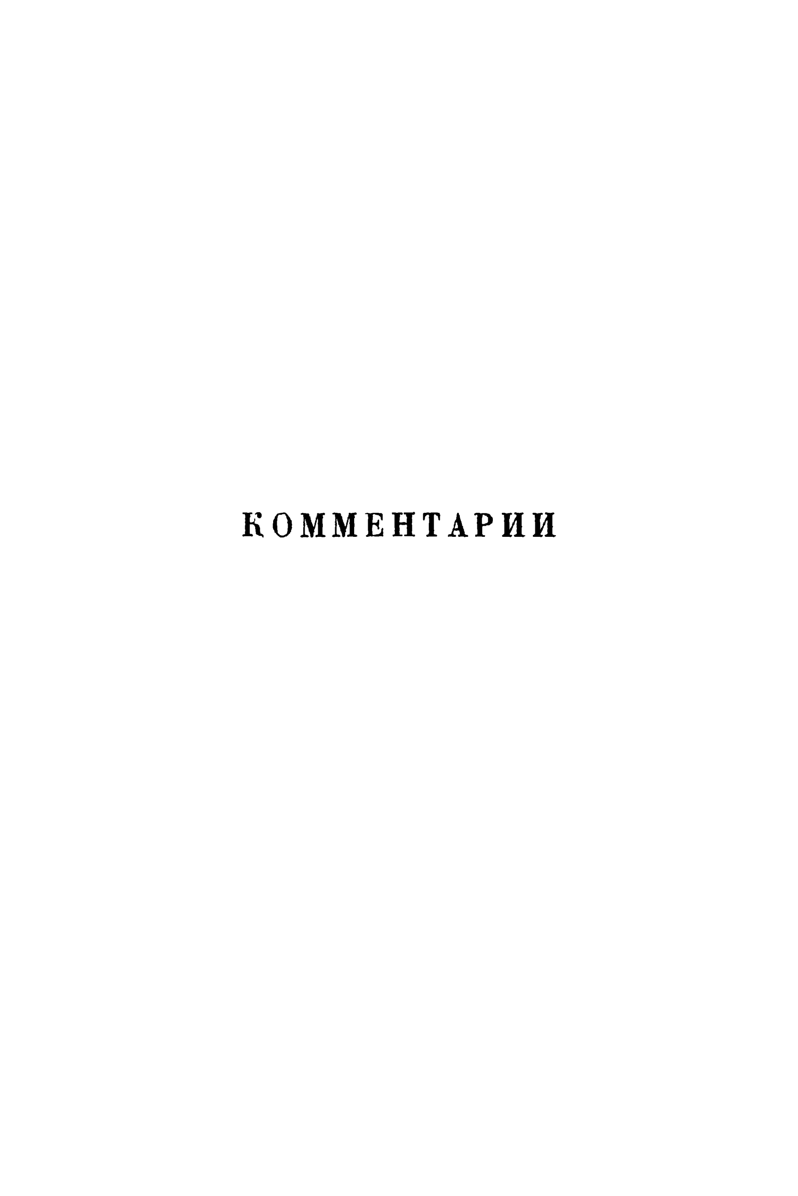
В конце 1847 года, когда мне минуло шестьдесят лет, вздумал я сложить с себя бремя издания «Северной Пчелы» и передать мои права сыну моему Алексею. Для этого обратился я с просьбою о позволении на сию передачу к министру Просвещения гр. Уварову и шефу жандармов А. Ф. Орлову, и получил от них письменное на то согласие. Засим написал я о том к Булгарину, который тогда находился в Дерпте, в твердом уповании, что и он согласится, но я ошибся в расчете: он, как сказано выше, не хотел признать в сыне моем равного себе, требовал себе звания главного редактора и, в случае моей смерти и перехода половины «Пчелы» в полное обладание моего сына, уплаты ему (Булгарину) десяти тысяч рублей серебром. Видя такое непостижимое и дерзкое упорство, мы с сыном решились оставить дело в прежнем положении.

Доколе жив был сын мой, я молчал о контракте, но по смерти его, в 1851 году, просил

у Булгарина предъявления мне подлинного, потому что копии в бумагах сына моего не оказалось. Он отвечал из Дерпта, что контракт находится в Петербурге, а приехав в Петербург, сказал, что контракт вероятно остался в Дерпте и он его отыскать не может.

В начале 1852 года возобновил я свои требования. Булгарин отвечал мне бумагою следующего содержания, на которую я возразил по пунктам. [1]

[1] На этом обрывается рукопись (ПД) статьи Греча о Булгарине.



КОММЕНТАРИИ

Н. И. Греч начал «Записки о моей жизни» 31 мая 1849 года, как это видно из пометки его на первой странице рукописи. Писал он между делом и не торопясь. Дальнейшие даты, приведенные в примечаниях к тексту первых же десятков страниц — 2 сентября 1849 г., 7 октября 1850 г., 4 августа 1851 г. — показывают медленный темп этой работы. Лишь осенью 1851 года Греч сильно продвинул вперед свои «Записки», закончив к 7 ноября этого года всю их первую часть. Подлинник этой части хранится в рукописном отделении Публичной Библиотеки и представляет собой переплетенную альбомную тетрадь в восьмую долю листа, состоящую из 157 мелко исписанных с обоих сторон страниц. Эта рукопись Публичной Библиотеки условно обозначается нами буквами ПБ. Других частей воспоминаний Греча в автографических его рукописях не сохранилось, если не считать небольшой статьи о Воейкове, хранящейся ныне в рукописном отделении библиотеки Академии Наук, о чем будет сказано в комментариях к этой статье.

Повидимому без большого перерыва приступил Греч ко второй части своих «Записок»; это было, вероятно, в 1852 году. Он написал с десяток страниц — и надолго отложил перо, отвлекаемый целым рядом и личных, и общественных обстоятельств. В числе их несомненно были — и длительная поездка Греча за границу в 1853 году, и начавшаяся в это же время борьба его с Булгариным из-за «Северной Пчелы», и война 1853—1856 гг., и более всего — то общественное пробуждение, которое началось после 1856 года и которое ставило крест на всей публицистической и общественной деятельности Греча. Былые друзья и знакомые Греча, декабристы, вернулись из тридцатилетней каторги и ссылки; николаевский режим рухнул. Надо было осмыслить для самого себя — что же случилось? И прежде всего вспомнить — что случилось тридцатилетием раньше, в 1825 году? Почему и как могли по-

явиться декабристы, тогда, в 1825 году, сопричтенные правительством к разбойникам и преступникам, а теперь, в 1856 году, вернувшиеся из каторги и ссылки в ореоле славы. Желание понять это — а также и оправдать самого себя, — заставило Греча взяться за перо; не продолжая прерванных «Записок о моей жизни», принялся он в 1857 — 1858 г. за «Воспоминания старика». Обе части их, посвященные характеристике эпохи Александра I и декабристам, были написаны Гречем в эти два года; они составляют совершенно самостоятельное целое и должны были бы послужить лишь зарисовкой общественного фона для продолжения «Записок о моей жизни», прерванных в 1852 году как раз на описании начала эпохи Александра I. В связи с этими «Воспоминаниями старика», очевидно тогда же, написан и целый ряд отдельных экскурсов (в роде «Дела Госнера») и характеристик деятелей александровского времени, выделенных самим Гречем в особые «примечания».

Вся эта работа была закончена в 1859 году. Можно было бы приступить к продолжению и окончанию прерванных в 1852 году «Записок о моей жизни». Но — «тяжесть нравственная и душевные заботы», о гнете которых писал тогда сам Греч, отодвинули продолжение «Записок» еще на два года. Приступая к нему, Греч записал: «Здесь был огромный антракт в составлении моих записок. Думаю лет пять, если не более. Возобновляю их 4 октября 1861 года...» Он ошибался: перерыв был не в пять лет, а по крайней мере лет в 8—9. И продолжению этому не суждено было оказаться слишком продолжительным: Гречу было уже семьдесят пять лет, писал он медленно и до своей смерти в течение последних шести лет написал только несколько десятков страниц. Вторая часть «Записок о моей жизни» подошла к рассказу о женитьбе Греча на В. Д. Мюссар — и оборвалась на этом. А так как женитьба эта имела место в 1808 году, то вот, следовательно, эпоха, до которой доведены «Записки о моей жизни». Можно сказать, что Греч только начал их и описал лишь первое двадцатилетие своей жизни.

Но было и продолжение этих записок,—увидевшее свет задолго до того времени, когда Греч задумал писать связные и большие воспоминания. Еще в 1833 году

он напечатал в сборнике «Новоселье» отрывок, озаглавленный «Воспоминания»; через несколько лет после этого, в сборнике «Новогодник» (1839 г.) он поместил свои «Воспоминания юности»; в февральских номерах «Северной Пчелы» за 1839 год (№№ 28 и 29) он напечатал статью «Начало Сына Отечества», с подзаголовком «Отрывок из литературных записок». Все эти воспоминания, если и не являются непосредственным продолжением прерванных впоследствии на 1808 годе «Записок о моей жизни», то во всяком случае говорят о литературных явлениях именно эпохи первого двадцатилетия XIX века и могут считаться как бы завершением второй части «Записок», написанным четвертью века ранее самих «Записок о моей жизни». Поэтому непосредственно вслед за недоконченными «Записками» мы помещаем эти статьи Греча, напечатанные им самим еще в 30-х годах.

К такому расположению материала приводит нас сохранившаяся в копии полная рукопись «Записок» Греча, им самим тщательно проредактированная в самом конце жизни, в 1861—1866 годах. Переписанная большею частью тщательным писарским почерком, рукопись эта правлена дрожащею, старческою рукою Греча. Эти поправки и вставки настолько трудно поддаются прочтению, что несколько слов в тексте так и остались неразобранными нами (все такие слова обозначены: «нрзбр»). Но дело не в этих сравнительно незначительных авторских поправках, а в том, что расположение материала в авторизованной копии дано именно такое, каким оно приводится в настоящем издании: сперва идет первая часть «Записок о моей жизни», затем, после неоконченной второй части, идут переписанные с печатного текста «Новоселья», «Новогодника» и «Северной Пчелы» три указанные выше статьи; новый отдел начинают собою «Воспоминания старика», тоже разделенные на две части. Отдельные статьи — «Дело Госнера», «А. А. Аракчеев», «В. Ф. Боголюбов» и др. — чаще всего с особой пагинацией, перемежают собою текст, с указанием, что их нужно отнести в примечания. Так построена вся эта книга воспоминаний Греча и в настоящем издании.

Авторизованная копия, о которой здесь идет речь, принадлежала некогда знаменитому архиву П. Я. Даш-

кова, ныне перешедшему в Пушкинский Дом Академии Наук; эта копия условно обозначается нами буквами ПД. Она представляет собою три тома in folio в тисненных переплетах. Именно с этой авторизованной копии и печаталось первое издание «Записок о моей жизни», вышедшее в 1886 году, о котором было уже сказано в предисловии к настоящему изданию.

Редактор этого издания 1886 года, П. С. Усов (бывший когда-то, в 50-х годах, соредактором Греча и Булгарина в «Северной Пчеле») проделал очень большую работу, чтобы привести «Записки о моей жизни» в тот цельный вид, какой они имели в издании 1886 года. Быть может именно ему, а не Гречу, принадлежит то распределение материала воспоминаний, какое мы находим в авторизованной копии трех томов ПД; несомненно ему принадлежит разделение «Записок» на главы, которого нет ни в подлинной рукописи первой части, ни в авторизованной копии воспоминаний; ему принадлежат все сокращения в тех местах, где встречаются повторения в тексте разновременно написанных частей воспоминаний; ему принадлежат, наконец, и исправления текста, и ряд примечаний к нему. Но вся эта работа не могла быть использована при установлении текста настоящего издания, в котором впервые восстановлен подлинный текст воспоминаний Греча без всякого подразделения их на главы.

Остается сказать еще об одной части этих воспоминаний—об отдельных статьях, занимающих в копии ПД весь третий том; они и в настоящем издании выделены в особый отдел. Значительная часть этих статей («Фаддей Булгарин», «А. Ф. Воейков», «Юбилей Крылова» и др.) была написана Гречем в 1861—1866 гг., на что в некоторых из них есть прямые указания. Статья «Фаддей Булгарин» осталась незаконченной и оборвана почти на полуслове; остальные представляют собою экскурсы, посвященные либо характеристике лиц, упоминавшихся в тексте воспоминаний, либо рассказу о различных литературных эпизодах 20—30-х годов. Как уже указано выше, сохранилась в рукописном отделении библиотеки Академии Наук рукопись статьи «А. Ф. Воейков», по которой и проверен текст соответствующей статьи в настоящем издании; подлинных рукописей остальных статей не удалось найти.

Всем перечисленным выше не исчерпываются воспоминания Греча, напечатанные еще им самим, или увидевшие свет уже после его смерти. Из числа последних в настоящую книгу вошла лишь одна статья «История первого Энциклопедического Лексикона в России», тесно связанная со всем циклом записок Греча и появившаяся вскоре после его смерти в «Русском Архиве» (1870 г. № 7). Остальные же статьи «воспоминательного» характера, опубликованные еще самим Гречем и не предположенные им к включению в состав «Записок о моей жизни», столь многочисленны, что составили бы еще целый том такого же размера, как настоящий. Здесь можно для будущих исследователей мемуарной литературы вообще и Греча в частности отметить лишь главнейшие из них. Это прежде всего воспоминания Греча о В. И. Красовском, напечатанные еще в «Сыне Отечества» 1825 года (т. XCIX, стр.427—434). Затем — очень интересные воспоминания Греча о встречах его в Париже с целым рядом известных в то время деятелей литературы; очерки эти под заглавием «Знаменитости парижские» и с подзаголовком «Из путевых писем Н. Греча» напечатаны были в «Северной Пчеле» 1838 года (№№ 231—233). Очерки эти тем интереснее, что двадцатью годами позднее, в той же «Северной Пчеле» 1858 года (№ 236) Греч дополнил эти свои воспоминания о Вильмене, Альфонсе Карре, Сент-Беве, Викторе Гюго—и заслужил ядовитый ответ Герцена в статье «Генералы-от-цензуры и Виктор Гюго на батарее Сальванди» («Колокол» 1859 г. № 35). К воспоминаниям несомненно относятся и многочисленные письма Греча во время частых его поездок за границу; ряд их начинается «Путевыми письмами издателя Сына Отечества Н. Греча к редактору А. Измайлову», появившимися в «Сыне Отечества» еще в 1817—1818 г. (тт. XXXIX — XLVIII, всего около 200 страниц), и кончается «Письмами с дороги П. С. Усову», напечатанными в «Северной Пчеле» 1853 года. Наконец интересную часть литературных воспоминаний Греча составляют совершенно неизвестные теперь «Газетные заметки» его, помещавшиеся им под псевдонимом «Эрмион» в «Северной Пчеле» 1857 — 1858 г.; здесь мы находим воспоминания его о Крылове, Гнедиче, Оленине и многих других деятелях русской литературы и культуры начала XIX века

(«Северная Пчела» 1857 г. №№ 108, 119, 125, 131, 137, 147, 159, 189 и др.). Если прибавить к этому воспоминания Греча о графе Канкрине («Северная Пчела» 1846 г. №№ 15 и 16) и две отдельные брошюры его — «Воспоминание о Д. М. Княжевиче» (Спб. 1860) и «Памяти А. К. Востокова» (Спб. 1864), то все перечисленное выше составит целый том до сих пор неизвестных новых воспоминаний Греча, которые мы здесь только перечисляем для работ будущих исследователей.

Вскоре после смерти Греча отрывки из его «Записок» стали появляться в исторических журналах того времени, «Русском Архиве» и «Русской Старине». Впрочем еще и при жизни его вторая часть «Воспоминаний старика» (о декабристах) была напечатана без его ведома в «Полярной Звезде» Герцена (1862 г. вып. II) и вскоре частично перепечатана в книге «Собрание стихотворений декабристов» (Лейпциг, 1863). В обоих случаях статьи эти были анонимны и носили заглавие «Из Записок не Декабриста». Через год после смерти Греча эта часть воспоминаний была снова напечатана в «Русском Вестнике» 1868 года. В тексте «Полярной Звезды» есть несколько вариантов и разночтений; в одном месте этот текст полнее текста рукописного списка ПД. Все печатные журнальные тексты отрывков из воспоминаний Греча приняты во внимание при установлении текста настоящего издания; но основным должен считаться, конечно, текст ПД, как проредактированный самим автором в последние годы его жизни.

Воспоминания Греча — конечно не такое произведение, каждый вариант и каждое разночтение текста которого представляло бы интерес. Поэтому из довольно многочисленных разночтений и вариантов нами даны в примечаниях под текстом лишь такие, которые по той или иной причине являются характерными. По мере возможности соблюдена характерная для той эпохи стилистика и пунктуация автора, в свое время считавшегося одним из самых крупных авторитетов по вопросам грамматики.

В квадратные скобки поставлены слова, раскрывающие для большей ясности сокращения Греча — чаще всего фамилии. Подстрочные примечания, принадлежащие Гречу, обозначены поставленными в конце их в скобки инициалами Н. Г.

И в рукописи ПБ, и в авторизованной копии ПД — текст воспоминаний написан почти сплошь, с крайне редкими абзацами, встречающимися лишь через много страниц один от другого. Роль абзацев заменяли у Греча точка и тире после нее. В таких местах нами восстановлены абзацы для большего удобства чтения.

К своим «Запискам» Греч собирался присоединить обширный ряд «оправдательных статей». В копии ПД находятся приложенные к первой части «Воспоминаний старика» две записки профессора Плисова о разгроме Руничем Петербургского университета в 1821 году, французское письмо профессора Германа к Руничу, записка полковника Вадковского о бунте Семеновского полка в 1820 году. В издании 1866 г. все эти материалы напечатаны, при чем первая записка Плисова ошибочно внесена в текст, а письмо Германа столь же ошибочно дано в примечании под текстом; остальные две записки правильно даны в приложении. Несмотря на весь бытовой и исторический интерес этих документов — перепечатывать их еще раз в настоящем издании было бы делом излишним, так как они, во-первых, не принадлежат Гречу, и главное, во-вторых, не представляют в настоящее время никакого интереса новизны, будучи уже не раз напечатаны в различных изданиях, о чем подробнее сказано в соответственном месте комментариев. Вот почему отдела «Оправдательных статей», к которому Греч трижды отсылает в различных местах своих воспоминаний — читатель не найдет в настоящем издании.

Громадная литература по истории эпохи Павла I и Александра I и по истории литературных течений первой четверти XIX века дает возможность широких комментариев к «Запискам» Греча. По условиям места мы однако были лишены возможности развернуть этот комментарий достаточно широко; пришлось ограничиться самым сжатым и скупым рядом заметок, либо вскрывающих ошибки (весьма немалочисленные) в изложении Греча, либо освещающих по иному ряд затронутых им лиц и вопросов. Часто приходится ограничиваться лишь ссылками на имеющуюся по тому или иному вопросу литературу, указывать ее и отсылать к ней читателей.

Иллюстрационный материал дан с таким выбором, чтобы не повторять уже известных репродукций. Благодаря любезности сотрудников Пушкинского Дома и Публичной Библиотеки, удалось сопроводить настоящее издание целым рядом впервые появляющихся в печати портретов и карикатур. Список их приведен в конце настоящих комментариев.

Ограничиваясь здесь этими основными общими разъяснениями, все остальные комментарии даем, следуя за текстом воспоминаний Греча.

ЗАПИСКИ О МОЕЙ ЖИЗНИ

Часть первая

Первая часть «Записок о моей жизни» впервые была напечатана в «Русском Архиве» 1873 г., т. I, стр. 225—341 и 673—735, с рядом пропусков и вариантов; основным текстом должен считаться авторизованный текст копии ПД, воспроизводимый в настоящем издании. Рукопись ПБ после заглавия и пометки «31 мая 1849» (сохраненной и в копии ПД) имеет начало подразделения на главы: «Глава первая. Введение. Происхождение моей фамилии». Но уже после второй главы Греч отказался от дальнейших подразделений своих записок на главы; подразделение это в издании 1886 года произвольно введено его редактором, П. С. Усовым, и потому устранено из настоящего издания.

На первых страницах «Записок» Греч говорит о своих немецко-чешских предках, указывая, что розысками их занимался Булгарин. В этом месте копии ПД вклеено следующее письмо к Гречу от неизвестного (судя по почерку — не Булгарина):

«В 1580-м году Стефан Баторий пожаловал дворянское достоинство (nobilitacya) Ивану Гречу (Gretczsch Jan). Законом 1578 года постановлено было, что король может жаловать дворянство только военно-служащим, лица, коим оно пожаловано, вносимы были в особый протокол, хранившийся в коронных метриках. Пожалование Греча внесено в протокол на стр. 173. Из сего видно, что Греч находился при Батории в военной службе, ибо фамилии тех, коим дворянство давал Сейм, записывались в Сеймовые постановления (Конституции), которые все напечатаны, и в них Греча нет. В Швед-

скую войну многие акты, а между ними и коронные метрики перевезены в Штокольм. Шведское правительство по трактату Оливскому, 3-го мая 1660 года, обязалось все бумаги Польше возвратить, но сего не исполнило, и они по сю пору находятся в Швеции. Из протокола можно было бы узнать, откуда тот Греч, за какие подвиги пожалован дворянином и какой он имел герб?»

Греч подробно рассказывает о деде своем, Иване Михайловиче (Иоганне Эрнсте), переехавшем в 1738 году в Россию и поступившем на службу «профессором Гуманиорум» в Шляхетной Кадетский Корпус; дело об определении его профессором Греч приводит в начале своих записок.[1] Оно сохранилось в подлиннике, находится теперь в рукописном архиве Пушкинского Дома (№ 14579. LXXXV. 6. 5) и носит заглавие: «Дело о определении в Шляхетной Кадетской Корпус бывшего в Лейпциге магистера Философии Иогана Эрнста Греча: в професоры Гуманиорум. 1736 года. № 36». Из этой даты видно, что дело об определении деда Греча профессором началось за два года до указанного Гречем срока. Подробности можно найти в книге Н. Мельницкого «Сборник сведений о военно-учебных заведениях в России», тт. I—II (Спб. 1857). Указ Екатерины II о пенсии вдове И. М. Греча (1763 года) напечатан в «Сборнике Русского Исторического Общества», кн. VII, стр. 278.

Теперь надо сказать о ряде лиц и книг, упоминаемых Гречем на первых же страницах его записок. В самом начале (стр. 40) Греч восклицает: «кто не отдает справедливости единственному четверостишию Рубана!» Василий Григорьевич Рубан (1739 — 1795), журналист и поэт екатерининской эпохи, действительно прославился в свое время восьмистишием (а не четверостишием), посвященным фальконетовскому памятнику Петра I. В своем «Опыте краткой истории русской литературы» (Спб. 1822) Греч говорил о Рубане: «из собственных его сочинений перейдет к потомству одна его Надпись» (стр. 235). Она озаглавлена «К монументу Петра Первого», и из ее восьми строк особенно знаменитыми считались, действительно, четыре последние. Полностью надпись эта гласит:

[1] В настоящем издании это „Дело“ опущено.

Колосс Родосский, свой смири прегордый вид,
И нильских здания высоких пирамид
Престаньте более считаться чудесами:
Вы смертных бренными соделаны руками!
Нерукотворная здесь росская гора,
Вняв гласу божию из уст Екатерины,
Пришла во град Петров чрез невские пучины
И пала под стопы Великого Петра.

Строки эти были настолько знамениты, что их полувеком позднее вспомнил Пушкин в одном из примечаний своих к «Медному Всаднику», указывая, что Мицкевич по собственному признанию заимствовал свое описание памятника Петру I из этих строк Рубана.

Несколькими страницами дальше Греч рассказывает о своем посещении Дмитревского в 1821 году, накануне смерти этого великого русского артиста. Дмитревский (1733—1821) — театральный псевдоним Ивана Афанасьевича Дьяконова, сына ярославского священника; будучи в семинарии Дмитревский получил фамилию Нарыкова. О нем существует большая литература, часть библиографии которой дал Геннади в первом томе своего «Справочного Словаря о русских писателях и ученых» (Берлин, 1876). В словарь этот Дмитревский попал не как актер, а как писатель: ему принадлежит ряд переводов, а также и оригинальных пьес и стихотворений. Неоконченный портрет его работы Кипренского, о котором Греч говорит в своих записках, дан в репродукции к настоящему изданию (стр. 45). Об этом портрете, висевшем когда-то в кабинете Гнедича, Греч подробно рассказывает в «Газетной заметке», подписанной псевдонимом «Эрмион» и напечатанной в «Северной Пчеле» 1857 года (№ 159).

На следующих страницах Греч подробно говорит о знаменитом фельдмаршале Румянцеве-Задунайском и довольно ясно намекает на возможность того обстоятельства, что граф Румянцев-Задунайский был отцом матери Греча. Комментарий о подобных знаменитых и слишком известных деятелях екатерининского и последующих времен не входит в задачу настоящего издания, так как сведения о них читатели легко могут найти в специальных изданиях и особенно в многотомном «Русском биографическом словаре».

Другое дело — близкая и родственная Гречу семья Безаков, о представителях которой так подробно говорится в «Записках».[1] Они были слишком незначительными государственными и литературными деятелями, чтобы заслужить большой биографический и библиографический материал. Впрочем сведения о семье Безаков можно получить в «Фамильном архиве Безак», а о родоначальнике этой семьи, Христиане Христиановиче Безаке (он же — Готлиб Христиан Безак) здесь надо сказать несколько слов, как о самом близком старшем родственнике Греча в детские годы последнего. Х. Х. Безак (1727 — 1800) был, как и дед Греча, профессором Шляхетного Кадетского Корпуса и автором целого ряда книг и брошюр в екатерининскую эпоху. Он издал «Краткое введение в бытописание Всероссийской Империи» (Спб. 1775) и брошюру «Наставление об изящных действиях просвещения разума, читанное императорского Шляхетного Сухопутного Кадетского Корпуса господам Кадетам Четвертого и Пятого возрастов, Ноября 13 числа 1787 года» (Спб. 1787). Кроме того он издал несколько брошюр и на немецком языке, в том числе «Philosophische Aufsätze» («Was ist Lehrmethode?»; «Ueber Syntesis und Analysis»). В книге Георги «Описание Санкт Петербурга», переведенной сыном Х. Х. Безака, П. Х. Безаком, мы находим следующие сведения об отце:

«Безак, из Лузации; Надворный Советник, Кавалер ордена Святого Владимира. Профессор Философии при Сухопутном Кадетском Корпусе»; далее идет перечисление его книг: «Введение в бытописание Всероссийской Империи. Наставление об изящном действии просвещения разума. О способе обучать. О слагательном и раздробительном порядке; оба последние на немецком языке» («Описание Санкт Петербурга», Спб. 1794; стр. 552).

Полное заглавие последней книги, представляющей теперь большую библиографическую редкость и большую историческую ценность, гласит: («Описание российско-императорского столичного города Санкт Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного. Сочинение И. Г. Георги» (Спб. 1794). Переводчик,

[1] В настоящем издании эти подробности сокращены.

П. Безак, посвятил свой перевод Екатерине II и дополнил его подробным описанием Эрмитажа. Об этой книге Греч говорит на стр. 81 своих записок, указывая, что это произведение «много способствовало к возбуждению детского моего любопытства и во многом его удовлетворило». О самом П. Х. Безаке он достаточно подробно говорит в своих записках; к словам его можно лишь прибавить, что в эпоху своей чиновничьей карьеры Безак отличался властолюбием и взяточничеством, обычными, впрочем, почти для всех великих и малых вельмож екатерининского и позднейших времен. Честностью отличался его непосредственный начальник, генерал-прокурор А. А. Беклешов, о котором Греч тоже не один раз упоминает в своих записках. Здесь кстати упомянуть и о другом генерал-прокуроре эпохи Павла I, П. Х. Обольянинове (1752—1841), тоже неоднократно упоминаемом в воспоминаниях Греча. Обольянинов одновременно стоял и во главе тайной канцелярии, чем объясняется общая ненависть к нему современников в это время. Позднейшие отзывы о нем и его деятельности — более благоприятны и отмечают его редкую по тем временам — и не только по тем временам — честность. О нем и о Беклешове (1745—1808) см. в книгах: «Сенатский архив», т. I (Спб. 1888); Иванов, «Опыт биографии генерал-прокуроров и министров юстиции» (Спб. 1863); Д. Б. Мертваго, «Записки», стр. 95—126 (М. 1867); в последней книге — подробная история ареста Обольянинова в ночь убийства Павла I.

Не менее подробно, чем о Безаках, Греч говорит о семье Брискорнов. Что касается семьи Брискорнов, то из нее достиг степеней известных только Максим Максимович Брискорн, бывший в те годы, когда Греч писал первую часть «Записок о моей жизни» (1849—1851), сенатором и товарищем государственного контролера; вскоре он был обвинен в прикосновенности к знаменитой миллионной растрате тайного советника Политковского (1853 г.), но оправдался и умер в звании члена военного совета и в чине действительного тайного советника (1872 г.).

На этих же страницах записок Греч говорит о целом ряде авторов и книг — и прежде всего ссылается на свои собственные произведения, теперь решительно

забытые. Так, он указывает (стр. 59), что характер бабушки своей, Христины Михайловны Фрейгольд, он старался изобразить в лице Алевтины Михайловны из своего романа «Черная женщина» 1834 года. Действительно, сравнение этого романа с позднейшими записками Греча показывает, что, характеризуя сатирическими красками одну из главных отрицательных героинь романа, Алевтину Михайловну, Греч во многом воспользовался теми семейными материалами, которые впоследствии подробно рассказал в своих записках. Несколькими страницами ниже (стр. 70), описывая осеннюю рубку капусты, «это северное собирание винограда», и один из эпизодов, связанный с жизнью его семьи, Греч указывает, что сцену эту он описал в своем романе «Поездка в Германию» (1830 г.). В романе этом не только описана связанная с позднейшими записками сцена рубки капусты («Сочинения Николая Греча», изд. 1855 г., т. II, стр. 137 — 140), но есть и много других автобиографических отзвуков. Так например, Александр Яковлевич Пятигорский этого романа (ibid., стр. 33 — 36) явно изображает собою дядю Греча, Александра Яковлевича Фрейгольда; в конце первой части записок (стр. 185—187) Греч говорит о крепостном человеке Афанасье Силантьеве, — Афанасий этот встречается на первой же странице «Путешествия в Германию»; в начале второй части записок подробно говорится о П. Х. Шлейснере — он изображен в романе «Поездка в Германию» в лице Карла Федоровича Миллера, на что указывает и сам Греч в своих записках (стр. 226). Автобиографическое значение обоих романов Греча очень велико и несомненно было бы отмечено в подробной биографии его, если бы Греч заслужил таковую.

Рассказывая о службе П. Х. Безака правителем канцелярии генерал-прокурора, Греч говорит, что одним из экспедиторов его был статский советник Клементий Гаврилович Голиков, «преданный бессмертию Ильиным в лице подьячего Клима Гавриловича Поборина» (стр. 85). Здесь идет речь о драме Н. И. Ильина (1777 — 1823) «Великодушие, или рекрутский набор», с громадным успехом поставленной на петербургской сцене в конце 1803 года (см. Арапов, «Летопись русского театра», стр. 158 — 165). Клим Гаврило-

вич Поборин в этой пьесе — подьячий, взяточник, плут и проныра, который, чтобы заработать пятьдесят рублей, составляет подложный приказ о рекрутском наборе; но плутни его раскрываются и все кончается его посрамлением (см. 2-е издание этой пьесы, Спб. 1807).

И еще одно литературное указание. Описывая семью Брискорнов, Греч говорит между прочим о Я. М. Брискорне, который был тифлисским вицегубернатором, и прибавляет: «жена племянника его, В. П. Фрейганга, описала его кончину в изданном ею путешествии на Кавказ» (стр. 105). Здесь речь идет о книге m-me Freygang «Lettres sur le Caucase et la Georgie, suivies d'un rélation d'un voyage en Perse en 1812» (Hambourg, 1816). Книга эта имела большой успех и была переведена с французского на все европейские языки, кроме русского. Описание смерти и похорон Я. М. Брискорна в 1826 году мы находим в письме 59 (из Георгиевска).

Сравнительно большой экскурс посвящает Греч Семену Великому, незаконному сыну Павла I, но приводит в этом экскурсе не совсем точные сведения. Семен Великий был сыном Павла, тогда еще наследника, не от «какой-то девы», а от Софьи Степановны Чарторижской, молодой вдовы, впоследствии вышедшей замуж за графа Петра Кирилловича Разумовского. Дальнейший рассказ Греча соответствует действительности, за исключением места о смерти Семена Великого. Он умер не в 1793 году в Кронштадте, а в 1794 году на Антильских островах, во время службы своей в английском флоте лейтенантом на корабле «Вангард», командированный русским правительством на эту службу для усовершенствования своих морских познаний (Д. Кобеко, «Цесаревич Павел Петрович», Спб. 1883, изд. 2-е, стр. 67—69; Castéra, II, 46). Соответствует действительности и то, что говорит Греч о переводе с немецкого Семеном Великим повести «Обидаг»: повесть эта, на немецком языке и с русским переводом Семена Великого была издана в 1786 году под заглавием — «Obidah, eine morgenländliche Erzälung. — Обидаг, восточная повесть. С немецкого на российский язык переведенная Семеном Великим, прилежным к наукам юношею». Греч не сообщает однако, кто был

автором этой повести, а им была сама Екатерина II, написавшая эту повесть для своего незаконного внука («Русский Архив» 1871 г., стр. 1276). Все то, что Греч говорит о товарищах Семена Великого по школе св. Петра — не совсем соответствует действительным фактам: товарищами его действительно были Виламов и Дружинин, поступившие с ним в школу почти одновременно; что же касается Брискорна, то он учился в ней двенадцатью годами ранее, а Миллер и Вестман поступили в нее лишь через пять лет после Семена Великого. Книга «Namens-Verzeichniss der Schüler der Hauptschule St. Petri» (P. 1862) дает следующий список этих погодных воспитанников школы св. Петра:

1768 г. № 260 . . . . Briscorn.
1780 » » 335 . . . . Welikoi, Simeon.
» » » 336 . . . . Willamow, Gregor.
1781 » » 339 . . . . Drushinin, Iacob Alex.
1784 » » 414 . . . . Westmann, Gabriel.
1785 » » 455 . . . . Mueller, Christian.

Об этих школьных сотоварищах Семена Великого Греч достаточно подробно говорит в примечаниях; о самом же Семене Великом он еще в сороковых годах давал сведения в письме к Я. Ростовцеву; черновик этого письма сохранился в дашковском архиве П.Д.

Закончив рассказ о Безаках, Брискорнах и прочих семьях, связанных с Гречем родством и знакомством, он переходит к описанию своего детства. Пьесы, которые произвели на него в детстве большое впечатление (стр. 110), можно найти в известной книге Арапова «Летопись русского театра» (Спб. 1861); что же касается книги «Детская библиотека Кампе», которую Греч выучил наизусть, то речь идет здесь (стр. 111) о книге адмирала Шишкова «Собрание детских повестей», в двух частях; книга эта была в значительной своей части переведена им с немецкого и выдержала несколько изданий (второе издание — Спб. 1806 — 1807).

Памятные Гречу с детства стихи Державина на свадьбу великого князя Александра Павловича (стр. 115)

были в то время действительно у всех на устах. Это знаменитое стихотворение Державина «Амур и Психея» начиналось строками:

Амуру вздумалось Психею,
Резвяся, поймать,
Опутаться цветами с нею
И узел завязать.

(Собрание сочинений Державина под ред. Я. Грота, т. I, стр. 538.) О Строгонове, Безбородко, Храповицком, Трощинском и прочих екатерининских вельможах, о которых Греч рассказывает на последующих страницах — не говорим ничего в настоящих комментариях в виду слишком большой известности этих имен, сведения о которых можно найти в любом большом справочном словаре; особенно отсылаем к многотомному «Русскому биографическому словарю».

От екатерининских вельмож Греч переходит к самой Екатерине II и рассказывает анекдотическую биографию ее, делая Екатерину дочерью известного Бецкого. Здесь Греч повторяет давнишний анекдот, не имеющий под собой никаких других оснований, кроме обиженного патриотического чувства русских людей, которыми управляла императрица-немка: ее и сделали незаконной дочерью русского вельможи, который сам был незаконным сыном кн. Трубецкого, от которого и получил свою фамилию с усечением первого слога фамилии отца. Анекдот о том, что Екатерина II была дочерью Бецкого, был впервые пущен анонимным автором примечаний гремевшей тогда книги Массона «Memoires secrets sur la Russie», в немецком переводе озаглавленной «Geheime Nachrichten über Russland» (Paris, 1802, III, Th. 2, p. 171). Греч только повторил сообщение этой книги, о которой сам он говорит через несколько страниц (стр. 134). Но и долго спустя после Греча сплетня эта повторялась русской исторической литературой (см., например, «Осьмнадцатый век» т. I, стр. 7). Специально изучивший материалы по этому вопросу, историк царствования Екатерины II, Бильбасов, категорически опровергает весь этот анекдот (В. А. Бильбасов, «История Екатерины II-ой». т. I. стр. 3. Берлин. 1900). Целый ряд страниц, посвященных этому вопросу и происхождению Павла I — впер-

вые появляется в настоящем издании, так как раньше напечатание их было невозможно по цензурным причинам.

На стр. 135 Греч дает обещание — приложить к своим воспоминаниям записку графа Ф. Ростопчина «Последний день царствования Екатерины и первый царствования Павла». Такой записки ни в рукописях Греча, ни в копии ПД не оказалось; быть может Греч потому отказался от мысли приложить ее к своим воспоминаниям, что еще при жизни его она была напечатана, хотя и с ошибками, во второй книге «Чтений общества истории и древностей» (1864 г.). Полный и исправный текст ее под заглавием «Последний день жизни императрицы Екатерины II и первый день царствования императора Павла I-го» напечатан в «Архиве кн. Воронцова», т. VIII, стр. 158 — 174, куда мы и отсылаем читателей.

Рассказывая о натянутых отношениях между Екатериной и Павлом, Греч указывает (стр. 143), что «комическая опера» Екатерина II «Горебогатырь Косометович», написанная в 1788 году, осмеивает страсть Павла к вахт-парадам и военной муштре. Это указание не совпадает с обыкновенным мнением, что под именем Горебогатыря Косометовича осмеян шведский король Густав III, с которым как раз в это время Екатерина II начала войну. Но указание Греча вполне правдоподобно: Горебогатырь — трусливый и глупый юноша у мудрой матери-вдовы Локтметы — может метить и в Павла. Именно к этому месту Греч делает примечание (впервые помещаемое в настоящем издании) о трусости Павла I. Точно так же впервые приводится в настоящем издании то место записок (стр. 146), повторенное в «Воспоминаниях старика» (стр. 426—427), где Греч рассказывает анекдот об оскорбившем Александра I мнении принца Виртембергского в 1816 году о страсти государей к вахт-парадам, благодаря которой «государи сделались капралами». Этот же факт о словах принца Виртембергского приводит и Михайловский-Данилевский в своем рукописном журнале 1814 года, из чего между прочим видно, что Греч ошибочно отнес этот разговор к 1816 году.

Впервые появляющееся в настоящем издании место о гр. А. Г. Бобринском (стр. 141) не могло быть опу-

бликовано ранее в виду того, что здесь вскрывается, что А. Г. Бобринский (1763 — 1813) был незаконным сыном Екатерины II. Отцом его был знаменитый временщик Григорий Орлов; прозрачное признание в том, что она является матерью А. Г. Бобринского, Екатерина дала в своем известном письме к Бобринскому 1781 года. От А. Г. Бобринского остался интересный подлинный дневник («Русский Архив» 1877 г., т. III, стр. 116—165); краткое жизнеописание А. Г. Бобринского и документы из архива его были опубликованы еще ранее («Русский Архив» 1876 г., т. III, стр. 5 — 58).

Рассказывая анекдоты из эпохи царствования Павла I, Греч упоминает между прочим об А. Д. Копьеве, авторе комедии «Лебедянская ярмарка». Эта комедия в свое время была очень знаменита; полное ее заглавие — «Обращенный Мизантроп или Лебедянская ярмонка, комедия в пяти действиях, сочиненная А. Копиевым. 1794 года. Спб.» В том же самом году Копьев издал и другую одноактную комедию «Что наше, тово нам и не нада», тоже имевшую большой успех в свое время. Рассказывая о Копьеве, Греч не упоминает, что он был в двадцатых годах одним из приближенных к Аракчееву генералов (см. «Записки» Д. Б. Мертваго, стр. 254. Спб. 1867). Там же, рассказывая о Н. П. Архарове, Греч делает выпад против незаконного внука его и ярого своего журнального врага, известного журналиста А. А. Краевского. На страницах 248—249 тома III «Энциклопедического Лексикона» (1835 г.) действительно помещена небольшая, но весьма хвалебная заметка А. А. Краевского о братьях Архаровых, Николае Петровиче и Иване Петровиче, о которой говорит Греч в своих записках (стр. 151).

Здесь же Греч кратко рассказывает о трагическом эпизоде с лифляндским пастором Зейдером, сосланным Павлом I в Сибирь без всякой вины по доносу рижского цензора Ф. О. Туманского. Эта история прогремела тогда не только в России, но и за границей. Рассказ самого Зейдера обо всем этом происшествии был напечатан в Лейпциге в 1803 году; редкая брошюра эта, экземпляр которой имеется в Публичной Библиотеке, носит заглавие «Der Todeskampf am Hochgericht. Oder geschichte des unglücklichen Dulders F. Seider, ehemaligen Predigers zu Randen in Ehstland. Von ihm selbst

erzählt». Hildesheim und Leipzig. 1803. Полный перевод этой брошюры напечатан в «Русской Старине» 1878 г., т. XXI, стр. 463—490: «Обвинение и ссылка пастора Зейдера». Еще раньше были напечатаны воспоминания об этом тоже сосланного в Сибирь при Павле немецкого писателя Коцебу, где имеется и рассказ о доносе цензора Туманского на пастора Зейдера («Русская Старина» 1873 г., т. VIII, стр. 589—593; биографический очерк цензора Туманского, написанный М. Лонгиновым, напечатан в том же томе «Русской Старины» (т. VIII, стр. 334—336); об этом пресловутом цензоре см. еще в записках А. М. Тургенева («Русская Старина» 1889 г., т. II, стр. 215).

Анекдотическую придворную хронику эпохи Екатерины и Павла Греч заканчивает нецензурными для своего времени надписями Карамзина, характеризующими эти царствования; и эти надписи, и первая строфа направленного против Павла I памфлета офицера Марина в записках Греча появляются здесь впервые; обещание (стр. 159) поместить полностью всю оду Марина в прибавлениях к своим запискам Греч не выполнил, а теперь такое приложение было бы излишним, в виду того, что эта ода вместе с другими стихами Марина уже была напечатана в исторических журналах («Русская Старина» 1882 г., т. XXXVI, стр. 501).

Рассказом о похоронах Екатерины II Греч заканчивает исторические воспоминания и снова переходит к описанию своего детства и запомнившихся ему в этом детстве лиц. Тут и эпизодический Буше (стр. 169),[1] по поводу которого был дан 4 августа 1766 года именной указ сенату «О позволении табачному мастеру иностранцу Буше продавать изготовленный им табак во всех российских городах, до 1 сентября 1767» («Полное собрание законов Российской империи с 1649 года», т. XVII, стр. 920); тут и гр. Евг. Карл. Сиверс (1779—1827), талантливый военный инженер, один из основателей ланкастерских военных школ. сыгравших такую большую роль в жизни Греча (о Сиверсе см. Максимовский, «Исторический очерк главного инже-

[1] Подробности о Буше (стр. 129—131 в изд. 1886 г.) опущены в настоящем издании.

нерного училища», Спб. 1869); тут и В. Г. Костенецкий (1772 — 1831), когда то преследовавший Аракчеева в школе (о чем Греч упоминает в своих воспоминаниях на стр. 165, 551), впоследствии знаменитый начальник артиллерии в наполеоновские войны, генерал-лейтенант, которого Александр I ценил, но обходил наградами по проискам Аракчеева (о Костенецком см. «Русская Старина» 1875 г. т. XII, стр. 407 — 413).

Далее Греч рассказывает о своих наиболее сильных литературных впечатлениях в детстве, и прежде всего о первом виденном в жизни писателе, Ф. В. Туманском (стр. 168—169), которого не надо смешивать с упоминавшимся выше рижским цензором. Он издал 10 томов материалов для истории Петра Великого (1787), книгу «Жизнь и деяния Петра Великого» (1788), «Детский месяцеслов» (1787) и целый ряд других книг, а также издавал три журнала: «Зеркало света» (1786), шесть частей, «Лекарство от скуки и забот» (1787), две части, и ежемесячный журнал «Российский магазин» (1792—1793 гг.). В то время он считался очень видным писателем. «Треязычная книга», о которой упоминает Греч (стр. 169), была известной в то время хрестоматией, изданной дважды —в Петербурге в 1779 году, и в Риге в 1786 году; полное заглавие этой хрестоматии было: «Треязычная книга в пользу российского и иностранного юношества, обучающегося российскому, немецкому и французскому языку».

На следующих страницах Греч переходит к анекдотам о Суворове, к рассказам о камердинере Павла I, графе Кутайсове, об итальянских походах Суворова и обо всем том, о чем существует большая и специальная историческая литература, позволяющая пройти мимо всего этого в настоящих комментариях; достаточно отослать читателей хотя бы к объемистой популярной книге Шильдера «Павел I» (Спб. 1899). Точно также рассказы Греча на следующих страницах (стр. 175—184) об Академии Наук и академиках, представляя значительный бытовой интерес, все же не нуждаются в подробных комментариях, так как достаточно отослать читателей к исчерпывающему многотомному труду акад. Сухомлинова «История Российской Академии» (Спб. 1874—1888, тт. 1—7). Здесь необходимо упомянуть только, что об академике Озерецковском, наиболее видном

из членов академической плеяды конца XVIII и начала XIX века (род. в 1750, ум. в 1827 г.), Греч уже на склоне своей жизни написал воспоминания в «Северной Пчеле» 1857 года (№ 189, «Газетные заметки», подпись «Эрмион»), не вошедшие в позднейшие его записки.

Эту первую часть своих записок Греч заканчивает возвращением к рассказу о последних днях царствования Павла I и убийству его; страницы об этом последнем факте впервые восстановлены нами по рукописи ПБ и копии ПД записок Греча. Оды Карамзина и Державина на восшествие на престол Александра I, о которых говорит здесь Греч (стр. 190), были самыми знаменитыми из числа многочисленных подобных од, появившихся в то время. Ода Карамзина озаглавлена «Его императорскому величеству Александру I, самодержцу всероссийскому, на восшествие его на престол»; Греч цитирует из нее часть первой строфы (Сочинения Карамзина, М. 1814, т. I, стр. 261). В оде Державина «На восшествие на престол императора Александра I» является Екатерина II и «вещает» те самые слова, которые Греч приводит в другом месте своих воспоминаний (стр. 320; см. ниже комментарии на стр. 753). Что же касается двустишия Державина к портрету Александра I, которое приводит Греч вместе с ядовитым ответным двустишием Платона Зубова, то вряд ли первое двустишие принадлежит Державину: у него есть другая надпись к портрету Александра I, четверостишие (Собрание сочинений, т. III, стр. 388). Историю приписываемого Державину двустишия и ответа «одного из царедворцев» записал в своем дневнике П. А. Второв (см. там же, т. III, стр. 363, и «Дневник Второва» т. II, стр. 363). Редактор сочинений Державина, Я. Грот, справедливо указывает, что «пасквильное» двустишие против Державина не могло принадлежать Платону Зубову, дружески относившемуся к Державину. Это место записок Греча Я. Грот считает неправдоподобным. Сам Державин в своих «Записках» рассказывает обо всем этом случае иначе. В 1801 году он был по проискам ряда вельмож уволен из Государственного совета. «Некоторый подлый стиходей, в угодность их, не оставил на счет его пустить по свету эпиграмму следующего содержания:

Тебя в совете нам не надо:
Паршивая овца все перепортит стадо.

Державину злобная глупость сия хотя сперва показалась досадною, но снес равнодушно»... («Записки» Державина написаны им в третьем лице).

Слово митрополита Платона на коронование Александра I, по мнению Греча «бессмертное» (стр. 201)— действительно прогремело в то время; оно напечатано и самим Гречем в его «Учебной книге русской словесности»; см. также Н. М. Снегирев, «Жизнь московского митрополита Платона» (М. 1856).

История с поручиком лейб-гвардии Семеновского полка Алексеем Шубиным (стр. 207) изложена Гречем верно; можно добавить только, что сосланный в Сибирь на поселение в 1802 году, Шубин был в 1814 году определен рядовым в Суменские полки, «дабы он заслуживал вину свою» (Шильдер, «Император Александр I», т. II, стр. 79—80 и т. III, стр. 394).

Последние страницы первой части «Записок о моей жизни» Греча, заключающие в себе отзывы его о великом князе Константине Павловиче и басню «Орлица, Турухтан и Тетерев», направленную против Александра I — печатаются впервые в настоящем издании.

Часть вторая

Вторая часть «Записок о моей жизни» была напечатана в «Древней и новой России» (1879 г., № 3) под заглавием «Отрывок из Записок Н. И. Греча. 1800—1806». Произведение это действительно являлось отрывком, так как второй части своих записок Греч не закончил (на что уже было указано выше). Основным текстом этой части является авторизованный текст копии ПД, воспроизводимый в настоящем издании.

В начале этой второй части Греч много говорит о главном своем покровителе, А. Н. Оленине (1763—1843). Он был директором Публичной Библиотеки и президентом Академии Художеств, известным меценатом; благодаря ему Греч проложил себе служебную и литературную дорогу. Дом Оленина в первой четверти XIX века и особенно в 10-х годах был сосредоточием ряда литературных и художественных сил; роль «Оленинского кружка» в недавнее время стала предме-

том историко-литературных изысканий. В этом кружке в разное время бывали из писателей — Озеров, Гнедич, Батюшков, кн. Шаховской, Дашков, Крылов, Жуковский, Пушкин, а из художников — Боровиковский, Лосенко, Орловский, Кипренский, Венецианов, Брюллов и др. Таким образом молодой Греч, бывший постоянным посетителем оленинских вечеров, находился в избранной литературно-художественной компании. Сам Оленин был автором ряда монографий по истории и археологии. Замечательный архив его, разработанный только отчасти, хранится в рукописном отделении Публичной Библиотеки и других книгохранилищах. Громадная литература об Оленине рассеяна в исторических журналах и в отдельных воспоминаниях. О кружке Оленина и его значении впервые было сказано в статье «Литературные воспоминания», подписанной буквами А. В. и напечатанной в «Современнике» 1851 года (т. XXVII, стр. 37 — 42). Под буквами А. В. скрыл себя бывший министр просвещения в николаевское время, известный С. С. Уваров.

На первой же странице второй части записок Греч говорит об О. П. Козодавлеве (1754 — 1819), который в последние восемь лет своей жизни был министром внутренних дел, а ранее, в 1797 — 1800, управлял Юнкерской школой, в которой учился Греч. Козодавлев был сторонником гласности, свободы преподавания в университетах, освобождения крестьян, — все это, конечно, в рамках либерализма того времени. Будучи министром, он основал при министерстве газету «Северная Почта», которая выходила при его главном участии и умерла вместе с ним.

Тут же рядом Греч упоминает об Е. А. Энгельгардте (1775 — 1862), не один раз возвращаясь к нему в своих записках и всегда высказывая пристрастное и несправедливое отношение. Вопреки тому, что говорит Греч, годы директорства Энгельгардта в лицее (1816—1823) — лучшее время этого заведения; отзывы лицеистов о своем директоре — очень благоприятны, и он вполне заслужил их. Впоследствии , в 1834 — 1852 гг., Энгельгардт стоял во главе редакции «Земледельческой газеты» и поставил ее на большую для того времени высоту. О нем — см. Селезнев, «Исторический очерк императорского Лицея» (Спб. 1861).

На стр. 241 Греч говорит о своем определении в 1806 году чиновником в петербургский цензурный комитет под начало И. О. Тимковскому (1768—1837); это был по образованию доктор медицины, по службе—директор гимназий петербургской губернии и прославившийся своими нелепыми придирками к писателям цензор (1804—1821). Его обессмертил Пушкин упоминанием в своем «Втором послании цензору», и еще более — знаменитой эпиграммой 1824 года:

Тимковский царствовал — и все твердили вслух,
Что вряд ли где ослов найдешь подобных двух.
Явился Бируков, за ним во след Красовский:
Ну, право, их умней покойный был Тимковский!

Вторая часть записок Греча оборвалась на рассказе о семье его первой жены, В. Д. Мюссар; события жизни после 1808 года никогда не были изложены Гречем в последовательном хронологическом порядке. Все остальное — только отдельные статьи, частью напечатанные Гречем еще при жизни, частью увидевшие свет лишь после его смерти.

Воспоминания юности

Статья эта, с посвящением «Нестору Васильевичу Кукольнику», была напечатана в альманахе «Новогодник», изданном Н. Кукольником в 1839 году (Спб.); текст статьи Греча в этом альманахе должен считаться основным, так как в копии ПД он только переписан с печатного текста без всяких авторских поправок. Сокращения и изменения, сделанные в этой статье при помещении ее шестой главой в первом издании «Записок о моей жизни» Греча — принадлежат редактору этого издания, П. С. Усову и потому не приняты во внимание при установлении подлинного текста. Результатом этого является ряд повторений, которые Греч вероятно выправил бы, если бы закончил и обработал свои записки. Но теперь текст должен остаться в том виде, в каком был напечатан в 1839 году. В этих своих воспоминаниях юности Греч рассказывает о литературном кружке своей молодости, «наставником и руководителем» которого был Александр Иванович Л.,



Виньетка А. Брюллова из сб. «Новоселье».
(Слева направо: Жуковский, Воейков, Греч, Крылов, Смирдин, Хвостов, Пушкин, Вяземский.)

«человек основательно ученый и умный, но автор и стилист очень плохой. Он находил странное удовольствие в занятиях переводами самых безнравственных книг». Вероятно последнее обстоятельство и побудило Греча скрыть под буквой фамилию литературного наставника и руководителя своей юности. Речь идет здесь об А. И. Леванде, особенно прошумевшем после появления его перевода «Антеноровых путешествий по Греции и Азии» (5 частей, Спб. 1803). На перевод этот написал резкую грамматическую критику П. И. Макаров (1765—1804) в своем журнале «Московский Меркурий» (1803, часть II, стр. 45—71), после чего возгорелась резкая полемика по этому поводу между петербургскими и московскими журналами. На второе издание этого перевода в 1813 году, уже после смерти А. И. Леванды, Греч написал следующую рецензию в своем журнале «Сын Отечества» (1814 г., т. XI, стр. 161): «Первое издание сего перевода напечатано в 1803 году. В то же время вышел другой перевод в Москве. Нашей публике памятна еще жестокая война, возгоревшаяся между московскими и петербургскими переводчиками Антенора... Переводчик петербургского — статский советник и кавалер Александр Иванович Леванда, сын знаменитого киевского проповедника, скончался в 1812 году. Он перевел на русский язык множество книг, из которых заметим Путешествие Антенора, Фоблаза и Вредные знакомства». Подробнее об А. И. Леванде — см. в двухтомной биографии, посвященной его отцу: «Киевский Софийский протоиерей Иоанн Васильевич Леванда», т. I. стр. 52—62 (Киев, 1879).

ВОСПОМИНАНИЯ

Статья эта была посвящена «Графу Федору Петровичу Толстому» и напечатана в смирдинском альманахе «Новоселье» (Спб. 1833); подобно предыдущей статье, и настоящая была только переписана с печатного текста без всяких авторских поправок в копии ПД, почему печатный текст ее в альманахе является основным и воспроизводится в настоящем издании. Статья эта была переведена на французский язык и напечатана в октябрьском номере журнала «Révue du Nord»

1835 года; двумя годами позднее она вышла в Париже отдельным изданием под заглавием «Mes réminiscences» par N. Gretsch (Paris. 1837).

Не даем к настоящей статье, как и к предыдущей, никаких комментариев о целом ряде лиц, достаточно известных в истории русской литературы начала XIX века — как например о Брусилове, Пнине, Крюковском, Измайлове и др. Но подобно тому, как там мы сказали о забытом и неизвестном А. И. Леванде, наставнике и руководителе первых литературных шагов Греча, так и здесь надо сказать о П. А. Никольском, которому сам Греч приписывает такое большое влияние на себя. Рано умерший (в 1816 г.) и совершенно забытый П. А. Никольский сотрудничал в журнале Греча «Сын Отечества» (см., например, 1816 г., т. XXXIII, стр. 161 — 167, статья «Любители словесности»). Статью Греча о нем — см. в том же томе «Сына Отечества», стр. 67 — 71. Незадолго до смерти П. А. Никольский стал издавать многотомный «Пантеон русской поэзии», оставшийся незаконченным. О Никольском — см. «Русская Старина» 1888 г. № 4, стр. 127 и № 7, стр. 110; 1901 г. № 1, стр. 138 — 144.

Начало «Сына Отечества»

С подзаголовком «Отрывок из литературных записок Н. Греча» статья эта была напечатана 7 и 8 февраля 1839 года в газете Греча и Булгарина «Северная Пчела» (№№ 28 и 29); газетный текст должен считаться основным, будучи переписан в копии ПД из газеты без авторских поправок. Статья не требует особых комментариев, если не считать необходимого указания на вообще говоря враждебные отношения Уварова к Гречу и Греча к Уварову после 1825 года и особенно во время пребывания Уварова на посту министра народного просвещения. Греч жаловался, что Уваров его преследует и отводил душу на эпиграммах против Уварова, из которых до нас дошла одна, написанная по поводу похорон И. А. Крылова (в 1844 году) и впоследствии напечатанная в «Историческом Вестнике» 1890 года (№ 3, стр. 572). Вот эта эпиграмма:

Враг Пушкина, приятель фон-дер-Фуру,
Хоронит русскую литературу,
Крылова прах несет
И в гроб медаль кладет.
Дай нам возможность, боже,
Над ним скорее сделать то же.

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРИКА

Часть первая

Ряд отрывков из этой части был напечатан после смерти Греча в «Русском Архиве» 1871 г. (стб. 289—290, 0251 — 0289) под загл. «Выдержки из записок Н. И. Греча». Туда вошли примечания Греча напечатанные в настоящем издании на стр. 313 — 315 (о Павле I), 317—318 (об Александре I), 334—335 (о бар. Ф. Корфе), 340—341 (о Сухтелене), 346—347 (о Коленкуре), а также отдельные эпизоды—о мракобесах Мин—ва Нар. Просв. (369 — 384), о деятельности Греча в солдатских школах (391 — 395), о брате его Павле Ивановиче и восстании в Семеновском полку (395 — 416). Страницы 417 — 418 (неприятности из-за разговора Греча в 1820 г. с малолетним князем, впоследствии царем Александром II) впервые были напечатаны в «Русском Архиве» за 1884 г. № 5, стр. 58.

Во вступительной заметке к первой части «Воспоминаний старика» Греч говорит о книге барона М. Корфа: «Восшествие на престол императора Николая I» (СПБ. 1857. Изд. 3-е). Эта книга была впервые издана в 1848 г. под заглавием: «Историческое описание 14 Декабря 1825 года и предшествовавших тому событий», затем, переработанная и дополненная, под заглавием «Четырнадцатое декабря 1825 г.», появилась в 1854 г., но оба эти издания предназначались, в количестве по 25 экз., для лиц царской семьи, и только 3-е издание, «первое для публики» (так помечено на заглавном листе), дошло до широких кругов. Одновременно книга была переведена на немецкий, шведский, датский, английский, французский и польский языки (см. «Восстание декабристов. Библиогра-

фия. Составил Н. М. Ченцов». Гиз. 1929, стр. 197—198).

Герцен откликнулся на нее «Письмом к императору Александру II» («Колокол», 1 октября 1857, № 4), перепечатанным в книге «14 Декабря 1825 и император Николай», Лондон, 1858. (См. А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем. Под ред. М. К. Лемке. Том IX, стр. 24—34, 108—111 и 584), и, противопоставляя оффициальной версии Корфа революционную точку зрения на восстание декабристов, напечатал по-французски: «La conspiration Russe de 1825, suivie d'une lettre sur l'emancipation des paysans en Russie», Londre, 1858, в том же году переведенную на немецкий и итальянский языки (Герцен, т. IX, стр. 136—155 и 586).[1]

«Колокол» провозился в Россию в большом количестве и доходил до Греча. Как раз 29 января 1858 г. Греч сообщал министру Тимашеву о получении им из Лондона по почте 7 листа «Колокола», «долгом считая представить оный при сем Вашему Превосходительству» (Герцен, т. IX, стр. 133). Книге барона Корфа, отзываясь о ней с похвалой, Греч посвятил, за своей подписью, часть понедельничных «Газетных заметок» Эрмиона («Северн. Пчела» 1857 г. № 174 от 12. VIII). Но уже через два с половиной месяца, в предисловии к «Воспоминаниям старика», писанным не для прижизненного печатания, Греч сдержанно говорит, что книга Корфа «не вполне удовлетворила ожиданиям публики» (стр. 311).

Желая в 1857—1859 гг. (время, когда писались «Воспоминания старика») дать себе отчет, откуда и как зародились идеи декабристов, Греч начинает не прямо с «рассмотрения характера и царствования» Александра I (стр. 312), а возвращается к Павлу I, не переставая возмущаться и рассказывать анекдоты об этом царе и его эпохе. Недаром в одной из рецензий говорится о страницах, посвященных Павлу, что «это— самые интересные и самые правдивые страницы воспоминаний Греча» (Ф. Змиев. «Критика». Журнал «Новь», 1886, ч. XI, № 17, стр. 64).

[1] Об отношении самого Корфа к этим статьям см. Герцен, т. IX, стр. 605—608; Н. С. Егорова: „Архив графа М. А. Корфа“ („Дела и дни“, Пгр. 1920, кн. 1, стр. 436) и „Корф в полемике с Герценом“ („Красный архив“, кн. X, 1925, стр. 307—308).

Здесь мало расхождения с историческими фактами, и большинство анекдотов подтверждается записями других лиц. Ср., напр., анекдот о подпоручике, потребовавшем, чтобы его сменили, прежде чем арестуют, в изложении Греча (стр. 314) и в «Рассказах из времен имп. Павла I. Сообщ. Осса . . . .» («Рус. Ст.», 1871, октябрь, стр. 414—415).

Упоминаемые Гречем (стр. 315) «Семена Порошина записки, служащие к истории . . . . Павла Петровича» (СПБ. 1881) дают представление о раннем половом развитии Павла. Другие материалы подтверждают все сведения об отношении Екатерины II к Павлу, о стараниях оторвать от него его детей: в 1776 году Екатерина пыталась увезти с собой Александра и Константина в далекое путешествие, даже не сообщив об этом их родителям. Жалобные письма Павла и Марии Федоровны см. в книге Н. Шильдера «Император Павел Первый» (Изд. А. Суворина. СПБ. 1901), стр. 200—204, 556—559.

Соответствуют также действительности рассказы Греча (320) о желании Екатерины, устранив Павла от царствования, передать престол Александру. В 1794 г. Екатерина объявила об этом намерении Сенату, ссылаясь на нрав и неспособность Павла, и вторичную попытку сделала в августе 1796, после рождения Николая Павловича, стараясь повлиять в отсутствие Павла на жену его Марию Федоровну (Шильдер, стр. 255, 268; см. также Записку Нидерландской королевы Анны Павловны в книге Н. Шильдера «Император Александр Первый». Т. I, стр. 278). Об этом велись разговоры и с Александром и с его наставником Лагарпом. Лагарп высказался против проекта Екатерины и за это был отстранен от воспитания великих князей (М. Сухомлинов «Фридрих Цезарь Лагарп, воспитатель императора Александра I». «Журн. Мин. Нар. Просв.» 1871, II, стр. 185—187). Жалобы Александра и желание его в те годы отречься от престола ясны из писем к Лагарпу от 21. II. 1796 (Шильдер «Имп. Александр I», т. I, стр. 111—112) и к В. П. Кочубею от 10. V. 1796 (М. Корф «Восшествие на престол», стр. 3—6, 227—229, и Шильдер, там же, стр. 112).

Предложение Екатерины Сенату было остановлено В. П. Мусиным-Пушкиным. По другой версии, решаю-

шую роль в отклонении играл Гр. Безбородко, за что и был впоследствии отличен Павлом. Некоторые полагают, что завещание Екатерины, о котором говорит Греч (стр. 320), было сожжено (Н. Шильдер «Император Павел Первый», стр. 282), а «Список о всех милостях, излиянных покойным государем имп. Павлом I в день его коронации, 5 апреля 1797 г.», найденный в архиве кн. А-дра Бор. Куракина («Чтения в Имп. Об-ве Истории и Древн. Российских», 1867, I, стр. 131—148), указывает на высокие милости: Безбородко был пожалован княжеским достоинством, вотчиной в 30.000 десятин и 6.000 душ (по Гречу — 14.000, см. стр. 321). О том, что именно он был доверенным Екатерины в вопросе престолонаследия, говорится и в «Записках Державина» (изд. «Русской Беседы», 1860, стр. 322).

Характерна также ода Державина «На восшествие на престол имп. Александра I», упоминаемая Гречем (стр. 320 и ранее, стр. 190). Первоначальная редакция этого текста, переделанная перед напечатанием оды в 1808 г., была такова:

Стоит в порфире — и вещала,
Сквозь дверь небесну долу зря:
Давно я зло предупреждала,
Назначив внука вам в царя;
Но вы внимать мне не хотели,
Забыв мою к себе любовь,
Напасти без меня терпели:
Я ныне вас спасаю вновь»

По поводу сообщения Греча (стр. 325) о вызове Павлом на поединок Франца II, нужно отметить, что вызваны были все государи Европы. См. Авг. Котцебу «Достопамятный год моей жизни». Прилож. к истор. сборн. «Древняя и новая Россия» на 1879 г. Часть II, стр. 93—97. Там же, стр. 148—160, сведения о любовнице Кутайсова, актрисе Шевалье.

Никита Петрович Панин (Греч, стр. 325) был противником соглашения с Францией, и за это Павел устранил его.

Что касается смерти Павла, участия Палена в ней и отношения Александра I, то литература об этом велика; здесь можно указать «Мемуары кн. Адама Чар-

торижского». М. 1912. Т. I, гл. VIII, стр. 201—230; «Письмо ген. Л. Л. Бенингсена к Фокку» (март 1801 г.) в «Истор. Вестн.» 1917, май — июнь, стр. 529—563; А. Брикнер «Смерть Павла I» (изд. Пирожкова 1907 г.); «Цареубийство 11 марта 1801 г.» (СПБ. 1907); «Время Павла и его смерть» (М. 1908).

Об Александре I Греч напечатал статью в «Энциклопедическом Лексиконе» Плюшара (СПБ. 1835), т. I, стр. 469—480; статья, в исправленном и сильно увеличенном виде, была издана отдельной брошюрой под заглавием: «Биография императора Александра I» (СПБ. 1835, стр. 61). Эта брошюра, вместе с двумя другими статьями: «Кончина императора Александра Павловича» (см. о ней стр. 511) и «Видения» вошла в «Сочинения Николая Греча», т. V (СПБ. 1838). Но, конечно, восторженный и верноподданнический тон статей и приводимые факты резко отличаются от «Воспоминаний старика». Только в этих последних Греч дает волю своей досаде на монарха, в царствование которого ему пришлось трижды не мало поволноваться: 1) в связи с волнениями в Семеновском полку (1820 г.), 2) в деле пастора Госнера (1824 г.) и 3) в событиях, последовавших за 14 декабря 1825 г. Последние, правда, происходили при Николае I, но как раз первая часть «Воспоминаний старика» посвящена доказательству того, что в личности Александра I коренились причины последующей государственной «смуты».

На стр. 320 отмечена физиологическая причина неудачной жизни Александра: ранняя женитьба (Греч, вообще, не брезгует эротическими анекдотами и сплетнями). Действительно, свадьба Александра Павловича и принцессы Луизы (Елизаветы Алексеевны) состоялась 28 сентября 1793 г., когда жениху еще не было 16 лет, а невесте шел 15-й год.

Затем Греч отмечает (стр. 321) двуличность Александра (ср. стихотворение Пушкина «Перед бюстом завоевателя»: «Не даром лик сей двуязычен, Таков и был сей властелин») и яркое проявление ее видит в подборе ближайших сотрудников: с одной стороны, Кочубей, Строганов и пр., а с другой — Аракчеев.

Убийство Павла и соучастие в нем Александра являются третьим моментом, определяющим, в глазах Греча, личность царя и характер его царствования.

Литература об эпохе Александра I велика, подробная библиография указана в книгах А. Н. Пыпина: «Исследования и статьи по эпохе Александра I», тт. I—III, изд. «Огни», Пгр. 1917—1918; большой материал архивного и документального свойства приведен в трудах Николая Михайловича и Н. К. Шильдера. Здесь же ограничиваемся краткими справками, ссылками и исправлениями.

На стр. 327—328 Греч говорит о поэтических прославлениях вступления на престол Александра I. То же отмечает Шишков: «В тысячи стихотворениях, на разных языках повторились восторги и похвалы» («Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова». Берлин, 1870, т. I, стр. 81). Павел был убит в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, Александр вступил на престол 15 марта, а уже 20 марта в № 23 «Московских Ведомостей» (1801 г.) напечатано объявление о поступлении в продажу в университетской книжной лавке оды М. Хераскова и стихов Вл. Измайлова; в № 27 — П. Шаликова и «Импер. Московск. Университета»; в № 29 — Н. Карамзина и П. Трубецкого; в № 30 — Максима Невзорова, И. Похвиснева, П. Колосова, К. Голицына; в № 31 — Н. Шатрова, А. Голицына; в № 32 — «Провинциального секретаря Ивана Тодорского», Марии Поспеловой и какого-то «Отставного Солдата»; в № 33 — «Никитского, что за Яузою, свящ. Ив. Михайлова» и А. Таушева; в № 34 — «Песнь Патриота Александру I»; в № 35 — Наумова и т. д. и т. д. Об одах Карамзина и Державина говорилось выше (примеч. к стр. 190); ода Хераскова не вошла в собрание его стихотворений, считается редкостью (см. об этом «Библиогр. Записки», 1858 г. № 9, стр. 287—288), поэтому приводим ее полный заголовок: М. Херасков. «Ода его императорскому величеству, великому государю Александру Павловичу, самодержцу всероссийскому, на всерадостное его на престол вступление». Москва. В Универс. типогр., у Христофора Клаудия. 1801 г., 7 стр. — «Песнь на день коронования его имп. вел. гос. имп. Александра Первого» И. Дмитриева вошла в его «Сочинения» т. 1, 1801 г., стр. 30—32.

Немедленно по вступлении на престол Александр I издал ряд узаконений, отменяющих павловские. Краткий перечень первых указов приведен А. Н. Пыпиным,

«Общественное движение в России при Александре I». Изд. «Огни». Пгр 1918, стр. 66—73.

Об убийстве герцога Энгиенского и обменных нотах по этому поводу между Россией и Францией см. «Мемуары кн. Адама Чарторижского и его переписка с имп. Александром I», т. II, стр. 5—19 и 25—26. Отзывы Тьера об этом см. «Histoire du Consulat et de l'Empire», Т. V., 17—18, 29—30. Подробно изложены все события и ноты у А. Сореля, «Europe et la revolution», 1887, 2 edit., VI, 357—360 (русск. перевод: «Европа и французская революция». СПБ. 1906. т. VI, стр. 296).

О расположении Александра I к Густаву IV и анекдот о П. К. Сухтелене (стр. 341) ср. «Воспоминания Фаддея Булгарина». СПБ. 1848, ч. IV, стр. 17—20. Там этот анекдот, со слов того же Греча, которому передавал его сын Сухтелена, Петр Петрович, рассказан с небольшим вариантом.

Поводом к шведско-русской войне 1808—1809 гг. (стр. 341) послужил отказ Густава IV примкнуть к союзу Франции и России против Англии.

Вел. княг. Екатерина Павловна (стр. 349) была дочерью Павла I. В 1808 г. Талейран сделал предложение о браке Наполеона с нею, но оно было отклонено. В 1809—1812 была замужем за принцем Георгом Ольденбургским, а после его смерти в 1816 г. вышла замуж за принца Виртембергского Вильгельма (о нем стр. 436). По ее предложению Карамзин написал «Записку о древней и новой России» (1811). См. И. Божерянов «Великая княгиня Екатерина Павловна». СПБ. 1888, и «Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии Николая Греча», т. I. СПБ. 1843, стр. 187—206.

Стихотворение Пушкина о Барклай-де-Толли (стр. 349) написано 7 апреля 1835 г. и озаглавлено: «Полководец» (У русского царя в чертогах есть палата). Письмо Греча к Пушкину от 12. X. 1836 г. по поводу этого стихотворения и ответное письмо Пушкина от 13. X. 1836 см. Сочинения Пушкина. Изд. Имп. Ак. Наук. Переписка под ред. В. И. Саитова. Том III, стр. 379—380. Памятники Барклаю и Кутузову, о которых говорится дальше (стр. 353), работы Б. Орловского, находятся перед Казанским собором в Ленинграде,

Стр. 349—351 посвящены М. М. Сперанскому. М. Корф, со слов очевидцев, А. Н. Голицына и П. В. Голенищева-Кутузова, опровергает анекдотическое описание Гречем опалы и высылки Сперанского. Сперанский был вызван вечером к Александру и, после двухчасовой беседы, вышел из кабинета с заплаканными глазами. От большого смущения он стал вместо бумаг укладывать в порфель свою шляпу. «Спустя несколько секунд дверь из государева кабинета тихо отворилась и Александр показался на пороге, видимо, растроганный: «Еще раз прощайте, Михайло Михайлович», — проговорил он и потом скрылся» (М. Корф «Жизнь графа Сперанского». Изд. Импер. Публ. Б-теки. СПБ. 1861. Т. II, стр. 15. Ср. «Сочинения И. И. Дмитриева». СПБ. 1893. Т. II, стр. 111, и М. А. Дмитриев «Мелочи из запаса моей памяти». М. 1869, стр. 141—2). Поэтому неверно утверждение Греча, что Сперанский был изумлен арестом Магницкого.

Сперанского обвиняли в измене России в пользу Франции, но очевидно Александр I ему об этом ничего не сообщил, так как в известном «пермском» письме (январь 1813) говорится: «Я не знаю в точности, в чем состояли секретные доносы, на меня возведенные. Из слов, кои, при отлучении меня, В.В. сказать мне изволили, могу только заключить, что были три главных пункта обвинений: 1) что финансовыми делами я старался расстроить государство, 2) привести налогами в ненависть правительство; 3) отзывы о правительстве (Корф, II, стр. 17; Н. Шильдер, «Император Александр I», т. III, стр. 515—527). Позднее, в 1821 г., он записал в дневнике, что обвинение якобы заключалось в сношении с французским и датским послами, а в высочайшем указе от 22. III. 1819 говорилось: «враги ваши явно оклеветали вас» (Корф, II, 174). См. «К истории 1812 г. Депеши Лористона и датского посла Блома о высылке Сперанского» («Русск. Архив», 1882, кн. 2, стр. 167—176), «Воспоминания В. Н. Воейковой», СПБ. 1903, и представляющие большой интерес, хотя и требующие критического отношения, «Записки Я. И. де Санглена» («Русск. Стар.» 1883, февраль, стр. 375—394).

В биографии Штейна, на которую ссылается Греч (стр. 351), «Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein von G. H. Pertz» Band 1—3. Zweite Auflage

Berlin 1850—1851», указывается на то, что Сперанскому вредили его мечтательность, наклонность к мистицизму и связь с Розенкампфом и Фесслером (Pertz, III, 57), но во время падения Сперанского Фесслер, профессор восточных языков и масон, приглашенный для преподавания еврейского языка в Александро-Невской Духовной Академии, был уже в Саратове, и все отношения с ним Сперанского давно прекратились (Корф, I, 256; о Фесслере см. А. Пыпин «Общественные движения в России при Александре I». Изд. «Огни». П. 1918, стр. 320—328).

По предположению Греча, падение Сперанского изображено Крыловым в басне «Орел и Паук», но эта басня прошла цензуру за 3 месяца до ссылки Сперанского, и вероятнее всего предположение Греча относится к басням Державина: «Цветы и паук», и «Выбор министра» (см. «Сочинения Державина». СПБ. 1866. Т. III, 558 и 563, и В. Кеневич «Библиографические и исторические примечания к басням Крылова». 2 изд. СПБ. 1878, стр. 104 — 105).

Красноречивые «варяго-русские» манифесты А. С. Шишкова во время войны 1812 г. (стр. 351, 359) напечатаны самим автором анонимно под заглавием: «Собрание высочайших Манифестов, Грамот и Указов, Рескриптов, Приказов войскам и разных извещений, последовавших в течение 1812 — 1816 годов. В Санктпетербурге. В Морской Типографии. 1816 года. XIV + 212». См. также «Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова». Изд. Н. Киселева и Ю. Самарина. Berlin. 1870, стр. 423 — 479.

Война 1812 г. вызвала большое количество военных мемуаров и записок. На стр. 352 Греч подразумевает, по всей вероятности, следующие: 1) Karl von Clausewitz. «Der russische Feldzug von 1812. Hinterlassene Werke über Krieg und Kriegführung». Berlin 1832—1837; 2) Müffling. «Die preussisch russische Campagne 1813» (1813), «Zur Kriegsgeschichte d. Jahres 1813 und 1814» (1827), «Betrachtungen über die grosse Operationen und Schlachten» (1825), 3) «Memoiren des Freiherrn von Wolzogen». Leipzig. 1851. — Записки и мысли Штейна приводятся в вышеупомянутой монографии О. Pertz'a. Позднее вышла книга Max Lehmann. «Freiherr vom Stein». 1903. B. I - - III.

Песнь Рылеева «Царь наш немец прусский» (стр. 354), написанная им вместе с А. Бестужевым, напечатана в «Полном собрании сочинений К. Ф. Рылеева». Лейпциг. F. A. Brockhaus. 1861, стр. 335. Рассказ о Вандамме (стр. 356) приведен в воспоминаниях генерала Марбо («Memoires du general de Marbot». XV éd. 1892, III, p 279 — 280). О генерале Моро (1763 — 1813) см. статью Ал. Попова «Генерал Моро на службе в русских войсках» («Русск. Стар.» 1911, ноябрь, и 1913, сент. — окт.).

Польский генерал Зайончек (Józef Zajączek) (1752 — 1826) сражался под начальством Костюшки, участвовал в кампаниях Бонапарта 1796 — 7 гг ; в войне 1812 г. потерял ногу. В 1815 г. назначен наместником в Польше и возведен в княжеское достоинство. Адам Чарторижский доносил о нем Александру: Генерал Зайончек, несмотря на свои просвещенные и достойные взгляды, делается совершенно безвольным, утрачивает вполне собственное мнение, лишь только дело коснется его высочества, великого князя [Константина Павловича] ... если дать ему волю, доведет свое подчинение приказам и идеям его импер. высочества до рабства» («Мемуары кн. А. Чарторижского», т. II, стр. 325).

«Фанфаронская» речь Александра (360) была произнесена им (по-французски) при открытии польского сейма 15 (27) марта 1818 г. Напечатана тогда же по-русски, в переводе князя П. Вяземского (см. «Полное собрание сочинений» СПБ. 1878, T. I, стр. XXXV — XXXVI), в «Северной Почте» 1818 г. № 26, в «Санктпетербургских Ведомостях» 1818 г. № 26. Она несомненно дала толчок развитию конституционных и либеральных идей среди тогдашней русской интеллигенции. Особенно сильное впечатление произвела следующая фраза (о ней же со злобой говорит Греч на стр. 387): «Образование (organisation), существовавшее в вашем крае, дозволяло мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законно - свободных учреждений (en mettant en pratique les principes de ces institutions libérales), бывших непрестанно предметом моих помышлений и которых спасительное влияние надеюсь я, при помощи божией, распространить и на все страны» (Цитир. по Н. Шильдеру: «Император Александр I», т. IV, стр. 86 — 88). На это

выступление откликнулись в «Сыне Отечества» (1818 г., часть 45, стр. 202—211) пр. Куницын статьей «О конституции», С. С. Уваров—в своей речи (о ней см. ниже), на него ссылались в своих показаниях декабристы Трубецкой, Раевский, Завалишин, — неудивительно поэтому, что так негодовал Греч, который в годы своей либеральной молодости напечатал эту «шарлатанскую» речь в своей «Учебной книжке Российской Словесности» (1820 г., т. II, 239—243, Глава: «Примеры делового слога»), а впоследствии, пострадав после семеновского восстания и натерпевшись страху в связи с делом Госнера и восстанием декабристов, «убедился в «шарлатанстве» императора (см. В. Семевский. «Общественно-политические идеалы декабристов». 1909: Глава: «Влияние польской конституции 1815 г. и речи Александра I в 1818 г.», стран. 262—285).

Стихи Державина, о которых говорит Греч на стр. 362, носят название: «Хоры, петые в торжественном собрании Беседы любителей Русского Слова, 30 декабря 1815 г.» Приводим из них строки, неточно отмеченные Гречем:

Царь, смиря страны чужие,
Приносит мир душе твоей
И хочет благом он заняться
Своих детей, своим добром.

(«Сын Отечества» 1816 г. ч. 27, стр. 43—44).

Абель Франсуа Вильмен (Villemain), французский писатель и государственный деятель (1790—1870), трижды получал премии Французской академии. Похвальное слово Монтескье было произнесено им не в 1814 г., как указывает Греч (стр. 363), а в 1816 г. 21 апреля 1814 г. на торжественном заседании Академии, в присутствии Александра I и прусского короля, он прочел свое сочинение «Avantages et inconvénients de la critique». О встречах с Вильменом Греч упоминает в своих путевых письмах «Знаменитости парижские» («Сев. Пчела» 1838 г. № 231).

«Ультра-либеральная» речь С. С. Уварова (стр. 365) была тесно связана, как уже упоминалось выше, с выступлением Александра в Польском Сейме. Она напечатана отдельной брошюрой под заглавием: «Речь

президента императорской Академии Наук, попечителя С. Петербургского учебного округа в торжественном собрании главного педагогического Института, 22, III. 1818 г.» СПБ. 1818, стр. IV + 63 (см. особенно стр. 41 — 43). В гречевском «Сыне Отечества» было несколько откликов на нее; см. Ѳ. Г[линка]: «Петербургские заметки» (1818, ч. 45, стр. 22 — 26); краткую заметку (там же, стр. 269) и большую статью проф. Куницына: «Рассмотрение речи г. Президента Академии Наук и попечителя СПБ. учебного округа» (1818, ч. 46, стр. 136 — 146, 174 — 191).

В сообщении Греча о «подсиживании» Разумовского директором царскосельского лицея Е. А. Энгельгардтом (стр. 371) есть явный анахронизм. Энгельгардт не мог докладывать министру о торгах в декабре «прошлого», т. е. 1815 года, так как был назначен директором лицея только 27 января 1816 г. И разрешение, полученное им в октябре 1816 г., не могло иметь никакого отношения к судьбе Разумовского, так как последний был уволен 10 августа (см. Д. Кобеко. «Императорский царскосельский Лицей. Наставники и питомцы. 1811 — 1843», СПБ. 1911, стр. 82).

«Земледельческая Газета», о которой говорит Греч на стр. 372, издавалась «по высочайшему повелению» Департаментом земледелия М-ва Госуд. Имуществ, с июля 1834 — два раза в неделю, с 1860 г. — ежедневно. Первым редактором был С. М. Усов, с 1853 — А. П. Заблоцкий-Десятовский, с 1860 г. — С. П. Щепкин, с 1865 — Ф. А. Баталин. Газета существовала до начала революции.

Стихи о А. Н. Голицыне (372) взяты из стихотворения «К Хлое» («Сочинения Ивана Дмитриева». Часть II. 1803, стр. 68).

События 1821 г. в СПбургском университете, связанные с деятельностью Магницкого и Рунича (стр. 369, 374 — 381), неоднократно описывались. Подробнее всего они изложены в книге М. И. Сухомлинова: «Исследования и статьи по русской литературе и просвещению». СПБ. 1889. Изд. А. Суворина. Т. I, гл. VI и приложения, стр 239 — 397 (или его же: «Материалы для истории просвещения в царствование импер. Александра I». СПБ. 1866, VII). Кроме того, см. «Чтения в импер. Об-ве Истор. и Древн. Росс. при Моск. Унив.» 1862,

кн. 3, стр. 179 — 205; 1860, кн. 3, стр. 61 — 164 и 1911, кн. 4, стр. 33 — 37. В 1919 г. напечатан объемистый том: «СПетербургский Университет в первое столетие его деятельности. 1819 — 1835. Под ред. пр. С. В. Рождественского. Пгр. 1919». В него вошел целый ряд чрезвычайно интересных неопубликованных архивных материалов по этому делу, и дана подробная библиография всех напечатанных материалов (см. CLIII — CLVIII).

Обе записки проф. М. Плисова: «Записка о частном испытании в С. Петербургской губернской гимназии ученикам VII класса, произведенном в среду 7 декабря 1821 г. по предмету естественного права», и «Историческая записка о деде С. Петербургского университета», а также «Краткая записка об общем собрании импер. С. Петербургского университета 3, 4 и 7 числа ноября сего 1821 года», составленная Д. Руничем, напечатаны неоднократно (в «Чтениях в имп. Об-ве» и в книгах М. Сухомлинова — см. выше), поэтому здесь не воспроизводятся.

Поздравление, за подписью редактора Никольского и М. Пальмина, по случаю введения устава Казанского университета в Петербурге, неоказавшееся в приложениях к «Запискам» Греча (стр. 374), напечатано под загл. «Ученое приветствие (из бумаг Н. И. Греча)» в «Русском Архиве» 1871 г., стр. 1728 — 1729. Оно помечено 19 декабря 1821 года.

Мнение Греча о том, что ближайший сотрудник Рунича Я. В. Толмачев достал у студентов «под разными предлогами» записки Раупаха, Арсеньева и др., подтверждается и другими авторами (см. Ф. Устрялов: «Воспоминание о моей жизни».— «Древняя и новая Россия» 1880, т. II, стр. 609). После удаления либеральных профессоров, «по сему случаю [ему] велено было, кроме русской словесности, преподавать в университете и философию». См. «Яков Васильевич Толмачев (1779 — 1873). Автобиографическая записка» («Русская Старина» 1892, сент., 699 — 724).

Из жертв Рунича отметим следующих: Карл Федорович Герман (1767 — 1838) издавал «Статистический журнал» (1806 — 1808); им написаны «Краткое руководство к всеобщей истории статистики» (СПБ. 1800) и «Теория всеобщей статистики» (1809).

Драматические произведения Эрнеста-Веньямина Раупаха (1784 — 1852) собраны в две серии: «Dramatische Werke komischer Gattung», Hamburg. 1829 — 1835, в 4 томах и «Dramatische Werke ernster Gattung», Hamburg. 1830 — 1843, в 16 томах. О нем см. Pauline Raupach. «Raupach. Eine biographische Skizze». Berlin. 1853. Свою встречу с Раупахом в Гамбурге Греч описал в «Действительной поездке в Германию в 1835» (Сочинения Николая Греча. Т. IV. Путевые письма. Стр. 300 — 301).

О Константине Ивановиче Арсеньеве (1789 — 1864) см. работу П. Пекарского «О жизни и ученых трудах К. И. Арсеньева» (в «Сборниках Русск. языка и Словесности Имп. Ак. Наук». Т. IX, СПБ. 1872). Его книга «Статистические очерки России» (СПБ. 1848) вызвала недовольство Николая I за посвящение наследнику престола, впоследствии Александру II. В этом посвящении говорилось о скорби по поводу «разных преград к свободному развитию новой лучшей жизни для народа». Посвященние подверглось перепечатанию во всех экземплярах, пущенных в продажу, и экземпляры с первоначальным посвящением составляют редкость (в Российской Публичной Б-теке в Ленинграде имеется такой экземпляр).

Четвертым из профессоров, подвергавшихся опале, был Александр Иванович Галич (1783 — 1848). В 1814—15 гг. он преподавал в царскосельском лицее русскую словесность. Известны стихотворения Пушкина: «К Галичу» (Пускай угрюмый рифмотвор) и «Послание к Галичу» (Где ты, ленивец мой). В 1818 — 1819 гг. появилась в свет: «История философских систем, по иностранным руководствам составленная и изданная главного педагогического института экстраординарным профессором Александром Галичем. В двух книгах». Об этой книге Греч писал в «Сыне Отечества» в 1818 г. ч. 40, стр. 80, и в 1819, ч. 52, стр. 10 — 32. См. о Галиче статью Э. Радлова в собр. сочин. Пушкина, под ред. С. Венгерова, т. I, стр. 241 — 246.

Описываемые здесь Гречем события нашли отзвук у Грибоедова в словах княгини Тугоуховской:

... в Петербурге Институт
Пе-да-го-ги-ческий — так, кажется, зовут?

Там упражняются в расколах и в безверьи
Профессора!

(«Горе от ума» Действ. III, явл. XXI.)

По всей вероятности, именно к деятельности Рунича и Магницкого относятся и последующие диалоги Скалозуба, Фамусова и Загорецкого, со знаменитым изречением: «Коли уж зло пресечь, забрать все книги бы да сжечь».

На стр. 382 говорится о шишковских произведениях. Они вошли в «Собрание сочинений и переводов адмирала Шишкова». Часть I. СПБ. 1818. Часть II. СПБ. 1824. В I ч., стр. 143 — 145, напечатана «Наташина похвала зимним утехам», начинающаяся словами: «Хоть весною и тепленько»; во II ч. исследование «О старом и новом слоге Российского языка».

На следующей стр. упоминается о пребывании Магницкого у Аракчеева. Свои впечатления Магницкий послал Аракчееву, озаглавив их: «Сон в Грузине с 26 на 27 июля 1825 г.» («Русск. Арх.» 1863, I, стр 930 — 937). Здесь нужно отметить, что путешествия в Грузино и лирические восторги перед заведенными там порядками обычны для аракчеевских низкоконлонников того времени. И Греч напечатал одно такое описание, принадлежащее П. Свиньину (см. «Поездка в Грузино». — «Сын Отеч.» 1818, ч. 49). Булгарин также путешествовал в эту аракчеевскую Мекку. См. его «Поездку в Грузино в 1824 г.» (альм. «Новоселье», ч. 3, СПБ. 1846, стр. 201 — 222), осмеянную молодым И. С. Тургеневым в «Отеч. Записках» 1846 г., т. XLVI, отд. VI (перепеч. в «Полн. Собр. Сочинений», изд. А. Ф. Маркса, т. XII, стр. 253 — 254).

О М. Л. Магницком и его деяниях см. книгу Е. Феоктистова: «Магницкий» (СПБ. 1865), а также «Записку М. Магницкого, поданную ген.-адъютанту Бенкендорфу» (Н. Дубровин, «Письма главнейших деятелей в царствование имп. Александра I». СПБ. 1893, стр. 498 — 523). О высылке Магницкого после смерти Александра I, см. письмо к Аракчееву от 31. I. 1826 г. («Русск. Ст.» 1901, III, стр. 679 — 684).

На стр. 387 Греч говорит: «Общее мнение не баталион: ему не скажешь: в е с ь-г о м». В изд. А. Суво-

рина 1886 г. (см. стр. 325) последнее слово, очевидно непонятное редактору (П. С. Усову) заменено словом: «смирно». Между тем, этот «военный термин» был очень популярен, и в свое время ходили по рукам сатирические стихи под заглавием: «Весь-гом!» В «Воспоминаниях Ф. Булгарина». Часть V (СПБ. 1848) говорится: «Надобно знать, что прежде командовали: «весь-кругом» и что это движение, фронтом в тыл, делалось медленно, в три темпа, с командою: раз, два, три, а потом стали делать в два темпа, по команде в два слога: весь-гом» (стр. 185—186, там же о сатирических стихах под этим названием).

Напечатанная в «Полярной Звезде» на 1857 г., кн. 3 (см. изд. 2-е, исправл., стр. 303—312) статья «Семеновская История (1820)», где приведены слова Александра I Чаадаеву: «я может быть грешу, но очень подозреваю Греча» (стр. 309), заставила Греча, в целях самооправдания, подробно рассказать о своем отношении к ланкастерским школам, в которых он принимал деятельное участие («Воспоминания старика», стр. 326—346). О волнении в семеновском полку существует большая литература, и в обширной и тщательно собранной библиографии Н. М. Ченцова «Восстание декабристов». ГИЗ. 1929, целый раздел (стр. 83—95) посвящен этому этапу в подготовке декабризма. Сводка основного материала дана В. И. Семевским в его статье: «Волнение в Семеновском полку в 1820 г.» («Былое» 1907 г. №№ 1—3) и в его книге: «Политические и общественные идеи декабристов». СПБ. 1909, стр. 130—166.

Из неточностей, допущенных здесь Гречем, надо отметить рассказ о том, что Меттерних сообщил Александру I о восстании в Семеновском полку за несколько часов до приезда специально посланного с этим известием Чаадаева. При этом Греч винит в медлительности дежурного штаб-офицера Казначеева, [1] другие обвиняли Чаадаева, любившего ездить по-барски, с комфортом, а потому и запоздавшего (см. Д. Свербеев, «Воспоминания о Чаадаеве». — «Русский Архив»

[1] Кстати, А. И. Казначеев, к которому Греч относится отрицательно (см. стр. 390 и 410), оказывал Гречу всякое содействие. См. примечание редакции в «Русск. Архиве» 1871.

1868, стр. 979—980). М. Лонгинов называет все эти слухи «замысловатым анекдотом», очень широко распространенным, в особенности потому, что сам Чаадаев не принимал мер к его опровержению «Воспоминания о П. Я. Чаадаеве»,—«Русск. Вестн.» 1862, XI, стр. 137). Однако, мемуары самого Меттерниха, в записи 3—15 ноября 1820 г., категорически опровергают эту версию: Мы получили сегодня известие о мятеже в Семеновском полку... Сегодня ночью прибыли [три] курьера, один за другим. Сейчас же после этого имп. Александр велел позвать меня и рассказал мне событие (Metternich. Mémoires. T. III., p. 377. Приведено у Н. Шильдера: «Император Александр I», т. IV, стр. 469, примечание 224).

Виновников восстания искали везде, и М. Жихарев, близко знавший Чаадаева, передает рассказ последнего после возвращения из Троппау (Австрия): «в продолжении разговора государь с неудовольствием отозвался о ланкастерских школах Греча, говоря, что то, что он про них думает, он и сказать не смеет: «я про них думаю... я про них думаю... что я про них думаю, я и сказать не смею» (М. Жихарев. «П. Я. Чаадаев». — «Вестн. Евр.» 1871, VII, стр. 202—203).

Ланкастерским школам и методу взаимного обучения Греч уделял много места и в практической работе и в издаваемом им журнале. В «Сыне Отечества» в 1818 г. (ч. 46, стр. 3—23, 60—68) напечатана статья: «О новейших методах первоначального обучения (извлечение из записки графа Сиверса). «В том же году была напечатана статья Греча (без подписи): «Ланкастерские школы» («С. От.» 1818, ч. 47, стр. 212—228, и ч. 48, стр. 3—12), вышедшая отдельным изданием под назв.: «Ланкастерские школы. Отрывок из путевых записок издателя Сына Отечества. СПБ., в типографии Н. Греча. 1818», стр. 49. Подробный перечень заметок и статей о школах и об «Об-ве учреждения училищ, по методе взаимного обучения» (Председатель—Ф. Толстой, помощник председателя — Н. Греч) см. в «Указателе статей серьезного содержания. Изд. Н. Бенардаки и Ю. Богушевича. Вып. I. Сын Отечества», СПБ. 1858, стр. 112. Общий очерк см. Н. Томашевская «Ланкастерские школы в России» («Русская школа» 1913, № 3, стр. 36—62).

Деятельность Греча в этой области была широко известна, и когда Мария Федоровна задумала улучшить постановку воспитательного дела в Воспитательных домах, она предложила К. Ф. Модераху пригласить «известного по ревности к сему делу коллежск. ассесора Греча» (Письмо Марии Федоровны от 18. IV. 1819. См. В. В. Тимощук «Карл Федорович Модерах».— «Русск. Стар.» 1892, № 8, стр. 364—372).— Кстати, Греч ошибается, утверждая (стр. 406—416), что приглашение его произошло в 1820 г.: в это время Модераха уже не было в живых (умер 12. VI. 1819. (Дата письма точно определяет время приглашения.

Ланкастерские школы, сначала сочувственно поддержанные правительством и Александром I, вскоре были заподозрены в крамоле из-за содержания учебных таблиц. Т. Пассек приводит сообщение Ф. П. Толстого о том, что князь А. Н. Голицын «заподозрил участие в обществе распространения ланкастерских школ «западных либералов» и донес государю» («Воспоминания Т. Л. Пассек». СПБ. 1906, т. II, стр. 370). Г. Н. Александров в «Очерках моей жизни» говорит: «К сожалению, ланкастерские школы вскоре были везде закрыты, потому что члены тайных обществ посредством таблиц стали распространять идеи против существующего порядка вещей» («Рус. Арх.» 1904, № 12, стр. 475).

Много лет спустя, во всеподданнейшем письме Николаю I, об иллюминатах от 14. II. 1831, Магницкий напоминал: «Греч, при заведении одной из сих школ в Петербурге, в виде спекуляции для своей типографии, составил общество для распространения сих школ и особенно таблиц им для того напечатанных, по всей России». Это показалось, «если не злонамеренным, то по крайней мере не безопасным, в школах для народа и солдат»... «По высочайшему повелению приказано, запретив сии таблицы и отобрав их из всех школ, военных и других, заменить приличнейшими» («Два доноса в 1831 г.» — «Русск. Стар.» 1899, № 2, стр. 308, 309). Грибовский в своем доносе тоже указывал на опасность ланкастерских школ. См. «Записка о тайных обществах в России», составленная в 1821 г. («Рус. Архив» 1875, III, стр. 423—430). Авторство записки приписывали М. Грибовскому или А. Х. Бенкендорфу, передавшему ее Александру I, в кабинете которого

она и оставалась до воцарения Николая I. В ней много говорится о Ф. Глинке (см. стр. 410).

Между прочим, отголоски всех этих правительственных, а заодно и «великосветских» подозрений слышатся в словах старухи Хлестовой:

И впрямь с ума сойдешь от этих от одних
От пансионов, школ, лицеев... Как бишь их?
Да... от ланкарточных взаимных обучений.
(«Горе от ума», действ. 3, явл. XXI.)

Семеновские события 1820 г. положили конец ланкастерской системе в военных школах и прервали карьеру Греча. Сам Александр, обратив на него гнев, неоднократно напоминал своим приближенным о необходимости следить за Гречем.

Так, в письме из Троппау от 10. XI (29. X) 1820 г. Александр указывал Ил. В. Васильчикову: «Следите бдительно за Гречем и за людьми, находившимися в его школе, будь то солдаты или маленькие девочки. Признаюсь, что я гляжу на них с тревогою... я уверен, что настоящие виновники найдутся в н е п о л к а, среди таких людей, как Греч или Каразин» («Рус. Арх.» 1875, кн. I, стр. 351, 352). «В «Секретных Замечаниях собственно для сведения одного генерал-адъютанта Васильчикова», писанных собственноручно Александром, царь повторил наказ в отношении лиц, обучавшихся в школе при Павловском полку, и запрашивал, «не сохранили ли [они] каких сношений с Гречем». На что кн. Васильчиков отвечал: «Внимание обращено с самого начала сей истории. По сведениям, люди сии ведут себя хорошо, но удаление г. Греча нахожу нужным и представлю к приезду государя новое образование сим школам» («Рус. Арх.» 1875, кн. 2, стр. 128; Николай Михайлович «Император Александр I». Т. II, стр. 542).

9. XI. 1820 г. Васильчиков писал кн. П. М. Волконскому: «я посылаю вам бумагу относительно устранения Греча от места; мне кажется, мы очень хорошо можем обойтись без этой личности, которая пока еще не сделала никакого зла, но которая могла бы его сделать» (Архив кн. П. М. Волконского. «Рус. Ст.» 1871, дек., стр. 656—7). А в письме того же Васильчикова

к Александу I от 26. XI. 1820 говорится: «Я стараюсь по возможности, государь, следить за Гречем... у которого мало средств, и который болтает как сорока (qui est bavard comme une pie)» («Рус. Арх.» 1875, кн. II. стр. 325).

В архиве В. П. Кочубея сохранилось много документов, свидетельствующих о том, как следили за Гречем даже после его увольнения от должности начальника ланкастерских школ. «Следили не только за самим Гречем, — в клубах, ресторанах, где он бывал, на улицах, поджидали его на папертях церквей, перед театрами,—но и за семьей его, прислугой, служащими его типографии, конторы и редакции журн. «Сын Отеч.»: составили даже письмо о выбывших и прибывших из дому купца Антонова, состоящего 1 части во 2-м квартале под № 125, находящихся в услужении у содержателя типографии г. надв. советн. Н. И. Греча» (И. Ф. Рыбаков. «Тайная полиция в «Семеновские дни» 1820 г. По неопубликованн. материалам Диканьского архива кн. В. П. Кочубея».—«Былое» 1925, № 2 (30), стр. 84—85).

Греч был смещен. Но так как явной вины за ним не было, то 16/28. XII. 1820 г. П. Волконский уведомляет И. В. Васильчикова: «Должность Греча упраздняется, я сообщаю об этом оффициально вам, и одновременно также князю Голицыну, чтобы Греч не остался на улице (sur le pavé)» («Рус. Арх.» 1875, кн. II, стр. 64). По всей вероятности, таково было распоряжение царя, на которое ссылается и Греч (стр. 344). В архиве кн. П. М. Волконского сохранилось письмо Васильчикова от 4. II. 1821, в котором изложена его беседа с Гречем: «Смещение Греча произвело здесь сильное впечатление: о нем много болтали; уверяли, что ланкастерские школы запрещены и что невинный человек оклеветан властями. Греч пришел ко мне с жалобами и просил у меня, как милости, сказать кому он обязан своим несчастьем. Я ему отвечал, что тут дело не в его личности... Ее величество императрица тоже сочла нужным удалить его из школы солдатских дочерей» («Рус. Арх.» 1875, кн. II, стр. 451).

Исправляем здесь хронологическую ошибку Греча (стр. 413): волнения в Семеновском полку происходили не 21 ноября, а в ночь с субботы 16-го на воскресенье 17-го октября.

Негодуя на Александра I, Греч переходит к взаимоотношениям царя с Аракчеевым, но все примечания об этом см. дальше, в связи со специальным очерком об Аракчееве. Подробные сведения о Н. М. Сипягине (ум. 1828) и И. Г. Бурцеве (1794—1829), упоминаемых Гречем (стр. 394—395), см. в сборниках: «Кавказцы или подвиги и жизнь замечательных лиц, действовавших на Кавказе. Периодическое издание, под ред. С. Новоселова». Т. т. 2 и 3. — Некролог Сипягина напечатан в «Северной Пчеле» 1828 г. № 148.

На стр. 396—401 рассказывается о брате Греча, Павле Ивановиче. 6-я егерская рота, поручиком которой он был, в события 14 декабря находилась на главной гауптвахте Зимнего Дворца, однако П. И. Греч получил даже не орден, а только благодарность в приказе (Г. С. Габаев «Гвардия в декабрьские дни 1825 г.» в книге А. Е. Преснякова: «14 декабря 1825 г.» Гиз. 1926, стр. 180, 199). См. также «В ссылку» А. Розена. М. 1900, стр. 18. О смерти Павла Ивановича см. письмо Н. И. Греча к сестре от 31/19. III. 1850 (Щукинский сборник, вып. 8, М. 1909, стр. 437—439).

На стр. 402 Греч говорит о Н. П. Демидове. Подробнее о нем и его странностях, граничащих с жестокостью, см. [Н. С. Голицын] «Благородный пансион императорского царскосельского лицея. 1814—1829». СПБ. 1869, стр. 155—156.

О Д. П. Шелехове (стр. 409), авторе многочисленных трудов по сельскому хозяйству, см. «Рус. Биограф. Словарь», т. 23, стр. 71—73. После революции 1848 г. им была напечатана верноподданническая брошюра: «Отзыв русского сердца о смутах в Европе» (СПБ. 1849 г., стр. 8).

Часть вторая

Эта часть «Воспоминаний старика», посвященная декабристам, представляет особый интерес. Греч был живым свидетелем событий, иногда другом, часто близким литературным знакомым большинства декабристов, издателем их произведений, как до 14 декабря 1825 г., так и после того, как осужденные были сосланы. Он передает события и сводит счеты с людьми через 30 слишком лет, поэтому многое забыто и иска-

жено. Его суждения, конечно, пристрастны, его характеристики—односторонни и субъективны. Поэтому, тотчас же по напечатании, записки Греча о декабристах вызвали много откликов, поправок, опровержений, гораздо больше, чем другие его воспоминания.

Небольшой отрывок из этих записок был напечатан М. И. Семевским в его работе «Александр Александрович Бестужев (Марлинский)» под заглавием: «Александр, Николай, Михаил, Петр и Павел Бестужевы. Отрывок из записок Н. И. Греча (рукопись, стр. 47 — 76, № 10 11 и 12)». (См. «Отеч. Записки» 1860, июль, стр. 88—91). Но впервые, по иронии судьбы, эти страницы верноподданного Греча появились в лондонской вольной русской типографии, в герцено-огаревской «Полярной Звезде» на 1862 г. (книга 7, вып. II, стр. 85—123) без обозначения имени автора, под заглавием: «Выдержки из записок одного Недекабриста». [1] Они сопровождались редакционным примечанием: «Отрывки эти были нам доставлены с примечанием, что они писаны одним современником Декабристов, который лично был в довольно близких сношениях с ними, несмотря на то, что явным образом не разделял их образа мыслей» (стр. 85).

Страницы из «Полярной Звезды», касающиеся С. И. Муравьева-Апостола, Г. Батенькова, В. Кюхельбекера и А. Бестужева, вошли в «Собрание стихотворений декабристов». Лейпциг. F. A. Brockhaus. 1862. Отрывок о К. Ф. Рылееве был напечатан годом раньше в «Полном собрании сочинений К. Ф. Рылеева» (Лейпциг. F. A. Brockhaus, 1861, стр. 77—79) под заглавием: Выдержки из «Записок Н. И. Г—ча».

Спустя 6 лет, уже после смерти Греча, его жена [2] передала рукопись о декабристах в «Русский Вестник». Там эта рукопись, под заглавием: «Из записок Н. И. Греча», была напечатана в 1868 г., т. 75, июнь, стр. 371 — 421, со следующим примечанием от редакции: «Эти

[1] Перепечатаны в книге: «Тайное общество и 14 декабря 1825 г. в России». Лейпциг. Э. Л. Каспрович. Стр. 31 — 78.

[2] Вторая жена Греча, Евгения Ивановна, урожд. Швидковская, журналистка, сотрудничала в «Северной Почте» и «Сыне Отечества» в 1850-х гг. под псевдонимом: Серафима. Умерла 31 марта 1885 года.

любопытные Записки доставлены нам для напечатания вдовою Н. И. Греча, не желающею, чтобы произведение его пера оставалось достоянием контрабандной печати (Записки в первый раз появились в печати на страницах Полярной Звезды). Е. Н. Греч в письме своем указывает, каким путем Записки Николая Ивановича проникли в издание г. Герцена. В 1862 году один знакомый попросил у Николая Ивановича одолжить ему для прочтения Записки о декабристах, в числе которых был близкий родственник этого знакомого. Николай Иванович согласился на эту просьбу. В скором времени знакомый возвратил рукопись, но вслед за тем Записки, без согласия и ведома Ник. Ив., появились в Полярной Звезде 1862 года».

Однако, обе редакции, и «Русского Вестника» и «Полярной Звезды», неточны и неполны, и даже 10 «экземпляров без пропусков» суворинского издания 1886 г. не являются полными. Собственно, каждая страница этих воспоминаний нуждается в обширных комментариях. Но с другой стороны, литература о декабристах велика, и вышедшая недавно тщательная и подробная книга: «Центрархив. Восстание декабристов. Библиография. Составил Н. М. Ченцов. Госуд. Изд. 1929» (Стр. XIX+792+2), дает указание материалов к любому эпизоду этого восстания. Второй необходимой справочной книгой является «Алфавит декабристов. Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса» (Центрархив. Восстание декабристов. Материалы. Том VIII. Гос. Изд. 1925. Стр. 431 + I).

В комментариях ограничиваемся исправлениями и уточнениями фактической стороны авторского текста, указывая литературу лишь при ссылках и цитатах.

О непосредственном участии Греча (и Булгарина) в восстании декабристов ходило много слухов. В «Записках К. А. Полевого» (Изд. А. Суворина. СПБ. 1888) рассказывается, как А. Воейков рассылал об этом анонимные доносы (см. стр. 187—190). В «Записной книжке И. Н. Павлова» указано: «Прокламации декабристов печатались у Греча. В ночь на 14 декабря фактор его типографии пропал без вести» («Рус. Обозр.» 1896, апрель, стр. 892). То же самое утверждал в 1851 г. Герцен в статье «О развитии революционных идей

в России»: Греч и Булгарин «стали ренегатами и предались правительству, предварительно загладив свое участие в 14-м декабря доносами на друзей и устранением фактора типографии, который, по их приказаниям, набирал в типографии Греча революционные прокламации» (А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем. Под ред. М. К. Лемке. Том VI, стр. 365). См. также «La verité sur la Russie par le Prince Pierre Dolgoroukow». Paris, 1860. Стр. 224.

Однако, эти слухи мало вероятны. Греч (не говоря уже о Булгарине) был в достаточной мере запуган событиями 1820 г. (на что он и сам указывает на стр. 451) и 1824 г. (Дело пастора Госнера). А с другой стороны, его лояльность и благонадежность препятствовали ему принять участие в действиях декабристов и даже в их замыслах (см. ниже на стр. 789 показания М. А. Бестужева). Кроме того, доносов и раскаяния недостаточно было бы для заглажения вины перед Николаем I: многие из декабристов каялись, и большинство из них рассказывало подробно обо всем, и однако суд не пощадил никого из них. Речь идет поэтому не о бунтарских делах Греча, а о близком участии в тех литературных кругах, где бывали и декабристы. На это указывает и сам он и многие современники. Г. Батеньков в показаниях Следственному Комитету 22 марта 1826 г. говорил: у Греча «были приятные вечера, исполненные ума, остроты и откровенности. Здесь узнал я Бестужевых и Рылеева» (М. В. Довнар-Запольский «Мемуары декабристов». Киев, 1906, стр. 161). А. Измайлов в сатирическом стихотворении «Сленина лавка» объединяет те же имена:

Приходит Рылеев, Бестужев и Греч—
Язык ему надо немножко присечь.
(«Русск. Архив», 1864, стр. 812—813.)

Общеизвестная болтливость Греча, «qui est bavard comme une pie» (см. выше, стр. 774), и обширные знакомства с декабристами, конечно, не сулили добра после восстания. Отсюда страхи Греча, и быть может, ими объясняется болезнь, о которой сообщает Булгарин в начале января 1826 г.: «Жестокая и продолжительная болезнь товарища моего Н. И. Греча при-

чиною позднего выхода последних книжек 1825 и первых 1826 г. Сына Отечества и Северного Архива» («К читателям» — «Северн. Пчела» 1826 г. № от 9 января). На это же указывает А. Е. Измайлов в письме к П. Л. Яковлеву от 24. XII. 1825: «У Греча и Булгарина болит живот» (М. К. Азадовский. «14-ое декабря в письмах А. Е. Измайлова». — «Памяти декабристов». Сборник материалов I. Академия Наук СССР. Л. 1926, стр. 241).

Переходим теперь к рассказам Греча об отдельных декабристах, отмечая при этом главным образом его неточности.

Об отце Пестеля, Иване Борисовиче, и его помощнике Трескине см. «Бумаги Ив. Бор. Пестеля» («Рус. Арх.» 1875, кн. 1, стр. 370 — 423); «Записки иркутского жителя» И. П. Калашникова («Рус. Стар.» 1905, VII, стр. 187 — 251), и В. Вагина «Исторические сведения о деятельности графа М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1821 г.»

Дата экзамена П. И. Пестеля в пажеском корпусе — март 1812 г., приводимая Гречем (стр. 438), неверна: он был выпущен из Корпуса 14 декабря 1811 года. О прощании Пестеля с напутствовавшим его пастором и их разговорах см. «Описание свидания пастора Рейнбота с П. И. Пестелем, составленное отцом Пестеля (перев. с нем.)» («Рус. Арх.» 1875, кн, I, 419 — 421). Оно несколько разнится от того, что сообщает Греч.

Отзыв Греча о К. Ф. Рылееве, пристрастный и несправедливый даже в мелочах, вызвал возражения как современников (Д. Завалишин, Дм. Кропотов и др.), так и большинства исследователей восстания. Любопытно отметить фельетон Z. (т. е. В. Буренина): «Журналистика» в «СПетерб. Ведом.» 1868 г. № 223, где говорится: «Греч в своих записках до того увлекается желанием выставить себя ничего неимевшим общего с замыслами декабристов, что даже не щадит свою собственную личность и личность своего сотоварища Булгарина».

Послание Рылеева «К временщику (Подражение Персиевой Сатире: К Рубеллию)» напечатано не в «Невском Вестнике», а в «Невском Зрителе», ч. IV, 1820, октябрь, II, стр. 26 — 28. Десятью годами раньше сатиру Персия «К Рубеллию» перевел М. Милонов («Цветник»

1810 г. № 10, стр. 63, перепечатана в «Пантеоне Руской Поэзии» П. Никольского, ч. III, стр. 51 — 54, и вошла в «Сатиры, послания и другие мелкие стихотворения Михайлы Милонова». СПБ. 1819, стр. 10 — 13). Этот перевод темой и слогом несомненно оказал влияние на произведение Рылеева. Любопытно отметить, что у самого Греча есть стихотворение «Временщик времен Рима (перевод с латинского)». См. В. И. Маслов «Литературная деятельность К. Ф. Рылеева». Киев, 1912, стр. 157.

Портрет Аракчеева работы Уткина, о котором говорит Греч на стр. 444, воспроизведен в исследовании Д. А. Ровинского: «Николай Иванович Уткин. Его жизнь и произведения. СПБ. 1884. Атлас», в его же «Подробном словаре русск. гравиров. портретов». Спб. 1886 г. т. I, стр. 344 (см. также Пушкин, изд. Брокгауза-Ефрона, т. II, стр. 7).

Об «учителе корпуса ... пьяном Железникове» Булгарин в своих воспоминаниях (СПБ. 1864, т. I, стр. 290) говорит: «Кроме Н. И. Греча я не знал лучшего преподавателя русского языка, как П. С. Железников». Составленная последним «Сокращенная библиотека в пользу Господам Воспитанникам первого Кадетского Корпуса. Части I — IУ. 1800 — 1804» являлась обыкновенной хрестоматией и «находилась в употреблении до 1845 или 1846 г., не возбуждая никаких опасений». См. Дм. Кропотов «Несколько сведений о Рылееве. По поводу записок Греча» («Русск. Вестн.» 1869, III, стр. 235). В. И. Маслов отмечает возможное влияние «Сокращенной библиотеки» на литературное творчество Рылеева; в частности характеристика Бориса Годунова, напечатанная в III части, совпадает с той, которая дана Рылеевым в «Думах» («Литературная деятельность К. Ф. Рылеева», стр. 207).

В упомянутой статье Д. Кропотова (стр. 229—245) приведены подробные возражения Гречу относительно образования Рылеева: он знал французский, польский, немецкий языки (участвовал в массонской ложе № 9 «Пламенной Звезды», где все дела и прения велись на немецком языке); неверны также указания Греча на дурную работу Рылеева в Американской Компании.

О Царскосельском Лицее, как очаге «декабризма», было немало толков в свое время. В 1826 г. об этом

писали даже в иностранных газетах, и бывшему директору Лицея Е. А. Энгельгардту пришлось выступать с опровержениями в печати. Письмо его к Бенкендорфу от 6 мая 1826 и выдержки из иностранных газет напечатаны в книге [Н. Голицына] «Благородный пансион импер. царскосельского лицея», стр. 378-388, и в приложениях, стр. 10-13. Кроме В. Кюхельбекера и Пущина, к следствию привлекались еще 6 воспитанников Лицея и один воспитанник благородного Пансиона: В. Д. Вольховский, Б. К. Данзас, С. Н. Жеребцов, А. А. Корнилов, А. В. Малиновский, Н. Н.Молчанов и А. Ф. Нумерс. О степени их участия и о дальнейшей их судьбе см. «Алфавит декабристов» (по указателю имен).

На стр. 452 Греч рассказывает об обеде 26 ноября 1825 г. у Ив. В. Прокофьева. Д. И. Завалишин категорически опровергает ряд сведений Греча: обед происходил не в ноябре, а в конце октября; Александр Бестужев и Муханов на нем не участвовали; вместо Мих. Кюхельбекера был Вильгельм. Н. И. Кусов, тогдашний городской голова, присутствовал на обеде, и Батеньков вел разговор с ним, а не с Прокофьевым. При этом Батеньков сказал, что если бы он был городским головою, то у него звание головы и в Петербурге значило бы не меньше, чем лорда-майора в Лондоне (Lord-Mayor, лорд-мер Лондона). См. Д. Завалишин «Заметка относительно степени доверия, какое можно иметь к «Воспоминаниям», «Запискам» и другим подобным материалам.»—«Древняя и Новая Россия» 1876 г. № 10, стр. 211 — 212. Об этом обеде говорится также в «Записках барона И. В. Штейнгеля» («Ист. Вест.» 1900, июнь, стр. 835).

Предсмертное письмо Рылеева к жене, напечатанное неточно в «Русском Вестнике», вызвало возражения и исправления со стороны Д. Кропотова («Рус. Вестн.» 1869, III, стр. 244—5). Фатализм и умиротворенность письма, отсутствие протеста против царской расправы вызывали сомнения в его подлинности. См. А. В. Лонгинов «Заметка о предсмертном письме К. Ф. Рылеева» («Истор. Вестн.» 1908, IX, стр. 1132—1134). В настоящем издании письмо воспроизводится с подлинника, хранящегося в рукописном отделении Академии Наук.

На стр. 459 говорится о либерализме Л. В. Дубельта (1793-1862) в молодости. См. биографический

очерк его в «Рус. Стар.» 1888, ноябрь, стр. 491 — 514. Там же, на стр. 501, письмо Дубельта к жене от 9.I. 1830 о целях и задачах его работы с Бенкендорфом.

Ипполит Иванович Муравьев-Апостол (стр. 459) во время восстания Черниговского полка был ранен (при с. Ковалевке) и тут же застрелился 3 января1826 г. (см. Рапорт 5 января 1826 г. командира 3 Пехотного Корпуса ген.-лейт. Рота. — «Русск. Инвал.» 1826 г. № 8 от 10 января). Брат его, Матвей Иванович, несмотря на «отчаяние и искреннее раскаяние» (выражение Греча) был осужден по 1 разряду, а затем приговорен к 20 годам каторжных работ; получил разрешение поселиться в Москве только в 1863 г.

П. Каховский воспитывался в Московском университетском благородном пансионе. Кроме Милорадовича и Стюрлера, он ранил офицера Гастфера.

История С. Трубецкого рассказана Гречем (стр. 461) в общем верно. «Полуденная Россия», где жил Трубецкой в 1857 — 58 гг. (время писания «Воспоминаний старика»), это Киев, позднее — Одесса. Но Греч не рассказывает одного любопытного эпизода, который связан с пребыванием Трубецкого в ссылке и к которому Греч имел «литературное» отношение. В 1843 г., в Париже появилась книга «La Russie en 1839 par le Marquis de Custine». В ней (на стр. 30, 34) указывалось, что княгиня Трубецкая обратилась к царю с просьбой разрешить ее детям учиться в Петербурге и получила отказ. За этот отказ Кюстин называл Николая достойным преемником Ивана Грозного. Вокруг книги Кюстина поднялся шум, и Греч, живший тогда за границей, напечатал ответ Кюстину (по немецки): «Ueber das Werk: La Russie en 1839 par le Marquis de Custine von N. Gretsch. Aus dem Russischen übersetzt von W. v. Kotzebue. Paris, Heidelberg. 1844, s. 93». Затем появился французский перевод этой книги: Examen de l'ouvrage de M. le Marquis de Custine intitulè La Russie en 1839, par N. Gretsch. Traduit du russe par Alexandre Kouznetzoff. A Paris. 1844. III + 107.» — В предисловии к французскому изданию Греч отрицает слухи о том, что он писал по поручению русского правительства. Тем не менее напечатанию книги предшествовала длительная переписка с Бенкендорфом и Дубельтом.

В книге М. К. Лемке «Николаевские жандармы», изд. 2-ое приведено письмо Греча к Л. В. Дубельту от 6. VIII. 1843 г.: «В ожидании благосклонного вашего ответа на запрос мой, можно ли написать замечания на книгу Кюстина, я занялся этим делом... Если мне дозволено будет отвечать, то потрудитесь удостоить меня ответом и разрешением в следующих предметах: точно ли княгиня Трубецкая, жена сосланного на каторгу, дважды просила о позволении воспитывать детей ее вне Сибири? где предназначено место поселения Трубецкого по окончании срока каторги? и, наконец, вообще, что последовало по этому делу? Если приводимое Кюстиным справедливо, то в отказе государя я вижу только желание быть справедливым равно ко всем: дав облегчение Трубецкому и его детям, он считал бы справедливым сделать то же и для всех прочих, а этого по причинам государственным сделать нельзя. Так ли я понял это дело?» (стр. 145)

В Пушкинском Доме Академии Наук, в архиве П. Я. Дашкова, сохранилось ответное письмо Дубельта к Гречу от 26. VIII. 1843 г.: «Письмо ваше, мой почтенный Николай Иванович, от 6-го с. м. из Гейдельберга, я докладывал графу Александру Христофоровичу [Бенкендорфу]. Его сиятельство приказал отвечать вам, что с женою Трубецкого, который на коленях вымолил себе жизнь, не было никакой переписки о дозволении воспитывать детей ее вне Сибири. По неисчерпаемой благости государя сделано распоряжение общее, разместить по учебным заведениям всех детей прижитых в Сибири государственными преступниками, которые во всех других государствах были бы повешены, а у нас, напротив, живут спокойно и в возможном довольстве. Трубецкой поселен в дер. Оске, близь Иркутска, и не воспользовался этою общею милостию, под тем предлогом, что разлука навек его дочерей с их матерью будет для нее смертельным ударом. Одно это служит уже доказательством, что Трубецкая не просила о воспитании детей ее вне Сибири».

Греч напечатал это оффициозное разъяснение с указанием, что оно «исчерпывающе и надежно» и получено «от вполне осведомленных лиц» («vollständige und zuverlässige Mittheilung... von wohlunterrichteten

Leute aus St. Petersburg» («Ueber das Werk: La Russie en 1839», стр. 69).

«Гречева защита государя против Кюстина» вызвала гневный протест Герцена (см. запись в «Дневнике» 6 марта 1844 г. в «Полном собрании сочинений» т. III, стр. 314 — 315, 370) и одобрение III Отделения.

22. IX. 1843 Дубельт писал Гречу: «Граф [Бенкендорф] поручил мне передать вам, мой почтенный Николай Иванович, за составление этой статьи искреннюю его благодарность» («Сношения Греча с Дубельтом». — «Древняя и Новая Россия» 1878 г. № 6, стр. 264 — 265).

Подробно обо всем этом — см. в указанной книге М. К. Лемке, стр. 127 — 152, в статье Е. Тарле «Самодержавие Николая I и французское общественное мнение» («Былое» 1906 г., №№ 9 и 10). См. также В. Семевский: «С. Трубецкой» в Энциклопедическом Словаре Брокгауза-Ефрона, т. 66, стр. 924 и «Письма Дубельта к Гречу» («Голос Минувшего», 1922, № 2, стр. 194 — 197).

Рассказ Греча о Вильгельме Кюхельбекере (стр. 462 — 471) заключает много неточностей. Кюхельбекер дрался на дуэли не с Пушкиным, а с Пущиным; в Лицей поступил 19. X. 1911 г., когда велик. кн. Михаилу Павловичу было только 13 лет, поэтому не мог числиться его пенсионером и сначала вообще был своекоштным и только потом переведен на казенный счет; после Лицея, в 1817 г. поступил в Министерство Иностр. Дел и одновременно в течение 3 лет преподавал русский и латинский языки в Пансионе при Педагогич. Институте; оставил службу во второй половине 1820 г. На Кавказе служил не в 1824, а с конца 1821 по май 1822 г., когда, после дуэли с Похвисневым, вышел в отставку. В 1824 г. вышла в свет «Мнемозина, собрание сочинений в стихах и прозе, издаваемая кн. В. Одоевским и В. Кюхельбекером» (Москва. Ч. I, II и III в 1824 г., ч. IУ — в 1825). Сведения о Туманском см. в книге: «В. И. Туманский. Стихотворения и письма. Ред. С. Н. Брайловский. СПБ. 1912». — О пребывании Кюхельбекера у Греча см. его письма к матери от 10-го и 30-го июня 1825 г. («Руск. Стар.» 1875, июль, стр. 346).

Приметы Кюхельбекера, описанные Булгариным

«умно и метко» (стр. 468): «росту высокого, сухощав, глаза на выкате, волосы коричневые, рот при разговорах кривится, бакенбарды не растут, борода мало зарастает, сутуловат и ходит немного искривившись, говорит протяжно». См. Объявление СПБ. Обер-полицмейстера А. С. Шульгина I (воспроизведено у Н. Шильдера «Император Николай I», т. I, стр. 457), а также «Рус. Архив» 1870 г., стр. 406, и «Рус. Стар.» 1909, X, стр. 81.— Первоначально, после 14 декабря, Кюхельбекер уехал в Великолуцкий уезд Псковской губ., в поместье родственницы своей. Арестован 19. 1. 1826 не в харчевне, а на улице унтер-офицером, к которому обратился с вопросом. Оффициальное сообщение о поимке Кюхельбекера см. «Рус. Инвалид» 1826 г. № 23 от 28 января. Пробыл 4 года в Динабургской (Двинской) крепости, комендант которой хорошо относился к нему. Давал уроки детям не этого коменданта, а в 1839 г. в акшинской крепости дочерям майора Разгильдеева. В 1836 г. был отправлен на поселение в Сибирь, в Баргузин, в 1844 г.—в Смоленскую слободу, Курганского округа (а не в Смоленскую губернию). Умер 11. VIII 1846 г. в Тобольске. Подробно см. «Вильгельм Карлович Кюхельбекер. 1797 — 1846». («Рус. Стар.» 1875, июль, стр. 337 — 378) и Д. Завалишин «В. К. Кюхельбекер. Поправки и заметки» («Древняя и Новая Россия» 1878, № 2, стр. 184).

Так же неверны сообщения Греча о Михаиле Кюхельбекере (стр. 470 — 471), вызвавшие возражения Д. Завалишина (в «Др и Нов. России» 1876, № 10, стр. 211 — 212). С Николаем Бестужевым и К. Торсоном М. Кюхельбекер не был даже знаком. Разговор с братом и причащение — вымысел, тем более что в Сибирь он был отправлен только в феврале 1827 г. История его брака изложена неверно: невеста его была дочерью не священника, а мещанина, и Кюхельбекер не с нею крестил чужого ребенка, а крестил ее ребенка от некоего Лосева. Донос последовал не через несколько лет, а через 3 месяца. См. Н. Гастфрейнд. «Бракоразводное дело М. Кюхельбекера» («Всемирн. Вестник» 1903, IV, стр. 241 — 250).

Анекдот с подробностях дуэли Якубовича с Грибоедовым (стр. 471) неверен: последний был ранен в левую руку.

Александр Федосеевич Бестужев, отец дека-

бристов, умер 49 лет от роду (1761—1810). Им написаны книги: 1) «Опыт военного воспитания, относительно благородного юношества, начертанный по расположению знаменитого итальянского законоискусника Филанжери, писавшего о науке законодательства. Дополненный краткими рассуждениями и нужными примечаниями к предмету воспитания касающимися А. Б.....вым. В Санктпетербурге, с указного дозволения печатно в типографии Шнора. 1803 года.» 2) «Правила военного воспитания относительно благородного юношества и наставления для офицеров военной службе себя посвятивших. Дополненные нужными примерами А. Бес...вым. В СПБ., в типографии Ив. Глазунова 1807 года» (Печаталось в «Санктпетербургском Журнале» 1798).

Отношения Греча с братьями Бестужевыми, в особенности с Александром, были дружественные. Об этом свидетельствуют и тон его воспоминаний о них (стр. 473—485) и в особенности письма Александра Бестужева (Марлинского) из ссылки. Так 9. IV.1831 последний пишет из Дербента: «Он [Греч], так сказать, выносил меня под мышкой из яйца; первый ободрил меня и первый оценил... нравственным образом одолжен я им неоплатно за прежнюю приязнь и добрые советы; он прибавляет теперь к этому капиталу еще более, великодушно вызываясь на все хлопоты... и отворяя двери в свой журнал. Я должник его по сердцу и по перу» («Рус. Арх.» 1869, стр. 608). 16.XII. 1831 Бестужев пишет Н. А. Полевому: «Греч первый ободрил меня и оценил меня; когда целый комитет цензуры решил, что я не умею написать строчки по-русски, он первый предложил мне и в несчастии быть его сотрудником. В нем много барства, но много и благородства» («Рус. Вестн.» 1861, март, стр. 314). В том же духе письмо от 15. III. 1832: «Гречу и всей семье его душевный привет: дай бог им счастия до пятого колена Я люблю и уважаю их всех. Начал ли-то Николай Иванович печатать мои повести? Я лучше не мог найти издателя» («Рус. Стар.» 1901, II, стр. 401). Конечно, отношения Греча к Бестужеву были отношениями издателя к выгодному сотруднику, все же в этом был риск. А. Бестужев давал себе отчет в том и другом и 21. II. 1834 писал Булгарину: «Греч первый после моего потопа предложил мне сотрудничество; знаю,

что в этом он мог предвидеть и свою пользу, но знаю и то, что это было благородным геройством по времени» («Рус. Стар.» 1911, II, стр. 401).

«Бестужевскими каплями» назвал слог А. А. Бестужева любитель каламбуров сам Греч (см. «Рус. Арх.», 1869, стр. 608). В данном случае каламбур заключался в однозвучии с врачебным средством, изобретателем которого был гр. А. П. Бестужев-Рюмин (1725).

Греч печатал в «Сыне Отечества» произведения, присланные А. Бестужевым-Марлинским из ссылки. Одно из них: «Вечер на кавказских водах в 1824 г.» («Сын Отеч.» 1830, ч. 37) было посвящено Гречу. Повесть «Амалат-Бек» написана в 1831 г. и напечатана в «Московском телеграфе» 1832, январь и февраль. Перечень всех произведений А. А. Бестужева с указанием места, где они напечатаны, см. Н. Ченцов, «Восстание декабристов. Библиография», стр. 302—310.

История самоубийства Ольги Нестерцовой (26.II.1832), в комнате Бестужева, описана по архивным делам дербентской полиции в статье: «А. А. Бестужев (Марлинский). По воспоминаниям Я. И. Костенецкого» («Рус. Стар.» 1900, ноябрь, 441—457). Ср. также Щукинский сборник, IV, М. 1905, стр. 176.

Николай Бестужев в сражении с англичанами в 1808 г. не участвовал, а был в это время на шхерах близ шведского берега. См. М. [Семевский, М. И.] «Николай Александрович Бестужев» («Заря» 1869, июль, отд. II, стр. 38). О поездке на корабле «Не тронь меня» упоминает Греч также в «Газетных заметках» Эрмиона в «Северной Пчеле» 1857, № 131, от 17. VI. Об этом путешествии упоминается также в «Записках М. А. Бестужева», при чем попутно дается не очень благоприятная характеристика Греча. См. «Воспоминания братьев Бестужевых». Изд. «Огни», стр. 281, 311, 328.

«Известие о разбившемся Российском военном бриге Фальке в Финском заливе у Толбухина маяка в 1818 г. октября 20 дня» напечатано в «Сыне Отеч.» за 1818 г., часть 49, стр. 282—288, за подписью: . . . . й . . . . ъ,[1]

[1] В библиографии декабристов Н. Ченцова, на стр. 300, № 1704, неправильно указано, что статья эта помещена за полной подписью автора, а также неверно указан год „Сына Отечества" (1822, вместо 1818-го).

и затем перепечатано в книге «Описание достопримечательных кораблекрушений, в разные времена претерпенных Российскими мореплавателями. Собраны, приведены в порядок и пополнены примечаниями и пояснениями, Флота Капитаном-Комендантом Головниным. Часть четвертая, служащая к описанию примечательных кораблекрушений, Г. Дункена». СПБ. 1822, стр. 192 — 208 (вошло в «Сочинения и переводы Вас. Мих. Головнина». Том IV. СПБ. 1864, стр. 459—465).

В свое время пользовались успехом также «Записки о Голландии 1815 года. Николаем Бестужевым». СПБ. 1821 г. (см. «Сын Отеч.» 1821, ч. 74, стр. 85 — 86).

Гибралтарские впечатления о расстреле испанских инсургентов описаны Н. Бестужевым в очерках «Гибралтар» («Полярная Звезда на 1825 год», стр. 193 — 234).[1]

Эти очерки, так же как и предыдущие, вошли в книгу: «Рассказы и повести старого моряка Н. Бестужева» (М. 1860).

Между прочим, любопытно отметить, что с произведениями его сходны «Литературные опыты» Сергея Ветлина, одного из героев романа Н. Греча «Черная женщина» (т. III. Спб. 1834, стр. 212). В этом же романе (т. IV, 24 — 26) дано описание морского сражения на корабле «Рогволод», совпадающее с описанием битвы на «Всеволоде», в котором якобы участвовал Н. Бестужев (Греч, стр. 478).

О «кронштадтской любви» Н. Бестужева неизвестный современник говорит: «Это была связь тихой любви, соединенной в то же время и с дружбой, так что имела вид какой-то особенной прочности и естественности, и оба любящиеся считали себя связанными пожизненными узами» («Заметки неизвестного о декабристах и о русских моряках прежнего времени». «Щукинский Сборник», IV, М. 1905, стр. 176).

Четверостишие, приведенное на стр. 479, взято (с некоторыми неточностями) из стихотворения К. Н. Батюшкова: «Счастливец» (Сочинения. Т. I, стр. 124). — Умер Н. А. Бестужев не в 1854, а в 1855 г.

[1] Эти же события описаны декабристом А. Беляевым. См. его „Воспоминания декабриста“ СПБ. 1882, стр. 125 — 128.

Повозка, о которой говорится на стр. 485 («сидейка», «бестужевка») изобретена не им, а его братом Михаилом. Последний умер в 1871 году и имел возможность прочитать записи Греча о себе и о своих братьях. И, в свою очередь, рассказал, как он еще до 14 декабря опасался Греча, считая его правительственным шпионом, и как Греч пытался выведать у него о целях тайного общества. Тогда М. Бестужев намекнул Гречу о его предательстве. «Я вышел в каком-то угаре от него, и ушел из его дома, чтоб никогда с ним не видаться. Он мне не простил этого жгучего укора и в своих записках — постарался уколоть меня по своему: язвительным отзывом о моей личности» («Воспоминания братьев Бестужевых», стр. 328 — 329).

О Петре Бестужеве и его помешательстве см. письмо А. А. Бестужева от 28. VII. 1832 («Рус. Вестн.» 1861, март, 330) и «Воспоминания братьев Бестужевых», стр. 88 — 89. Умер он не в Новгородской губ., а в доме умалишенных под Петербургом.

Павел Бестужев был арестован не за произнесение речей во время коронации Николая I (по этому делу выяснилась его непричастность), а за то, что на его столике в дортуаре артиллерийского училища была найдена «Полярная Звезда» с рылеевскими стихами. Подробно о нем, а также о всех его братьях см. упомянутые уже «Воспоминания братьев Бестужевых», изд. «Огни».

На стр. 489 — 491 вкраплен рассказ о К. Н. Батюшкове. Догадка Греча о «существовании тайных замыслов», как причине помешательства поэта, подкрепляемая М. А. Дмитриевым (см. «Мелочи из запаса моей памяти», М. 1869, стр. 197), опровергнута в книге Л. Майкова: «Батюшков, его жизнь и сочинения», изд. А. Маркса, СПБ. 1896, стр. 222 — 223; см. там же записку д-ра А. Дитриха о душевной болезни Батюшкова (стр. 263 — 287). В «Опыте краткой истории русской литературы» Греча (СПБ. 1822) на стр. 305—314 приведен отзыв Плетнева о Батюшкове (перепечатан в «Сочинениях и переписке П. А. Плетнева», т. I, СПБ. 1885, стр. 23 — 29). Отзыв этот составлен в хвалебных выражениях, и не он явился поводом к озлоблению Батюшкова против Плетнева, а стихотворение последнего: «Б. . . . . . в из Рима», напечатанное в «Сыне

Отечества» 1821 г., ч. 68, стр. 35 — 36 (см. «Сочинения . . . . Плетнева», т. III, стр. 250 — 251), в котором говорилось от имени Батюшкова:

«Я снял свой миртовый венец
И дни влачу без славы».

Обида еще проистекала от напечатания стихотворения: «О, русский, милый гость», полемику вокруг которого см. в очерке: «А. Ф. Воейков» (643—647).

Греч умалчивает о том, что негодование больного Батюшкова было направлено и против него. «Если г. Плетаев, писал Батюшков Гнедичу, накропал стихи под моим именем, то зачем было издателям Сына Отечества печатать их?» И в следующем письме: «Что могу заключить о бедном Грече, о добром Грече? — Как ему не стыдно?» (См. Сочинения К. Н. Батюшкова, т. III, СПБ. 1886, 566 — 571). Об отношении Пушкина к этому инциденту см. в «Письмах», под ред. Б. Модзалевского, т. I, Гос. Изд. 1926 г., стр. 36, 40, 41 и 258-259.

И. И. Пущин умер не в Петербурге, а в Бронницах Московской губ.

На стр. 493 — 494 Греч рассказывает о печатании стихотворений Жуковского в «Пантеоне Русской поэзии», издаваемом Павлом Никольским (СПБ. 1814 — 15). Всего вышло 12 книг в 6 частях. В 1-ой части напечатаны 4 произведения Жуковского: «Сельское Кладбище», «Людмила», «К Нине» и «Богатство, слава, честь», во 2-ой — «Светлана». Затем только в 6-ой части — «Эолова арфа» и «Певец». Но так как 6-ая часть «Пантеона» была напечатана уже после смерти Никольского, под ред. А. Измайлова (см. Некролог П. Никольского в «Сыне Отеч.» 1816, ч. 33, стр. 67 — 71), то вполне возможно, что последние стихотворения Жуковского были помещены без ведома Никольского (хотя цензурная пометка сделана 24. V. 1815, а Никольский умер 28. IX. 1816).

Стихотворение В. Л. Пушкина, приведенное Гречем на стр. 494, озаглавлено «К В. А. Жуковскому». В нем Балдус (т. е. А. Шишков) говорит:

О братие мои, зову на помощь вас,
Ударим на него и первый буду аз,

Кто нам грамматике советует учиться,
Во тьму кромешную, в геенну погрузиться,
И аще смеет кто Карамзина хвалить,
Наш долг, о людие, злодея истребить.

(Сочинения В. Л. Пушкина, под ред. А. Н. Сапtова. Изд. Е. Евдокимова. 1893 г., стр. 70—71.— Впервые напечатано в «Цветнике» 1810, ч. VIII.)

О книге Н. И. Тургенева «Опыт теории налогов, СПБ, 1818, В типографии Н. И. Греча» были напечатаны отзывы в «Сыне Отечества», см. 1818. ч. 50, стр. 134—138, и статью А. Куницына там же, стр. 207—224 и 258—271. Книга «La Russie et les Russes. T. I—III. Bruxelles. 1847» до сих пор не переведена полностью (см. Н. Ченцов, «Восстание декабристов. Библиография». Стр. 536, 539, 544—545 и 550).

Не только Греч, но и некоторые декабристы упрекали Н. И. Тургенева за его корыстолюбие. Так, Басаргин писал: «Тургенев издал во Франции свои записки,— сочинение очень посредственное и не совсем простодушное, в котором он как будто старается оправдать свое участие в обществе. Мне кажется странным, что ему одному только при амнистии возвратили все и что он это не только принял, но, как кажется, даже об этом хлопотал» («Записки Н. В. Басаргина». Изд. «Огни». Пгр. 1917, стр. 85).

Впрочем, у Греча могли быть личные поводы недовольства Н. Тургеневым. В 1817 г. Греч выступил с речью, посвященной «Обозрению литературы за 1815 и 1816 гг.» (см. «Сын Отеч.» 1817, ч. 35, стр. 3—22, 55—67). В ней хулилась западно-европейская свобода и отдавалось предпочтение русской узде. Тургенев в заседании «Арзамаса» выступил с резкою отповедью Гречу: «Первое слово, вылившееся из пера его, было — цензура... Таким образом, говоря о свободе книгопечатания и вместе с сим превознося цензуру, Г. Сын Отечества выводил следствием существование благоразумной свободы... Давно уже прямодушные люди не верят словам, сопровождаемым эпитетом благоразумия, и под благоразумным поведением разумеют тонкое, часто подлое поведение, под благоразумным человеком разумеют эгоиста, под благоразумием цензуры — благоразумие полиции... Мы не имеем

нужды в очках г-на Греча» (Запись в дневнике Н. И. Тургенева от 9 января 1817 года. См. «Архив братьев Тургеневых». Вып. V. Игр. 1924, стр. 17 — 20).

Н. И. Тургенев вернулся в Петербург не в 1856, а в 1857 году.

Г. С. Батеньков воспитывался не в 1-м, а во 2-м кадетском корпусе. Был командирован сначала в Томск, и лишь впоследствии переехал в Иркутск. О его службе там см. «Исторические сведения о деятельности гр. М. М. Сперанского в Сибири, с 1819 по 1822. Собраны В. Вагиным. Т. I и II. СПБ. 1872». Подробно о нем и его помешательстве см. Б. Л. Модзалевский. «Декабрист Батеньков».—«Рус. Истор. Журнал» 1918, V, стр. 101 — 153, и Г. Потанин. «Г. С. Батеньков».— «Сиб. Огни» 1924, № 2, стр. 66 — 74.

Двустишие «Не внемлют! видят и не знают» принадлежит Державину.

Владимир Иванович (а не Петрович) Штейнгель подавал заявление об увольнении со службы в 1817 г., т. е. при жизни Тормасова (ум. 1819), так как у него происходили раздоры с «аристократическим кругом». После 1835 г., живя в Елани, он сделал попытки сотрудничать в «Сев. Пчеле» и послал Гречу письмо с приложением статьи. Броневский, ген.-губ. Восточной Сибири, переслал это письмо Бенкендорфу, ответившему, что считает «неудобным дозволять государственным преступникам посылать свои сочинения для напечатания в журналах, ибо сие поставит их в сношения несоответственные их положению». См. «Общественные движения в России в первую половину XIX в. Т. I. Декабристы. Сост. В. И. Семевский, В. Богучарский и П. Е. Щеголев». П. 1905, стр. 310.

Князь Одоевский, Александр Иванович (а не Иван Александрович), был осужден на 12 лет каторжных работ, с сокращением срока до 8 лет. В 1837 г. был переведен рядовым на Кавказ. В 1839 г. умер от малярии.

Евгений Петрович Оболенский не был «увлечен в омут Рылеевым» (Греч, 509), так как вступил в Союз Благоденствия в 1817 г., т. е. на 5 лет раньше Рылеева, вступившего в Северное Общество в 1823 г. В оффициальном «Алфавите членам бывших злоумышленных тайных обществ» указано, что Оболенский «оставался совершенно недеятельным членом до 1824 г.». См.

«Общественные движения в России». Т. I, стр. 205 и «Алфавит декабристов», стр. 139.

А. О. Корнилович помогал Д. П. Бутурлину в разыскании материалов для истории Петра I и для «Histoire militaire de la Campagne de Russie en 1812. Vol. 1—2. Paris & St. Petersbourg». Д. Завалишин указывает, что связанная с этим работа Корниловича в секретных архивах послужила причиной возвращения его в 1828 г. из Сибири в Петропавловскую крепость, откуда он был затем отправлен на Кавказ («Сухоруков и Корнилович».—«Древн. и Нов. Россия» 1876. № 6, стр. 170—172). Другую версию см. в «Алфавите декабристов», стр. 329—330. Там же, стр. 249—251 о В. Е. Галямине. Перед арестом Корнилович издал альманах: «Русская старина. Карманная книжка для любителей отечественного, на 1825 год. Изданная А. Корниловичем. СПБ, в типографии департам. народного просвещ. 1924. VIII + 4 + 350 + 2 + 5 нотн. листов». Был приговорен к 12 годам каторжных работ (не по 5-му, а по 4-му разряду), с сокращением до 8 лет; в 1832 г. переведен в рядовые. Умер в 1834 г. — Статья Греча, о смерти Александра I, непонравившаяся Корниловичу, (стр. 511), напечатана в «Северной Пчеле» 1825 г. № 144 от 1 декабря.

К К. П. Торсону (стр. 512) в 1838 г. в ссылку (Селенгинск) приехала сестра вместе с матерью. После его смерти (1851) сестра получила разрешение вернуться в Россию лишь в 1855 г.

Н. Р. Цебриков (стр. 512) был отнесен не к 20-му, а к 11-му разряду и разжалован в солдаты. В 1838 г. произведен в унтер-офицеры, в 1837 — в прапорщики. До 1840 г. пробыл на Кавказе, затем в разных губерниях. В 1855 г. получил разрешение приехать в Петербург. Умер в 1866 г.

М. С. Лунин действительно не участвовал в заговоре 1825 г., отойдя от Союза Благоденствия в 1822 г. На допросе однако заявил, что не ставит этого себе в оправдание и «при других обстоятельствах продолжал бы вероятно действовать в духе оного». Характеристика Лунина, данная Гречем (стр. 513 — 514), не соответствует действительности. См. «Декабрист М. С. Лунин. Сочинения и письма. Труды Пушкинского Дома». П. 1923.

Рассказ Греча об И. А. Анненкове и его невесте (стр. 514—515) вызвал, сразу же по напечатании, опровержение Л. Г. Граве (Заметка на статью «Из записок Н. И. Греча.»—«Русск. Вестн.» 1868, № 12, стр. 703—704). Полина (а не Жюстина) Гебль (Geuble), дочь французского полковника, познакомилась с Анненковым за $1/2$ года до 14. XII, сблизилась с ним в Пензе, где служила старшей продавщицей в модном магазине, но отказалась венчаться без согласия его матери. Средств у нее никаких не было, и для поездки в Петербург она должна была заложить бриллианты и шали. 60.000 р., отобранные у Анненкова во время ареста, хранились в собственной его величества канцелярии и лишь в 1828 г. были переведены Анненкову в Сибирь. Разрешая Полине Гебль отправиться в Сибирь, Николай I велел выдать ей 3.000 р. на дорогу (см. «Записки жены декабриста П. Е. Анненковой». Изд. «Прометей»).[1] И. А. Анненков умер в 1878 г. (в Нижнем Новгороде), жена его — в 1876 г.

О В. П. Ивашеве и Камилле Ле-Дантю (стр. 515—516) см. книгу, написанную их внучкой О. К. Булановой: «Роман декабриста. Декабрист В. П. Ивашев и его семья (из семейного архива)». Изд. «Всесоюзн. об-ва политкаторжан». М. 1925.

В опровержение искренности сообщения Греча о душевной радости при встрече с А. Ф. фон-дер-Бриггеном (стр. 518) можно привести выдержку из письма Н. К. Цебрикова к Е. П. Оболенскому от 17. VIII. 1859 г. (о смерти фон-дер-Бриггена): «Я опоздал на вынос Александра Федоровича, на котором находились генералы Лихачев, Соломка, Терентьев и генерал цензуры Н. Греч, который рад везде быть позванным, где по ошибке он бывает позван. Покойного Бриггена сестры муж генерал Терентьев послал Гречу билет, и за то он отвечает перед всеми теми, кто хорошо знал, что Греч на похоронах Бриггена был совершенно лишний, что он доказал тем, что разговаривая с Соломкой, он будто раз напомнил Бриггену, передававшему какую-то по сих пор у него считающуюся либеральную мысль: что мало вы, Александр Федорович, пострадали,

[1] В 1929 г. вышло новое издание „Всесоюзн. об-ва политкаторжан“.

а все таки продолжаете — и Греч Соломке таким тоном говорил подле гроба Бриггена, что Терентьев, как только я присоединился к кортежу [сказал], что рад, что вас не было, а то бы вы не утерпели и вступились бы за покойника, а мне сам покойник Бригген рассказывал, что после его первого посещения Греча, ему он так показался гадок и мерзок, что он больше к нему ни ногой... Греч отпетый сотрудник III отделения. В присутствии на выносе Бриггена я нисколько не вижу никакого сочувствия Греча»... (стр. 68).

С. Г. Краснокутский (стр. 518) умер в Тобольске.

Подробнее о Д. А. Искрицком Греч сообщает в главе о Булгарине (стр. 715—719). Подозрение о том, что последний являлся виновником ареста Искрицкого, разделялось многими. Об этом со слов самого Искрицкого указывается в «Воспоминаниях декабриста А. С. Гангеблова». (М. 1888, стр. 43). Затем у В. Бурнашева: «Об участии Искрицкого никто бы и не ведал, да нелегкое его дернуло открыться родному брату своей матери, знаменитому наполеоновскому улану и перебежчику Булгарину» (Петербургский старожил В. Б. «В 1825 году».—«Рус. Мир» 1872, № 178). Об этом же в письме А. А. Бестужева к Н. Полевому от 16. XII. 1831 г.: «А климат, климат? Между прочим он недавно унес отличного свитского офицера Искритского... Это жертва Выжигина» («Рус. Вестн.» 1861, март, стр. 313).

Страх, доносы, верноподданнические чувства, однако, не сразу укоренили доверие III отделения и Николая I к Гречу и Булгарину. В секретном письме Н. Н. Новосильцева к Аракчееву, от 28. XII. 1824, т. е. за год до восстания, говорилось: «Булгарин и Греч, издатели журналов, принадлежали здесь [в Вильне] к весьма вредному обществу... «шубравцев» («Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин и А. Мицкевич. Материалы для их биографий».—«Русская Старина» 1903, XI, стр. 334). — 9. V. 1826 г. генерал-адъютант Потапов писал С. Петербургскому воен. ген.-губ. Кутузову: «Государь император высочайше соизволил, чтобы ваше превосходительство имели под строгим присмотром Булгарина, известного издателя журналов» (К истории рус. литературы. Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч. «Рус. Стар.» 1900, IX, стр. 577). В 1828 г. Дибич, по указанию Николая I, на-

поминает Новосильцеву о его письме 1824 г. и спрашивает, «не открылось ли с того времени вновь каких-либо подобных сведений или подробностей насчет Булгарина и Греча» («Русск. Ст.» 1903, XI, стр. 337). В 1834 г., т. е. через 9 лет после восстания, Никитенко заносит в свой дневник слова С. С. Уварова: «известно, что у нас есть партия, жаждущая революции. Декабристы не истреблены... [Греч и Сенковский] трусы; им стоит погрозить гауптвахтою, и они смирятся» (А. В. Никитенко. Моя повесть о самом себе. Изд. 2-ое, СПБ. 1904, Т. I, стр. 241). И через год: «Я знаю, чего хотят наши либералы, наши журналисты и их клевреты: Греч, Полевой и Сенковский... О Грече он [Уваров] говорил очень резко: — я имею такое повеление государя, которым могу в одно мгновение обратить его в ничто» (там же, стр. 267—268). Неудивительно поэтому, что Греч и другие издатели, являлись по вызову властей, «согнувшись, со страхом на лицах, как школьники» (там же, стр. 279); и, даже через 30 лет, Греч не переставал яростно ругать Рылеева, Якубовича и тех из декабристов, которые оказались стойкими до конца, и которых он считал главными виновниками своего неопределенного положения.

Однако, смерть Николая I, ореол, которым были окружены страдания декабристов, наконец помилование последних при воцарении Александра II, массовое возвращение их в столицу—заставляли внешне-уравновешенного и добродушного издателя («добрый Греч», по выражению К. Н. Батюшкова) встречаться с ними радушно и любезно. «Чаще других бывали у него Н. И. Тургенев, прибывший из-за границы, и Батенков. Посещение декабристами Н. И. Греча убедило меня в нелепости слухов и басней, которые одно время были распространены в обществе, именно, что Н. И. Греч предал своих друзей и знакомых в 1825 г.» — писал П. С. Усов в своих воспоминаниях («Ист. Вестн.» 1882, февраль, стр. 348). Однако, вышеприведенное письмо Н. К. Цебрикова, записи Михаила Бестужева, выступление Греча против книги маркиза де-Кюстина, переписка с Дубельтом и Бенкендорфом свидетельствуют, что звания «генерала от цензуры» и «шпиона его величества» даны были Гречу не напрасно.

ПРИМЕЧАНИЯ ГРЕЧА

Воспоминания о Вилламове и Дружинине напечатаны впервые в виде примечаний к тексту «Записок Н. И. Греча» в «Русском Архиве» 1873 г., стб. 310—314. Другие отрывки из «Примечаний Греча» были впервые напечатаны в вышеупомянутых (стр. 755) «Выдержках из записок Н. И Греча» («Русск. Арх.» 1871 г., см. стб. 293 — 320, 0251 — 0254). Туда вошли очерки о Лагарпе, Строганове, Новосильцеве, Аракчееве, Балашеве и Голицыне.

В и л л а м о в. Краткий очерк о Гр. Ив. Вилламове (1775 — 1842) написан Е. Шумигорским и предваряет часть воспоминаний Вилламова, напечатанную под заглавием: «Воцарение императора Николая I» («Рус. Стар.» 1899, январь — март). «Дневник статс-секретаря Гр. Ив. Вилламова» за 1806 — 1813 гг. напечатан в «Русской Старине» за 1912 г. (январь — май, июль — сентябрь) и 1913 г. (апрель—август, октябрь).

Д р у ж и н и н. Биография Як. Ал-др. Дружинина (1771 — 1849) составлена Б. Л. Модзалевским («Рус. Биогр. Словарь», т. 6, стр. 691 — 692). В «Сев. Пчеле» (1849, № 73) напечатан некролог о нем *В. К.* «Письмо к отсутствующему сослуживцу».

Л а г а р п. М. Гримм указал Екатерине II на Лагарпа (1754—1838), как на подходящего воспитателя для ее внуков. В Россию Лагарп приехал в начале 1783 г. Воспитательская деятельность его и влияние на Александра I, как в бытность последнего великим князем, так и после воцарения, встречало неодобрение разных лиц, в том числе и Греча. Именно к ней относится басня Крылова: «Воспитание Льва» (См. В. Кеневич. «Библиографические и исторические примечания к басням Крылова». 2-ое изд., стр. 109). Лагарп отказался содействовать Екатерине в назначении Александра наследником престола вместо Павла (см. выше стр. 757) и за это был уволен от службы рескриптом 31.I.1795 (правда, с производством в полковники, пенсией и 1000 червонцев). Попытки затянуть отъезд не привели ни к чему. За политическую деятельность Лагарпа в Швейцарии Павел I, по воцарении, отдал приказ (невыполненный) генералу Римскому-Корсакову схватить его и с фельдъ-

егерем прислать из Швейцарии в Петербург для отправки в Сибирь. В архиве капитула орденов есть протокол 30 сент. 1799 о лишении Лагарпа ордена. 22/10.III.1801 г. Лагарп обратился с письмом к Павлу I о возвращении ему пенсии, но в это время на престол вступил Александр, и Лагарп в августе 1801 г. приезжал на короткое время в Петербург. По восшествии на престол Николая I, Лагарпу были возвращены все его письма к Александру I. Впоследствии Лагарп вернул их в Петербург, сняв для себя копии и прибавив к ним копии с писем к нему Александра I. Переписка эта напечатана в книге вел. кн. Николая Михайловича: «Император Александр I». Т. I. СПБ. 1912, стр. 353 — 372. Умер Лагарп в 1838 году 30 марта (а не 24-го, как указывает Греч). Подробную биографию его, по русским и иностранным архивным источникам, составил М. Сухомлинов: «Фридрих-Цезарь Лагарп, воспитатель императора Александра I». (Журн. М. Нар. Пр. 1871, I, стр. 47 — 75 и II, 155 — 278); см. также Н. Шильдер, «Павел I»; его же: «Император Александр I. Его жизнь и царствование». СПБ. Изд. Суворина (обе последние книги по указателю); «Письма Ф. Лагарпа» в сборн. «Старина и Новизна», кн. 2, СПБ. 1898, стр. 27 — 83; «Ф. Ц. Лагарп в России» в Рус. Арх.», 1866, стр. 75 — 94).

Кочубей. Письмо Александра I к Кочубею от 10.V.1796, о котором упоминалось неоднократно, напечатано в книге бар. М. Корфа. «Восшествие на престол имп. Николая I». СПБ. 1857. Изд. 3-е, стр. 3 — 6 и 227 — 229. В нем говорится о желании Александра никогда не вступать на престол (ср. стр. 319). Кочубей оставил Министерство Внутренних Дел не в 1809, а 24.XI.1807. Умер в ночь с 2 на 3 июня 1834. Подробные сведения о нем в статье Н. Чечулина в «Рус. Биогр. Словаре», т. Кнаппе-Кюхельбекер, стр. 366—382.

Чичагов. Дата рождения приводится разно: в его собственных записках: 27 июня 1767 г.; в биографическом очерке, составленном Л. М. Чичаговым (см. ниже)— 1765 г., во всяком случае дата, указанная Гречем— 1762 г. — неверна. — Немилость Павла I, о которой говорит Греч (стр. 534), была вызвана желанием Чичагова отправиться за границу для женитьбы на дочери английского капитана Проби. Павел не разрешил

поездку, ссылаясь на то, что «в России настолько достаточно девиц, что нет надобности искать их в Англии». Позднее Чичагов был назначен командиром эскадры, направляемой в Англию, но вследствие доноса Павлу, будто он собирается перейти на английскую службу, подвергся заточению в крепость, однако, после вмешательства Палена, освобожден. Ср. «Записки... адмирала Шишкова», т. I, стр. 66.

По поводу неудачи военных действий против Наполеона, Крылов посвятил Чичагову свою басню: «Щука и кот».

В 1814 г. в Париже появилась оправдательная записка Чичагова: «Relation du passage de la Bérésina», переведенная потом на английский: «Retreat of Napoleon» и изданная в 1817 г. в Лондоне. В 1855 г. в Берлине появились изданные зятем Чичагова «Memoires inedits de l'amiral Tchitchagoff. Campagnes de la Russie en 1812, contre la Turquie, l'Autriche et la France». Две главы оттуда: «Переправа через Березину» и «Дела Турции» были переведены в «Русском Архиве» 1869, стр. 1147—1178, и 1870, стр. 1522—1551. Правнук адмирала, Л. М. Чичагов, объявил эти воспоминания подложными (См. подробно «Рус. Стар.» 1883, июнь, 488—492, и «Архив адмирала П. В. Чичагова». СПБ. 1885, стр. 32 — 36) и опубликовал (неполностью) перевод записок в «Рус. Стар.» 1886, №№ 5, 6, 8 — 10; 1887, №№ 9 и 10, и 1888, №№ 6 — 10. В 1909 г. в Париже были напечатаны по подлинникам и архивным материалам «Memoires de l'amiral Tchitchagoff... Publies par Charles Gr. Lahovary. VII+411» (в них на стр. 220—233 рассказана история ареста Чичагова при Павле). Биографический очерк Чичагова составлен Борисом Савенковым в «Рус. Биогр. Словаре». Том «Чаадаев-Швитков». СПБ. 1905, стр. 422 — 426.

Муравьев. Произведения М. Н. Муравьева издавались неоднократно: 1) Опыт истории, словесности и нравоучения. М. 1810. 2) Полное собрание сочинений. Т. I—III. СПБ. 1819—1820. 3) Сочинения. Т. I и II. Изд. А. Смирдина. СПБ. 1847. 4) То же, изд. 1856. Статья Батюшкова о нем под заглавием: «Письмо к И. М. М. А. [И. М. Муравьеву-Апостолу] о сочинениях г. Муравьева, изданных по его кончине», напечатанная Гречем в «Сыне Отечества» 1814, ч. 16, стр. 87 — 116, вошла

в «Сочинения К. Н. Батюшкова», т. II. СПБ. 1885, стр. 73 — 91. О Муравьеве см. примечания В. И. Саитова, там же, стр. 417 — 423, а также Н. Жинкин «М. Н. Муравьев (1757—1807)» в «Извест. Отд. Рус. яз. и словесности Имп. Ак. Наук 1913», т. XVIII, кн. 1, стр. 273 — 352.

Строганов. Родился в 1774 (по указанию вел. кн. Николая Михайловича, в 1772), умер—в 1817 г. в Копенгагене. Подробные сведения о нем см. вел. кн. Николай Михайлович: «Граф Павел Александрович Строганов. Историческое исследование эпохи императора Александра I. Том I — III. СПБ. 1903». Там же, т. I, стр. 37—83 о воспитателе Строганова Жильбере Ромме (1750 – 1795). «Постыдный мир», заключенный дипломатом Убри в 1806 г., о котором говорится на стр. 541, не был утвержден.

Сын П. А. Строганова, Александр, был убит в сражении при Краоне 25. II. 1814 г.

Александр Сергеевич Строганов (ему посвящено стихотворение Державина: «Любителю художеств»), отец Павла Александровича, принимал деятельное участие в строительстве Казанского собора, который был освящен 15 сентября 1811 г. (а не 8 сентября). Граф Д. Хвостов по этому случаю написал «Оду на освящение Казанского Собора 1811 года, Сентября 15 дня» (см. «Полное собрание стихотворений графа Хвостова. Ч. I. СПБ. 1817», стр. 109 — 115). Надгробное слово на смерть А. С. Строганова († 27.XI.1811 г.), произнесенное архимандритом Филаретом 3 октября 1811 г., напечатано в «Вестнике Европы» 1812, I, стр. 3 — 16.

Чарторижский. Для ознакомления с его личностью и деятельностью см. «Мемуары князя Адама Чарторижского и его переписка с имп. Александром I». Т. I—II. М. 1912 — 1913. Изд. К. Н. Некрасова.

Пнин. Учился в Московском Благородном Пансионе. В 1804 г. вышла его книга «Опыт о просвещении относительно к России». Издававшийся им «С.Петербургский Журнал» (1798) имел большое значение. См. А. Н. Неустроев «Историческое изыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1703 — 1802 г.» СПБ. 1879, стр. 807—810, и Л. Майков «Несколько данных для истории рус. журналистики». СПБ. 1876, стр. 43. — Биографические данные см. у Б. Модзалев-

ского в «Русск. Биографическом Словаре» и в статье Н. Прыткова «И. П. Пнин и его литературная деятельность» («Древняя и Новая Россия» 1878, № 9, стр. 19 — 38).

Перечень некрологов, траурных заседаний и стихотворных откликов на смерть Пнина см. «Сочинения Михаила Николаевича Лонгинова». Т. I. М. 1915, стр. 52 — 54.

А р а к ч е е в. Литература об Аракчееве, оффициальная, научно-историческая, анекдотическая, памфлетная—очень велика. Основные сведения даны в сочинениях Н. К. Шильдера о Павле I, Александре I и Николае I и в книгах вел. кн. Николая Михайловича о Павле I и Александре I. Сводный очерк взаимоотношений Аракчеева и Александра I см. в статье А. Кизеветтера: «Император Александр I и Аракчеев» («Исторические Очерки». Изд. Окто. М. 1912, стр. 287 — 401). Здесь приводим лишь то, что необходимо для исправления или уяснения записок Греча.

При Павле I Аракчеев несколько раз подвергался опале. В 1798 г. он был уволен за «излишество усердия» и из-за самоубийства оскорбленного им подполковника Лена, суворовского сподвижника. Через полгода возвращен в связи с назначением Палена петербургским военным генерал-губернатором. Тогда же ему было даровано графское достоинство и новый герб с собственноручною надписью Павла: «Без лести предан» (воспроизведен у Н. Шильдера: «Император Александр I», т. I, стр. 167). Надпись эта стала притчею во языцех, и если одни воспевали ее казенными стихами:

Без лести преданный монарху своему,
Он жизнь и время, труд, все посвятил ему.

(А. Писарев «Надпись к портрету его сиятельства графа А. А. Аракчеева». — «Сын Отеч.» 1816, часть 33, стр. 188.)

то с другой стороны посыпались эпиграммы:

Девиз твой говорит, что предан ты без лести.
Поверю. — Но чему? Коварству, Злобе, Лести.

или:

Не имев ни благородства, ни чести,
Можешь ли быть предан без лести?

(«Эпиграммы на Аракчеева». «Рус. Стар.» 1874, январь, стр. 200 см. также — «Рус. Стар.» 1872, VI, 591 — 596.)

Известны две эпиграммы Пушкина: «Холоп венчанного солдата» и «Всей России утеснитель», с энергичными строками:

Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести—
Кто ж он, «преданный без лести»?
Просто фрунтовой солдат.

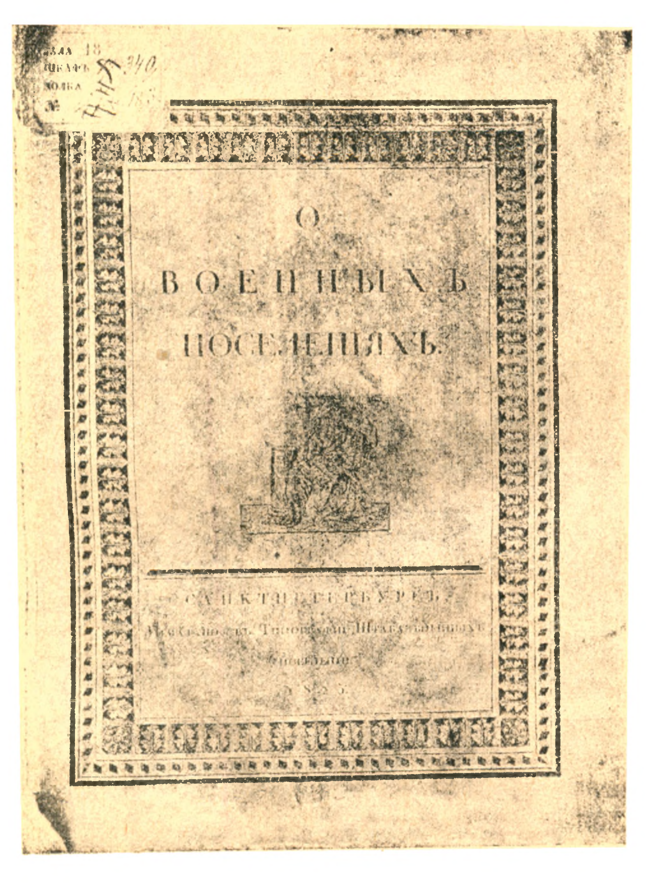
(Изд. Брокгауза-Ефрона, т. II, стр. 7 и 548.)

О других стихах, посвященных Аракчееву, см. В. Маслов «Литературная деятельность К. Ф. Рылеева». Киев, 1912.

Каламбур «*Бес* лести предан» (Греч, 324) принадлежит Павлу Ивановичу Сумарокову. См. А. С. С[умароко]в. «Записки отжившего человека» («Вестн. Евр.» 1871 г. № 8, стр. 724).

10 сентября 1799 г. Аракчееву был объявлен выговор «за несмотрение за тем, что служители гарнизонных артиллерийских Роченсальмских Рот не были удовлетворены следующим им». 1 октября Аракчеев отставлен от службы «за ложное донесение о беспорядках»: во время караула солдат обрезал галун и кисти старинной колесницы, а Аракчеев донес, что караул был наряжен не от его брата, а от другого генерал-лейтенанта, но был изобличен последним (Н. Шильдер «Имп. Павел I», стр. 382, 393 — 4, 402).

Письмо гр. Буксгевдена к Аракчееву от 13 сентября 1809 напечатано в «Чтениях в Имп. Об-ве Истории и древностей Российских». М. 1858 г., кн. 1, отдел V, смесь, стр. 133 — 137. Приводим из него то место, о котором говорит Греч (стр. 554): «Знаете ли вы, милостивый государь мой, что есть главнокомандующий? Главнокомандующий есть воин, испытанный в любви к отечеству, искусившийся в поле брани и служением своим доказавший преданность престолу. Ему государь


О

военныхъ

поселенiяхъ.

Санктпетербургъ.

[illegible]

[illegible]

Брошюра о военных поселениях, написанная М. Сперанским.

(По редкому экземпляру Российской Публичной Библиотеки.)

вручает безопасность, спокойствие и славу своего государства». Кроме того, Аракчееву ставятся на вид его «сугубые труды в отыскании разных случаев, к утеснению служащих» (стр. 134).

О военных поселениях, заведенных в них «порядках» и вспыхнувших беспорядках см.: 1) «Граф Аракчеев и военные поселения». Изд. «Рус. Стар.» СПБ. 1871, 2) «Бунт военных поселян в 1831 г. СПБ. 1870», 3) Словский «Рассказы о былом. Времена военных поселений». Новгород. 1865 (То же самое: Н. Богославский «Аракчеевщина». СПБ. 1882).

Любопытно отметить, что проект о поселениях (от составления которого отказался «консерватор» Карамзин) разработан «либералом» Сперанским. Его брошюра, изданная анонимно: «О военных поселениях. СПБ. Печатано в типографии Штаба военных поселений. 1825. Стр. 232», представляет библиографическую редкость (перепечатана в «Рус. Вестнике» 1890, IV, стр. 108 — 116). См. выше снимок с обложки экземпляра. находящегося в Рос. Публ. Б-теке.

По вступлении на престол Николая I, Аракчеев прислал ему денежный отчет поселений и просил разрешения (в письме от 9.IV.1826) напечатать отчет в «Русском Инвалиде», где он и появился 7 мая 1826 г. № 107, стр. 441 — 442, под заглавием: «О т ч е т представленный Главным над Военными поселениями Начальником его императорскому величеству, о наличном денежном капитале военного поселения, состоящем по ведомостям к 1-му марта 1826-го года» (см. Н. Шильдер, «Император Николай I». Т. II, гл. II, стр. 40 - 42). Отчет этот возбудил всеобщее негодование: в него были включены не только наличные суммы, но и «поступающие в текущем 1826 г.», а также 1.774.558 рублей, «сокращенных на сей 1826 г. по государственной росписи о расходах Военного Министерства продовольствием поселенных войск от земли».

Об отношении Аракчеева к законной жене см. «Записки Жиркевича» («Рус. Стар.» 1874, февраль, стр. 237 — 240); о В. П. Пукаловой («Пукалочихе») см. «Записки А. М. Тургенева» («Рус. Стар.» 1885, ноябрь, стр. 260 — 265).

Михаил Шумский (первоначально: Лукьянов) не был сыном Аракчеева. Настасья Минкина симулировала

беременность, чтобы привязать к себе Аракчеева. Об этом см. Б-ский [Боричевский] «Аракчеев и Шумский». «Рус. Стар.» 1878, янв., 170—184, и М. Маркс «Михаил Шумский».—«Русск. Стар.» 1889, май, 473. В архиве Грузина сохранялось письмо Греча к Аракчееву от июня 1811 г.: «Я усомнился отпустить Мишеньку сегодня домой, потому что он в течение сей недели вел себя не хорошо: лгал, писал худо и шалил в классах, за что и был наказан» (Н. Отто «Черты из жизни гр. Аракчеева». — «Древн. и Новая Россия» 1875, № 3, стр. 295). О назначении Шумского флигель-адъютантом см. письмо Аракчеева к Александру I (Николай Михайлович «Император Александр I». Т. II, 703). Впоследствии он спился, пробыл 15 лет в Соловках и умер 10 июня 1851 г. в Архангельской больнице. См. М. А. Колчин, «Флигель-адъютант М. А. Шумский в Соловках.»—«Рус. Стар.» 1887, апрель, 145 — 159; В. Грибовский, «Аракчеев как не-герой». — «Истор. Вестник» 1906, декабрь, 871 — 879, и вышеупомянутую книгу Словского (Богусловского). — Об убийстве Минкиной см. «Рус. Стар.» 871, сентябрь, стр. 262 — 293 (по подлинному делу).

Об «Истреблении памяти Минкиной» Аракчеевым, когда он узнал об ее плутнях и изменах см. «Рус. Стар.» 1871, т. 3, стр. 244. Там же, со слов священников Грузина, рассказывается, что доску с ее могилы выбросил, после смерти Аракчеева, Клейнмихель. Однако и теперь в грузинском соборе па могиле Минкиной (рядом с могилой Аракчеева) есть надгробная плита, давнего происхождения, с надписью (не очень четкою):

ПОГРЕБЕН
ВЕРНОЙ 27-МИ ЛЕТНИЙ ДРУГ
АНАСТАСИЯ
УБИЕННАЯ 10-ГО СЕНТЯБРЯ
1825-ГО ГОДА
ДВОРОВЫМИ С: ГРУЗИНА ЛЮДЬМИ
ЗА ПРИМЕРНУЮ ХРИСТИАНСКУЮ
ЕЕ К ГРАФУ ЛЮБОВЬ

Соболезнующие письма Александра I к Аракчееву и Фотию от 22.IX и 3.X.1825 г., после убийства Настасьи, см. у Шильдера «Император Александр I», т. IV, стр. 360 — 364.

В самом начале царствования Николая I был издан ряд благосклонных рескриптов на имя Аракчеева: от 19.XII. 1825 и 22.1.1826 («Рус. Инв.» 1825, № 305 и 1826, № 21) и приказ поселенным войскам от 22.XII.1825 (там же, 1826, № 1 от 2 января). Характерно при этом «бесстыдство» Аракчеева (Греч, 556), присылавшего царю собственные проекты этих рескриптов (см. письмо Аракчеева Николаю I в книге Н. Дубровина «Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I». СПБ. 1893, стр. 484—5). — Вскоре Николай I изменил свое отношение к Аракчееву, в особенности, когда в начале 1827 г. узнал, что тот напечатал (не в Берлине, как полагал Греч, а в типографии военных поселений) «Собственноручные рескрипты покойного государя императора, отца и благодетеля, Александра I к его подданному гр. Аракчееву. С 1796 г. до кончины его величества, последовавшей в 1825 г.».[1] Сначала Аракчеев отпирался («я граф Аракчеев, никому ничего, никогда не только не позволял печатать, но даже и не отдавал никому никаких сего рода бумаг»), писал, что это дело рук врагов его, но, будучи уличен, так как подарил один экземпляр рескриптов Клейнмихелю, выдал 18 экземпляров из якобы 20 напечатанных им. Николай I велел 16 из них уничтожить. Вскоре было найдено еще 12 экз., замуравленных в грузинской колокольне (См. Н. Шильдер «Император Николай I». Т. II, стр. 47—60 и 410—412). Рескрипты Александра и письма Аракчеева Александру перепечатаны в книге Николая Михайловича «Император Александр I», т. II, стр. 545 — 713.

Указания о Г. С. Батенькове, служившем у Аракчеева, см. выше, стр. 792. О В. В. Погодине, управляющем 2-м отделением экономической части в Штабе Отдельного Корпуса военных поселений с 1821—1826 г.,

[1] Неполный перечень других изданий Аракчеева приведен в заметке Д. К. [обеко] «Аракчеевские издания» («Российская Библиография» 1880, № 60, стр. 226 — 7; см. также № 62, стр. 268). См. также Вл. Андерсон «Аракчеев и его издания» («Русский Библиофил» 1911 г. № 4, стр. 5 — 14).

см. статью М. С. Леонидова в «Русском Биограф. Словаре», т. 14, стр. 153—154. Вопреки характеристике, сделанной Гречем (стр. 323), Батеньков вспоминал о В. В. Погодине: «Трудно представить себе человека менее жадного к корысти» (Батеньков, «Воспоминание по поводу некролога». — «День», 1863, № 7, от 16 II)..

Балашев. А. Дм. Балашев (1770—1837) был назначен министром полиции в 1810 (а не в 1809) г., уволен в 1828. О нем и помощнике его Я. О. де-Санглене (1776—1864) см. чрезвычайно-любопытные для закулисной стороны деятельности Александра I «Записки Я. О. де-Санглена» в «Рус. Стар.» 1882, № 12, стр. 443—498, и особенно 1883 г. № 1, 2 и 3. См. также статьи Д. С—ова о Балашеве в «Рус. Биограф. Словаре», т. 2, стр. 442—444, и А. Черкаса о де-Санглене, там же, т. 18, стр. 183—184. — О падении Балашева см. М. А. Дмитриев. «Мелочи из запаса моей памяти», изд. «Рус. Архива». М. 1869, стр. 142—143.

Боголюбов

Очерк о В. Ф. Боголюбове (1783—1842) был напечатан в «Древней и Новой России» 1877, № 1.

Характеристика, данная Гречем (стр. 566), совпадает со всеми показаниями современников. В переписке Я. И. Булгакова и его сыновей А. Я. и К. Я. Булгаковых сообщается: «этот малый сущий демон, везде поспеет и всем умеет услужить» («Рус. Архив», 1899, III, 79). «Он вздоры врет и вздоры пишет... Не очень ему верят» (там же, 1901, I, 468). См. также «Рус. Архив» 1898, I, 532; 1899, I, 545—6; 1901, I, 59, 273, 405; 1902, III, 353. Н. И. Куликов в очерке: «А. С. Пушкин и П. В. Нащокин» сообщает, что Боголюбов доставал деньги Пушкину, которого попрекали за знакомство с «этим уваровским шпионом-переносчиком» («Рус. Стар.» 1881, VIII, стр. 611—612), и так описывает Боголюбова: «старик ловкий и подвижной, с отталкивающей сатанинской физиономией, носил 2 звезды и был известен, как креатура Уварова. Весь кружок обращался с ним сдержанно, как он ни юлил перед всеми... Такой старик способен на всякое зло и предательство» (там же, стр. 606).

Знакомство его с Пушкиным не сошло благополучно для поэта. 5. II. 1836 г. Пушкин специально пишет кн. Н. Г. Репнину: «некий г. Боголюбов публично повторяет оскорбительные для меня вещи». В 1927 г. в заседании Пушкинского Дома Академии Наук П. Е. Рейнбот прочитал доклад: «Дуэль Пушкина», в котором обосновывал утверждение, что именно Боголюбов является автором подметных писем, приведших к смерти Пушкина.

ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ

Дело Госнера

Эта статья Греча впервые была напечатана в «Русском Архиве», 1868 г., стр. 1403.

Дело пастора Иоганна Госнера (1773 — 1858), приехавшего в Петербург в 1820 г., вызвало в свое время большой переполох. За несколько лет до него приезжал проповедник Игн. Линдль, речи которого (на них ссылается Греч, на стр. 576), были напечатаны самим Гречем: «Три проповеди Игнатия Линдля, произнесенные в Германии. Перевод с немецкого. СПБ. В типографии Н. Греча. 1820». Стр. VIII + 120.

Вскоре по приезде Госнера была издана его книга: «Блаженство верующего, в сердце которого обитает Иисус Христос. Сочинение Госнера. Пер. с нем. М. Позена. СПБ. В типографии департамента народного просвещения. 1821». Стр. 100.[1] — После этого приступили к печатанию толкования на Новый Завет под заглавием: «Geist des Lebens und der Lehre Jesu Christi, in Betrachtungen und Bemerkungen über das Ganze Neue Testament; Erste Band. Matthäus und Markus». В предисловии к русскому переводу (см. ниже) сообщалось, что первое издание, в количестве 1000 экз., разошлось в 9 месяцев, потребовалось второе, и теперь предпринято третье. Первые два издания печатались за границей, третье — в петербургской типографии Карла

[1] Эта книга Госнера впоследствии также была изъята из обращения. См. «Алфавитный каталог книгам на русском языке, запрещенным к обращению и перепечатыванию в России». СПБ. 1870. Стр. 4.

Края, одобренное цензором Полем в августе и ноябре 1823 г. почти одновременно с русским переводом. Перевод печатался в типографии Греча, дозволенный цензором Бируковым 24 мая 1823 г. Заглавный лист *должен был быть* следующего содержания: «Дух жизни и учения Иисус Христова в Новом Завете. Часть первая. Отделение первое, содержащее: Евангелие от Матфея. Перев. с немецкого языка. Соч. И. Госнера. В С.-Петербурге. Печатано у Греча. 1824 г.». В «предуведомлении к переводу» говорилось: «Госнер, соглашаясь на перевод и ревнуя о пользе христиан, поучительными размышлениями дополнил почти на половину против изданного... Книга сия издаваться будет по мере успеха перевода». Заглавный лист и «предуведомление» не были напечатаны и приводятся здесь по копиям, хранящимся в Рукописном Отделении Российской Публичной Библиотеки в Ленинграде.

Дополнения Госнера к русскому переводу вызвали негодование. Из контекста книги были выделены отдельные фразы, подозрительные и неблагонадежные. В них говорилось, что в родословии Иисуса Христа — «встречается столь много имен известных и великих грешников—и б о и б о л ь ш а я ч а с т ь ц а р е й б ы л и л ю д и з л ы е» (стр. 2). «Если Мария и рождала еще других детей, то мы при всем том не менее будем любить и чтить Иисуса» (стр. 24). «Предубеждение об особенном уважении к некоторым лицам и местам нередко совращает человека с истинного и прямого пути» (26). Звезду вифлеемскую «не можно было носить на одежде» (28). Печатный экземпляр книги Госнера, поступивший в 1861 г. в Рос. Публ. Библиотеку в Ленинграде (Рукоп. Отдел., F. I. № 484),[1] из которого взяты эти выдержки, испещрен современными пометками и восклицаниями: «вздор», «вот корень зла Антихриста» (на полях стр. 29). А. С. Шишков, которому была дана для заключения книга Госнера, приводит оттуда слова: «христианин не желает иметь иного отечества, кроме обширного шара земного, принадлежащего Господу», и восклицает: «Не разврату ли, не

[1] Кроме экземпляра Публ. Б-теки, известно существование еще двух экземпляров книги Госнера, — б о л ь ш е н е у ц е л е л о. См. И. М. Остроглазов, История одной редкой и замечательной книги,— «Библиограф. Записки». М. 1892 г. №№ 3, 4, 5, 8, 10.

О

ЕВАНГЕЛІИ

ОТЪ

МАТѲЕЯ.

Матѳей былъ Израильтянинъ, сборщикъ пошлинъ при Римской таможнѣ въ странѣ Іудейской. Призваніе свое къ послѣдованію Іисусу описываетъ онъ самъ въ главѣ 9, 9. Его почитаютъ также за Левія, Марк. 2, 14. Лук. 5, 27. Евангеліе отъ Матѳея писано, по общему мнѣнію, прежде всѣхъ другихъ Евангелій и писаній Новаго Завѣта. Нѣкоторые церковные отцы говорятъ, что Матѳей писалъ оное въ 41 году, а другіе полагаютъ, что сіе послѣдовало не прежде, какъ въ 60 году по Рождествѣ Христовѣ; вѣроятно же, что оно писано въ 41 году по Рождествѣ Христовѣ на Еврейскомъ языкѣ, а въ 60 переведено на Греческій языкъ; ибо большая часть церковныхъ отцевъ удостовѣряетъ, что Матѳей писалъ Евангеліе свое во Іудейской странѣ въ Капернаумѣ на Еврейскомъ или тогда употребительномъ Сирійско-Халдейскомъ нарѣчіи для Христіанъ, которые обратились изъ Іудеевъ, и жили во Іудейской странѣ, въ Аравіи, при Евфратѣ и Тигрѣ, дабы они могли читать предъ язычниками благовѣствованіе о Іисусѣ Христѣ, слышанное ими отъ Апостоловъ, и по ихъ отшествіи.

Первая страница сожженной книги Госнера.

(Из собрания Российской Публичной Библиотеки.)

ГЛАВА I.

1. *Книга родства Іисуса Христа, сына Давідова, сына Авраамля.*	1. Родословіе Іисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова.

Въ семъ родословіи содержится, какъ съ перваго взгляда кажется, очень мало назидательнаго; однако внимательный читатель найдетъ довольно поводу, чтобы при ономъ остановиться. Одни уже имена Давида и Авраама, поставленныя сначала, какъ имена праотцевъ Мессіи, могутъ возбудить насъ къ тому, чтобъ итти по стезямъ ихъ въ искреннемъ покаяніи и въ вѣрѣ. Ибо мы должны читать Евангеліе съ чувствами покаянія и вѣры, если желаемъ, чтобъ оно послужило намъ ко спасенію. Кто, подобно Давиду, съ раскаяніемъ и сокрушеніемъ сердца, и подобно Аврааму, съ вѣрою приближится къ священной книгѣ, тотъ получитъ, какъ Давидъ прощеніе и какъ Авраамъ обѣтованіе.

Но въ семъ родословіи встрѣчается столь много именъ извѣстныхъ и великихъ грѣшниковъ, — ибо и большая часть царей были люди злые — что и въ самомъ началѣ исторіи Іисуса исполнилось пророче-

Страница вторая из книги Госнера с пометками.
(Из собрания Российской Публичной Библиотеки.)

сущему ли разрушению всех добродетелей учит нас здесь проповедник?.. Не велит иметь отечества, следовательно, ни алтаря,—ни государя, ни отца, ни брата?.. Перо падает из рук моих, гнушаясь описывать толь пагубные и злочестивые внушения»... («Записки, мнения и переписка адм. Шишкова». Berlin, 1870, т. II, стр. 188—205. «Разбор книги пастора Госнера, представленный мною в комитет г.г. Министров»).

Дело разбиралось в Комитете Министров, где и «признано единогласно, что толкования пастора Госнера, кроме что противны правилам всех исповеданий христианской религии, оскорбительны для господствующей в Государстве нашем Греко-Российской веры и содержат в себе мнения, клонящиеся к разрушению общественного благоустройства» («Записка из дела о.... Попове», стр. 3).

25 апреля 1824 г. последовал высочайший указ: «что принадлежит до пастора Госнера, то поелику—после всех сделанных Комитетом Министров замечаний и после обнаруженного им в сочинении своем образе мыслей, не остается уже никакого сомнения в предосудительности поступков его и в самой чистоте преподаваемых им поучений, я признаю необходимым производившиеся доселе в занимаемой им квартире собрания для слушания его проповедей воспретить и самого его удалить из России» (там же, стр. 4).

В 5-м Департаменте Правительственного Сената за предание виновных суду высказались Мансуров, гр. Толстой, Мертенс, Хитрово и фон-Дезин. И. М. Муравьев-Апостол, с которым согласился один только сенатор Дубенский, указывал, что «закон воспрещает признать в г. Попове умышленного преступника», но и он должен был признаться, что «Директор Департ. Нар. Просвещения [Попов], занимавшийся поправлением такого рода книги, чрез то одно уже обличает себя человеком совершенно неспособным к тому месту, которое он занимал». Сенатор П. И. Сумароков в общем собрании сената 1 мая 1825 г. требовал ссылки Попова в монастырь, видя в нем «есть ли не преступника, то по крайней мере, опасного фанатика, которого усмирить, воздержать потребно».

Подробно все это изложено в оффициальной «Записке из дела о бывшем Директоре Департамента Народного Просвещения, действительном статском советнике Попове, преданном суду по высочайшему повелению, за поправление перевода книги пастора Госнера, под названием: о Евангелии от Матфея, и за другие поступки [46 стр.]». Из этой «Записки», о которой Греч говорит на стр. 586 и которая не предназначалась для распространения, видно, что цензор Бируков на дознании показал, будто Греч, уличенный в напечатании дополнений к первоначально разрешенному тексту, «спустя, немалое время, после многократных требований, доставил только отпечатанные 54 листа, а в рассуждении рукописного оригинала отозвался, что не имеет его у себя и даже не знает, где оный находится» (стр. 6). Греч показал, что книга отпечатана в 2000 экз., 54 листа без заглавия и предисловия; оставалось допечатать первой части около 10 листов. Кроме 2 корректурных экземпляров, Брискорну (а после его смерти — Госнеру) и Бирукову, последнему был выдан еще 1 экз. всех 54 листов; кроме сего ни одного экземпляра не выпущено.

«По учиненному разысканию книги сей у книгопродавцев в продаже не оказалось, и им с подписками строго воспрещено принимать и продавать оную» (Записка, стр. 8).

Военный генерал-губернатор (Милорадович) со своей стороны указал, что к обвинению Греча нет ясных доводов, а Комитет Министров заключил: «Коллежский советник Греч виновен в преждевременной выдаче Госнеру двух отпечатанных экземпляров» (там же, 19). После этого все экземпляры книги, как на немецком, так и на русском языках были отобраны у типографщиков Края и Греча.

В рукописном отделении Российской Публичной Библиотеки хранятся (F. I. № 484) материалы, относящиеся к уничтожению книги Госнера: 1) собственноручная записка с. петербургского оберполицмейстера И. В. Гладкова от 9 сентября 1824 г. на имя чиновника обер-прокурорского стола в Синоде Павлова: «Его Высокоблагородию Алексею Александровичу Павлову. В собственные руки. Нужное. Алексей Александрович извещается, что завтре т о е с т ь в с р е д у б у д у ж е ч ь

Документы к сожжению книги Госнера.
(Из собрания Российской Публичной Библиотеки.)

Документы к сожжению книги Госнера.

(Из собрания Российской Публичной Библиотеки.)

Госнера и Попова в кирпичных заводах Алекс[андро-Невской] Лавры в 12 часу пред полуднем»; 2) копия отношения наместника Лавры архимандрита Товия от 9. IX. 1824 г. на имя оберполицмейстера о том, что «хранящиеся в здешней полиции книги: Сочинения пастора Римско-Католического Исповедания Госнера, отпечатанные здесь на российском и немецком языках более 3.000 экз., сожечь в печах кирпичного завода Александровской Лавры препятствия никакого не имеется»; 3) записка от 12 сентября 1824, о получении Лавры экономом иеромонахом Авраамием «для доставления трудящимся двадцати пяти рублей» и 4) пометка рукою Павлова: «Сии 25 р. отосланы мною Эконому — для раздачи рабочим, — бывшим при сожжении сочинений Госснера, на кирпичных заводах Александроневской Лавры, в присутствии об. полиц. Гладкова и полиц. Чичагова, где и я находился. Эконом там же был и угощал нас завтраком, сож[жение] прод[олжалось] от 12 до 3 пополудни 10 сентября 1824 г.».[1]

Итак, книга была уничтожена, Госнер — выслан, сам Греч кое-как выпутался. Но отголоски этой истории долго не утихали. С. Н. Глинка в своих воспоминаниях указывает: «С 1824 г. за похищенный из его [Греча] типографии печатный лист, ему довелось терпеть в чужом пиру похмелье, т. е. попасть в среду боровшихся страстей» («Из записок С. Н. Глинки». — «Вестник Европы» 1872, № 9, стр. 243). Может быть, это и так, и Греч был только жертвой в борьбе Аракчеева и Голицына, но не подлежит сомнению, что именно дело Госнера создало ему вторично, после ланкастерских школ и семеновской истории, репутацию либерала. И знаменитый Фотий доносил Александру I 29 апреля 1825 г.: «Действия зла посеваются... Этому способствуют типография и цензура, в чем лично виновными оказываются Греч (типографщик) и Тим

[1] Между прочим, сожжение книги Госнера было обставлено так «ритуально», что даже правительственный чиновник Павлов, которого Фотий называл «исповедником благочестия» и «славным воином 1824 г.» («Рус. Стар.» 1882, август. 231). — на вышеуказанной пометке иронически добавил: «См. в кн. Левит». А в кн. Левит (гл. 23) говорится: «Это — огненная жертва, благоухание приятное Господу»...

ковский (цензор)». (Карнович, Е. П. «Архимандрит Фотий, настоятель Новгородского Юрьева монастыря». — «Рус. Стар.» 1875, август, стр. 476).

Вскоре наступило 14 декабря 1825 г., — Гречу опять пришлось испытать муки страха.

История первого Энциклопедического Лексикона в России

С подзаголовком «Из записок Н. И. Греча» статья эта была напечатана уже после смерти Греча в «Русском Архиве» 1870 года (стр. 1247—1272), с несомненными пропусками, которые однако восстановить теперь невозможно, в виду того, что рукописи или даже авторизованной копии этой статьи не сохранилось: в копии ПД статья эта просто переписана с печатного журнального текста без авторских поправок или дополнений. Статья нуждается в ряде комментариев, начиная с самого заглавия, так как еще в том же томе «Русского Архива», в котором она была напечатана, было указано, что «Энциклопедический Лексикон» Плюшара не может считаться попыткой первого русского энциклопедического словаря; такой попыткой должен считаться «Всеобщий исторический словарь из наилучших авторов, как российских, так и иностранных, выбранный, сочиненный и по азбучным словам расположенный священником Иоанном Алексеевым» (тт. I—II, М. 1793—1794). Но и независимо от этой поправки есть ряд сознательных и бессознательных ошибок, допущенных Гречем в тексте этой статьи и нуждающихся в исправлениях и оговорках. Тут есть и мелочи, в роде тех, что за первый год редактирования «Энциклопедического Лексикона» Греч не мог получить 22.000 рублей ассигнациями, а по собственному же расчету мог получить только 12.000 рублей; или в роде того, что стихотворение Пушкина «Полководец» напечатано в «Московском Наблюдателе», в то время, как оно напечатано в «Современнике» 1836 года (т. III). Письмо Булгарина к Гречу, о котором говорит последний, не заключает в себе тех острот, о которых сообщает Греч (будто бы Булгарин называл Плюшара—Тришаром, Шенина—Мошениным и т. д.), но действительно соответствует остальному, что сообщает

об этом письме Греч; письмо это напечатано в том же томе «Русского Архива» (1870 г., стр. 1943—1944). Когда «Энциклопедический Лексикон» перешел в 1838 г. под редакцию Сенковского, то последний напечатал об этом извещение в отделе «Литературной Летописи» своего журнала «Библиотека для чтения» (т. XXVII, стр. 46). Дальнейшая история «Энциклопедического Лексикона» изложена в статье Греча верно: действительно Сенковский вынужден был отказаться от редакции после выпуска одного только XIV тома в виду резкой и основательной критики, напечатанной Гречем в приложении к «Северной Пчеле». Подробности о первом редакционном собрании на квартире Греча в 1834 году записаны А. В. Никитенко в его дневнике от 16 марта 1834 года (т. I, стр. 239); Греч не совсем верно излагает оговорку Пушкина, которая заключалась в согласии участвовать в Энциклопедическом Лексиконе, но с тем, чтобы его имя не было выставлено. Так передает Никитенко, и этому не противоречат записи дневника самого Пушкина от 17 марта и 2 апреля 1834 года.

Но все это сравнительно мелочи; основное же замечание, которое надо сделать по поводу всей статьи Греча, заключается в том, что подлежит большому сомнению подчеркиваемое им собственное бескорыстие: как раз наоборот, Греч подходил к этому словарю, как к хлебному делу настолько же, насколько и Сенковский, чем и объясняется борьба их за «Энциклопедический Лексикон», окончившаяся поражением Греча. Точно так же письмо его в цензурный комитет о статье «18-е Брюмера», которое Греч старается представить актом благородства и во всяком случае корректности, было не чем иным, как скрытым доносом на Плюшара и цензора Корсакова, автора статьи.

Вся эта история с «Энциклопедическим Лексиконом» имеет большую литературу начавшуюся вскоре после появления статьи Греча; первым откликом была статья В. П. Бурнашева «Мое знакомство с Воейковым в 1830 году и его пятничные литературные собрания», где истории с «Энциклопедическим Лексиконом» посвящен ряд страниц («Русский Вестник».1871 г., № 11, стр. 176—181). Не имея возможности подробно останавливаться на этом, укажем лишь на книгу Ме-

жова «Русская историческая библиография» (т. XIV, стр. 320), где дана библиография вопроса; см. также П. Н. Сакулин «Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. — Писатель», т. I, ч. II, стр. 414—415).

Комментарии к статье Греча об «Энциклопедическом Лексиконе» можно заключить одним указанием и одной цитатой (из неопубликованного рукописного материала). Указание заключается в том, что среди рукописей Греча, сохранившихся в Дашковском архиве (Пушкинский Дом), находится подробный список предполагаемых сотрудников «Энциклопедического Лексикона», сделанный рукою Греча; изучение этого списка представит немалый интерес для историков русской литературы тридцатых годов, но изучение его не входит в задачи настоящих комментариев. Что же касается цитаты, то она заключается в неопубликованном письме Греча к Н. Кукольнику, касающемся отношений Греча к Плюшару в то самое время (начало 1838 года), когда «Энциклопедический Лексикон» перешел из под редакции Шенина в руки Сенковского. Письмо это, находящееся в рукописном отделении библиотеки Академии Наук, помечено 16 февраля 1838 года и гласит следующее:

«Будьте моим посредником у А. А. Плюшара. Он писал к сыну моему о том, что статьи против меня в «Литературных прибавлениях» печатаются г. Краевским без его ведома и против его воли, на основании заключенного между ими условия, по которому редактору предоставляется совершенная свобода... Объявите, сделайте одолжение, г. Плюшару, что я доныне просил г. Полевого не трогать его изданий, но на всякую против меня выходку в «Литературных прибавлениях» будут статьи в «Пчеле» против «Энциклопедического Лексикона». Статьи ей готовы и удерживаются в портфеле моими просьбами. Если меня принудят, я перестану просить, а буду действовать по контракту. Если же меня оставят в покое, то я употреблю все средства, чтоб редактор «Пчелы» внимал и дальнейшим моим просьбам. Dixi».

В начале 1838 года Н. Полевой был временным редактором «Северной Пчелы», чем и объясняется ссылка на него Греча. Как известно, предложенная

Гречем мировая сделка не состоялась, и вскоре «Северная Пчела» не только обрушилась на «Энциклопедический Лексикон», но даже выпустила особым прибавлением резкое нападение против Сенковского, принудившее последнего отказаться от дальнейшего редактирования «Энциклопедического Лексикона».

Вообще о взаимоотношениях Греча и Сенковского существует довольно значительная литература, в настоящее время уже устаревшая (А. Пыпин «Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов», Спб. 1906, изд. 3-е; А. Пятковский «Из истории нашего литературного и общественного развития», Спб. 1888, изд. 2-е); из позднейшей литературы—см. Каверин «Барон Брамбеус» (Л. 1929).

Юбилей Крылова

Статья эта впервые была напечатана в «Древней и Новой России» (1876 г. № 2) с подзаголовком «Отрывок из записок Н. И. Греча» и с примечанием от редакции: «Этот отрывок, в черновом подлиннике, обязательно сообщен в редакцию вдовой Н. И. Греча». Так как подлинник не сохранился, а рукопись копии ПД является лишь переписанным из «Древней и Новой России» текстом, то этот печатный текст и воспроизводится в настоящем издании.

Написанная несомненно в шестидесятых годах, то есть почти через тридцать лет после описываемого в ней события, статья эта грешит многими неточностями, а иногда даже и сознательным искажением истины. Так например, в статье этой мысль о праздновании юбилея Крылова Греч приписывает себе, между тем как мысль эта исходила от Н. В. Кукольника; в числе членов юбилейного комитета не назван игравший в нем видную роль Жуковский. Есть и еще целый ряд ошибок и неточностей, которые легче всего вскрываются от сопоставления этой статьи Греча с его же подлинной запиской, составленной на другой день после юбилея в 1838 году. Приглашенный для объяснений к Дубельту, Греч (по его же рассказу) «сел и тут же набело изложил все дело». Вряд ли это было так, потому что сохранился черновик этого объяснения

и сохранился не в архиве Греча, а в карловском архиве Булгарина. Исследовавший этот архив Н. Пиксанов извлек из него в высшей степени интересную для нас записку Греча под заглавием: «Почему Греч и Булгарин не были на празднестве И. А. Крылова» («Русская Старина» 1905, № 4, стр. 201—203). Здесь мы приводим полностью эту небольшую записку, сопоставление которой с позднейшей статьей Греча, помещенной в тексте воспоминаний, сделают сами читатели. Вот вся эта статья.

«Мысль о торжествовании юбилея почтенного И. А. Крылова возникла впервые 19-го января, в дружеской беседе литераторов и художников у Н. В. Кукольника. Он первый подал к тому повод. К нему пристали Греч, Карлгоф и некоторые другие. Надлежало испросить соизволение начальства. Что было ближе, как обратиться к находившемуся тут же старшему адъютанту корпуса жандармов, г. Владиславлеву, который охотно принял на себя довести о том до сведения графа А. Х. Бенкендорфа, чрез начальника его штаба. Тут же учредители положили выбрать, для исполнения этой мысли, комитет, составив его из А. Н. Оленина, В. А. Жуковского, графа Мих. Ю. Виельгорского, К. П. Брюлова, Карлгофа и Греча. Чрез несколько дней Н. В. Кукольник объявил Гречу, что государь изъявил всемилостивейшее согласие на сие торжество, и что вскоре последует оффициальное о том уведомление учредителям. Между тем, Греч, 29 января, получил письмо В. А. Жуковского с просьбою о раздаче 30 пригласительных билетов на сей праздник и с подписным листом, на котором были напечатаны имена учредителей, а имя Греча исключено. Что ему было делать? Беспрекословно принять первую обиду и тем приготовиться ко второй и так далее. «Удалися от зла и сотвори благо!» сказал он сам себе, и тот же час отослал билеты назад с письмом, в котором сказал, что не имеет случая раздать их, да и сам не может участвовать в торжестве. Он не мог вообразить, чтоб отказ от приглашения частных людей на обед мог причесться ему в вину. Такой вине подвергается он несколько раз в год, не будучи в состоянии участвовать на всех публичных испытаниях в казенных заведениях

или во всех торжественных заседаниях академии, на которые приглашают его начальства оных оффициально и не требуя платы. Как больно ему было это исключение, может судить всякий, кто знает его тридцатилетние труды на поприще словесности и дружбу, связующую его в течение двадцати осьми лет с почтенным И. А. Крыловым. Булгарин, узнавши об этом исключении его друга, с своей стороны также решился не быть на обеде, поехал к И. А. и объяснил ему все дело. Крылов согласился, что он и Греч совершенно правы. Накануне празднества Булгарин вызвал Греча из Михайловского театра и объявил о сообщении ему воли государевой, чтобы все литераторы участвовали в завтрашнем празднике. Тут разбирать было нечего. Греч вынул из бумажника 50-рублевую ассигнацию и послал сына своего к Смирдину за билетом. Между тем это внезапное обстоятельство жестоко его взволновало: он воротился в кресла и не мог там высидеть до конца. Кровь приступила у него к голове, и он принужден был со средины спектакля отправиться домой, почувствовал жестокую лихорадку, не спал всю ночь и на другой день встал в совершенном расстройстве. Это может засвидетельствовать врач его, П. В. Богословский, за которым он послал, и который, дав ему лекарство, советовал поберечься и в тот день не выходить. Греч написал об этом обстоятельстве генералу Дубельту и сказал, что вместо себя посылает на обед сына. В то же время написал он И. А. Крылову письмо, в котором поздравил его с торжеством и объявил, что не может быть на оном. Впрочем, если бы здоровье позволило ему туда ехать, то представилось тому другое препятствие. Смирдин объявил, что все билеты розданы. Полевой, которому также велено было туда явиться, достал билет, пошел на празднество и должен был испить чашу огорчений».

«Между тем Греч на другое же утро, по словам бывших на торжестве, описал оное, для помещения в «Северной Пчеле», и послал рукопись к председателю цензурного комитета, князю Дондукову-Корсакову, который известил его, что препроводил оную к г. министру народного просвещения, предоставившему себе право рассматривать и одобрять к печатанию статьи о сем торжестве в журналах».

«Спросят, может быть, что так встревожило и взволновало Греча? Вот что. По объявлении ему о том, что непременно должно ехать на торжество, он вообразил себе, что имя его было исключено из списка учредителей самим государем. Мысль о том, что могли подумать, будто он не хотел исполнять высочайшую волю или вздумал показывать неудовольствие на решение монаршее, терзала его несказанно. Теперь он успокоился, удостоверясь, что имя его исключено было рукою такого же подданного, как он сам, уже по изъявлении на проект торжества высочайшего изволения. Только бы не делать противного воле государя, только бы не навлекать на себя его неблаговоления— а впрочем хоть под военный суд»!

Инцидент, связанный с отсутствием Греча на юбилейном празднестве Крылова, имеет большую литературу, которую здесь можно только отметить, не останавливаясь на ней особенно подробно. Оправдания Греча напечатаны были в № 32 «Северной Пчелы» за 1838 год; ответ на эти оправдания, о котором упоминает Греч, был напечатан членами юбилейного комитета в «Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду» (1838 г. № 7) и гласит следующее:

«За несколько дней до праздника и тотчас по составлении подписных листов для внесения имен желавших в нем участвовать, учредители сообщили при письме одного из них таковой лист г. Гречу с 30 билетами, предоставляя их в его распоряжение. Г. Греч возвратил немедленно список и 30 билетов при письме, в котором изъявлял, что не имеет случая раздать билеты и, находясь в невозможности участвовать в празднестве, он препровождает обратно и лист, и билеты»...

То «самое дружеское, теплое письмо, с поздравлением и изъявлением сожаления, что болезнь не дозволяет мне выйти со двора», которое Греч, по его же рассказу, написал Крылову 2 февраля 1838 года, впервые напечатано в посвященном Крылову «Сборнике статей, читанных в отделении русского языка и словесности императорской Академии Наук» (Спб. 1869 г., т. VI, стр. 309). Письмо начинается характерной фразой: «Расстройство здоровья, причиненное жестоким огорчением, лишает меня удовольствия быть

сегодня на обеде, который дают вам ваши благодарные читатели»...

Инцидент Карлгофа с Полевым, рассказанный Гречем, подтверждается и другими свидетелями этого столкновения. Сам Н. Полевой в письме к брату своему Кс. Полевому от 4 февраля 1838 года писал: «Вообрази, кто сделался, между прочим, врагом и одним из жестоких гонителей моих?.. Карлгоф, да Карлгоф... и вместе с другими ругает меня, клевещет на меня»... В примечании к этому письму Кс. Полевой так описывает это столкновение Карлгофа с Н. Полевым, бывших до того времени приятелями: «Разрыв, необъяснимый со стороны Карлгофа, последовал на юбилее Крылова, где наш приятель был одним из распорядителей и находился в передней комнате, когда брат мой, приглашенный на юбилей, вошел туда. Увидев его, Карлгоф, как бешеный, закричал:—«Ты зачем сюда, враг России, враг всех дарований? Вон!» Брат подумал, что Карлгоф пьян, и хладнокровно сказал ему это. — «Нет, я знаю что̀ говорю!» — закричал тот и хотел броситься на него; другие распорядители схватили его, увели... Брат говорил мне потом, что он не постигал и не угадывал причины такого, повидимому, безумного поступка. Впоследствии он полагал, что Карлгоф, причислившийся тогда к министерству просвещеня, хотел торжественно показать, что он враг Полевому, и Уваров наградил его за то, назначив попечителем Одесского округа» («Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого». Спб. 1888 г., стр. 414). Интересно отметить, что жена Карлгофа в своих анонимных воспоминаниях «Жизнь прожить не поле перейти», напечатанных в «Русском Вестнике» 1881—1884 гг., очень подробно рассказывая о юбилее Крылова и связанных с ним обстоятельствах, решительно ничего не упоминает ни о столкновении Карлгофа с Полевым, ни о прошумевшей тогда истории с Гречем («Русский Вестник» 1881 г., № 10, стр. 727—729).

Этот инцидент с Гречем тоже имеет обширную литературу, упоминаясь в целом ряде статей той эпохи, частных писем и воспоминаний; см. например письма Гоголя (т. I, стр. 504), письма Краевского («Русская Старина» 1904 г. № 6, стр. 572 и № 7,

стр. 152—154), статью князя В. Одоевского («Отечественные Записки» 1840 г., т. XII, отд. VI, стр. 23), переписку Плетнева с Гротом, дневник Никитенко и мн. др.

Как относился сам Крылов к Гречу и Булгарину—лучше всего показывает басня его «Кукушка и петух», напечатанная через три года после этого его юбилея. В этой знаменитой басне, где

Кукушка хвалит петуха
За то, что хвалит он кукушку,

под видом этих птиц выведены Греч и Булгарин, всегда восхвалявшие печатно друг друга. Такое объяснение этой своей басни дал сам Крылов в разговоре с Н. М. Колмаковым, который еще при жизни Греча опубликовал это в «Русском Архиве» (1865 г., стр. 1011). Басня эта была напечатана во втором томе сборника «Сто русских литераторов» (Спб. 1841) и сопровождается там воспроизводимой в настоящем издании карикатурой, где Греч и Булгарин представлены в книжной лавке.

А. Ф. Воейков

Статья эта впервые напечатана в «Русской Старине» 1874 года (№ 3) с недошедшего до нас чистовика, сильно смягченного по сравнению с тем черновиком, который сохранился и находится в рукописном отделении Библиотеки Академии Наук. Принимая за основной текст—текст журнала, мы все же в примечаниях к тексту дали характерные разночтения и дополнения по рукописи, по поводу которой должны отметить, что она писана Гречем очевидно в самые последние годы жизни, почерком настолько старческим и неразборчивым, что наибольшее количество неразобранных нами в рукописях Греча слов падает именно на эту статью.

Резко враждебные отношения Греча с Воейковым начались еще в 1823 году: начиная с этого года мы находим в «Сыне Отечества», журнале Греча, а с 1825 года и в его газете, «Северной Пчеле», целый ряд враждебных выпадов против Воейкова, одно перечисление которых заняло бы целую страницу, а вос-

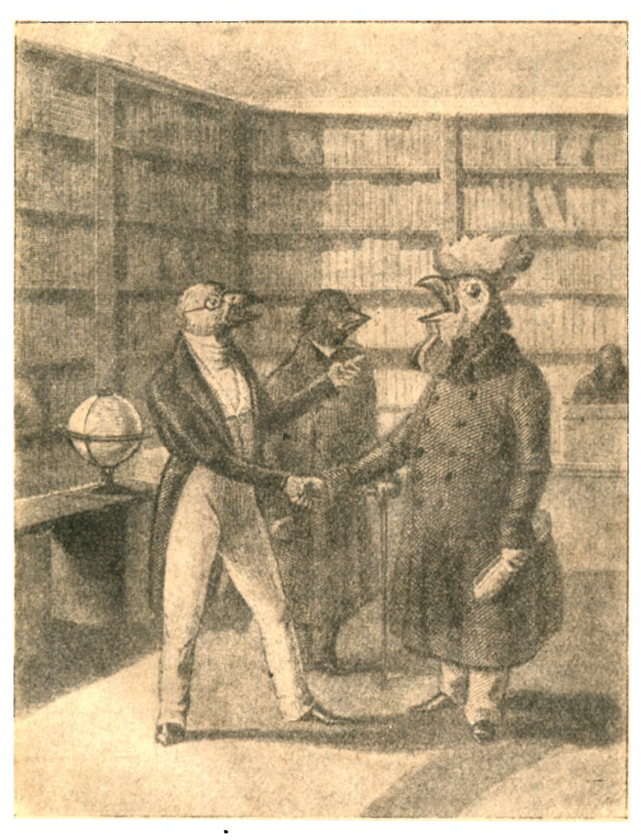


Иллюстрация к басне Крылова «Кукушка и Петух», изображающая Греча и Булгарина.

(Из сб. „Сто русских литераторов“, т. II.)

произведение которых едва ли поместилось бы в один том. Если ограничиться первыми тремя годами этой полемики, то несколько десятков страниц, написанных Гречем против Воейкова, читатели найдут в «Сыне Отечества» 1823 г., т. LXXXVIII, стр. 168—178; 1824 г., т. XCIV, стр. 203 - 215; 1825 г., т. CI, стр. 294—308 и т. CIII, стр. 93—96. Перечислять далее было бы делом специальной работы; здесь достаточно указать, что и Воейков не оставался в долгу, всячески преследуя печатно Греча и Булгарина и обессмертив их двумя строфами в своем знаменитом «Доме сумасшедших»:

Вот и Греч—нахал в натуре,
 Из чужих лохмотьев сшит;
Он—цыган в литературе,
 А в торговле книжной—жид.
Вспоминая о прошедшем,
 Я дивился лишь тому,
Почему он в сумасшедшем—
 Не в смирительном дому?

Тут кто? Гречева собака
 Забежала вместе с ним:
То—Булгарин, забияка,
 С рылом мосьичим своим,
С саблей, в петле...—А французской
 Крест ужель надеть забыл?
Ведь его он кровью русской
 И предательством купил!

(А. Ф. Воейков, «Дом сумасшедших»,—«Русская Старина» 1874 г., т. IX, стр. 579 - 603, 612 — 615, 790; 1875 г., т. XII, стр. 584 и 591.)

Греч и Булгарин в свою очередь не оставались в долгу и язвили Воейкова не только полемическими статьями, но и сатирическими стихотворениями, далеко не достигавшими силы воейковских сарказмов; из таких стихотворений сохранилось, например, стихотворение Булгарина под заглавием «Плач Воейкова», первые три строфы которого гласят:

Ах зачем было,
Ах на чтож было
Мне стихи писать
Инвалид кропать!

Человечество
И отечество —
Гори всем на зло,
Было б мне тепло.

Я жену продам,
Детей так отдам,
Только б я был сыт
И не явно бит...

Остальные строфы этого длинного стихотворения интересующиеся могут найти в указанных выше записках «Жизнь прожить не поле перейти» («Русский Вестник» 1881 г. № 9, стр. 148); целый ряд связанных с сатирическими стихами Воейкова обстоятельств можно найти в обширных, но мало достоверных воспоминаниях В. П. Бурнашева «Мое знакомство с Воейковым в 1830 году и его пятничные литературные собрания» («Русский Вестник 1871 г., т. XCV, стр. 250—283 и 599—636; т. XCVI, стр. 133—203).

Все эти обстоятельства показывают, что в статье Греча о Воейкове нельзя ждать особенно беспристрастной характеристики последнего; однако характеристика эта совершенно совпадает со всем тем, что мы знаем о Воейкове по многочисленной мемуарной и эпистолярной литературе той эпохи. В главном статья Греча всецело соответствует действительности, что же касается частностей ее, то здесь можно указать, что родословная Воейковых, с которой начинает свою статью Греч, нуждается в ряде исправлений, которые можно найти в т. IX известного «Щукинского сборника» (стр. 434); материалы для биографии его приведены в «Русской Старине» 1908 года (№№ 1 — 3). Письмо Воейкова к Гречу об условиях вступления в 1820 году в «Сын Отечества» приведено в «Русской Старине» 1899 г. (№ 12, стр. 601). Приводимая Гречем (стр. 657) эпиграмма на Жуковского, приписывавшаяся в те годы и Пушкину и Воейкову, в настоящее

время считается принадлежащей А. А. Бестужеву. Эпизод с доносом Воейкова на Греча и Булгарина, как на скрытых революционеров, тесно связанных с 14 декабря 1825 года, подробно излагаемый Гречем, все же изложен недостаточно ясно (стр. 659—661); остается непонятным, почему почерк Олина оказался почерком переписчика доноса. Эту неясность отметил еще П. Ефремов в «Русской Старине» 1874 года (№ 3). Недоумения разъясняют уже цитированные выше «Записки Кс. А. Полевого», в которых (стр. 187—191) указано, что донос был написан рукою обычного переписчика стихов Олина; последний указал на него, и таким образом было распутано все дело, нити которого дошли до Воейкова.

В самом конце статьи, после стихотворной строчки «И трауром покрылся Капитолий!», в тексте «Русской Старины» (1874 г. № 3, стр. 639—641) следует описание ареста Греча, Булгарина и Воейкова; оно не включено нами в текст настоящей статьи, так как полностью входит в статью Греча «Фаддей Булгарин», к которой имеет ближайшее отношение.

ФАДДЕЙ БУЛГАРИН

Напечатанная впервые в «Русской Старине» 1871 г. (т. IX) — эта статья Греча в рукописной копии ПД имеет ряд разночтений и авторизованных поправок, которым и необходимо было следовать при установлении текста настоящего издания. Статья эта, как и большинство других его отдельных статей, связанных с воспоминаниями, была написана Гречем в конце жизни, в шестидесятых годах; это видно хотя бы из того, что на первой же странице статьи Греч ссылается на «Календарь на 1860 год». Статья осталась неоконченной и оборванной почти на полуслове; быть может рукопись окончания была затеряна после смерти Греча, но еще вероятнее, что он так и не дописал ее.

После тридцатилетней дружбы с Булгариным и совместной журнальной и газетной работы с ним, Греч в начале пятидесятых годов резко разошелся с былым своим сотоварищем и сотрудником; причины расхождения он сам вскрывает в настоящей статье. Но несмотря на это, даже и в этой статье Греч сохра-

няет преувеличенное мнение о Булгарине, которое приводит даже к ряду фактических ошибок и неточностей. Так например, на первой же странице статьи Греч объясняет резкие отрицательные отзывы печати о Булгарине после его смерти тем, что «мертвого льва уже не боялись собаченки», заявляя, что при жизни Булгарина его «безусловно не поносили, разве в ненапечатанных эпиграммах». Достаточно вспомнить печатные статьи о Булгарине хотя бы Полевого, позднее — Белинского, Пушкина, и вообще статьи в «Отечественных Записках» и «Современнике», если уж не упоминать о других журналах, чтобы увидеть, насколько это утверждение Греча расходится с действительностью. Все такие места в статье Греча объясняются тем, что ему надо было во что бы то ни стало оправдать свое тридцатилетнее содружество с Булгариным, в действительности основанное исключительно на денежных интересах.

Переходя к комментариям отдельных мест статьи, укажем прежде всего на интересный эпизод с приводимой Гречем сатирой на великого князя Константина Павловича. Первые строки этой сатиры —

Трепещет Стрельна вся, повсюду ужас, страх.
Неужели землетрясенье?
Нет! нет! великий князь ведет нас на ученье, —

удивительным образом совпадают с той эпиграммой, которую Греч, под псевдонимом «Эрмион», напечатал в статье «Северной Пчелы» 1857 года (№ 119), направляя ее против шумевшей тогда полемики Каткова с профессором Крыловым о латинских терминах римского права:

Трепещет вся Москва, на улицах, в домах —
Повсюду ужас, страх.
Неужели землетрясенье?
Нет, хуже! Душит нас латинское склоненье.

Остается предположить, что Греч в этой псевдонимной статье 1857 года использовал для эпиграммы известное ему начало булгаринской сатиры на великого князя, написанной полувеком ранее.

На стр. 674 своей статьи Греч говорит, что Булгарин вышел в отставку из русской военной службы. В действительности же он не вышел в отставку, а был уволен за дурное поведение, как это явствует из «Истории 14-го уланского ямбургского полка», в которой сказано: «Фаддей Венедиктович Булгарин, будучи подпоручиком, 20-го мая 1811 года отставлен от службы, по худой аттестации в кондуитных списках» (стр. 697). Статья Булгарина «Знакомство с Наполеоном», о которой говорит Греч (стр. 676) в свое время вызвала много насмешек в журнальной печати, отразилась и в карикатурах. Мы приводим одну из них, доселе невоспроизводившуюся карикатуру знаменитого Степанова (см. стр. 677), так же как и ряд других его карикатур на Булгарина, до сих пор остававшихся неизвестными.

На стр. 680 Греч говорит о всеобщей амнистии после освободительной войны 1814 года; под эту амнистию попал и Булгарин. Она была объявлена в манифесте от 30 августа 1814 года, написанном Шишковым; в статье 19-ой этого манифеста провозглашена была амнистия всем тем лицам, которые во время войны «пристали к неправой, богу и людям ненавистной стороне злонамеренного врага».

То, что пишет Греч об отношении Булгарина к декабрьскому восстанию, обеляя его от обвинения в выдаче ряда декабристов (в том числе племянника Булгарина, Искрицкого), — соответствует действительности: в то время Булгарин еще не был прямым доносчиком и не находился в связях с III отделением собственной его императорского величества канцелярии. История с «выдачей» Булгариным по этому же делу Ореста Сомова рассказывается в разных воспоминаниях по разному: В. Бурнашев, в своих мало достоверных воспоминаниях, сообщает, что Булгарин выдал полиции Сомова, который шутки ради прибежал к нему после 14 декабря 1825 года с просьбой скрыть его, как заговорщика; в более достоверных воспоминаниях П. А. Каратыгина рассказано, что Сомов под тем же предлогом выманил у Булгарина 200 рублей, яко бы нужных ему для бегства, но что Булгарин его не выдавал.

На странице 698 своей статьи Греч ошибочно указывает, что о споре, поднятом Булгариным с Воейко-

вым по поводу числа подписчиков на «Инвалид» и на «Сына Отечества», он уже сказал раньше в статье об «Энциклопедическом Лексиконе». Это рассказано Гречем в его статье о Воейкове, из чего между прочим видно, что статья его о Булгарине писалась позднее. А в комментариях к статье о Воейкове мы уже указали, что она написана в самые последние годы жизни Греча; отсюда можно с большой вероятностью заключить, что статья «Фаддей Булгарин» была действительно последней статьей Греча, дописать которую ему помешала смерть.

Историю полемики Булгарина с Пушкиным в 1830 г., о которой рассказывает Греч, читатели могут найти в комментированных изданиях собрания сочинений Пушкина. Между прочим Греч указывает (стр. 702), что анонимные письма к Пушкину, послужившие причиной дуэли и смерти последнего, были написаны князем И. С. Гагариным. В настоящее время вопрос об авторе анонимных писем решается иначе: недавние исследования П. Е. Щеголева устанавливают авторство князя П. В. Долгорукого. Однако вопрос этот до сих пор не может считаться окончательно решенным, так как другие исследования (П. Е. Рейнбота) указывают на другого автора этих анонимных писем — на В. Ф. Боголюбова, статью о котором Греча читатели уже прочли в тексте настоящих воспоминаний.

Целый ряд заявлений Греча о Пушкине не заслуживает доверия, как это установлено давно уже в литературе о Пушкине; так, например, совершенно фантастично передаваемое Гречем сведение (стр. 703), что Пушкин «старался сблизиться» с ним, Гречем. Ошибочно и сообщение Греча, что Пушкин в конце 1831 г. вознамерился издавать «Современник»; впрочем это объясняется вероятно простой опиской Греча.

Столь же не соответствует действительности утверждение Греча, что Булгарин «никогда не был употребляем по секретным делам» III отделением; богатый материал доносов и секретных записок Булгарина собран в книге М. К. Лемке «Николаевские жандармы» (Спб. 1908). Но как известно (см. вступительную статью) и сам Греч был в теснейшей связи с III отделением, а также не брезговал и другими инстанциями для своих доносов. Так, например, разъя-

ренный нападками журнала «Телескоп» и других журналов на Булгарина и его роман «Выжигин», Греч написал донос на цензоров, попустительствовавших таким нападкам; до нас дошло доносительное письмо его к председателю московского цензурного комитета кн. С. М. Голицину от 10 июня 1831 года и к министру народного просвещения кн. Ливену от 27 июля 1831 года («Русский Вестник» 1890 г. № 6, стр. 333 — 335). Впрочем на этот раз донос оказался неудачным, и Греч, по высочайшему повелению, получил за него строжайший выговор.

Вообще взаимное восхваление и взаимная поддержка Греча и Булгарина была притчей во языцех в тридцатых и сороковых годах, вызвав собою остроумнейшую статью Феофилакта Косичкина (Пушкин), подражавшую последней позднейшую статью Герцена «Ум хорошо, а два лучше», знаменитую басню Крылова «Кукушка и петух» (см. выше в комментариях к статье «Юбилей Крылова») и целый ряд выпадов на эту тему в журналах той эпохи. Впрочем и в те годы ближайшей дружбы с Булгариным, Греч не упускал случая отмежевываться от него — если и не в газетных и журнальных статьях, то по крайней мере в частных разговорах (с Пушкиным, кн. Вяземским и другими). Кн. Вяземский в дневнике своем от 15 июня 1833 года записал, например, следующую сценку: «Греч, во весь обед у Дмитриева в Москве, рассказывал анекдоты о Булгарине и не весьма выгодно для чести его, и после каждого: — Да не подумайте, что он подлец, совсем нет, а урод, сумасброд; да не подумайте, что он злой человек, напротив, предобрая душа, а урод» (П. Вяземский, «Записная книжка 9 ая». Собрание сочинений, т. IX стр. 163). И сам Греч в этой статье, описывая свой разговор с Пушкиным, рассказывает, как называл Булгарина своим «польским псом». При подобных отношениях достаточно было нарушиться основному согласию между Гречем и Булгариным, заключавшемуся в денежных интересах, чтобы тридцатилетняя дружба заменилась враждой и острой ненавистью, о которых рассказывает Греч на последних страницах своей статьи. Необходимость издавать совместно «Северную Пчелу» заставляла их, ненавидя друг друга, продолжать совместную в ней работу; но ненависть эту они не

скрывали от посторонних людей. В статье В. Р. Зотова «Из воспоминаний» рассказывается, что «из противников Булгарина никто так не ненавидел его, как товарищ по редакции, десятки лет работавший с ним в одной и той же газете. Греч сам сравнивал себя с каторжником, скованным одною цепью с своим врагом» («Исторический Вестник» 1890 г. № 3, стр. 571).

Статья Греча о Булгарине заканчивается описанием событий начала 1852 года, а между тем только с этого времени и разгорелась острая борьба между ним и Булгариным. Причиною были денежные отношения, а поводов было немало, самых разнообразных. Сам Греч в этой статье рассказывает, что «нередко выходил из терпения: так, в 1853 году не мог не восстать против него всенародно, вследствие его жалкого и подлого идолопоклонства Контским» (стр. 692). Восторженные статьи Булгарина о двух польских виртуозах, пианисте и скрипаче, братьях Контских, заполняли собою почти все его фельетоны с самого начала 1853 года («Северная Пчела» 1853 г. №№ 49, 52, 61, 67, 69, 78). Не выдержав такого изобилия переслащенной похвалы, Греч заявил в газете (№ 94), что совершенно не солидарен с этими статьями Булгарина; последний немедленно же ответил резким возражением через номер газезы (№ 96); вторичное, более резкое, объяснение Греча появилось снова через день (№ 98); и снова вызвало иронический ответ Булгарина (№ 102). Последний привлек на свою сторону Нестора Кукольника, который выступил против Греча с большим фельетоном «Музыкальное объяснение» (№ 110), сопровождавшимся через несколько дней еще одной статьей Булгарина (№ 114), а потом и еще одним фельетоном, анонимного автора, в защиту Булгарина (№ 116). Разъяренный Греч, уехавший в это время за границу, ответил большой статьей «Немузыкальное объяснение музыкального объяснения» (№ 138), возражая в ней на фельетон Нестора Кукольника (рукопись последней статьи Греча сохранилась в Дашковском архиве и находится теперь в рукописном отделении Пушкинского дома). Булгарин не продолжал полемики, но не переставал восторженно отзываться в статьях своих о братьях Контских (№ 190); отзвуки этой полемики мы находим и в последующих годах на

страницах «Северной Пчелы»; так например уже в 1857 году Булгарин снова разразился восторженно-рекламными похвалами Аполлинарию Контскому («Северная Пчела» 1857 г. № 13).

Все это — только один из незначительных примеров, иллюстрирующих взаимные отношения Греча и Булгарина с начала пятидесятых годов. В письмах своих этой эпохи Греч и Булгарин выражались друг о друге уже без всякого снисхождения. В неизданном письме Греча к П. С. Усову от 21 июля (2 августа) 1853 г. из Парижа между прочим говорится: «Глупости Булгарина меня не удивляют: уж такая его нация. Спор и брань для него пища и забава. Пусть его. Только за что он бранит нас обоих. Недоумеваю. Сберегите его письма до моего приезда» (Архив Греча, рукописное отделение ПД). П. С. Усов действительно сберег тщательным образом все письма Булгарина к нему; они до сих пор не изданы (хранятся в рукописном отделении ПД) и представляют громадный интерес для истории русской журналистики пятидесятых годов и роли в ней Булгарина. Из них видно, каким прирожденным газетчиком был он и как блестяще он умел поставить и вести газетное дело; ему надо отдать хоть эту справедливость, раз ни в чем другом его нельзя помянуть добрым словом в истории русской журналистики. Эти письма, как и неизданные письма Греча к тому же Усову, показывают, до каких пределов доходила ненависть между былыми друзьями и соратниками. В письме к Усову от 7 (19) августа 1855 года из Мюнхена Греч между прочим сообщает о своей статье, в которой он хочет «взбесить польского пса». Тяжело заболевший предсмертной болезнью Булгарин адресует Усову 26 января 1856 года коротенькую записку: «Да возрадуются все враги мои, все ленивцы и дармоеды, все хищники и завистники. Я болен! Ф. Б.» А через месяц после этого в письме к тому же Усову от 28 февраля 1856 г. о своей тяжелой болезни, Булгарин раскрывает смысл предыдущей своей записки: «Радость будет в доме Греча — смерть у меня на носу!!!» (Дашковский архив, рукописное отделение ПД). И еще через несколько дней Булгарин пишет тому же Усову: «Видал я ненависти — но такой ненависти, какую Н. И. Греч обнаруживает ко мне и не видал, и не слыхал!»

(Письмо от 3 марта 1856 года; Дашковский архив, рукописное отделение ПД). Такие отношения продолжались между Гречем и Булгариным до самой смерти последнего (1859 г.).

Конец своей статьи о Булгарине Греч собирался снабдить целым рядом писем и документов, но не успел сделать этого; в настоящее время писем и документов этих нам отыскать не удалось. Можно лишь указать, что спор Греча и Булгарина по поводу «Северной Пчелы» был поручен третейскому разбору Липранди, известному в истории русской общественности быть может с еще более невыгодной стороны, чем даже сам Булгарин. Историю этого третейского суда и письмо Булгарина к Липранди читатели найдут в «Русском Архиве» 1869 года (стр. 1554—1559). Результатом третейского суда было восстановление оффициальных отношений между Гречем и Булгариным в конце 1856 года; но когда Булгарин пожелал после этого восстановить с Гречем не только оффициальные, но и дружеские отношения, то Греч ответил ему письмом, которым можно заключить историю их взаимных отношений и закончить этим комментарии к незаконченной статье Греча о Булгарине:

«Напрасно ты употребляешь слово дружба в сношениях наших. После твоих поступков со мной по поводу неотыскания заключенного нами контракта, после открытия моего, каким образом ты восстановил против меня родного моего сына, после тех оскорблений, которые ты мне нанес — дружбы между нами существовать не может: остались одни литературные или даже коммерческие отношения. Ты не подчинен моей воле в финансовых делах, а, предоставляя их мне, получал все, что тебе, по условиям, следовало, и если иногда сомневался в исправности счетов, то при первом моем объяснении соглашался, что я прав. Ни одна твоя копейка не тяготит моей совести. Нынешний недочет произошел не от увеличения расходов, а от уменьшения доходов. Мы не смели отставать от других журналов, должны были расширить журнал, увеличить число сотрудников, платы за статьи, за телеграфические депеши и тому подобное. Наши недочеты произошли от рождения и распространения дешевых газет, перепечатывающих нашу тяжелую работу.

Тягаться и судиться с ними было бы напрасно. Я никак не могу согласиться на то, чтоб ты продал свою часть. Тогда мне придется свою бросить, ибо «Пчелу» купит какой-либо спекулянт, мошенник, для употребления ее во зло и для придания ей нынешнего противного мне характера. Но я согласен продать «Пчелу» вместе с тобою. Только это может последовать не иначе как с будущего нового года. Во-первых, сделали покупки, заподряды и тому подобные условия, которых покупщик не примет. Во-вторых, к концу года число подписчиков будет более нынешнего, следовательно и покупная цена будет выше. В-третьих, отдать «Пчелу» другому с р е д и г о д а и тем нарушить обязанность нашу к публике, было бы дело бесчестное и унизительное, на которое я согласиться не хочу и не могу. Начали, так должны и кончить. Вот мое мнение, от которого я не отступлюсь» («Древняя и новая Россия» 1876 г. № 1. Письмо напечатано с чернового подлинника, без обозначения года и числа. Наиболее вероятная датировка его — середина 1857 года).

УКАЗАТЕЛЬ ПРОПУСКОВ,

в тексте помеченных знаком [. . . .]

Слева обозначены места пропусков в тексте настоящего издания, справа — соответствующие страницы в «Записках о моей жизни», изд. А. С. Суворина, СПБ. 1886 г.

	Стр.		Стр.
43	6–8	109	89—90
44	10	109	92–93
47	11—13	112	94—95
48	13—14	112	95
50	15—16	117	99—100
51	17—18	162	128—129
58	24—26	163	129–131
60	27—29	165	133
62	30	171	138—139
68	33–34	175	142—143
80	44—47	185	149–150
83	50—62	224	176
99	75	224	176—177
99	75—77	233	183
100	78	237	187
104	82	239	189—196

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Иллюстрации №№ 1, 2, 10, 12, 14, 15, 17, 25–30—из собрания Пушкинского Дома; №№ 3–9, 11, 13, 16, 18, 20–22, 24, 32—36—из собрания Российской Публичной Б-теки; № 19—из «Библиографических Записок» (М. 1892 г.); № 23—из «Русской Старины» (1898 г. февраль).

СОДЕРЖАНИЕ

